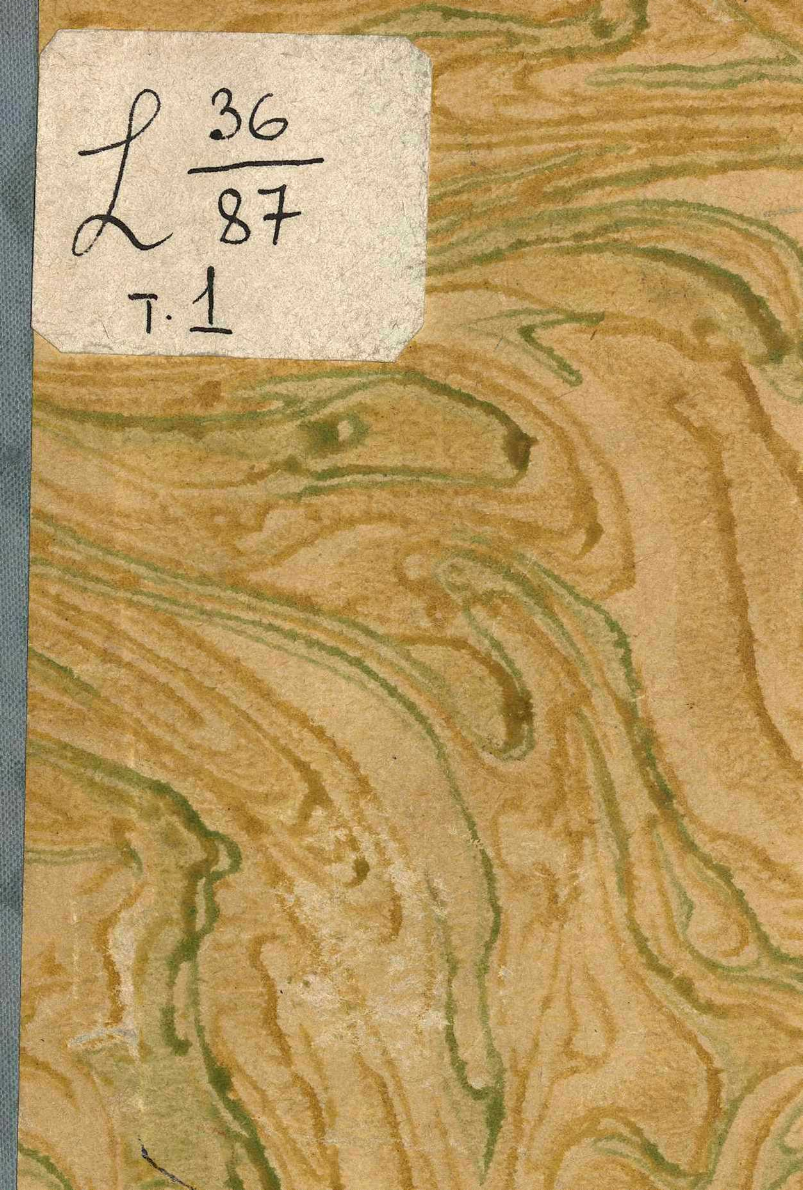
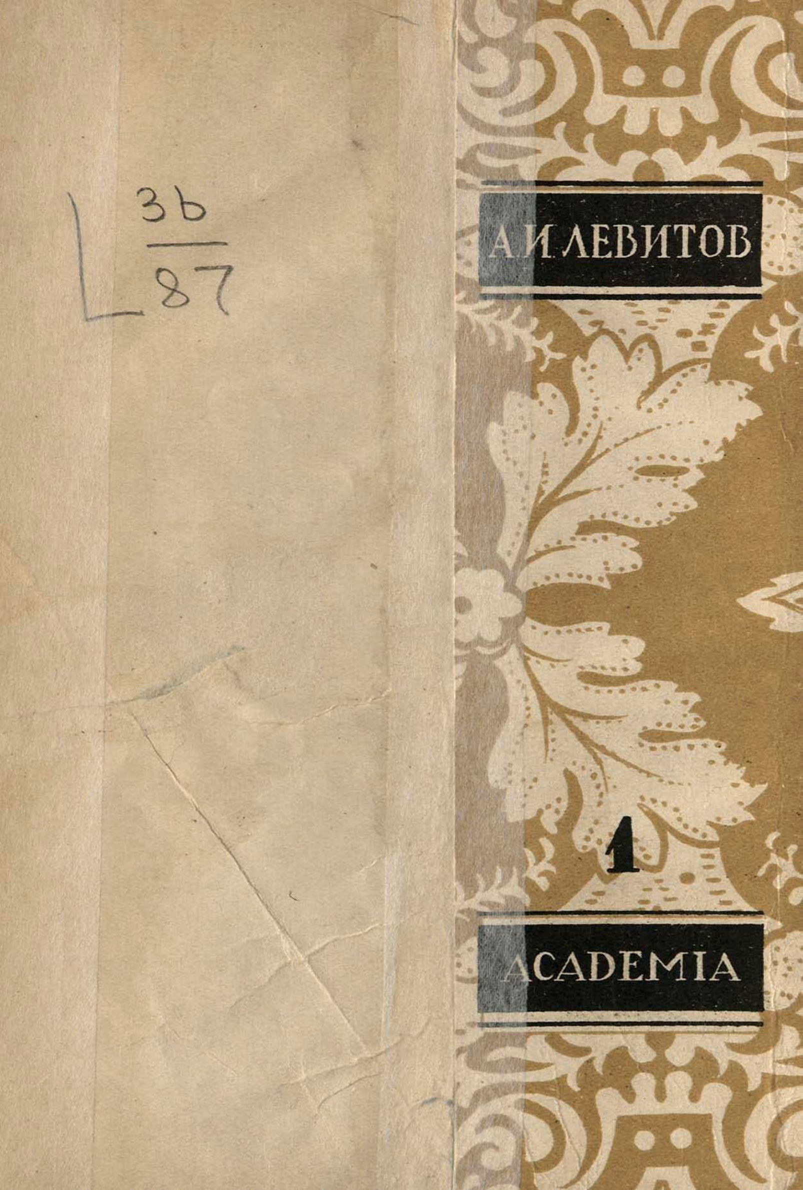
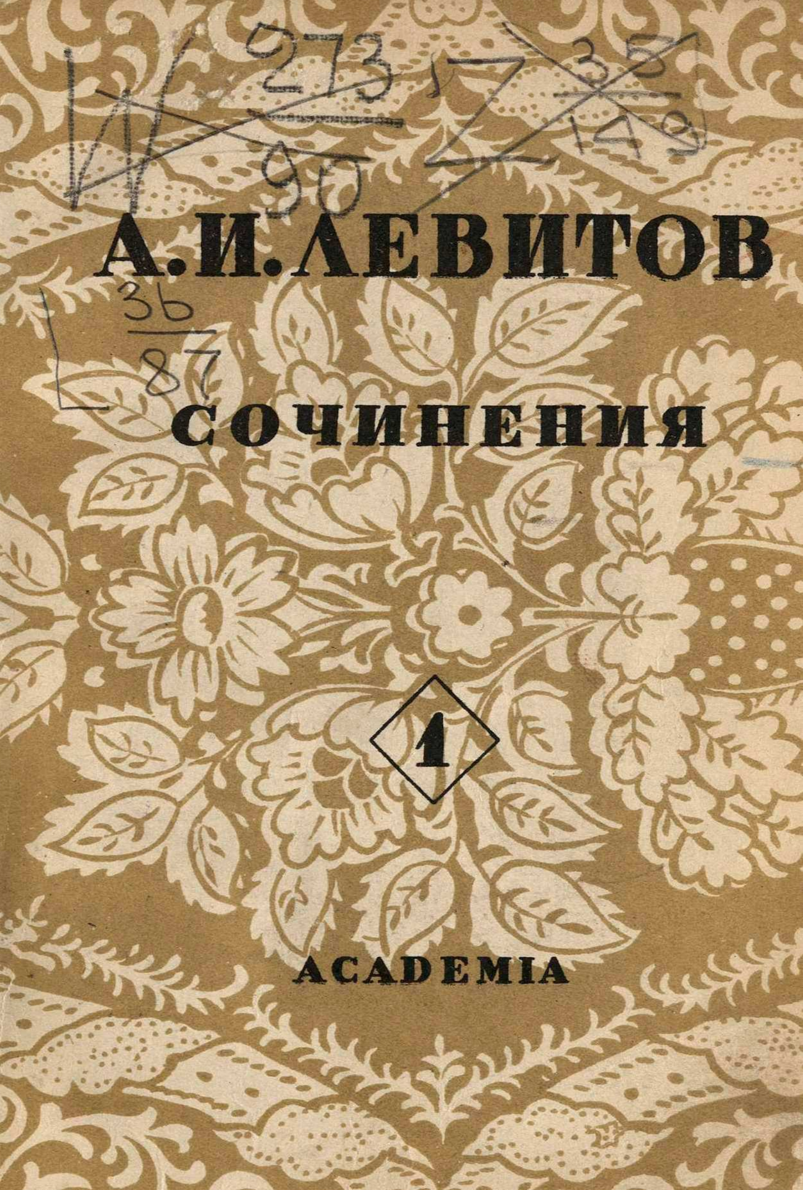

L 36/87
T. 1

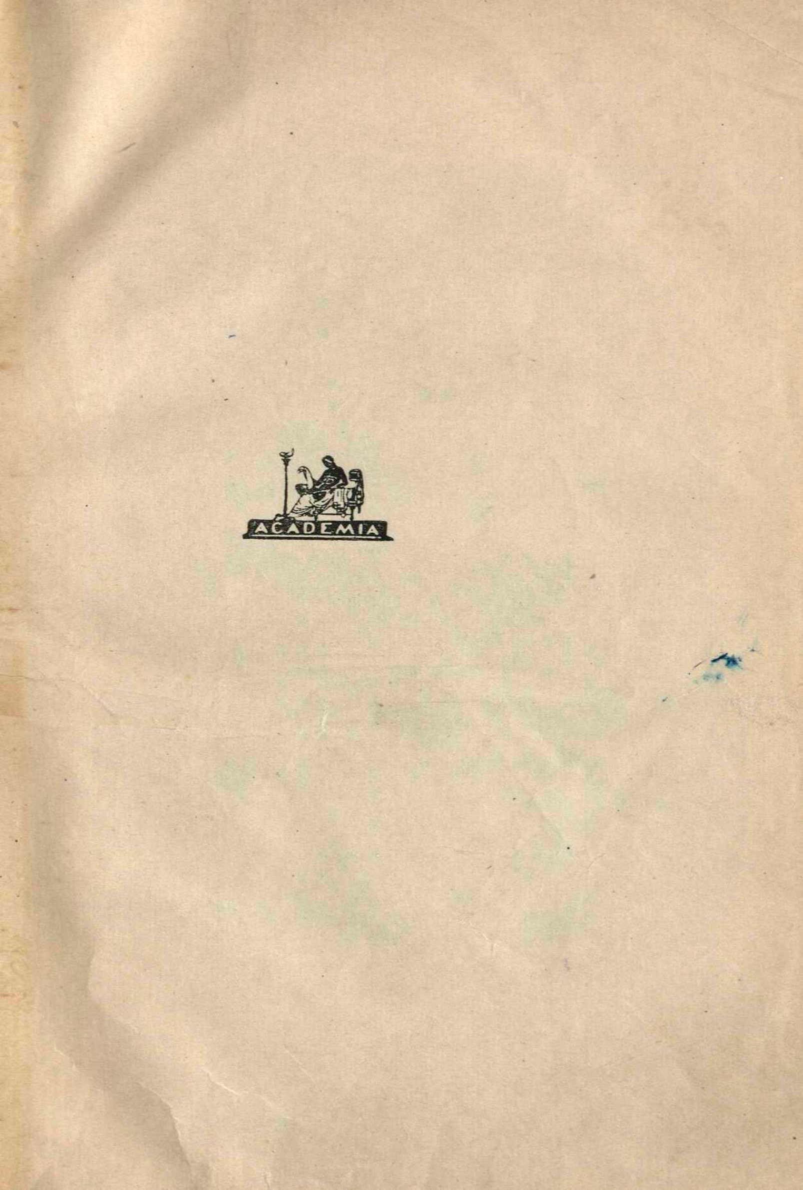




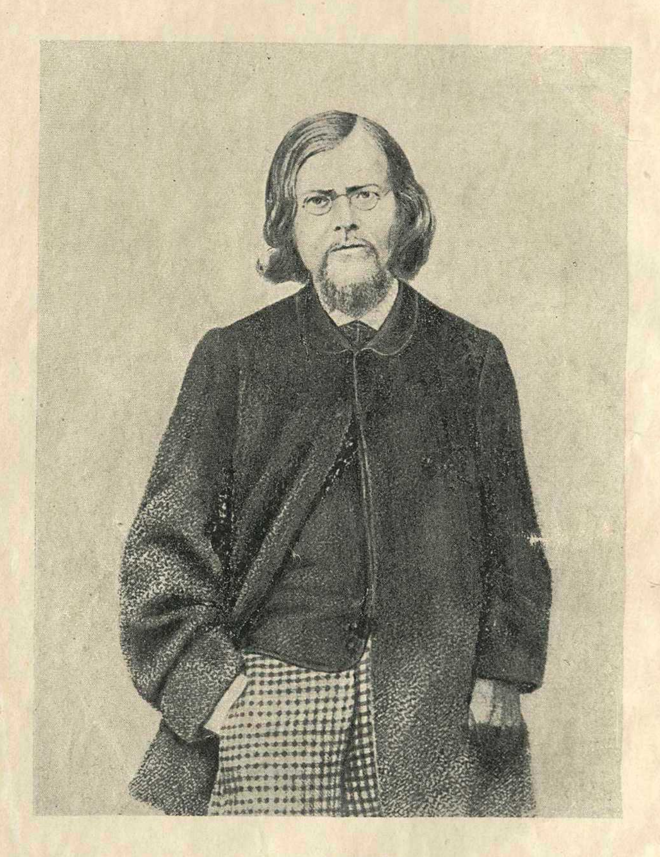
А. И. ЛЕВИТОВ
1
ACADEMIA



2735-7 90 3/149
А. И. ЛЕВИТОВ
36/87
СОЧИНЕНИЯ
1
ACADEMIA


ACADEMIA





А. И. ЛЕВИТОВ

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

XIX

ВЕК

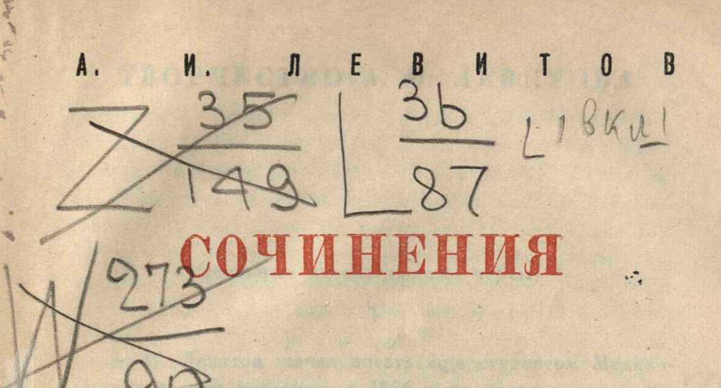
А. И. ЛЕВИТОВ

1835—1877

ACADEMIA

МОСКВА ◦ ЛЕНИНГРАД ◦ 1932

А. И. ЛЕВИТОВ



СОЧИНЕНИЯ

РЕДАКЦИЯ

СТАТЬЯ И КОММЕНТАРИИ

И. С. ЕЖОВА



1

ТОМ

ACADEMIA

МОСКВА ▫ ЛЕНИНГРАД ▫ 1932

Переплет и супер-обложка по рисункам

А. П. Могилевского

ТВОРЧЕСТВО А. И. ЛЕВИТОВА

(Основные идеологические черты) [1]

I

А. И. Левитов начал писать еще студентом Медико-хирургической академии, в 1856 году, когда он серьезно работал над своими «Ярмарочными сценами»; но ссылка надолго оторвала его от столичных центров литературной и общественной жизни, и этот его первый литературно-художественный опыт увидел свет лишь в 1861 году.

В последние годы жизни писателя (1874—1877) его литературная деятельность почти замирает. 1874 год дал всего два небольших очерка («Девичий грешок» и «Не к руке»), да и то второй из них остался незаконченным. С 1875 года и до самой смерти Левитов совсем ничего не напечатал, кроме одного единственного и притом не законченного очерка «Всеядные», помещенного в «Будильнике» частью в конце 1876 года, а частью в 1877 году, уже после смерти автора. Итак, творчество Левитова падает, главным образом, на годы 1861—1873, и он в подавляющей массе своих произведений принадлежит к писателям-шестидесятникам.

[1] В задачу настоящей статьи входит анализ тематики Левитова лишь с целью выяснения и определения его идеологии. Другие стороны тематики, а также композиционные и стилистические особенности его творчества в статье не затрагиваются.

Шестидесятые годы в истории России — переломные годы. «19-е февраля 1861 года, — говорит Ленин, — знаменует собой начало новой, буржуазной, России, выраставшей из крепостнической эпохи».[1] Несмотря на то, что «крестьянская реформа» была делом рук крепостников-помещиков, которые проводили ее в своих интересах, она значительно расчистила путь для капитализма. «После 61-го года, — говорит Ленин, — развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершились превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века».[2]

Но если реформа была «шагом по пути превращения России в буржуазную монархию» (Ленин), то, собственно, «крестьянский вопрос», являвшийся главной осью, вокруг которой кипела классовая борьба, оставался не решенным. В чем была сущность этой борьбы по Ленину?

«Возьмите эпоху падения крепостного права, — говорит Ленин. — Шла борьба из-за способа проведения реформы между помещиками и крестьянами. И те и другие отстаивали условия буржуазного экономического развития (не сознавая этого), но первые — такого развития, которое обеспечивает максимальное сохранение помещичьих хозяйств, помещичьих доходов, помещичьих (кабальных) приемов эксплоатации. Вторые — интересы такого развития, которое обеспечило бы в наибольших, возможных при данном уровне культуры размерах благосостояние крестьянства, уничтожение помещичьих латифундий, уничтожение всех крепостнических и кабальных приемов эксплоатации, расширение сво-

[1] *Ленин.* Соч., 3-е изд., т. XV, стр. 143.
[2] Там же.

бодного крестьянского землевладения. Само собой разумеется, что при втором исходе развитие капитализма и развитие производительных сил было бы шире и быстрее, чем при помещичьем исходе крестьянской реформы». [1]

Эта «борьба крестьянских и помещичьих интересов не была борьбой «народного производства» и «трудового начала» против буржуазии (как воображали и воображают наши народники), — она была борьбой за американский тип буржуазного развития против прусского типа буржуазного же развития», борьба «капитализма демократического против капитализма либерально-помещичьего». [2]

Реформа 61-го года означала временное торжество прусского пути, подставляя крестьян под двойной пресс — и остатков крепостничества и капитализма. «Крестьяне *в большинстве* губерний коренной России, — говорит Ленин, — остались и после отмены крепостного права в прежней безысходной кабале у помещиков. Крестьяне остались и после освобождения «низшим» сословием, податным быдлом, черной костью, над которой измывалось поставленное помещиками начальство, выколачивало подати, пороло розгами, рукоприкладствовало и охальничало. Ни в одной стране в мире крестьянство не переживало и после «освобождения» такого разорения, такой нищеты, таких унижений и такого надругательства, как в России». [3]

С другой стороны, «*поскольку* крестьянин вырывался из-под власти крепостника, *постольку* он становился под власть денег, попадал в условия товарного произ-

[1] *Ленин.* Соч., 3-е изд., т. XI, стр. 349.

[2] *Ленин.* Соч., 3-е изд., т. XI, стр. 350; т. XIV, стр. 214.

[3] *Ленин.* Соч., 3-е изд., т. XV, стр. 109.

водства, оказывался в зависимости от нарождавшегося капитала».[1]

Таким образом, и после падения крепостного права «крестьянский вопрос» оставался в центре борьбы двух тенденций, двух путей развития капитализма в России. Именно 60-е годы и знаменуют собой начало нового этапа освободительного движения, который Ленин называет «разночинским или буржуазно-демократическим» и определяет границы его «приблизительно с 1861 по 1895 год», ставя его между «дворянским» периодом борьбы (примерно с 1825 по 1861 год) и «пролетарским» (с 1895 года).[2]

«Падение крепостного права, — говорит Ленин, — вызвало появление разночинца как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности».[3]

Но это однако не значит, что *все* разночинцы были революционерами.

По определению Ленина, под разночинцами следует разуметь «образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству».[4]

Таким образом, разночинство, как социальный слой, обнимает довольно широкий круг буржуазной интеллигенции, от социалиста-утописта и революционного демократа, каким был, например, Чернышевский, до либерала или даже реакционера (Достоевский или Катков). Поэтому нельзя не согласиться с Н. Бельчиковым, когда он говорит, что «термин «разночинец» до крайности

[1] *Ленин.* Соч., 3-е изд., т. XV, стр. 143.
[2] *Ленин.* Соч., 3-е изд., т. XVII, стр. 341.
[3] Там же, стр. 341.
[4] Там же, стр. 341.

широк, неопределенен» и что «употребление его в общем смысле становится сугубо неверным, ведет к путанице». [1]

Социальная сущность разночинца должна определяться тем местом, которое он занимал при расстановке классовых сил в указанной выше борьбе.

А. И. Левитов, как и многие его предшественники и современники (Решетников, Николай и Глеб Успенские и др.), положившие начало новому литературному движению в конце 50-х и в 60-е годы прошлого века, был также писателем-разночинцем.

Но о Решетникове, Николае Успенском, В. С. Курочкине и других подобных им разночинцах-писателях 60-х годов можно вполне определенно сказать, что это были несомненные представители революционного крыла разночинства, во главе которого стоял Чернышевский, идеолог и вождь крестьянской демократии, стоявший за то, чтобы «поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества». [2]

Социальная физиономия Левитова была иная.

За Левитовым установилась репутация «народника», и его обычно ставят в один ряд с названными писателями. Однако народником он не был, так как быть народником в 60-е и 70-е годы означало примыкать к революционной демократии того времени.

По определению Ленина, «народничество есть идеология (система взглядов) крестьянской демократии в России». [3]

[1] *Н. Бельчиков.* Н. Успенский и классовая борьба в критике 60—70-х годов. «Литература и марксизм», 1931, кн. 6, стр. 101.

[2] *Ленин.* Соч., 1-е изд., т. I, стр. 179.

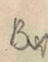
[3] *Ленин.* Соч., 3-е изд., т. XVI, стр. 283.

Революционные разночинцы 60-х годов, во главе с Чернышевским, составляли революционный авангард крестьянской демократии и являлись ее идеологами.

Они являлись представителями «старого» революционного народничества, ориентирующегося на крестьянство и на крестьянскую революцию.

Левитов к революционному народничеству 60-х и 70-х годов ни в какой мере не принадлежал. Он был выразителем и идеологом мелкой городской буржуазии, именно ремесленничества, которое под действием растущего капитализма обрекалось на разорение и упадок, наполняя ряды городской бедноты, опускающейся или уже опустившейся на «дно».

Будучи идеологом этой неустойчивой социальной группы, Левитов ярко отразил все свойственные ей шатания и колебания в сторону буржуазного либерализма. Поэтому, называя Левитова писателем-шестидесятником, мы этим не хотим сказать, что он был революционным демократом 60-х годов.



Он был «шестидесятником» постольку, поскольку и у него имеются те, хотя и в разной степени выраженные, черты «буржуа-просветителя» 60-х годов, о которых говорит Ленин, а именно: «горячая вражда к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области», горячая защита просвещения и отстаивание интересов народных масс. [1]

Но в этих чертах, общих большинству литературных представителей 60-х годов, как подчеркивает Ленин, «*ничего народнического нет*». Этими чертами обладали и такие «шестидесятники», как разбираемый Лениным

[1] *Ленин.* Соч., 1-е изд., т. II, стр. 321.

Скалдин, которого Энгельс называл «либерал-консерватором».

Что Левитов не был революционным демократом, видно уже из его трактовки темы о судьбе разночинца, — темы, которая в творчестве Левитова занимает одно из важнейших мест; это свидетельствует о том, что жизненный путь разночинца глубоко его занимал и волновал.

II

Сын бедного сельского дьячка, Левитов в своих произведениях ярко отразил жизненный путь разночинца, выходца из «духовного звания».

Среда, из которой он вышел, оставила в нем глубокий след: «Впечатления среды, меня породивщей, — говорит он в фельетоне «Перед Пасхой» (1862), — настолько сильны во мне, что я не мог никогда окончательно забыть их».

Впечатления этой среды были таковы, что Левитов стал ее ненавистником и отрицателем.

Уже в юношеском письме к любимой сестре, еще в ту пору, когда он, покинув ненавистную семинарию, по его собственному выражению, «взял одр свой и пошел» в столицы искать знаний и строить новую жизнь, Левитов с содроганием рисовал сестре ее «жестокую и страшную судьбу» замужем за «каким-нибудь дуралеем», «исключенным из философии», грубым бьющим свою жену, вечно пьяным и не дающим ей покоя ни днем ни ночью. С отвращением представляет он себе обычный путь кончающего курс семинариста — наставничество или женитьба на «какой-нибудь толстой дуре с поповским местом», вдобавок еще и

злой («поповы дочери все глупы и злы», — подчеркивает он). [1]

Эта ненависть к родной среде проявляется и в художественных произведениях Левитова. Саркастически он называет ее «благовонной средой», в которой и «теперь еще обеими руками держатся за знаменитое изречение блаженного во отцех Игнатия Лойолы: «цель оправдывает средства» («Грачевка», 1862), — «классом людей, славящихся у нас прирожденной способностью жить на чужой счет» («Степная дорога днем», 1862).

В последнем очерке Левитов вкладывает в уста героя очерка Теокритова, выходца из той же среды, что и он сам, следующую ее беспощадную оценку:

«...Я не знаю, как можно забыть одуряющую жизненную обстановку людей нашего болота, о которой когда начнешь рассказывать свежему, незнакомому с ней человеку, так он, слушая, непременно думает, что вы сошли с ума и врете ему невозможную, никогда и нигде не бывалую дичь. Тысячу, сто тысяч лет прожить мне нужно, например, чтобы забыть какое-то, так сказать, нравственное зловоние, которое окружает меня с самого детства и которое наконец выкурило-таки меня из прекрасных здешних мест. Да нет. И через сто тысяч лет я не забуду это зловоние...»

Трудно найти более резкую и более пропитанную ненавистью оценку «духовной» среды, чем какая дана в приведенных словах.

Идеологическую сущность этой среды, ее «убеждения» тот же Теокритов характеризует как «дикую толпу

[1] *Ф. Д. Нефедов.* А. И. Левитов. Вступит. статья в «Собрании сочинений» Левитова в изд. Солдатенкова, М. 1884, т. I, стр. XXXI.

диких предрассудков, выработанных стариной и сохраненных нашим временем, как лучшее доказательство той истины, что хорошее старинное может напугать времена позднейшие своим чудовищным варварством».

На страницах Левитова можно найти много примеров этого варварства.

Вот, например, старый дьячок (в очерке «Степная дорога ночью», 1861) выкладывает по дороге батраку с мельницы свои «познания»: о римском папе, у которого «все цари ненашинские под началом находятся» и которому «годов всего две тыщи» и «так до самого конца и смерти не будет»; о некоем Бел-Арапе и, конечно, об антихристе, который «тридцать годов уж прошло, как народился».

Круг подобных представлений довольно характерен для дьячков, которые долгое время в царской России были «мастерами» по учебной части и чуть ли не единственными нашими деревенскими «университетами». Незабываемые картины учебы у этих «сельских академиков» с непременным участием ременной двухвостной плетки даны Левитовым во многих его очерках («Дворянка», «Горбун», «Сельское ученье» и др.).

Однако попы по своему умственному уровню рисуются ничуть не выше дьячков. «Длинные и до глубокой муки скучные будни» в поповской семье сопровождаются чтением четьи-минеи, святцев и тому подобных книг («Мое детство», 1870).

Для примера приведем мудрствования попа:

«Априллий... А, а! Октомврий... Вот оно: декабря шестое-на-десять... Пророка Аггеа... Священномученика Елевфериа. Евангелие от Луки, глава третья. День же имать часов... нощь же... А, а! День начинает прибывать мало-по-малу. Дивны дела твои, господи! В Санктпетербурге одно склонение знаков небесных, в Москве

другое, более с нашим сходственное. Так и в мире между людьми, все так... Дивно!» («Мое детство»).

Умственному окаменению сопутствует моральное растление «класса людей, славящегося у нас прирожденною способностью жить на чужой счет», откуда и проистекает, главным образом, то «нравственное зловоние», которого не переносил и не забывал Теокритов.

Ненавистник и отрицатель родной среды, Левитов набрасывает тяжелую картину жизненного пути разночинца.

Он выводит своего разночинца из степной стороны, подавляющая бедность которой, на фоне роскошной и богатой природы, не раз послужит темой его деревенских очерков.

Та же бедность — обычно существенное условие детства левитовского разночинца. В этом детстве ничего «золотого» нет, это «детство хилое, бесхлебное, исполненное ругательств, побоев, паршей и всякого рода лихих болестей, при одном воспоминании о которых переворачивается все нутро человека, пережившего их» («Петербургский случай», 1869).

В воспоминаниях разночинца часто мерещится отец, «сверкающий воспаленными глазами» от всем известной причины, он «кричит что-то насчет какого-то щенка, которого он должен кормить, и потом с скрежетом зубов дает клятву убить и щенка и тех, кто им наделил его» (там же).

Вместе с бедностью — забитость и раболепство перед всяким, кто имеет силу богатства или власти. Вот умирающий мальчик-горбун, сын дьячка, хочет перед смертью проститься с своим единственным другом, дочерью купца. «Совсем уже было дьячиха собралась итти к Казакову просить его, чтоб он отпустил дочь свою проститься с ее бедным сыном, но дьячок чуть-чуть не прибил ее.

«— Что ты, — закричал он на жену: — хочешь разве, чтобы купец косы мне за это отмотал, а потом благочинному пожаловался?» («Горбун», 1863).

Дьячок («Степная дорога ночью», 1861) поучает своего сына, талантливого художника: «Помни, мол, Петруша, кто у тебя родитель, последние мы с тобой спицы в колеснице суть, так не должен ли ты, говорю, сугубое почтение дворянину и благодетелю отдавать».

«Священник и тятенька, — рассказывает будущий разночинец в очерке «Петербургский случай», — поклонятся, бывало, всякому тарантасу, какой по селу проедет. Случалось, что тарантас бывал задернут кожей, но они все-таки кланялись. Я однажды сказал тятеньке: «Ведь барин-то спит, зачем же ты кланяешься?» — «Как зачем? — удивлялся тятенька. — А ежели в случае барин-то проснется да у кучера спросит: што, скажет, кланялись мне в таком-то селе?».

Бедность и раболепная забитость ведет к озлоблению, к срыванию накипевшей горечи на собственных детях. Иногда это кончается трагически: в отрывке из повести «Горбун» дьячок калечит своего сына только за то, что тот упустил оборвавшийся у него змей, склеенный отцом.

После «хилого» детства в жизни разночинца наступает период заключения в «смрадные стойла» духовного училища, где «бесилось коростовое стадо разношерстных ребятишек, голодных и потому воровавших у всякого все, что только попадало под руку, — беспризорных и потому зверски изодравшихся, — без хороших руководящих примеров, и, следовательно, в самом детстве уже обреченных на гибель»; где «большею частью говорились какие-то ни в одном слое общественной жизни не употребительные слова»; где беспрестанно раздавались «шипенье гибких двухаршинных розог, рев десятка

детей, которых полосовали ими»; где пуще всех истязали именно наиболее способных, будущих разночинцев; где, наконец, никогда и ничем не прерывалось «внушение тарабарской гибели», того «татаромудрия», которое являлось одним из элементов «зловония» духовной среды («Петербургский случай»).

Из духовного училища будущий разночинец попадает в семинарию, где тот же смрад, то же надругательство, то же шипенье розог, то же «татаромудрие», лишь расширенное и дополненное. Но здесь впервые закрадывается в душу разночинца дух отрицанья, который погонит его вон из «смрадных стойл» среды.

Массовое выдвижение на общественную арену разночинца началось с конца 50-х годов XIX века.

В «Лирических воспоминаниях Ивана Сизова» (1863) Левитов описывает процесс пробуждения в это время «мощно дрыхнувшей степной глуши» «от грома уст Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Белинского».

«Я и много молодого, кроме меня, — говорит Сизой-Левитов, — сидели тогда в таких толстых, таких мрачных стенах, что до нас чуть-чуть только доносился гром даже и этих четырех артиллеристов. Свет от их выстрелов проникал к нам каким-то бледным, крайне болезненно действовавшим на наши глаза, которые так пригляделись к темноте нашего заключения...»

«Многие из нас, — прибавляет он, — даже навсегда оглохли от этого грома и ослепли от этого блеска. Многие мучительно умерли, сожженные и разбитые молниями какой-то другой, ни разу ими не слыханной и не виданной правды».

Однако многие «несокрушимые плебеи», в том числе и сам Левитов, почувствовали «восторженную радость» перед непреоборимо-сильным и бурным дыханием времени; в их головы «ударил откуда-то летучий, но свет-

лый луч убеждения», что им «неминуемо нужно быть там... потому что там битва».

Разночинец всецело охвачен непреоборимым стремлением вырваться из своей среды. Теокритов в «Степной дороге днем» говорит: «Я должен всем рисковать, чтобы уйти отсюда... Теперешнего своего положения я окончательно не могу выносить. Его с ума сводящее, всегда безотрадное однообразие, которому я не вижу конца, — да конца и быть не может, — вынуждает меня к самым отчаянным мерам, чтобы добиться хоть какой-нибудь жизненной перемены...»

Временами от мысли очутиться в столице без хлеба и без приюта у него «поднимаются дыбом волосы», но еще более его ужасает «та нравственная гнилость, которая теперь уже в какие-нибудь двадцать лет успела съесть его почти всего».

Это стремление разночинца встречает со стороны среды злобную вражду и непонимание. В очерке «Лирические воспоминания» Левитов выпукло показывает, как разные местные кулаки, «Миколаи Миколаичи», считают чуть не за личное оскорбление тягу плебея в столицу и издевательски смеются над его жаждой к знаниям.

В основе стремления разночинца в столицу на ученье лежит жажда деятельности на более широком поле, чем своя гнилая среда.

У Теокритова «дума об университете, трудовой полезной жизни», а также «какая-то, хоть и бесправная, но твердая надежда на громкую и добрую славу, сопряженную с такою жизнью, всегда была... заветной, самой лучшей думой».

Однако «полезная жизнь» и «громкая добрая слава» связаны с тем, какому классу будет «служить» разночинец, т. е. идеологом какого класса он станет.

Левитов уже в этот переходный период в жизни разночинца отмечает наличие в его психоидеологии колебаний и сомнений, вытекающих из социальной неустойчивости разночинца, как выходца из мелкобуржуазной мещанской среды и возможного кандидата для службы другому классу.

В «думе» разночинца он открывает «беса», который наталкивает разночинца на разные «злые поступки и внушает ему, что его будущая «полезная» жизнь, широкая карьера, «общественное положение», связанное с «большими средствами», может стать источником еще большего «зла», чем то, которое он делал до вступления на путь разночинца. Разночинец хочет крупной буржуазной карьеры и в то же время колеблется стать в ряды эксплоататоров.

Левитов лирически развивает «гибельную тему о том, как должны быть демонски крепки и ум и тело плебея, рвущегося из своей среды». Раздумье разночинца на «узком и длинном пути, по которому такие люди идут за своими прекрасными целями», Левитов сравнивает с раздумьем сказочного богатыря перед столбом на распутьи, с надписью: «Направо пойдешь, конь пропадет, налево пойдешь, сам пропадешь».

В задуманном еще в начале 70-х годов романе Левитов намеревался, очевидно, подвести итог жизненному пути разночинца. Роман остался незаконченным, но и в напечатанном уже после смерти автора отрывке из романа — «Говорящая обезьяна» — видно, насколько безнадежен этот итог: полный разгром стремлений и чаяний разночинца в его поисках за «громкой доброй славой».

В воспоминаниях героя очерка, художника-разночинца, топящего в объятиях «господина алкоголя» свое крушение, проходит целый мартиролог погибших и гибнущих сотоварищей его по жизненному пути.

Вот один «милый поэт», «страшный позитивист еще с двенадцати лет», «вечно трудившийся на других, вечно, как Филарет Милостивый, отдававший всем все»,— «сначала так-то ли зашумел в университете, да потом падающей звездой и скатился в болото какого-то уездного училища. Слышно, пьет там как последняя каналья».

Другой, «верный до гроба принятым обязанностям», «сидит в каком-то захолустьи, растолстел, как носорог, говорят, стал зол, как слон весной».

Третий умирает. Четвертый застреливается, узнав, что «бывший его наставник на старости лет подличать вздумал», и не найдя удовлетворительного объяснения этой подлости.

Пятый «сошел с ума от первой кошачьей выходки своей молодой жены» и т. д.

Воспоминание об одном из гибнущих вызывает в герое очерка и слезы и саркастический смех:

«Прощай и ты, — каким-то бессвязным рыдающим лепетом плакал молодой человек (герой очерка). — Ты хотел насадить сады... сады, в которых бы, ха-ха-ха! не было червей... Прометей! Ты добивался огня, который бы не жег людских жилищ... Ты рисовал своим друзьям возможность жизни без губительных ран душевных... Прощай! Ты, который искренно верил в благодатное лето, которое, по твоим надеждам, скоро должно было собрать на своих цветущих лугах и львов и ягнят...»

«Какие это были слабые и нежные растения, — характеризует сотоварищей герой очерка. — Словно мороз валило их долой с копыт первое столкновение с действительностью. На научной почве, разумеется, настолько, насколько она была возделана предшествовавшими пахарями, они держались молодцами, а как только въехали на почву серой капусты — шабаш! Сразу одур-

манили их заберистые запахи отечественных свычаев и обычаев».

Воспоминания о безотрадной судьбе сотоварищей у героя очерка завершаются следующим монологом, как бы подводящим итог его мыслям об этой судьбе:

«Нне-ет, друг, *нравы не пересилишь.* Они в климмате... Побед-дить, брат, их трудновато! Они по тебе, пожалуй... проедутся!... Ну, и что ж из этого? А то, что жизнь — вот им! Тем, кто прирожденные гасильные способности развил в себе добрым прилежанием и пламенным рвением к делу погашения и напущения разных ядовитых туманов... Жизнь им, этим факельщикам, которые нахально позванивают вырученною за провожание трупов халтурою. *Да, вот знамения нашего времени: с одной стороны — скорбь и уныние, с другой — безобразная оргия под оглушающий звон балалаек. Вот эта-то оргия и завладела жизнью!*» (курсив везде наш. — *И. Е.).*

Пессимистический вывод о безысходности положения разночинца дополняется в очерке зарисовкой контуров предателей, изменников, ренегатов, «плешивых Мефистофелей», либеральных «фокусников» мысли, софизмы которых «ужаснее кайлевских и крупповских усовершенствованных пушек».

«В совершенстве знакомый с самыми мельчайшими жизненными механизмами, — характеризует такого фокусника герой очерка, — он дерзко спихивает с дороги честный ум, нахально становится на его место, привычным взглядом намечает людей, которые со временем могут быть опасны для его развращающей профессии, и начинает убивать их. Видит он перед собою молодость и, зная, что она любит правду, до самой ключицы заворачивает рукава своего фрака и сорочки, говоря: господа! извольте смотреть! обмана быть никакого не

может... И молодость удовлетворяется, ибо она видит, что руки совершенно голые, и, следовательно, какие же могут быть фокусы?»

Таковы мрачные итоги жизненного пути разночинца, которые подводил Левитов в начале 70-х годов и с которыми сошел в могилу, погибнув сам подобно изображенному им художнику в «Говорящей обезьяне».

Эти пессимистические итоги показывают, что Левитов исключает (или, по крайней мере, не указывает) возможность для разночинца стать на путь революции, т. е., в условиях эпохи, стать в ряды идеологов революционной демократии.

В безнадежном взгляде на могущество «нравов» сквозит отсутствие той веры в революционную силу крестьянской массы, которая воодушевляла на подвиги революционную демократию 60-х и 70-х годов.

III

Златовратский в своих воспоминаниях о Левитове приводит следующие его слова: «Бедность нас, батюшка, заела, беднота и дикость... и еще хамство... Вот вы счастливее нас... вы уже не увидите того, что мы видели. А мы его во как произошли, воочию, это хамство-то, и барское хамство, и хамское хамство».[1]

В этих словах Левитов несомненно имеет в виду, с одной стороны, крепостничество, с другой — буржуазность.

Ненависть к «барскому хамству», т. е. к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области, в частности и эксплоа-

[1] Из литературных воспоминаний. А. И. Левитов. В сб. «Почин», М. 1895, стр. 97.

таторскому и издевательскому отношению барина к мужику, характерна для большинства литературных представителей 60-х годов,[1] и Левитов в данном вопросе всецело примыкает к этому большинству.

Помещик и его быт в тематике Левитова занимают сравнительно небольшое место. Большею частью он о барине говорит вскользь, мимоходом, эпизодически. Только в одном очерке («Моя фамилия») Левитов дает более подробную картину барской жизни.

Но этот небольшой участок творчества Левитова очень важен для понимания его классовой позиции. Изображая представителей помещичьего класса, он дает иные характеристики, выражает иные настроения, употребляет иные краски, нежели те, которые мы обычно находим у писателей-дворян.

Писатели-дворяне — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой и многие другие — изображали быт «дворянских гнезд» и толковали душевную жизнь их обитателей с точки зрения своего класса. Это не значит, «что они были ограниченными сторонниками сословных привилегий, бессердечными защитниками эксплоатации крестьянина дворянином».[2] Но в «дворянских романах, — говорит Плеханов, — хотя бы и многотомных, мало было места для изображения народного горя».[3]

Левитов, наоборот, центр тяжести переносит именно в сторону «народного горя». Помещичий быт он рассматривает под другим классовым углом. У него нет и в помине тех великолепных и изящных джентльменов из идиллических дворянских гнезд, которых мы привыкли видеть в произведениях дворянских писателей.

[1] *Ленин.* Соч., 1-е изд., т. II, стр. 321.
[2] *Г. В. Плеханов.* Соч., т. X, стр. 280.
[3] Там же, стр. 381.

Барин у Левитова рисуется прежде всего ничтожеством, однако наделенным громадной властью не по заслугам. Уже в первом своем очерке — «Типы и сцены сельской ярмарки» (1856—1861) — Левитов презрительно упоминает о барине, «который постоянно по заграницам шатался, от природы полученные способности, по части биения баклуш, изощрял». Злой иронией звучит в очерке «Аркадское семейство» (1862) название: «доблестные патриции моего племени», которым он наделяет представителей дворянства после того, как перед читателем прошли персонажи, не имеющие другой «доблести», кроме пустого и мошеннического прожигания жизни.

В очерке «Уличные картинки — ребячьи учители» (1862) зарисован мчащийся по посадской улице на «зверской помещичьей тройке» «степной помещик 30-х годов». Это «высокий и стройный красавец», «огневой человек, не знающий удержу». Но эти эпитеты звучат иронией, так как характеристика «огневого человека» тут же перевертывается наизнанку: это, оказывается, не более как «картежный игрок на все», «малограмотный любитель лошадей и собак до полного забвения всего». Теперь он забавляется тем, что, «поровнявшись с детьми, глазеющими на него и его лошадей, он бросает им на драку полные горсти пряников и дешевых конфет, между тем как кучер его хлещет своим пятиаршинным кнутом по всей куче, в которую свалились жадные до лакомств ребятишки...»

За детей находится один только заступник, «общий любимец», громадный барбос, который, «приметив, должно быть, что боятся заступиться за детей отцы их, с громким лаем вскакивает с навозной завальни... и яростно бросается вслед за резными санями лихача-барина». Но яростные атаки барбоса на лошадей и особенно на кольчатый кнут кончаются печально: лихач-барин

ружейным выстрелом перебивает ему ногу. Барбос становится героем, которого ласкают и за которым ухаживают все от мала до велика.

«— Вр-раг! — слышится озлобленное ворчание в толпе посадских мещан.

— Как бес везде носится и головы никогда не сломает!»

В этой оценке чувствуется глухая ненависть к лихому, но ничтожному барину, который может безнаказанно издеваться над бесправной посадской беднотой. Однако ярко выражено бессилие и пассивность протеста последней, ограничивающейся лишь «злобным ворчаньем» да поглаживанием барбоса. Протест взрослых так же бесплоден и наивен, как и протест детей, «казнящих» барский кнут разрыванием его на части.

Полнее и глубже отношение Левитова к барству выражено в очерке «Моя фамилия», который имеет подзаголовок: «Из воспоминаний временно-обязанного (1863, перепеч. с доп. 1868).

«Временно-обязанный», от лица которого ведется рассказ о его детстве, это — представитель городской бедноты, мелкий мастеровой, вышедший из дворовых и проживший свое детство в условиях крепостного права, в людских помещениях помещичьей усадьбы. Теперь это—один из «несчастных сирот общества», озлобленных от «кривых и неимоверно длинных путей», по которым они «ходят за светлой правдой», со «зверской радостью чужому несчастью» и завистью к чужому счастью.

Как же этот бывший дворовый, теперь представитель городской бедноты, характеризует помещика и его быт?

Дворовый мальчишка, наслушавшийся среди дворни рассказов о богатырской силе своего красавца-отца, представлявшегося ему каким-то Ерусланом Лазаревичем, встречает на барском дворе «какое-то маленькое

белокурое существо», настолько не похожее ни на одного из тех людей, с которыми он жил, что он «при первом взгляде на это существо» «дерзко засмеялся над ним. Однако «маленькое существо» тут же преподало мальчишке наглядный урок, ярко запечатлевший в сознании мальчика его классовое положение и заронивший в него первые семена классовой ненависти.

— «Чей это мальчишка? — спросило существо, сердито наморщивая свои белые тонкие брови.

— А это сынишка приказчика Ферапонта, — отрекомендовали меня белобрысому существу.

— Скажи-ка Ферапонту, чтобы он его выпорол хорошенько.

— Было бы за что! — ответил я. — Мой отец-то, думаешь, такая же кошка пареная, как ты?»

Однако «пареная кошка» руками собственного отца мальчишки произвела над ним экзекуцию.

«— За что ты меня сечешь?» — так недоумевал наивный ребенок, в голове которого не укладывалось противоречие власти «пареной кошки» над Еруспаном Лазаревичем, каким рисовался ему отец. «Но тут впервые было отвергнуто, — вспоминает теперь он, — обругано и обесчещено мое настоящее, ничем не подкупное, человеческое чувство. Отец все продолжал сечь меня и читать свои наставления на тему, как надобно дворовому мальчишке обходиться с господами».

Под розгой он понял, что такое «дворовый мальчишка». «Скорой молнией, — говорит он, — мелькнули тут в возбужденной голове моей какие-то новые, ни разу еще не посещавшие меня мысли. Какие-то странные, никогда не виданные мною предметы сверкнули в залитых слезами глазах моих, — что-то уродливое, в высшей степени изможденное и страдающее, стало тогда передо мною, освещенное вывескою — дворовый, и пла-

кало вместе со мною. Собака — дворовая, Агафью зовут дворовой, — думалось мне, и тут я вспомнил, как мы с матерью были в гостях у попа и поп спрашивал про меня у матери:

— Эн у вас к дворне приписан?

— К дворне, — смирно отвечала моя всегда тихая, покорная мать.

— Значит, и я дворовый? — спрашивал я себя, не чувствуя острых и резких уколов жидких березовых прутьев.

— Дворовый! — ответила мне горячая волна слез, вдруг с новою силой хлынувшая из глаз моих, — и я стал с этого времени человеком, потому что вся грудь моя закипела тогда той непримиримой, никогда не прекращавшейся злобой, которая сделала хрипучим и шипящим мой, некогда звонкий, голос и от которой избавит меня только темная, навсегда мирящая людей друг с другом, могила...»

Итак, «белобрысое существо» оказывается наделенным властью. Тем не менее поведение его кажется для мальчика, по сравнению с жизнью дворовых, настолько несуразным, что барин представляется в его глазах «неимоверным дураком», и мальчик «решительно перестал считать его человеком». Среди дворни за барином укореняется прозвище: «ни два ни полтора», и даже слагается песня:

Ой, ни два ни полтора,
В три бы шеи со двора...

Таким образом, Левитов отмечает бродящую в головах крепостных мысль об изгнании «в три шеи» барина и о свержении его ига. Это иго выступает в очерке в определенных и резких чертах именно потому, что автора интересуют не переживания барина, а положение забитой крепостной массы.

Мы видим, как «белобрысое существо» содержит своих крепостных-дворовых на голодном пайке, в душной черной избе, в которой набито до сорока взрослых душ и «бесчисленное множество малолеток»; и как беспощадно и произвольно этот «слабосильный барин» расправляется с ними, как под его властью гибнут «Еруcланы Лазаревичи» только потому, что они имеют несчастье быть в «крепостном состоянии» у барина, которого они при других условиях могли бы раздавить одним своим мизинцем.

Тяжелое экономическое положение крепостных крестьян отмечается Левитовым и в других очерках.

Так, в упомянутом очерке «Уличные картинки — ребячьи учители» приведена «картинка» с замерзшими в дороге извозчиками, сопровождающими подводу с помещичьим товаром. Окружившая возы толпа сразу определяет, что извозчики — «господские».

«— Должно быть, господские? — печально спрашивает кто-то.

— Известно, господские, потому настоящие вольные извозчики, знаешь, в каких тулупах одеты всегда; а эти все, вишь, в свитенках каких, буравцами ровно из веретьев шиты».

В повести «Накануне Христова дня» (1861) рассказывается о дворовой девице, которая, наголодавшись за зиму («ведь не кормят совсем, на одном хлебе всю зимушку мрем», — жаловалась она), вздумала на городском базаре украсть пару лещей, что кончилось для нее печально: опозоренная поймавшими ее мещанами-торговцами и обруганная господами и своими же дворовыми, девица «затосковала» и удавилась.

Эти и подобные эпизоды являются штрихами, которыми Левитов характеризует эксплоататорскую сторону помещичьей власти.

Рассмотренный выше очерк «Моя фамилия» дает кусочек быта и самой барской половины «дворянского гнезда». В этом быте нет и тени той «поэзии», которой овеяны эти «гнезда» у дворянских писателей. Как символ вырождения, омертвения и ненужности всего барства в центре этого быта зарисована фигура пережившей себя древней старухи — бабки барина, «неслезаемо» сидевшей в креслах и наконец покончившей на них свою ненужную жизнь. Эта старуха «во весь свой длинный век ничего не придумала лучше, как во время оно заставить дюка де Белиль, маркиза де Грильон обожать себя да в нынешнем столетии умереть». Теперь, «в период беспрерывного трясения и дрожания», она—добрая, потому что «неподвижная и онемевшая старуха»; но эта барыня сделала неисчислимое количество зла, «когда, блистая яркими французскими румянами и дикой энергией темниковской медведицы, не удостоенной аттестата Сморгонской медвежьей академии, звонко смеялась, наивно, и вместе с тем кровожадно, потешаясь над людскими жизнями».

В рассмотренных очерках Левитов показал отношение помещика к своим крепостным. В других очерках ярко очерчено «барское хамство» в отношении разночинцев.

Один из забытых очерков Левитова, не вошедший ни в одно из отдельных изданий его сочинений как прижизненных, так и посмертных и включенный нами в данное собрание, «Лирические воспоминания Ивана Сизова» (1863), [1] содержит великолепный эпизод встречи господ с двумя разночинцами, спутниками по дороге, неожиданно для самих себя очутившимися на барском пикнике. Очерк носит несомненно автобиографический характер.

Один из разночинцев — юноша-семинарист (очевидно, Левитов говорит о себе), пробирающийся пешком в Петербург на ученье. Другой — тоже из семинаристов,

одаренный музыкальными способностями и когда-то страстно стремившийся попасть в столицу, чтобы изучить музыку; но, как говорится, среда заела этот талант, разбила и заглушила мечты семинариста и сломала его жизнь: теперь это странствующий монах, нашедший утешение в религии и в мистике.

В описании встречи бар с этими разночинцами сквозит та же тенденция к разоблачению опоэтизированного дворянскими писателями барства, которую мы видели и в очерке «Моя фамилия». Самый пикник саркастически характеризуется как «прогулка, могущая возбудить барские телеса». Иронически упоминаются «пронзительные романсы», которые «мурлычет» молодежь.

Обращение господ с усталыми путниками лишено всякого намека на какое-либо джентльменство. Самая форма приглашения путников носит все черты «хамства». «Эй, вы, туристы», «ты, небойсь, постник, любишь чайку-то попить», «что же вы, шуты, не идете? вам делают честь, а они знай прут». Этот и подобные обороты недвусмысленно выражали барское высокомерие, которое в дальнейшем ходе эпизода дополняется издевательством. Баре пригласили путников, очевидно, для того только, чтобы посмеяться над ними и тем доставить себе развлечение.

Сначала объектом барского острословия является монах, который молча переносит сыплющиеся на него насмешки. Второй мишенью становится юноша, которого барин называет «стрекулистом». Этот разночинец, однако, дает отпор оскорблениям и тем выводит бар из равновесия. В репликах юноши не содержится ничего оскорбительного для господ: в них он только настойчиво дает понять, чтобы с ним обращались не как с шутом, а как с человеком. Но и этого уже было достаточно, чтобы барское «хамство» обнажилось во-всю:

«— Ты у меня, пожалуйста, без острот... помни, с кем говоришь, дорожная шваль, и не забывайся», — вот каким языком заговорил один из «джентльменов» «дворянского гнезда», и только потому, что юноша отвечал на издевательские насмешки бар, как иронически говорит Левитов-Сизой, «без надлежащей скромности, молодому плебею столь свойственной».

Описывая в этом эпизоде «барское хамство», Левитов с явной иронией намекает на тематику дворянской литературы, которая изобилует столь многочисленными поэтическими женскими образами. «Отвечая теме, — говорит он, — которую в наши времена с такою любовью разрабатывает русская беллетристика, я должен был бы в этом месте моего рассказа нежными штрихами очертить то высоко-поэтическое существо, т. е. возникающую русскую женщину, которое своим благодетельным ахом и вмешательством предупредило бы плачевные результаты, которые могли бы произойти, вследствие разгара страстей, между мной и хотя горделивой, но, надобно сознаться, до того слабосильной жакеткой. Одной задумчивой между наслаждающимися красотами природы сельскими дамами, к сожалению, не оказалось».

Наоборот, дворянские «поэтические создания» очень поощрительно кричали «жакетке», когда он бросился на юношу-семинариста с толстой сучковатой палкой: «Хорошенько, хорошенько его, Александр Петрович! Ах, дрянь какая! Вот ужасы». А когда юноша с успехом начал отражать атаки бар и их лакеев, то барыни кричали: «Ах, дьявол! ах, мерзавец! Бросьте его, господа! Ведь он убьет, пожалуй!»

Драматический эпизод о «хамском» отношении помещика к разночинцу дан также и в очерке «Степная дорога ночью».

В «Аркадском семействе» Левитов приоткрывает, так сказать, гаремную жизнь «доблестных патрициев», набрасывая историю «о том печальном конце, к которому непременно приходили стройные, белокурые и голубоглазые певицы барских хоров». «Степные жентильомы», «Бовы Королевичи» из дворян, как иронически называет их Левитов, цинично расценивают на ассигнации одну из таких «синиц», которую барин «бережет на старость» и не уступает никому.

В том же очерке, которому иронически предпослана в качестве эпиграфа цитата «из романов «Русского вестника» («Я пред тобой на коленях! — с неподдельным пафосом сказал граф Андрей, воздымая руки к небу»), дается образ гусарского полковника, который, промотав «родительские души и десятины», становится преуспевающим сводником.

Изображая барский быт, Левитов не забывает также указывать и на его развращающее влияние, вырабатывающее такие типы, как дворецкий Анчелюст (в «Выселках», 1864), у которого крепостничество развило «талант — стоять истуканом при господах» и который после «воли» с сожалением вспоминает о тех временах, когда этот его талант мог процветать невозбранно, — или как Максим Петрович («Насупротив», 1862), который так привык в молодости ухаживать за господами, что эта привычка действительно превратилась у него во вторую натуру: ему доставляет удовольствие послужить прохожему, у которого вид барина, и даже поцеловать ему ручки; он обижается, если ему этот «барин» говорит «вы», и т. д.

В итоге, характеризуя барство, Левитов выдвигает на первый план его крепостнические черты, которые в дворянской литературе оставались в тени.

Он подчеркивает эксплоататорскую роль помещика, его праздность, никчемность и полное вырождение. Дворянин в представлении Левитова — набитый чванством бездельник, эксплоататор, развратник, мошенник или сводник, ничтожество в умственном отношении и глубоко-отрицательная величина в нравственном.

На ряду с враждой к крепостнику-помещику отрицательное отношение Левитова к крепостничеству выражается и в его ненависти к крепостническому государству как юридическому «порождению» крепостничества.

Левитов останавливается только на периферии крепостнической власти.

Эта периферия, в лице «окружных», «становых» и их письмоводителей, приказных и т. п., изображается Левитовым в сатирическом тоне. В первом же своем очерке — «Типы и сцены сельской ярмарки» — Левитов создал очень цельный тип Македона Елистратича Нетроньвозжева, письмоводителя и «сподручника» станового пристава, этого, как саркастически называет его Левитов, «благодетельного действователя», одного из тех «опытных и образованных мужей», которых «устроители общества постановили выбирать» для того, чтобы они «смотрели за нравами массы, обуздывали ее страсти и вообще... как говорится, производя суд и расправу, счищали нравственную грязь с народа, порученного их надзору». В этом очерке, в котором заметно подражание Гоголю, ярко описаны «благодетельные действования» и самого станового и его сподручника, методы управления которых сводились к взятке и кулачной расправе с «мужварьем» и «суконными рылами», как на языке носителей крепостнической власти обозначался «низкий класс русского народонаселения».

IV

Из отрицания крепостничества и барства вытекает у Левитова отрицание дворянской тематики, над которой он прямо иронизирует, противопоставляя себя дворянской литературе, как писатель.

Выше мы отметили ироническое отношение Левитова к женским образам дворянской художественной литературы в одном из его ранних очерков.

В очерке «Петербургский случай» в уста героя очерка, разночинца Ивана Николаевича, кончившего сумасшествием чиновника из семинаристов, он вкладывает следующую оценку дворянской литературы:

«— Отечественная литература! Классические собрания!.. — протяжно и злобно толковал Иван Николаевич. — Какая-такая литература? Нравов нет! Есть чорт знает что, которое всегда прощать должно, за которое всегда страдать должно, а тем для литературы нет... Следовательно? Ну и ее нет... Смеяться даже лень над этим безысходным никуда-негодяйством...

— Пушкин-то? Приятно слышать! Ха, ха, ха! Руслана и Людмилы я никогда не видал и видеть нужды не имею, — знаю, что кавказских пленников, хоть бы они были расприятелями со всеми княжнами в мире, черкесы отправляли без дальних разговоров коз стеречь,—знаю, что леса наши не в состоянии приютить у себя Дубровского с шайкой разбойников и с пушками, а если и приютили бы, то, к славе нашего доброго отечества, в нем таких горячих субъектов быть не могло. Ибо, как говорил один немец, содержатель зверинца, рекомендуя вниманию публики белого медведя, «по холодному его климату мы часто обливаем его холодной водой...» Да что в самом деле? Досадно! Гений унизился до каких-то засад, до пальбы, как есть

провинциальная театральная афишка или пошлые романы Дюма. Вот Сильвио тоже: они некогда состояли в военной службе храбрыми гусарами, честными ремонтерами, — были некоторые из Сильвио шуллерами, бреттерами, при всякой удобной оказии прятавшими под любой куст свою храбрость, — были они нахалами, развратниками, нелепыми мотами и всякого рода подлецами и дураками; но Сильвио великодушных быть не могло.

— Как об историке... я о Пушкине уже и говорить тебе не буду. Он нас обманул своей историей пугачевского бунта».

Из дворянской литературы лишь Гоголь является «основателем русской литературы», ибо он «научил нас подмечать в людях настоящие нравы».

Таким образом, в глазах разночинца дворянская литература искажала действительность.

На место дворянской тематики Левитов выдвигает другую. Златовратский приводит следующие слова Левитова:

«Да, а вот эта беднота-то и заполонила меня себе. Родная ведь она. Вот и теперь опять собираюсь бросить эту квартирушку: перееду на весну куда-нибудь в предместье, около заставы... Ах, какой там милый народец проживает!.. Бо-же мой!.. Лик божий, кажись, давно утерял, давно уж он весь от жизни измызган и заброшен за забор, как бабий истоптанный башмак, — а эдак вот проживешь с ними, побеседуешь по душе, ан там, на глуби-то, внутри-то, она и светится как светлячок, душа-то божья, и мигает. А кто к нему подойдет, к этой бедноте-то, вблизь-то, лицом к лицу, кто это будет до души-то это — в глуби докапываться?.. Никого нет, голубчик, никого. А ведь какие силы были!.. Вот хоть Лермонтов... Силища!.. А на кого наполовину ухлопал

себя?.. Кавалерство, как ржа, заело его... Измотался на нем, измучился... А за что? И на что столько потратил своей души, ума?.. Если бы с этим поэтическим-то чутьем, какое было у Лермонтова, да кабы он к этой бедноте подошел (а уж он пробовал ведь!) — что бы он там открыл!.. А его вон в анализ чувств княжны Мэри тянуло...» [1]

Оценка Лермонтова здесь вполне согласуется с той, которую Левитов дает в «Петербургском случае» устами героя очерка: иронически приписав Лермонтову некрасовскую пародию на его стихотворение «И скучно и грустно» и похвалив этот «хороший стишок», он «остальное» у Лермонтова объявляет «вздорным», «потому что, — говорит он, — и без него постоянно спрашиваем:

На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые:
Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?»

Левитовский разночинец жалеет Лермонтова за то, «сколько ран нанесли ему все эти княжны Мэри и т. д.»: «Сердце-то у него... стало словно бы камень какой: ни само не билось, ни того, что другие бьются, не понимало, или, быть может, и понимало, то по-своему, по-особенному...»

Итак, от дворянской тематики Левитов призывает перейти к изображению бедноты. Сам он признается, что еще во времена своей «бодрой и наивной юности» он

[1] Из литературных воспоминаний. А. И. Левитов. В сборн. «Почин», М. 1895, стр. 97.

загорелся «литературно-плебейскими стремлениями». «Яркие цветы моей молодости, — говорит он, — были безжалостно сожжены бурным наплывом каких-то огненных, неведанных мною тогда дум, которые, в видах их разрешения, неудержимо повлекли меня на тесное знакомство с людьми, от которых в большинстве случаев ближние убегают за тысячи верст» («Московский профиранец», 1873).

Когда под воздействием «грома четырех артиллеристов» (Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Белинского) юноша Сизой-Левитов «взял одр свой и пошел» в столицы учиться, его любимая сестра дала ему перед разлукой такой завет: «Ты только в господа не ходи... Знаешь, какие они, господа-то».

На эту неожиданную реплику сестры юноша Левитов старался передать ей свой восторг от «мысли о научном труде и о результатах этого труда». Кроме того, он тогда же выразил ей свои «литературно-плебейские стремления»: «Всегда только одно и буду делать, что везде и всегда говорить о наших развалившихся избах, о горе, которое безысходно живет в них, о наших головах темных, об умах обездоленных», — толковал он задумавшейся сестре. Он шел «учиться предупреждать слезы», падавшие «на высокие травы степные».

Эта юношеская литературная программа на протяжении творческого пути Левитова была расширена и дополнена: он стал изобразителем «горя» не только сел, но и дорог и городов, и столичной бедноты, а также обличителем буржуазного «хамского хамства».

Мы увидим ниже, насколько он осуществил вторую часть своей программы — научиться «предупреждать слезы» изображаемых им горемык. А пока остановимся на том, как изображал Левитов «горе» мужика.

V

Деревенская тематика в творчестве Левитова занимает также незначительное место. В общей картине деревни выдвигается на первый план ее «невообразимая нищета». Ни один деревенский пейзаж Левитова не обходится без «бедных хижин». Обычно Левитов рисует свою «далекую родину, цветущую роскошными полями, лесами и реками, — и людей, утонувших в безысходной и совершенно-невообразимой нищете». Люди эти наполняют «хилые, вонючие избы, наполненные орущими детьми, которых старшие, вместо хлеба, кормят тукманками, вместо ласк, ругают чертенятами, вместо свойственных всему живому стремлений — поддерживать и воспитывать молодую жизнь, — желают ей скорой смерти» («Петербургский случай»). «Наводят на душу тоску самую гнетущую уродливые и, как будто, хворые норы степных обитателей» («Степная дорога днем»).

Типична для Левитова лирическая зарисовка этого степного обитателя в образе бедного мужика в истасканном зипуне, плетущегося обок с надорванной клячей по грязи сельской улицы с таким горемычным видом, что «даже сельские собаки, всегда злые до безобразия, пропускают их без обычного лая» («Блаженненькая», 1862).

«Тяжелая, печальная дума всегда покрывает лицо степного человека, изморенное сокрушительным трудом, иссушенное убивающими нуждами» («Уличные картинки — ребячьи учители»).

Левитов сожалеет, что безвозвратно минули ее (родной стороны) волшебные, сохранившиеся только в сказках дива давно прошедшей жизни!» Вместо «громкого шага» сильных, могучих богатырей наших сказок, «по всем местам степным угрюмо скитается теперь наша

мужицкая горе-жизнь, в виде горемычного, обезуглевшего побирушки-старца с толстою клюкой, которой он, ходючи по нашим деревням и селам, вколачивает в гроб взрослых людей и отнимает разум и рост у малых ребят» («Уличные картинки — ребячьи учители»).

В нищей деревне, в изображении Левитова, царят дикое невежество и суеверия, воспитываемые с детства.

Мужик крестится, видя блуждающие огоньки над земляным старинным валом, потому что ему «в детстве старой бабкой сказано было, что это очи демона, стерегущего богатый клад, зарытый в старину каким-то разбойником» («Типы и сцены сельской ярмарки»).

Проходящего по сельской улице путника деревенские ребятишки принимают за «цыцарца» (шарманщика), и его никто не хочет пустить ночевать («Насупротив», 1862).

В очерке «Степная дорога ночью» вставлена целая серия рассказов о колдунах и оборотнях, вера в которых иногда отражается трагически на тех, которых принимают за колдунов (например, мужики, сочтя колдуном пономаря, затравливают его и делают его жизнь невыносимой — в очерке «Сказка и правда», 1872).

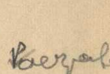
Очерк «Деревенские картинки» (1870) описывает крестьянские настроения перед открытием в деревне школ. Эти будущие школы представляются темному деревенскому люду симптомом, знаменующим пришествие антихриста, которому якобы «теперича желательно *ужбилищей* оплесть» мужика.

Единственными деревенскими «университетами» и «академиями» являлись долгое время сельские дьячки и отставные «ундера», эти «мастера отшибать и рост и ум у малых ребят» («Горбун»). Этим «университетам» Левитов посвятил не один очерк («Сельское ученье», «Дворянка», «Горбун»).

Невежественные обитатели деревни обычно служат объектом обмана со стороны ловких людей: то молодой крестьянке какой-нибудь купец продаст «отворотный» или «приворотный» корень («Типы и сцены сельской ярмарки»), то солдат возьмет у мужика деньги за «корень-дражнилку», который якобы обережет мужика от воображаемых бед из-за тюка газет, погруженного в его телегу («Газета в селе»).

VI

Нищая и дикая деревня находится в полной зависимости от кулака-мироеда. Здесь в изображении Левитова выступает на сцену то «хамское хамство», о котором он говорил Златовратскому.



Яркой иллюстрацией этого хамства может служить рассказ «Расправа». Бедная вдова подвергается экзекуции в волостном правлении и продается в кабалу кулаку по решению «мира» только из-за ссоры с женой кулака, которая не пускала бедную бобылку к себе на двор взять забежавшую туда ее овцу.

В описании «расправы» с бедной бобылкой рельефно выступают характерные черты кулацкой власти в деревне. Представитель администрации, волостной писарь, всецело на стороне кулака. На мирском сходе, спаиваемом кулаком, присутствуют лишь те, «кто был побогаче и позначительней». Естественно, что «мирской суд» выносит желательный для кулака приговор. Один из участников схода, «толстый мужик», в ответ на сожаления соседа о том, что бобылку «за ее же добро с корнем вон вырвали», резюмировал создавшееся положение следующими словами: «А рази она первая? Рази теперича мир без угощенья может прожить? Опять же она не бранись! Знает, что богатый мужик, а на задор лезла.



Рази он ее за одну свою обиду искоренил? Ведь видела она, что мир с ним спорить не может».

Картина кулацкой эксплоатации в деревне дана в повести «Накануне Христова дня».

«У нас на степях всегда так-то, — рассказывается в повести, — только что въезжаешь в какое-нибудь село, сейчас тебе напротив церкви, на самом бойком месте дом покажется, объемистый такой дом, двухэтажный... Таким-то он медведем коренастым из всей кучи сельских домов выглядывает, что сразу узнаешь: купецкий, мол, это дом...». При таком доме «никаких таких причандалов», вроде садика, палисадника или огорода, не бывает. «А просто возьмет себе такой дом самое привольное место, или на церковном выгоне, или близ большой дороги, при въезде, обнесется крепким забором, крепость какая словно, глухо и гладко соломенными сараями накроется, — и стоит он себе господином, и видишь ты, что над всем селом господствует он, что все он в своих сильных руках держит. Выше таких домов, кроме церкви господней, ничего во всем селе и не бывает... Разными светлыми красками расписанные, все-таки бирюками какими-то страшными глядят на божий свет дома эти, словно бы еще покрепче хотят они около себя забор своротить, словно бы глуше еще охота припала ему соломенными сараями со всех сторон призакрыться. Не в пример страшней тебе этот дом собак лютых, какие хозяином спущены хозяйское добро сторожить, потому от собак тех можно палкой отбиться, а от злой нужды, которая бедный народ в такие дома загоняет, не отобьешься ничем. Великую скорбь претерпеваем мы, бедняки, когда нас бедная доля наша в дома те приводит. Хозяева их наши лошадиные труды по своей воле самой завалящей копейкой оценивают. Так мы их лупилами и зовем, — тем маленько в горе своем великом и утешаемся только...»

В повести далее дано описание кулацкого дома, так сказать, в действии. В доме кулака Ивана Липатыча «широкие ворота настежь отворены, потому ссыпка идет хлеба на дворе... Тут-то и происходила самая главная торговля. Сюда-то со всех сторон волной необузданной и валил народ. Только и слышно было, что в имя Ивана Липатыча словно в колокола перезванивали. Чуть кто встретится с кем, сейчас спрашивает: куда, мол, родимый? — К Ивану Липатычу, золотой. Недохваточки разные есть. — Ох, не ходи, пуще зверя лютует. Меня сейчас в три шеи со двора-то пугнул, — делов, говорит, очень много!»

Эксплоатация попадающих в сети кулака идет полным ходом. Вот бабенка, принесшая в подарок «лупиле» яичек, оставляет у него холстину за полтинник, а рассчитывала продать ее рубля за четыре. «А тут уж целая куча мужиков и баб стоит, своей очереди дожидается»: кто пришел за деньгами, которые кулак задолжал за товар и не отдает теперь, ссылаясь на недосуг, кто принес вещи в заклад, а то и просто краденое. Ссыпающих хлеб мужиков кулак обмеривает и обсчитывает. Одному протестанту мало того, что не отдал денег, а еще и выгнал и избил его в кровь. Такие расправы кулака происходят совершенно безнаказанно: «исстари у нас это ведется: без всякой опаски богатые бедных колотят, да еще так тебя нужда-то пригнет, что ты же его благодарить станешь: спасибо, мол, что уму-разуму научил».

Такая безнаказанность кулака вытекает из уверенности его в том, что крепостническая власть станет на его стороне. В рассказе «Именины сельского дьячка» (1863) кулак, церковный староста, на угрозы избитого на именинах мещанина подать жалобу становому, заявляет: «Рази ты не знаешь, что я всех вас тут до единого человека, и с становым, и с потрохами его, куплю и продам, и опять куплю и опять продам...»

VII

Отрицательное отношение Левитова к растущему капитализму проступает во многих его произведениях.

В очерке «Бабушка Маслиха» (1864) говорится о «новых новостях», которые «большим походом идут на старую степь» и которые являются не чем иным, как вторжением капитализма в захолустную провинцию. Болезненность этого процесса выражается в том, что от этих новостей «истома какая-то нападает на степных людей и болезнь». «То ли оттого это, — говорится далее, — что мы к старому очень привыкли, а то оттого, может быть, что не наши они, а надувает их на нас, как злую холеру, ветер далекий».

Перемены, происходившие в степной глуши под влиянием растущего капитализма, на языке одного из персонажей очерка «Степная дорога днем», старого деда-бахчевника, выражаются так: «В молодости в самом деле вольготнее будто бы жили, потому дешевисть была во всем, милый ты мой, самая, то-есть, добродетельная, благорастворение воздухов истинно райское... Чужому горю мы злорадостны, чужую беду сыскать мы злохитростны, а в старину простота была... Видно, други мои сердечные, по всему видно, последний конец земле наступает, — потому странние люди, в дальних краях какие бывают, то же и про дальние края сказывают. Немилость, говорят, божья, вообще, на всю землю легла, — ни к чему, сказывают, подступу нет — дорого!.. Что прежде даром давали, за то ноне деньги плати, а денег-то и нет, взять-то их у нас на степях негде...»

«Или бы уж в самом деле, говорят, — вторит рассказчик, от лица которого излагается повесть «Накануне Христова дня», — что к страшному суду близится время, потому и в росте и в силе мельчает народ наш, —

грамоту перенявши, поступает, как скот необузданный, и в пьянство вдается беспросыпное. Чего у нас прежде слыхом не слыхали, то теперь на каждом шагу видишь: дети против отцов пошли, жены мужей, а мужья жен обманывают, у службы господней по праздникам-то бывают-таки, а уж в будни одних только старушек увидишь. Наряжается молодежь, по будням даже, в платья цветные, в легкомыслии своем почтения никакого старшим не дает и над советами глумится. Так вот так-то. Много, сказываю, всякого, в старину неслыханного и невиданного, в эти двадцать годов влезло к нам в степи и смирную нашу жизнь до самого дна замутило».

Во всех подобных высказываниях Левитов отмечает проникновение в глухую степь капитализма, несущего для народной массы новые бедствия и разлагающего устои натурального хозяйства.

В некоторых своих очерках Левитов высказывается против капитализма как такового.

Так, в очерке «Запивоха» (1865), описывая дом московского купца, Левитов говорит: «Много их таких домов, красноречивее, чем Писемский характеризует нигилистов, говорящих про себя: «Меня выстроило *мещанское счастье* с тем, чтобы посредством меня грабить и убивать и без того ограбленную и убитую столичную бедность».

«Мещанское счастье» — это, как говорит Левитов, «многозначительное слово», которым «определяется у французов» буржуазное благополучие, у нас соответствует пословице: «*себе при жисти — про свое доброе здоровье, опосля смерти — за упокой души*».

Иронизируя над Писемским, давшим, как известно, реакционное изображение людей 60-х годов, Левитов, в противовес ему, подчеркивает грабительские тенденции буржуазии и эгоизм, лежащий в основе накопления.

Буржуазный эгоизм, по мысли Левитова, является источником «всеобщего зла». Эту мысль Левитов выражает в очерке «Московский профиранец» (1873) так: «С неиссякаемым любопытством, — говорит он, — около двадцати уже лет я смотрю на разнообразное зло жизни — и досмотрелся до такой степени, что так называемые ее светлые стороны кажутся мне сантиментальною ложью, придуманною человечеством для возможного смягчения роковых жизненных бед. Мне самому даже очень видны односторонность и ошибочность моего мышления, деятельность которого так долго возбуждалась все одним и одним, хотя и бесконечно-широким видом людских страданий; но, тем не менее, я вовсе не расположен исправлять эту ошибку моей мысли, потому что тот суровый мир, в котором она вращалась и вращается, без остатка выгнал из моего сердца все те злые движения, руководствуясь которыми, *человек эгоистически около одного себя группирует как можно больше жизненных благ, увеличивая тем массу всеобщего зла*» (курсив наш. — *И. Е.*).

В этих словах содержится прямое отрицание капитализма как принципа.

Мы привели выше иллюстрации капиталистической эксплоатации в деревне, данные Левитовым. Однако протест против буржуазности, против капитализма в творчестве Левитова отражается главным образом в том, что он не приемлет буржуазного быта.

Левитову приходилось наблюдать быт представителей капитализма эпохи первоначального накопления, капитализма отсталого, варварского, хищнического, некультурного.

Яркую и уничтожающую характеристику этого буржуазного быта, именно быта представителей торгового капитала, особенно провинциального купечества, Левитов

дал в многочисленных очерках. Во всех этих очерках нарисована мрачная и гнетущая картина уездной мещанско-купеческой Руси. Это — подлинно «звериная жизнь», как она клеймится в «Сладком житье» (1861), которая засасывает и губит все человеческое, это—«острова тины» и грязи» на житейском море, «сплошь покрытые непроходимыми дикими порослями», «дремучими лесами», откуда раздаются «отчаянные, беспомощные крики жертв, которых неумолимо пожирает там гибельный порядок вещей» («Запивоха»).

Это—то же «темное царство» отсталой торговой буржуазии эпохи первоначального накопления, которое нарисовал и Островский. Но у Левитова быт купца изображен без всякой слащавости и идеализации.

В повести «Накануне Христова дня» дана история семьи капиталиста-хищника.

В этой же повести и в других очерках находит яркое отражение самодурство и деспотизм главы купеческой семьи — семейная жизнь, в которой правила Домостроя доведены до крайности. Таковы очерки: «Сладкое житье», «Горбун», «Яков Петрович Сыроед» и др.

Одной из любимых тем из купеческого быта у Левитова является тема о гибели «девичьей души», попавшей в купеческую семейную тину («Запивоха», «Горбун», «Сладкое житье»).

Левитов показывает, как самодурство, хищничество, преступления в этой среде сочетаются с набожностью. У Липатки, нажившего капитал путем разбоя и убийства, «бог» не сходит с языка («Накануне Христова дня»). Религия делается служанкой буржуазии и покрывает все ее гнусные дела. В очерке «Верное средство от разорения» (1865) выведен московский первой гильдии купец Абрам Сидорович Переметчиков, прикидывающийся кающимся во грехах и находящий средство от разорения в том, что на крестном ходе похищает и поселяет у себя

в лавке какого-то блаженненького урода, который и приносит ему «счастье»: покупатели валом повалили в его лавку.

Психология представителя торгового капитала очень метко охарактеризована в словах одного из персонажей очерка «Бесприютный» (1870), богатого купца, которого главный герой очерка, «бесприютный» старик, вздумал однажды обличать за его хамство. «Я шумлю ему, — рассказывает он, — зачем ты из своих работников кровь пьешь? Зачем им денег не платишь, — по мировым да по становым поминутно таскаешь». На эти обличения и на напоминания старика о божьем наказании за это купец даже «горячею слезою залился» и дал следующий характерный ответ: «Чувствую сам — взыск с меня большой будет на страшном суде; но иначе жить мне невозможно никоим образом. Сначала... мошенничал я кое от бедности, кое себя от других аспидов сберегал, а теперь привык, втянулся... Надуваю когда какого человека или просто, смеха для ради, каверзу ему какую-нибудь подстраиваю, все нутро изнывает у меня от радости, — голова ровно у пьяного кружится... И никакими манерами в те поры мне совладать с собой невозможно... А что... насчет сердца, так я очень добер: бедность всячески сожалею и очень ее понимаю; но только чтоб я помог ей, — никогда! Хошь расказни, так ни гроша не дам, потому как только она, бедность-то, поправится, встанет на ноги, пооперится безделицу, над тобой же надсмеется и тебя же обманет».

VIII

Бичуя кулацкую эксплоатацию, буржуазность, «мещанское счастье», буржуазный эгоизм, отрицательные стороны капитализма, Левитов не то что враждебно, но

несочувственно встречает город, где капитализм развивается более быстрыми темпами и где отрицательные его стороны обнажаются совершенно.

Город портит людей. «Много этот народ, из-под матушки Москвы с разными мастерствами к нам наезжающий, люду у нас доброго на степях с толку сбил», — говорит устами рассказчика Левитов в повести «Накануне Христова дня». В степь идут хищники, вроде Липата Семеновича, наживающего капитал обманом или прямым разбоем.

Под влиянием города «сельская трудовая жизнь начинает изменять свои патриархальные нравы», «в несколько лет мужицкая семья меняет свои крепкие сельские нравы на изнеженные нравы горожан, и, вместе с этой переменой, неприметно тает и деревенское хозяйство, собираемое целыми десятками лет» («Сельское ученье», 1872).

У больших городов «длинные и цепкие руки! Неустанно шарят они по нашим степным захолустьям, и все, что мы бережем про свои редкие радости, все, что скрашивает нашу жизнь горемычную, безжалостно хватают эти руки и волокут к себе не на долгую потеху городских душ разжирелых» («Дворянка», 1863).

Лучших девушек деревни, с глазами «светлыми и ласковыми», с душой, «что у ангела, доброй и приветливой», город превращает в озлобленных проституток, потерявших свою девственную душу и образ человека. Этой теме Левитов посвятил много прекрасных и прочувствованных страниц («Дворянка», «Девичий грешок» и др.).

«Многолюдная толпа, населяющая большой город, сваленная в одну кучу своими жизненными надобностями, копошится в этой гибельной свалке» («Беспечальный народ», 1869).

Улицы большого города «зияют всепоглощающею пропастью». «Тускло освещенные ночными фонарями, они казались какими-то неведомыми областями, где безвозвратно должно затеряться и погибнуть всякое живое существо. Так были мрачны и угрюмы лица этих каменных столичных громад, с такой пугающею силой выглядывали они из ночного мрака, что все существо ваше проникалось каким-то безотчетным томлением при виде этой силы» («Крым», 1862).

Надежды и стремления «свежей, не испорченной еще грубой действительностью молодости» столичные люди «оплевывают бесчисленными плевками» («Говорящая обезьяна», 1870).

«Если где-нибудь на провинциальном горизонте загорится действительная звезда и осветит непроглядную тьму своей родины», то, «в большинстве случаев», «целым рядом демонских искушений столичный город сманивает звезду с неба, на котором она светила, и устанавливает ее на своих проспектах, вместе с различными фальшфейерами и мертвенно блестящими гнилушками» («Говорящая обезьяна», 1870).

Город — это «чудовище», готовое «поглотить» любого в него попавшего («Фигуры и тропы о московской жизни», 1865).

Вредное влияние городской цивилизации простирается далеко в окрестности большого города. «Разбушевавшаяся в Москве многолюдная жизнь перешла, наконец, через край и с сердитым шумом разлилась по шоссейным дорогам... Поедете вы по шоссе с своим желанием тишины и покоя — и Москва пойдет за вами с своим вечно и безалаберно орущим горлом». Далеко за пределы города идет «цивилизация, прилипшая на Сухаревском рынке, вместе с грязью, к лаптям пьяного мужика и притащившаяся, вместе с ним, в село на беско-

нечное дивованье и порчу простого сельского народа, — цивилизация, главный характер которой заключается в невыразимом нахальстве, странно соединенном с идиотической тупостью» («Сказка и правда», 1872).

«Подлым представлениям» пригородной цивилизации Левитов посвящает несколько очерков («Беспечальный народ», «Бесприютный», «Шоссейный день», «Не к руке»).

В первое время Левитову, пришедшему в столицу «из глубины степей», казалось, что жизнь этих степей «в неисчислимое количество раз... и деятельнее, и разумнее жизни, так возмущавшей своим громом его степную натуру против столичной деятельности» («Погибшее, но милое создание», 1862).

Не раз он желал бы «возвратиться к родимой сохе, в родную степь» («Дворянка»), мечтая о «мирном гении тихой сельской деятельности» («Мое детство»). Но было бы ошибочно думать, что здесь он стоял на точке зрения крестьянина, враждебного городу, откуда капиталистические щупальца добираются до него. Тяга к деревне и к ее «мирному гению» — это здесь не более как мечта горожанина, давно потерявшего и веру и вкус к «сельской деятельности».

В письме к И. З. Сурикову 21 октября 1875 г. Левитов писал:

«Ты пишешь, что здесь в глуши жить лучше, вольготнее; а меня в город опять что-то зовет, к себе кличет. Знаю я, что в городе напрасно искать чего-либо доброго. И в деревне бедность, но в городе — нищета; всюду голь, не только на окраинах, но и в богатых домах. Каждому хочется жить лучше, чем он может. Вот и растут и множатся толпы гольтепы городской и деревенской. Пока мужик в деревне живет — все ему нравится. И жена корявая кажется ему раскрасавицей, и дьяк — не весть мудрецом каким, а краюха хлеба с квасом — ман-

ной небесной, а изба с подпорками — палатами крепкими. И стоит ему разок в город попасть, там пожить да помаяться — полетит все тормашками. Здесь он по три раза на день чай пьет с лимоном да булками, музыку со звонками да барабанами слушает, по улицам на девок в шелковых чулочках насмотрится. Критиковать станет и умствовать. Теперь ему в деревне и скучно и нерадостно. Жить лучше хочется. А откуда взять? за работу ведь лучше платить никто не станет. Вот и попадет он на Хитровку, а оттуда никто назад не воротится.

Все это я так, только для примера, о мужике рассказывал. Эта песня и для нашего брата поется. Кто привык к городу, вкусил его прелести, тому в деревню иль городок маленький лучше не ехать».

Сочувствуя мужику в его бедности, Левитов однако не был его идеологом. Его более привлекает к себе столичная беднота, которой посвящена и более значительная, чем мужику, часть его творчества.

В столицах его интересуют прежде всего «несчастные шеренги бездомных людей», обитающих в «норах и трущобах», в «комнатах снебилью», в «пещерах с промерзшими стенами», во всевозможных углах и «закоулках» так называемых «девственных» улиц большого города. «Лучшие дни молодых годов моих, — говорит Левитов, — безвозвратно прожиты мною в этих тайных вертепах, где приючается, как может, пугливая бедность» («Московские комнаты снебилью», 1863).

Все это — падающие или совсем опустившиеся на дно представители мелкого городского ремесла (сапожники, портные и т. п.), мастеровые из небольших мастерских мануфактурного типа (кузнецы, слесаря, красильщики, швеи, цветочницы и т. п.), бездомные студенты-разночинцы, мелкие чиновники, разные деклассированные элементы из разорившихся купцов или дворян, нищие, про-

ститутки, наконец, преступные типы — мелкие воры и жулики разного рода. В большинстве случаев это—настоящие люмпенпролетарии, босяки.

Левитова тянет к этому миру бездомных людей, социально ему близких.

«При виде бедных людей, — говорит он, — этих сотоварищей печального пути моего по бурному, если не смешно так выразиться, морю житейскому, живее чувствуется мне мое прошлое горе, глубже западают в душу настоящие невзгоды и путы, потому что грустно размышляю я в это время о бесконечном ряде справедливых жизненных драм, обыкновенно разыгрывающихся в этих комнатах на страшную тему о погибели молодой, энергичной жизни, разбитой нуждою железною» («Московские комнаты снебилью»).

В галлерее городской бедноты Левитова напрасно стали бы мы искать протестующие натуры, энергично ищущие выхода из бедственного положения. Напротив, это все надломленные люди, безнадежно несущие ярмо бедности, покорные своей судьбе, впрочем, иногда озлобленно, но бесплодно «рычащие».

IX

Левитов явился изобразителем «горя» народной массы (главным образом городских низов), «бедности» и «дикости», которые «одолели» ее; он протестовал против крепостнического и буржуазного «хамства», угнетавшего народ. Но ради чего он это делал? В чем он видел спасение народа от надвигавшихся на него бедствий? Каким положительным идеалом освещался его протест? Наконец, выразителем какой социальной группы он являлся в развернувшейся в 60-е годы борьбе за двоякий путь развития капитализма в России?

Пол. взгл.

Прежде всего надо отметить, что какой-либо твердой программы для «предупреждения» народных слез Левитов не имел.

Для Левитова жизнь действительно казалась «безалаберным морем безалаберных дел людских» («Аркадское семейство»).

По свидетельству его биографа, Левитов собирался писать роман, в котором он обещал показать положительные и отрицательные идеалы русской жизни. Нефедов приводит следующие слова Левитова, сказанные им весной 1876 года:

«Что это, господа, за странное, за больное время мы переживаем, — говорил Левитов; — лучшие люди не знают, куда им приткнуться, что им делать, и отсюда — масса всякого рода безобразий, непонимания самых простых вещей и какое-то тупое озлобление, страшные междоусобные битвы?! Куда ни обернись, все так печально, безнадежно... никакой солидарности, никакой устойчивости мысли и определенных убеждений не видишь, каждый живет и действует в одиночку, держа за пазухой камень с целью, при первой возможности, запустить им в своего ближнего... Но все-таки я примечаю в современной безалаберности признаки чего-то нарождающегося лучшего, что даст нам, с божьей помощью, выйти из заскорузлости и выступить на путь здорового развития наших сил. Я почему-то глубоко верю в будущее России и надеюсь, что мы не пропадем.... Не еще же тысячу лет мы будем одними галманами да оголтелыми... Будет, посрамились уже не мало, живучи-то на белом вольном свете...» [1]

Однако эти замыслы Левитова не осуществились. Вместо романа, в котором он собирался развернуть

[1] Ст. *Ф. Д. Нефедов* в I томе собр. соч. А. И. Левитова, 1884, стр. CXXIX.

«положительные идеалы» русской жизни, он оставил отрывок и план повести «Сны и факты», на одну из своих любимых тем о гибели талантливого разночинца под тяжестью российских нравов. Задумав сначала поставить эпиграфом к повести цитату из Некрасова о переходе из стана «ликующих и празднoболтающих» в стан «погибающих за великое дело любви», — цитату, явно намекающую на путь революционного разночинства, — Левитов однако заменил ее цитатой из Полежаева: «Я погибал, мой злобный гений торжествовал» и таким образом отказался от мысли изобразить переход героя на путь революции, а ограничился моментом его гибели под влиянием «подлой действительности».

Это станет понятным, если мы рассмотрим, как же Левитову рисовался «путь здорового развития наших сил», судя по тому, что он успел сделать на своем литературном поприще.

X

Революционные разночинцы 60-х годов, во главе с Чернышевским, для коренного изменения гибельной для народной массы «подлой действительности», для мрачного изображения которой Левитов не жалел красок, видели единственное средство в крестьянской революции, в восстании крестьянской массы.

«*Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни;* отсюда *вера в возможность крестьянской социалистической революции* — вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством». [1]

[1] *Ленин.* Соч., 1-е изд., т. I, стр. 178.

Левитов к этому революционному крылу разночинцев не примыкал, не разделял его веры в революционную силу крестьянства.

Правда, он отметил, как мы видели выше, мысль, бродившую в головах крепостных об изгнании барина «в три бы шеи со двора». Но мы напрасно стали бы искать у него хотя бы малейший симптом, показывающий, что крестьянская масса способна реализовать эту идею.

Напротив, в мужицких избах он заметил лишь «молчаливое и безустанно работающее уныние». Бедность «немосковская» «молчалива и убита, ибо трудно ей спророчить, когда она разбогатеет и хоть сколько-нибудь оживет» («Нравы московских девственных улиц», 1864). Символически Левитову представляются «лица немосковские, пораженные этой болезнью» бедности, «каменными статуями, изображающими собою беспредельное горе». «Я только плачу втихомолку, — говорит Левитов, — когда такая статуя окинет меня своими впалыми, без малейшего признака слез, глазами...» Плача, Левитов, конечно, сознает бесплодие этих сочувственных слез: «Плачу... и вместе с тем глубоко страдаю, — говорит он, — от той нравственной боли, которою уязвляют мою душу эти глаза, ибо в них мои собственные глаза имеют способность читать такого рода красноречивую вещь:—ты, брат, тово, не гляди лучше на меня,—мне и без тебя тошно. Мало ты мне, друг, утехи своим гляденьем даешь. Ты бы там иначе как-нибудь для меня порадел...» (там же).

Степной человек, которого больше всего изображал Левитов, непременно делается «молчаливо-печальным», «покорно-страдающим». «Благослови вас бог, — взывает Левитов, — труженики, на силу и терпение в вашей работе-страде». «Горе» степное — «измученное, истерзанное, обезумевшее и окаменевшее в своих страданиях до полного равнодушия к ним» («Степная дорога днем»).

Конечно, Левитов чуял в мужицкой массе какие-то скрытые потенциальные силы. Когда он наблюдает, например, как «взрослая деревенщина, рассевшись на бревнах, которыми обыкновенно бывают завалены кабацкие площади», «играет» мужицкую песню «с громким свистом и разухабистым криком», ему кажется, что этим криком и свистом мужики хотят покрыть «лютые злобы, что, словно гремучие струи, неудержимо бьют из каждого слова и из каждого удалого и веселого выкрика».

«Смышленые души, — говорит Левитов, — когда играют такую песню, так у них в это время глаза, как праздничные свечки, горят, а из разгоревшихся глаз горючие слезы бегут; из самого забитого и тщедушного тела, как бы гром какой, вылетает в такое время самый толстый голос, которым во всю ширину сельской улицы стонут и охают утомленные мужицкие груди. Страх какой-то, — добавляет Левитов, — и томленье тяжелое западает в душу, когда по темным ночным небесам летит эта стозевная песня, всею сотней ртов своих громко скорбящая и охающая» («Выселки», 1864).

Таким образом, скрытые «лютые злобы» ничего хорошего не предвещали, а внушали лишь «страх и томленье».

Не рассчитывая на крестьянство, на его революционную способность изменить к лучшему свое положение, Левитов больше тяготел к городской бедноте.

В противоположность «бедности немосковской», «бедность московских девственных улиц» его «радует», потому что «она рычит и щетинится, когда ей покажется не очень просторно и не очень сытно в темных и тесных берлогах». Более того, в этих «движениях» столичной «бедности» он замечает «несомненные признаки того, что бедность эта скоро поправится и разбогатеет» («Нравы московских девственных улиц»).

Но здесь приходится согласиться с Шулятиковым, что в этих словах звучит лишь ирония, а не действительная вера в силу городской бедноты, ибо ее «рычание», как его изобразил Левитов, не более как крик беспомощных, бессильных существ;[1] поэтому Левитов иронически и добавляет, что «бедность» разбогатеет, «хотя, может быть, и не вдруг, хотя богатства ее будут далеко не те, про которые говорят, что они неисчерпаемы».

Левитов был выразителем и идеологом той части мелкой городской буржуазии, которая, в лице ремесленничества, представляла неустойчивую социальную группу, под воздействием растущего капитализма в большинстве разоряющуюся и падающую на дно.

Конечно, эта социальная группа не могла дать Левитову твердой опоры для построения программы избавления народа от бедствий.

«Городская беднота, — говорит Ленин, — не представляет ни самостоятельных интересов, ни самостоятельного фактора силы по сравнению с пролетариатом и крестьянством. Решающая роль за деревней, не в смысле руководства борьбой (об этом не может быть и речи), а в смысле обеспечения победы».[2]

XI

Не разделяя веры в революционные методы избавления народа от нищеты и вытекающего из нее «горя», Левитов ограничивался скорбными излияниями по поводу этого горя.

«Эх ты, проезжая степная дорога, — взывает он, — широкая, вдоль и поперек потом и кровью залитая! Когда

[1] *В. Шулятиков.* Критические этюды. Памяти А. И. Левитова. «Курьер», 1902, № 14.

[2] *Ленин.* Соч. т. VIII, 1-е изд., стр. 34.

это так же часто будет ходить по тебе светлая радость людская, как часто ходит теперь по тебе людское темное горе!..» («Степная дорога днем»).

Вместо революционного протеста, вместо призыва к активной борьбе, он заботится о «мире» и «покое страждущих душ».

«Боже, — молит он, — в души больных моих страдающих братьев тишь бы такую ты послал» («Целовальничиха»). «Мир вам, добрые, бедные люди! — взывает он в другом месте. — Мир тебе и покой, бедная родная сторона моя...» («Степная дорога днем»). «Я тебя постараюсь, как можно тихо, окликнуть, бедный народ! — говорит Левитов в очерке «Московские комнаты снебилью» (1863). — Я спою про тебя, вечно ноющая, вечно голодающая птица *комнат снебилью*, настолько незлобивую песню, насколько незлобивых жизненных тем набралась в этих клетках моя собственная озлобленная голова. О, мир вам, люди покоробленные, а чаще, как дуга, согнутые всесильною нуждой! Мир вашим снам, озлобленно тревожным, ногам вашим, вечно снующим и ничего не выхаживающим, всегдашней злобе вашей желаю я скорого угомона!»

Не находя никаких средств для избавления людей от тех мерзостей, которые он наблюдал всюду в поисках «правды жизни», Левитов не мог делать ничего другого, как только слагать «молитвы к небу», зажигавшие его сердце «несказанным жаром любви к природе и людям» («Счастливые люди», 1868).

Однако и это переставало его утешать, и «прекрасное, всегда утешавшее его небо» иногда принимало в его глазах «какой-то холодный, исполненный неумолимой, но прекрасно величавой мудрости образ», который, «будто бы отвернувшись» от него, «наотрез говорил» ему: «О чем ты просишь? Молчи — и иди».

«И я шел, — говорит Левитов, — я шел; но с каждым шагом становилось бремя мое тяжелее...» («Счастливые люди»).

Ему остается удовлетворяться снами, в которых грезится ему «обещанное царство благодати, тихое царство, без слез и скорбей, разрушающих жизнь» («Счастливые люди»).

Когда-то в юности он мечтал итти в столицы, туда, «где битва», — теперь «битва» его не увлекает. Он ищет в столицах девственные улицы, влекущие к себе его сердце «поразительной и своеобразною бедностью».

XII

Протест Левитова против крепостничества не носит революционного характера. Правда, совесть, жизнь побожьи — вот мотивы, лежащие в основе левитовской критики крепостничества и капитализма.

Протест против кулацкой эксплоатации является чисто моральным протестом. Отрицание кулака основывается на невозможности его стать «нравственным». «Для нравственности уснул, умер человек разбогатевший, — говорит Левитов в письме к Сурикову в октябре 1875 года. — Ночь духа царит в душе его зачерствелой. Сыт он, ожирел, а потому всем доволен — и собой и жизнью. В дело он не идет, потому что ему хорошо, а расставаться с хорошим, известно, не хочется». [1]

В повести «Накануне Христова дня» недовольство хищнической деятельностью кулака («лупилы», как называла кулаков беднота) доходит даже до желания повесить его. Говоря о перекладинах весов в воротах кулака

[1] Из переписки русских писателей. «Русская мысль» 1903, кн. IV, стр. 148.

Ивана Липатыча, сына Липатки-дворника, нажившего капитал путем преступлений, рассказчик делает такое восклицание: «Эх, жаль умер Липатка! Кабы да на эти перекладины повесить его заместо весов, хорошо бы было, потому, глядя, как родитель качается, не стал бы, может, сынок плутовать да кровь нашу мужицкую пить...» Таким образом, это пожелание имеет целью лишь назидание для самого кулака, дабы сделать его «добрым».

В той же повести проводится мысль о неизбежности «божеского» наказания за богатство, нажитое злом: «Зле приобретенное, зле и погибает». «Велик господь в праведном гневе своем, — говорится в повести от имени ее рассказчика, — он, как говорят духовные люди, за грехи, отцами соделанные, детей их, даже до четвертого рода, наказывает. Укрылась грешная Липаткина голова в этом свете от осуждения и наказания человеческого... только ж нашли светлые божьи очи, на кого за грех этот наслать пламя свое палящее. Попалило это пламя всех детей и сродников разбойника даже до последнего малолетка... Все мы смотрели и видели, как многие годы тяготела рука господня над проклятым родом убийцы, как она, попустивши ему возвеличиться над нами, сломила, нам грешным в наставление благое, рог его гордый и поставила ниже самых низких!..

«Знает она [воля божья], куда какого человека повернуть следует. Заслужил ты, на гору она тебя вознесет; проштрафился, — под гору, и знай ты, человек, никто и никогда не удержит тебя на той дороге, по какой она тебя повесть благоволит».

Эта убаюкивающая мысль о возмездии характерна именно для мелкой городской буржуазии. «Мы от судьбы-то в лапах от люльки и по сю пору находимся», — заявляет один из обитателей подвалов, отставной «ундер» («Нравы московских девственных улиц»).

Та же мысль о возмездии проводится и в других очерках («Расправа», «Праздничный сон»).

Левитов говорил о себе, что он создан «быть ловцом душ, то-есть исправителем человечества» («Аркадское семейство»). Но сознание бессилия перед напором «ста миллионов людских глупостей и двухсот миллионов людских же подлостей», которые ему привелось видеть, «шатаясь из конца в конец по нашей широкой отчизне», сознание того, что он не знает пути, чтобы стать подлинным «ловцом», приводило его иногда «в неизъяснимое бешенство».

«Я, — говорит он, — до смертельной жажды томлюсь в это время желанием такой богатырской силы, которая бы всегда давала мне полную возможность всякого джентльмена, способствующего своею подлостью или глупостью равновесию земного шара, схватить за волосы целою горстью и тузить его — и тузить, дабы он, наконец, не препятствовал моему собственному *ндраву* быть добродетельным и видеть других таковыми же» («Аркадское семейство»).

«Не проходит ни одного дня, — сознается Левитов, — без того, чтоб я глубоко не скорбел об отсутствии в моих мускулах надлежащей развитости». В эти минуты он бывает «страшен как лютый зверь» и «обыкновенно летит к Пуаре учиться гимнастике». Но порыв кончается тем, что «свежий воздух», «скорый бег» и «хладнокровное, ничем не возмущающееся солнце» возвращают его от мечты к действительности, он делается все тише и тише, все решительнее бросает «свое намерение давать *практику* Пуаре» и наконец, «окончательно опомнившись», продолжает свои скитания, заломив набок свою «порыжелую бонвиванскую шляпу».

Протест Левитова против отрицательных сторон капитализма, которые вызывали в нем то слезы, то «злоб-

ную желчь», в сущности так же бессилен и наивен, как протест старого торговца печенками и легоньким против гнусностей содержательницы притона, которая заманивает к себе молодых, неопытных девиц и с выгодой для себя ставит их на путь проституции.

«Вавил-лон, — кричал старик, — Вавилон! Сичас от тебя, Вавилонище чортов, на другое место торговать пойду... Ни м-магу я глазами моими смотреть на тебя. Ни м-магу! Ни м-ма-аггу!..» («Московские уличные картины», 1870).

Левитов наблюдал капитализм эпохи первоначального накопления, капитализм отсталый, варварский, хищнический, некультурный.

В неоконченном очерке «Не к руке» (1873) Левитов саркастически смеется над этим патриархальным капитализмом, отходящим в прошлое. С явным сочувствием он читает отходную «матушке старинке», когда-то царствовавшей по шоссе, а теперь исчезнувшей под влиянием железной дороги.

XIII

У Левитова можно отметить общие с разночинцами-шестидесятниками просветительские тенденции.

Он желает, чтобы «степнина» рассталась с «своею дурью неисходною» («Новый колокол», 1863), ибо темнят ее «всего больше дикие думы», «разросшиеся в ее недосягаемой глуши громаднее и темнее лесов самых темных» («Насупротив», 1862).

«Иду я, — говорит он в очерке «Насупротив», — и со мною вместе идет безотвязная дума о мысленном убожестве этой прекрасной стороны... В ее [ночи] так выразительно молчащей тиши необыкновенно ясно и последовательно развивается эта дума, тихо скорбит и вместе

надеется, что, наконец, по всей неоглядной ширине разольется благодетельный свет живых мыслей и знаний, который неминуемо поставит угрюмого, печального человека этой стороны в полное согласие с ее веселой, цветущей природой...»

Но, пытаясь разрешить социальный вопрос, Левитов становился на точку зрения культурничества и малых дел.

4 мая 1870 г. Левитов пишет в письме к NN:

«Хорошая общественная жизнь составляется из того желтка, который мы, рабочие, в своем дому или, если хочешь, углу, индивидуумы, можем разлить возможным для нас образом на окружающие нас единицы».[1]

Мысль, высказанную здесь, Левитов не раз иллюстрирует в тех образах своего творчества, которые можно назвать «положительными» с его точки зрения. Культурнические типы с указанным «желтком» изображаются Левитовым с явным сочувствием.

В рассказе «Бабушка Маслиха» (1864) выведена старушка, мелкая провинциальная торговка, которая возит свою тележку, распевая старинные духовные стихи, «псальмы». Бабушка пользуется всеобщей любовью, ребятишки и седые чтецы заслушиваются ее «псальмами». «Крикливый уездный базар» относится к ней также «любовно», так как бабушка ласкова со всеми и ее торговля «без обмана», не как у «ярыжников-мещан». Ее «желток» состоит в том, что она рассыпает кругом свою ласковость, благость и доброту. То успокоит пьяного с горя, то чумаков удовлетворит добротным сальцем; больше всех любят ее голодные семинаристы, которым она особенно благоволит. Семинаристов она даже принимала под свою защиту, применяя своеобразный метод

[1] В ст. *Ф. Д. Нефедова* в Собр. соч. Левитова, т. I, 1884, стр. CXII.

борьбы с начальством духовного училища, теснившим «кутейничков». Этот метод заключался в том, что Маслиха становилась против двери смотрителя и начинала громить его и учителей за их притеснения и жестокости. Результатом бывало то, что «надолго затихал после такой бури учитель», какой-нибудь «Фалалей Славореченский», а слава о благодетельнице-бабушке росла среди бедного духовенства.

В очерке «Соседи» (1863) зарисован мужик Аким, как инициатор мирской помощи бобылке с детьми, покинутой мужем, который ушел в город. Он наделен теми же чертами благости, что и Маслиха.

В лице мужика Ивана в «Выселках» мы встречаем представителя «непротивленства», данного тоже как положительный тип. Иван является постоянной мишенью насмешек и издевательств односельчан, так как его отца считали колдуном. Но в противоположность отцу, который суровым отпором прекратил всякие попытки потешиться над ним, Иван не хотел силой расправляться со своими обидчиками, несмотря на уговоры жены. Наоборот, он старался воздействовать на них «лаской» и «тихостью». «Молчи-ка ты, Любушка, — говорил Иван жене: — одолевай-ка ты свое горе тихостью да смиренством. Способнее так-то невпример будет».

Единственное, на что он пошел, это выселиться из села подальше, на хутор, чтобы жить отдельно от «мира».

К «миру», к общине у Левитова мы находим явное несочувствие. В этом отношении особенно характерен рассказ «Расправа».

Правда, в «Соседях» Левитов как будто пытается нарисовать идиллическую картинку мирской помощи бедной бобылке. Однако центр тяжести в этом рассказе не на общине, а на культурнике Акиме, своею «тихостью» воздействующем на мужиков.

Кроме того, в этом же рассказе дан силуэт мужика Демьяна, который не может ужиться в общине и предпочитает уходить в город, несмотря на препятствия, чинимые «миром». Хотя это и «забулдыжный парень», но, вкусивши городской культуры, он уже не в состоянии терпеть «мирской» гнет.

Тот же Аким объясняет, почему Демьяна тянет вон из общины.

Когда мужики завели речь о том, что «надо бы Дему, этого беглеца, за пьянство его опять из города вытянуть», «пробрать бы его маленько на мирском суде, чтобы подать платил», или «хоша бы по началу ребятишкам своим на прокорм доставал», что «палок об него побольше обломать следует, чтобы он закон понимал», — Аким отозвался так: «Ах вы, законники, законники! От закону-то от вашего, от мужицкого, Демьян, может, и шатание-то свое возлюбил». На недоуменные возгласы мужиков Аким произносит целую обличительную речь, из которой выясняется, что Демьян был и в сборщиках, и в заседателях. «А вы заседателя-то, начальника-то своего, — говорил Аким, — сгорел у него дом, не уродился у него хлеб, поворовали когда у него лошадей, подохла когда у него скотина, — вы его на коленях по полдню морили на сходках, — молить его заставляли вас, чтобы подать ему отсрочить. В волоса ему любой из вас рази не вцеплялся на сходках-то этих, где вы его теперь закону-то своему учить сбираетесь? Где вам его закону учить! Сколько тут вас ни на есть, он один во сто крат, может быть, всех мудренее».

В этих словах Акима содержится настоящий обвинительный акт против общинных грехов и сочувствие «беглецу».

На реплики мужиков, что «только как теперича мир... Одно слово — сила», Аким прямо заявляет: «Известно,

сила! Только он, Демьян-то, на силу-то эту давным-давно наплевал... Уж он теперь силы этой не боится: он видел, как *сила-то эта больше хорошее, чем худое ломает*» (курсив наш. — *И. Е.*).

Рассказ «Соседи» идеализирует не общину, а «культурника» Акима и его методы воздействия на «мир», который якобы добреет под влиянием его филантропической агитации. Здесь сказался не поклонник общины, а все тот же апологет культурничества и малых дел.

У Левитова есть места, которые доказывают, что он к либералам относился враждебно. В «Говорящей обезьяне» (1870) герой отрывка с иронией упоминает о «бледных и желчных» столичных представителях русского богатства и «русского так называемого досужества вообще, с ненавистью говорит о «цынготном дыхании праздных пустоголовых шалыганов, плешивых Мефистофелей с широкими, тщательно прилизанными рожами, этой «деликатно-злой и стыдливо-нахальной столичной черни, которую, наперекор всякой логике и фактам, остальной люд единодушно почему-то условился называть сливками человечества, науки и искусства» («Говорящая обезьяна»). В этих словах чувствуется озлобление самого Левитова против столичной буржуазной интеллигенции.

В том же очерке дана резкая характеристика либерала-дельца. «Каждый день ему нужно показать свою каиновскую рожу, по крайней мере, в десяти комитетах, во стольких же заседаниях и у стольких же, если не больше, тех болячек, которые с лакеями высылают нищему свои старые чулки, чтобы затянул ими свою смертельную, кроваво зияющую рану. В одном месте он «горячо заявляет», в другом «никак не может удержаться, чтобы не отнестись с полным сочувствием», в третьем «благородно негодует», в четвертом «восторженно прочит

блистательную будущность положительным наукам» и т. д. без конца. Кроме этого, он находит еще время значительно пошептаться о чем-то с многозначительными знакомыми, которых у него целые полки... И так магически действует этот шопот на молодых и на старых, как некогда подействовало на пьяниц ауэрбахского погреба пламя, внезапно вызванное заклинаниями Мефистофеля из стола... И долго после этого шопота мятутся старцы и юноши, до тех пор мятутся, пока змея цивилизации снова не всунет в уши их жальца и снова не пошепчет им чего-то, успокоительно изгибаясь всем своим беспозвоночным хребтом». «Ай жиловат, собака, не изорвется», — говорит про него персонаж очерка и все-таки считает его «жалкой имитацией» западного либерала.

Левитов не любит бывать в буржуазной обстановке своих знакомых и предпочитает «девственные» улицы («Нравы московских девственных улиц»).

В «Грачевке» он с горечью упоминает о подлости человека, с которым он когда-то «делил все, что доставал своей мозолистой работой», и который теперь отказал ему в ночлеге.

Однако, проводя тенденции культурничества и непротивленства, Левитов сам проявлял не более как «культурнический оппортунизм, сливающийся с либерализмом, выражающий только интересы мелкой буржуазии».[1]

Протестуя против хищнического капитализма эпохи первоначального накопления, Левитов, однако, не возражал бы против капитализма просвещенного, культурного, даже «святого». Левитов создает свою утопию благодетельного капитализма, обнаруживая свое полное непонимание капиталистических отношений.

[1] *Ленин.* Соч., 1-е изд., т. I, стр. 188.

В этом отношении характерен очерк «Яков Петрович Сыроед» (1863). В очерке выведен богатый посадский купец, типичный провинциальный Тит Титыч, с одной однако особенностью: он помешан на религии и любит, чтобы «все считали его человеком святой жизни и в писании весьма сведущим». «Святость» он понимает в показном выполнении обрядов и постов, в действительности же он — типичный самодур, лицемер и ханжа, тайком наедающийся, а всем показывающий, что он—постник. Одним словом, это — яркий представитель торгового капитала.

Другой персонаж — дьякон—противополагается купцу как добродетельный капиталист и человек подлинной святости. Прежде всего это—«необыкновенно чудной человек», какого среди церковников «никогда и не видывали»: он не пьяница, не скупец, как другие церковники, говорит проповеди внятно, на доступные обывателю темы, учит мужиков, как им хозяйство свое сподручнее вести, для всех он советчик, ходит по избам больных лечить, грамоте учит не только ребят, но и взрослых, одним словом, является настоящим культурником в селе. В то же время это — бессребренник, за что дома его едят поедом.

Начальство к этому культурнику, конечно, не благоволит и почти каждый год то в монастырь какой-нибудь упечет «для исправления», то присылает выговоры через благочинного.

К этим действиям начальства дьякон относится с той же «тихостью» и «смиренством», как и упомянутый выше мужик Иван к своему «миру». На все вопросы, за что его наказывают, он неизменно отвечает: «А все за мои неправды держали! Даром, небось, наказывать не будут».

«И никогда-то ни на кого он не жаловался, никогда не винил никого, как другие... Больше же всего... крушили его труд и заботы о ближних»,

Наделив дьякона чертами святого культурника и непротивленца, Левитов наделяет его еще и богатством и тут же рисует такую идиллическую утопию о добродетельном и «святом» капиталисте:

«Ухитрился он как-то, по началу, у помещика земли в долг снять, сперва не много, а там с каждым днем все больше и больше захватывал. Работников тоже как-то сумел приискать; сбрую, лошадей где-то с подожданием денег нашел, и пошел он самой что ни на есть первою сохой во всем околотке, первым цепом и неустанным работником, накупил породистых сосунков-жеребят, поставил их на стойло и через два года большие за них деньги с ремонтеров взял; развел овец, снял бахчи, крахмальный завод выстроил, в Москву длинные обозы по зимам стал отправлять с разными тушами, и так все это чудесно обделывал он, что, может, во всей губернии богаче его вряд ли кто был бы, если бы он о бедных прежде всех богачей не заботился.

Весь уезд забыл, при его богатстве, как это длинными бездобычными зимами добрые люди без хлеба сидят; как ради подушного милое за немилое мещанам-кулакам продается».

Таким образом, здесь уже конкретными чертами нарисовано то «царство благодати», о котором мечтал Левитов: это не более как царство капитализма, затушеванное вымыслами и мечтами о «добром» богаче.

Мелкобуржуазный утопист Левитов здесь стоит на почве капитализма, мечтая о превращении его в добродетельный и «благодатный» капитализм, ибо он «не видел эксплоатации за добрыми отношениями к эксплоатируемым».[1]

Впрочем, в очерке «Сказка и правда» (1872) уже без всякого мечтания о «святом» капитализме Левитов

[1] *Ленин.* Соч., 1-е изд., т. I, стр. 161.

с явным сочувствием набрасывает картинку вторжения в «дикую» подмосковную деревню... культурного капитализма в лице «альняника», научившего мужиков льноводству и «на большую ногу» торгующего льном. В противоположность учителю Вифсаидову, который «с глубокою страстью отстаивает сказочные стороны скорбной жизни людей» и, «как орел, свободно и широко реет в ее вольных светлых сферах», этот представитель культурного капитализма предпочитает сходить с неба на землю, по которой он и «расхаживает гордым и сильным шагом, защищая видимость, правду и опыт».

Колебания Левитова в сторону культурничества, малых дел, в сторону либеральной буржуазии вытекают из его мелкобуржуазной социальной природы.

«Мелкие производители», мелкие буржуа города и деревни враждебны капитализму, который угрожает им гибелью. Но, «будучи враждебно настроены против капитализма, мелкие производители представляют из себя переходный класс, смыкающийся с буржуазией».[1]

Не веря в революционные методы решения социального вопроса, не веря в движущую силу масс, Левитов, несмотря на свое отрицание капитализма, все-таки не сходит с капиталистической почвы, скатывается на путь «мелкобуржуазных прогрессов», увлекается мотивами «правды» и «добра», жизни «по-божьи», мечтает о каком-то святом капитализме.

В этом отражается «переходность» и «смыкание» с буржуазией мелкого производителя города, идеологом которого является Левитов.

В этом же лишний раз сказывается и влияние либерализма на мелкую буржуазию и на ее идеологов.

[1] *Ленин.* Соч., 1-е изд., т. II, стр. 24.

«Либералы, — говорит Ленин, — не только в России, но и повсюду в Европе, очень долго вели за собой демократическую мелкую буржуазию, слишком раздробленную, неразвитую, нерешительную, чтобы стать самостоятельной, — и слишком по-хозяйски настроенную, чтобы итти за пролетариатом. Ахиллесова пята мелкобуржуазной политики — неумение и неспособность избавиться от идейной и политической гегемонии либеральных буржуа». [1]

В мечтательности, пассивности и непротивленстве Левитова отразилась и отмеченная Лениным «анемичность» «частью уставшего от революции, частью колеблющегося и шаткого от социальной природы мелкого буржуа. [2]

XIV

«Мечтательность — удел слабых» (Ленин). Так как «подлая действительность» опрокидывала эти мечты, то Левитов пришел к глубокому пессимизму.

Его «положительные» типы большею частью не находят приложения своим силам или бесплодно гибнут под тяжестью «правов».

Он видит в девушке, сестре целовальничихи, «глубоко оскорбленное чувство прекрасной природы»; она вынуждена чахнуть, как молодое дерево в дремучем лесу, в обстановке кабацкого быта («Целовальничиха»).

Богато одаренный мальчик-горбун рано умирает, и смерть его—в значительной доле вина окружающих его людей, которых он окрестил «чертями-разбойниками» («Горбун»).

Забаиха, женщина-культурница с тем «желтком», о котором мы говорили выше, потрясенная обрушившимися

[1] *Ленин.* Соч., 1-е изд., т. VIII, стр. 221.
[2] Там же, стр. 327.

на нее бедами (сестру ее соблазнил «богатый барин»), кончает сумасшествием («Дворянка»).

Его «Бесприютный» (в рассказе того же названия), новый вариант Акима из «Соседей» или мужика Ивана из «Выселков», с их любовью к бедному народу, с их «смиренством» и «тихостью», погибает от удара кулака в драке, которую он бросился по обыкновению разнимать.

Его протестующие натуры, как сапожник Шкурлан, тратят свою энергию на наивные и бесплодные протесты против попов и начальства, мечутся в патриотизм и под конец спиваются с «горя».

Энергия таких людей, как Петр Крутой («Выселки»), не находит приложения, и он мечется из конца в конец по России, ища себе умиротворения.

Разночинцы Левитова не могут развить своих талантов. Одни, как художник, сын дьячка, в условиях крепостничества влачат жалкое существование, встречают лишь оскорбления со стороны «господ»; защита ими чувства собственного достоинства квалифицируется крепостнической средой как «сумасшествие» («Степная дорога ночью»).

Другие, как художник в «Говорящей обезьяне», подобно самому Левитову, под тяжестью российских нравов погибают во власти «господина алкоголя».

Самое культурничество, просветительство, которое проповедывал Левитов, временами вызывало в нем горькие сомнения.

В очерке «Нравы московских девственных улиц» он повествует об одном из своих культурнических опытов в среде подвальных обитателей. Объектом просветительства в очерке является одно из тех существ, «с головками улыбающимися и цветущими, как улыбаются и цветут на холсте прелестные создания великих художни-

ков», — существ, которые неизвестно для чего родятся иногда «на тощей и так гибельно воняющей почве подвалов», «унтер-офицерский подкидыш, прозванный горем подвальной царевной».

«Повинуясь могучим стремлениям нашего времени, — говорит Сизой-Левитов, — я долгое время шатался в кумов подвал, внося, насколько мог, в мерзость его запустения понятия о ином, внеподвальном свете».

Но этот опыт дал понять Левитову, что пока у подвала «остаются узоры все те же», т. е. пока существует подвальная «бедность», которая «нас одолела», по выражению Левитова, и просветительство в его недрах не только не дает соответствующих результатов, но даже и вредно.

Автор повествует, что ему казалось иногда, как подвал шепчет: «Ах, Иван Петрович!.. Ну на что *это* нам?.. будет у нас с тем добром невпример больше слез, больше и воздыханий».

И действительно, просветительский опыт терпит полный крах: «подвальная царевна» переживает судьбу, обычную в условиях капитализма, — проституция делает ее своей жертвой.

От бывшей своей ученицы, помочь которой учитель теперь ни в чем не может, так как видит, что она безнадежно гибнет, он вынужден услышать тяжелый упрек: «Подлец, подлец!.. Зачем же ты иное-то всегда мне говорил? Зачем в книжках твоих про заступу всегда слабому говорилось?»

Он сомневается даже и в том, зачем он и сам-то учился.

«Я не знаю, — говорит он, — чему я выучился» («Перед пасхой», 1862). Он сожалеет теперь, что неизвестно, кто «будет пахать ту наследственную полосу», которую он «должен был пахать» после смерти отца.

Наконец, он уже боится, что легионы предателей и ренегатов, «плешивых Мефистофелей», которые быстро, как сморчки, размножились в его время, «настроят науку таким образом (да уж и довольно успели в этом), что она концом, венчающим ее усилия, будет считать возможность как можно удобнее и легальнее взмоститься на чужие неученые плечи» («Говорящая обезьяна»).

Ту же мысль внушает, как мы видели, «бес» разночинцу Теокритову («Степная дорога днем»): «наука — это меч обоюдоострый. Этим мечом в равной степени можно защитить и убить». И Теокритову уже кажется, что его, вооруженного «светом» науки, бес может заставить сделать в будущем «зло» еще более крупное, чем то, что он теперь делал.

Здесь отразился страх мелкого буржуа перед надвигающимся господством крупного капитала, который делает науку своей служанкой.

Наконец, поиски «правды жизни» завершаются у Левитова неутешительным итогом.

В письме к Сурикову (октябрь 1875 года) он писал: «Думал я и так и этак, и в тайные глуби пучинные заглядывал, а в одном только убедился, «яко несть творяй благостыню, несть до единого».

«Жалобы и глухота к этим жалобам, — говорит он, — по моему мнению, — постоянная и неизлечимая болезнь человеческого рода» («Крым»).

У него возникает «нечеловеческий скептицизм по отношению к обоюдному сочувствию существ, созданных быть братьями» (там же).

Он досмотрелся на разнообразное зло жизни до такой степени, что ему «светлые стороны» ее кажутся «сантиментальною ложью, придуманною человечеством для возможного смягчения роковых жизненных бед» («Московский профиранец»).

XV

Мы видели выше, что и сам Левитов придумал не одну «сантиментальную ложь» для «смягчения» от бед, пытаясь построить разные «кущи» на почве капитализма, в которые можно было бы укрыться от «подлой действительности».

Помимо этого, Левитов искал и другие убежища для утешения и забвения от ее «зла».

Как одно из таких убежищ Левитов пропагандирует природу. Его «успокаивает» и «шумный день, беспощадно освещающий зверство людское», и тихая ночь, которая «снисходительно укрывает его». «Поэтому природа у меня всегда на первом плане, — говорит он. — Она лучше всего, что только я узнал во всю мою жизнь» («Аркадское семейство»).

«Тихая, глубоко думающая и невыразимо грациозная красота» раннего утра «во всем мире составляет лучшее и действительное лекарство от всякого горя людского» («Шоссейный день»).

Та же мысль повторяется и в очерке «Сказка и правда».

Прекрасной природе противопоставляется «подлая действительность» жизни людей.

Когда, например, Левитов смотрит на «мирное сияние весеннего дня» над покосившимися хижинами «девственной» улицы, ему хочется думать, что оно «должно освещать только светлые сады рая и божественные лики, населяющие эти сады», он не может допустить, «чтобы какая-нибудь людская голова, освещенная этим солнцем, дышавшая этим ароматным днем, решилась бы пойти в дисгармонию с окружавшею его повсеместной красотою и обезобразить его своей пошлостью и подлостью».

Но как раз «этим именно светлым утром, на этом именно тихом месте, при виде которого в вас непре-

менно пробуждалось желание выстроить на нем свою кущу, чтобы в ее безмятежной тиши терпеливо ждать конца, когда истает в вас вечно ноющее сердце,— *навстречу вам, безобразным червем, выпалзывала людская мерзость, разгоняя ваши добрые мысли и ожесточенно вооружая вас против блага жизни*» («Аркадское семейство». Курсив наш. — *И. Е.*).

Или, описав «непостижимо-величественную» красоту зимней ночи в Москве, Левитов с сожалением говорит о том, как московские колокола, звонившие к заутрене, возвестили о наступлении утра: «...ночь, хотя и было еще темно, совсем ушла, потому что в это время по улице замелькали человеческие говорливые тени и, следовательно, *тут настало глупое царство человека*» («Праздничный сон». Курсив наш. — *И. Е.*).

Когда после «мирской» расправы над бедной бобылкой наступила «дивная пора ночи», «за ее восторгающие красоты хватили господа одни голоса животных и птиц, а люди все без исключения были глухи и слепы к чарам полночного мира» («Расправа»).

Почти в каждом очерке Левитов не забывает подчеркнуть умиротворяющее действие природы. Ему всегда кажется, что «восторгающая песня вечерняя разливалась по степи нежными желаниями полного забвения печалей и крепкого сна всему видимому и живущему: забудь свое горе дневное, народ трудовой! — пело вечернее небо: — любуясь красотою моей, отдохни от печалей своих и засни!» («Выселки»).

На ряду с бегством в природу Левитов несомненно склонялся и к мистицизму, этому обычному убежищу «слабых» мечтателей из среды буржуазии.

В очерке «Целовальничиха», описывая, как он, больной и измученный, шел по большой дороге, Левитов говорит: «И такова была напряженность души моей в то

время, что страдания тела уже не томили ее. Полная каким-то сладостным, неотступно жаждущим и молящим о мире и счастье чувством, парила она в бесконечное небо — и небо лило на нее свет свой, и в свете этом утонула она и предала забвению бренность тела и грубую подлость действительной жизни... Великая тайна природы открылась тогда мне. Посреди этого недвижного, ужас наводящего своим мертвым молчанием пространства осязательно почувствовал я присутствие той высокой божией деятельности, которая оживляет и умиротворяет душу человека, восстановляя в ней ее ослабевшие силы. Нет места, в котором не проявилось бы могущество твое, бог мой! И для человека нет места, пустыни такой безжизненной нет, в которой бы он находясь мог сказать без ропота на благость твою: один я здесь».

Культурничество, непротивленство, «святой» капитализм, бегство в природу, слащавый лиризм, склонность к мистицизму — вот те «положительные» идеалы, которые мы находим у Левитова и которые свидетельствуют о том, что этот идеолог городской бедноты не в состоянии был осмыслить «подлой действительности», которая ее пригнетает.

Вот почему он то ощущает «всепрощающую, всякому помогающую любовь, тихую как полночное небо летом, умирающую как гениальная музыка» («Фигуры и тропы московской жизни»); то идет в какой-нибудь трактирный вертеп, вроде «Крыма», «чтобы смотреть целую ночь многоразличные виды нашего русского горя, чтобы, смотря на эти виды, провесть всю ночь в болезненном нытье сердца, не могущего не сочувствовать сценам людского падения, — чтобы скоротать эту ночь, молчаливо беснуясь больною душой, *которая видит, что она так же гибнет, как гибнет здесь столько народа*» («Крым». Курсив наш. — *И. Е.*).

Наблюдая «бесконечный ряд справедливых жизненных драм, обыкновенно разыгрывающихся» в «комнатах с небилью» «на страшную тему о погибели молодой, энергичной жизни, разбитой нуждою железною», — Левитов способен был лишь бесплодно мучиться «проклятыми» вопросами о том, «для чего существовала эта жизнь».

Сочувственное отношение Левитова к бедноте несомненно. Он «страшно» желает, чтобы «солнце всегда так славно светило одному только этому бедному люду, а никак не городу» («Фигуры и тропы московской жизни»). Но, не зная, как помочь его «горю», он утешает себя мыслью о том, «что разнообразные страдания, сокрушающие род человеческий, протискиваются и в надменные окна, защищенные плотными шторами, и в лакированные двери, стерегомые лакеями во фраках и в голландском белье» («Счастливые люди»), смешивая социальное «горе» с личным.

XVI

«Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу», — говорит Ленин, — есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, каков «укладывающийся» новый строй, *какие* общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы *способны* принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки». [1]

Творчество Левитова, как мы отметили выше, падает как раз на начальный период этой «эпохи ломки».

[1] *Ленин.* Соч., 3-е изд., т. XV, стр. 102.

К этому надо добавить и то, что он выступил на литературную арену уже тогда, когда революционная ситуация конца 50-х годов, получив свое разрешение лишь в разрозненных стихийных крестьянских бунтах, сменилась полным торжеством реакции, и таким образом расчеты революционных демократов 60-х годов на крестьянскую революцию не оправдались.

Подъем революционных настроений в начале 70-х годов и деятельность революционного народничества в эти годы не отразились в творчестве Левитова.

Напротив, крушение «хождения в народ» народнической интеллигенции нашло у него некоторый отзвук. В неоконченном очерке 1876 года «Всеядные», часть которого была напечатана уже после смерти автора, дана в сущности пародия на это «хождение».

В качестве субъекта, занявшегося «хождением в народ», в очерке выведен болезненного вида «литературщик» Петр Петрович Беспокойный.

Автор поселяет его не в «глубине» России, а в подмосковной дачной деревеньке, т. е. как раз в месте, где «подлые представления» столицы особенно живучи, именно по наблюдениям самого Левитова.

В этом уже заложено начало пародийности.

С другой стороны, герой очерка, собираясь на дачу, имеет первоначальной целью не хождение, а просто летний отдых и работу на деревенском приволье.

Разбитная дачная хозяйка и ее сподручники, вроде Увара Семеновича, состоявшего, по его словам, «дяденькой при тетеньке», долго не могут прельстить нового дачника теми кабацкими приемами, какими они обычно развлекают московских гостей. Наконец они находят метод, при помощи которого и начинают с успехом выкачивать из него доходы, ловко используя наивное упоение «литературщика» новыми для него деревенскими

ощущениями и заинтересовывая его рассказами об окружающем быте.

Вскоре круг рассказчиков расширяется: к куме-хозяйке с «состоящим при ней дяденькой» Уваром Семеновичем присоединяются многочисленные окрестные крестьяне, старики и старухи, которые, «потягивая чаек и рябиновку Беспокойного», организованную на его счет умелыми подходами кумы и ее сподручника, «в какую-нибудь неделю охарактеризовали ему бесчисленное количество лиц, населявших край, по крайней мере, на пятьдесят верст кругом».

Левитов иронически подчеркивает «завидное согласие», с которым старики и старушки характеризовали бедственное положение крестьян, погибающих в пьянстве: «По мере опустошения, — иронизирует он, — производимого крестьянами в ведерной бутыли с рябиновой водкой, в голове Беспокойного сгруппировывалась масса нелепых сведений о бедствиях, претерпеваемых крестьянами».

Подмосковные мужики, все эти «замечательные старожилы околотка», с которыми успел ознакомиться Беспокойный, рисуются Левитовым как «верящие в судьбу», как любители рябиновки с хорошей закуской и как просто попрошайки, обнаглевшие до того, что они уже перестают церемониться с «добрым барином» и выпрашивают у него все, что только ни увидят у него в комнате.

Но «добрый барин», хотя ему и надоедает это попрошайничество, непременнно хочет добиться узнать «в чем тут суть». «Это все вздор, — говорит он, — что они пограбить любят нашего брата. А я вот целый год проживу с ними; в самое нутро к ним залезу, — тогда поглядим».

Он делается еще щедрее к мужикам, а сам изменяет «свой деликатный говор на грубый мужицкий жаргон».

ко всякому относится на «ты», перестает чесать голову и бороду, и вот «с тех пор не проходило на десятиверстном расстоянии ни одной сходки, ни одного сколько-нибудь замечательного харчевенного или кабачного заседания, где бы нельзя было встретить Петра Петровича, в косой ситцевой рубахе, в нанковых крестьянских штанах, в высоких сапогах и, на случай дождливой погоды, с пледом на руке».

«Так Петр Петрович, — саркастически заключает Левитов, — из всех сил старался, потягивая рябиновочку, овладеть таинственною загадкой, которую представляет собою жизнь «народных масс».

Эта злая пародия, нацеливая свою стрелу на буржуазную интеллигенцию в лице «литературщика» Беспокойного, тем не менее косвенно задевает и революционное народничество 70-х годов.

Биограф Левитова Ф. Д. Нефедов об «идеалах» Левитова говорит:

«На вопросы пожелавших бы уяснить, какие идеалы он носил в своей душе, Левитов, не смущаясь, ответил бы всем словами горячо любимого им маркиза Позы:

...Век щедушный
Не вызрел для моих прекрасных идеалов, —
Я гражданин грядущих поколений!..» [1]

Мы показали выше, что Левитов идеологически никак не мог быть в свою эпоху «гражданином грядущих поколений». Этими «гражданами», далеко заглядывавшими вперед, были в то время такие вожди революционной демократии, как Чернышевский или Добролюбов.

[1] Вступит. статья к Собр. соч. Левитова в изд. К. Солдатенкова, М. 1884, т. I, стр. CXXXIX.

Они ясно понимали, что решительные сдвиги в положении народной массы может совершить только массовая победоносная революция, и верили, что эта революция рано или поздно произойдет.

Левитов же идеологически отставал от этих своих современников. Будучи идеологом упадочных слоев мелкой городской буржуазии, не связанный с крестьянской демократией, он не имеет твердой руководящей нити в своем стремлении научиться «предупреждать слезы» бедствующего народа, он колеблется от демократизма к либерализму, скатывается на путь культурничества и малых дел, впадает в мистицизм, проповедует непротивленство.

Раздавленный противоречиями, не находивший исхода бедственному положению народных масс, Левитов — не «гражданин грядущих поколений», а только попутчик революционной демократии, и притом постольку, поскольку оппортунистические черты его идеологии нейтрализовались его демократической настроенностью и художественным изображением жизни народа без всякой идеализации, без всяких прикрас.

П. Ткачев, как представитель революционной демократии, отрицательно отнесся именно к культурническим типам Левитова (Иван из «Выселков», бабушка Маслиха, Аким из «Соседей» и т. д.), которые мы разобрали выше.

Ткачев причисляет Левитова к «рассказчикам-психологам». «В их народных рассказах,—говорит он, [1] — проглядывает гуманно-сочувственное отношение к народу; они не забавляют своих читателей казусными анекдотами à la г. Успенский (Николай) или Слепцов; они стараются анализом внутреннего мира крестьянина распо-

[1] *П. Ткачев.* Разбитые иллюзии. Горнорабочие. — Глумовы. — Где лучше? Романы Решетникова (статья первая). «Дело» 1868, № 11, «Современное обозрение», стр. 16.

ложить читателя в его пользу...» «Но, — продолжает далее Ткачев, — являясь выразителями фальшивой тенденции, фальшивого взгляда на народ, они далеки от того, чтобы рисовать действительность в ее настоящем виде, они идеализируют, подкрашивают ее и отуманивают глаза читателей вредными иллюзиями».

В подтверждение сказанного Ткачев ссылается на указанные культурнические типы. Однако эти типы не есть типы мужиков: это своего рода alter ego самого Левитова, в которых он отразил свое стремление к культурничеству, к «тихости», к непротивленству. Как общее правило, Левитов совсем не идеализирует деревни и мужика и отрицательно рисует общину. Это отмечают почти все критики, кроме Ткачева (рецензент «Современника», Скабичевский, Пыпин, из новейших критиков — Шулятиков).

Не являясь идеологом крестьянской демократии, Левитов тем самым не является и народником в ленинском понимании термина.

Те критики, которые, начиная со Скабичевского, причисляют Левитова к народничеству, толкуют последнее «в смысле самого искреннего сочувствия к народу и стремления служить его благу».[1]

В этой формулировке «народничества», принадлежащей либеральному критику А. Пыпину, ничего народнического нет. Но таково же понимание народничества у Скабичевского, Засодимского, Златовратского и других, относивших Левитова к народникам.

В середине 80-х годов, в эпоху вырождения «старого» революционного народничества в «культурнический оппортунизм», раздавались голоса, что Левитов «совер-

[1] *А. Пыпин*. Беллетрист-народник шестидесятых годов. «Вестник Европы» 1884, кн. 8, стр. 683.

шенно стоит вне народничества».[1] А. Богданович в своем отзыве о Левитове[2] говорит исключительно об изображении последним жизни босяков, считая, что герои Левитова—«развинченные люди, те же интеллигентные «взыскатели града», каким был сам Левитов», что в «них слишком мало плоти и крови, уличной городской жизни».

В. Шулятиков в своей статье «Памяти Левитова»[3] говорит, что Левитов «не мог усвоить себе идиллических народнических взглядов», поскольку он наблюдал «деревенский строй не в его чистой форме, строй, над которым власть земли не сохранила всех своих могущественных прав».

А. П. Налимов называет Левитова «живописателем нравов», «певцом волнений и злоключений массы, толпы, деревенщины», «предшественником нынешних изобразителей нашей голытьбы».[4] Совершенно не упоминая о его «народничестве», он отмечает, что в Левитове «больше неопределенного романтизма», что он «метался, то обращаясь к старомодному мистицизму, то возвеличивая «светлое лицо *природы* — единственное совершенство на всей земле».

В. А. Никольский[5] указывает на упадочность того слоя мелкой городской буржуазии, идеологом которого являлся Левитов: «Автор не видит никакой возможности

[1] *Арсений Введенский.* Литературные перспективы (Нечто о литературном народничестве). «Северный вестник» 1885, № 1, стр. 196.

[2] *А. Б.* Критические заметки. «Мир божий» 1893, № 7, отд. 2, стр. 2.

[3] «Курьер» 1902, № 14.

[4] *А. П. Налимов.* Живописатель нравов. А. И. Левитов. «Образование» 1904, № 7, стр. 100.

[5] А. И. Левитов как человек и писатель. Вступит. статья к Полн. собр. соч. Левитова в изд. Н. Ф. Мертца, Спб. 1905, т. I, стр. XXXVI.

хоть сколько-нибудь изменить городские жизненные порядки. Его герои не философствуют, как босяки у Горького, и не вздымают кичливо голов: они сознают, как засасывает их городская тина, и с плачем гибнут в ней — бессильные бороться, карабкаться на землю».

Как идеолог упадочной мелкой городской буржуазии Левитов соприкасается с Достоевским. Однако Достоевский является выразителем и идеологом реакционных слоев мелкой городской буржуазии, находящихся под влиянием феодализма. Достоевский стоял на стороне феодально-помещичьей реакции и всецело поддерживал существовавший крепостнический порядок.

Левитов к этим реакционерам-«почвенникам» не примыкал. Он, напротив, высмеял реакционное «почвенничество» Страхова, Достоевского, Аполлона Григорьева и друг. в своем «балаганно-рыцарском представлении» «Воскресний Гуак, непреоборимый богатырь Флоридский, или редакция «Времени» (1863).

Если у Достоевского сильно сказываются помещичьи тенденции, то у Левитова, напротив, этих тенденций совсем нет.

Но, как мы видели, у него есть и своя «десница» и своя «шуйца».

Его десница — протест против крепостничества, против отрицательных сторон капитализма, сочувствие городской и деревенской бедноте. Его шуйца — как раз в его «положительных» идеалах, в которых он явился предшественником поколения оппортунистов и непротивленцев 80-х годов, к которым принадлежали и «новые» народники.

Этим определяется и социальная функция произведений Левитова в наше время: для современного читателя сохраняет свое значение яркая критика Левитовым крепостничества и буржуазности, но его оппортунистиче-

ские «идеалы», насквозь пропитанные пессимизмом и неверием в революционную силу народных масс, конечно, должны быть отметены.

Соответственно с этим подобраны и произведения Левитова, вошедшие в данное издание.

В заключение приношу свою глубокую благодарность Н. Ф. Бельчикову и Ю. Г. Оксману за содействие и ценные указания в работе над Левитовым; А. С. Николаеву, сообщившему ценные архивные материалы о Левитове, и Г. В. Прохорову, указавшему мне на найденные им забытые очерки Левитова в газете «Северная пчела» за 1863 год, из которых два («Лирические воспоминания Ивана Сизова» и «Один доктор») помещены в этом издании сочинений Левитова.

Ив. Ежов

ские «идеалы», пассивоз, пропитанные пессимизмом и неверием в революционную силу народных масс, конечно, должны быть отметены.

Соответственно с этим подобраны и произведения Левитова, вошедшие в данное издание.

В заключение приношу свою глубокую благодарность В. Ф. Бельчикову и Ю. Г. Оксману за содействие и ценные указания в работе над Левитовым; А. С. Николаеву, сообщившему ценные архивные материалы о Левитове, и Г. В. Прохорову, указавшему мне на найденные им забытые очерки Левитова в газете «Северная пчела» за 1863 год, из которых два («Липецкие воспоминания Ивана Сизова» и «Один доктор») помещены в этом издании сочинений Левитова.

Ин. Ежов.

А. И. ЛЕВИТОВ

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

ТИПЫ И СЦЕНЫ СЕЛЬСКОЙ ЯРМАРКИ

Русь! Русь! Открыто, пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города: ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?

Из «Мертвых душ»

Впрочем, я так только упомянул об уездном суде.

Из «Ревизора» (слова городничего)

Глава I

28-го августа 185* года большое село Дубовые Липы было еще не так торжественно, как торжественно оно было 29-го августа того же года, затем что 28-го было только предпразднество Иоанна Предтечи, а 29-го самый праздник. Конечно, для человека постороннего, если он возьмет во внимание факты, случившиеся накануне праздника, и сравнит их с фактами, бывшими в самый праздник, торжественность этих двух дней будет совсем одинакова; но, смотря с точки зрения Македона

Елистратича Нетроньвозжева, письмоводителя дубово-липовского станового пристава, выходит, что торжественность этих двух дней весьма, как он говорил, различествует. Македон Елистратич, как мне удалось подслушать, говорил:

— Нечего бога гневить! Накануне праздника, да и в самый праздник, мне-таки перепадает; да дело не в том, что перепадаст, а сколько и каким, так сказать, методом перепадает. — (Македон Елистратич, видите ли, из ученых был, в коробовских духовных училищах цензором шел и уже из семинарии был выгнан за великовозрастие и душевредительное поведение, как значилось в его аттестате). — Ты вот на что, — говорит, — внимание обрати: для нашего брата-чиновника канун праздника — пустяки, и далеко на нем уехать никаким манерами нельзя. Тут хоть и погуливают, да с кругу-то, говорит, никто не спивается, а это главное! Берешь, а ушки на макушке держишь!.. Смотришь, как бы не налететь на бестию какую-нибудь от исправника, вот как в прошлом году. Ведь и взял-то только рубль тридцать с какого-то прощелыжника - краснорядца. «Позволь, — говорит, — Македон Елистратич, аршинчик сей в девство употребить-с!» А аршин-то всего три четверти с небольшим был... Ну, я сдуру-то, катай, говорю... А мне, как теперь оказывается, слупить-то с него, мошенника, следовало, да и вздуть-то оным аршином тоже бы не мешало. Служба-то тогда пошла бы сама собой, да и дружба-то сама собой!.. Нет, ведь снисходительность-то нас, начальников, губит. И какая же,

я вам доложу-с, скотина этот красноряде́ц, — хоть бы солянку какую ни на есть прикинул; а то сунул, невидаль какую — рубль тридцать, да и пошел; а исправник и нагрянь. Прежде того, стало быть, единомыслие такое с краснорядцем подвел, чтобы моего станового поддеть — в сердцах были. Ну что ж? И поддел ведь! Такую контрибуцию содрал с станового, что тот долго, бывало, как взглянет на красную шкатулку, которая у него в спальне стояла, так и давай на себе волосы рвать. Ну, а меня, известное дело, попался под руку фальшивый безмен (сотский с ярмарки принес), он и ну им меня, да так, признаться, бока-то вздул, что поневоле пришлось к коробовскому лекарю ехать. Так вот какой скверный случай вышел; а все от того, что на предпразднество взял, да уж добро бы много взял, так и душа не болела бы, а то ведь за кроху какую-нибудь, за пустяки сущие (тут же ведь отдал я их в кочергинском трактире шарманке за песню), так и за них у начальника под безменом страдал... На самый праздник, прямо скажу, таких случаев не бывает, потому, значит, что и быть им никаким то-есть способом нельзя. Православный народ всегда для праздника накуликается, и уж тут ему не до хитростей, не станет он в это время ближнему яму рыть, а все дела идут у него на чистоту,—с целованием дружным... И не только я, начальник, можно сказать, непосредственный, луплю со всех в это время, а десятский какой-нибудь — шишимора, гроша не стоит, так и тот едва успевает папку с трынками домой относить... Право, как посмотришь, так смешно даже!

Целуются, целуются сначала, так что у незнающего, пожалуй, душа в умиление придет, а потом, ни за што, ни про што, и по ушам друг друга. А ты их разнимай да рассуждай! Так и лупи с правого и виноватого. Зачем, дескать, благочиние нарушаете, пред публикой бесчинствуете? Ну, уж тут известное дело; виноватый кричит: «возьми, что хошь, только в холодную не сажай»; а правый: «я те, — говорит, — Македон Алистратич, чем хошь отвечаю, засади только!» Тут с них обоих берешь, да обоих и сажаешь. Утром встанут, мировую, говорят, хотим, — не дадим врагу радоваться, да и прошение об этом становому написать просят... Тут опять: за прошение с них возьмешь, да за беспокойство возьмешь, да за то возьмешь, чтобы воротить нарочного, посланного будто бы к губернатору с рапортом об их смертоубийственной драке... А как станут прошение становому подавать, так тот еще им зубы начистит, чтоб после праздничной попойки во рту не воняло, да и сдерет с буянов в десять раз более того, что я содрал, потому что, первое дело, я-то в стану цветик, а становой ягодка; а второе дело — проситель, что овца: сколько ни стриги, на нем все шерсть вырастет... Одно жаль: благодати такие не каждую неделю бывают, а то все бы как-нибудь на белом свете промаячился!..

Так вот какое находил Македон Елистратич различие между днем предпраздпества и самым праздником; но нам где же тягаться с Македоном Елистратичем? Он начальник, — у него, видите ли, свой собственный взгляд на эти

вещи, взгляд, соединяющий, так сказать, глубочайшее знание правил администрации с требованиями положительными... С нас, мелких людей, будет очень достаточно, если мы окинем случившееся во время праздника простым взглядом, расскажем с посильною верностью другим то, что видели сами, не рассуждая, почему было так, а не иначе; потому что Македон Елистратич, как начальник, может рассуждать, на то он и начальник; а нам, простым людям, уж не до рассуждений...

Заснуло село, потому что была полночь глухая. Ярким светом месяца освещены были и золотой крест деревянной церкви, и соломенные крыши бедных хижин, и дороги, и лес, и река, все тонуло в этом волшебном свете; избы села, раскинутые по скату длинной отлогой горы, осененные деревьями, усыпанные густой, зеленой травою, которая была и на улице и на огородах, представляли наблюдателю, смотрящему с верху горы, ряд уступов, облитых месячным светом и убранных роскошною зеленью. В параллель с главною сельской улицей шел высокий земляной вал, видевший времена Годунова, результат его попечений о безопасности России, которым он хотел оградить ее от вторжений татар. Памятник былого, пощаженный временем, вал служит теперь источником разных рассказов, и часто блуждающие огоньки, появляясь на его вершинах, заставляют креститься суеверного мужика, которому в детстве старою бабкой сказано было, что это очи демона, стерегущего богатый клад, зарытый в старину каким-то разбойником...

В самом низу села широкая река пересекает этот вал, который на другом берегу начинается снова высокою земляною башней. Говорят, что башня эта была когда-то сторожевою и на ней зажигались вестовые огни, предостерегавшие поселян и собиравшие ратников на защиту. Прошло уже более десяти лет, как я не видал этой башни; но как живо помнится мне она, окаймленная молодым орешником и как будто рукою человека, а не природой, обвитая плющом. Неизгладимы, должно быть, впечатления детства, затем что, мне кажется, я никогда не забуду, как, дитя еще, я любил проводить целые дни в кустах этой башни и, сидя там, я уносился детскою мыслью к временам тяжелого испытания России, когда она страдала под вражеским игом. Молодое воображение рисовало мне это время, полное ратной деятельности, и я представлял себе набег хищников, страшную борьбу на заветном валу, крик победителей и последний стон воинов, умерших за славу и честь своей родины... А там, невдалеке, из лесу мне слышались молитвы отшельников о победе и виделось мне сквозь чащу дерев, как на монастырской стене мелькали золотые ризы и развевались святые хоругви... Теперь только столб с истертою надписью да несколько могильных камней говорят, что в этом месте в былые времена стояла обитель. Чаща леса, почти непроходимая, окружает священное место...

Но вот над лесом взошло яркое солнце и брызнуло оно на окрестности тем ярким, серебряным светом, который так отличен от золо-

того блеска луны. То был свет тайных видений, свет, при котором без отчета думаешь о чем-то долго и сладко; а это был веселый, ясный свет, призывавший к деятельности. Он сообщил какое-то радостное, смеющееся выражение до него задумчивому селу и его окрестностям, разбудил дремлющий лес с его неразумными жителями — и пошли, и полетели они, кто на ветку душистой черемухи попить светлой росы, ярко блестевшей на солнце, а кто просто повитать над рекой да посмотреться в ее тихие прозрачные волны...

И вместе с рассветом, мимо знакомой земляной башни, по большой дороге, проложенной в лесу, потянулись в село телеги с грузом и телеги пустые. Шумно стучали они, проезжая бревенчатый мост и распугивая встречное стадо. С сельской колокольни раздавался благовест, народ шел в церковь, телеги устанавливались на церковном выгоне, споря о выгодном месте, а из церкви далеко разносилось праздничное пенье.

Глава II

Было уже так около полудня, когда деревенский колокол тоненьким и веселым голоском заблаговестил к обедне. Народ толпами валил в церковь и, расходясь по ярмарке, увеличивал общую суматоху. Жар был нестерпимый, и над селом носилось густое облако пыли. Ни малейший ветер не охлаждал лиц, разрисованных потом и пылью. Деревья, обставляющие церковь, в полном смысле были напудрены пылью.

Ни одна птица не осмеливалась даже и подумать о том, чтобы вылететь и посмотреть на ярмарку. Засела, должно быть, она в густые ветви лесных дубов, куда не может проникнуть ни малейший солнечный луч. А река так тихо, так лениво катилась, как лениво тащится по косогору издохлая кляча Ивана Зеленых. Ожидает, видите ли, его на ярмарке горе-невзгодье великое: строго-настрого приказал ему барин привезть к нему в Дубовые Липы оброк за целых две трети. Так вот теперь Иван на своей тележонке и думает великую думу, как бы попокорнее доложить осударь-Фоме Алексеичу, чтобы он маненечко пообождал с него, хоть бы, примерно, до рождественских заговен. И как об Иване можно было заключить, что он не истукан какой-нибудь, а живой православный, по слезе только, которая катилась по загорелой, сохлой щеке его, так можно было сказать и про реку, что она не превратилась еще в прозрачный хрусталь потому, что кой-где на ее неподвижной поверхности раздавались струйчатые круги, которые делала зубастая щука, гоняясь за жирным линем...

Наперекор такому оцепенению природы, как постоянное народонаселение Дубовых Лип, так и приехавшие на ярмарку были исполнены самой суетливой деятельности. Помещичьи экипажи и крестьянские телеги, скатываясь с горы, с ужасным грохотом проезжали по мосту, стараясь как можно бойчее подъехать к церкви. И целые семейства, в высшей степени разнокалиберные и разномастные, вылезали из своих чудовищных тарантасов и повозок, отряхивались,

как гуси после дождя, вытирали запотевшие лица пестрыми платками и спешили в церковь. А группы слепых и безногих нищих, усевшись под тень церковных берез, дико выкрикивали разные разности, поведывавшие собравшейся на ярмарку публике об удивительной испорченности человеческого рода и о скорости, будто бы, наступления по этому случаю страшного суда, который они описывали такими мрачными красками, что деревенские бабы плакали навзрыд и спешили загладить свои грешишки посильным приношением в пользу несчастных крикунов. Но началась служба, и нищие смолкли, пересчитывая свою добычу. Смирно и молча стоял в церковной ограде народ, не вошедший за теснотою в самую церковь, и когда из растворенных дверей храма слышалось громкое и протяжное: «Господи помилуй», все благоговейно кланялись в землю. И на ярмарке все приутихло — и около парусинных лавок, разбросанных вокруг церкви, стояли хозяева с непокрытыми головами и тоже молились, чтобы послал господь хорошую торговлю; и такая в то время была тишина, что ничего не было слышно, кроме церковного хора да какого-то необъяснимого шума, как будто бы дальнего звона, что обыкновенно бывает на юге в палящие летние дни. В отворенные церковные окна можно было видеть священную процессию, предшествующую чтению евангелия, и лишь только послышалось это чтение, как в углу храма раздалось громкое истеричное рыдание, полное какого-то необъяснимо-безумного веселья, тотчас же сменяемого страшным порывом необъят-

ной грусти, леденящей постороннюю душу... И этот отчаянный, болезненный вопль страдающей души громко разнесся по церкви, заглушая священные возгласы и раздирая слух какою-то особенной дисгармонией противоположных звуков... Это была кликуша. Бедных женщин, одержимых этим недугом, помещики и управители-немцы очень удачно иногда вылечивают плетью; но при всем том как-то странно было видеть, что десять сильных рук едва могли вывесть больную, слабую женщину из церкви... Молодое лицо испорченной освещено каким-то неестественным блеском, каким-то особенным выражением силы и грации дышит оно! Ее черные косы выбились из-под золотой кики и рассыпались по ситцевому сарафану. Из глаз ее, наполовину закрытых, сыпалось что-то жгучее, ослепляющее, и белые руки ее с напряженными мускулами резко оттенялись от синих чуек мужиков, которые держали ее, и, как змеи, извивались эти руки, стараясь вырваться; и тяжело дышала грудь, в которой, повидимому, собралась самая страшная, самая неукротимая энергия. Мужикам нужно было собрать всю силу, чтобы удержать безумную, которая с проклятиями рвалась от них, и когда эти усилия истощили ее, она упала на землю без движения, без дыхания, как пораженная громом! Страшно было смотреть на красоту, за секунду мощную и грациозную: эта бедная женщина лежала теперь как бездушный труп, и на лице ее выпечаталось какое-то мрачное выражение буйства и непримиримой мести...

На всех присутствовавших при этой сцене заметно было резкое впечатление невольного страха. Все стоящие в церковной ограде молились как будто усерднее, изредка поглядывая на больную, около которой суетились ее домашние.

Между тем, под конец обедни ярмарка была уже, как говорится, в самом разгаре, и разгар этот еще более увеличился, когда в свою очередь народ, находившийся в церкви, вышел на ярмарку и распестрил ее своими праздничными одеждами. Церковный выгон, прежде обыкновенное гулянье телят и коров, не попавших по какому-нибудь случаю в стадо, был теперь заставлен разного рода палатками, шалашами и просто телегами с оглоблями, поднятыми кверху, на которых в виде балдахинов накинуты были рогожи и армяки для защиты от зноя. Огромные кучи дынь, арбузов и огурцов навалены были около церковной ограды, и дешевизна этих плодов была изумительная. Деревенские мальчишки то и дело шныряли около этих куч и ловко запрятывали откатившиеся плоды в неизмеримые пазухи своих праздничных рубах. Ни жгучая крапива, ни дранье хохлов не отгоняли лакомок, а разве только усиливали энергию их. Как партизаны вокруг неподвижной пехотной колонны, вились мальчишки около ворохов, и когда рука торговца вцеплялась в шершавые волосенки одного мальчугана, другие с ожесточением расхищали плоды, а страдалец, вырвавшись, показывал дядюшке красный язык и собирал в виду своего врага дань с сотоварищей за свое пожертвование общему делу.

Но центр ярмарки, так сказать, душа и средоточие ее было около моста, под горой, затем что там стояла пестрая, досчатая лавка, над которой на длинном рожне висел красно-голубой флаг. На дощечке, прибитой на верхнем карнизе лавочки, по черному полю белыми буквами намалевано было: «Выставка». Не подумайте, что это была выставка каких-нибудь сельских произведений. Нет, это был... да, впрочем, эту лавку почему-то неприлично называть ее настоящим именем, и мы должны будем прибегнуть к разного рода обинякам, чтобы дать о ней понятие, вполне соответствующее ее свойствам. Так, например: чернь, или, как характерно называл этот низкий класс русского народонаселения наш окружный, мужварье и суконные рыла, обыкновенно называли эту лавку Иван Иванычем Елкиным, звали также бабушкой с придачей какого-нибудь женского имени, примерно — Дуньки или Химки. Но, говоря по совести, все это, быть может, очень остро, но нисколько не верно. И мне, если уж очень не захочется назвать выставку кабаком, то я уж лучше назову ее чистилищем, как назвал ее дубово-липовский дьячок, человек с поразительными способностями, но погибший вследствие слишком сильного закладывания за галстук, хоть и ходят в том краю слухи, что означенный дьячок от рождения своего галстуков не употреблял, не употребляет и, как кажется, употреблять не намерен.

События, случающиеся обыкновенно в заведениях подобного рода, вполне показывают сметливость дьячка, назвавшего кабак чистили-

щем, и приходится сильно жалеть о том, что злая судьба не дала проницательной сметке дьячка никакого хода, ограничив круг его деятельности одним только пребыванием по праздникам в кабаке и отчасти на колокольне, а по будням в кабаке исключительно. Желающим видеть полную картину чистилища мы скажем, что к пестрой досчатой лавке был приделан на живую руку поместительный парусинный шатер, снабженный длинными столами и скамейками. Шатер этот строился собственно для отборной публики, и по этому случаю в одном из его углов стоял красный короб и сидела страшно размалеванная дева, на местном наречии называемая шарманкой. В ожидании публики, которая бы могла совершенно оценить обаяние ее голоса и расстроенного сундука-органа, шарманка звучно щелкала каленые орехи, и когда деревенские мальчишки, сгорая нетерпением послушать ее музыку, старались, сквозь парусину шатра, рассматривать невиданную доселе машину и ее, городскую, разубранную барыню, она старалась подкараулить их и кулаком, вовсе не девичьим, разбивала носы слишком неосторожным меломанам. Такие подвиги, повидимому, очень развлекали барыню, и она звонко смеялась, когда ей удавались ее нетрудные операции.

Таким образом, как видите, нельзя сказать, чтобы выставочный шатер или его внутренняя обстановка отличались особенною привлекательностью, но, тем не менее, внутри шатра и около него разыгрывались самые главные ярмарочные комедии, а подчас и драмы.

Глава III

Не знаю, сказал кто-то, что где есть люди, там есть и страсти, а если где есть страсти, там бывают и преступления. На ярмарке нашей были люди, — следовательно, были и страсти. Правда, страсти небольшие, страстишки, так сказать; а потому я не скажу, чтоб были преступления; но зато смело можно сказать, что были обманы, было плутовство, размеры которого были так крупны, что казались гигантами в сравнении с размерами полезных результатов, для достижения которых употреблялось это плутовство. Вот здесь-то устроители общества, предвидевшие подобные вещи, для устранения следствий, неизбежно происходящих от столкновения страстей и страстишек, постановили выбирать опытных и образованных мужей, которые бы смотрели за нравами массы, обуздывали ее страсти и, вообще, которые бы, как говорится, производя суд и расправу, счищали нравственную грязь с народа, порученного их надзору. Так, примерно, в Дубовых Липах таким благодетельным действователем был становой пристав, а сподручником его по этой части — знакомый уже несколько Македон Елистратич.

Конечно, становой не такая вещь, чтоб ему самому можно было всякую дрянь разбирать. В пору б только экстренные бумаги успеть подписать да в лянчик с приятелем тальиц пяток перекинуть, так и то служащий человек, который, можно сказать, в постоянном напряжении ум свой держит, отдыха не знает, и нивесть

как обрадовался бы такому развлечению. Такой человек, небось, в кабак, как какой-нибудь мужлан, не затешется, а воспользуется божьим временем по-благородному. Приятелей в комнату, да графинчик на стол, да сырку, да колбаски, да трубочки с жукетцем, да наливочки им эдак домашней, — наливочки-малиновочки, — веселой, стало быть, причины к разговорцу да к улыбочке... Подумаешь ведь, какое благородство вместе с какою, так сказать, невинностью сопряжено! Только бы, кажись, этим одним и заниматься-то нужно образованному да посредственного состояния человеку... Ан не тут-то было: наберутся к тебе в комнату оборванцы разные с целой волости, да как заревут в горла-то свои волчьи, так, ей-богу, аппетит весь и отобьют. Так где уж там становому по ярмарке ходить да волненье народных страстей усмирять. Благодарение бы господу богу, если бы удалось приятелей во вкусе, как говорится, принять, которые, по приязни да дружбе служебной, нарочно из города приехали, чтоб с праздником поздравить.

Так неужто становой вместо того, чтобы в благородном разговоре с приятелями отвести утружденную душу, должен по ярмарке ходить да об какого-нибудь, прости господи, пьяного галмана белые руки обколачивать?.. Понадобятся еще без того на другие дела барские руки!..

Ради такого-то недосужества станового на ярмарке всем заправляет Македон Елистратич. Господи боже мой! Слепым ведь решительно надо быть, чтобы не видеть, каких высоких и

благодетельных деятелей производит наука да образованность на службу человечеству. Посмотрите, с каким самоотвержением головица эта усмиряет волненье народных страстей и очищает нравы невежественной черни. Неказиста наружность у Македона Елистратича: левая щека у него освещена как-то особенно, точно он ее только сейчас свечным салом вымазал, да нос какой-то расплюснутый, так что не было еще человека, который бы не захохотал, увидев этот нос, и не согласился с тем, что и нарочно нельзя сделать такого носа; но все-таки нельзя было не сознаться, что в Македоне Елистратиче было что-то сильно поражающее, когда он окидывал ярмарку взглядом сокола, который хотя и проголодался, но который утешает себя тем, что недалеко видит добрую добычу.

И похаживает он по ярмарке, этот Македон Елистратич, дока бывалая, ястреб обстреленный, махая ременной нагайкой, и высматривает он ягоду красную, о которую можно б было погреть широкие руки. А народ православный все подходит к нему да все чествует; а он себе и усом не ведет, с редким разве купцом, да и то, что называется, на самую на минуту юркнет в парусинный шатер, и только что успеет раздругой по мадерке пройтись, как и спешит уже на свое бурное поприще, т. е. на ярмарку, которую бурным поприщем я назвал собственно для красоты слога.

Впрочем и нельзя назвать поприще, на котором в настоящее время подвизается Македон Елистратич, иначе, как бурным, потому, что редкому присутствовавшему на ярмарке уда-

лось обойтись без руководительства Македона Елистратича. Все, должно быть, сознавали опасность этого поприща и потому спешили обращаться к Македону Елистратичу с разными умилостивительными приношениями, вероятно, как к человеку, который один только может спасти несчастных, попавших в круговорот его деятельности.

А тем людям, которые забывали, что Македон Елистратич, так сказать, Нептун в своей луже, он сам напоминал об этой несомненной истине, и напоминал, могу сказать, вразумительно. Вот, например, мещанин из уездного города, прожженная бестия, приехавший на ярмарку со всякой дрянью, видите, как он отвешивает сельской красавице на шесть гривен румян. Кажется бы, что тут удивительного? Ничего, а по мнению Македона Елистратича тут заключается многое!.. Как голодный ястреб бросается колом с поднебесья на одинокого цыпленка, так и Македон Елистратич бросился к подвижной лавчонке негодяя, откатал его своей страшной нагайкой и приказал как будто выросшим из-под земли сотским отвести в стан промахнувшегося шельмеца. Схватили раба божия сотские под руки, да эдак тычком да пинком его и подганивают... А он им на полдороге начал речь держать: с барином, говорит, говорить хочу. Доложись, говорит. А сотский ему: ты, говорит, не толкуй, а то в морду дам; а если барину сказать что хошь, так все равно, примером, и мне объяви. Барину-де мы сами доложим; а мещанин ему три целкача в зубы-то и пырнул; барину, гово-

рит, отдай; а это вот на чай вам всем вместе, да мелочи гривен на семь, чай, было вынул из кармана и тоже им отдал. Ну, говорит, квит, что ли? А сотский как будто замялся, кашлянул как-то особенно, довольно долго и пристально рассматривал свою облезлую шапчонку и, наконец, проговорил: то-то квит; ты, брат, с нашим барином, смотри, не спорь. Хороший барин, он-те, пожалуй, возьмет да в зубы-то вот так и съездит. И при этом сотский сжал кулачище и хотел было показать мещанину, как бы, примерно, барин мог его в зубы съездить; но мещанин благоразумно откачнулся, плюнул и пошел опять на ярмарку — самым наглядным образом показывать охотникам до наблюдений, как у нас на Руси добрые люди с пятака миллионы наживают, а сотский с подручниками отправился в выставку хватить малую толику за здоровье благодетельного мещанина.

Таким образом Македон Елистратич напомнил мазурику-мещанину, что его уважать должно, в противном случае он всегда найдет штучку, за которую надлежащим манером вздует нагайкой. А штука эта состояла в том, что к дну весов, на которых негоциант отвешивал мужикам разные произведения природы и искусства, снизу была прилеплена гривна времен Великой Екатерины. Конечно, гривна, прилепленная снизу к чашечке весов, вещь малая есть, и Македон Елистратич очень легко мог бы ее не приметить; но толк в том, что хитрец-мещанин, усовершенствовавший таким образом весы, при приезде на ярмарку нисколько не озаботился визитом к Македону Елистратичу, чем в неко-

тором роде показал неуместную гордость и амбицию, каковые качества Македон Елистратич очень не терпел в людях вообще, а в мещанах и мелких купцах, приезжающих на сельские ярмарки его стана, в особенности.

А между тем ярмарка разыгрывалась все более и более. Из парусинного шатра, приделанного к выставке, начали выходить разгоревшиеся, покрытые потом посетители. Лихо заломляли они на ухо поярковые шляпы и с каким-то особенно довольным выражением оглядывали почтенную публику, и как будто собирались они гаркнуть на целую ярмарку: «что, дескать, эй вы, тумаки-дураки, на нас посмотрите! Вот мы уж почитай что на четвертом взводе, а вы что? Эх-ма, дрянь вы, вот вы что!..» А звуки лихих гармоник и дергающих русское плечо балалаек еще более раззадоривали пьяную удаль гуляк, и на туго прибитой земле раздавался лихой топот быстрого трепака. Удалые поговорки сыпались из уст плясуна, и толпа гремела поощрительным хохотом, когда удалец выхватывал из среды ее какого-нибудь нюню, вертел его вместе с собою, приговаривая что-нибудь в этом роде:

Эй, кум Матвей!
Не жалей лаптей!

И вслед за тем удалец показывал, что нюня так нюней и останется, что он сам и носа-то своего утереть как следует не умеет, и тут же быстро срывал шапку с нюни, утирал ему нос и коленом снова вталкивал в толпу и снова принимался потешать собравшийся люд провор-

ной присядкой под лад песенного рассказа о том, что

Уж как барыня-вдова
Во своем дому жила...

Немного подалее другая толпа, еще более многолюдная, ждала с нетерпением очереди насладиться разного рода зрелищами, разыгрывавшимися в небольшой коробке у отставного старого ундера. Внимание народа было совершенно поглощено словами седого усачища, который говорил смотревшим в его панораму:

— Вот, вы извольте, господа, посмотреть, как эфта, значит, была, судырри вы мои, баталья при тетке Наталье и как, сталло быть, турки валятся, как чуррки, а наши без голов стоят да табаччо-о-к понюхивают. А эфта, судырри вы мои, песня в лицах:

Лет пятнадцати не больше-с
Вышла Катя погулять-с.

И при этом старик-ундер обыкновенно оставлял свою папироску, молодечески и с визгом подскакивал к какой-нибудь молодице, хватал ее за белы руки и с неописанным удальством пускался с ней в пляс, самым залихватским манером напевая продолжение песни, вероятно, для той собственно цели, чтобы показать зрителям, как гуляла Катя в то время, когда ей было не более как пятнадцать лет. Напрасно молодка отнекивалась, когда ундер, по окончании песни, изъявлял решительное намерение поцеловать ее в сахарные уста, напрасно закрывалась она красным, кумачным нару-

кавником, солдат непременно целовал ее и снова продолжал прерываемую этим пассажем рацею:

— А эфто, госпо-о-да, горрод Китай, в беларабской земле на поднебесной выси стоит. А эфто, примерр-ро-ом, девка Винерка, в старину она богиней бывала, а теперича, значит, она на Спасских воротах на одной ножке стоит, а другою по ветру повертывается; а втащил ее на ворота, стало быть, махину такую, Брюс, колдунище заморский. А эфта, я вам доложус-с, французский царь Наполеонт, тот самый, которого батюшка наш Александр Благословенный, блаженной памяти в бозе почивающий, сослал на остров Еленцию за худую поведенцию...

Толпа ревела от удовольствия, и много было драк за окошечки незамысловатой панорамы.

Очевидно было, что старый ундер производил фурор. Хозяин выставочного шатра, лысый эдакой гостеприимец, стоял в дверях своего заведения, и заметно было, что он с удовольствием ангажировал бы его в свой шатер, если бы все попытки его на этот счет не остались решительно безуспешными, потому что солдат ломил с него за день своих безостановочных спектаклей чуть ли не 50 рублей. Таким образом, лысина удовольствовалась только сделкой с шарманщицей, которая, вопреки всем ожиданиям, говоря местным наречием, сильно запарилась и пела чрезвычайно вяло, так что посетители шатра были крайне недовольны ее хриплым голосом. Как-то лениво вертела она ручку сундука-органа, и по лицу ее, вероятно,

от этой трудной работы, без преувеличения можно сказать, текли ручьи румян и белил, так что в это время с нее довольно верно можно было снять портрет татуированной дикарки.

Вероятно, самым печальным образом кончилась бы спекуляция лысого гостеприимца, рассчитанная на сборе за песни шарманщицы, если бы в это время не пришел в шатер Македон Елистратич в сопровождении господина, как заметно, сильно подгулявшего. Громадно-толстый, с заплывшими от жира глазами, с лицом страшно-красным, господин этот был одет в длинный ватный сюртук, называемый в уездах пальместроном. При появлении этих персонажей мужики и мещане, бывшие в шатре, встали с видом наиглубочайшего почтения к пришедшим, но Македон Елистратич мановением руки, истинно величественным, пригласил их продолжать начатые занятия. Лысый хозяин с сладчайшей улыбкой почтительнейше спрашивал Македона Елистратича: чего им желательно-с? — «Фу, — говорит Македон Елистратич, обращаясь к пальместрону: — устал, я тебе скажу, вот до сих пор», и при этом он провел рукою по горлу. Тут только он удостоил ответом гостеприимного старца и сказал ему: «Дай арбузик сюда, да того... знаешь? бальзамчику».

Принесли бальзамчику, прошлись они по рюмке — другой, а может, и по третьей, и рявкнул пальместрон истинно ужасающим басищем:

— Истинно, — говорит, — Македон, скажу тебе, что житья нет. Сам знаешь, в прошлом

году чин получил, а какие, я тебе скажу, грубости делает, так уму непостижимо! Анамедни спирт для больных из запасной аптеки прислали; ну, признаюсь, попробовал я немного; а он, т. е. истинно скажу тебе, пришел свидетельствовать и, эх! не поверишь, ведь ты, говорит: свинья ты, говорит, скот необузданный! А в аптеке нас только двое было, хоть бы сторожишка какой ни на есть случился, так засвидетельствовал бы; а то ни одного бестии; ну, он меня эдак, знаешь, как хватит, так я тебе истинно скажу, инда искры из глаз посыпались. Не посмотрю, говорит, животное, что ты в чиновники затесался. Я было, знаешь, того эдак... Самого свистнуть хотел... Благо никого нет, думаю. В порошок бы стер, щедушный такой! Смекнул он, да как взглянет, истинно скажу, поджилки затряслись... А отчего бы? Маленький ведь, дрянь! На ладонь посадить, другою расплюснуть. Нет, догадался. За одно, говорит, подлец, намерение в Сибирь упеку. А городничий приятель ему, оба питерские... Вот он записку к нему и шлет: выпороть, говорит, скота, келейно, — спирт казенный выпил да сахар, назначенный больным, украл. Что ж делать? Не дайся сечь! Без хлеба умрешь; ну и выпороли, а чин имею... Полицейские солдаты по городу разнесли...

И пальместрон как-то дико захлюпал. Старание его удержать всхлипывания тяжело бы сдавили сердце присутствовавшего при этой сцене. В самом деле, как-то странно было видеть такого огромного, сильного человека плачущим, по его собственному сознанию, от человека сла-

бого и щедушного... И пальместрон опять говорил, жалуясь другу:

— Истинно скажу тебе, боюсь, как взглянет, потому огонь какой-то так и сверкает в глазах. Дрожим перед ним и дивимся — отчего?.. Истинно скажу: от земли не видать!.. И что же ведь? Все в Сибирь, говорит! Свечи там, узнает, что ли, у больных взял или двум одну порцию дашь, все у него в Сибирь, все у него донесу... Про смотрителя анамедни (знаешь, кандидат ведь на офицерство был, затхлую муку в больницу принял), так он про него в управу в губернию написал, ну и в отставку его, штраф взяли, а детей было шестеро. Так что же? Сам смотритель-то с женою у камня бесчувственного в ногах валялся, весь город за себя на ноги поднял, наконец, младенца, этто, грудного принес и плачет: по миру, говорит, ваше высокоблагородие, итти не дозвольте... Плут ты, говорит, не потаю, — и отставили, именьишко продали. А за что? Разве мы одни? Все так не в нашу версту, да все так... Они одни с городничим-то в святые насильно лезут...

И великан опять зарыдал и вырезал стакан бальзаму.

— А чем жить? С гарнизонных, с вдовых солдаток даже за пиявки не велит брать: вот, говорит, возьми три целковых из моего жалованья, а брать не смей.

Вырезал еще стакан великан, да и говорит:

— Эх! Была, не была, убью, — говорит, — попадись только...

Это, изволите видеть, фельдшер из Красновска жаловался Македону Елистратичу на

притеснения недавно приехавшего доктора. А Македон Елистратич видит, что приятель уж чересчур зарапортовался при посторонних, быстро толкнул его в бок и сказал:

— Ты смотри, не азартничай. Не в четырех стенах сидишь, народ есть.

Видно было, что жалобы приятеля сильно подействовали на Македона, а потому он налил рюмки и предложил пальместрону еще выпить, по той собственно причине, что времена ныне пришли действительно скверные, но что в стану у него похожего на это, слава богу, покуда еще ничего нет...

Таким образом, благодаря усердию гостеприимного старца, много графинов ставилось на стол и уносилось с него. Скатерть, разостланная на столе, была совершенно смочена арбузным соком и пролитой настойкой, и приятели наши находились уже в совершенном разрезе. Заметно было, что Македон Елистратич желал, какими бы то ни было средствами, освободиться из-под тяжелого впечатления, произведенного на него рассказом пальместрона, а потому он то и дело потчевал его водкой, не забывая угощать и себя надлежащим образом. Наконец, приятели до того раскутились, что оба ощутили сильнейшую потребность в музыкальном наслаждении, а потому Македон Елистратич и обратил свое внимание на шарманщицу, которая, пользуясь разговором друзей, совсем уже перестала вертеть сундук-орган и преспокойно спала в складных креслах. Ни бас пальместрона, ни громкие восклицания пирующих, ни ярмарочный шум

не могли потревожить сна ярмарочной невинности.

— Эй ты, артистка! — воскликнул Македон Елистратич. — Проснись, чорт тебя побери.

Быстро встрепенулась барыня и машинально схватилась за ручку органа. Потом она вдруг опомнилась, видя, какой важности меломаны стоят перед ней. Пугаясь буйства Македона Елистратича, она в то же время трепетала и пред фельдшером, который имел над ней довольно сильное влияние по разным делишкам в городе. Оправившись немного от своего смущения, она спросила, преимущественно, впрочем, обращаясь к Македону Елистратичу, что они спеть прикажут-с.

— Катай: на погибельный Кавказ не езди.

— С чувством прикажете-с? — спросила барыня.

— Разумеется, с чувством, — заревел пальместрон.

Методу петь с чувством показал шарманщице приезжавший в прошлом году в Красновск за лошадьми ремонтер. Это, изволите видеть, при окончании каждого куплета каждой песни, какого бы рода ни была эта песня, шарманщица должна была вскакивать с кресел и плясать отчаянную «русскую» под хор кутил, которые на разные голоса ревели: кто — «ай жги, говори», кто — «жил-был у бабушки серенький козлик», тогда как другие волчиными голосами изъявляли желание своих пьяных сердец удалиться «во пустыню от прекрасных здешних мест». Прошло-

годний ремонтер всегда с умилением вспоминал о знакомом ему студенте, который показал ему эту, можно сказать, превосходящую всякое описание штуку — и в бумажнике его крупными русскими буквами написано было, что эта штука называется: «квод-либет», что ремонтер и показывал всем, желающим усвоить себе назидательное название этого приятного увеселения.

И завертелась ручка органа чрезвычайно деятельно, и раздался этот пронзительный, высохший, так сказать, горловой голос шарманщицы, который слышать можно только в одних лебедянских трактирах, на знаменитых конных ярмарках, — больше нигде нельзя слышать такого голоса. Вот и последний стих куплета спела шарманщица, и сперва грянул бас пальместрона: «о х, н е о д н а - т о в о п о л е д о р о ж к а», потом Македон Елистратич тенором, похожим на крик голодного павлина, затянул: «к а к у н а ш и х, у н а ш и х, о й, у н а ш и - и - х у в о р о т» — и с свистом ринулся он с своего места и вместе с шарманщицей начал такой поразительно быстрый и лихой трепак, что пыль поднялась бы столбом, если бы она предварительно не была вся выметена. Фельдшер был в каком-то неестественно-веселом расположении духа, с неописанным восторгом потирал он руки, подергивая плечами и припрыгивая на скамье. Сидевший тут за столом один молодец, из мещан, долго ухмылялся, смотря на такое веселье, долго переминался на скамейке, наконец не выдержал и затянул в свою очередь: «ш л а М а т у ш к а, с т а л о-

быть, из лесочка». Не успел он окончить и половины стиха, как Македон Елистратич, с свойственною ему важностью, схватил молодца за шиворот и сказал ему:

— Ты что? С свиным рылом да в калашный ряд?.. С своим братом ты, что ли?

Нагайка свистнула, и молодец присмирел: только долго он улыбался той неопределенной улыбкой, которую можно заметить у всякого достаточно выпившего мужика, когда он, с разбитым удальцами-товарищами носом, идет по улице и, с свойственною русскому народу откровенностью, кричит на весь божий мир, что вот мы как, что нас никто не моги трогать, а то сдачи дадим...

Барыня запела второй куплет, и пальместрон облокотился на стол, и, повидимому, глубоко обдумывал он какую-то идею, вероятно, ту самую, что чем и как будет он жить при новом докторе?.. Кончился куплет, вскрикнул Македон Елистратич, и пальместрон пробудился от думы своей глубокой и с большим энтузиазмом начал поощрять танцующих.

— Эх-ма, истинно скажу, — говорил он: — залихватски ты, Македошка, пляшешь. Дока ты на эти вещи, подлец эдакой!

Значительно улыбнулся при этом Македон Елистратич, подперся фертом эдаким и на каблуках одних, лежа почти, увивался около шарманщицы, потом вдруг вспрыгнул и бросился целовать ее.

— Славная ты, — говорит, — девка, чорт тебя побери! Баста плясать! Устала ты, вижу, донского давай, лысый ты шут.

И принесли донского, и долго пили они втроем, до того пили, что пальместрон, нисколько не стесняясь, ревел во все горло, что он всех убьет и лекаришку своего, мозгляка эдакого, чорт его возьми, и городничему спуску не даст и что он, как и всем известно, если даст кому загвоздку эдакую, так уж редкий встанет, а Македон Елистратич изъявлял желание узнать биографию шарманщицы во всей ее подробности...

Шарманщица, достаточно уже освоившаяся с Македоном Елистратичем, довольно смело начала было рассказывать ему, что, дескать, тятенька у меня был майор, а маменька майорша, как вдруг, к величайшему ее изумлению, Македон сильно хватил ее своей страшной нагайкой. «Забылась, — говорит, — бестия ты эдакая, что начальник говорит с тобой. Ты мне правду говори, а брехать не смей. Вот, — сказал он, обращаясь к пальместрону: — третья мерзавка одинаковым образом начинает мне рассказывать про свою жизнь. Тятенька, дескать, был у меня майор, а маменька майорша — и ведь все врут, канальи, а зачем врут, бес их знает». А пальместрон в ответ на это громко стукнул по столу и с энергией провозгласил, что, действительно, шарманщица дочь майора и что он в городе видел у нее похвальные листы разные и что ты, Македошка, не смей бить ее, а то, говорит, я тебя так встряхну, что ты ноги протянешь...

Видали ль вы, когда две грозные тучи сойдутся с противоположных сторон и брызнут на оробевшую землю перекрестным огнем своих

молний? Если видели, так можете теперь судить и о той грозной картине, которую представляли писарь и пальместрон — эти представители сельского аристократизма.

Пропустив, как говорится, мимо ушей слова пальместрона, Македон Елистратич накинулся на шарманщицу, ожидавшую смерти, и лишь только поднял было он на нее руку с своей гибельной нагайкой, как пальместрон так хватил его по становой жиле, что уж истинно, можно сказать, у Македона Елистратича искры из глаз посыпались. Такое, можно сказать, еще незаписанное в скрижалях истории событие сильно отуманило Македона. Трактир заколыхался, как колыхается земля, потрясенная громовым ударом, шарманщица драматически бежала с поля битвы, а лысый гостеприимец стремглав летел за сотскими.

Прибежало человек пять сотских и, предводительствуемые Македоном, стремительно атаковали фельдшера с фронта, тыла и с обоих флангов. Надобно было видеть, какие тузы раздавал пальместрон направо и налево, повторяю, видеть надобно было, как великолепно изуродовал он рожи сотских, и если его схватили и отвели в стан, так он все-таки без малейшего фанфаронства мог сказать, как сказал какой-то старинный французский полководец: я разбит, но не побежден.

Сильно пострадал в этой ожесточенной борьбе ватный пальместрон фельдшера; но пальместрон что? Пустяки, наживное дело, а главное-то, что в стану келейным образом, по приказанию Македона Елистратича, сотские до

того колотили фельдшера, что новому красновскому доктору уже нечего было бояться его загвоздок, потому что спустя неделю после этого события пальместрон умер в красновской городской больнице...

Глава IV

Нестерпимый жар, который доселе жег и душил деревенскую зелень, спал, наконец. С реки повеяло освежающей прохладой, мелкие струйки зарябили по ней. Перекатываясь одна через другую, они сверкали искрами такого ослепляющего блеска, что глазам становилось больно смотреть на них, — и тогда только успокоивались глаза ваши, когда вы обращали их на раскидистые, зеленые ветви прибрежных ив. Наклоненные в воду, они, казалось, испытывали неизъяснимую сладость, купаясь в прохладительной влаге после палящего зноя...

Из деревенских изб, куда забралась большая часть ярмарочной публики, слышались и громкий говор, и еще громчайшие песни. Ярмарочная площадь заметно опустела. Остались на ней только так называемые красные ряды, где все еще продолжал толпиться народ да продавцы забракованных плодов. Уныло стояли они около нераспроданных куч и, рассчитав, что не стоит тратиться на обратный провоз оставшегося товара, уже ничего не предпринимали против очевидного грабежа свиней, которые, с свойственною им вальяжностью, рылись в плодах мордами, страшно запачканными соком прокислых дынь.

Торговые обороты, собственно, так сказать, домашние, были совершенно окончены. Мужики бедные, приехавшие на ярмарку с жалкими произведениями своего хозяйства или с еще жалчайшими вещичками собственного досужества, продали все это мужикам побогаче, запили магарычи с покупателями, закупили домой соли и дегтю, по калачику деткам и пошли в другой раз в кабак пропивать остальное... Таким образом, во вторых руках составились небольшие партии масла, холста, кож, тележных осей и прочего, что перешло в третьи руки, именно к мещанам, или к так называемым кулакам, приехавшим из уездного города, которые долго спекулируют этими вещами между собою, долго запивают магарычи при каждой перекупке и перепродаже и наконец перепродают все это купцам, торгующим оптом...

Лысый гостеприимец с своими помощниками не успевал отпускать то невероятное количество магарычей, которые требовались торговцами и неторговцами. В это время пили уже не для того, чтобы показать православным: во, дескать, колька потреблять мы могим... И такая шла лафа в это время лысине, что одни потребители более половинного количества водки оставляли ему на хлеб, другие, жарко разговаривая с дорогим куманьком или сватом любезным, забывали о сдаче с целкового, а экстаз третьих простирался до той степени увлечения воображаемой добротой лысого гостеприимца, что они убедительнейше просили его, чтобы он маненечко выпил с ними, и что если не хочет он хватить родного, так хоть чего-нибудь вы-

пил бы на их счет: бальзаму там али грому какого... И гостеприимец уважал просьбы милых дружков, — пить хоть, может быть, не пил, зато, рассчитываясь с ними, непременно прикидывал к итогу копеек пятнадцать, за которые он в уваженье приятелей сладких себя угостил, и еще более раззадоривал он коротких знакомцев своих, когда делал им уваженье в том собственно разе, что скидывал с счетов ту разную дрянь, разрезанную на мельчайшие кусочки, которая обыкновенно валяется на прилавках питейных заведений и которою мужик заедает адскую микстуру, искусно приготовляемую, на потеху ему, клиентами винных откупов.

Поэтому в выставке слышались или те забубенные речи, которыми выпивший объясняет своему задушевному другу свое житье-бытье молодецкое, или слезные жалобы на злую судьбу-лиходейку, которая будто бы до того молодца загоняла, что у него ни на что уж и не поднимаются белые руки...

— Эх, — курица говорит, — жисть ты моя злодейская, участь моя бесталанная, пропадай ты совсем. — И запивала она горе свое великое новой косушкой, которая через великую силу в рот влезла, но за которую тем не менее заложен новый полушубок.

В то же самое время и лихачи эти кудрявичи, увлекшись рассказом о своей удали неописанной, о своем талане и досужестве во всяких делах, пропивали сперва красный кушак и поярковую шапку, а потом и новую поддевку, и оставались они, добрые молодцы, в одних крас-

ных рубахах. В дружеских обниманьях незаметно открывались застежки рубашного ворота, и тогда можно было видеть ту широкую, железную грудь, по справедливости названную богатырской, которая одна лишь, кажется, долго может выносить злое влияние адского питья, которым жгут ее, и когда горе сушит ее, и когда радость волнует; когда у мужика от непосильного труда кости заломит, и когда он от безделья на теплой печке лежать соскучится...

Море водки было выпито. Вот и теперь в его необъятной пучине погиб человек. С самого детства от деда, от отца и от добрых людей слышал он, как иногда к статье говорилось, что всякое горе в вине утопить можно. Долго жил он на свете и не знал, что-де за скус такой винный есть, затем что горя не знал никакого, а теперь вот пришлось испытать и то и другое, да жаль — поздно! Правда — другим урок; но зато как дорог этот урок!..

И стоит толпа над трупом бездушным и думает: что-де за история такая? Был сейчас человек — и уж нет его! Сроднилась она с этим родом зрелищ до того, что других слов они уже и не внушают ей.

А о том, какого рода история подвела под обух этого человека, расскажу сейчас; а теперь доброй ночи, добрые люди! Новое утро завтра настанет для нас — вновь мы увидим светлое солнце, добрых людей; а жертва порока, самого грустного, но тем не менее обыкновенного у нас, ничего не увидит. Доброй дороги ей, в вечный путь отходящей, даже нельзя пожелать...

Глава V

Верстах в пяти от Дубовых Лип есть огромное барское село. Каменный помещичий дворец есть в нем с обвалившейся штукатуркой, с закрытыми ставнями и заглохшим садом. Давно покинут хозяином дом этот, и только в развалившихся службах живут человек с полсотни дворовых. К соблазну крестьянских баб, народец этот покуривает себе трубки, охотится летом за перепелами (свистюльками такими их в сети заманивает), а постоянное занятие этого народа заключалось главным образом в охаивании мужиков: дескать, вы что? Суконные пироги едите, ременным гужом давитесь, а мы при господских персонах служим и с городскими приказными знаемся... Действительно, летом, бывало, наедут к ним кутилы красновские под предлогом наслаждения сельской природой да по целым неделям в барских хоромах и пьянствуют. О тех сценах, которые разыгрывались кутилами в самом доме, можно судить по тому обстоятельству, что они днем, бывало, выбегут на село in moribus naturalibus да за деревенскими собаками и охотятся.

Человек, о котором я хочу рассказывать, был управителем в этом селе. Вместе с этою должностью отец его, находясь при смерти, передал ему во владение небольшой дубовый сундук, полученный им с своей стороны тоже от отца. Каким манером приобретена была внутренность, заключавшаяся в сундуке, неизвестно; известно только то, что внутренности этой было тысяч на пятьдесят серебром. Ну-с, и живет себе

управитель наш барином настоящим, хотя он в сущности был не что иное, как крепостной настоящего барина, который постоянно по заграницам шатался, от природы полученные способности, по части биения баклуш, изощрял... Управительские дочки (две у него их было: Сашета старшая и Пашета младшая) с утра до вечера чаек себе попивают в накладочку, с кренделечками, а в интервалах относительно каленых орешков да подсолнечных семян зубки навастривают. Словом, чадолюбивый отец воспитание дал им именно такое, результатом которого бывают грандиозные особы, так часто встречаемые в девичьих больших помещичьих домов. Изумляют вас эти особы яркостью розовых щек своих и тем прелестным сходством с откормленными утятами, которое так восхищает богатых стариков, знатоков и специалистов по этой части. Ну, красновские приказные видят телеса и думают: «как бы это, канальство, карьер сделать, с управительской дочкой какой-нибудь законным супружеством сочетаться?» И многие из них сильно истратились на покупку разных платочков и колечек, которыми они дарили дворовых баб, подкупая их снести управительским барышням записочку эдакую золотообрезную, на конверте которой самым тщательным почерком написано было:

Лети, лети, мой вздох,
Кто моему сердцу дорог.
Лети, лети туда,
Где примут его без труда.

Все эти поэтические шутки, выбранные целиком, с небольшими собственными добавлениями,

из сладчайшей повести о битве русских с кабардинцами, глубоко потрясали все существо барышень. Они тоже, в свою очередь, брали какую-нибудь книжонку с синими крышками, выбирали оттуда на розовую бумажку, что послаще, и отсылали приказному с адресом такого зажигательного свойства:

Ачей маих свету
Миламу придмету,

нисколько, впрочем, не имея понятия о личности милого предмета, с которым они тем не менее изъявляли в своих циркулярах твердое и ничем не изменяемое намерение убежать в страны счастливой Аркадии.

В силу полученных от барышень разных нежных нежностей, многие приказные засылали к управителю свах с просьбою осчастливить их рукою Сашеты или Пашеты; но он подавал кареты всем свахам, весьма справедливо рассуждая, что весь этот народ сгорает любовным пламенем к его дубовому сундуку, а вовсе не к дочкам.

— Уж если, — говорил он, — девку надо будет отдать с капиталом, так отдать ее за купца какого-нибудь, а с этой голью приказною, пожалуй, и без насущного насидится.

Неизвестно, сколько бы времени прострадали девы в своем печальном уединении, если бы Сашета перед старухой-теткой не изъявила опасения, постоянно и глубоко по неизвестным причинам ее беспокоившего, что как бы к их дому чего-нибудь не подкинули...

— Просто уснуть не могу ни на минуту, — говорила тетке Сашета. — Ужасти как страшно!..

Старуха-тетка передала эти опасения отцу. Отец хоть и сказал, что все это пустое, однакоже послал одну дворовую старуху, занимавшуюся сватовством и удивительно гадавшую на картах, в Красновск, к одному приказному, который перед тем сватался за Сашету, да отказ получил, чтобы он приезжал к нему в усадьбу смотрины делать. Приказный сразу смекнул, что история-то того-с... и приехал. Этим же вечером порешили, что быть свадьбе через неделю, тем более, что и Сашета, когда отец спросил ее, нравится ли ей жених, решительно отвечала, что, дескать, тятенька, я к нему большую склонность в моем сердце питаю. Действительно, свадьба была через неделю — и на свадьбе этой были приказные из всех судов, втихомолку рассуждавшие насчет жениха: за что-де дуракам всегда счастье везет?

Спустя другую неделю после свадьбы, в одно прекрасное утро, Сашета не обрела своего доблестного супруга, потому что он уехал в дальние края с благородною целью себя показать да людей посмотреть и кстати, должно быть, захватил с собою те десять тысяч рублей, которые взял за нею в приданое. Так, бестия, кругло дельце обделал, что ни кот, ни кошка не знали, как он, при содействии попечительного начальства, отставку взял.

Это был первый щелчок, который судьба закатила управителю; а уж, известное дело, коль скоро кого судьба по носу хватит, так только успевай считать ее щелчки. Так и здесь было дело. Замужняя вдова опять к отцу на старое

житье переселилась, а через месяц после этого переселения, опасения, тревожившие ее в барышнях, оправдались на деле, — к дому управителя действительно подкинули микроскопического мальчугана...

В это время управитель почувствовал в себе первые припадки старости — поясница стала ломить. Перепробовал он все эти бузинные наборы, каждую ночь малиновым чаем себя до седьмого пота угощал, — нет легче!

Вот однажды и приезжает к нему приятель один, выгнанный из службы чиновник (в губернии стало жить нечем, так он на свою родину в село приехал и занимается в настоящее время тем, что мужикам прошения пишет да тягаться их друг с другом стравливает). Ну, известное дело, управитель сейчас для него закуску с графином на стол, а приятель-то, признаться, уж заложимши был. И начал управитель жаловаться приятелю, что вот-де у него поясница ужасти как болит с тех самых пор, как несчастье его постигло, а приятель между тем на старые дрожжи еще пропустил дважды и начал хозяина упрашивать, чтобы тот с ним компанию разделил, относительно то-есть выпивки, божбой утверждая, что рюмки две или три, если он выпьет, так горе-то с него, можно сказать, как с гуся вода сбежит и пояснице не в пример легче будет.

— Что это вы, — говорил управитель, — с ума спятили, что ли? Слава богу, пятьдесят с хвостиком лет прожил на свете, не пил; так теперь уж не к чему покойных родителей обижать.

— Да ведь это что, — говорил чиновник. — Ведь это с лекарственною целью. Ты выпей, а тогда посмотри, что с тобой будет. Новый человек совсем будешь.

И чем более отказывался управитель от чести разделить с ним компанию, тем он убедительнее просил его об этой чести и, наконец, даже стал на колени и с слезами чувствительного сердца, глубоко проникнутого состраданием к немощам ближнего, начал уверять управителя, что он добра ему желает, видя его горе великое, и что сам он от покойника тятеньки получил завещание не пить, потому-де, что смертный грех пьянство есть, и что, наконец, теперь он, слава богу, многолетним опытом дознал ошибочность тятенькина завещания.

Кончились, наконец, просьбы чиновника тем, что управитель выпил... Сидит он, а гибельный процесс, которым несчастные жертвы вербуются под знамена порока, совершается в нем. Размягчаются устарелые кости, горячеет начинавшая уже охладевать кровь, и теплой струей приливает она к изнывшему сердцу, заставляя его так радостно биться...

После второй рюмки все окружающее управителя показалось ему в таком добром, благоприятном свете, что он очень удивлялся тому обстоятельству, как это могли беспокоить его такие пустяки, как, например, потеря десяти тысяч, увезенных бессовестным зятем, и разные глупые сплетни относительно Сашеты и подкинутого мальчугана.

Уехал приятель, — вышел часа через два хмель из головы управителя, и опять заболела

поясница, и опять на место испарившейся водки полезли в голову те страшные сказки, которые досужие языки разнесли о его дочери по целому уезду.

Полечился немного старик, и опять ничего, хорошо стало и в голове, и в пояснице...

Такой порядок вещей продолжался с год или немного более. Сашета пустилась между тем, как говорится, во вся тяжкая — и уж не то, чтобы, как прежде, в свободное время чайком позабавиться, нынче она норовит эдак в укромном местечке насчет перцовки пройтись, по тому собственно случаю, что вот-де под ложечкой оченно больно...

Надобно знать сельскую жизнь, чтобы понять, как терзали отцовское сердце разные приятельские экивоки насчет его дочери — этой певчей птички, которая, приняв еще утром свое обыкновенное лекарство от боли под ложечкой, по целым дням, бывало, сидит себе под окошком да напевает сантиментальные стишки, гласившие о некоем, хотя и злом, но все еще милом тиране.

Таким образом, чем язвительнее был клинок, которым хотели подколоть глаз управителю, тем более был прием лекарства, которым он уже привык залечивать раны глубоко уязвленного сердца. К концу года старые опасения Сашеты, относительно, так сказать, подкинутия к ним чего-нибудь, возобновились и очень скоро осуществились на самом деле. В другой раз около управительской квартиры найдено было микроскопическое существо человеческой породы.

Старик начал пить по целым месяцам...

Видят все в околодке, что управитель с панталыку сбился, и юрист-то, приятель, видит, и запала ему в голову счастливая мысль спихнуть с места друга любезного, а самому попасть на это место. «Вещь, — думал юрист, — хлебная будет».

И принялся он за это дело с тою ловкостью истинного дельца, за которую много головиц по нижегородской дороге прогуливается. Безыменное письмецо левой рукой, во избежание предательства со стороны почерка, накатал да к владельцу имения и пустил.

Письмо юриста попало, что называется, в самую центру. Хорошо еще, что управителю дали из-под руки знать, что барин к нему на ревизию едет. Опомнился старик, вытащил внутренности из сундука, в пакет их заложил, да и думает: кому бы это, как гроза пройдет, сокровище поверить. Наконец, выдумал он, что кому же более, как не юристу. С ним он в малолетстве в казанки игрывал, у одного дьячка вместе азбуке учились, и теперь вот лет уже будет с десяток, как они хлеб-соль друг с другом водят, да и детей у юриста управитель крестил, — на что же верней человека? Вот и приезжает управитель к куму, — тот тоже закуску с графином на стол, — и пошли у них разговоры, обыденные, сельские разговоры, как, на пример, красновский купец Лабочинников надул сопатым рысаком Васю Тарасовского и как у Васи Тарасовского означенного рысачка выиграл Григорий Лукич.

После всех этих разговоров управитель прямо к делу пошел, вынул пакет, да и говорит:

— Слышал ты, кум, барин к нам едет. Неровен случай с повальным нагрянет, так я уж к тебе привез — спрячь!

Да как развернет пакет, да как пачками на двести тысяч хлынет, так у юриста голова кругом и пошла. Задрожал и замлел весь, как эти розы-то сотенные да серии зеленые в глазах у него зарябили...

— Ну, кум, — говорит юрист, — вижу, что ты меня любишь. Ну, а как я тебя да того... под сиротский суд упеку? — шутливо прибавил юрист. — Что ты тогда станешь делать? — И приятели оба засмеялись такому несбыточному предположению, — должно быть, друг на друга крепко надеялись.

Рассказывать ли вам о том, как, порешив дело, приятели долго сидели за светлою рюмкой, как юрист упрашивал кума, чтобы он ни под каким видом не беспокоился о своих деньгах, потому что совесть ему дороже всех сокровищ на свете, и как, наконец, по отъезде помещика, кум-юрист протурил в три шеи кума-управителя, когда тот приехал к нему за своим пакетом?.. Все это истории обыкновенные, как обыкновенна и та история, что помещик, приезжавший ревизовать свое имение, сменил управителя и увез с собою его младшую дочь, под тем благовидным предлогом, что такой воспитанной девушке, какою на его барские глаза показалась Пашета, неприлично жить с постоянно пьяным отцом...

— Мы эфти истории сами до тонкости знаем, — говорил один мещанин, когда квартировавший у него служивый, рассчитывая пообе-

дать с ним за одним столом, старался распотешить его забавным рассказом о том, как, дескать, мы под туречиной стаивали.

Старик начал пить запоем, пропивая крошки, оставшиеся от прежних счастливых дней, и болезнь его, так страшно свирепствующая в простом народе, получила еще большее развитие вследствие слухов, разнесшихся по уезду, что младшая дочь его, увезенная помещиком, пропала без вести после того, как он подарил ей вольную и приказал убираться на все четыре стороны...

Таким манером свалило старика сердцекрепительное! Лежит он теперь на голой земле, и окружила его ярмарочная толпа, — благо, что некому укрыть его от чужих насмешливых глаз, — и не прощальные вопли жены или дочери раздаются над его грешной головой, а холодные толки людские.

— Что, что тут такое, братцы мои? — тараторила городская бабенка, торговавшая на ярмарке прошлогодними и как-будто кирпичными калачами.

— А вот, примером, про то толковище завели, чтобы городскими калашницами плотины мостить, — ответил ей длинный сюртук, пропитанный салом и дегтем.

— Молоденек, вижу, ты, батенька, зубы у тебя еще не прорезались, а ты уж на честных людей лаешься. У моего жильца, приказного, в городе меделянский кобель есть, так и тот на меня еще ни разу не брехал.

— Ну-ну, проваливай, — добавил сюртук, — стукну вот по затылку-то, так у меня, небось, позолота-то с серег как раз слетит...

Два приятеля подходили к толпе, — один черноватый такой, с лицом, как будто нарочно засеянным угрями, и в разорванном архалуке, а другой рыжеватый, с бородой и в кучерской сбруе — дворовые, надобно быть. Архалук с неимоверными жестами, то останавливаясь, то забегая вперед, говорил кучеру:

— Ведь знаешь же ты, какой я был тогда? Говори, знаешь? Краснощекий я тогда был, ух какой краснощекий! Маку-то этого розового на лице не имелось. Да! Развесть, стало быть, его мне еще некогда было — мальчишка был. И, ведь, ты не поверишь, какой я тогда был малый, — во всех статьях молодчина, кровь с молоком! А она, барыня-то, и говорит мне: ты, говорит, Степан, здесь ложись, — я боюсь одна... А у барина-то я, когда он, бывало, домой наедет (редко езжал домой-то — слышь), так я, значит, всегда у него камердинскую должность справлял. Ну и погиб через эсто! Дда — через эсто самое и погиб; слухи, значит, до него донеслись, а я и погиб...

— Ты бы того, — говорила сбруя: — к Марфе сходил бы, она, говорят, хорошо на воде наговаривает, помогло бы, может...

— Нет! Я тебе говорю, не вода тут нужна, потому ничего ты в эфтом разе водой не поделаешь, а нужен тут плетюган... Дда!

— Вон она куда история-то поехала, — добавил кучер.

Приятели скрылись за парусинные полы выставочного шатра, откуда громко неслись раздирающие душу звуки органа и разбитая фистула майорской дочери.

— Ведмедя, ведмедя ведут! — кричало несколько парней, со всех ног бежавших к толпе, волны которой неистово бурлили кругом покойника. Обманулись парни, рассчитывая в толпе этой даром увидеть косматого мишку и неизбежную спутницу его — козу бородатую.

На завальне церковной караулки, мимо которой шла большая дорога, сидели мужики, тщетно пытавшиеся разрешить себе вопрос: для чего-де это у них на дороге ставят такие длинные плахи с железными проволоками? Одни говорили, что все это француз выдумал и что выйдет из этого какое-нибудь навожденье недоброе; а другие говорили, что это махина какая-нибудь, и какая именно махина, того они доподлинно сказать не могли...

Знакомый нам юрист тоже в это время по улице шел, — и он тоже мимоходом на покойного кума взглянул, — гроб ему заказал да рубашку новую приказал сшить. Юрист наш теперь уже приказывает; в настоящее время он в Черногрудске живет, там постройкой казенных домов спекулирует, своих уже штук шесть их имеет и вообще в губернии большим тузом считается, а видим мы его на ярмарке по тому случаю, что он каждогодно на престольный праздник приезжает в родное село покойных родителей помянуть да всем церковным иконам гигантские свечи поставить.

Расстроенный смертью кума, которую случай привел ему видеть, идет он злой на весь мир, а тут как на зло встретилась с ним дворовая баба с штофом в руках, — пробиралась она на

выставку и орала во все горло какую-то беспутную песню.

Быстро махнул рукою наш барин человеку с медной бляхой на груди, означавшей сотского, и приказал ему взять певицу в холодную.

Ну, сотский, известное дело, всегда с бадиком ходит, так он прежде, нежели забрал бабу в стан, взял ее да бадиком раза три и огрел, а сам приговаривает: «Смолкни, пташка-канарейка», — подвострить, значит, над дворовой кантатриссой хотел; ан не туда глядишь. Востроту эту как на грех увидал муж кантатриссы, — эдакая, можете себе представить, забияка с кулачищами самого гибельного свойства, — налетел он на сотского да в зубы его: «За какие, — говорит, — великие прегрешения бьешь ты ее, разбойник ты эдакой? Да до нас, — говорит, — барин наш, так и тот перстом не касается» (в скобках сказать, барин на-днях ему лихую встрепку задал за то, что забияка барских индюков московскому курятнику потихоньку продал). Сотский в свою очередь вовсе не был таким лапчатым гусем, чтобы личную обиду мог без отмщения перенесть, сам его съездил да караул закричал. Подбежал другой сотский и другой дворовый, к тому подстали сваты, к тому кумовья, а там налетели и те добрые молодцы с ретивыми сердцами, для которых подраться то же, что меду поесть, и пошли ломить стена на стену.

Вот они разыгрались, страсти-то человеческие. Укротитель понадобился!..

Глава VI

Тумаки, которыми пальместрон угостил в выставочном шатре Македона Елистратича, имели следствия в высшей степени благоприятные для последнего и очень заметно отозвались и на ярмарке. Кто бы разогнал этих буйных забияк, которые без милосердия тузили друг друга, и что было бы со всей ярмаркой, если бы Македон Елистратич закутился с приятелем у лысого гостеприимца? Мужики разъехались бы по домам, к крайнему своему удивлению, не поколоченные Македоном Елистратичем — этим, по их выражению, драчливым барином, а тогда нечем было бы им и ярмарку вспомянуть, да и вообще вся ярмарка пролетела бы облаком мимолетным, тучей безгрозною, без тех неизбежных результатов, которые производят на всех сельских торгах доки в роде Македона. Только вечером над селом пыль взвилась бы столбом от телес пьяных мужиков, и опять улеглась бы она на окрестных полях увлаженною ночною росою; только загремели бы бубенчики на лошадях, имевших увезти в город краснорядцев с их незамысловатыми товарами.

Конечно, один мой знакомый, и именно начальник красновской инвалидной роты (человек замечательный по своему политическому таланту), бывший на ярмарке, рассказывал мне, что движение это, как он говорил, совершавшееся в прекрасный летний вечер, при эдаком слабом мерцании звезд небесных, представляло эффект поразительный; оно, изволите видеть,

не знаю какими манерами, напоминало ему эдакую, чорт возьми, Сахару бесплодную, караван в песках утонувший; а сестра его, молодая барышня, лет 35, известная по своей шикозности в целом уезде, прибавила к рассказу брата, что, действительно, ярмарочный разъезд в целом представлял чрезвычайно милую картинку, полную жизни, и такой жизни, которая, по ее мнению, решительно неизвестна в нашей душной темнице. (Под душной темницей она разумела Красновск. Либералка такая, бог с ней! Все французские романы в русском переводе читает и даже слово новое в свет выдала по поводу произвольного оставления одной красновской барышней родительского дома, для того, чтобы следовать за другом сердца — юнкером, похожим на саженный бокал, выразившись об ее поступке таким манером: «Ах, какой жоржзандизм!..»)

Но Македону Елистратичу какое дело до всех этих прелестей природы? Ему нужна была ярмарка с ее звенящими, если так можно выразиться, качествами, часть которых, присоединенная к его собственным достоинствам, могла бы его целый год прокормить. Без этого присоединения ему неминуемо пришлось бы испытать то печальное положение гончей собаки, у которой заяц из-под носа выскочил. На месте охоты ее за такой несчастный промах арапником вздуют, а по приезде с охоты благодатной овсянки лишат. Вот куда подъезжали обстоятельства, если бы пальместрон своей живительной каткой не отрезвил совсем было загулявшего Македона Елистратича.

А теперь вот сходил он в стан, умылся там холодной водицей и, по первом извещении о тревоге, как ни в чем не бывало, вышел на ярмарку.

Конечно, публика уже вся знала, что шарамыге-писарю в шею наклали; а потому появление его было причиной разных острот, выраженных более или менее гласно. Особенно прогуливались в этот раз насчет Македона Елистратича краснорядцы, и кто знает, в какой степени забористым фефером угостил бы он ярмарочных остряков, если бы в это время не встретился с ним Вася Тарасовский, тот самый, который Григорию Лукичу рысака проиграл.

При виде Васи Македон Елистратич уже нисколько не обращал внимания на драку удальцов, представлявшую ему полную возможность набить несчастными узниками тот чулан в становой конторе, в который пристав обыкновенно сажает молодцов, имеющих с ним разные делишки.

Вася Тарасовский принадлежит к числу тех гороховых шутов, которых называют великими людьми на малые дела. Не имея счастливой возможности утвердительно сказать, кто был его папаша, Вася с детства жил в доме старого безродного холостячка, отставного капитана Тарасовского, владельца чудесной деревни с семью стами крестьян по последней ревизии. Вследствие каких обстоятельств Вася попал к тарасовскому барину, неизвестно; известно только то, что капитан ищет теперь выгодного покупщика на свою деревню, с тем, чтобы вырученным за нее капиталом навсегда обеспечить

своего приемыша. На этом основании Вася кутит себе на чем свет стоит, и, не будучи тем человеком, который выдумал порох, он нисколько не подозревает, что только ленивейшие в уезде не щиплют из него его золотых перьев.

Раскланявшись друг с другом с грациозностью тех людей, о которых в таинственные часы полночи так много ломается биллиардных киев в уездных трактирах, Вася и Македон Елистратич единогласно объявили, что взаимное их свидание доставляет им обоим большое удовольствие и что вследствие этого не худо бы выпить.

Есть у нас в Дубовых Липах некая благоприятная женщина; в старину принадлежала она к разряду барских барынь, а теперь на своей воле живет и занимается партикулярной коммерцией по трактирной и по питейной частям. Мужик найдет у ней всегда разлихую водку, не в пример лучше кабацкой, а такие господа, как Вася и Македон Елистратич — все, что их душа пожелает. Вот наши удальцы и затесались к этой благоприятной женщине; она же, рассыпаясь пред гостями мелким бесом, сейчас им особняк отвела, а дочь ее, эдакий расфуфыренный в шелки персонаж, в сторонке пуншики готовит.

— Ну что тут у вас новенького? — спросил Вася Македона Елистратича.

— Да что может быть нового под луною? Вот бывший управитель опился, видели?

— Мне до этого дела нет; думаю, что и тебе тоже, Македон. Медного гроша с своим становым не получите вы за это следствие. Правда, что ли?

— А до этого вам нет дела, — нашелся ответить Македон Елистратич. — Впрочем, относительно прикосновенности надежда есть, с свидетелей, быть может, сорвем. Да скажите, пожалуйста, Василий Петрович, что это у вас за история анамедни с Григорием Лукичем вышла?

— Старая каналья он, и больше ничего, — вспылил Вася.—Представь, мечу я эдак штосс,— становит он карту с самым жидовским кушем,— бью; становит другую, и знаешь ведь ты, как он за картами польский язык коверкает и говорит: «Идзем до тарасовскего банку, пан круль», и после этого, хоть ты про бабушку-репку пой, пан круль его дьявольский непременно рвал мой банк. Уж я закладывал, закладывал, и тут только догадался я, что он, старый идол, тремя картами резал (одну-то назад возьмет, а две у меня в талии оставит), когда уже я рысака ему с одноколкой спустил. Спасибо, мой старик про этот ужас не знает, а то бы — унеси ты мое горе на гороховое поле. Как вспомню я, на какую детскую штуку поддел меня, можно сказать, обстреленного воина, этот старый каплюга, так бы все волосы на себе вырвал.

— А ведь я недавно был у него, — сказал Македон Елистратич.

— Что же ты мне не скажешь, злодей? Поведай нам, какими, говоря высоким слогом, новыми мерзостями этот старый плут украшает свои маститые седины?

— Следствие в подгородней слободе было (она ведь к нашему стану принадлежит), так я там целую неделю выжил. Скука такая, что хоть во дремучие леса бежи. Смотрю: человек

от него приходит и записку мне подает. Читаю: «приезжай, говорит, Македон, нимало не медля». Припомадился я, знаете, и приехал и вижу: сидят у него князь-то этот татарский, абазами своими стертыми всю честную компанию снабжает, да главноуправляющий откупной, да капитан сосланный (не тот, который у Лабочинникова ворота дегтем вымазал, а тот, что у этой вдовой барыни, как ее фамилия-то забыл, все окна повыбил), и можете себе представить, четвертые сутки в картищи и режутся. А Григорий Лукич прямо ко мне, с шуточкой эдак: разведи, говорит, Македон, петухов, дай умам направление другое. Ошалели, говорит, совсем. Посмеялись мы тут немного. Хересом меня Григорий Лукич потчевать стал: не хочешь ли? — говорит. Где, мол, нам, дуракам, чай пить, хоть бы родное-то из уст не лилось, — пропустил я стаканчик. Потом Григорий Лукич отвел меня к стороне, да и шепчет: «Македон, относительно клубники расстарайся, любезный, в приличном нашему компанству количестве к тому времени, когда,—говорит,—серебристая луна горизонт небес озолотит»... Право, такой удалой старичина! К нему в окно смерть смотрит, а он себе все посмеивается, как будто не до него дело касается... Пошел я, и что же? Куда ни сунусь, везде, знаете, нос эдакой? Куда ни пошло (сколько, признаться, народу с ног сбил), везде, говорят, от молодого тарасовского барина пенсия идет, занято, и кроме того, надзор строгий...

В этом месте рассказа Вася залился своим звонким, беспечным смехом.

— Нашла,—говорит,—коса на камень. И мой механизм возымел свое действие на эту старую ракалию. Это уж не то, что «идзем до банку, пан круль». Вот монополия-то в некотором роде. Стоила она мне, друг любезный, коку с соком, да по крайней мере распотешила: не жаль на такую штуку и деньги бросить.

И, действительно, штука весьма сильно потешала друзей; громко хохотали они над ней, попивая крайне забористое произведение рук расфуфыренного персонажа.

— Ну, рассказывай, что там было, как ты показал им свою физиономию, измученную неудачной экспедицией?

— Да тут уж, почитай, что ничего не было. Деньги все перешли к капитану, играть не на что. На вексель у него просили — не дал. Нет, говорит, господа, тятиньки ваши про эфто узнают, так и мне беда будет. (Это он откупного управляющего на зубок поднимал, из купцов ведь он.) Изрядно, должно быть, мы выпили в это время, потому что ухитрил же нас шут вывески поснимать у акушерки и у цырюльника. Вывеску акушерки мы приколотили к водочному магазину, а цырюльникову к дому той купчихи, которая, знаете, всех приказчиков своих с собою берет, когда в лес за грибами едет... В магазине-то целый день не приметили, как на нем красовалась доска с надписью: «Привилегированная бабка Дарья Гусакова»...

— Богатую идею дал ты мне, Македон. Нарочно закажу я теперь огромную вывеску, крупнейшими буквами велю изобразить на ней, примерно, хоть это: «Здесь производится по-

стоянная выгрузка чужих карманов», и ночью приколочу к логовищу этого беспутного Лукича. Штука будет затейливая.

Македон Елистратич согласился с тем, что штука эта, действительно, будет затейливая; но что она может быть еще затейливей, если б можно было, не нарушая сна мирных граждан, могущих наколотить за нее шеи, прибить вывеску и, в довершение эффекта, иллюминовать ее.

— Друг души! — завопил Вася: — прижмись к нашему родительскому сердцу! Ничего не пожалею, а уж угощу иллюминацией седую крысу. Послушайте, мамзель, соблаговолите осчастливить сего удалого детину другим пуншиком, да позловредней чтоб был, кстати и себя не забудьте дамским попотчевать, слабеньким. Сообразуйтесь в этом случае, мой прекрасный друг, с потребностями вашего чувствительного сердца.

— Шутники вы эфдакие, Василий Петрович. Барышням неприлично пунш употреблять. Вам, если прикажете, сейчас изготовлю-с.

— О, нежный друг мой, — декламировал Вася. — Шутники, почтительнейше докладываю вам, живут по ту сторону Оки, а относительно пунша скажу: потрудитесь уж изготовить медведя, ибо геройская душа моя, опасностей жаждущая, ощущает сильную потребность сразиться с сим кровожадным зверем.

— Какого ж это ведмедя вы еще выдумали? — с сомнительной улыбкой спрашивал расфуфыренный персонаж.

— Справедливые боги! Вы — такая прекрасная мисс, и спрашиваете: какого ведмедя-с?

В этом трагическом случае отсылаю вас к нежно любящей вас матери вашей. Обратитесь к ней, она даст вам все зоологические сведения, необходимые для составления кровожадного животного, называемого вами ведмедем.

Благоприятная женщина сейчас же показала дочери, как надобно изготовлять ведмедя. В капельку чая ухнуть, что называется, стакан рому, вот вам и медведь будет. Сражаясь с медведем, Вася энергично уверял Македона в своей неизменной дружбе, а Македон Елистратич, в свою очередь, обещался разуважить его таким сюрпризом, о каком Вася будто бы и не думает; но что для того, чтобы окончательно овладеть этим сюрпризом, нужно на предварительные расходы малую толику финансов, которых в настоящее время у Македона Елистратича будто бы не имелось.

На убедительнейшие просьбы Васи сказать ему, в чем состоял этот сюрприз, Македон Елистратич многозначительно подмаргивал глазом, улыбался и, щелкая языком, говорил:

— Ну, уж удружил бы я вас, если бы у меня было теперь целкачей пятьдесят. В одну неделю такого бы снигиря представил, что взгляни да ахни!..

Не расспрашивая более ни о чем, Вася достал из бумажника полсотенную и отдал Македону Елистратичу.

Удовлетворив надлежащим образом благоприятную женщину, приятели вышли из ее гостеприимного убежища.

— Куда же теперь? — спрашивал Васю Македон Елистратич.

— Если тебе нет дела, поедем со мной, авось куда-нибудь приедем, — ответил Вася. — А теперь видишь: старик мой затевает на свои именины сельский праздник для крестьян сделать, так послал меня сюда разной дряни им накупить. Пошатаемся покуда немного, не придется ли какую-нибудь буржуазию вздуть: что-то руки чешутся...

И пошли они по этим так называемым красным рядам, владельцы которых приехали в Дубовые Липы с похвальною целью удовлетворить изящным требованиям покупателей.

При первом взгляде на эти ряды они представляли совершенное сходство с цыганскими таборами. Колья, вбитые в землю и накрытые грубой парусиной, громко назывались лавкой, в которой можно было найти соль и деготь, окаменелые конфеты и вяленую рыбу, ржавые подковы и ситцы серпуховской фабрикации, с такими неестественными колерами, для обозначения которых еще не придумано соответствующих им эпитетов.

Долго забавлялся Вася в красных рядах, разбрасывая на драку сокрушающие зубы пряники, и долго деревенские девки хохотали над его шутовскою речью, с которою он обращался к ним, желая узнать, имел ли он высокую честь своими медовыми пряниками заслужить доброе расположение высокородных леди, и если имел, то в какой сильной степени.

— Ваше высокоблагородие, соблаговолите пожертвовать лепту от своих трудов праведных бедному страннику, идущему во святой град Иерусалим и на Синайские горы!

С такой рацеей обратился к Васе старик с бородой, самого почтенного вида, в длинном порыжелом, должно быть, от дальней дороги, халате и в плисовой остроконечной шапочке.

Краснорядец, в лавке которого сидели наши молодцы, достал нарочно приготовленный для подобных случаев грош и подал старому человеку. Вася, в свою очередь, дал ему целковый; а Македон Елистратич по обязанности своей обратился к нему с вопросом:

— Позвольте, — говорит, — старче божий, на ваш пашпорт взглянуть?

Стар человек с смирением, отличающим всякого подобного странника, ответил Македону Елистратичу, что пашпорт свой он затерял как-то, но что ему в самом непродолжительном времени другой вышлют...

— Так уж ты, любезный, подожди у нас в конторе, пока тебе новый пашпорт вышлют,— сказал Македон Елистратич. — Взять его!

— Неужели и с этого сумеешь слупить? — сомнительно спросил Вася.

— С этого народа и лупить-то, — утвердительно ответил Македон Елистратич, и, должно быть, знал он, с кем имеет дело, потому что старче божий действительно поплатился в становой конторе.

Извольте видеть: по представлении путника в стан, пристав начал ему допрос чинить: кто он, откуда и проч. На все стар человек отвечает удовлетворительно, ни одной загвоздки подпустить под свои слова не дает. Правда, отсутствие паспорта давало становому право препроводить старика в город, да что толку? Возня одна да

переписка излишняя... К тому же и стар человек нисколько не прочь от удовольствия прокатиться в Красновск на обывательской подводе, и уж хотел было становой совсем его отпустить: мало ли, дескать, бродяг по белу свету шатается, всех не переловишь! Да уж на прощанье почти, так, ради шутки, и говорит ему: «Что, старина, небось достаточно собрал с православных на дорогу-то? Хоть бы с нами, бедными, мирскими людьми, поделился, а то тебе одному не много ли будет?». А старик видит, что становой на него между пальцев смотрит,— заелся, значит (все равно, как сытая кошка с мышью играет: уйдешь, дескать, так уйдешь — чорт с тобой! я сыта!), и говорит становому: «Только вам, должно быть, ваше благородие, и дела-то в стану, что бедных стариков обижать да с правого и виноватого в свой карман собирать».

— Как? — заревел становой. — Тебе благодеяние делают, а ты еще забываешься, — да за бородочку его и ухвати... Недаром пословица говорит: и на старуху бывает проруха. Бородочка-то у старого человека и отвалилась...

— Ступайте вон, шелопаи! Чего вы тут глазеете! — закричал становой на двух сотских, стоявших в комнате, а сам старому человеку и говорит: — Так вот ты каков, сахар-медович?

А старик видит, что дело-то плохо — начистоту пошел:

— Виноват, — говорит, — ваше благородие! Двенадцать губерен,—говорит,—прошел, а в вашей, тринадцатой, налетел. Тысячки, — говорит, — ассигнациями довольно будет, чтобы дельце покончить?..

Видит становой, что парень-то бравый: доставай, говорит, пять сот серебра и квит,—а старик и толковать не стал. Подкладку у порыжелого халата распорол да пятью радужными станового и спрыснул, да еще благой совет ему подал:

— Я,—говорит,—ваше благородие, бороду-то опять подвяжу, а вы позовите сотских, да при них у меня, аки бы за напрасную обиду, христианского прощения просите. Дело-то, кажись, круглее будет...

Так и сделали, и, конечно, сотские хоть и поняли, что тут должна быть штука, но от этого им нисколько не было теплее; а старик эту ночь ночевал у станового и откровенно рассказал ему, что он солдатик, удравший из полка вследствие обещанной ему жаркой бани за разные молодеческие штуки...

— Не пора ли нам, сват, по домам? — говорил один мужик другому мужику, собираясь впрягать лошадь в телегу. — Вишь, солнышку-то до заката на полкнутовища пройти не осталось.

— Поедем, дорогой мой, поедем. Ух, и закатим же мы с тобой! Во, как закатим, только шапка держись. Только ты удружи мне, братище, запряги мою лошадь. Не слл-у-ша-ается меня, волк ее зарежь, — отвечал сильно восторженный сват, угощая пинками свою жалкую клячу, без видимого на то основания.

Последние песни пел девичий хоровод в то время, как солнце бросало последние лучи на сцены нашей ярмарки, которой пришла пора разъезжаться.

Последней плутней заключалась практика купцов, торговавших в красных рядах. Один из них продал молодой крестьянке отворотный корень, которым она воображала прекратить обыкновение старого управителя, вследствие которого он очень часто наряжал ее одну мыть полы в своей квартире... Краснорядец вызвался было, кстати, уступить ей за сходную цену и приворотный корень, которых у него от ярмарки будто бы только два и осталось, но она приворотного не купила, потому ли, что не имела в нем настоятельной нужды, или, может быть, потому, что на приобретение отворотного она истратила все деньги, вырученные ею за продажу холстов, которые она выпрядала в длинные зимние ночи...

Ночь наступила. Долго туманные облака затемняли месяц, а потом понемногу рассеялись они, и выплыл он на небо, молодой и светлый!..

Из окна помещичьего дома неслись звуки рояля. С звуками этими сливался молодой женский голос, который пел печальную историю про березу, раненную безжалостной секирой. Говорила эта история, как горючая кровь текла из надрубленной березы, а потом рана ее, имеющая зажить на другое лето, сравнивалась с ранами человеческого сердца, которые никогда не заживают...

Кончилось полное грустной правды слово поэта, и на счастье души, измученной бурею страстей, в природе была такая полнота покоя и мира, при виде которых забывалось всякое горе...

Быстро с неба скатилась звезда. В тысячи мелких искр рассыпалась она, и казалось, что искры эти зажгут речной камыш, в который они упали. «Вон господь погасил христианскую душу», — крестясь говорят мужики, когда упадет с неба звезда.

Глубоко безмолвие ночи, громко отзываются в нем звуки, неслышные прежде. Нельзя уловить, откуда принес ветер полночный звуки эти, усвоить их тайного смысла нельзя; а между тем никак не можешь наслушаться их. Нет помина в это время о жизненном горе, тихо и светло на душе, а между тем так тоскливо замирает она!..

1856 — 1860

СЛАДКОЕ ЖИТЬЕ

ИЗ РАССКАЗОВ УЕЗДНОГО СТАРОЖИЛА

I

Летние утра в нашем городке бывают — ах, какие приятные! Встань до зари и походи до тех пор, как покажется солнце, — на десять лет здоровья прибудет, — ей-богу, потому ведь городочек наш сиротинкой такой на матушке-степи стоит. А в степи у нас травы да цветы такие душистые! Как нанесет ветер ночной на город духу их благовонного, так он над ним целое утро и носится. И тут лишь бы грудь у человека была широка, а то подышать будет чем, — скажешь богу спасибо!

Рано просыпаются у нас в городке. Жаворонки да перепела еще спать не ложились; слышно в городе (не бог знает он у нас длинный какой!), как они там в степи, во ржах да в овсе заливаются, за жизнь свою раздольную да беззаботную господа бога хвалят, а уж много народу на улице высыпало — в степь коров выгоняют.

Пожалуй, что шумнее этого времени в нашем городке никогда не бывает. Как бы ни были глухо окна закрыты, а как подойдет к вашему дому пастух да как кнутищем своим трехсаженным щелканет по туго убитой дороге, так гул от него куда далеко по заре-то раздастся, ровно

ветер, когда дерево переломит в дремучем лесу, так оно и от кнута пастушьего зык такой же выходит. Ну, конечно, не один раз случаи выходили такие, что треск от кнута как только по сонной улице прокатится, тонкий такой да ярый, так мальчишечка какой-нибудь сонненький, попугливее какой, проснется, бывало, глазенки свои вытаращит и задрожит весь. Крестит, крестит его мать, в личико ему сонное холодной, наговорной водой брызжет, брызжет, а он с брызгов-то с этих еще пуще трясется... Да так случалось, что многие из них так целый век и тряслись... А пастухи все щелканья своего кнутищами не покидают, потому чем же ты, кроме кнута, хозяйку разбудишь?

Ну-с, так вот и щелкает кнут, зазвонисто таково в сонные уши трещит, и сон дурной и хороший заодно разбивает. Гвалт невообразимый собачищи подняли. А у нас же их тьма на степи — и злющие все бестии, так шаром под ноги и подкатываются.

Тепла же постеля бывает в эту пору! Жаль покинуть хорошее место. «Не встанет ли кто-нибудь заместо меня коровенку прогнать?» — сквозь сон думает молодая хозяйка; а кнутище все хлопает, и собаки этакие переливы выводят неслыханные.

О, господи! Отчего бы это сон сильный такой был? Так и валит, так и валит... Разбудил было молодую хозяйку уличный шум; приподнялась уж она на постели, да опять как-то против воли на подушку свалилась и приуснула... А во сне и видится ей, что свекор ее, ласковый будто такой, встал и говорит ей: лежи, лежи,

говорит, молодая! Я сам, так и быть уж, отгоню коров. Ну, и спит себе молодая — и другой сон видит, что свекор будто на подмогу ей работницу нанял: а то, говорит, тяжело тебе одной хлопотать!

— Што нежишься-то, барыня? — гремит наяву голос свекора из другой комнаты. — Вставать только не хочется, по-своему б тебя разбудил. Вишь, лежня какого господь бог на хлебы послал!

Таким манером каждое летнее утро ходит наша улица, как говорят, ходенем. То и дело, что калитки пощелкивают да ворота скрипят. Громко коровы ревут, еще громче пастушьи кнуты щелкают; а пуще всего этого раздаются звонкие речи бабенок: рассказывают они друг дружке сны прошедшей ночи да свои разные глупые бабьи дела.

Деятельнее и шумнее этого времени у нас не бывает. Остальной весь день тих и спокоен. Редкий, редкий кто выйдет на улицу, потому первое дело — солнцем уж очень печет, а второе — собаки, от жара взбесившиеся, по улицам бегают, так их опасаются.

Так вот видите, как еще рано было — и солнце-то, словно дальний пожар какой, на небе показалось, а уж у Осипа Петровича (в отворенное окно все видно) домашние все поднялись и чай пьют.

И вот теперь, ежели в самую полночь на улицу выйти, так ведь уж на что тихо бывает, а в комнате у Осипа Петровича еще тише было; потому как сам он очень грозен в те поры сидел, — удумывал, видите ли, где бы

капиталами на весеннюю покупку овец раздобыться.

Сумрачно запечалился Осип Петрович и чаю попить не пошел, а только целое утро с маленькой племянницей-сиротой провозился — Богородицу ее наизусть учил.

Как на зло, неразумный ребенок страшно этим утром картавил и молитву коверкал, а Осип Петрович все тесней свои брови сдвигал, хотя все еще крепился старик и думу свою наружу во всей красе не выказывал. И, может, так одними подзатыльниками да слезами ребячьими дело-то бы и покончилось, ежели бы старуха не вздумала защитить ребенка.

— Отпустили бы вы, Осип Петрович, ребенка-то,—сказала она:—заробел уж он очень— ребеночек-то!

— Бла-го-дат-ная, — протяжно басил Осип Петрович, не обращая внимания на жену.

— Бла-го-дат-ная... — сквозь слезы лепетала девочка, не обращая внимания ни на кого и ни на что.

— Настращаете вы девочку-то, Осип Петрович, — повторила жена. — Я бы вот чаю ей налила.

— Ш-што-о? — крикнул Осип Петрович, обратившись к ней в пол-лица.

— Девочку настращаете, — несмело ответила заступница, стараясь не смотреть на мужа...

Тут уж словно из пушки выпалил Осип Петрович. Ровно лет с сотню слово это у него в горле сидело и потом вдруг выкатилось.

— Че-ево? — рявкнул он на жену совсем по-медвежьему, однако стих как-то в ту же минуту,

оттолкнув от образов племянницу и, как по-настоящему следует, ни ее, ни жену ручищей в лицо не заехал...

Только после этого еще сумрачней запечалился он: все это, выходит, вопрос свой разбирал, что ежели овцами весной не поторгуешь, так после того о продовольствии целый год, как рыба об лед, биться должон; а потом словно и повеселел вдруг. Мысль благая в голову зашла: «сына женить, — думал старик, — надоть: приданое возьмем и торговать будем».

О том, как сильна была радость Осипа Петровича, которая вместо прежней тоски к нему в душу взошла, можно судить по тому обстоятельству, что взял он, перекрестился большим крестом, вздохнул и сказал: «Эх, — говорит, — кабы да не грехи наши тяжкие, все бы мы, — говорит, — в раю были!..»

Поругал он тут про себя немного слабость людскую; а жене насчет того, какую он великую думу относительно сына задумал, ни одного слова не вымолвил, потому что издавна один удумывать свое дело привык. «Расскажи бабе, — говорил всегда старик, — ерунда беспременная выйдет».

И жена тоже, хоть и привыкла по одному поличью своего благоверного узнавать все его сокровенные мысли: когда он, примером, в ее голову грозой ударит или пожаловать лаской сбирался, так она об этом всегда наперед его самого узнавала; но никогда ни о чем его не расспрашивала, потому что, если владыкины мысли спросом своим разобьешь, так владыка-то, пожалуй, в азарт придет и тукманку даст.

И теперь также старуха, хоть и видела, что радуется очень чему-то старик, что дума у него какая-то великая есть, однако спросить ни о чем не спросила, а только смекнула про себя: «Придумали, должно быть, Осип Петрович, где денег на покупку овец раздобыть. Слава богу! Все-таки, может, теперь потише станут!..»

Так вот, государи мои, и решил Осип Петрович сынишку женить; два дела, можно сказать, одним махом решал; а уж если он что-нибудь задумывал, так всегда исполнял. Одного только в жизни своей он еще не успел сделать: жития Плакиды-мученика в стихи переложить не мог. Со всеми городскими попами насчет этого предмета советовался, угощенье им, должно сказать, самое любезное задавал, — не помогло. Так житие на первых четырех строчках и теперь стоит:

В римском царстве,
В идолопоклонском государстве,
Жил-был Евстафий Плакида, —
И такая ему вышла планида...

Тем и заканчивались стихи. Ничего в них больше не говорилось про то, какая именно вышла планида Евстафию.

В нашем городе все знают Осипа Петровича. Отец его, будучи еще мещанином, тем по всему уезду себя прославил, что перед самой рекрутчиной со всеми своими сыновьями (а их у него штук до шести обреталось) в купцы выписался... Первый он этой самой штуке, как мимо рекрутчины шестерых молодцов можно без зацепы провесть, — ход и качество показал. До него мы — степняки захолустные — этой штуки и не знали совсем. Вообще говоря, относительно при-

казных делов (бог его знает, где только им навострился он!) был такой глубокий дотошник, что в нашем городе многие еще помнят, как он почти со всеми жителями и своего, и окрестных городов постоянно в суде был. Вот это какая божья душа была!

И Осип Петрович по родительским стопам пошел, и хоть тягаться он ни с кем не тягался, а мало найдется в городе людей, которые бы согласились про него доброе слово сказать. Ан-нбицию человек необнакнавенную вел, а нравом был крут и даже, так надо сказать, зверю подобен. В рядах, бывало, кто над ним маломальски пошутит, так он такую оглаушину даст, что и памяти на немалое время шутник тот лишался; а если с кем не сладит, так начнет на себе самом от злости волосы рвать. Так к нему в лавку никто из товарищей и не заходит, — сидит он себе в ней по целым дням один-одинешенек, аки медведь в лесу, и покупщики-то (мужики из соседних сел за своими крестьянскими нуждами в город наезживали), как взглянут на него, как это он мрачный да суровый, ровно туча, сидит, поскорей от лавки-то прочь. Слава про него по всем селам шла, — нелюдим человек, — в один голос все так тучей и звали.

И часто это, бывало, по пятницам (базар по пятницам бывает), глядишь, а Осип Петрович в своей лавке с каким-нибудь покупателем-мужиком смертным боем утюжится. Рассерчал, примером, на то, что покупатель мысли его перебил, когда он удумывал: отчего бы это в лавку к нему никто не заходит? А тут сидельцы да хозяева из соседних лавок наберутся, еще пуще

разжечь стараются; а он-то все больше беснуется, все глубже мысль к нему в голову забивается, что это купцы нарочно мужика такого здоровенного на него натравили.

Только хоть и немалый чудак Осип Петрович, как видите, был, а все еще, по старой родительской памяти, торговал очень здорово и почетом по городу пользовался; а теперь, почитай, что совсем упал, хотя форс свой купецкий, как и в старину, всегда соблюдает, то есть христославцев там каких-нибудь или приказных мелких с праздником себя поздравить не иначе пускает, как только с докладом, да и то тогда, когда они из ворот по черному крыльцу войдут, а не с галлереи, которая была к дому приделана.

А почему он упал, так это я вам сейчас расскажу. Накупил Осип Петрович по осени как-то щетины и сала, и думает: вот приедет к крещенью из Тулы купец (который у него партии покупал), так я с него денежки без всякой потуги огресть могу. А купец этот чудачина такой был, про норов-то его знал и при случае пошутить над ним очень любил.

Сошлись они в трактире, чай попивают и об деле толкуют; а Осип Петрович в товар этот весь свой капитал посадил и призанял даже кое-где, так что, можно сказать, вся душа его на ниточке в этом разе висела. Вот купец, зная эти случаи, клинок ему и подгвазживает:

— А что, — говорит, — Осип Петрович, вить, сало-то нонича в Москве нипочем, да и щетина-то тоже. Ладить-то с тобой в эфтом разе я уж и не знаю как. Рази, примером, скостишь гривенки по три на рублик?

— Буде, буде шутить-то! — сказал Осип Петрович. — За божьей трапезой сидишь, так нечего чорта-то потешать: и без наших речей ему не скучно на ярманке, — вишь, соблазн какой!

— Какой там соблазн! — говорит купец. — На свой рыск, — говорит, — твой товар беру, коли по три гривны скостишь.

Покосился Осип Петрович на купца, брови у него дугой сдвинулись, как всегда делается с ним, когда он в азарте кулаком по столу хлопнуть захочет.

— Побожись, — говорит он купцу, — что я убыток понесть должон, потому в эфтом разе мне всей торговлей своей порешиться придется.

— Во-за лопни! — проговорил скороговоркой купец и перекрестился.

Как хлопнет кулачищем по столу Осип Петрович (настоящего слова-то, выходит, расслышать не мог), так доска столовая на две половинки и треснула, а чайник с чашками вдребезги разлетелся; как загнет он крепкое слово судьбе своей лютой, да как белыми руками в волоса свои вцепится, так инда купца-то ужас объял.

— Нарошно, нарошно соврал я тебе, Осип Петрович! — закричал купец. — Почем хочешь, твой товар заберу!

А Осип Петрович и не слушает, пена у него изо рта идет, и тут же сейчас домой побежал и всю щетину свою и сало огнем спалил.

— Не хочу, — говорит, — от вас убытку терпеть, когда думал барыши наживать!..

С этих пор и житья никому не стало в семье от Осипа Петровича. Прежде, бывало, дочери хоть развеселить его могли на малое время,

а теперь и этого нет. Кроме как беснованья да самых что ни на есть крепких слов, от него ничего уж давно и не слыхали.

И так-то тихо было в хоромах, так-то грустно и сумрачно, что сказать невозможно. Прежде, как дочери маленькие были, так к ним хоть соседние девочки в куклы играть приходили: все-таки, значит, нет-нет, да по комнатам-то и побегают; а теперь половицей попробуй кто-нибудь скрипнуть, так я вам скажу, так страховито старик загогочет, так это звонко ногами по шаткому полу застучит, что стены все затрясутся, лампадки перед образами забренчат и утухнут; а потреты архиреев разных таково это грозно на стенах зашевелятся, бородами своими белыми закачают, что поневоле этак возьмешь да и вымолвишь: «Вот, мол, где, надо полагать, омуты-то бездонные!..»

II

Таким-то манером Осип Петрович приучил всю семью свою на одних, как говорится, носочках ходить. Такая тишь всегда у него в доме стоит, что, пожалуй, подумаешь, уж не вымер ли, мол, дом совсем! Даже когда сам в лавку уйдет, так и то шопотом все разговаривают, потому ежели громко слово-то скажешь какое, так и сам испугаешься.

И ежели в семью Осипа Петровича хорошенько вглядеться да попристальней про нее подумать, так сам ополоумеешь от того, какая она юродивая да ошалелая. И всегда человек при всегдашней грозе да острастке отумани-

вается. И думы-то у него из головы на это время все уходят, кроме как разве того, что как бы ему от добрых людей в самый что ни на есть темный угол запрятаться. А тут уж, доложу я вам, непременно ухитришься самодуру какому-нибудь под горячий кулак подлезть, который отучит тебя навсегда верить доброму слову и ласке душевной.

Вот теперь хоть бы старуху взять Осипа Петровича. Какою она рьяной девкой в старину была! Только и на уме одно было, как бы песню позвонче сыграть; а отец у ней, сапожник, пьяница лютый был: ни кола, ни двора. Избушку-то их по городу так все колодцем и звали. Уж на что, кажись, знакомы ему были все кабаки городские, а всегда, бывало, задрожит весь старик, когда мимо идет, и такие случаи выходили, что из кабаков-то не в редкость, вечерком эдак, без рубашки его выталкивали. Какая бы, кажись, жизнь тут? Одно слово — «востоскуйтесь белы груди, горьки слезы лейтесь»; а наша девка никогда в унынии не была, — и с раннего утра до позднего вечера все бывало, соловьем разливается, — я, говорит, птичкой быть желаю, — инда оглушит всех. «Хошь бы тебе горло-то засадило на время!» — соседи благожелательствуют, когда звонкий голос ее чересчур надоест им.

За красные щеки да за громкие песни и женился на ней Осип Петрович. Родительское проклятие получил за то, что на нищей у отца жениться просился, — а женился. И на кой шут, прости господи, женился он, когда много-много что полтора года после свадьбы прошло, как

молодая все песни перезабыла совсем, ровно она их никогда и не игрывала, и худая такая сделалась, бледная, ровно румянцу-то у ней на щеках никогда и не бывало? Одно слово: ревности всякой, а пуще того колотушек таких, что прежде времени в гроб сваливают, в самое малое время от благоверного своего в волю она натерпелась — и засохла.

Да как засохла-то, братцы мои! Взглянуть, так страсть обуяет. Послал было бог ей такое тело сильное да красивое, которому по-настоящему и старость не в старость. Живи знай да господа бога хвали, а ломоты там какой, болезней во-век бы ей, кажись, не знавать. Быть ей творец святой назначил при старости лет эдакой, знаете, крепкой да доброй старухой, около которой молодцы-правнучата, как пчелы около матки, виться должны, словеса от ней мудрые выслушивать да своею умной жизнью бабку радовать.

Нет! Дивись только, как человек дары божьи и в себе самом и в других на свой глупый лад переделывает!..

И все это дело с ревности началось. Чуть только мимо окна пройдет кто-нибудь, так уж непременно она на свое тело от мужниных щипков да рывков большой синяк принимала, кроме того что тоска, словно ножом, душу ей резала, потому очень злостными словами муж ее обносить тогда принимался. Поплачет, бывало, молодая, позлобствует немного на то, что так бессовестно муж про честь ее лает, да и перестанет; а тут еще (разве молодые головы злопамятны?) придет соседка какая-нибудь, ей

на долю свою пожалуется, ей синячки свои да убои покажет, — ну, оно как будто и полегче станет. А у товарки-то муж такой же сахар-медович. Доли-то у них, как в девках были веселые да беззаботные и ничем друг от дружки не разнились, так и в замужестве они одинаковые вышли...

И все думала молодая, что переменится муж, — все это раздумывала она: не пробует ли он ее на первых порах? Исстари ей в голову втолковали, что мужья так всегда про жен рассуждают, что ежели жену не колотить, так из нее никакого проку не выйдет.

Ну, и терпит она и все молчаньем одним отходит; а он все больше разъезжается, думает, что, должно быть, виновата жена, коли в виски ему своею рукою никогда не вцепится. Самому ему больно мерзостно смотреть на себя становилось, когда он жену безвинно, ради куража одного, в кулаки принимал. «Вот, — думает, — разозлится жена да самого по роже царапнет, так тогда хоть не совестно будет дуть-то ее», и всегда в этой надежде своей обманывался. В угол молодая прижмется, руками лицо закроет, да изредка нет-нет да и провопит: «Осип Петрович! За что же ты?..»

Таким побытом в самое короткое время муж для жены ровно пугало сделался. Когда нет его в доме, воет, бывало, молодая в хоромах, и так печально да грустно воет, что работницы больше месяца в доме жить никак не могли: страх и тоску великую нагоняла она на них плачем своим; а завидит в окно, как сам с базара домой к обеду шествует, так это она из

стороны в сторону закидается, чтобы все для мужа получше уладить, чтобы ему что-нибудь на сердитые глаза не попалось, — затрясется, бывало, словно порченая какая, а все не умилостивит.

И так он ей опостылел, что под конец и смотреть на него не могла, и колотушки его, все равно как дерево бездушное, без жалоб переносила, потому приелись ей колотушки, в естество взросли. А тут детишки пошли, и жизнь-то как будто повеселей пошла, потому с ними все без мужа возилась и песни свои, которые в девках игрывала, глядя на птенцов, все припомнила и снова, забавляючи их, перепела.

Только и тут бог судьбы ее злой не смягчил, и тут одно только искушение она видела, потому как приходилось ей на своих детишек посмотреть да с чужими сличить, так мразь выходила какая-то, даже сердцу тошно делалось. С самого младенчества, особенно девочки (две у ней было их) понимали словно, что отец их крику не любит, никогда не кричали. Сидят, бывало, по разным углам да глазенки на стены таращат. И ведь не то, чтобы они не любили друг дружки, — кусочками лакомыми завсегда меж собою делились, а все, бывало, розно сидят, и не только что чужому человеку, который в гости придет, поклониться да ручку поцеловать у них смелости не хватало, а даже и мать их к себе с большим трудом приманивала.

Стала мать просвиры про здоровье их вынимать за каждую обедню, бабкам разным много денег за их умыванье переплатила (все думала,

что дурной глаз на девочек действует): не помогло! Горько слезами своими она обливалась, глядючи, как дочери, видимо, с каждым днем все больше и больше дурнели; больно тоже резали ей душу соседские насмешки над ее дочерьми — и отвернулась она от них, наконец, — камнем совсем сделалась: буди, дескать, во всем воля божия!

Ну, и протянулась так вся ее жизнь, так и теперь на этой самой точке старуха стоит. Желанье одно только у ней сохранилось: как бы подальше мужа из дома проводить, чтоб он подольше назад не вернулся, — и тогда старуха спит, бывало, себе по целым дням и ночам сном беспробудным, словно сурок в норе. Одно это счастье только у ней и осталось.

И, может быть, так и смерть ее сонной застала бы, если бы часто не будила ее своим приходом старшая дочь, которую с год уж они с Осипом Петровичем замуж за соседского сына отдали.

Разбудит молодая мать свою, и видит мать, что по лицу ее дочери текут такие же горькие слезы, что на этом лице такие же раны, которые иссушили и ее лицо, когда-то молодое и румяное.

Слышит мать, что так же горько дочь ее жалуется на своего мужа, век ее загубившего, как сама она некогда жаловалась на своего, — и не отзывается на эту жалобу.

— Маменька, маменька! — вопит молодая и руки ломает. — Ведь он меня кажинный день смертным боем бьет; ведь вы с тятенькой век мой совсем загубили...

Ох, не рони ты слез понапрасну, душа молодая, сердца своего стоном тяжелым не рви! Не отзовется твоя мать на твою тоску, — горькой доли твоей вместе с тобой она не размычет, потому глубоко сидит в старухиной голове мысль, вбитая в нее старинной печальною песнею, что «от мужней ласки не отвертишься, а от гнева не отплачешься!»...

III

Только один сын из всей семьи Осипа Петровича человек как следует вышел. Почему и как сделалось, что он тяжелую отцовскую руку, уродом не сделавшись, выдержал, один бог разберет. А и туго же от отца приходилось Ване, потому с самого малолетства, когда еще малым ребенком был, так завсегда он напротив отца-старика ходил — и за это самое разлучил его старик с матерью и сестрами и в Москву, в мучной лабаз, к знакомому купцу на торговую выучку отдал.

Теперь я вам всю Ванину жизнь от начала до конца расскажу, как она в каком-нибудь кабаке без покаяния не кончилась, или почему сама на большую дорогу, на горе смирных проезжих людей, с вострым ножом не вышла...

До того времени, как Ваня начал к покровскому дьячку грамоте учиться ходить, замечательного с ним, кроме отцовских колотушек да материнских ласк, ничего не случилось. Годов до девяти, должно быть, только и дела ему было, что по городским улицам да пустырям

с другими мальчишками в солдаты играть али в лошадки. И не знаю я, право, от какого праха сладко так и теперь вспоминается, ровно вчера случилось, как это бывало: ты ли малюге какому или он тебе конец пояска в зубы даст, другой к себе в руку возьмешь, и таково хлестко кучер и конь пешеходом по улицам несутся — молния словно! А тут еще кучер пояском коня подгоняет, голову, говорит, на бок побольше гни, с городнической пристяжной советует весь пример брать.

И долго бы еще Ваня по городским пустырям прошатался, если бы Осипу Петровичу не так часто соседи приходили жаловаться, что вот, мол, Осип Петрович, Ванюшка твой у моих гусей крылья повыдергал или хвост у щенка по самую спину тупым топором отрубил.

Встрепку розгачами задаст, бывало, Осип Петрович Ванюшке, и приутихнет Ваня на неделю — другую; а там, поглядишь: инвалидная солдатка с визитом к Осипу Петровичу идет. «Утишите,—говорит,—своего мальчишку; коли мне на огороде своем удастся его захватить,—не взыщите: я на нем все волосы вырву, потому как он у меня с такими же пострелятами все вилки капустные по-своему вверх кочерыжками пересажал».

Скучно что ли Осипу Петровичу с Ванюшкой возиться стало, не знаю, только взял он связку кренделей да полштоф сладкой водки купил и отвел Ваню к дьячку. А дьячок этот большим докой по городу был, так что многих попов, как это на похоронных обедах бывает, в словопрении про разные статьи, как говорится, за

пояс затыкал. Выпил водку с дьячком Осип Петрович и порешил заплатить ему шесть целковых, когда Ванюша читать да писать выучится.

Года три Ваня к дьячку учиться ходил. Благо, что отец не торопит, так как еще сначала осторожность взял платить деньги учителю не помесячно, а за целую выучку... И натерпелся же школьник за эти три года, потому домой придет, так отец беспременно отдует, ежели, примером, во всей тонкости не ответит ему, когда он от скуки спросить вздумает: а ну-ка, мол, Ванюшка, ты ныне ученый стал, отгадай мне загадку, что это такое: без окон, без дверей — полна церква людей?

Тут, впрочем, все еще ничего, потому что отец другого вопроса никогда и не задавал; а уж у этого мучителя-дьячка без розог никогда, бывало, не обойдется, особливо, когда он, в зверином образе, ребятишек самые что ни на есть трудные слова выговаривать учить начинает.

— Ну, говори, — скажет, — подлец: сшит колпак не по-колпацки...

— Сшит колпак не по-полк... — лепетал ученик.

— Чего заминаешься-то? Не по-кол-пац-ки, — тянул дьячок, раскачивая ребенка за всклоченные вихры.

И так, бывало, любил дьячок мучительски над ребятами потешаться, что они его словно чорта боялись. Многие из ребятишек, которых учил он, потом уж, женившись, говорили ему: «Эк ты, Петр Степаныч, настращал меня! И те-

перь частенько-таки по ночам снишься, да как начнешь трехвосткой отделывать, так я жену не раз своим криком будил». А дьячок подсмеивается: «Туповат очень ты был, любезный! Просветить тебя без того, чтобы плетью не драть, возможности не было никакой»...

И подумает бывший ученик, что, должно быть, и в самом деле нельзя было без дранья просветить его, и сейчас же просветителя своего целым полуштофом угощает.

Но в особенности от всех ребятишек Ванюшку Осипа Петровича дьячок терпеть не мог, потому расспросы какие-то в головенку к нему в глупую завсегда заходили и тем благого учителя не мало обеспокоивали.

— А что, дяденька, — спрашивает, бывало, Ваня дьячка (а дьячок в той же избе сидит, где у него и школа и жительство были, — сапоги тачает да песенки тоненьким голоском поет), — ведь тятенька мой ученый?

— Ученый, — ответит дьячок, оканчивая петь.

— Как же это он маменьку с утра до ночи бьет?

— А я вот встану, да как вытяну тебя сапожным подтягом вдоль спины, ты и замолчишь. Бога моли, что мне вставать лень, — отвечал просветитель, снова затягивая песню.

И, действительно, следовало богу молиться за то, что дьячок встать ленился, потому что подтяг варварской штукой в его руках был. И присмиреет Ванюшка, и замолчит, и задумается, — только с другими ребятишками голосом водит, чтобы не подумал дьячок, что он не читает совсем. А где уж читать там, когда

мысли разные в голову так наберутся, что душе от них тесно. «Что же это такое, — хотелось спросить ему, — отчего это Петр Степаныч пьян завсегда, когда прописи такие дал списывать нам, что пьянства, яко ада, бегать следует? И опять, теперича: ученье, говорит, свет, а неученье тьма. Да и в то время, как я грамоты совсем не знал, такие же дни-то и ночи-то такие же были...»

— О чем, о чем задумался, собачий сын? — кричит дьячок. — Третий год ко мне шатаешься, а читать не умеешь.

— Я, дяденька, ни о чем. Я так только, отдохнул маненько.

— Не-е-т! Ты мне скажи — о чем? — приставал дьячок, и так больно в то же время за волосы, бывало, скрутит, что уж никак нельзя было стерпеть и правды не сказать.

— Да вот, дяденька, я о чем думал, что вы все вино пьете; а нам говорите, что это вред...

Ну, тут уж у дьячка с Ваней и впрямь настоящие, так сказать, личности выходили, и оправдывать даже начнет себя дьячок.

— Да разве я какой пьяница? — говорит. — Ты что ль с отцом меня поишь?

И терзает он за это, бывало, мальчугана так, как в старину свою бедную жену терзал, когда она, голодная, такой же попрек ему в пьяные бельмы бросала...

Вся эта история тем, впрочем, и кончилась, что совсем одичал Ваня и несказанно на дьячка озлобился. И, должно быть, по шестнадцатому году уж был он, как в одно утро не стерпел тиранства и на напрасную дьячкову

зуботычину ответил ему такой мастерской каткой, что пьяный старичишка понял, что не с его силой лезть на шестнадцатилетнего здорового парня.

Только тут страшный гвалт вышел. Дьячок к Осипу Петровичу жаловаться пришел — и Ванюшка тут же у двери стоит, почитай, что такой же злой, как и отец. Трясется Осип Петрович, красный весь, как рак, сделался, когда дьячок свои убои ему показывал и полицией страшал; а Ваня нет-нет да сквозь зубы словно и вымолвит: я, тятенька, однава дыхнуть, не виноват. Казнил меня дяденька очень, — не вытерпел...

Как схватит Осип Петрович железную кочергу, что у печки стояла, да как бросится с нею на сына: анафема! — ревет: — я тебе дам не виноват!

Сестры Ванины (большие уж они в это самое время были) по разным углам стоят, трясутся да думают: вот и нас с Ваней тятенька заодно расказнит...

Мать попробовала остановить тяжелую отцовскую руку...

Да нет, и заступы не нужно! Вытянул вперед лапы молодой степной волчонок и рявкнул на отцову угрозу: «Будет! Отдумать, тятенька, надоть вам занапрасно бить меня!.. Сказал: не виноват!» — и вышел из комнаты, и не погнался за ним Осип Петрович, против своего обыкновения, на улицу, чтоб оттуда его притащить да дома уму-разуму поучить, как это не раз бывало...

Так и остался с носом дьячок...

IV

Недели с две уж прошло после того, как Ваня учителю встрепку дал, а Осип Петрович никому про него одного слова не вымолвил, ни домашним, ни посторонним, все равно как будто у него сына никогда не бывало.

Только однажды старуха осмелилась и сказала Осипу Петровичу.

— Нашего, говорят, Ваню в ракитинском лесу видели, Осип Петрович. Съездили бы вы туда,— поискали бы его там.

— Тебе его надоть, так ты и съезди! Только ежели найдешь, так в грех меня не вводи: на глаза ко мне не показывай.

— Что ж это вы, Осип Петрович, на родное дитя смотреть не хотите? Грех!

— Грех пустые бабьи речи слушать! Так ты, значит, и молчи и не искушай,— проговорил Осип Петрович необыкновенно снисходительно; а сам в то же время племянницу свою маленькую по головке ласково гладил...

— Ваня-то у нас нонича здесь был. Он каждый день сюда ходит, как ты на базар уйдешь!— откровенничала девочка, ободренная редкою дядиной лаской...

Подзатыльника дал Осип Петрович племяннице за то, что в это именно время заметил он будто бы в ней три дурные вещи: во-первых, что она не маленькая уж дура, а с его колен никогда не сходит; во-вторых, азбуку всю изорвала вместо того, чтоб учиться по ней, и, наконец, в-третьих, что она кричит постоянно и по комнатам бегает, что аки бы завсегда

мешало ему и теперь мешает сурьезные дела делать...

— Она, Осип Петрович, соврала вам... она ведь не смыслит! — уверяла старуха, так сказать, умирая.

— Молчи! Все знаю, как ты его в бане от меня укрываешь, как жрать ему туда носишь — все знаю!

Трясется старуха и думает про себя: вот когда, говорит, конец-то пришел мне! А Осип Петрович ничего, только сидит на диване и голову свою из стороны в сторону раскачивает, не так, как это обыкновенно со всяким человеком в раздумье бывает, а как будто тяжелое что-то сидело у него на голове и раскачивало ее...

Чудно показалось старухе, что он оплеушин ей за эту самую провинность не дает, а он в раздумье своем без азарту и говорит ей:

— Дай ты ему завтра рубах да пошли к отцу крестному, — он в Москву едет, так его с собой стащить обещался. Я ему там место нашел, а на глаза ко мне, опять-таки тебе сказываю, не пущай, чтобы греха какого не было... О-ох, грехи, грехи! — протяжно добавил Осип Петрович и рот перекрестил.

Много передумал Ваня в эти две недели, сидя на полке в бане. Особенно неотвязно преследовала его мысль о каком-то Одесте, где, по слышанным им рассказам, всяких вольных людей и теперь еще принимают и паспортов не спрашивают. Надобно, думает, туда закатиться, чтобы с отцом во всю жизнь не встречаться, — убьет, пожалуй!.. Может, купцом буду, денег

наживу, тогда и приеду домой. Об Ростове-Донском тоже одного кузнеца бывалого расспрашивал, так тот ему прямо сказал, что такого раздолья, как Ростов-на-Дону, целый свет произойди, нигде не увидишь, и что ежели бы ты, Ванюха, пообождал меня неделю-другую, так я бы с тобой сам туда закатил, потому как стороны тамошние не в пример лучше тутошних...

Ждет Ваня кузнеца, а между тем третья мысль в голову к нему как будто сама собою залезла. Все это, думает, ежели в иные страны без благословения родительского итти, так по этапу, пожалуй, домой обратно пришлют: а вот, говорит, в солдаты по своей охоте закачу!.. Так на этом и порешил, и хоть долго кузнец его уговаривал выбросить эту дурь, а итти с ним шествовать, — всякого, говорит, народу и всяких штук в волю насмотримся, — и к месту его обещал к хорошему, по своему великому знакомству с купцами, в Ростове пристроить, — Ваня все-таки мысли своей не покинул...

А между тем, только лишь утро настанет и Осип Петрович уйдет на базар, мать сейчас к Ване.

— Спишь, — говорит, — Ванюша?

— Нет, маменька. Я, — отвечает, — дело одно большое удумал.

— Голубчик ты мой! Поди, повинись отцу, не круши ты моей головы! — уговаривает мать, а у самой слезы по щекам морщинистым ручьями текут...

— Благословите, — говорит, — маменька, на царскую службу иду, а перед батенькой, одно слово напоследях скажу, виниться не буду, по-

тому, как самим вам известно, ничего супротивного я перед ними не сделал.

На многое горе старуха в жизни своей пристально насмотрелась, глаза ее почти что совсем оно заслепило, и сердце ее, ровно негодную щепку на улице летним жаром, повысушило, и, кажись, давно бы пора этому горю отстать от старухи; однако, как только услышала мать от сына страшное слово, то так перепугалась, что, должно сказать, боли такой, какая к ней в это время в сердце забралась, она никогда не испытывала: ровно громом расшибло. Смотрит она на сына, а сама головою кивает, да такою до самой смерти своей и осталась. «Жилы у ней от старости надорвались», в городе говорили... А чего там от старости, когда всякому известно, что от звериной жизни ничего лучшего и приключиться не может.

Видно было, что и Ваня норовом в отца вышел. Через великую силу могла упросить его мать, чтоб он погодил хоть несколько дней объявлять начальству свою охоту, чтоб она в последний раз вдоволь насмотреться на него могла. По целым дням старуха просиживала в бане с сыном и (чудно это было) не принималась уж ни плакать, ни разговаривать его думу, а только по голове все гладила да слезно просила, чтоб он беспременно писал ей письма про все, когда, дескать, и с кем воевать он будет.

В этих-то разговорах и застало сына с матерью последнее решенье Осипа Петровича, повелевающее Ване отправляться в Москву, — и чудно показалось ему, когда мать милостивую

волю отцовскую ему объявила. И подумал тут Ваня, что, должно быть, невиноватому человеку ничего сделать нельзя, когда уж на что грозен отец, а и тот над ним смиловался...

Крепким гвоздем вбил себе Ваня в голову мысль эту, и не раз она, во время московского жительства, из беды его выручала, и всеми этими разными качествами, которыми приказчики молодые у богатых купцов развлекаются, ни одним заняться она ему не дозволила.

А случаи зачастую выходили такие, что в праздничный день, бывало, придет он в приказчицкую, а там молодцы в трынку дуются.

— Присядь, — скажет кто-нибудь из общительных, — Иван Осипыч, с нами: я тебе, — говорит, — бардадымчика сдам.

— А вот другой раз как-нибудь, — ответит Иван Осипыч.

— Ну вот! — говорят, — пропусти для праздника. Больше целкового-рубля за стакан не возьмем.

— Не смущай вьюношу, — млад еще! — другой раззадорить Ваню старается, — за него, ежели он, к примеру, пьянствовать будет, Милитриса Кирбитьевна замуж итти отдумает.

— Мало бил я тебя онамедни? — Ваня скажет: — ежели хочешь, так я тебе еще даром, пожалуй, прибавлю...

Таким манером на этих самых правилах Ваня в Москве целых шесть лет выжил и на́ ногу себе наступить никому ни разу не дал, — и ни бардадым, ни сивуху, ни даже насчет там каких-нибудь ладов с хозяйской кухаркой, — ничто его не проняло. Так, каким в Москву

поехал, таким и назад вернулся, только на жизнь хорошую насмотрелся и порядки ее разузнал.

А тем временем в нашем городке такие дела делались. Купец у нас один был — гибель деньжищев имел старичина! Вот возьми этот купец и умри; и осталось у него двое сыновей, — ледащие ребята, только и дела делали, что с раннего утра до позднего вечера стихиры церковные в пьяном образе страшенными басами орали. Пройти, бывало, мимо дома нельзя, — оглушат совсем, как многолетие начнут выводить: перешибить голосами дьякона соборного из всех сил надуваются... Дочка, окроме ребят, тоже осталась, Глафирушкой звали. Только такая красивая девка была эта Глафира, что, уж истинно сказать, как Марья-царевна какая, ни в сказке сказать, ни пером написать. Взглянуть, бывало, на ее полные да румяные щеки нельзя: ум помутится, ей-богу! Только, бывало, и подумаешь про себя: где это, мол, и какой сытной едой такую богатую штуку раздабривали и какими, мол, румянами красоту такую расписывали?

И такая была лукавая девка эта Глафира, что сказать невозможно. Не то что господам молодым, помещикам там и приказным, а даже и мещанам, кто, значит, мало-мальски сибирку потуже ремнем серебряным стягивал, от нее мимо ихнего дома проходу не было без того, чтоб у доброго молодца сердце не шелохнулось. Сидит Глафира в тереме своем белокаменном, смотрит в окошко косящатое и лишь только завидит кого помоложе, сейчас ему какую-нибудь

амурную штуку и выкинет. Ей веселье одно от этих штук выходило, — скука девичья разгонялась; а молодежи вовсе не до веселья тут было, так что года три ни одной, почитай, свадьбы в нашем городе не было, потому как всех женихов Глафира одной особой своей отуманивала.

Таким манером Глафира много клятьбы от отцов, от замужних жен и невест принимала, иногда заочно, а чаще в глаза (у нас на этот счет не церемонятся), потому как, особенно в купецком кругу, не один такой парень был, что вот, примером, отцу занадобится вдруг женить его, — ну, и потянут его, раба божьего, под венец, все равно как черкасского быка на убой. Упрутся тогда батюшка с сынком на одном (силищи же у обоих страшенные!): один говорит: — женись; а другой: — не женюсь, — потому в душе на Глафиру метит — и пойдет тогда кутерьма в семье великая из-за красоты девичьей, и долго ломятся меж собою отец с непокорным сыном, и ежели завидит старик, что не одолеть ему молодой воли, так куда гневен делается в это время владыка своего дома и судья над ним всесильный и сам никому не подсудный.

— Слушай ты, сын, — гремит голос суровый и беспощадный, — в последний тебе говорю! Ежели, примером, воли моей не исполнишь, нет тебе угла в этом доме — и будь ты великим моим родительским словом отныне и до века анафема-проклят!..

Все плачут в семье в это время и от страха трясутся — и старик сам, может быть, послед-

ние слезы роняет и бога молит, чтоб от сына его отогнал он беса лукавствия и прелести девичьей.

Только в это самое время и прислали к нам в городок на покой одного отставного капитана. Зверь такой, доложу я вам, что на самом Кавказе ужиться не мог. И пошел наш капитан по городу, надо полагать, на добрых людей посмотреть и им себя показать, — и показал: шапчища такая лохматая да высокая надета была на нем (на самом затылке как-то ухитрялся носить он ее), усищи такие диковинные, что и в Турции (присягнуть готов!) таких ни разу не видывали. Два пистолета и кинжал за пояс заткнул, а архалук хитро таково скроен был на нем и весь золотом изукрашен. Как увидала его с балкона стряпчего Федора Петровича дочь, так ума и лишилась, потому известно какие у нас барышни: день-денской разные сласти едят да «Битву русских с кабардинцами» от нечего делать почитывают, так им, выходит, и лестно после всего этого на дородного мужчину взглянуть. Ну, а стряпчего дочь — девица, по общему мнению, больше других чувствительная была, и уж не одними сладостями да «кабардинцами» себя порасстроила. Заболела она у нас от капитана горячкой, и слышно было, что в болезненном бесчувствии все милым Альцестом его называла, — к счастью, жених ей в скорости подвернулся (тоже бравый приказный был из прискорбных!), — ну, она и исцелела...

С первых же дней своего приезда разные подвиги, весьма воинского свойства, начал

капитан по городу откалывать, и унять военную кость никто не решался, потому, кроме того, что тумаки самые лихие очень он способен давать был, сам про себя во всеуслышание по всему городу объявлял, чтобы никто не налетал на него, для кого, говорит, пребывание в сем мире ценность имеет. Мне, говорит, ни от чего хуже теперешнего быть не может, потому я без того под судом и следствием нахожусь. Так вот каков был капитан! А барышни наши от него так и ахают, и все они Портосом его прозвали, потому «Три мушкатера» в нашем городке в большом ходу.

И до такого нахальства этот Портос дошел, что во всем городке, кто только побогаче да позначительнее был, всех данью обложил. Я, говорит, ваш гость, так вы меня кормить и поить должны! И очередь даже завел, чтобы один день городничий ему все дневное пропитание доставлял, а на другой — голова и т. д. А кто, говорил капитан, сего не исполнит, так я у него жену среди белого дня на улице поймаю и при всех поцелую...

Страсть как глумился над нашим городом капитан; так все его чортом и звали.

И познакомься этот капитан с одним приказным, который после него первым ёрником во всем городе был. Рыбак рыбака, значит, издалека увидал, и пошли они с ним разные чудеса творить, так что по городу ровно гул какой от их беснованья постоянно ходил. И говорит однажды капитан приказному: «Укажи ты мне, сделай милость, мамзель какую-нибудь, которую бы мог я достойно в дамы сердца избрать. Да

такая чтобы была, понимаешь, которая бы и приятность и удобства к жизни, хоть слабые (за большим в таком мерзостном городишке гнаться нельзя!), предоставить могла»... А приказный ему и говорит: «Да чего лучше? Вот Глафиру Пустынникову в лапы забери. Девка первая в городе и капиталами при случае может снабжать, — только ты, хоть и военный, однако опасение сильное должен в этом разе иметь: большой она молодец нашему брату носы утирать...

В высочайшей степени презрительным взглядом ответил капитан на предостережение приказного, усищи свои разгладил и сказал: «Не стращай — видывали!»

И круто, как есть по-военному, повел капитан это дело.

— Пойдем, — говорит он приказному, — к Пустынниковым: рекомендуй меня.

— Да они меня на полдвора не допустят, — ответил приказный. — Первые, почитай, купцы в городе. Как же я им рекомендовать тебя буду?

— Это для нас единственно все равно, — решил капитан. — Я тебя, значит, отрекомендую. Марш!

С полверсты не дошли еще приятели до Пустынниковых, только и говорит приказный капитану:

— Слышишь? — говорит.

— Слышу, — ответил капитан.

Голос до них в это время донесся, ровно кто бы апостола читал: страшенный голосина такой, точно леший в лесу гогочет...

— Это младший Пустынников потешается, — объяснил приказный. — А кабы ты послушал,

как старший орет, так и тебя оторопь взяла бы. Не воротиться ли нам? Силищи у обоих звериные: деревья из корней оба дергают!..

— Что ты меня голосами да силами стращаешь? Ты вот послушай, я тебе анекдот расскажу.

А в это время приятели против благородного дома стояли. Помещик у нас один по своему делу проживал. Дамы и девицы на балконе сидели. И тут же остановился капитан против балкона и рассказал приказному анекдот, в котором значилось, как, по мнению одной знающей барыни, самые будто бы ни на есть любезные люди те, у которых голоса страшны и которые большой силой владеют.

Только при первых словах, которыми капитан начал свой анекдот, общество, сидевшее на балконе помещичьего дома, отправилось во внутренние апартаменты, и дослушал до конца анекдот только сам барин, тоже большой потаскун и известный у нас по уезду многими любовными стихами и разными безыменными посланиями, из которых самое замечательное называется: «От шафера к невесте», и начинается так: «Цветочек флер-д'оранж вам шафер посылает, пришпильте к спинке этот цвет. Невинность он изображает, которой в сущности уж нет».

— Хорошо, капитан! — закричал этот барин с балкона. — Я, — говорит, — ваш анекдот в стихи переложу. Могу вас уверить, — острая штука будет. Позволите?

— Рад стараться, — ответил капитан. — Об одном скорблю: дамы ваши должным внима-

нием его не удостоили. Беру с вас слово — представить им мой анекдот в том виде, в котором сами его в стихи переложите. Надеюсь, тогда он достоин будет стыдливого дамского пола.

— За это ручаюсь, а теперь не угодно ли ко мне на чашечку чайку?.. Так и быть, уж приглашаю для вас и вашего благородного друга...

— Прошу извинить — занят! Глафиру Пустынникову иду побеждать. Вот, он говорит, неприступная.

— А... Ну, желаю успеха! Эти дела, по моему искреннему и душевному убеждению, должны прежде всего занимать и наши силы и наше внимание, — решил острый барин. — Адье!

— И по-моему так же, — отвечал капитан. — Адье-с!

— Вот как настоящие благородные люди должны разговаривать между собою, — тут же сказал капитан, чтобы поучить приказную строку. Учись, дескать, пьяница, светской политуре, потому что, когда тебя в Сибирь упекут, так она тебе там большие выгоды принесет.

V

Как угорелая, рвалась и брехала собака, привязанная почти в самых воротах дома Пустынниковых, когда капитан с приказным входили на широкий двор. Должно быть, чувствовала тварь, что на великое горе хозяевам дома идут непрошенные гости; а стоявший тут на дворе некий древний старец, проживавший

у хозяев ради дряхлости лет и прозорливости ума, перекрестился даже, как увидал капитана, потому что о деяниях его рассуждал не иначе, как о деяниях антихриста и великого губителя христианских душ.

— Такого-то, дескать, полка отставной капитан Громовержцев! — отрекомендовался капитан при входе в комнату, заматывая на ухо свои усищи.

— В сражениях изволили бывать, ваше высокоблагородие? — осведомился младший Пустынников. А он ужасно любил военную службу и все, бывало, про разные сражения и баталии с проходящими медными пуговицами разговаривает.

— Двадцать тысяч турок у врат Севастополя с одной своей ротой в лоск уложил. Самому даже смотреть на них жаль было, — ответил капитан и хоть бы вот настолечко покраснел.

— Батюшки! — проговорили оба брата в один голос.

— Батюшки! — густой октавой пробасил соборный дьякон, неизменный и ежедневный гость Пустынниковых...

— Очень рад познакомиться, — обратился к дьякону капитан...

Во всей красоте явилась теперь капитанская удаль, потому что, когда старший Пустынников пригласил его по водке пройтись, так он приказал чайный стакан себе принесть, уверяя, что нынче всякий сколько-нибудь образованный человек пьет из целого стакана, а не из рюмки, к которой он, капитан, с самого малолетства полное презрение питал.

Потягаться с ним захотел старший брат и тоже, как прилично образованному человеку, начал было тянуть из стакана; но после четырех или пяти штук почувствовал, что внутренность у него как огнем палит и голова вдребезги разлететься желает; а капитан ничего — порошинки самой маленькой заметить в его глазах нельзя было — и забольно показалось купцу, что он, первый богач в городе, налетел на такого человека, который больше его выпить может. Тут он силой хотел капитана удивить, взял железную кочергу, да кольцом ее и свернул; а капитан ее опять распрямил...

— Это в нынешние времена, — говорит капитан, — всякий ребенок сделает, если порядочно выпьет; а вы бы вот что попробовали: ежели, например, тройку в телегу запрячь да с горы ее вскачь пустить, да вы бы ее за заднее колесо остановили, — тогда бы я, может, спасовал пред вами.

— Неужто вы такую штуку сделать можете? — спросил младший Пустынников.

— Делывал, — хладнокровно отвечал капитан, наливая себе и приказному вина.

— Отец дьякон! — стали молить восхищенные братья: — скажи его высокоблагородию многолетие, да погромче закати — уважь по достоинству.

Дьякон долго себя ждать не заставил, и скоро весь дом от его голосища затрясся. Поднимал дьякон все выше и выше, а Пустынниковы громко откашливались, чтобы достойно, нота в ноту, хором подтвердить, а если можно так даже и перешибить дьяконовское пожелание

многих лет болярину Громовержцеву; но приготовления их ни к чему не повели, потому даже их самих ужас пронял, когда сам капитан, своим собственным голосом, как громом, загремел многая лета своему капитанскому здоровью.

Видно было, что капитан решился купцов на всех пунктах разбить. Оба брата, лишь только замолк он, бросились обнимать его.

— Эдакой густоты, эдакой высоты отроду своего не слыхал! — говорил дьякон.

— Вот человек-то! Как хотите, ваше высокоблагородие, а я вас поцелую! — поочередно лезли к капитану Пустынниковы.

Долго тут пелись и духовные и светские кантаты, и хоть довел капитан дьякона и Пустынниковых до того, что они ему, как идолу, поклонились, но домашние, наслышавшись об его городских похождениях, все-таки желали ему провалиться сквозь землю. Особенно много говорил против капитана древний старец. Многочисленным домочадцам и приживальщикам рассказывал он на антресолях, что давно уж народился антихрист, что много людей, злых и продерзостных из его воинства распущено им по земле соблазн заводить, и что капитан если не сам антихрист, так непременно принадлежит к его воинству...

Между тем капитан послал приказного к себе за гитарой и очень в то время о чем-то задумался, как это с ним всегда делалось, когда он, как сам у нас говорил, «основательно выпьет».

И какая это грусть находила на капитана и что в такое время с ним делалось, — не знаю; только когда приказный подал ему гитару, так

такие он заунывные аккорды на ней начал брать, что дьякон и даже сами Пустынниковы чуть не плакали, его слушая.

С одного разу звуки эти прошли и в антресоли. Тотчас же все, кто был около древнего старца, его бросили и тихо, на цыпочках, спустились вниз и еще тише разместились у дверей в ту комнату, где пировали хозяева. Стоит вся публика ни жива, ни мертва, слушает, как капитан разливается.

— «Доля, долюшка железная», — запел капитан, и почувствовалась всем, что, должно быть, куда тяжела была его горькая доля, потому что слышат все, как он голосом своим чуть не плачет, а гитара за ним, точно человек, выговаривает: «доля, долюшка железная», — да еще, пожалуй, жалостней человеческого на струнах-то выходит. Так он хорошо на гитаре умел играть!

Всех разобрало от капитанской песни: и домочадцев, и дьякона, и хозяев: но ничьему сердцу не сделался так жалостен капитан, как сердцу Глафиры, потому что и она тут же за дверями стояла.

Хотелось ей в это время подойти к капитану и доброе, ласковое слово сказать ему, чтоб он горе свое навек позабыл; да девичий стыд не велит!..

— «Ты душа ль моя, красна девица», — разливался капитан в другой песне, а Глафире уж невтерпеж стало. Убежала она наверх в свою комнату и расплакалась там от сладких, ни разу не слыханных ею, песенных стонов во все свое девичье сердце, как никогда не доводилось ей

во всю жизнь плакать, даром что от пьяных братьев тиранство переносила великое.

На возвратном пути от своих новых приятелей капитан сказал приказному: ежели хозяйская сестра нынешний день на одр болезни не сляжет, так долго на свете жить будет...

И хоть не пророком был капитан, а про то, что заболеет Глафира, предузнал.

С того дня стало сердце ее непрестанно желать встречи с милым человеком; думать начала она постоянно только о нем об одном, — капитанская песня и денно и нощно не оставляла ее. Стала она по нем сокрушаться и плакать и, наконец, в самом деле заболела и в постелю слегла.

Говорили у нас и тогда еще, что вслух пред чадами и домочадцами, пред братьями и древним старцем в горячке высказала она весь свой секрет. Снится ей, говорила она в бреду, капитан и жалуется будто бы на свою горькую долю, и видит она, что в руках у него гитара, а на гитаре вместо струн птички какие-то сидят райские и сладкозвучно человеческими голосами поют вместе с ним про тоску его про сердечную.

— Где ты таких людей видывала? — капитан будто бы ей говорил и архалуком своим золотым слепил ей больные глаза. — Брось, — говорит, — ты братьев своих, да ко мне приходи: я тебя за это любить буду. Песни тебе на гитаре, какие только захочешь, буду играть.

А Глафирушка в бреду кричит ему: «Брошу, все брошу! Я с тобой хоть в дремучие леса готова итти». Стоят около девичьей постели чада

й домочадцы и крестятся; рассуждают они, что не иной кто, как бес, слова такие безумные Глафириными устами говорит, и хоть помог Глафире в ее тяжкой болезни древний старец наговорами своими от навожденья бесовского, но дело кончилось все-таки тем, когда через год после болезни уехала Глафира к тетке верст за двести гостить, так в городе все почти говорили, что она уехала вовсе не к тетке, а на хутор в степь, куда будто бы отправили ее братья для того, чтобы прекратить ее любовь с капитаном...

Хоть и глухо об этом случае в городе толковали, однако все доподлинно знали, как Глафира с капитаном темные ночи, как в песне поется, прогуливала и тайные, забавные речи ему говаривала; потому капитан ее, истинно сказать, как бес обуял. Целый год ему только и дела было, что как бы ее научить из дому что-нибудь стащить да ему принесть.

Только как ни были пьяны братья Глафирины, а тут испугались. И начали они думу думать: куда бы ее от чужих насмешливых глаз спровадить? А потом, когда удалось им по городу слух пустить, что Глафира, дескать, к тетке гостить уехала, так они сваху к Осипу Петровичу с подсылом и пошли; а та сейчас с рацеей к нему: у вас, говорит, Осип Петрович, купец есть приезжий (а Ваня в это время новым человеком в городе был, — неделя какая-нибудь только прошла, как он из Москвы домой вернулся, и срамота Глафирина до его ушей еще не дошла), а у нас, объясняет, товар есть отменный, из самого Питера вывезен.

И все накинулись на Ваню, чтобы на шею ему Глафирушку нацепить. Отец потому приставал, что приданое большое в этом разе счистить надеялся; дядья и тетки разные — чтобы на богатой свадьбе покрасоваться да к богачам в родню влезть. Кончили тем, что доставили-таки всему городу случай на богатую свадьбу поглазеть.

Так звонко на этой свадьбе певчие училищные горла свои надсаживали, что в шуме-то да в тесноте от прихожей толпы не слышно и не видно было, как одна девица тут же стояла да, на молодых глядючи, горькие слезы роняла. «Эх, Иван Осипыч! — думала красота: — не с Глафирой, по-настоящему, под венцом тебе стоять следует»...

И бабенки тут же городские про свадьбу шептались:

— У-ух, — говорила одна, — как это здорово певчие горла дерут: слова сказать нельзя! — и рот свой к уху соседки плотно она приложила и спрашивала: — Слышишь, што я тебе говорю-то? Певчие горла-то свои как страховито дерут?

— Г-р-р-яди, гр-р-ряди! — неистовым басом орал на клиросе регент, предчувствуя здоровенную выпивку.

— Слышу, мать, слышу, — нельзя не слыхать! — ответила соседка, в свою очередь прикладывая свой рот к уху товарки.

— А молодого-то видишь? Вишь, как он усердно богу-то молится!

— Вижу, свет! — и опять рот к уху, — только вряд ли он счастья-то себе у бога вымолит: на деньги, говорят, польстился; а того не видал, да и теперь, должно быть, не видит, что люди та-

кие есть, которые его, может, больше самой невесты любить бы стали. Я и красавицу одну видела, что по нем слезы льет.

— А што, мать, рази у них что-нибудь было?

— Когда быть-то? Быть-то времени еще не было, а по соседству видала, как они меж собой переглядывались... очень любовно переглядывались...

— Так и плакать не о чем. Прежде бы удумывала, как бы дело решить...

VI

Почернели и глубоко в землю вошли старые стены дома Осипа Петровича; балкон, приделанный к дому, составлявший некогда гордость Осипа Петровича и красу для всего города, сгнил и совсем развалился, а семейное безобразие у Осипа Петровича ничем не состарелось, и все так же попрежнему идет.

Так же, как некогда старуха Осипа Петровича, и Глафира вошла в мужнин дом с почетом и лживою радостью, при гулком шопоте, раздававшемся тут же у ней за спиной. Первой в старину завидовали и рассуждали собственно про то, какому богу молилась эта голь перекатная, что в такой богатый дом на житье лезет; а про Глафиру просто-напросто шептали поезжане, сватья и кумовья, что погубит она Ивана Осиповича своим беспутством.

И в самом деле, когда кончились все эти свадебные пиры и попойки, пошла прежняя однообразная, запуганная жизнь, перемежавшаяся одним нечеловеческим криком свекра.

Никак не вынесла бы Глафира такой тяжелой жизни, если бы Иван Осипович не держал себя к жене прямо против того, как держал себя отец к его матери, загубленной и измученной им.

Поздно узнал он, какие расчеты побуждали отца женить его, точно так же, как и про то поздно узнал, что не будет у него с женой любви и согласия — и, на невыразимое удивление для целого города, никто никогда не слыхал, чтобы в доме Осипа Петровича раздавались теперь те вопли и крики, которые набегают слушать самые дальние соседи и которые обыкновенно означают, что это грозный муж над неверной женой лютует и измывается...

— Вот счастливая-то! — рассуждали в городе про Глафиру. — Уж ежели эдаких мужу не бить, так значит после этого ни на кого и пальца поднять нельзя. Приластилась, должно быть, к мужу-то, — вот он и не бьет. Ведь они, эдакие-то, умеют приластиться, знают, каким ласкательством взять.

А между тем Глафира вовсе не так рассуждала. «Хоть бы раз, — думала она, — прибил меня муж, как другие делают, я бы на пустыню-то ихнюю сейчас наплевала; а тот как же ты согрубишь ему, когда он все ласками да словами разумными усовестить хочет?»

Таким образом к концу года замужней жизни своей словно даже и похудела Глафира и куда как печальна стала! Еще больше печаль эта усилилась в ней от того, что свекор и муж редкий день, по своей торговле, дома бывали. Такая тишь завсегда в доме стоит, что в пустоте

этой сердце каждую минуту страшной тоской замирает, — и рада радостью была бы Глафира, ежели бы хоть Осип Петрович в дому пошумел, — по крайности человеческого голоса послушала бы; а то и отрада одна в том только была, что по целым дням можно было смотреть, как старая свекровь спит.

Какие тут мудреные думы в молодую голову залезть могут, рассказать, так страсти выдут одни!.. В одиночестве таком да в безмолвии заберутся, бывало, в ней эти думы, — и целый день она ходит и тоскует с ними, и как машина какая, без сознания, все одну песню потихоньку поет: «Возьми ты, говорит, в ручки пистолетик, прострели ты грудь мою!..»

И все это она к капитану своему обращение делала, потому, рассуждала она, что уж если одного его и совесть любить запрещает и власти нет, так хоть бы от его руки смерть принять.

Таким манером это самое дело целый год продолжалось, потому что хоть и вышла замуж Глафира, а капитана своего бросить все-таки не могла. В самую душу к ней заходили добрые и разумные речи, которыми уговаривал ее Иван Осипыч быть доброй хозяйкой для дома и верной женою для мужа, и большое сокрушенье на душе у нее в этот раз лежало, потому что, при всем желании послушаться мужниных слов и порешить с капитаном, сделать этого она никак не могла.

Жизни своей не рада была Глафира, когда мысли эти переменчивые мучить ее начнут, и не раз случалось, что когда муж лаской да приветливостью, бывало, смягчит ее, то она даже

в раскаяние страшное приходила. Почнет, бывало, сама признаваться мужу в своем последнем свидании с капитаном, волосы на себе от раскаяния рвет и грозное заклятие кладет, что опостылел ей теперь совсем капитан, и что пусть глаза у ней лопнут, ежели она посмеет еще раз взглянуть на него. Но уезжал, бывало, куда-нибудь Иван Осипыч на неделю-другую — и снова Глафира раздумью поддастся, и вспомнит она про мучителя своего капитана. Против воли ее станет он перед ней, красивый и бравый, усы свои черные разглаживает и улыбается. Иван Осипыч тоже ей в эту минуту представится и в уши будто бы таково печально зашепчет: смотри, говорит, не поддавайся врагу, мужняя жена! Пред богом самим в венцах золотых мы с тобою стояли! Отвернуться старается от капитана Глафира, а он с другой стороны зайдет и опять еще пристальнее глазами вопьется в нее. Ни за что не вытерпит, бывало, Глафира, как поглядят на нее эти глаза так-то удало и ласково, даже застонет она, сердечная, а про мужнины слова совсем позабудет и непременно пойдет у свекровки проситься братьев проведать...

Обо всем этом, на великое горе свое, знал Иван Осипыч. И приятели, и неприятели частенько ему глаза этим самым колышком подкалывали, — и куда ему иной раз больно было переносить людские насмешки обидные; но все-таки бить жену свою он не хотел, потому надежды все еще не терял, рано ли, поздно ли, выгнать из жениной головы мысли о полюбовнике, и только сильно скорбел об жене, когда

она со слезами, сумасшедшая словно какая, жаловаться ему почнет на тоску свою и на то, что никак не может она совладать с своим сердцем.

«Как же ты бить ее станешь тут? — думал про себя Иван Осипыч. — Ведь она сама про себя все без утайки рассказывает. Нет! надо полагать, колдовством каким ни на есть испортил ее капитан!» И пристальнее бросался он под рукою разведывать, где бы такого доку колдуна найти, который бы жену его вылечить мог.

Много всяких док перебывало у Ивана Осипыча по этому делу, и полтинников много они с него перебрали и сивухи тоже бездну выпили; но должно быть, что бес, служивший капитану, был сильнее бесов, служивших докам, потому что болезнь Глафирина с каждым днем все больше усиливалась, и поделать с этою болезнью знахари ничего не могли.

Между тем видит капитан, что пресеклись все эти жизненные, как он говорил, сикурсы, которые во время оно доставляла ему Глафира (потому как от Осипа Петровича стащить что-нибудь ей не было ни малейшей возможности: сам он всегда строгим оком за хозяйским своим добром смотрел), и говорит приятелю своему приказному:

— А ведь надо бы порешить с Глафиркой! Надоела она мне своими вздохами, да слезами, да рассказами глупыми, как ее совесть мучит за то, что она мужа обманывает. Хоть бы ты ее к себе взял, што ли; а я на все это и прежде того в большом свете насмотрелся довольно...

— Што ж? Порешить, так порешить! — согласился приказный. — Только в последний раз нельзя ли из нее какими-нибудь чудесами деньжонок немножко на домашние обиходы извлечь?

Выпивка тут на столе у капитана стояла. Вот они выпили, развеселились да и придумали вместе, что нужно сманить Глафиру будто бы на побег с капитаном, и чтоб она, ежели у свекра и мужа не найдет, где деньги лежат, так хоть бы вещей с собою захватила побольше.

— Ведь у этих купцов жемчуги там разные под спудом лежат, — добавил капитан, — по праздникам бабищи их толстые жемчугами этими, как идолы, обвешиваются; а я, — говорит, — сокровищам оным настоящее употребление дать постараюсь.

Записку тут капитан к Глафире настрочил, что, дескать, очень нужно тебя, прелесть моя, приходи непременно. Очень красноречиво в этом письме изобразил он, как у него прогулка маленькая за город сочиняется на целые сутки и как, если она не обманет домашних и на той прогулке не будет, запечалится он и мужа ее на базаре при всех купцах осрамит.

Получила Глафира записку и целую ночь напролет продумала: как бы это ей свекровь обмануть, чтобы та беспременно должна была отпустить ее на целые сутки?

На другой день, с самого раннего утра, Осип Петрович с сыном на базар закатились, а Глафира со старухой за чайным столом сидят — и ждет старуха, чтобы молодая невестка сливок ей в чай налила. Лень свекрови свою старую руку в этом разе самой приложить, потому до-

ждалась она теперь перемены: нежься теперь, думает, как кот на лежанке, — молодая хозяйка в дому завелась.

Так вот и сидит себе старуха за самоваром с Глафирой. Юлит перед ней молодая несказанно, — ласки ей всякие оказывает и даже временем руки целует. Раза с два уж свекровь чашку свою прикрывала, потом ее успело-таки порядочно прошибить; а Глафира все ей еще наливает и так умильно просит ее чайку еще чашечку выпить. Распарилась старуха и нежится; а Глафира видит, что уж наполовину дело свое сделала, такую ей речь повела:

— Я, — говорит, — маменька, какой сон нонича ночью видела, так сказать невозможно. Так это душа у меня умиляется, как вспомню про этот сон! Раза с два утром-то сплакала я, потому большую к себе милость божескую в эфтом сне вижу.

— Какой сон, Глафирушка? — сонливо спросила старуха, собравшаяся было после чаю прикорнуть немножко. И уж давно бы она отправилась прикорнуть, ежели бы сомнение ее не брало: под яблонью в саду ежели соснуть, ветерок будет лицо продувать — хорошо, но зато мухи будут кусать; а как на зло-горе долго заспишься, так солнцем совсем запечет. В темной кладовой разве улечься? Так Осип Петрович ключи от ней все с собою забрал, потому не верит домашним, — вино там у него и всякие сласти стоят.

— Видите, маменька, какой это сон страшный! В позапрошлом году, когда я еще в девицах у братцев жила, заслышали мы, как

в Ольховском монастыре от святого угодника чудотворенья разные делаться стали. А тогда, сказываю я вам, как пред богом, как есть еще малым ребенком была я, об мужчинах понятия никакого не имела и невинность свою завсегда сберечь в силах была. Только знаете, маменька, как это живописцы в то время собор расписывали, — их городничий на квартиру в наш дом и поставь. И были эти живописцы все до одного молодые такие да веселые; а от этого слух по городу и поди, что я, дескать, с ними загуливаю. Братцы прослышали про это, избить всю хотели меня, — только я братцам возьми да и не поддайся, потому провинностей за собою никаких не чувствовала. Вот я тогда обещанье угоднику ольховскому и дала—на поклонение к нему пешком сходить, только бы он напраслину мою прекратил. И прекратил угодник напраслину по грешной молитве моей. А сходить к нему — обещанья своего я не исполнила, потому тут первое дело — болезнь ко мне в скорости тяжкая приключилась, а второе — вы меня сватать за Ваню стали, так к свадьбе готовилась. У вас уже после свадьбы попроситься хотела: благо, думаю, недалеко от города, так совестно было на ваших одних руках хозяйство оставить, утруждать вас не хотелось, так с каждым днем все и откладывала. А совесть меня таково это мучит: вот, говорит, обещания своего не исполнила, святого угодника обманула! Только сплю я нонишнею ночью и вижу, будто сидим мы с вами в зале и чай, как теперича, пьем. И входит к нам, маменька, старичок, седенький такой, худенький, и говорит: мир, говорит, вам! Только

вы и приказываете будто мне чаю ему налить; а он и говорит: нет, говорит, не чаю мне нужно, а спасения душ ваших нужно. Смотрим мы будто бы на него обе: только страх меня такой взял, и на вас-то смотрю — и вы-то, маменька, белые-разбелые сделались, скатерти словно, и ужасаетесь. А я и думаю: где же, мол, такого старичка видела я? Да как вспомнила, как это на картинке затворник ольховский написан, так ноги-то мне как будто подсек кто. Старец-то вылитый был, как на картинке нарисован, и бородка-то у него такая же седая, и четки, и черным ремнем подпоясан. Что вы, говорит, чада, о спасении душ своих не заботитесь? Только, говорит, и знаете, что чай пьете. И на меня это так грозно взглянул и говорит: почто ты, раба, обещания своего не исполняешь? Залилась будто я слезами, а он, голубчик мой, подошел ко мне потихоньку, улыбается и ручку мне на голову (сухонькая такая ручка-то!) положил: не плачь, говорит, раба, а завтрашний день в монастырь ко мне отправляйся и ей скажи (это он, маменька, на вас-то указывал), чтобы она беспременно тебя отпустила; а то, говорит, счастья никому из вас ни в чем не буду давать.

Охота прикорнуть где-нибудь вмиг пропала у старухи. Грозно стал у ней пред очами затворник ольховский, губами своими высохшими грозный укор свой о лени ее шепчет. Прошибла старуху слеза: грешница, грешница, грешница я, — вопит она. — Душу свою совсем загубила, тело свое лени бесовской навек отдала. А затворник попрежнему стоит, слова ее слезные в ухо ей повторяет: душу, говорит, ты свою

совсем загубила, лени, говорит, бесовской тело свое навек отдала!.. Оперлась руками старуха об стол, лицо свое старое уткнула в широкие рукава и вопит... Все это тут в ум ей пришло, вся жизнь ее прошлая в голову ей забралась, и начала она угоднику жаловаться, оправданье в лени великой своей ему приносила.

— Батюшка ты мой! — плакала она, — не знаешь ты рази жизни моей горькой? Не знаешь ты рази, какая я охотница в девках была по церквам ходить? Аль никогда не видал ты, как сохла краса моя девичья, на сурового да на драчливого мужа взираючи, утешенья в детях не видючи?..

— Будет, маменька, будет! — утешала Глафира свекровь. — Вы вот отпустите меня на поклоненье-то; может, угодник и смилуется.

Но крепко, должно быть, у старухи слезы наружу просились, больно тесно, надо полагать, в безответной груди тяжкому горю пришлось. Во весь слух, чтобы слышали все добрые люди, захотела душа ее рассказать про болезные скорби свои — и все громче и громче стонала старуха, и все громче и громче взывала она к угоднику, чтоб он рассудил ее с ее горькою жизнью, с мужем-тираном, — умоляла она, чтоб пришел поскорей рассудить.

— Што вы, маменька, расплакались? — юлила Глафира, обрадованная тем, что так поддается свекровь. — Вы вот про монастырь-то што скажете? Итти, што ли?

— О-ох! умереть бы мне, што ли, уж поскорей! От жизни эфтой проклятой хоть бы темная могила закрыла меня!..

— А вы меня решайтесь поскорей в дорогу-то отпустить. А то тятенька с мужем придут, совсем, пожалуй, не пустят.

— Иди, Глафирушка, иди со Христом. Только возвращайся ты поскорей, — в ответ меня пред отцом не вводи. Деньжонок-то у меня на свечи тебе дать совсем, матушка, нет.

— У меня, маменька, своих денег-то есть немножко, — сказала Глафира и укатила на богомолье.

Вечером пришел домой Иван Осипович и спрашивает мать: где же, говорит, маменька, Глафира?

— На богомолье к чудотворцу пошла. Сон такой видела, — нельзя не пойти, — отвечает старуха.

А на другое утро Осип Петрович на базаре вот какую пытку вытерпел: сидит он себе в лавке и видит, как мещанин один (известный скалдырник и забияка) мимо его лавки идет и шапки перед ним не ломает; а еще у Осипа Петровича по лавочной книжке рубля с два причиталось за ним. Только Осип Петрович шутки ради и крикнул вслед: «Ваше благородие! Степан Ильич!»

Оглянулся Степан Ильич, а шапки все-таки не ломает.

Взорвало это Осипа Петровича и вымолвил он:

— Не пора ли, — говорит, — вашему благородию должишко мне заплатить, чем в кабак лыжи-то направлять?

— Должишко-то я тебе в скорости действительно заплачу, а учить ты меня не моги, потому

как невестка у тебя развратная, так ты добрых людей завсегда стыдиться должен и молчать перед ними...

— Ш-што?

— Ничего! Мимо, примером, андроны с позвонками проехали, за язык колесом зацепили. Вот што!

— Нет!.. Ты докажи!

А лавочники видят, что потехи и глумление великое будет, гурьбой к лавке Осипа Петровича привалили и смотрят, чем, дескать, комедия разыграется. А Осип Петрович тотчас к ним.

— Засвидетельствуйте, — говорит, — честные люди, как он смеет честную жену честного мужа порочить?

— Слышим-ста! — бороды говорят и глумятся.

— Слушайте, господа, — говорит Степан Ильич. — Свидетельствуйте с нищими по субботам, што вот эфтот самый купец денежки им никогда во всю свою жисть не давал. А вот про эфту историю, как некий отец сына своего единоутробного из денег обманом на шлюхе женил, с нашим удовольствием расскажем. А ты ее, Осип Петрович, стихом опиши, — ведь ты песни-то большой мастак сочинять, так ты и опиши, каковы вы оба с своей невесткой здоровенные мошенники суть. Эфтова тебе запретить никто не в силах; а я завсегда тебя, помни ты это, обрехать могу, как только моей душе эфтово захочется...

Люди добрые смеются, а Осип Петрович кипит и в драку мечется; но толпа к Степану его не пускает.

— Вы, может, не поверите мне, господа, — продолжал Степан Ильич, — как вчерашний день невестку его капитан на ракитинском поле розгами высек за то, что она не соглашалась, глупая, у этого старого дурня деньги украсть да капитану на разживу принесть... Сейчас издохнуть, всю эфту историю своими глазами я видел, потому как во ржах я пьяный в эфто самое время спал, да она, мошенница, криком своим меня разбудила.

— Врешь, не докажешь! — твердил Осип Петрович. — До губернатора дойду, в Сибирь тебя, ёрника упеку!

— Што далеко больно? — трунил Степан Ильич. — Дороги, пожалуй, в Сибирь без тебя не найду. Ты вот лучше домой сбегай да спроси у невестки-то: куды, мол, ты, невестушка, платье свое подевала? Ведь так, братцы мои, капитан платьишко-то с нее ободрал, что она день-деньской в кустах да во ржах пряталась и ночью уж домой, в чем мать родила, пришла...

— У-гу! О-го-го! — ревела базарная толпа вослед Осипу Петровичу, а тот бросил и их, и лавку и чуть не бегом пустился домой.

— Парня-то срамотить жаль, а то бы я тебе, старый шут, не того бы еще наговорил! — сказал Степан Ильич. — А то еще учить поумней себя захотел.

Ядром эдаким раскаленным вкатился Осип Петрович в горницу. Стал в дверях и трясется весь; а в зале-то Глафира с мужем и свекровью сидят.

— Так ты, анафема, честный мой дом порочить вздумала, а? — с кулаками было на Гла-

фиру так-то жарко бросился он; а Иван Осипыч и загороди ее, да и говорит:

— Што такое, тятенька?

— Пусти! Я ей косы-то по-своему заплету! Капитан ее высек вчера.

— Нет, уж, тятенька, я ей косы-то сам заплету, коли нужно будет. И как вы, тятенька, даже удивляет меня это, сердиться таперь на нее можете? Ведь знали вы, кого мне на шею нацепить постарались?

— Пусти! Я ее убью! — кипятился Осип Петрович и сломить было сына попробовал.

— Напрасно, тятенька, руки трудите. Я — глава своей жены; меня этому в церкви духовный отец научил. Через вас вон маменька-то ополоумела... Другой вам без ума сделать не дозволю...

Долго смотрел на сына без обычного грозного слова Осип Петрович — и трясся. Лицо у него огненным сделалось, жилы на лбу напружились, глаза, налившись кровью, делались все шире и шире...

— Проклят будь же ты, сын мой Иван, анафема-проклят! — вскрикнул, наконец, старик, грузно рухаясь на пол, и в то время, когда его томили предсмертные параличные корчи, он все кричал, скрежеща зубами: — Отныне... отныне... и во веки веков... ан-нафема...

— Боже ты мой! — горькими слезами плакал в свою очередь Иван Осипыч, закрывши лицо руками. — Что же за житье наше такое за сладкое, боже ж ты мой? Не слезами ведь я в эдаком житье сладком плачу, а горячею кровью...

1861.

ЦЕЛОВАЛЬНИЧИХА

ИЗ ДОРОЖНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

I

Больной и измученный иду я по большой дороге—и вьется она предо мною бесконечно длинною лентой. Полдневное солнце палило мучительно голову, и ни одна мысль не могла войти в нее, хотя я и делал все усилия, чтобы подвинуть к деятельности мой мозг и тем сократить дорогу.

Бегло и без участия скользил взор мой по придорожным вешкам с пожелтевшими от жара листьями, и тоскливо напрягался он в даль, стараясь увидеть в дали этой версту полосатую. Не только души человеческой, даже птицы не видно было в это время в поле, даже жнецы запрятались от жара под тень сжатых крестцов и отдыхали там. Одни только кузнечики неумолчно звенели в опаленном солнцем овсе; неслыханной прежде птички, должно быть, уютно запрятавшейся в гнезде, голосок раздался — слабый, засыпающий голосок, и казалось, что все это: и поле, и хлеба, на нем посеянные, трава и дорога с пылью своей, от времени до времени вздымающейся к небу столбом-великаном, все это, казалось, страшно страдало. Голове моей воспаленной, глазам моим блуждающим казалось, что все это горит огнем нестерпимым, что мукой, неведомой людям, одержима природа.

Только одна страшная необходимость двигала вперед ноги мои. Неудержимо хотелось в то время лечь под тень вешки и спать. Но далеко позади меня остались люди, близкие сердцу, которым страданья мои должны были доставить возможное счастье. Не нужно мне особенно напрягать мое воображение, чтобы они представились мне как живые. Стоит только зажмурить глаза — и вот предо мной добрая, любящая сестра моя. Смотрит она на меня с своей приветливой, силы мои всегда воскрешающей улыбкой и говорит: «Иди. Я молюсь за тебя!»

За милость божью — итти с ней в это время рука об руку — все бы на свете я отдал...

И такова была напряженность души моей в то время, что страдания тела уже не томили ее. Полная каким-то сладостным, неотступно жаждущим и молящим о мире и счастьи чувством, парила она в бесконечное небо — и небо лило на нее свет свой, и в свете этом утонула она и предала забвению бренность тела и грубую подлость действительной жизни...

Великая тайна природы открылась тогда мне. Посреди этого недвижимого, ужас наводящего своим мертвым молчаньем пространства, осязательно почувствовал я присутствие той высокой божией деятельности, которая оживляет и умиротворяет душу человека, восстановляя в ней ее ослабевшие силы.

Нет места, в котором не проявилось бы могущество твое, бог мой! И для человека нет места, пустыни такой безжизненной нет, в которой бы он находясь мог сказать без ропота на благость твою: один я здесь!.

И я не один здесь, затем что вижу я, как — вон недалеко от большой дороги — солнце блистает на золотом кресте сельской колокольни, едва заметными точками вьются и мелькают около креста быстрые касатки — предвестницы грозы и дождя; а прямо предо мною из-за редкого леса, как будто навстречу, выходят деревенские крыши.

У дверей первого дома, где я остановился пить, бред мой прошел. Хозяйка дома, юркая такая баба, рожденная быть кухаркой у коломенского дворника, подперла кулаком щеку свою и жалобно смотрела на меня.

На конце деревеньки, в которой только домов с десяток и было, возвышался какой-то невиданный мною доселе пригорок, закрывавший собой небольшой пруд. Росло на этом пригорке несколько березок раскидистых и поразительно зеленых. Я уже собирался было итти туда, потому что, прошедши перед этим три степных губернии, редко, бывало, удавалось днем, в селе, выпроситься отдохнуть. Городской сюртук распугивал деревенских ребятишек, которые за отсутствием старших, ушедших в поле, остаются дома со слепыми бабками или с неподвижными от старости дедами.

— Ты куда же, красавик, собираешься-то? Ты вот отдохни возьми: в избе хошь, так в избе, а то бы на сенницу пошел, аль в сенях, может, хочешь? Ну, в сенях отдохни, — отдохни в сенях-то. Ишь, вить, рай у нас в сенях-то. Ни мушки, ни блошки, ни комарика.

Язык не хотел повернуться, чтобы сказать спасибо за ласку. Так ныло и страдало тело, измученное непривычным трудом. От глиняного полу сеней веяло такой освежающей, такой нежащей прохладой, что трудно было придумать в это время постель более удобную.

— Ты что же, касатик, так прямо на пол ложишься-то? Ты погоди, я вот тебе подушчонку подброшу, — подушчонки-то у меня, признаться, перовые — мякота! Я сама не люблю как-нибудь-то! Мягко спать-то люблю я, грешница! О-ох! Как нам на том свете за грехи-то наши тяжкие отвечать будет? А уж люблю, люблю, родимый, помягче соснуть!..

И она, действительно, подбросила мне какой-то блин в засаленной пестряди, который только самому живому воображению мог напомнить настоящую подушку, хотя и это было для меня такой роскошью, которой не знал я в продолжение почти трех недель.

Лежу я, а неумолчный язык бабы вызывает в душе моей страшную злость на нее, затем что мешает мне она отдаться тому сладкому сну, которого так жаждет усталое тело.

— Откелича идешь-то, голубчик? — звенит досадная баба.

— Из Саратова.

— Вишь ты, какие еще мудреные города есть на свете? Саратов, говоришь? А далеко он от наших местов?

— Не близко. Тысячу пятьсот верст от вас до Саратова будет!

— И-и, батюшки мои! Тысячу пятьсот! Вот махина-то. Иерусалим-то, стало быть, не в на-

шей стороне, а то солдатик один прохожий рассказывал мне, что до Иерусалима-то от нас только тысячу верст. А ведь дальше его, говорят, ни одного города нет. Там вон, солдатик-то говорит, за Иерусалимом-то — слышь?—и земля кончается, — там уж, он говорит, пошла вода одна да высь поднебесная. Ты не слыхал про это? Страшно, надобно быть, как там это вода-то около города ходит?..

— Нет, не слыхал, — ответил я мучительнице своей безжалостной. — Ты вот что, хозяйка, ты покуда оставь меня, — я сосну, мы тогда поговорим с тобой.

— Вишь ты, желанный ты мой! Намаялся, соснуть хочешь? Ну, спи со Христом, сосни, — оно тогда вольготней будет тебе итти-то. Холодком-то гораздо вольготней пойдешь. А ты вот что только скажи мне: ты из каких? Вишь, вон у тебя лицо-то не мужицкое, словно и руки-то, вишь, белые какие, не то что у меня: вишь ручишши-то! Ты из дворовых, что ли? Барин-то каков у вас? У нас вон у барина-то в усадьбе (видел, небось, усадьбу-то? мимо шел) так дворовые-то: мальчишки там, да оно и девчонки, все такие беленькие. Все в барина, — настоящие барченята, хоть известное дело: летом-то, по улице бегаючи, загорят немного, а все на наших детишек-цыганят не похожи. То ли уж от того это, что отцы их, а пуще матери от барина, значит, каждый месяц чай с сахаром получают. Да нет! Вот, вить, кажись, и сама я, грешное дело, самоварчик имею, так оно часто приходится с богомолкой какой, аль вон поверенные в кабак наезжают, так, значит, дашь

им самовар, а они чайком и попоют. А все как-то детишки-то мои не то, что дворовые. Те как картинки писаные, а мои цыганята-цыганятами... То-то я и спросила тебя: не из дворовых ли, мол, постоялец? Вишь, мол, белый какой.

— Нет, я не из дворовых.

— Так ты, значит, барин выходишь. Бумаги, должно, в суде пишешь? Так бы ты и сказал, — я бы самовар завела.

— После заведешь. Только ты уйди, пожалуйста. Я сосну немного.

— Спи, спи, родимый, Христос с тобой! Только ты послушай, что я тебе скажу: ты, должно быть, в Москву али в Питер идешь места искать? Пошли тебе бог, касатик, только не оставь ты меня, Христа ради. Ты вот послушай: ишь, жисть-то моя какая кромешная! Знаешь, небось, какие в людях мужики-то живут? День-деньской проработает да жене с детками спокой доставит; а у меня, несчастной, не таков муженек-то! На другой он на мне — слышь? — женился-то. Не за ним бы мне быть, кормилец, да выходит судьба-то моя такая несчастная. Всегда он у нас на деревне ледащим считался, — все бы, значит, в кабак ему только, и бородища-то у него, как первая жена умерла, уж индеветь начинала, а мне-то в то время только двадцатый годок доходил. Да вишь ты, сердешный ты мой, напасть-то какая на наш дом тогда навалила: с краснорядцем одним (провались он в тартарары!) и загуляй я. Ну, значит, девчонка у меня в то время случилась; а он, старик-то мой, присватайся за меня. Я туда, я сюда; а родитель у меня жосткий такой старик был (царство не-

бесное пошли ему, господи!), брови эдак как сдвинет, да и говорит: иди, говорит, за Андрея, а то с света сживу. Вот, кормилец ты мой, вышла я за него; а он возьми землю-то свою мужику и отдай. Он, говорит, подушное за меня будет платить, а сам я, говорит, мужицким делом заниматься больше не буду. Торговать, говорит, хочу, авось разживусь, так купцом буду. А какой он, ветер эдакой, торговец! Пойдет вон с молодыми поповичами али с писарями птичек ловить, сети там разные вяжет да свистюльки костяные вытачивает. А там скучится, ко мне придет, под руку что попадется, стащит да в кабаке и сидит. Вот его и торговля вся, а сам все на судьбу да на бесталанье свое жалуется. В разговоре таперича с кем-нибудь, ежели ему кто на несчастье свое пожалуется, так он сейчас и говорит: «Да ты-то что говоришь? Ты вот на меня посмотри: уж на что кажись, молодец, а ишь судьба-то лихая как доконала...». А какая, кормилец, судьба-то его? Жалуется только на судьбу-то, а она на него и глядеть-то не будет. У бар дело другое: там, пожалуй, и судьба; а у нашего брата-мужика, как я таперича, темная женщина, рассуждаю, судьбы-то и нет совсем... Вот я, кормилец ты мой, и маячусь с ним так-то восьмнадцатый год. Где мытьем берешь, а где катаньем. Сама третья, ты таперича возьми в расчет, прокормиться должна. Старика-то, ветра-то своего буйного, я уже и не считаю, а вот про дочек-то говорю, — невесты уж почитай.

— Так как же ты пробавляешься? — спросил я полусонный, но все-таки заинтересованный ее положением.

— Как пробавляюсь-то? Да я и сказать тебе не умею, как я пробавляюсь. Вот, примером таперича, прохожие идут: где, думают, чаю напиться? Спросят на деревне, их ко мне и пошлют. Самовар, значит, на деревне у меня один только и есть. Редкостная вещь, кормилец ты мой, за пятнадцать рублев я его у солдатика купила, с самого Кавказа, говорит, несу — тяжело стало, так продать захотел. Вот я с прохожих по десятке за хлопоты и беру. А там мужички (вишь вон напротив питейный стоит!) напьются в нем зелья-то своего, да ко мне, чаю, говорят, давай. Мы, говорят, все равно, как господа в городе, гулять хочем. Ну, чай — известное дело — трава дорогая, так я в этом разе смородинных листков али цикорию в городе куплю и оттоплю им. Таперича я тебе еще вот что скажу, вот еще каким манером деньга ко мне набегает: знаешь, вить, хоть бы таперича в питейном, всякий народ есть. Так иной деньжонки-то все пропустит там, да и одежонку-то стоющую-то, значит, мало-мальски, тоже с плеч спустит (целовальник стоющую одежонку завсегда возьмет, потому он за нее в городе всегда настоящую цену получит). А там, когда придет пора, когда душа с телом расстается, — опохмелиться, значит, затребует, а на грешном-то теле сапожишки одни али шапчонка какая, лет пять назад за три гривенника куплена. Так вить, целовальник-то такой дряни не возьмет. Ему с старьем-то этим возиться нельзя, — вот ко мне и несут. Ну, дашь ему на шкалик и возьмешь, значит, вещь. Пускай, мол, лежит — хлеба не просит. А там иной раз человеку по-

надобится что-нибудь, он и бежит ко мне, знает, что у меня все эдакое обиходное в залеже есть. Ну тут уж, значит, и пользуешься... Такими разами и обертываюсь я, горемычная, с девчонками своими. Все одно, значит, что сироты. Хоть и есть отец, да все равно, ежели бы его, словно худой травы на пустом поле, совсем не было. А матернее сердце ты еще не знаешь какое, сударик ты мой, потому молод. Уж о себе мать-то ни в жисть хлопотать не будет, а вот об дочушках-то хлопочу, их бы вот пристроить хотелось. Смотришь, смотришь ину пору, кормилец, на них: как это они, значит, в сиротстве-то да в убожестве своем время проводят, так сердце-то кровью у меня и обольется. Меньшая-то, значит, ничего еще. Вишь, вон девка какая. Здоровая, большая девка! Она у меня ко всякому крестьянскому делу приучена, ну, на улице, значит, никто ее не обегает, знают потому, невеста справная будет. А старшая-то, любчик ты мой (к мужу-то, значит, до закону-то какую я привела...), вишь, хилая какая. Ох, сердцу-то моему дорога, вить, она, любовный ты мой!.. Так я ее миткальному делу, все равно как на фабрике, сама выучила; а на фабрику не пущаю, потому там народ такой — шальной народ... Долго ль такому народу девку испортить? Вот, кормилец ты мой, мы с ней дома миткаль и ткем. А она все плачет да в город просится. Я, говорит, мамынька, господам служить буду,— потому, значит, что по хилости-то ее вниманья ей на селе никто и не дает: какая, дескать, жена она будет, когда таперича такие девки бывают, каких в гроб краше кладут. Не токма что

живые. Ну, известное дело: девичье сердце — ему это забольно, а мне и того больше. Вить, она, старшая-то, красавик ты мой, вить, она помянница счастью моему старинному — гульбе моей девичьей... Так ты вот что, красавик, для бога прошу. Придешь ты в Питер али в Москву, да местечко тебе господь милосердый пошлет, так ты барыне там што ли какой, ежели, то-есть, узнаешь такую (да как поди не узнать?), возьми да и скажи ей: вот, дескать, такая и такая девка у меня на примете есть. Не угодно ли, мол, вам, барыня-сударыня, эту, значит, самую девку в рабы к себе взять? Вот как она скажет тебе: давай сюда девку, так ты и напиши мне, а я ее и приведу. Признаться, девка тут у нас в соседней деревне есть, проживает она все больше в Москве, и теперь, все равно как барыня какая, в пышных эдаких платьях ходит и вот так же, как ты, из бумажки, значит, табак курит. Ну и заходила ко мне эта самая девка с приятелем своим чай пить, так я ей на свою беду великую и пожаловалась, а она мне и говорит: ты, говорит, дочь-то свою со мной отпусти. Чего, говорит, тебе лучше? Я в Москве, говорит, на барынь атласные башмаки шью, так и ее бы этому мастерству научила. А мне, кормилец, с этой девкой дочку отпускать-то больно не по нутру; греха, пожалуй, с ней укусить можно... Так ты, желанный ты мой, похлопочи об этом самом деле, господь тебе, и не увидишь, как за это милость свою окажет, а магарыч мой. Я сейчас самовар заведу.

— Хорошо, хорошо! Подожди самовар заводить. Я так, может быть, похлопочу. Только ты,

ради бога, сделай милость, дай мне уснуть, — говорил я хозяйке, предполагая, что она окончила свой рассказ.

Между тем, слушая рассказ этот, я находился в каком-то безотчетном, полусонном состоянии, так что слова хозяйки мешались в разгоряченной голове моей с бывшими прежде дорожными впечатлениями. Мне казалось, что будто все еще иду я по большой дороге, и рогатые вешки попрежнему смотрят на меня, ма́хая на прощанье как будто своими пожелтевшими ветвями; а звонкий голос бабы нестерпимо больно врезывался в уши мои с своей печальной историей про любимицу старшую дочь и про диковинный самовар. Страшно-мучительно было мне в это время сознавать свое бессилье; а баба все будто бежит за мной и все громче и жалостнее умоляет меня помочь ей пристроить к месту дочку ее ненаглядную. «Кормилец, кормилец ты мой,— будто бы вопит она, — барыне там в Москве какой-нибудь потолкуй про нее. Я тебя за это чаем сейчас напою...»

Потом виделось мне, что то место, за которым шел я в далекую столицу, получило какой-то уродливый, человеческий образ и побежало от меня со всех ног: я, говорит, боюсь тебя. Ты за мной, говорит, в Иерусалим ступай. Нам с тобой хорошо будет там. Сам я как будто соглашался с этим, потому что живо представилась мне тогда картина самого крайнего на свете города, нарисованная хозяйкой, около которого одно только беспредельное небо да одни только шумные волны океана неведомого и нигде не описанного. Как убитый спал я, и самым страст-

ным желанием горела душа моя — как можно скорее видеть это место, в котором так редким удается бывать...

II

Разбитый, умоляющий голос человека разбудил меня. Из клети, которая стояла на маленьком дворе, слышно было, как голос этот плутовски, но ласкательно говорил кому-то:

— За что я тебя люблю-то, плутина ты эдакая? Отчего ты никогда из старой головы-то моей не выходишь? Вить, уж знаю: не кормилица ты мне, вить, уж сколько я слышал, как это мать-то вам с сестрою советы дает — отца старого по шее от дома гнать, — пьяница, дескать! А вы бы с матерью-то посмотрели, каков я только человек есть. Я вот в степь, как ты таперича полагаешь, зачем хожу? Чему, чему смеешься-то? Ты погоди смеяться-то. Небось, вот как отец-то клад там отроет, бочек эдак двенадцать с золотом, ну, с серебром хошь, так вы тогда рады будете... А таперича в три рта всякому трубите: тятька наш пьяница, тятька наш, как парень какой малоумный, по ночам сети птицам на полях ставит, — да, вить, я и в степи-то про вас не забываю, все про вас думаю: а про тебя — душа вон сейчас выйди! — больше всех вспоминаю: эка, мол, какая у меня Параша разумница народилась!.. И вот ты слушай, Параша, хошь ты мне верь, хошь не верь, а я тебе вот что скажу: вчера на На́яновом бугре (знаешь, в соснечку-то?) в самую полночь клад я видал. Свечкой он, этта, да такой

светлой, таким, этта, огнем разноцветным так и горит. Я к нему; а он взял с сосны-то дерев через пяток перелетел, да и говорит мне (слышь?), человек ровно, и говорит: я, говорит, здесь лежу... Я было, этта, копать сейчас, да в Махонове (побери его притка лихая!) петух, стало быть, и закричи; а огонь-то возьми да и стухни. Уж тут не до перепелов мне было: всю ночь продрожал, и, вить, как, я тебе скажу, устал, так ты и не поверишь... Вот бы таперича, Параша, ты лихая девка была, если бы, значит, тово... У матери из сундука мне бы пятиалтынный сварганила. Да ты чему, чему смеешься, дура? На вино, думаешь, прошу? Глаза лопни, не на вино; а надо, значит, струмент такой купить — клад рыть. Эх-ма! Всю бы я тебя матерьем самым что ни есть лучшим завернул. Наших, мол, знай!! Во, дескать, как мы расфуфынились!

— Обманываешь, тятька! Ну, где ты таперича на деревне струмент купишь? Ты вон лопату возьми да лом у целовальника попроси, ну и копай, — отвечал молодой женский голос на убеждающую рацею кладоискателя.

— Дура, дура ты неповитая! Без тебя знаем, что лом да лопату нужно взять; а струмент само собой нужен, — без него никакое, значит, заклятье действа не будет иметь. Во что! Так ты, значит, ежели таперича любишь отца, так без разговора ступай к матери, ну, хошь попроси у ней пятиалтынный, коли сама взять не хошь. Она тебе даст, ты скажи ей: тятька, мол, заплатит тебе, клад, мол, на Наяновом бугре видел. Ты думаешь, я тебя в обиду матери дам, нет —

не туда глядишь! Чуть она что, так ты сейчас ко мне, я ей дам себя знать... А ежели таперича клад мне не дастся, так я сам уйду караулить — купец анамедни из города звал: я, говорит, тебе, Андрей, жалованья никакого не пожалею, потому знаю, говорит, каков ты человек есть — лихой как есть старичище ты, говорит. Вот как нас с тобой, Параша, купцы-то знают. Эх! Кабы не судьба-то лихая!.. Ну, иди же, иди, Параша! Я, бог даст, с купца получу, так не токмо пятиалтынный, а — ей-богу! — возьму в город пойду да платок тебе рубликов эдак в пяток и отцеплю. Ну, мол, понашивай себе на здоровье!

Звонкий хохот девушки, вероятно уже привыкшей к таким обольстительным обещаниям, был ответом старику. Быстро выбежала она от него из клети и бросилась в избу.

— Мамынька, мамынька! — смеясь кричала она. — Тятька на Наяновом бугре клад видел, пятиалтынный велел у тебя попросить — струмент, вишь, ему нужен какой-то...

Как-то особенно покряхтывая и поплевывая, в старой шляпенке, надетой, впрочем, набекрень, вошел в сени старик.

— Дура, как есть дура, — потихоньку ворчал он. — Ничего ты с этим бабьем путного не поделаешь. То ли бы дело мальчишка — сейчас бы сдул... Эх! судьба, судьба! И в детях-то ты счастья мне не дала.

В избе, где, вероятно, предполагали, что я все еще сплю, шел оживленный разговор про меня.

— Что он, должно быть, богу молиться идет? — говорил мягкий женский голос, не принадлежащий ни хозяйке, ни ее дочерям.

— Да я, признаться, кормилица, хорошенько его об этом не спрашивала, — отвечала хозяйка. — Я вот все его больше насчет Параши-то утруждаю, потому вижу: барин он, надобно быть. Ты вот глянь-ка, сапоги у него какие: вишь, голенищи-то какие длинные, а внутри-то вишь: вить, это сафьян! Надобно быть, дорогова вещь стоит. Ну, поэтому он барин и есть — небольшой, а барин. А насчет богомолья, на душу греха не возьму, не спрашивала.

— Тебе бы спросить надобно. Может, он просто в Москву идет или дальше еще куда-нибудь, — говорил прежний голос. — Тебе бы обо всем надобно его расспросить, потому на чужой стороне хорошо, должно быть, словцом перемолвиться.

И в голосе этом слышалось такое участие к человеку, занесенному на чужую сторону, так симпатично выразил он свое наивное предположение, что около меня повеяло чем-то как будто родным; дома, как будто, в родном семействе, показалось мне, что сижу я — и родные, ласковые лица окружили меня и спрашивают: на чужой стороне хорошо, должно быть, словцом перемолвиться?

Движение какое-то невольно сделал я. Быть может, я хотел посмотреть на эту женщину, сказавшую доброе слово; но муж хозяйки пришел ко мне в это время.

— Что, барин, устал?—говорит он.—Итти-то вить—не за столом сидеть да бумаги писать. Небось, ноги-то зудят? Ты бы их винцом порастер, — мы, пожалуй, сейчас сбегаем. Вас вить все научи...

Ради доброй мысли, сейчас только мною услышанной, я дал ему денег и попросил сходить за вином, рассчитывая тем, что останется от ног, угостить старика.

Самым сумасшедшим манером кто-то проскакал в это время по большой дороге и остановился близко где-то, должно быть, у кабака.

В тишине этой, которая обыкновенно бывает перед грозой, когда даже мухи засаживаются в запечные и потолочные трещины и жужжат как-то тихо и сдержанно, особенно громко раздался звук ямского колокольчика. Слышно было, как от судорожного вздрагивания остановившихся недалеко лошадей брянчала их медная сбруя и отрывисто звенел колокольчик. Молния ярко освещала сени, в которых сделалось очень темно; а тучи подходили все ближе и ближе, наводя на природу какой-то мрачный, ужасающий колорит.

Часто, как дробь барабана, полился дождь на раскаленную землю и потом вдруг перестал. Солнышко вдруг проглянуло, как будто хотело спросить у земли: не очень ли дождь холоден? И, должно быть, отвечала земля, что не холоден дождь, потому что опять полился он на нее еще сильней прежнего.

Неизвестный человек неистово заорал в это время под окном.

— Што ты, Сашка, все межудворничаешь? Ай дома делов нету-ти? Бельмы-то у тебя провалились, што ль: разве не видишь, Евграф Иваныч приехали? — И мимо меня быстро пробежала женщина в черном ситцевом платье.

— Батюшка, барин! Прости ты меня, ради бога! Глянь-ка, напасть-то какая случилась, — с жалобным хныканьем говорил вбежавший в сени старик-птицелов, показывая в то же время осколки разбитой посуды. — Только что, значит, вышел я из кабака, держу посудину-то в руках, да, признаться, грешный человек, и подумал: выпил бы, мол, таперича маненечко. Ну, думаю, барин-то, мол, хороший, кажись. Как, мол, не поднесть? Поднесет старику-то — да и осклизнись (грязь там на улице-то — вить дождик-то как наяривает), осклизнись я, значит, а посуда-то и разбейся... Кормилец ты мой! Ты, должно быть, к Сергию-Троице идешь? Так ты оттуда-то заходи к нам. Я тем временем припасу тебе, а таперича, право слово, денежки одной за душой нет. Я к тому времени с купца получу — сад, значит, караулить звал. Нас вить все знают здесь... Однава дыхнуть заплачу; а коли я, может, по своим торговым делам в город отлучусь, так с жены получи, я ей велю заплатить.

— Пьяница, пьяница ты беспутная! Ты думаешь, не видит барин, что ты ему глаза отводишь? Сколько уж ты посуды-то на своем веку перебил? Ай для эдаких разов нарочно осколки-то приготавливаешь? Вот как схвачу я их, бессовестный ты эдакой, да в старую харю твою влеплю их все до одного, так ты, может, перестанешь добрых людей обманывать. Плательщица за тебя жена-то? Духу твоего чтоб не пахло здесь, каплюга ты эдакая!.. Вишь, вот, барин, жисть-то моя какая кромешная, — промолвила она, исключительно обращаясь ко мне.

— Эх ты, судьба! — отчаянно махнув рукою, сказал птицелов. С азартом бросил он на пол шляпенку свою и повалился на скамью с очевидным намерением всхрапнуть часик-другой; а тут еще дождик накрапывает, тучи на небо ровно сумерки навели, так и зевается...

— Пошел! — забасил недалеко голос человека, находившегося, повидимому, на четвертом взводе, и неистово-залихватски, свища и гогоча, заорал на своих лошадей ямщик, и мне показалось, что злобно залился колокольчик: часто, мол, нашего брата беспокоют-то. Эдак, пожалуй, настоящего века не выживешь!..

Мне почему-то казалось, что это уезжал Евграф Иваныч — и действительно, девушка в черном ситцевом платье, которую по случаю его приезда так грубо неизвестный человек звал домой, опять вошла в избу.

Долго я смотрел на только что вошедшую в избу девушку, и казалось мне, что я давно уже знаю ее, — и обман этого представления был так велик, что сильно хотелось говорить с нею о трудности моей дороги, о месте, для которого шел я из-за тысячи верст, впечатления свои дорожные я хотел передать ей, думая почему-то, что это облегчило бы душу мою.

Смеясь ложному положению, в которое поставила меня впечатлительность моего воображения, я в то же время досадовал на самого себя за то, что не мог разрешить в себе этого, как мне казалось, обмана души, потому что лицо девушки дышало такой голубиной кротостью, прелестью какой-то воодушевляющей так было полно оно, что я слышал будто, как говорило

оно: расскажи мне все без боязни, потому что бог на то мне и дал добрую и светлую душу, чтобы разгонять ею мрак в других душах.

— Ты вот что, желанная, — говорила ей хозяйка моя: — ты вот останься с нами чаю попить. Я вот для барина-то самовар завела, потому, значит, он мне насчет девки-то похлопотать обещался.

— Эх-ма! Чайку-то и мы бы таперича попили, — отозвался птицелов из сеней, которому шум кипящего самовара не давал заснуть, разманивая его сладкой надеждой накатить себя горячей водой вплоть до горла.

Но ожидания старика были напрасны, потому девушка сказала в это время хозяйке:

— Ты закрой самовар, ежели сама пить не хочешь. Я у сестры спрашивалась чай пить их к себе звать. Только пойдут ли они? Вы пожалуйте к нам чай пить, — обратилась она ко мне. — Вы, ведь, странник, сестра велела мне, как ни можно, звать вас.

Хозяйка, вероятно, предполагала, что нашей милости обидно будет чай в кабаке пить; а потому сочла обязанностью из-за плеча девушки делать мне разные знаки, которые имели поощрить меня принять приглашение. Плутовски моргая глазами, она в то же время сжала ладонь свою наподобие стакана, поднесла ее к своему рту и делала вид, что она пьет из нее что-то такое, что доставляет ей невыразимое удовольствие.

Я не мог понять сразу, что означали такие сигналы, и вопросительно поглядывал на хозяйку, и уж тогда только выразумел, что она сулила мне даровое угощение, когда она выхва-

тила из своего кармана какую-то медную монету, выразительно показала ее мне и опять спрятала, чем как будто хотела сказать, что выпить там ты, дескать, выпьешь, а деньги твои все-таки целы будут.

— Пойдемте же, пожалуйста, — с какою-то особенной лаской говорила мне девушка.

— Иди, иди, барин, — юлила хозяйка. — Ты барышню нашу послушай, — она у нас барышня хорошая.

— Я и не думал отказываться, — ответил я девушке. — Я пойду с удовольствием.

И мы пошли.

— Што бы тебе, Саша, старика-то с собой захватить, — обратился к спутнице моей птицелов, разлегшийся на скамейке с комфортом, видимо, удовлетворившим его. — Свои люди — сочлись бы, — говорил он, прищуривая глаза с видом человека, желающего нравиться. — Сами бы тебя в случае нужды выручили.

— Ты уж находи клады-то свои поскореича, так я тебя тогда своим чаем-то напою; а к людям-то добрым навязываться бороды бы своей седой постыдился, — ответила хозяйка.

— Эх, ты, зверь лютый! — прошептал птицелов и с решимостью человека, увидавшего, что злой судьбы своей не переспоришь, растянулся во всю длину скамейки...

III

Одна сторона крыльца, приделанного к питейному дому, была завешана старым ковром, за который в старину, вероятно, много денег

заплачено было. Откуда и как попало в такую глушь это украшение барской спальни, трудно было решить. Иван ли несчастный какой, бросивший родимое гнездо вследствие барского азарта и собственной охоты к шатанью по белу свету, отдал этот ковер целовальнику за косушку и старые лапти; или старая барыня-приживалка, пользуясь суматохой, произведенной в доме смертью ее благодетельницы, запрятала его в свой всепоглощающий узел и на дороге из эдема продала его за бесценок, чтоб расчесться с грубияном-извозчиком? Капли только что переставшего дождя падали на ковер и смывали с него едва заметную яркость шелковых разводов, некогда украшавших его, и ветер без пощады шлепал его о столбы и перила крыльца.

Стол стоял на крыльце, а на нем самовар с необходимым чайным препаратом. Дым из самовара валил таким же густым клубом, какой валит дым из трубы паровоза. В дыме этом, как в тумане, рисовалась женская фигура, сидевшая за чайным столом. Под звон чашек, которые мыла и вытирала она, раздавался пьяный говор человека, до того закрытого дымом, что виднелись только лохмотья какого-то жалкого старого платья.

— Барыня, барыня, — жалобно умолял человек, закрытый дымом: — всего только вить двух копеек недостает! Прикажи шкальчик отпустить старику. Вить, я за вас на сражениях кровь проливал...

Глухие удары, как будто бы в грудь, послышались мне, — и, действительно, когда порывом ветра унесло дымные клубы, я увидал, что пред

целовальницей стоит личность, напоминающая и отставного солдата, и старого дворового, которого, за негодностью к службе, отпустили, как говорится, на подножный корм...

Стоит перед барыней старик, одну руку к ней протянул, а другою в грудь себя бьет.

— Отслужу, — говорит, — отпусти шкальчик за четыре копеечки. Рученьку, — говорит, — у вас поцеловать мне дозвольте.

Нет, — думаю я себе, — не солдат это: не станет за вино бабьих рук целовать, а непременно дворовый. Разжалобить хочет целовальницу, называясь солдатом, надеется обмануть ее бородой своей, долго не бритою.

— Проваливай, проваливай! Много вас тут по большой дороге шатается, — с негодованием тараторила фигура, сидевшая за столом. — Милости просим, садитесь-ка вот на скамейку-то, — прибавила она, обращаясь ко мне.

Это была маленькая смуглая женщина, которых так много в степных уездных городах и которые составляют их язву. Ни один муж, какого бы ни был он громадного роста, не смеет, как говорится, пикнуть перед ней в трезвом виде. Самая маленькая рюмка, пропущенная им, приводит ее в неизъяснимое бешенство, хотя она сама ничуть не прочь от такого наслаждения под тем предлогом, что вследствие своего несчастного замужества тем только и прогоняет от себя разные болезни, удручающие ее, что винца с калганчиком выпьет.

В праздник какой-нибудь, когда ни один живой человек не обходится без выпивки, непременно можно видеть, как такие персонажи под-

нимают с своими сожителями гвалт невообразимый. Все народонаселение городка собирается около жалкого домишка и смотрит, как мещанин, разбешенный неестественными приемами водки, вымещает на жене все ее гнусные претензии, которыми она тиранила его целую неделю, и как эта разъяренная кошка вцепилась к нему в волоса и замерла в них...

А потом все это с гиками и воплями мчится в полицейский дом подавать городничему явки и показывать ему раны свои, означенные в прошении смертельными.

И знают эти женщины до малейшей черты все, что бы ни сделалось в городке и даже в окрестных слободах, — какими-то непонятными путями проникают они в старательно закрываемую от них жизнь человека, занесенного злою судьбой в эту сферу, и неизбежно возмущают тишину ее своими пошлейшими соображениями относительно тех черт ее, которых они не успели еще открыть.

Такова была женщина, которую я увидал на крыльце питейного дома. С грациозностью крепостной мамзели, получившей, по случаю двадцатисемилетия, вольную от холостого барина и живущей теперь на своем отчете, подала она мне гигантскую чайную чашку и весьма деликатно извинилась в том, что не может представить мне никакой закуски, по тому собственно случаю, что в деревне ничего эдакого скусного достать невозможно.

В первый раз я так близко сошелся с особой такого сорта. Имевши несколько случаев видеть их издали, мне всегда хотелось посмотреть на

них вблизи, и потому, чтобы заставить ее говорить не стесняясь, я принял на себя роль молодца, служащего в земском суде, с шиком стукнул громадными закаблучьями моих ратницких сапогов и довольно густым басом проговорил:

— Сударыня, за честь почту. Не беспокойтесь!

— Можно вас просить водкой? — спросила она.

— Можно-с, — ответил я: — просите, — и она вытащила из кармана посудину и яйцо и подала мне, предоставляя самому распоряжаться этими продуктами.

— Рюмочки нет ли-с? — спросил я. — Такого количества по болезни употребить не могу-с.

— А я, признаться вам сказать, — улыбаясь, говорила целовальница, — как теперь, примером, в деревне нельзя, значит, никаких удовольствиев найти (потому народ все дикой-с), так от скуки люблю этим заняться.

И она щелкнула пальцем по опорожненному стакану.

— У меня тоже-с портной есть знакомый, вот так же-с охоч-с; а человек образованный и мастер отличный. Нельзя, впрочем, мастеровому человеку и не пить-с, потому участь его такая-с, — глубокомысленно заметил я.

— А за меня, скажу вам, много чиновников сватались, тужу, что не пошла-с, потому как я женщина откровенная и политику знаю, чрез мужа своего очень несчастна. Одно слово: мужик — от сохи взят на время. А тогда барыней бы, может, была.

«Грабьте больше с мужем, — думал я, — а потом откуп возьмите; вот оба тогда господами и будете...»

— И вот об ней, об сестрице, тоже скажу: отбою нет от женихов — и купцы, и чиновники мимо нашего дома в городе (когда жить там случается) так и шмыгают, да не урезонишь никак ее по сердцу себе выбрать. Хлеба (бога покуда не гневим) для ней не жалеем, да по родству жаль, потому по себе знаю: девичье сердце по суженом сохнуть должно. А побожьему сказать, так тысяч двух на разживу молодым не пожалели бы, если бы человек нашелся хороший и ей по нраву. Ну, и дом тоже за ней отдадим (сот семь, а то и все восемь непременно стоит). Потому, знаю я, брат в него не вступится; для него, при его мастерстве, новый себе выстроить плевка стоит; а нам не нужно: мы с мужем, — хоть часть-то наша питейная нынче больно плоха стала, — одначе-с, с божией помощью, как-нибудь себя-то прокормим.

— Напрасно, сударыня, желающих осчастливить не изволите, — отнесся я к девушке, которая привела меня в гости. Признаться сказать, идеальничанье мое относительно ее стало уже выходить из моей головы потому, что личность сестры ее, ее старанье пустить мне, как говорится, пыли в нос давали мне некоторое право припомнить себе пословицу, что, дескать, яблочко от яблоньки далеко не откатится, и я просто-напросто начинал подумывать о разных, обыкновенных в уездных городах, историях, гласивших о добрых молодцах, которые

любили при случае выпить на чужой счет и которые, вследствие этой наклонности, совершенно неожиданно находили себя счастливыми супругами и еще счастливейшими отцами семейства, так сказать, благоприобретенного.

Но в это время я подметил на лице девушки какое-то грустное выражение, вследствие чего мне стало совестно моей пошлой фразы, и потому, не покидая, впрочем, прежнего тона, я сказал ей:

— Женихов, равных вам, в вашем городе, я думаю, найти невозможно, сударыня?.. Я вот в Москву буду, так графчика какого-нибудь свататься за вас оттуда пошлю.

Целовальница поощрительно засмеялась моей остроте и чихнула.

— Правду, должно быть, — ответила целовальница, — сказали они сейчас, тут же вот и чихнула я. Будем теперь графа ждать.

— Напрасно они так говорят, — ответила девушка сестре: — потому, как я теперь рассуждаю, никакой граф свататься за меня не будет; да и их ехать к нам не послушается.

И я видел, как на долгий взгляд мой, просивший у ней прежней ласки и примирения, ответила она мне тою ясной кротостью взора, которая так необыкновенно поразила меня при первой встрече с нею.

Сам целовальник вышел в это время из капища своего, заспанный детина такой. На длинном, рябом лице его просвечивалась удаль какая-то, уснувшая, впрочем, теперь, и трудно было определительно сказать, могла ли когданибудь пробудиться удаль эта, или она уже так

заснула, чтобы никогда не просыпаться ей. Редкие волосы его, поседевшие прежде времени, давали право предполагать, что жизнь его прошла не без тревог, если б только можно было отвергнуть то обстоятельство, что русые молодцовские кудри не могут просто-напросто побелеть от раннего и частого купанья их в водочном море...

Не знаю, что заметила в нем целовальница; но улыбающаяся физиономия ее вдруг изменилась.

— На минуту на одну нельзя одного оставить! — затрещала она с азартом. — Хватил уже!

— Молчи! — прошипел целовальник.

— Нечего молчать-то, — кипятилась она. — Ты предо мной молчать должен: знаешь, место-то кому дадено?..

— Мол-лчи, — прохрипел муж, как злая, на короткую цепь привязанная собака. Девушка, как мне показалось, хотела было встать и уйти.—Куда?—заревел целовальник. — Барыня, што ль, ты какая, — на пьяного зятя смотреть не можешь? Морду разобью! Здесь сиди!..

— Бесстыдная, бесстыдная рожа твоя! Ты бы хошь при чужих людях-то постыдился! — резонировала целовальница.

— Мол-л-чи, змея! Знаю. Терпенья мне, барин, с ними нет никакого, потому, все равно, как змеи какие, поедом съели меня. Вот ужо я вам задам звону! Долго будете помнить! Папироску мне пожалуйте, не курил долго.

Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы к крыльцу не подбежало в это время двое мужиков. Радостью сияли эти мужики...

— Слухай, малый, статья какая знатная приключилась, — кричал один из них, обращаясь к целовальнику. — Подавай только таперича, — упоштоваться во-как должны! Слышь, прасолы уманские гурт в Москву гнали. Пьяны што ль они нарезались, волк их зарежь! Только скотину-то свою по хлебам и распусти; а мы и нагрянь, да двадцать пять целкачов и слупили с них за потраву. Во-как! Подавай таперь на все, — наши сейчас привалят!

Темно уж было. Месяц как будто украдкой смотрел сквозь густые ветви вешек, росших на противоположной стороне большой дороги, и мирно отдыхала земля, охлажденная недавним дождем.

Неприметно юркнула в кабак целовальница, и на улице слышно было, как звонкий голос ее покрывал собою бурные речи мужиков. На крыльце остались только я с девушкой да самовар, все еще продолжавший петь свои непонятные песни.

И видел я, как временный хозяин мой, птицелов, прошмыгнул в кабак, в шляпенке своей, надетой набекрень, по своему обыкновению покряхтывая и поплевывая, за ним юркнула (из травы придорожной как будто бы выросла) личность, смахивающая и на отставного дворового, та самая, которую видели мы в начале главы.

— Скажите: зачем вы с моей сестрой таким толстым голосом говорили? — спросила у меня сестра целовальницы. — Вы давеча, как я вас в первый раз видела, вовсе не так говорили.

— Скажите мне прежде, — ответил я: — вам, полагаю, здесь хорошо жить; а если не хорошо, отчего вы не едете к брату вашему в город?

— Отчего это думала я во все время, как вы здесь сидите, что вы меня об этом спросите? — говорила девушка как бы сама с собою. — Я вам теперича вот что скажу: и отсюда, и от брата из города, если меня туда отвезут к нему, я убежать хочу, потому сил моих нет!

— Отчего же?

— Нет, вы слушайте, что я вам только скажу: я давеча видела, вить, как вы в сенях-то спали. Только я и говорю себе: все им расскажу. Может, думаю, не полегче ли мне будет от этого? Видите вы, жисть-то моя какая здесь: за что он кинулся на меня? И сестра опять: вить, она на словах только... Нет! Как, бишь, это давеча думала я говорить с вами, забыла совсем, — продолжала девушка с очевидным напряжением высказаться. Затем продолжала она почти шопотом:

— Я вам одно скажу: душа у меня очень болит, потому меня никто не любит здесь, и мне любить некого. Зять, скажу я вам, часто больной от запоя лежит: пойдешь это к нему, и, кажись, сама бы легла на его место, только он бы встал. Так нет, закричит сейчас: уйди, говорит, вишь, ужалела!.. А чего он не верит-то? Разве я ему зла могу пожелать! А то вот еще (только вы не смейтесь надо мной, пожалуста): вы вот в Москву идете, возьмите меня с собой, ради бога, потому (я бы вас любить стала за это) человек там у меня знакомый есть — посмотреть хочется.

К самому уху моему наклонилась она, чтобы прошептать мне последние слова своей просьбы. Голову свою наклонила она на мое плечо и

с тихими, но истеричными рыданиями шептала мне: «Возьмите, возьмите меня с собой, я бы хоть на могилу того человека взглянула»...

— Маменька, когда жива была, так мне с ней хорошо было, потому я с ней говорила все, что хотела, и уж большая была я, а она возьмет меня к себе на колени посадит да сказки и сказывает. Ну и хорошо было тогда, а теперь, видите, брат у нас был (уж и хорош же покойник был — высокий, черноволосый такой), обручница у него возьми да умри; а он и запил. Да как запил-то? По целым неделям, бывало, домой глаз не казал; а когда придет, так каменной ровно, обопрется руками об стол, да ни одного слова ни с кем во весь божий день и не вымолвит, — тосковал; а как просидится — в трактир или в кабак сейчас опять и уйдет. Не хочу, говорит, непьяными глазами на божий свет смотреть. Ну, однажды на берегу, в траве и нашли его: волной, значит, выбросило, — илом это всего занесло. Очень мы с маменькой убивались по нем: только я-то на грех жива осталась, а она после братниной смерти на третий день убралась. Хорошие люди-то богу, как я теперь вижу, завсегда надобны, потому всех их он к себе собирает. Да и как умирала-то? Святая ровно! Плачет, плачет, бывало, да потом вдруг и начнет говорить мне: «Умереть мне, Саша, ох как не хочется! Одну тебя сиротой на этом свете тяжело покидать, а вынесть никак не могу. Прощай, Саша! А ежели, — говорит, — тебе бог горе какое пошлет, так молись ему пристальней!..»

А там, в кабаке, своим чередом своя драма игралась.

Место за прилавком было пусто, потому что целовальник закатывал в присядку под бойкую песню знакомца-птицелова. Сидит этот злою судьбою гонимый старик на винной бочке и, присвистывая и пристукивая, извещает публику, что

А и нет у нас такого молодца,
Как Андрея да Мироновича!

— Эх-ма, — говорит,—про себя песню играю, потому знаю я, каков я человек есть. Слухай, честная компания: вишь, как есть старичища, вить, я, а получше целовальника завсегда выходить могим. Держись, длинный, — закричал он целовальнику, и начал старичина прямо с дроби, приговаривая: — вот так-то мы в старину-то! — Потом, изменив каданс и пляски и поговорки, закатил ту, во ужас сердце приводящую, присядку, за которую всякому удальцу, отличившемуся по этой части, благодарные зрители всегда говорят эти многозначительные слова: «Спасибо, милый ты человек, — разуважил ты нас, чорт тебя забери, подлец, до отвалу»...

Целовальница тщетно уговаривала своего мужа перестать безобразничать.

— Ступай спи, — говорила она ему, — любезное дело сделаешь.

— Молчи! Сам знаю, — запальчиво отпихивал он ее и продолжал состязаться с птицеловом, твердо, повидимому, убежденный в том, что, так сказать, идея, за которую стоял он, требовала от него или блистательной победы, или, по крайней мере, славной смерти.

— Не мешай, мать, — говорили. — Вишь, дока на доку наехала!..

— Вы туда смотрите? — спросила меня Саша. — Вам это в диковинку, а я присмотрелась уж. Сначала, не поверите вы мне, как я жалела об них, инда сердце защемит, бывало, как они это перепьются да образ человеческий потеряют. Что я только делала тогда, дура я эдакая! Смотрю, смотрю я, бывало, на них, в чулан возьму уйду да богу там и молюсь, чтобы он беса от них отогнал... Вы думаете, не бес это в них сидит? Маменька-покойница, я помню, как говорила, что в пьяном человеке завсегда бес сидит. И за что мне жалеть их? Вот они теперича зятя с сестрой в соблазн ввели, так они, может, целую неделю пить будут, потому оба в запое... Часто это случается, так я знаю уж: придут завтра ко мне и в долг станут вина у меня просить — поправиться чтобы... Сколько уж я зарекалась им вино в долг отпускать, потому не получишь после, и надо мной же смеяться все будут: дура, говорят, ленивый только ее не надует; а не могу, потому душа разрывается, как это с похмелья трясутся они да Христа ради умоляют душу отвесть. Жаль станет их — и отпустишь; а зять проспится, недочет на полках увидит, так еще прибьет наприбавок.

— Ох, умереть бы мне лучше! — сказала она: — потому переносить не могу, как это меня бьют и ругают, когда я же им добро делаю. Тошно делается мне тогда, так волосы на себе все бы и вырвала — и уж тут не только что за них, а за себя, так и то долго богу-то молиться я не могу, потому зло берет...

— А истинно это: помолишься когда, так забудешься ровно, покойнее как-то на душе делается. Да, вить, что же? Вить, на день успокоишься-то, на два так много уж; а вы вон туда посмотрите, — сказала она, указывая в отворенную дверь кабака. — Я, вить, почитай, каждый день пьянство-то вижу: придут это они, напьются тут, ну, все меж собой друзьями и приятелями сделаются. Долго смотрю я на них иной раз и вижу: без хитростей говорят они тогда меж собой, — всякую злобу друг на друга забывают. Вот и я так хочу, потому, может, и мои думы рюмка разгонит...

— Про такое дело-то я вам вот что скажу: когда мы еще в городе жили, так у нашего соседа чиновник один на фатере стоял (из Москвы аль из Питера прислан был в наш город — не могу сказать), только, господи, как он это запивал здорово! «Как это вы, — спросила я у него однажды, — умный такой человек и завсегда запиваете?» — «Другому бы не сказал, но тебе скажу, потому вижу: умная девка ты. (Ей-богу, он только да мать в целую жизнь одни меня умной считали). Вот отчего запиваю: счастья, — говорит, — в жизни ни разу я не видал, а посмотреть, что это за птица такая, очень хотел бы. Удачи, — говорит, — нет ни в чем, — понимаешь? Вот теперича родных у меня, где бы я корни свои попросторнее мог распустить, ни одного нет; а из чужих-то по сердцу себе никого не нашел, да, должно быть, и не найду. Так вот мы теперь, — говорил он, — барышня-сударышня, корни-то эти, простора-то какие просят (понимаешь?), — мы их штукой вот этой — вод-

кой-то живой — и подсекаем». Сам он мне это говорит и смеется, рукой своей шею мне обнял. «И тебе, — говориг, — при случае это пригодиться может; а мы, — говорит, — рады доброго человека завсегда на ум-разум наставить...»

— Вот и мне также корней-то своих, как этот чиновник, не подсечь ли? Видите, живой воды-то сколько? Не занимать стать, — говорила она, улыбаясь, и странно мне было видеть и слышать, как в это время вместе с выражением лица ее изменился у ней и самый образ выражения мыслей. В грустной позе ее видел я глубоко-оскорбленное чувство прекрасной природы, а в тоскливых жалобах ее слышались мне жалобы души на нищету да на бедность земную.

Тоном драматической артистки, глубоко изучившей роль свою, тихо и задумчиво говорила она:

— Правду, должно быть, барин-то говорил! Все равно теперича я что дерево какое-нибудь. Какое бы оно выросло большое да зеленое, ежели бы на него в пору солнцем светило да в пору дождем поливало! А то нет, вить: лес это дремучий окружит его со всех сторон, деревья сучьями своими прикроют его отовсюду, так его ни дождь не пробьет, ни солнышко не увидит — и хилеет оно до тех пор, пока не сгниет совсем.

— Только, вить, то дерево бесчувственное. Сердце-то у него не болит, вить, как у живого человека болит оно, когда он видит, что смерть притти-то пришла к нему, а счастья-то он своего еще не видал и не знает совсем, что это

за птица такая, — продолжала она, копируя слова своего знакомого чиновника, которые, как заметно было, произвели на нее сильное впечатление. — Не знаю только сама, что говорю я, потому разве можно человека с деревом равнять? Разве дерево, когда ломаться начнет, будет у кого-нибудь спрашивать: зачем же, дескать, росло-то я здесь? Никто, вить, в лесу-то дремучем ни разу и не взглянул на меня. А я-то думаю об этом завсегда почти, душа-то у меня за каждый день об своем горе тоскует, потому добрых слов от добрых людей ни разу, почитай, не слыхала!.. А вы видели добрых людей? — вдруг спросила она у меня.

— Видел.

— А слова добрые от них слышали? Такие слова, какие бы (как бы это сказать-то вам?), ровно солнце, душу вашу согрели, счастье на целый день принесли бы вам.

Вспомнил я в это время тот добрый и вполне человеческий круг, в котором суждена мне была высокая честь вращаться некоторое время, — людей этих пылких, смотревших прямо в глаза каждому, вспомнил я и, одушевленный прекрасным представлением, ответил ей:

— Слышал. Знаю людей я, — говорил я ей, — которые горю другого сочувствовали и помогали как своему горю; слова от них такие я слышал; когда я вспоминаю об них, душа моя как будто бы видит их, и если со мной в это время несчастье какое бывает, так при воспоминании об них я его забываю...

— А я-то, я-то когда ж увижу того человека, на какого смотрела бы я и обо всем забы-

вала? — воплем страшно болезненным, из самой глубины души как будто бы вылетевшим, ответила она на слова мои и зарыдала...

— Выдь, выдь на свободный воздух-то, выходи поскореича, а то там тебя пуще духом-то винным в голову бьет, — говорил мужик, вытаскивая из кабака кума, находившегося в решительном сумасшествии.

— Эх ты! Уж и хорошо же только, братцы мои! — дискантом каким-то завывал несчастный, махая руками и неестественно выдвигая вперед грудь; а потом лицом в траву, опушавшую вешку, упал он и смеется, — рад, что до чертиков напился...

— Слышите: вишь, вон гуляет. Хорошо, говорит, ему. А чем хорошо-то? Вить, я знаю: семья-то у него теперь на одном мякинном хлебе сидит. Забылся он, — вот ему и кажется хорошо. И мне бы так забыться, хошь бы один день в жизни без муки прошел.

— Да што ж это говорю-то я? — продолжала она, как будто пораженная внезапною мыслью. — Забыться-то мне никак невозможно, потому вещь не такая... (Не хотела было, право, рассказывать вам, — стыдилась все, а теперь расскажу, потому вытерпеть не могу...) У дьякона нашего в городе сын был, в губернии он там в семинарии учился, — умный такой! О Рождестве, сказываю вам, брат — портной-то — вечеринку и вздумай сделать — и, вить, чливый такой он у нас, так всех это приказных к себе и созвал: хочет, значит, штобы с одними господами знакомство водить; потому, говорит, сам я в коротком платье хожу... А на Рожде-

ство-то семинаристы все домой приезжают, так он и их притащил — и сын-то дьяконов тоже пришел. Только вижу я: все это кавалеры такие смелые, смеются, с барышнями заигрывают и водку пьют то и дело; а он сидит себе и в разговор ни с кем не вступает. Подруги подходили к нему сами на мятелицу звать, так он пуще их закраснел, — сконфузился и не пошел: не умею, говорит...

— Приказные вслух смеяться над ним зачали: кутейник, говорят, обращенья никакого политичного не знает, — а товарищи его выручать, надо быть, хотели: гитару ему братнину дали — сыграй, говорят. Долго он тут на гитаре-то играл, и таково хорошо играл — в жисть мою никогда не забуду!..

— А тут в фанты и начни мы играть. Ему и досталось исповедником быть. В особенную комнату отвели его, свечи там загасили, и стали ходить к нему исповедываться поодиночке — и кавалеры, и барышни.

— Вот мне очередь итти к нему и приди — и не знаю сама, отчего это мне стало страшно тогда... Вхожу к нему, а он стоит у печки и папироску курит. Спрашивать ему надобно было, в чем грешна я; а он бросил на пол папироску, стоит повесивши голову да молчит... Господи! Вот уж до сих пор узнать не могу, что меня толкнуло к нему: на шею упала я к нему, заплакала и говорю: любить меня будете? А он мне и шепчет: я давно, говорит, вас люблю, никому не говорил только...

— Как же мне забыть его? — говорила она, наклонившись к плечу моему. — Три раза тем

годом виделись мы с ним — к отцу гостить приезжал. Уж и как же только ласкал он меня — ввек не забыть! Цветком все звал, — подожди, говорил все, курс окончу, так женюсь на тебе, — всего один год остается!

— Вот, вить, правду, должно быть, люди-то говорят: против судьбы не пойдешь. У бога, надо быть, в книге записано, чтобы счастья мне с ним не видать. Кончил он в губернии ученье-то свое; а начальство в Москву его доучиваться и пошли, а он там два года пожил да умер... Бог его к себе взял, чтобы счастья мне с ним не знавать!..

— Куды, куды к морде-то лезешь? Сами сдачи дадим! — неистово ревел птицелов в кабаке.

— Раз-з-зобью! — гремел в свою очередь целовальник. — Жены моей поносить не смей.

— Вишь, важная штука жена у него. Не утаишь шила в мешке, завсегда оно вон вылезет. Не знаем, думаешь, зачем Евграф Иваныч к тебе ездит? Вишь, управляющий с ним знакомство свел, — с свояченой он твоей знаком-то, по чьей милости ты на месте-то держишься!..

— Не верьте, не верьте, — с страшным раздражением шептала мне девушка. — Это врут они. Они человека ни за што завсегда опорочат.

— Не смей девку трогать, — в пррах расшибу!

— Налети — счастья попробуй. В землю сразу вобью. Даром, что ты осина такая длинная уродилась, а в землю вколотить тебя с одного кулака завсегда возьмусь. Небось, и сестра твоя

распутная с Евграф Иванычем своим не найдут тебя там...

— Господи! Умереть бы мне!..

— Богу молитесь! Помните, как мать-то ваша вам говорила.

— Буду, буду молиться; только не верьте вы им, ради бога! — и она быстро убежала от меня в сенной чулан.

К квартире своей пошел я. Месячным светом залита была деревенская улица, и полночная тишина невозмутимо царила над ней.

Боже! В души больные моих страдающих братьев тишь бы такую ты посылал...

1861

СТЕПНАЯ ДОРОГА НОЧЬЮ

I

Пора была самая глухая; сено скошено, рожь сжата, а до уборки проса, овсов и гречихи было еще далеко. К тому же был какой-то большой праздник, чуть ли не Успеньев день; следовательно, народу на проезжей дороге совсем не было.

В воздухе ощутительно распространялись прохлада и тишина наступающего вечера. Маленькие птички, не видные во время зноя, теперь замелькали по степи, тогда как самая степь постепенно облекалась в какую-то необъяснимую, мрачную тайну, обыкновенно примечаемую в природе, когда, утружденная жизнью дня, она отходит к ночному покою.

Таким образом поля и дороги, и вешки — все это глубоко задумалось в своей обычной вечерней думе, между тем как и с высоты неба, и из самой глубины непроницаемой дали веяло на вас каким-то едва слышным шорохом, сыпалось и неприметно вливалось к вам в душу что-то в высшей степени сладостное и томительное — и виделось вам, что все это будто бы закрывает собою природу, сообщая ей то особенное выражение, какого не увидите вы в ней никогда кроме вечера.

На левой стороне дороги, по которой шел я, протекал Дон. Бесчисленными огнями сверкало в его волнах догоравшее зарево; а за ним так

привольно расстилалась луговая, низменная сторона, зеленея раздольными покосами и пестреясь неоглядными запашками. Изредка даже и ко мне на большую дорогу заносило ветром тонкий звон колокольчиков, привязанных к жеребятам, и крики сельских ребят, которые их сторожили.

Пугаясь этого мрачного молчаливого пространства, особенно тоскливо ныла душа моя и желала встречи с живым человеком; но как ни напряженно смотрели глаза, ни человека на дороге, ни крыш деревенских изб вдали не показывалось.

Совсем свечерело. Заблагоухали травы и деревья, покрытые обильною росою, загорелись звезды на совершенно безоблачном небе, а на всем видимом протяжении Дона клубилось какое-то седое, неопределенное облако, ярко освещенное молодым месяцем. На востоке постоянно один и тот же угол неба резала, как обыкновенно называют ее в селах, сухая молния.

Ничто на этот раз не нарушало молчания ночи, только что разве сонного грача шагом своим испугаешь, так он каркнет, с одной вешки на другую перелетит, да там на целую ночь совсем уж и останется.

Вдруг позади меня раздался едва слышный скрип колеса. Я обернулся и начал присматриваться. Не далее как в четверти версты от меня спускалась с горы телега, в которую была запряжена слон-лошадь, так называемая купецкая. Грузно ступала она по туго убитой дороге, побрякивая медными бляхами своей наборной сбруи.

Рядом с телегой шли кто-то двое. До меня доносились их голоса, но я не мог ни расслушать того, что говорилось, ни ясно рассмотреть самих говоривших. Я закурил папироску и сел ожидать их.

— И у этого, малый ты мой, римского папы все цари ненашинские под началом находятся,— с расстановкой говорил один из подъезжавших ко мне. — И этот папа, как теперича об нем в книгах написано, не то штоб стар, не то штоб молод, а годов ему, свет ты мой ясный, ни мало, ни много — всего-то две тыщи. Месяц взойдет молодой — и папа молод, месяц к концу — и папа стареется, и так (сказывают вон, историю-то кто читал) до самого конца мира и смерти ему не будет. Вот што!..

— О, господи! — послышалось в ответ на историю о римском папе.

— Да! Вот ты с ним с таким-то и совладай поди!.. А вот войну прошлую, помяни ты мое слово великое, по его науке французы с нами затеяли, потому он Россию не любит — веры она не его. Истинно!..

— А Бел-Арап? — спрашивал встревоженный голос.

— Бел-Арап што? Ты Бел-Арапа не бойся. Воевать он на нас не пойдет, это я тебе верно сказываю, — да когда? Ты вот о чем посуди. При последних концах он пойдет воевать — вот когда, с антихристом вместе! Так и в писании сказано: лицом черны и зверообразны, аки мурины эфиопстии...

— Говорят, уже народился антихрист-то?

— Это точно. Тридцать годов уж прошло, как народился, и держут его за двенадцатью дверьми и за двенадцатью замками, а держут его те замки и те двери потому, как млад он очень таперича есть; а как возмужает, так двери и замки он сразу расторгнет, расторгнумши, уж на народ бросится; а дожить нам, грешным, до той поры лютой не приведи господи.

Наконец говорившие подъехали ко мне. Один из них был еще молодой парень, весь обсыпанный мукою, а другой — старик. По его широкому синему халату и по старой пуховой шляпенке я принял его за духовного. Действительно, как оказалось, это был сельский дьячок.

— Бог в помощь, земляки! — приветствовал я моих новых спутников.

Они подозрительно осмотрели меня с головы до ног. Короткий сюртук мой, очевидно, привел их в большое недоумение относительно законности моего пребывания на степной дороге в такую позднюю пору.

— Откуда бог несет? — спросил меня старик.

— Да вот из Данкова иду. Тяжело на жаре стало итти, — ночью-то, думаю, не полегче ли будет?

— Знамо полегше ночью-то будет, — подтвердил мои слова белый парень. — Што это у тебя в зубах-то, любезный?

— Курево такое — папироской зовут.

— Дай попробовать, брат, што-то хитро она сделана-то.

— Поди с табаком она? — спрашивал старик. — Не приучайся к этому, голубчик. Грешней табаку, я тебе скажу, ничего на всем свете нет.

— Какой же тут грех? — полюбопытствовал я.

— Што ж это вы в городском сюртуке ходите, а грамоте, надо думать, не знаете?

— Нет, благословил бог, грамоту знаю.

— Ну, так книг божественных не читаете. А в книгах прямо говорится, кто табак-то посеял. Чорт его, для людского соблазна, на блудницыной могиле посеял. Вот кто!

Между тем белый парень долго и сомнительно повертывал папироску между пальцами, улыбался чему-то, глядя на нее, курнул, наконец, и возвратил мне.

— Што? Ай не духовито? — спросил я.

— Духовито оно, духовито, да не забористо, — объяснил парень.

— А по-моему, чревобесие это выходит одно... — заключил старик.

Наконец белый парень вспомнил будто что-то и торопливо стал нас приглашать садиться к нему в телегу.

— Пошагистей поедем холодком-то, — говорил он. — Хошь бы улицу для праздника застать, — разошлись поди.

— Да хошь и не застанешь, еще тебе лучше: соблазна не будет, — заметил старик.

— Хорошо это тебе говорить, — вспыльчиво возразил белый парень. — Неделю-то целую работаешь, рук не покладываешь, а тут еще и улицы не застань. Оно, пожалуй-што, куда складно слова-то у стариков выходят, когда они об соблазне толковать начнут, а сами, небось, тоже в старину-то не очень на соблазн-то глядели.

— Это ты верно про стариков говоришь; но плоть свою усмирять тоже должен, дабы власти над собою врагу не давать, — продолжал резонировать старик.

— Нечего ее усмирять-то! И так она у нас, небось, не очень-то разыгрывается. Я вот, двое-то суток на мельнице бымши, может, двумя фунтами одного сухого хлеба продовольствовался, — так уж какая тут плоть будет?..

— Сам виноват! Отчего больше хлеба с собой не взял?

— Отчего? На пол-дня всего ехал-то, а мельник (провалиться ему!) двое суток меня продержал. В сердцах они с хозяином моим, так вот он меня и продержал. На-ка, дескать, посмотри, какую я над твоим хозяином власть большую имею.

— За што ж они в сердцах-то?

— Поди разбери их! Первое дело: мельник у нашего дочь за сына сватал. Не отдал наш-то: я, говорит, дочь свою за мужика отдать не намерен; а отдам либо, говорит, за попа, либо за приказного, — потому из вольноотпущенных он у нас, и живет как есть на барскую стать. А другое дело: вздумали у нас церкву строить; а хозяин-то мой с мельником первые, стало быть, насчет деньгов обыватели во всем приходе. Вот мироеды и доложились к мельнику прежде: сколько, говорят, ты на божий храм жертвуешь? А он им и говорит: весь кирпич на свой счет берусь изготовить, ежели вы церкву на имя Петра и Павла состроите (а его Петром зовут, а сына-то Павлом, — вон метил куды!). Мироеды и согласились, да к нашему-то и толк-

нись! И так-то наш мироедов этих самых по шеям со двора гнал, так-то он их ругал ругательски, — услыхал потому, как они к мельнику первому за советами ходили... Видят мироеды — не изнять им без нашего церкви, всем сходом просить его стали, штобы, значит, смиловался. Стройте, говорит, во имя Миколая чудотворца, — и его-то, к примеру, Миколаем зовут... Тут на сходке-то до драки чуть не дошло с мельником. Один говорит: Петру и Павлу, другой — Миколаю. Наш-то чудак такой — усовещивать стал было мельника: куды ты, говорит, в храмостроители собираешься, а грамоты не знаешь? Да оно, мельник-то ему, грамоте-то хошь я и не знаю, одначе холопом несчастным никогда не бывал, так ты нас грамотой не кори, — обиделся, значит. Наш опять тоже не уступил: эх ты, говорит, прямой шут! Я тебе настоящее дело, по доброте души, сказал, а ты лаешься. Истинно, говорит, сказываю вам, братцы, не его ума эта вещь... Кто из миру-то поверил нашему, кто мельнику, только с этого времени весь приход надвое раскололся: одни микольскими назвались, другие петровскими — и годов с пять уж прошло, тягаются все меж собой. Драки какие насчет этого самого дела ежечасно бывают — сказать невозможно; а материал, на церкву-то какой сгоряча навезли, кое растащили — лесок-то да железцо, а кое — кирпич там, што ли, али известку — все это дождем да снегами размыло... И уж каких штук ни подпускал хозяин-то мой, штоб поево сделалось. Соберет, бывало, мужиков со всего прихода, выставит им пеннику ведра два и почнет рассказывать,

как это к нему во сне аки бы каждую ночь, почитай, Миколай угодник является и как он наказывает ему, штоб церкву-то, значит, на его имя поставил. «Ничего, говорит, ты раб, не жалей, только, говорит, волю мою исполняй, — спасенье души от этого дела получишь», угодник-то будто ему растолковывает. «Вот, — наш-то говорит, — сами вы видите, православные, што я для вас ничего не жалею», а сам вином-то все стариков и накачивает. Сначала и поверил народ, и многие из петровских на нашу сторону перешли, а потом и верить перестали, потому больно уж часто угодник являться ему почал, и ходили к нам мужики больше как выпивки и смеха одного ради. И допекли же его этими явлениями. Как только услыхал мельник про такие дела, назубок его сейчас взял: станет, говорит, святой угодник холопу несчастному такую милость оказывать, — я вот становому про него объявлю, что народ он только смущает, — и объявил. Тут сперва-наперво становой такую-то хозяину вещь сказал, таково-то тазал его, что он народу святым себя объявляет, — долго он с этого случаю повесимши нос ходил. А там и мужичонки, кто поазартней-то, захочет выпить, к нашему и идет: угости, говорит. Ну, уж наш-то и знает, что ежели не угостить, так слушать придется, как он начнет тебя по всему поселку срамотить. Так и теперь еще не забыли этого дела и все опивают за него хозяина-то, — прост больно!.. Вот мельник и меня таперича за хозяина на мельнице проморил. Доведу, дескать, парня до вечера — пусть праздник промаячит в дороге. Ну, шагай, што ль, верблюд

проклятый, — обратился белый парень к лошади и вытянул ее ременным кнутом.

— Вот они, вражьи-то плевелы — по всему приходу разрослись, — уныло промолвил старик. — Цепки лапы-то у проклятого — всех он их к себе перетаскает. О-о-хо! Велики, велики, братцы мои, грехи-то наши.

— А вы куда ездили? — спросил я старика.

— Благочинный по селам с бумагами посылал. Бумаги такие из консистории присланы: внушение духовенству о приложении вящшего прилежания относительно распространения в черном народе грамотности и нравственных чувств... Очень уж донимают нашего брата этими дежурствами. Разносишь, разносишь эти бумаги-то, а как я теперича понимаю, все это одни грехи, потому чувства у всякого человека и так есть, а грамоте, кто захочет, сам выучится... Вот хоть бы теперь: двадцать два села выходил — таково разломило, а покормить нигде порядком не покормили, — не то штобы кашки али убоинки старику, а и щей-то чрез великую силу вольют. Скупищие эти сельские попадьи — страсть какие скупищие; всего-то у них, по их сказам, нет, всего-то им мало!.. Да кстати, ходимши по селам, к лекарке одной заходил, в дворне тут у одного барина живет, ловкая старуха, рассказывают. Сынины волосы к ней носил, рассказывали потому, искусница великая она напущенные болезни лечить. Вот они, волосы-то — добавил старик, вытаскивая из-за пазухи прядь черных волос.

— А разве на сына вашего напустил кто-нибудь? — спросил я.

— Бог его знает! Он у меня с самого малолетства чудной какой-то был. Все бы ему углем да мелом стены чертить; а потом в семинарии с живописцами знакомство свел, рисовать от них научился. С этого самого и сталось ему, как я понимаю, потому учиться совсем бросил, и хошь из одного класса в другой его и перетаскивали, — певчим он, видишь ли, был, — однако все в третьем разряде держали, и всегда я думал, что не кормилец он мне, ибо из третьего разряда только священниковы дети, и то при больших хлопотах и расходах, достигают священства, а дьячковы никаких прав не имеют, — все одно что пастух, даром что лет двенадцать там он — и сам лямку-то трет, и родитель-то, при бедности при своей великой, содержит его в губернии. А там ведь расход-то — о-ох какой! Все животы свои, бывало, туда перевозишь, — сам-то хошь без хлеба сиди... И никак таперича не могу я понять, сколь бы долго ни придумывал, отчего это ему такая блажь в голову зашла?.. И добро бы еще божественные картинки писал, либо, что всего лучше и спасительнее, образа святые, а то бог знает что изображает. Была тут у нас в селе девица дворовая, — правду надо сказать, что ни есть прекрасная девица, истинно ангельской красоты, только очень уж вольным нравом и, следственно, зазорным поведением обладала, — так он ее листах на тридцати написал: то она у него на картинке за водой идет, то корову гонит, то на яблоню по лестнице лезет. Дивом дивился я, откуда у него такое мастерство взялось: живая совсем на его листах выходила эта девица, — стоит и смеется...

Полтора года прошло, как он совсем курс окончил, и не то чтоб отцу, при старости лет, помогать, он сам же на моих хлебах живет. А у меня какие хлебы-то? Известно, что двадцатая дьячковская часть — один-то рот иной раз куды тяжело продовольствовать. Пробовал я ему говорить: што ты, мол, Петруша, места себе не ищешь? Молчит, и ведь не то чтоб он молчал тогда только, когда его упрекать почнешь — нет! Как от молчальника какого, никогда, почитай, слова-то не добьешься, и так, я тебе сказываю, скучен он у меня, так-то скучен, что и мое-то сердце все изболело да исстрадалось по нем. Сначала, как пришел он ко мне из губернии, господа наши узнали как-то, что он рисует хорошо, к себе его стали звать, — ну, и ходил он к ним, и припасы они мне всякие, ради его, присылали. Только однажды старый барин и говорит мне: хорош у тебя, Степаныч, сынок; артистом даже может быть по живописной части, только, говорит, горд, почтенья никакого благородным лицам не отдает, посократи-ка, говорит, его немного. Ну, я было в эту силу увещевать его стал: помни, мол, Петруша, кто у тебя родитель такой! Дьячок у тебя родитель, последние мы с тобой спицы в колеснице суть, — так не должен ли ты, говорю, сугубое почтение дворянину и благодетелю отдавать? С этого-то разу, как я теперича вспомню, он и помешался-то больше, ровно он на господ озлился через это, никогда к ним после такого случая уже и не ходил; а присылали они за ним частенько-таки, и приказы от старого барина строгие выходили, чтобы беспременно дьячков

сын явился на барскую усадьбу картинки писать... Вот, судырь ты мой, что, думаю, делать? Не слушает мой малый барских указов; едят меня за него и господа, и поп, и дворовые, — все едят. А тем временем сынок к барину с Кавказа и приезжай, молодой еще, лютый такой — все у него по-военному пошло. Вот и приезжает он однажды к обедне, и мой у обедни-то был. Только примечаю я с клироса, что барский сын так-то пристально в моего взглядывается и с матерью потихоньку что-то пошептывает. Пред концом обедни выношу я барыне просвиру, а он мне и говорит: это твой сын, что ли? Мой, говорю, ваше б-дие! Вот, говорит, посмотри, как я его учить буду. Их, говорит, в семинариях учат воду толочь, а я теперь почтению его поучу... Ваша, мол, власть, ваше б-дие! Што хотите над нами, то и делайте. — Отошла обедня, вышли в ограду мужики, и барский сын вышел, а мой-то впереди идет. Как зыкнет на него барский сын: ты отчего, говорит, каналья, не кланяешься мне? А мой-то (подумать-то страсть берет!) покраснел даже весь, дрожит так-то и говорит ему: а ты, говорит, мне отчего не кланяешься?.. Вон оно — слышь? Барину-то и ляпнул: а ты, говорит, мне отчего не кланяешься? — и сам тоже канальей его обозвал... Так и обомлел народ-то... Так даже пополовел барич-то весь, как осиновый лес затрясся — и ни слова, только, значит, стоит перед моим да глазами его меряет, ровно он его съесть в то время хотел. И сын тоже стоит перед ним и словно даже как будто улыбается ему. Только вдруг, глазом моргнуть, кажется, не успеешь,

лицо барич сыну-то и искровяни — и такая тут страсть была, что народ-то весь попрятался даже, потому случай-то этот очень уж грозен был, как это сын-то барича схватит за грудь да об земь его грянет, так даже стон пошел... Таково тут горько барыня стонала да охала, таково грозно сам старый барин на сына моего наступал и мужикам своим приказывал бить его, что сердце у него замерло словно; одначе мужики не послушались, — испужались, надо полагать, потому как сын церковную скамеечку схватил и до смерти убить богом божился, кто подступит к нему... Ну, засадили тут его в сумасшедший дом, — очень уж барин хлопотал об этом... Больше же, дивлюсь я даже, насчет там судов или инова чего — ничего не сделали. За это им надо благодарность отдать — помиловали. Целый год в сумасшедшем доме держали сына, а теперь тоже опять у меня живет. Много колдунов смотрели его у меня — испорчен, говорят, — и вылечить его нет средств, потому, первое дело, как узнает он, что я колдуна какого позвал лечить его, сейчас его вон гонит и становому жаловаться грозит; а второе: бес-то в него, говорят, очень уж лют и силен посажен — трудно его из тела-то выжить...

— Что ж вам сказала лекарка, к которой вы заходили?

— Ничего почти внове-то не сказала. Посмотрела только на волосы и говорит, что, действительно, по злобе испорчен, и вот трав каких-то дала; по зорям поить его этими травами наказывала, — может, говорит, и пройдет.

— Все это, я полагаю, врет она, лишь бы деньги содрать, —вмешался в разговор белый парень. — Она многих так-то надула, лекарка-то эта, слышал я про нее. Сам посуди: как она про человеческую болезнь по одним волосам узнать может?

— Этого ты не говори, свет! Не только по волосам, по одному крошечному клочочку от рубашки всякую болезнь узнают, на то они ведьмами и называются. Была вон тоже в нашем селе такая-то (умерла теперь); за двадцать верст, говорит, насквозь всякого человека вижу, а больше, сказывала, мне не дадено. У них ведь тоже, свет, одному одно дается, другому другое — не всякому поровну.

— Как это таперича они всю эту науку постигают? — спрашивал белый парень.

— Разно постигают. Иные вон от старших со смертной постели принимают. Было это на виду у меня, славный мужик такой, никто про него худого-то и думать не мог; а он, как стал умирать, так-то мучился жестоко, что некому передать науки своей, так-то стонал да скорбел! Не выйдет у такого человека душа из тела без того, чтоб он колдовства своего кому-нибудь не передал. Вот в это время ты только подойди к нему да скажи: дай, мол, мне, — он тебе и даст, одну руку только даст, и ничего в этой руке ты не ощупаешь, а колдуном сделаешься. После этого колдун и умереть может, потому наследника по себе оставляет — есть где нечисти-то адовой усесться... И тут ты, без всякой помочи, зверем каким захочешь перекинуться — зверем будешь, птицей — так птицей, — только,

слышно, все это они через ножи делают. А куда трудно, говорят, им через ножи-то перекидываться, особенно по началу,— таково-то визжат они в это время, словно режут их.

— Была и у меня бабка такая-то, сказывают,— добавил белый парень: — мачехой отцу моему приходилась, так отец-то подкараулил, как она через ножи в свинью перекидывалась, да и украл ножи-то эти и сжег их, так она свиньей навсегда и осталась. Бывало, говорят, подойдет к избе-то в полночь, — хрю; хрю: ножи-то, значит, свои все разыскивала; а отец дубиной ее и разварганит, так она в свином образе и издохла.

Фамильное предание белого парня так же сильно озадачило дьячка, как сам он час тому назад озадачил его своими страшными рассказами про римского папу и про нарождение антихриста. Полночная тишина, очевидно, увеличивала страх суеверного старика. Притворяясь неверующим в бабку, умершую в свином образе, он тем не менее судорожно-скоро шевелил губами.

II

Долго таким образом ехали мы. Разговор не клеился. Белый парень начал было рассказывать, как в Ельце одного мещанина (и ведь непьющий совсем человек-то был!) черти на мельничную сваю втащили, а свая на самой средине реки стояла; но рассказ вышел вялый какой-то. «И как это ухитрило его забраться туда?» — неоднократно в глубоком раздумье спрашивал

себя белый парень; но полночь не давала ему никакого ответа на этот интересный вопрос.

— Батюшки! А ведь сверток-то к нам на село мы пропустили, — возопил старик.

Неподдельный ужас отразился на лицах моих спутников.

— Обошел! — сказал шопотом белый парень.

— Обошел! — еще тише повторил дьячок.

Оба они были решительно неподвижны. Как будто воочию видели они, что эта тайная сила, которая, по их выражению, обошла их, взяла лошадь за узду и ведет совсем не туда, куда им следует ехать. Выше облака ходячего, ниже леса стоячего летит как будто за ними сила эта, хватает их всею сотнею когтистых рук своих и тащит их за собою в непроходимый и дремучий лес и гогочет от радости... Так велик был страх моих приятелей, с которыми они произносили роковое: обошел!

— С малолетства езжу по этой дороге, — заговорил старик: — каждый куст, почитай, заприметил, а теперь вот сверток потерял. Подержи лошадь-то, свет, пойду-ка я с богом. Господи благослови! — молился старик, отправляясь как будто на верную смерть.

— Иди, иди, дед! Двух смертей не будет, одной не миновать, — прервал белый парень.

Меня очень занимал этот детский страх, эта не колеблемая ничем вера в вещи, никогда и никем не виданные. Я никак не мог согласить фактов, только что виденных мною, с давно известным положением, которым думают характеризовать русского человека: не пощупавши, дескать, не увидит и не поверит.

Да ощупаешь ли ты эдакую степь-то страшенную? Да почем ты узнаешь, на какие царства пошли те дороги ее бесконечные? Нет! Ничего такого ты в степи не проведаешь. А ты уж лучше так ступай по ней — по кормилице — со крестом да с молитвой. Потомит тебя в ней, как посудишь, и жаром и холодом, и голоду всякого в волю напримешься; а то на лихого человека, может, по дороге-то набежишь, так в овраге загинешь; а то и без лихого человека, вьюга как-нибудь, пожалуй, прихватит; а все-таки ничего! Все-таки она, степь-то, твое молодецкое счастье жалеючи, иным разом возьмет тебя да куда надо и выведет...

— Перьхрестись, братец ты мой! — неожиданно посоветовал мне белый парень. — Сторона здесь такая дикая — провалиться бы ей — нечистая сила над ней власть большую имеет.

А сторона была, как и всякая другая сторона: огромный буерак, поросший мелким кустарником, который, по мере отдаления от большой дороги, делаясь все более и более крупным, превращался, наконец, в дремучий строевой лес, перерезывал дорогу; мост какой-то навозный, неведомо как и на чем утвержденный, пролегал через буерак; верста со сбитой макушкой, и, следовательно, не показывающая верст, пестрелась на той стороне моста, а дальше торчали вечно думающие вешки-сироты. Вот и все. Представляя обыкновенную дорожную картину, местность эта, облитая месячным светом, тем не менее была полна какой-то невыразимой прелести.

— Видишь, вон лесище-то какой здоровый по буераку пошел, — конца ему нет, сказывают. В самую, говорят, Сибирь тем краем уперся... И теперича, ежели лошадь у кого сведут, беспременно ее тут искать следует, потому раздолье тут конокрадам. И какие они дела в старину тут обделывали, старики-то почнут рассказывать, — слушать страсть. Теперь ничего. Давно уж про разбойников не слыхать; а только вот нечистая сила больно уж завладала этим местом. Редкий кто проедет, чтоб она не издевалась над ним.

— Что же, может, с тобой что-нибудь здесь случалось? — спросил я.

— Нет, самому мне, признаться, ничего не доводилось, а вот мужичок один, правду надо сказать, через это самое место смерть принял. Едет он однажды, братец ты мой, из города, после полуден уж, едет и видит, как это на небушке туча показывается — такая-то, сказывал, страшная туча. Вот он себе и думает, как бы, дескать, туча-то в поле меня не застала. (Страсть как грома покойник боялся.) Думает он себе так-то, как бы поскорее до дома догнать, — глядь: барашек ему навстречу по дорожке-то и бежит, — такой-то хороший барашек, белый как кипень. Дай-ка, думает, возьму я барашка-то, — хороша, мол, скотинка-то больно. Подозвал он тую скотинку к себе, в телегу ее посадил, и так-то почал ластиться к нему ягнышек! Вишь, умный какой, думает мужик, понимает, должно, что я его от смерти спас, потому беспременно волки бы его одного на степи разорвали. А маланья-то так и сверкает, так,

то-есть, в очи прямо тому мужику и сыплется. Чтой-то, мол, господи, маланья ныне какая, живая словно, — так и жужжит около телеги. Жмется к мужику барашек, под тулуп все норовит, да вдруг (нака-сь!) человечьим голосом и говорит ему: бя-а-а, дядюшка! пусти-ка, говорит, ты меня в рот... Что ж ты думаешь? Как это он сказал по-человечьему-то, так и остолбенел мужик. Языка, говорит, лишился — и уж не помню, говорит, как я его с телеги-то спихнул. Только что, говорит, успел я его с телеги спихнуть, гром в него как грянет, так и разразил всего — только зола одна на дороге осталась, да такая, выходит, смердящая да черная та зола. И ровно в это самое время вихорь по лесу-то взметался, ровно волки голодные, взвыла проклятая нечисть, как это громом-то ее колотило... Вот он барашек-то какой вышел! В рот мужику от грома господня забраться задумал!.. А то еще: только уж это, милый ты мой, приятель мне один говорил (и теперь он по соседству от нас в батраках живет), так тот не соврет, — все единственно, значит, как бы теперича все это со мной случилось. Было это дело зимой, после рождества в скорости, — только был он как в это самое время без места, поп наш и говорит ему: повези-ка, говорит, ты меня в город, — больно уж у меня свой работник-то занят. Что ж, говорит, пожалуй повезу, — и поехали. Едут так-то они в самую полночь по этому месту, поп-то и усни, да и парень-то, говорит, и я-то, кажись, тоже грешным делом маленечко прикорнул. И вижу, говорит, я во сне: таково-то мы шибко едем с попом, сердце мрет,

Знаю, говорит, сам, что сплю, и думаю: ох, мол, проснуться бы надо, а то, пожалуй, разобьют нас лошади-то — и проснулся. Что же? Стоят лошади на этом самом месте проклятом, снежок эдак моросит, и такая-то светлынь стоит, — смотреть любо, — тоже, вот как и теперь, месяц тогда светил. Глаз-то, говорит, как следует не продрал еще хорошенько, а уж чертями лошадей выругал: что, мол, стали-то, леший вас побери! Ну, обыкновенно, значит, кнутом и по той и по другой знатно раза два съездил — все стоят. Что, мол, за притча такая? Да как глазами-то, говорит, вскину вперед, такое-то увидал, в жисть, говорит, никогда не забуду. Перед самыми носами у лошадей, поперек дороги-то, чучело эдакое-то, разве сажон в пять, черный-расчерный весь, и стоит и ехать им не дает. А около его, словно вон мошки весной, так-то толкутся, так-то прыгают да визжат здорово разные эдакие чертенята маленькие, с птицу вон какую-нибудь — воробья не больше, и такая их тьма-тьмущая летела и кружилась над ним, эдаким высоким столбом, — до самого до неба, говорит, тот столб доставал... Долго тут, сказывает, слова одного не мог вымолвить, потому смотрит на него чучело (такие-то буркалы красные, так и жгут наскрозь!), и уж насилу-то с передка в кибитку к попу и свалился. Что ты, поп-то спрашивает, ай, говорит, приехали? Батюшка, говорю, взглянь-ка, что на дороге-то делается. Молитвы тут поп стал читать всякие, они так-то помаленечку редеть начали, разлетаться, да так (не скоро однучеж) все до единого и изгасли... Вот оно, какое это место! Не-

даром исстари еще названье ему проклятому положили: *Большими гробищами* прозвали.

— А ты не слыхал ли, отчего же льнет нечистая сила к этому месту? — спросил я.

— Проклято оно пустынником одним в старину. Тут, видишь ли, село когда-то стояло, старики сказывают, — здоровое такое, говорит, селище было, верст на пять тянулось. И был пустынник родом из этого самого села, и спасался он в недальних местах отсюда в пещере. (Показывают место-то это и теперь, еще в целости сохранилось.) Только мужики-то, родичи-то его — все до единого страшенные разбойники были. Запоздает, бывало, кто-нибудь на дороге, попросится к ним ночевать, уж они живого никогда не выпустят, потому ежели и удавалось иным разом вырваться из избы, так соседи ловили и опять в ту же избу беглеца представляли. Так уж у них заведено было — помогали друг дружке... Очень жалел их пустынник и часто к ним на село приходил сучинять их: оставьте, говорил он, жисть вашу беззаконную, братцы, руки-то свои, говорил, вы бы помыли, в крови они у вас, руки-то! Колотить они его, по сказам выходит, здорово, под пьяную руку, колотили, а советов не больно слушали что-то. Только видит пустынник, что ничего с разбойниками поделать нельзя, взял однажды богу помолился и проклял у них реку. (Река у них тут в буераке-то протекала.) Остались мужики без воды и завыли. Уж они его умоляли, умоляли, чтоб он заклятие с реки снял, — не смиловался. Много денег тут потрачено было. Все, значит, разным докам платили,

чтобы разговорили реку. Известное дело: колдуны любят с человека завсегда деньгу взять — и тут так: деньги-то обирали, а с рекой поделать ничего не могли. Вот разозлились мужики на пустынника и убили его, а он перед смертью-то не то что реку, а и село-то все проклял. Вот теперича *сами*-то и завладели этим местом; а село давно все запропало: коих, значит, в Сибирь послали, кои пожаром выгорели, а то на новые места выселились... Наш поселок недалеко от этих местов, так тоже и наши мужики знают, что река тут текла, затевали было мельницу строить. Авось, думали, родничок найдется, одначе, тоже уж каких док в овраге-то не перебывало, — не нашли родничка. Англичин тоже один из Питера приезжал, колдунище, сказывают, единственный. Долго он тут с горки на горку похаживал, канавы да ямы разные рыл, тоже до причинного-то места дорыться не мог. Только англичин этот надул-таки наших посельщиков здорово. Пришел однажды с похода своего из буерака и говорит мужикам: заклятье, говорит, великое, братцы, на вашу реку наложено, только я, говорит, в чем тут сила — сразу узнал, и беспременно, по моим наговорам, река опять попрежнему потечет. Вот, говорит, через неделю у меня составы такие будут готовы, которыми я, говорит, шутов из родников выгонять буду; так вы мне к тому времени тысячу целковых да коня самого лучшего припасите. А по сказам-то его выходило, что самый большой родник, из какого, значит, река, почитай, всю воду имела, лошадиной головою пустынник заткнул. И ежели, говорит, голову ту ототкнуть,

так такой столб воды из родника засвиристеть должон, что всю губернию, пожалуй, затопил бы, ежели бы, то-есть, заговоров таких против воды не знал он. Отдали ему деньги и лошадь тоже отдали. (Мужичок тут один жеребчика на корму держал — важный жеребчик такой — тысячи бы две за него, поди, лемонтеры на Покровской отвалили.) Точит разные балясы англичин и жеребчика пробует. Как бы, говорит, мне, братцы, голову свою в буераке за вас не сложить? Беда, говорит, если лошадь не резва — и вывезть меня в пору не вывезет, совсем, говорит, затону... — Авось бог! Авось вывезет? — наши-то его утешают. Только пробовал, пробовал англичин жеребчика-то, да и пропал вдруг и с деньгами, какие с мира собрал. Так родник-то и теперь стоит лошадиной головой заткнут... Эх ты ма!.. Все-то нас обманывают, все-то надувают...

— Одначеж слезай, милый человек, и мне сверток пришел. Вишь, вон крыши-то завиднелись, — тут наш поселок и есть. Зашел бы ты к нам ночевать-то, а то как ты теперича пойдешь один?

— Нет, спасибо! Привык я по ночам-то ходить. Пятачка будет тебе за труды, землячок? — спрашивал я белого парня.

— Кой там пятачок? Свечу про мое здоровье поставь. Прощай! Дай бог путь-дорогу.

И я остался один в ярко светлевшейся степи. Против воли зарябились у меня в глазах и чучело в пять сажен, и маленькие чертенята — воробья не больше, по выражению белого парня. Слышалось мне даже, что белый барашек бежит

за мной — и по телу пробегали какие-то холодные, заставлявшие вздрагивать, струйки.

И была, если можно выразиться, самая глубина ночи. Ни малейшего следа жизни нельзя было подметить на этом неоглядном пространстве. Только по обеим сторонам большой дороги выстроились громадные стоги сена — и незнакомому с местностью проезжающему кажутся они гигантами, быстро несущимися по степи. Слышится ему топот их тяжелый и быстрый — и невольному чувству страха поддается пугливое сердце. То овсяник-медведь напугал табун лошадиный. Вот они, вытянувшись в струнку, полетели к светлому Дону. Не кто другой это, как лошади, потому что при всем том, что далеко ускакали они, еще можно видеть, как месячный луч скользит по хребтам их, жидким и слабым как будто, но которые с такою славой и так долго носят на себе славное войско донское.

А вот из-за густой купы вешек мелькнули белокаменные избы придонского села — и тут тоже беспробудная тишь. Спит село — и спит, можно смело сказать, крепко и сладко, потому что летние работы, характерно называемые в степях *страдой*, заключают в себе редкое усыпляющее свойство, так что, будь хоть какой удалой молодчина, а если он день-денской промаячится на покосе, так в полночь, небось, не будет он волком степным красться к гумну своей любы. Нет! Не слыхать ему в эту ночь медовых речей своей разлапы сердечной, — огненных глаз ее целовать молодцу не придется; а если он кого и поцелует, так сонный поцелует

подушку свою, к которой пригвоздит его страда; а если он кого и приголубит, так только подобие одной голубицы своей, которое в душе человека, устали и сна не знающей, обыкновенно рисует сон благодатный.

Спит все; на этой общей могиле раздается однообразная, крикливая песня сверчка. Сквозь дальний и редкий перелесок, чуть заметной звездою, мелькает чумацкий огонь. Густым клубом расстилается по небу сизый дым от этого огня. Смотрит в задымленное окно лачужки своей одинокая бессонная старуха на дым этот и крестится, — крестится и думает: от чего бы это дым такой сильный был? И пришла к ней в старую голову мысль, что над тем селом, надо полагать, расстилается дым этот, куда отдана замуж ее ненаглядная дочка... И еще пуще, чем прежде, затужила и заскорбела старуха в своей одинокой избенке, — и так-то слезно взмолилась она тогда к матери царице небесной, чтоб дала она ей крылья легкой пташки певучей, чтобы полетела она, сирота горемычная, на тех крыльях легких чрез поля, через Дон и сверх лесу к красавице-дочке своей, проведать — не соделалось ли над ее домишком горького горя — пожара лютого?..

Ложись, спи, старая бабка! Еще больше, пожалуй, загорюешь и затоскуешься ты, когда ненароком увидишь, как на дорожном кургане загорятся очи нечистого духа — сторожа старинного клада, зарытого в этом кургане; а я еще послушаю сладко-мучительного безмолвия ночи...

Как река в половодье, заширела дорога при выходе из села. Гигантскою птицей вскинулась

она на гигантскую гору, осеребрил ее там окаймленною пушистою травой светлый месяц, и потекла она дальше, как река какая серебряная, по неизмеримым пределам своим.

Хорошо в это время вольному человеку думать и знать, что волен он, как орел-птица, и что нет тебе конца, русская дороженька привольная!..

1861

НАКАНУНЕ ХРИСТОВА ДНЯ

ПОВЕСТЬ

I

На дворе стояло то доброе время, которое зовут весною. Давно уж Алексей божий человек всю воду с пригорков в долины согнал, и разлилась она быстрыми ручьями по чернозему необъятных полей, канавы придорожных насыпей вплоть до краев собою наполнила и даже большую дорогу, так и ту всю собой залила. На сельские улицы, без понукальщицы-нужды, выйти было нельзя, потому что, в полном смысле, реки стояли на них, и если к соседу за солью нужно было сходить, так лодка надобилась. Мальчишкам мужицким это и на руку: в чаны да в лотки мукосейные гурьбами насажались, да и показывают, как в старину атаманище страшный — Стенька Разин — город Астрахань брал. Известное дело: многим из них очень явственно приходилось узнавать, как этот злодей-атаманище народ православный в реке Волге топил, потому что флотилия Стеньки была, я думаю, несколько понадежнее корабликов их. Того буря да пушки потопить могли (да лих-беда не топили!), а лоток, чуть лишь с чаном столкнется, ну и ко дну пошел вместе с разбойниками этими, бесшабашными удальцами восьмилетними. Как хотите, а уж тут рубашонку нужно бы переменить да на теплой печке по-

греться бы следовало; ан нет — не туда глядишь! Поди-ка ты к матке чучелой таким, с маковки до пят грязью да навозом облепленным, так она, небось, не пожалеет белые руки свои драньем мокрых вихров натрудить. Так где уж тут к матке на беду свою великую жаловаться да скорбеть итти? В пору б только до гумна успеть добежать, чтоб она не видала. Самому там можно в старую солому зарыться, а рубашонку на яблонь повыше повесил, так она, стриженая девка косы еще не успеет заплесть, уж и высохла.

Так вот видите, как солнце-то припекало: снега, надо быть, поскорей с земли хотело согнать, потому что бог пору такую послал, когда он травке всякой на свет его господний показываться велит.

А назади дворов, где раскинуты были огороды, видно было, как пары густые такие да столбами такими высокими в небушко поднимались, — ровно тысяча изб в одно время топились (так они чистое небо весеннее затуманивали!); а солнце все-таки лучом своим насквозь их прохватывало, и временем можно было подумать, что столбы те огненные, что не свет солнечный в тумане этом блестит, а что это дым и пламя несутся в небо от жертвы, которую богу земля сожигала за то, что он послал ей весну благодатную, цепи с нее зимние снявшую...

Ну и воробьи опять стадами эдакими, штук ста в два и побольше, на избы, на деревья, на риги расселись и чирикают! Рады беззаботные, божии птицы, потому первое дело: тепло, —

ветер морозный жидких перьев не дергает, а второе: всякое зернышко на земле издали видно, слети да и клюй, — не то что зимой, ищи его там по сугробам великим, зноби ножки тоненькие, да, пожалуй, ничего не нашедши, и до гнезда-то своего голодный долететь не успеешь, — сразу вверх ногами мороз перекувыркнет.

И все это на селе чего-то ждало словно, потому страстная суббота была, — день печали великой и пощения святого. Седые головы старых большаков и большачих частенько-таки окошечками выдвижными постукивали, на солнышко все, на ясное, посматривали: когда-то ты, мол, солнышко закатишься? Потому, от самой *страшной* середы до заката солнца субботнего всякий честной христианин, а паче блюститель и глава семейства, кроме пятаковой просфоры, есть ничего не моги. Ну оно и того!.. Хоть и теплом пригревает, и лучом солнечным землицу подсушивает, а все как-то нет-нет да на небушко и взглянешь, да грешным делом и слабость тебе тут на ум взбредет: хоть бы, мол, сумерки поскорей наступали, звездочки поживей бы показывались, по крайности тогда редечки с кваском хоть бы маленечко похлебал...

На три добрых версты растянулось село, о котором говорю я. И как чудно растянулось — сказать невозможно. Истинно, что ни складу, ни ладу. Говорили про него соседи-мужики, шутки ради, что *дед* его будто из лукошка горстями посеял. Только на самом плане один кабак и стоял; с какого конца в село ни въезжай,

отовсюду елка виднелась — и уж ты эту самую елку ни на каком кривом коне, все равно как суженого, ни за что не объедешь. А про избы мужицкие уж и говорить нечего, потому одна из них на самую дорогу, почитай, выпятилась, — всякому проезжему сказать ровно хочет: вишь, хозяин-то мой прошлым годом меня новой соломкой прикрыл да крепкими плахами заново разваленный угол подпер; а другая-то с красной улицы, от стыда, надо думать, на огород убежала, потому развалилась совсем, — одни только навозные завальни ее и поддерживают. Посмотришь на нее так-то попристальнее — видишь, как это она крышей своей растрепанной, головой словно горемычною, машет: нет, говорит, уж куда нам на дорогу-то выходить на людскую?.. Нам бы вот ближе о плетень да об верею опереться, да без поправки еще годик-другой простоять. Дальше глядишь — и болото тут расстилается, — такая трясина непросушная, что уж на что чушки, а и те в нем в самое жаркое летнее время до смерти закупываются; а за болотом густые ветлы стоят, высокие озерные травы растут (видимо-невидимо в тех травах и деревьях живет разных птиц); а за ветлами садик какой-то аршинный раскинулся; вся его загородь цветами разными как будто бы заткана, так что чуть-чуть лишь виднеется из-за этих цветов гладко причесанная, словно золотая, соломенная крыша какого-то домика-клетки. Выстроила себе эту клетку красная девица — святая черница, обо всех нас грешных богомолица, нарочно в таком тихом месте, чтобы спокойней было молодое сердце ее,

людского соблазна не видючи, суетой их грешной не прельщаючись...

Никто не мешает, — строй, где хочешь и как знаешь! Прост на этот счет у нас волостной голова. «По мне, хоть камыш выжни на острове да там и селись», говаривал старик. Птица уж на что глупа, а тоже на старое гнездо прилетает, — значит, она его облюбовала. Поэтому слободской поп всю дорогу палисадником своим и загородил — новую уж дорогу-то через Аринин огород проложили. Огурчики там у него на грядках растут, розаны разноцветные на длинных стеблях своих журавлями длинноногими раскачиваются, толстые тыквы плетями своими весь плетень заплели, да хорошенькая дочь по тому ли по зеленому садику частенько похаживает, свою девичью кручинушку разгуливает. Красиво у попа в палисаднике было, — словно в раю каком!

Поповым палисадником оканчивалось село. За ним уже начинался посад, который во времена оны назывался острожком, несколько позже фортецией, а в настоящее время одни только мужики, без всякого, повидимому, основания, продолжают с упорством обзывать его городом, а изредка даже и крепостью. По сбивчивым и до крайности темным сказаниям, ходящим в народе, в крепости этой стрельцы да казаки пограничные от татар и от своих разных воров отсиживались: в Елец да в Рязань их, разбойников, не пускали. И после уж, когда этот острожек фортецией назван был, когда могучая рука, всему миру известная, из липецких дебрей стуком топоров, рубивших лес для во-

ронежского флота, воров и зверей распугала, около этой фортеции мужичишки и всякие посадские люди *весьма* селиться стали, потому что сторона была очень привольная: горсть посеешь — воза собирай, рыбы и живности всякой — ешь не хочу. И лес тут же под руками стоит — такой соснячище, что и теперь еще посмотришь, так шапка со лба валится. На пятьсот верст, сказывают, в даль пошел — много в нем солдатиков беглых и разных бесшабашных голов скитаются. Так-то вот и составился посад, который теперь видим мы и про который так и в книгах записано и на белой дощечке (при въезде на мосту какая стоит) нарисовано: «Посад Чернополье, Черноземского уезда, содержится иждивением слободских христьян». Подлинно не могу вам сказать, кто содержится крестьянским иждивением — мост ли один, или весь посад? Должно быть, и тот и другой, потому что, ежели бы не было, так сказать, приделано к посаду села, о котором я сейчас говорил, то мещанам и купцам посадским совсем некого было бы надувать, и, следственно, как мост должен был непременно развалиться, так и самые торговцы с голоду неизменно бы померли.

Имеется надежда когда-нибудь рассказать вам не только про то, каков посад этот в настоящее время, а даже и про то, каким он в старину был. Все про него со временем расскажу я: как он вырос на безлюдной степи, как валом высоким обкапывался, грудью облюбованную землю как широкою отстаивал. Потом, как по тихому Воронежу подплывал к нему на войлоках колдун

и разбойник Наян, как он его полоном великим полонял, жен и детей убивал, а молодых к шайке своей безбожной привораживал, как после этого полона царь великий на фортецию с милостями своими царскими наехал и заново всю ее отстраивал, — про все расскажу. А ежели ж по своей великой лени я старые посадские времена как-нибудь проминую, зато уж новую нынешнюю его жизнь опишу непременно, потому что все эти недохватки и перехватки мещанской жизни хорошо мне известны.

От недохватков-то этих, а пуще от перехватков, по диким степям могучие силы изнашиваются, широкие груди, с которыми под раскрытыми мещанскими избами люди родятся, скоро иссушиваются. Под одной из таких-то растрепанных крыш (стащили мы с ней гнилую солому в голодную зиму на корм коровам), вместе с белобокими касатками и серыми воробьями, вырос и я. В такой-то избе, помню я, убивалась и плакала мать моя о том, что ни мужу, ни ей работы нет, детям хлеба нет, а недоимки и сборы разные есть. Из этой избы несли ее, бедную, тяжелым всегдашним страхом за судьбу детей истерзанную, на тихий погост наш, весь заросший высокой травою, весь закрытый густыми ветлами да ивами раскидистыми...

Бог с тобой, душа богомольная, праведная душа! Не знаю, как и отчего ты не умолила бога, чтобы не видать мне еще, к моему великому горю, как из этой же самой избы, по отцову приказу, пошла за немилого замуж дочь твоя любимая, дитя твое скорбное, забота твоя болезная?..

Много их — этих неизбежных принадлежностей мещанской жизни, — тут их всех не упишешь... Да и писать-то про них не место здесь, потому что про Липатку, чернопольского дворника, говорить теперь нужно.

Жил-был, изволите видеть, в Коломне мужичок некий, — по части вырезывания кур из садков проезжих курятников безустанно он занимался; только однажды извозчики подкараулили его на работе да на своем самовластном суде так его урезонили, что он от резонов тех чуть-чуть не пошел в мать сыру землю. Полтора дня на одном месте, без всякого чувства, как собака лежал, и, как теперь сам он полагает, знакомый человек ежели бы его с места этого проклятого не перетащил на другое, оченно в это время околеть бы мог. И думает Липатка после встрепки-то: больно уж под Москвой ноне народ прозорлив стал, ремеслом своим, выходит, займываться никакими то-есть манерами невозможно, — душу на нем свою, пожалуй, загубить не мудро. Так-то и выдумал он: дай, говорит, в степь махну, — недаром, мол, про нее говорят: дурацкая сторона. Коли она вправду дурацкая, так я там, по своей уловке, завсегда прокормиться могу. И пошел он в дурацкую сторону сам-друг с женою (лихая бабенка такая, Феклушкой ее по началу-то в Чернополье у нас величали); а про Чернополье-то он прежде от знакомого краснорядца слыхал: глухая сторона, дескать; завсегда там музланов этих, лапотников, без всяких обиняков, надувать можно. И держит наш Липатка путь прямо в Чернополье, — верст за пятьдесят от него подводу

нанял, чтобы то-есть приехать туда не только какой-нибудь шаромыжною, а с *форцем*, как подобает всякому торговому человеку. Приехавши-то, возьми Липатка да к мещанину одному и пристройся (больше все вином он того мещанина объезживал, падок тот человек на винище был); да двор у него постоялый и сними.

Однакож, надо полагать, не шибко бы он на свою коломенскую семитку расторговался, ежели бы на счастье его великое не случилось в Чернополье такого дела: купец тут у нас один жил, и долго жил; а тут, как нарочно, только Липатка приехал, он взял да и помер. Сынишка после него остался (вот ведь купеческий сын, а имени другого никто ему не давал, кроме как Никишка). И был этот Никишка в годах уж: лет тридцати, должно быть, а может, и больше, потому говорю так, что детишки у него довольно-таки крупненькие в это время по улицам бегивали.

Вот ведь говорят же люди: каков поп, таков и приход, каков отец, таков и сын. Нет, видно, и у хороших попов плохие приходы бывают, а у отцов хороших сыновья дурные живут. У хорошего, было, отца Никишка родился, однакож, правду сказать, дурака такого беспримерного искать да искать надобно было. Только слава, что купец, а купец-то этот ни в дудочку, ни в сопелочку. Покуда молод был, учивал его знатно отец — вся, бывало, рожа-то в синяках; а тут как подрос, туго тоже от него старику приходилось. Рассказывают, коли не врут, не раз батюшке родному сдачи давал — сынок-то.

*

Развязала молодцу руки отцовская смерть И на ту и на другую сторону почал он отцовское именье раскачивать. Вот уж справедливо пословица-то говорит: всем сестрам по серьгам. Не токмо что серьгами, а и капиталами от него великими пользовались черницы наши. (На огородах тут у нас живут разные эдакие девки, отшельницы аки бы, — и точно, что иные из них примерной жизни девицы.) А Феклушка-дворничиха, жена-то Липаткина, в это время во всем цвете была. Сядет, бывало, на крылечке в кумачном сарафане, душегрейку с разводами шитыми наденет, фуляром желтым накроется. да словно картина какая писаная и сидит себе, семечки подсолнечные погрызывает, веселые песни поигрывает. И так она те веселые песни забористо игрывала, что не только что медных, а и серебряных, кажется, жаль бы не было отдать за них, потому разливалась она все единственно, как теперь соловей-птица темной ночью весеннею под кустом поет. А Никита целый день, бывало, мимо крыльца на рысаке, все равно как молния, жжет: наших, мол, знай, Фекла Ивановна! Ты вот такое-то деревцо срубила б себе — купца-молодца! Ну-ка-сь, говорит, к Липатке-то своему приравняй-ка нас; ан, мол, отмену-то сразу увидишь.

И таким побытом дело это долго шло; а там, глядь-поглядь, Никишкин рысак целый день торчит у Липаткина крыльца.

Часто это бывало, починала Феклушка на своем коломенском наречии разжигать Никиту Парфеныча,

— Эх, — говаривала она, — Никита Парфеныч! Насквозь тебя вижу всего, как ты бедной бабой на малое время позабавиться хочешь, а туда ж про любовь говоришь. Ты вот, ежели взаправду-то любишь, дай взаймы рубликов пятьсот на торговлю.

— Как же я могу денег вам дать, Фекла Ивановна, когда вы, примером, склонности ко мне никакой не питаете? Все единственно должно быть, ежели я теперича пятьсот рублев на ветер бросил, тогда бы, по крайности, я то удовольствие получил, что вот, дескать, стали бы говорить про меня, какой такой богатый купец я есть, — по пятисот на ветер бросает.

— А говорит, что любит, — пытала его Феклушка. — Да ежели бы я кого теперича полюбила, так (гром меня разрази, ежели вру!) все бы на свете ему отдала. А я тебе по правде скажу, Никита Парфеныч: хочу себе сыскать полюбовника, потому не люблю Липатку, — сам знаешь, какой он шут пучеглазый, только ты смотри, про это ему не сказывай (а чего там не сказывать-то? Всеми этими делами сам Липатка орудовал). Я вот Мишку Гривача полюблю, — уж Мишка не тебе и не Липатке чета, в самом Питере, в гвардии ундером служит. Уж как же только я ласкать его буду. Вот возьму его, обойму эдак — и хоть што хошь он делай, от себя его не пущу, — и на самом Ниците Феклушка показывала, как это она обнимет ундера своего, когда в приятство войдет с ним.

— Я, — говорил Никита, — я тебе, Фекла Ивановна, капиталы все отдам, землю, сейчас

умереть мне, всю под тебя подпишу. Пускай дети по миру ходят! Ты меня полюби только.

А и змеища же подколодная была эта Феклушка, такая-то лютая была мужиков привораживать, — у нас такой никогда и не видывали (сказывают, под Москвой все бабенки такие, — от приезжего народа вволю, говорят, блох-то они набрались)... Обовьет она, бывало, дурака-то степного — Никишку руками своими, словно кольцом неразрывным, да глазами вся и вопьется в него, как ведьма какая. А глаза у ней большие такие были да масляные, так и светились, кошачьи словно.

В великую злость приводила она его ундером. Есть тут у нас лихачи в Чернополье из мещан, — удальцы такие, за вино все сделать готовы, так он немалую сумму им передавал, чтобы они колотили Гривача, — ну, удальцы, известно, свое дело знают: прищучивали Гривача частенько-таки и колачивали его здорово, в угоду Никишке. Великое тут похмелье в чужом пиру принимал гвардейский ундер!

Года с два времени в таких проделках либо прошло, либо нет; а уж у Никиты Парфеныча от отцовского добра одна только удаль собственная безалаберная оставалась. Пробовал он тут по кабакам юродствовать, разные куншты выделывать, да немного этим товаром наторговал, — в пьяном образе с моста в реку бросился: «что, говорит, без капиталов за жисть! Характеру, говорит, моему молодецкому поблажать перестали!» Об нем-то уж нечего говорить, — баран из него шуту добрый будет, а детей так истинно жаль. В праздничные дни,

когда на посаде бывает базар, ходят они — внуки миллионщика — да сено, которое от приезжих мужиков остается, на топливо собирают; а купчиха второй гильдии — мать их — полы у мещан моет, зернами подсолнечными да грушами пареными кое-как перебивается.

Куда справедливо выходит теперь изображение, как счастье да судьбу людскую колесом рисуют! Цепляются за него неразумные люди, каждый из них вверх норовит залезть — и лезет, и высоко залезает, так высоко, что другие зубы на него начинают вострить, как бы его, дескать, стащить оттуда, и головы над этим делом долго ломают; а тут и хитрость вся в том только, чтобы время пришло, когда он сам сверху-то торчма головой полетит, — только что, ежели уж вправду зло возьмет кого на верхнего, подождать следует немного, как он, тоже слетевши, на других верхних зубы будет вострить, опять карабкаться станет, не жалеючи последних сил, — и тут уж ты над ним смейся, сколько душе угодно, коли есть охота: потому твоя очередь пришла наверху быть.

Взглядывались бы люди попристальней в картинку эту да понимали, что изображает она и к какому делу ведет, так смеху-то на свете сколько бы было!

И у нас так-то: Никишка потерял, Липатка нашел. Нам все равно, кто ни поп, тот батька, кроме как разве того, что нам в Чернополье без богача жить невозможно, — старостой церковным выбрать бы некого было, и опять же всякое там разное бывает, зачем бедные люди в ноги богатым кланяются...

Скоро как-то все узнали в посаде, что вместо Никиты первым богачом сделался Липатка-дворник, и, словно сговорились, в один голос все его Липатом Семенычем возвеличили. Так-то! Вот она, что значит, деньга-то! Невидимо она тебе почет принесет, — так ты и береги ее, потому чем дольше ты ее пробережешь, тем дольше на верху колеса счастья продержишься. Верно!

И стал наш Липат Семеныч в это время обеими руками жар загребать, — зверь на него красный, по пословице, как на ловца, со всех сторон повалил. И хлебом-то он торговлю повел, и лошадьми-то, и сады стал снимать, а главное у помещиков прогорелых очень уж много земли скупил, так что всем видимо стало, что не одни только капиталы Никиты Парфенова в тех его торговых делах купаются. Пошли тут по селу всякие слухи про Липата. То у него нечаянно подсмотрят каких-нибудь неизвестных людей, — и никто не видал, когда эти люди входили к нему и когда выходили; то вдруг разнесется молва, что будто Липат Семенов по целым ночам в своем погребе делает что-то. Стук будто бы из этого погреба слышал кто словно бы от кузнечной работы... Многое разное шушукали так-то промеж себя; а он знай себе богатеет, над опасливой людской речью потешаючись, свою Феклу Иванову немецкими платьями изукрашивает.

Только, как же это у господа истинно сказано: несть, говорит, тайны, аще не явлена будет! Все теперь проведали, все разузнали — и правда, что неизмерима жадность человече-

ская, аки омут глубокий речной, — все-то он в себя принимает, ничем-то ты его не насытишь.

Совсем Липатку бес оседлал: мало ему показалось добра, позором жены нажитого, он еще другую штуку погуще выкинул. (Бедовый этот пригородный народ! Много этот народ, из-под матушки Москвы с разными мастерствами своими к нам наезжающий, люду у нас доброго на степях совсем с толку сбил!..)

Вот она какая это штука была: повадился к Липатке торговец один — владимирец — на постоялый двор въезжать! Знали мы его все в Чернополье, как он, бывало, то с работниками подводах на пяти наедет, а то, как в Москву за товарами за новыми или с выручкой домой едет, один прикатит. Разбитной такой малый был этот владимирец и купец тоже хороший. Весь посад у него завсегда в долгу был. Только и получает Феклушка от мужа наказ тайный — облапошить владимирца. Вот и начала она к нему подъезжать; а молодому, дорожному парню то и на руку. Много ли, мало ли времени прошло, только владимирец в великую любовь с Феклушкой вошел, да, видно, не на таковского она в этот раз налетела — тертый был: ты, говорит, ежели хочешь любить нас, так без денег люби, потому мы не уроды какие. Случается нам по барским селам товары разные развозить, так барыни, примером, уж на што образованность всякую знают, а и те нами не брезгают...

Дока на доку как тут нашла, все мы видели и все дивились этому, а бабы так и смеялись

не мало. Феклушка-то и полюби владимирца-то; да ведь как? Сохнуть по нем, на всех глазах, стала, с лица вся сменилась, — и так этот владимирский парень ее к себе приспособил, что она ему про Липатку все рассказала, как то-есть он подучает ее деньги с него обирать.

Здорово тут владимирец разными обиняками над Липаткой подтрунивал. Начнет ему, бывало, при извозчиках разные истории про хитрости бабьи, как они мужей самых хитрых обманывают, рассказывать, так извозчики такой грохот подымут, даже стены трясутся и тараканы с потолка падают.

Только так Феклушка это дело вела хитро, что про ее стачку с владимирцем Липатке и в ум не взбродило, — все думал он, ровно глаза-то ему заволокло тем, что жена заодно с ним, и как только уедет владимирец, он сейчас ну ее спрашивать: «Что? — говорит: — сколько?» — «Да ничего», — Фекла ему в ответ. Ткнет он ее в зубы раз—другой и скажет: «Эх ты, шутова голова! Грех только один понапрасну на свою душу берешь и меня с собой в ад тянешь...» Богобоязлив был очень...

Как ни благополучно, однакож, кончилось у них дело это, — припоминать да рассказывать станешь про него, мороз по коже дерет!

Известно, какие у нас тихие да молчаливые ночи под какой-нибудь праздник живут. И чем больше праздник назавтра, тем они тише и безответнее. Рано в такие ночи по селам спать залегают, потому к заутрене нужно вставать — и не увидишь ты в такие ночи на улице ни одной души живой. Из окошек только огоньки

виднеются от лампад, что горят перед иконами. Вот в такую-то ночь, кто слышал, а кто и не слыхал вовсе, колокольчик ямской так-то по улице прозвенел шибко. Тройка сейчас же к Липаткину крыльцу подскакала, свалила седока и домой отправилась, — спешил, должно быть, ямщик, потому с минуты на минуту разлива реки ожидали.

— Господи! Кого в такую пору леший принес? — догадывается Липатка сквозь сон.

— Подь, отопри. Барин, надо быть, какой приехал; вишь, с колокольчиком, — полагала Феклушка.

— У тебя сколько крестьян-то? Вишь, барыня какая — мужа отпирать посылает. Ты зачем работницу отпустила?

— Ишь ты, ум-то, должно быть, весь в кабаке оставил, сдачи-то тебе с него ни крошечки не дали. Пришлось в кои-то веки самому дверь отпереть, так к жене приставать, зачем работницу отпустила? Ты будешь работников отпускать, чтобы они в праздник понапрасну, без дела, хлеба не ели, а жена иди дверь отпирать — как же?

— Не бреши, отопру пойду, — сказал Липатка, и так-то ясно заблистал свет серной спички, которую зажег он. Пустырь-пустырем глядела изба постоялого двора. Облака какие-то сырые и удушливые густой такой пеленой поднимались от грязного пола и доходили вплоть до самого потолка. Потный весь потолок-то был, — на пустую квашню, кверху дном обороченную, как почнут ночью капли-то капать с него (редко они капают-то, да такой звонкий

зык от них в пустой избе раздается), что впервой, когда ночуешь на таком дворе, долго уснуть не можешь, потому что все к тому зыку, дыхание притаивши, прислушиваешься и думаешь: кто бы это так заунывно в избе ночью постукивать стал? Слушаешь, слушаешь так-то — и пойдут тут к тебе в голову разные думы... и тишина это такая в избе стоит, — ни жукнет никто, кроме как капли эти все об кадушку стукаются: бум, словно кто щелчком в оконницу стукнет, да погодивши немного, опять: «тум-м», скажет погромче еще, да сверчок в теплой запечине разливается, а на улице — тут-то ветер гугукает, таким-то он чем-то живым и страшным на просторе гуляет, что деревенские собаки обманываются. Такой лай, такую беготню поднимают они за ним, что посмотришь в окошко, да как не увидишь, за кем они гоняются, так волосы дыбом на голове встанут, мороз тебя по всему телу ударит, и перекрестишься, потому иное дело случается, что собаки и на ветер брешут, а иное: ведьмы-переметчицы по улицам в разных звериных образах бегают (часто они у нас над запоздалыми потешаются!)... Отойдешь поскорей от окна, да на лавку, и силишься покрепче заснуть, чтобы не слыхать и не видать ничего, потому глушь эта тоску на тебя наводит, сердце до великой боли щемит...

Только что начнешь засыпать, вдруг проезжий какой-нибудь, с угару словно, в раму забубенит: пусти ночевать, орет, — ровно уж там, на улице-то, света-преставление началось, антихрист за ним по следам гонится. И тут тебе ж в уши воркотня хозяйская: ишь, дескать,

леший, ровно дурману налопался, ребятишек-то всех испугал; и точно что большой тут крик поднимают ребята, мать их шлепками усмирить норовит, ребятишки пуще с шлепков кричат, а проезжий думает, что не слышат его в избе и в окно стучит крепче и голосу-то все гуще наддает; а там как шаркнет серной спицей по печке хозяин да осветит тебе сарай-то свой, так что это за пустошь такая! Одурь даже возьмет, как это все разрыто да разбросано! Поневоле поверишь, как старые бабы толкуют, что по ночам-то в избах черти меж собой воюют. Так-то гневно из переднего угла глядят на тебя лики святых угодников старинного писания. (У нас ведь, по степям-то, дворы постоялые держат все больше коломенцы да рязанцы, так они, по своей старой вере, образа-то с собой оттуда привозят. У нас таких гневных и нет совсем.) Медные ризы святых, старинной новгородской работы, так-то светлы, — ослепнуть можно, глядя на них.

Опять тоже на перегородке, которая отделяет хозяйское логовище от общей избы, какие-то пестрые да уродливые картинки нарисованы. Просто глаз девать некуда, — потому убожество всякое прямо в глаза тебе льнет, и как это дурковато да несообразно представлены (хоть и в лицах представлены!) генералы нашинские на картинках тех. Без всякого вреда скачут будто они по штыкам ненашинской пехоты, одной рукой будто они с той бестии пехоты головы рубят, другой усы гладят — и такие длинные да курчавые усы эти, каких у настоящих-то людей никогда и не бывает. И чорт

тоже на особенной картине нарисован: рожа у него куриной представлена, туловище человечье, ноги с копытами конскими, а сам он с хвостом и рогами, и весь-то он унизан тыквами да картофелем. Старец к нему некий святой навстречу идет, пальцем ему грозит издали, и из уст того старца исходят слова такие: «Почто ты, говорит, враже, божиим даром забавляешься? Зачем, спрашивает, тело свое дьявольское тыквами да картофелем унизал? Разве, говорит, не знаешь, что я тебя за это проклясть могу и в тартарары засажу?» И от врага тоже такая речь к старцу проведена: «Ай не знаешь ты, старче божий, что у меня, сатаны, дело такое есть — людей с толку сбивать? Нужно, говорит, мне, сатане, мужиков прельстить, чтобы они ни тыквы, ни картофелю в рот не брали, чтобы они наказов окружного тот картофель и тыкву сеять и есть не слушались. А там, говорит, послали меня из ада произвесть во всех царствах плач и стенанье большие, потому начальники за то, что их наказов не слушают, на мужиков озлобятся и будут их картофелем тем насильно кормить и плетями грехвостными сечь; а мужики тоже, поганым, идольским плодом брезгаючи, на начальников встанут — и будет от того шум и смятенье большие — моему дьявольскому сердцу потеха и послуга не малая»... Не стал с ним ничего больше разговаривать старец божий, а только проклял его, засадил в кувшин и в том кувшине зарыл его на тысячу аршин в глубь земли, где он сидеть будет семь тысяч годов, когда будет пришествие антихристово. С тех самых пор

мужики без всякого сомнения картошку и тыкву есть стали, — стали есть и похваливать, какой-де такой скусный да сытный плод господь бог им послал; а прежде того, на моих еще памятях, у нас по степям картошку и тыкву чортовым яблоком обзывали.

Как будто орехи грызет, с треском таким стучит маятник словно на показ размалеванных часов, а Липатка стоит себе в избе, ошалелый словно, и отпирать двери нейдет, ровно к стуку часовому прислушивается, как это часто случается с ним, когда он удумывать начнет, как бы это ему исхитриться да душу свою многогрешную от вечной погибели спасти...

И чего он на картинку одну, которая, зауряд с другими, на перегородке приклеена была, так пристально смотрит? Ай впервой увидал ты ее, Липат Семеныч? Годика три, чай, она уж живет у тебя, — дымом да пылью, видишь, как ее прокоптило: насилу и разберешь ведь, как на ней изображена корчма жидовская, в одиночке от селения поставленная. Спит в этой одинокой корчме офицер какой-то проезжий, — чемодан вон его в углу стоит, толстый такой, шкатулка на столе большая такая — и, может быть, снится тому офицеру, как радостно примут его в родной семье, давно уже не виданной им, — мать, может, снится ему, ласки красавиц-сестер, — и не слышит он, как крадется к нему потихоньку в темноте ночной жид-убийца с топором в руках своих разбойнических...

Смотрючи, вздрогнул Липатка, словно ему кто-нибудь сзади в самое ухо гагакнул нечаянно. Испугался, должно быть, того, что

в ставню оконную с улицы сильной рукой застучали.

— Отпирай, Липат! Ай гостям не рад? — слышно было, как на улице засмеялись после этого, — чудно, надо быть, показалось, что слово такое складное, не думавши, вышло.

— Господи! — потихоньку шепчет Липатка и крестится.

И так странно он душой смутился в это время, что двери сенные чрез великую силу мог отпереть, — руки у него, как в лихорадке, тряслись, и в очах туман расстилался.

Входит владимирец в избу, образам святым молится, хозяину с хозяйкой низкий поклон отдает; а жена для голубчика самовар в пять минут удружила. Шипит самовар на столе, брызгами своими кипучими во все стороны бьет, а владимирец, как и подобает, Липатке рассказывает, как по дороге снега, почитай, все уж стаяли, как кое-где зелени показались такие прекрасные (господу слава!) и как, примером, в иных местах цена на хлеб маленечко посошла.

Не малое время сидят они за столом и благодушествуют. И уж про все свои последние торговые похождения Липатке владимирец рассказал, и историю еще рассказал, от одного барина слышанную (а тот ее в газетах будто читал), как король какой-то ненашинский тайному совету своему велел было такой указ написать, чтобы желающим можно было на трех женах жениться, — и уж послушался было тайный совет короля и указ изготовил, да королевна, жена его, выходит, разведала как-то про это дело, так таких, рассказывают, мужу нотаций начитала —

жизни не рад был, а тайный совет попросту на конюшню весь отослала. Так попрежнему в этом царстве все дела и пошли опять — больше одной жены иметь никто не моги...

Было чего послушать, когда, бывало, владимирец на постоялом дворе говорить почнет; однакож Липатка плохо что-то слушал его — и только Фекла одна на него пристально всматривалась. Хотелось бы ей другу милому любовное слово с глазу на глаз сказать да ласку от него получить, а Липатка, как на зло, словно шут его к одному месту навек пригвоздил, из избы ни ногой. Сидит он, как-то, об стол руками, словно нехристь какая, оперся, бороду на них положил и хмурит брови густые да шершавые (все равно как у колдуна какого, вместе брови-то срослись у него!), — морщины на лбу вырезались, а глаза, будто ночью у кошки, так и светятся.

— Что, Липат, запечалился? — спрашивает владимирец. — Аль жена любить перестала? А ты бы ее за то, — не легким — тяжелым, дубовым поленом, да все по коленам.

— Что ты, что ты, касатик, — перебила Феклушка. — Ты его этим статьям не учи. Он эти статьи сам знает.

— Ай бы нам выпить? — ввернул свое слово Липатка.

— Не грешно ли будет? Праздник-то завтра не маленький.

— Кто празднику рад, тот до свету пьян.

— Приятно вашей речи хорошей послушать, — согласился владимирец.

Выпили.

— А со мной (недели с две уж прошло) какой случай мудреный вышел, Липат Семеныч, так сколько я, примером, дорог изъездил, а такого ни разу еще со мной не бывало. Едем мы, братец ты мой, проселком, на четырех подводах, в господский дом один пробирались (важный дом такой: без пятисот серебра никогда я из него не выезжал). Два работника были со мной, а ночь эдакая темная: зги не видать. Такую грязь дождь замесил, что ничего ты с лошадями не поделаешь да и только. Таково тихо ехали, инда душа изнывала. Вдруг работник и закричал (с задним возом на ряду шел): «Сюда, говорит, вора поймал». А в заднем возу кибитка для меня была снаряжена и щекатулка моя в ней стояла. Екнуло у меня сердце, — ну, думаю: все у меня теперь, должно быть, вытащили; а сам к возу-то со всех ног и бросился. Гляжу: работник вора-то ногами топчет; а тот уж хрипит только (дрянной такой мужичишка, маленький да щедушный). «Погоди, — говорю работнику: — не бей, становому представим». — «Что, говорит, тут уж годить? Нечего тут годить, с одного кулака совсем сшиб, а еще воровать лезет, дрянь эдакая, дома бы на печи с своей силой сидел»... На другой день, братец ты мой, как мы назад воротились, все на этом же самом месте покойник лежал. Жаль мне таково стало его и страшно, потому душа моя, грех, хоша и по неведению сделанный, а участвовала и боязно так ужаснулась.

— А ты его в поминание запиши да свечей поставь, — мрачно советовал Липатка. — Оно не в пример спокойнее будет...

Боязлива же была Феклушка-дворничиха. Все равно, как камень рудниковый, побелела она, историю эту слушаючи. Переглядывается она потихоньку с владимирцем и молчит, потому что про смерть, известно, не любят бабы по ночам толковать, и владимирец молчит, и Липатка молчит. Задумались они все, словно в печали великой, — как в гробу, тихо было в избе, только Липатка по временам тяжко вздыхал, да сверчок покрикивал изредка; а с улицы, сквозь толстые ставни, не долетал в избу даже шум ветра ночного.

— Уж не докончить ли нам посудину-то? — осведомлялся владимирец, наливая себе водки. — Семь бед — один ответ.

— Что тут доканчивать-то? Рази мы еще не достанем? — ответил Липатка и вышел.

— Любовный ты мой! Небось, уж ты забыл про меня? — спрашивала Фекла владимирца.

— Не моги пустяков толковать. Рази не сказал тебе: завсегда любить буду — и спрашивать у меня об этом, смотри, никогда не спрашивай. Очень уж я ваших бабьих расспросов терпеть не люблю.

— Приехал только, а уж сердится; а я все об твоей ласке думала, желанный ты мой, во сне тебя каждую ночь видела.

— Отойди ты от меня подальше, — уговаривал ее владимирец. — Не знаешь рази, какой праздник завтра?

— Ты только одно слово скажи...

— Отшатнись, Фекла! И так греха много.

А в сарае, где свалено было сено, там тоже своим чередом другие дела шли.

Запер за собою Липатка изнутри дверь сенницы, фонарь над головою высоко поднял и смотрит во все стороны — ищет как будто чего, а сам шепчет: — куда это они запропастились? Не найдешь их тут, а громко кликнуть нельзя,— услышит, пожалуй, кто-нибудь.

— Ребята? А ребята? — вполголоса кличет он. — Куда вы тут запропастились? Спите, что ли?

— Што? Ай с обыском пришли? — послышался пугливый голос из угла сенницы, из-под сена. — Народ-от есть на огороде — не знаешь? А то мы бы сквозь плетень к реке побежали, да в лес.

— Какой там обыск? Дело вышло такое, ребята, богатое. Не робей только. Слышь: дело какое, — продолжал Липатка: — только ты разбуди шута-то своего. И што это он у тебя за безобразный такой! День спит, ночь спит. Когда он у тебя выдрыхнется только? Того и гляжу: обоспится он тут у меня до смерти — благо место нашел спокойное да теплое.

— Не сердись, Липат Семеныч. Я вот его сейчас разбужу. Ты, голова, проснись. Становой с обыском пришел.

— Становой? Где? Я вот щель прорезал в плетне. Лезь скорее, да к реке, да в лес.

— Вишь запасный какой! И щель уж припас. Испорть у меня плетень, я те шею-то порядком нагрею. А ты слушай, какое дело идет.

— Дело? Какое дело? — торопливо спрашивал охотник до сна.

— А вот какое: купца одного зашибить надо... Деньжищев гибель,—с выручкой к празд-

нику домой едет. Один, как перст, ямщик дальний какой-то привез, и тот назад уехал.

— Ох, Липат Семеныч! — сказали в один голос ненавистники обыска: — не бывали мы еще ни разу в этих делах.

— Я сам не бывал, да надо же когда-нибудь, потому одно слово: деньжищев гибель...

Страшный крик вырвался из Феклиной груди, когда она увидала мужа с двумя лихачами, которым сама она, в отсутствие Липатки, неоднократно приют давала. Женское сердце сказало ей, что за погибелью близкого ей человека пришли эти люди. Стала она впереди владимирца, а уж мужнины глаза, чтобы, бывало, в трепет ее приводили, не пугали ее в это время.

— Што вы? Зачем сюда пришли? Народу сейчас назову, — стращала Фекла и лихачей, и мужа.

— Что ты! Что ты всполошилась, Фекла Ивановна? — спрашивал ничего не подозревавший владимирец.

— А вот что, — Липатка ему говорит: — богу молись. Час твой последний пришел.

Волосы на голове у владимирца дыбом поднялись. Так и обезумел он, потому что все равно как дубиной грянули его Липаткины слова, — так и присел он, и не только, чтобы оборониться как-нибудь от злодеев, одного слова долгонько-таки промолвить не мог. Однакож, когда кровопийцы подходить к нему стали, опомнился.

— Так ты такой-то, Липат Семеныч? Ну, — говорит, — держись же и ты у меня, разбойник

проклятый. Гуляй, — говорит, — купеческий кулак, не давай, — говорит, — меня живым в руки! — И к двери бросился, натиском крепким сбить с крюков ее думал.

И такая тут свалка пошла. В ножи владимирца лихачи приняли, а Липатка Феклу душить бросился. Раза два только успела вскрикнуть Фекла, — периной ее муж, как курицу, придушил.

— Братцы! Помолиться в последний раз дайте, — умаливал израненный владимирец, но зверей до беспамятства отуманила свежая кровь человеческая. — Эх! Не доехал до дома, — с батюшкой, с матушкой не простился! Вот оно где умирать-то пришлось мне. Господи! Прости мне грехи мои тяжкие, — в царствии твоем душу мою помяни, — расстановисто твердил молодой купец, расставаясь с ясным светом божиим.

К заутрени на посаде во всех трех церквах в один голос ударили.

Сколь бы много ни сделала грехов на сем свете душа человеческая, говорит народ, а непременно она удостоится спасения, ежели бог благословит ее умереть во время светлой заутрени, потому что, к великому несчастью людскому, случилась эта самая история накануне великого дня Христова.

И в этот раз, опять-таки говорит народ, в это время святое враг не в пример лише, чем когда-либо, с соблазном своим на слабых людей наступает...

Говорится: глупому сыну не в помощь богатство отца. Справедливо это говорится. Иоты одной из закона господнего никогда мимо не

скажется. Сказывает также этот закон: зло приобретенное, зле и погибает. Истинно!

Вот ведь он жил, этот Липатка-то, разные злые дела делал, и видели вы, какая память осталась по нем в Чернополье. Гниет он теперь на чужом кладбище, и только старики про него изредка сквозь остальные зубы шамшат, да мальчишки временами орут, как он, по сказам, из темной могилы выходит и нашу тихую полночь своим воплем пугает. Вот сколько оставило время от грешного дела.

Ох! Много уж чересчур всяких хороших дел вместе с другими покрывает собой это время! Без следа, без самых малых примет выметает оно из наших степей вместе с худом много добра старинного. Тошно становится нам, степнякам, жить без нашего добра, потому как ежели время с чем-нибудь новым изредка и налетает к нам, не можем мы никак взять себе в толк, что это новое значит и как нам с ним поступать надлежит... А некому, некому нас поучить, потому в далекой глуши мы живем. Часто иной человек у нас раздумается, разгадается над каким-нибудь делом, — и так и эдак на разные манеры над тем делом свою голову богоданную трудит, — только ничего не придумает он (известно, помочи нет тебе ниоткуда), с тем и умрет... На приклад, да в осуждение нашей лени сказать: церкви новые у нас не то по селам, а и по городам даже лет по тридцати строятся. То от вышнего начальства указов ждут, то денег нет в сборе, то мастера

настоящим делом не угостили, так он здание, по мудрости своей, и заворожит и выше расти ему не приказывает. Стоит так-то она матушка, церковь-то, иногда больше половины состроенная, — и леса на ней, и подмостки разные привешены. Ямы кругом для извести повыкопаны, кирпичи в кучи положены, — только моет же все это дождь проливной, расхищают недобрые тати церковные, а ветер ночною порою так-то печально гудет в божием доме, так-то он леса, к нему прилаженные, раскачивает и скрипеть заставляет, что, идучи мимо, перекрестишься со страхом и скажешь: «Пусто в дому твоем, господи, от недосмотров наших, трава всякая недостойная и плевелы в нем повыросли. Не накажи нас за наш недосмотр! Ребятенки наши неразумные почасту играют в нем; не обрушь его, за грехи наши, на их неповинные головы!..»

Часто ж такие-то храмы обрушиваются и много неосторожных задавливают. Не доходят до господа наши молитвы, потому ныне и к молитвам-то что-то не так мы усердны, как в старину... Уходит, ох, уходит от нас все хорошее, без возврата уходит! Сила какая-то, надо полагать, тайная завелась у нас на степях и, по божиему попущению мудрому, отнимает у нас старое добро, а новым таким же ничем не отдаривает...

Легко сказать: двадцать лет, а как подумаешь, сколько в двадцать-то лет воды утечет, сколько перемен разных с человеком случится! И все это как-то вперемежку бывает: хоть бы вот теперь в разумение реку взять. Есть у нее, известно, рукава, заливы, озера. Иное лето, смотришь, — место ее какое-нибудь все раз-

ными травами заросло, навозом да илом его завалило, некуда протечь из него водице, стоит она и гниет; другим летом, глядишь: половодьем большим и траву, и ил, и навоз — все растащило, прочистилось местечко, любо смотреть на него! И с человеком так же: неделю хорошо, другую дурно живет, день плачется, другой веселится. Ну и понятно это тебе, потому смотрел ты на эти дела с малолетства и привык к ним.

А про наши места не знаешь, что и подумать. Истинно, во все свое жительство одно только и приметил, как на них несчастья всякие, ровно дождь осенний, без перерыва лились, и не дает нам господь в гневе своем никакой пощады. Самые старые люди не помнят, чтобы дождик тот ведром сменился когда. Или бы уж в самом деле, говорят, что к страшному суду близится время, потому и в росте, и в силе мельчает народ наш, — грамоту перенявши, поступает как скот необузданный и в пьянство вдается беспросыпное. Чего у нас прежде слыхом не слыхали, то теперь на каждом шагу видишь: дети против отцов пошли; жены мужей, а мужья жен обманывают, у службы господней по праздникам-то бывают-таки, а уж в будни одних только старушек увидишь. Наряжается молодежь, по будням даже, в платья цветные, в легкомыслии своем почтения никакого старшим не дает и над советами их мудрыми нечестиво глумится.

Так вот, так-то! Много, сказываю, всякого, в старину неслыханного и невиданного, в эти двадцать годов влезло к нам в степи и смирную нашу жизнь до самого дна замутило. По-

грязли мы в грехах своих и почернели словно. Только что божий день один попрежнему, постаринному, во всей своей красоте сохранился.

С него, божьего дня, опять и начну рассказывать.

Как за двадцать лет перед этим, канун Христова дня на дворе, а время такое же, какое и тогда стояло, теплое время, на радость да на волю разымчивое. По лугам река разливалась. Разлелеялась она, голубушка, так-то просторно — глаза заломит, ежели на досуге пойдешь взглянуть: какое, мол, такое в нынешнем году половодье у нас? Снежины по ней такие-то большие будто лодки в обгонку несутся и сверкают боками обледенелыми, ясным солнцем позолоченными. А на льдинах на тех, ровно лес, камыш плывет, — и несет река те льдины с камышом вместе и с зайцами, какие зиму в нем проживали, через Дон к дальнему Азовскому морю. Свежестью и прохладой веет тебе в лицо от реки, и сметает с лица эта прохлада всякую копоть, которую зимой в курной избе насидишь.

Господи боже ты мой! Хотя бы разговор мой про степное житье нескладное как-нибудь в другую сторону повернул и хоть об дне-то господнем весело пришлось поговорить.

Сидят на завалинке старики, около них внучки копошатся и любуются, как это ясное божие солнышко землю парит, воду из ней снеговую высасывает, травкой яркой такой сельские улицы приукрашивает и, словно как живой человек, места такие сухие готовит для великого праздника, где бы можно было малым

ребятам красные яйца катать и взрослым парням да девкам сойтись, — подсолнечных семенков погрызть и после смирного великого поста друг дружке веселое слово сказать.

На посадском базаре, словно река в непогоду, бурлил наехавший из окрестных сел и деревень народ. Всего больше бабенки горланили. Верст из-за пятнадцати иные притаскиваются к нам на базар потолкаться; самые лютые морозы удержу на них не могут положить. Глупы бедные! Живут-то они у нас в тесноте да в одиночестве, так им и лестно на народ поглазеть. Сухонькие такие тропки на базарной площади протоптал этот народ, лаптями своими широкими всю ее зарябил. (Как он только в грязь такую непроходную в этих лаптях ходить может?)

Забота у всех немалая на душе лежит: больших денег от всякого хозяина праздник требует. Первое дело: будь ты богат, будь беден, а полведра вина припасай, потому, чем же ты попов, когда они с образами к тебе на святой неделе придут, потчевать будешь? Разве брагой-то твоей домашнею, по бедности по своей, обносить станешь их? Другое дело: без убоины тоже в праздничное время скучно покажется. Не набила степнякам оскомины убоина, хоть и говорят, что у нас на степях скота много, только ж не часто, однако, едим мы ее. Целый год помнишь, какая она такая вкусная, ежели бог приведет рождеством да на святой ею полакомиться. Опять дочь-невеста: платок с тебя беспременно к празднику спросит, а то тебе и праздник будет не в праздник, как она целую

неделю голосить будет, что вот, дескать, осталась я у батеньки с маменькой для великого христова дня разутою и раздетою, не дают мне, завоет, родители милые свободушки красоту мою девичью лелеяти, косу русую от работушки расчесывать мне времени нет. Такое-то она тебе напоет, что и скопидомству своему не рад будешь. А там маслица деревянного тоже беспременно (и даже это всего нужнее и спасительнее для христианской души) купить надобно, потому лачужки наши убогие и задымленные тем только о праздниках и красятся, что в переднем углу перед иконами лампадки горят...

Мало, однакож, за всеми этими нуждами к посадским торгашам приезжий народ заходил. У нас эти торгаши не очень-то разживаются, потому есть над ними в каждом посаде и городе набольший такой (капиталами какой побольше всех сумеет заправиться), который их всех в ежовых рукавицах держит, то-есть ни разжиреть им, ни с голоду умереть не дает. Знают они того набольшего и почтенье ему всякое отдают, потому может он своего брата во всякое время в бараний рог согнуть, ежели, примером, самая малая поперечка выйдет ему от кого. Оттого, ежели к меньшим-то братьям и навернется какой покупатель, так они его истинно обдерут, потому ежели не ободрать его, так сами они должны с голоду помирать.

Так, говорю, по базару-то так только народ шатался, потому исстари заведено, что уж ежели приехал ты на торг, так мало тебе на нем нужду свою исправить, а и выпить, и походить, и удаль свою показать непременно сле-

дует. Подойдет так-то мужичок какой к лавке с куличами, прицепится, как и почем продаются они, опробует и пойдет себе с богом к другой лавке тоже прицениться и попробовать. Тут-то взад ему торговцы всякую брань загибают, а он себе ничего, потому надо же дома на деревне ему рассказать все подробно, когда спрашивать начнут: почем, мол, Иван, на базаре в крепости куличи были? Бабенки — тоже и с девками это бывает — к лавкам с красными товарами подойдут и роются в них. Целые вороха навалит им молодой краснорядец незнающий, а они-то все щупают да между пальцами трут: не линючий ли, мол, ситец-то у тебя? И ведь не бывает у них деньжонок-то, а обновы-то хочется к празднику: стыдить-то себя перед добрыми людьми старым тряпьем и простой даже бабе совестно ведь. Так она пробует материи-то; и видишь ты, что краснеет она и боится чего-то, а там станет торговец товар убирать, либо штуки ситца, либо платков полдюжины у него и не хватает. Ловят их, бедных бабенок, всегда почти. Больно уж просты они у нас и нехитры! И тут-то базару и посаду потеха бывает. Кроме того, что все с нее оберут, возьмут — воровским-то — обвешают ее всю, да и водят по селу, показывают, значит, что вот, дескать, баба эта воровка. Случалось слышать, что иные не выдерживали такого сраму и домой назад не приходили уж. Так и пропадет, грешница, словно в воду канет. Поймали тоже — помню я, на Николин день это было — девицу одну дворовую с поличным: двух лещей она стябрила. Невеста уж была и красивая такая. Прицепили ей

рыбу на шею и водят за руки по селу, молодые мещане хохот вслед за ней подняли. И так-то она плакала, так-то убивалась, бедная, и молила, чтобы не показывали ее, не срамили; только все больше ее на смех поднимали, потому не столько рыба дорога, сколько над взрослой девкой посмеяться хотелось.

— Батюшки мои! Голубчики мои! — вопила она и металась на все стороны. — Ведь не кормят совсем, на одном хлебе, родимые мои, всю зимушку мрем. Ох, пустите меня! Ох, не срамите!..

— Ладно, ладно! Вот лакомка какая! Хлеб надоел ей, рыбки некупленной захотелось. Вот ужо возьмут тебя замуж воровку...

Только пришла она домой-то, все накинулись на нее: и господа, и дворовые. Тосковала, тосковала девка, и однажды на погребице нашли ее — задавилась...

Такими-то зрелищами одними всегда почти и кончалась торговля посадских мещан.

Был у нас на селе кто-то позубастее их, крохоборов, — кто всю торговлю своими руками вел. У нас на степях всегда так-то: только что въезжаешь в какое-нибудь село, сейчас тебе напротив церкви на самом бойком месте дом покажется, объемистый такой дом, двухэтажный. Видишь ты, что тысяч пять на серебро непременно хозяин упрятал в него. Таким-то он медведем коренастым из всей кучи сельских домов выглядывает, что сразу узнаешь: купецкий, мол, это дом. Не жалеючи толстых бревен, рубит его богатый хозяин, и из каких самый дом сворочен, из таких же и забор выстроен. И хоть, при-

знаться сказать, не очень-то мы богаты, на домишки свои тратим денег не слишком-то много, однако в каждом селе, кроме того дома-медведя, другие дома у господ, у духовных, а то у мужичков иных — хорошие есть: а он от них отличие всегда большое имеет. Нет у него, например, как у господ и у духовных бывает, чтобы садик какой за ним али палисадничек перед ним был, или бы хоть, как у мужиков хороших, дома-то при огородах строятся, при просторных таких огородах — у иного и пашни-то такой большой нет — никаких таких причандалов, сказываю, не бывает при нем. А просто возьмет себе такой дом самое привольное место, или на церковном выгоне, или близ большой дороги, при въезде, обнесется крепким забором, крепость какая словно, глухо и гладко соломенными сараями накроется, — и стоит он себе господином, и видишь ты, что над всем селом господствует он, что все он в своих сильных руках держит. Выше таких домов, кроме церкви господней, ничего во всем селе и не бывает...

Разными светлыми красками расписанные, все-таки бирюками какими-то страшными глядят на божий свет дома эти, словно бы еще покрепче хотят они около себя забор своротить, словно бы глуше еще охота припала ему соломенными сарами со всех сторон призакрыться. Не в пример страшней тебе этот дом собак лютых, какие хозяином спущены хозяйское его добро сторожить, потому от собак тех можно палкой отбиться, а от злой нужды, которая бедный народ в такие дома загоняет, не отобьешься ничем.

Великую скорбь претерпеваем мы, бедняки, когда нас бедная доля наша в дома те приводит. Хозяева их наши лошадиные труды по своей воле самой заваляшей копейкой оценивают. Так мы их лупилами и зовем, — тем маленько в горе своем великом и утешаемся только...

Таким-то лупилой у нас в Чернополье Иван Липатыч был, сын Липатки-дворника. Вот и дом его коренастый стоит (такой-то ли неуклюжий на награбленные деньги вознесен!..) с лавками и амбарами. Широкие ворота его настежь отворены, потому ссыпка идет хлеба на дворе, а перед самыми воротами на высоких перекладинах весы качаются. Эх, жаль умер Липатка! Кабы да на эти перекладины повесить его заместо весов, хорошо бы было, потому, глядя, как родитель качается, не стал бы, может, сынок плутовать да кровь нашу мужицкую пить!..

Тут-то и происходила самая главная торговля. Сюда-то со всех сторон волной необузданной и валил народ. Только и слышно было, что в имя Ивана Липатыча словно в колокола перезванивали. Чуть кто встретится с кем, сейчас спрашивает: куда, мол, родимый? — К Ивану Липатычу, золотой. Недохваточки разные есть. — Ох, не ходи, пуще зверя лютует. Меня сейчас в три шеи со двора-то пугнул, — делов, говорит, очень много.

— Иван Липатыч? А Иван Липатыч? — спрашивает бабенка одна молоденькая и робко за рукав лупилу дергает.

— Ну што ты? — огрызается он на нее, а сам на дворе у амбара стоит, овес от мужиков принимает.

— Я вот яичек тебе в подарок к празднику принесла. Куды сложить повелишь?

— Спасибо. Жене поди отнеси, да не мешайся ты тут.

— А я было вот поспрошать хотела тебя: холстинки ты у меня не возьмешь ли?

— Не надо. Ступай, не мешайся.

— А то взял бы, кормилец! Хороша больно холстина-то, тонка уж очень она у меня.

— Ну, ну, давай, — не мешайся. Положи вот тут, да на Фоминой за деньгами приходи. Это уж так, ради одной потехи, — сказал Иван Липатыч бабенке, чтобы на Фоминой приходила, потому бабенке сейчас деньги надобились, так он посмотреть хотел, как заорет она, ежели он ей денег не даст.

Точно что бабенка захныкала было и на месте, как коза голодная, заметалась.

— Да как же, касатик? Мне вить сейчас деньжонки-то надобны.

— Ну, ну, хорошо. Не мешай только. Сколько дать-то тебе? Будет три гривенника, што ли?

— А вот я смеряю сейчас. По двадцати с грошиком за аршин положь. Уж ты там сам разочтешь.

— Есть тут мне когда дожидаться тебя! На-ка вот полтинник получи, да не мешай ты тут, а то не возьму.

Рада бабенка полтиннику, и хоть думала она за холстину свою рублика четыре получить, и хоть она все-таки топочется как-то нескладно и головою вертит, получая полтинник, но все же рада, что успела товар свой продать. А тут уж целая куча мужиков и баб стоит, своей оче-

реди дожидается. Без шапок все, ровно перед начальником, стоят и мнутся, с ноги на ногу тихохонько переступают.

— За милостью вашей, Иван Липатыч, рождеством еще ржицы вам привозил, маленько должку оставалось, — получить бы желательно было.

— Некогда мне с тобой разговаривать. В слободное время толкнись, получишь сполна, а теперь не мешай.

— Надобны нам очинно деньги-то...

— Разговаривай по субботам. Мне, думаешь, не нужны деньги-то? Расходу-то побольше твоего держим.

— Вестимо побольше — уныло поет мужик: — только ты выручи меня, Христа ради.

— Иди уж, иди поскорей, — шепчут мужику из толпы...

— Батюшка, Иван Липатыч! Снабди ты мне, бога ради, три серебра! Я тебе вот и заклад принесла, — плачет старуха-мещанка и какое-то старое ситцевое тряпье благодетелю показывает.

— Нет у меня такой суммы. Не мешай, бабка.

— Батюшка! Сына становой в кандалы кует — откупить хочу. Родителя твоего покойного знала. Он мне давал, бывало, взаймишки-то, дай и ты.

— Нету, нету, баушка! Поди-ка ты отсюда, не разговаривай ты пустяков-то, старый ты человек.

— Штобы у тебя и не было их никогда, разбойник ты безжалостный! Штоб вам обоим с батькой с твоим, мошенником, не видать ни дна, ни покрышки, проклятым, — вопит сердитая старуха.

— Ишь, старая, ругается как, — сквозь зубы бормочет Иван Липатыч: — грех только бранить стариков-то; я бы тебе нос-то утер...

Еще новый проситель приходит. В руках у него пара гусей и новый нагольный тулуп.

— Иван Липатыч, — говорит новое лицо и смеется. — Будьте благодетелем, освободите от ноши. Век буду бога молить.

— Ну, уж ты мне! — отвечает Иван Липатыч и тоже смеется. — Издалека?

— Будьте без сумнения. В город вчера ходил, так назад когда шел, на дороге попалось. Должно быть, обронил кто-нибудь, ха-ха-ха!

— То-то обронил! Ты смотри у меня, не очень подбирай.

— Без сумнения, осторожность надо соблюдать, потому шея у меня не купленная. Тоже ведь мы бережем шею-то, ха-ха-ха! Прикажите четыре серебра получить, — праздник.

— А ты в самом деле береги загривок-то, парень. Четыре серебра! Ишь его расхватывает. На-ка вот получи рубь-целковый!

— И на том благодарны. Нам это все равно. Ха-ха-ха! Нам это летошнего снега дешевле. Только нельзя ли у вас под перед одолжиться. На предбудущую службу пошло бы. Не обернусь я рублем-то.

— Будет с тебя в трынку-то поиграть, а то коли нужно что, поди в лавке возьми.

Парень этот, видите ли, с цапаным приходил. Молодцы такие очень занозисты. Им и хозяевато в пояс кланяются, потому ежели что не по нем сделается, умеют они под купецкие крыши красных петухов запускать.

Обеими руками, как видите, жар загребает Иван Липатыч.

Тут опять пошли у него расчеты с мужиками, у каких хлеб он ссыпал.

— Ты, шершавый, получай, подходи, — говорит ближнему мужику Иван Липатыч. — За семь мер по три гривенника рубь восемь гривен.

— За восемь, кормилец. Гляди, вон на бирке-то сам же наметил.

— Это уж ты гляди да дома с женой считай, а мне с тобой валандаться некогда. Вишь, народу сколько, не ты один.

— Это точно. Только дома я мерял, ровно четверть была, и у тебя давича столько ж намеряли.

— То-то, то-то, говорю: на печь поди домой разговаривать-то, не в пример тебе теплей будет там. На-ка, получи поди: вот тебе рубь, а вот тебе трехрублевый. Эх, хороша монета-то! В клад хотел было положить, ну, да уж бог с тобой, огребай деньги; а пятачок за мной будет, — после заедешь когда.

— Додай теперича, Иван Липатыч. Тебе все равно.

— Чудак ты какой — погляжу я на тебя! Давай, пожалуй, с пятирублевой бумаги сдачи. Мне твоего не надобно; душа-то мне всех твоих денег дороже. Ну ступай, ступай поскорее, — давай другим место.

Другой подходит мужик.

— За три четверти по семи рублей, — бормочет как будто для себя Иван Липатыч: — двадцать рублей. Скостить што ль што-нибудь?

Берешь, берешь у тебя всякую залежь, а благодарности от тебя никогда никакой нет. Ой, малый! Говорю я тебе: оставь ты свой норов собачий. Будешь ты у меня в город с своим хлебом прогуливаться. Сам покупать у тебя не буду и другим никому не велю.

— Можешь ты это завсегда сделать, коли господа бога не боишься. Только скостить я тебе ничего не скощу, а за три четверти, по семи рублей, не двадцать рублей, выходит, а двадцать один. Ты мне их и давай.

— Ладно, ладно. Получи-ка поди.

— Еще рубль подавай.

— Ну это ты после приди, а теперь неравно обожжешься. Подходи, ребята, некогда мне с вами разговаривать. Нищую братию обделить еще нужно.

— Рубь, Иван Липатыч, давай. Деньги нужны, — пристает мужик.

— Приди с нищими вместе — два, может, получишь.

— Самому приведи бог, а мне мое подавай.

— Мне-то когда приведет, а ты-то уж клянчишь, музлан необузданный. Подходите, ребята, скорее, а то все деньги раздам, ждать вам придется.

— Нечего ждать-то — сейчас подавай, — пристает мужик с собачьим норовом.

— Подождешь. Сколь ты глубоко в землю-то врыт, не вижу; а на виду-то ты не очень широк, подождешь.

— Не больно ж и ты из земли-то вырос. Деньги, сказываю, подавай.

— Уж заставлю же я тебя, парень, молчать.

Засажу я тебя хлеб ссыпанный из амбара по зернышку назад выбирать.

— Много будет. Утрись прежде, а там уж и лезь в приказчики-то.

— Ну, да живет — живет девка за парнем. Есть нечего, зато житье хвалит. Ты вот увидишь у меня, что еще не рождался ты, а я уж утерт был. Паренек! Обрати-ка ты лошадь его в ворота оглоблями да хлесни ее раз—другой покрепче. Может, она поумней своего хозяина выйдет: третьего не дождется, домой убежит...

— Своих хлестай, а мою не трожь, — говорит мужик и хозяйского парня отпихивает. — Погоди, сам уйду, деньги только дай получить.

— После посева получишь, когда новые вырастут, а теперь у меня одни только старые монеты остались. Хлещи, малый, лошадь-то, видишь, — некогда.

Малый хлеснул лошадь, и она, как угорелая, бросилась со двора.

— Разбойники, душегубцы вы преисподние! Когда вы разбойничать перестанете? — закричал мужик.

— Што ты разорался, суконное рыло?

— Деньги подавай.

— На! Вот тебе, волк ты несытый! Широка у тебя глотка-то, я ее засажу! На! Вот тебе, вот тебе! Будешь ты у меня купцов разбойниками обзывать.

— Батюшки! Караул! — раздалось по всему посадскому базару.

— Вот тебе за караул еще, скалдырник ты эдакой! Для праздника великого руку-то с тобою осквернил...

Со всего базара сбежался народ и смотрел, как Иван Липатыч мужика бил. Все он ему лицо в кровь избил и со двора взашей вытурил. Не буянь, говорит...

Правду сказать: глуп наш степной народ. Вот хоть бы этот мужик. Ну чего он перед хозяином бодрился? Только что для праздника согрешить его вынудил, да себе эдакую благодать получил по салазкам...

Такие-то обороты торговые чуть ли не каждый день на дворе Ивана Липатыча совершались. Многих он мужиков, какие уж очень к нему за деньгами пристают, смертельным боем бьет, затворивши ворота.

Да оно, пожалуй, и запирать ворот не следует, потому никто не пойдет заступаться. Исстари у нас это ведется: без всякой опаски богатые бедных колотят, да еще так тебя нужда-то пригнет, что ты же его благодарить станешь: спасибо, мол, что уму-разуму поучил...

Вот и прошел день в таких хлопотах. Близится к празднику время — и ждут его все не дождутся. Ребятенки то и дело у матерей спрашивают: скоро ли, мама, молоко и красные яйца с колокольни слетят?

— Скоро, скоро, — отвечает мама.

— А, может, они прилетели уж? Ишь вон сколько наставила ты молока и яиц. Дай-ка мне чуточку. Я бы покуда отведал.

— Грех теперь про это говорить. Спи поди, завтра после обедни всем накормлю.

«Господи! Когда же это обедня-то начнется?» — думает нетерпеливый ребенок и в думе своей за-

сыпает, а во сне снится ему, что отошла уж обедня и кормит его мамка всеми скоромными снадобьями, за которыми она просидит до самой заутрени.

Темная ночь накрыла собой и посад и село. Никого на улицах нет, только старые старухи сельские по улицам грязным чеботами своими праздничными хляскают. Отправляются они в церковь на всенощное бдение, чтобы послушать деяния апостолов святых. Радостно умиляются их старые души, когда в ночной тишине заслышится им про воскресенье христово пенье святое, которое на папертях базарных церквей слаживали молодые мещане к завтрашней службе великой.

Двум младшим братьям своим, молодым, еще не женатым парням, и всему семейству своему в такой час ночной Иван Липатыч такую речь вел:

— Сказать вам не могу, други мои, как умирал страшно покойник тятенька Липат Семеныч. Три дня и три ночи в предсмертной болезни страдал он, — все не мог с душой своей распроститься. Только часа за два до смерти подозвал он меня к себе и говорит: — Будешь ли помнить, Иван, что я скажу тебе? — Буду, мол, тятенька. — И исполнять будешь? — Буду. — Ну, говорит, помни и исполняй, а не то: нет тебе моего родительского благословения и да будешь ты от меня отныне и довека анафема-проклят. — Ужаснулся я и слушаю, а он и говорит мне: — Сколь бы долго или мало жития твоего на сем свете ни было, всегда ты, говорит, последнюю копейку убей, а заповедь мою исполняй: всякий

год, накануне великого дня Христова, покупай ты, говорит, украшенье какое-нибудь для церкви господней и тайно, чтоб никто из посторонних не знал, то украшенье в божий дом и подкидывай, потому великий я грех в этот день тайно от всех людей учинил. Детям своим под страшным заклятием накажи, чтобы они на вечные времена помин по моей грешной душе неуклонно творили. Из могилы, говорит, выйду я и замучу того, кто слова моего не исполнит. — По такому тятенькину приказу я каждый год поступаю и вам тоже приказываю, чтобы не погрязла душа моя в проклятии родительском. На-ка вот, братец, подкинь поди на паперть церковную ризу парчевую да кадило серебряное. А вы, — обратился он к домочадцам: — подите сюда. Получите вот и между заутреней и обедней нищей братии христовой, за упокой дедушкиной души, раздавайте...

Ровно в двенадцать часов на всех посадских церквах плошки зажглись и в колокола к заутрени зазвонили.

Бабы-домоседки все до одной на улицы высыпали — час тот караулить, когда, по стариковским рассказам, будет радоваться светлому дню Христову и на небе играть божие солнце...

— Христос воскрес, милая? — говорят друг дружке соседки.

— Воистину воскрес, родимая! Видела, мать, как солнце-то в небе играло?

— Как не видать, голубушка, — видела. Все видела, как оно там, словно молния жгла, — разными огнями самоцветными жаром горело...

— Истинно, что прозорливы душевные очи

у людей простых и сердцем невинных! — говаривал в этот раз чернопольский священник. — Божья благодать, невидимо для нас, грешных, радости райские в души их посылает и восхищает их дух. Многих, под строгим испытаньем, спрашивал я: правда ли, что видят они во время пасхальной утрени солнце играющим и веселящимся будто? Все они мне говорили: истинная правда, батюшка! Сподобил бог радостью сей насладиться...

Велик господь в праведном гневе своем. Он, как говорят духовные люди, за грехи, отцами сделанные, детей их, даже до четвертого рода, наказывает. Укрылась грешная Липаткина голова в этом свете от осуждения и наказания человеческого (вот и думай теперь, сколь справедливы бывают людские слова, в которые мы про братьев своих, по своему слепому уму, перезваниваем), только ж нашли светлые божьи очи, на кого за грех этот наслать пламя свое палящее.

Попалило это пламя всех детей и сродников разбойника даже до последнего малолетка, словно как в лютый пожар лесной огонь не только что сучья развесистые с дерева оголяет, тонкий и красивый ствол обугливает, а даже и в самые корни, какие земля в своей глуби таит, забирается и выедает он день за днем всю мокроту из тех корней, дабы, оставшись в дереве, та мокрота сызнова его не поправила и не расцветила.

Все мы смотрели и видели, как многие годы тяготела рука господня над проклятым родом убийцы, как она, попустивши ему возвеличиться

над нами, сломила, нам грешным в наставленье благое, рог его гордый и поставила ниже самых низких...

Только страсть нас всех великая брала, когда, как свеча восковая, таяло это семейство на наших глазах и с каждым годом достатки его все больше под гору уезжали.

Сказываю о том теперь, как это дело началось и чем оно кончилось.

Помню (маленький совсем в это время я был), жаркий такой летний день стоял. Большие-то все, после обеда, спать разошлись и один другого тайнее от жара по сенцам, по садам и огородам запрятались, потому что в такой жар никому нельзя на улицу выйти, — больно он голову ломит и все тебе суставчики так разварит, что жить тошно станет. Такая-то жуть по всему саду после обеда стоит, словно в царстве каком заколдованном. Только ребятишки одни не спят, да и их голоса не очень слышны в это время бывают, потому и ребятишки от того жара угорают и в холодок куда-нибудь приючаются.

Вот, сказываю, и я в такой день сидел на своем дворе под сараем и сетку из конских волос для ловли птиц плел. Такою удачливой выходила эта сетка в руках у меня, что, по приметам, не только у воробьев и синиц, а даже и у галок вырваться из нее силы бы не хватило. Придумал я палочку к ней небольшую приделать, чтобы палочка эта птицу, какая в сеть попадет, по голове колотивши, отуманивала и рвать сети той не давала...

Очень хитрая сеть вышла! Когда я так-то пальцем своим примеривал, как птицы будут по-

падать в нее, до крови мне — первой птице — палочка палец размолотила. Разорвал я эту сеть, палец из нее выдираючи, и другую, без палочки уже, плесть стал. Собака тут наша подле меня лежала. Сильно ж ее, надо полагать, оводы и жар пробирали, потому так-то тоскливо стонала она и все пить из корыта, которое к колодцу приделано было, бегала.

Как теперь припоминаю, очень я пристально в дело-то углубился. Грезилось мне, сизые будто бы голуби с золотым отливом налезли ко мне в сетку и так будто бьются в ней и крылами щелкают.

«Пусти, пусти нас на волю, мальчик, — ворковали они. — Мы божии птицы, ты вон поди у бабки своей спроси, и она тоже скажет тебе, что голуби божии птицы. Мы, когда Иисуса Христа жиды распинали, мы слетели к нему на крест и, чтобы его больше не мучили, всем ворковали: умер, мол, умер — не мучьте; а воробьи-воры, так те все кричали: жив, жив! Вот ты их и лови и мучь их — тварей неверных — за Христа. Сорок грехов тебе, все равно как за таракана, за убиение всякого воробушка на том свете простится...»

— Ну, что ж, — говорю я будто бы голубям. — Ступайте, летите, — я вас, пожалуй, выпущу из сети, — только вы дайтесь мне по спинкам немножко погладить.

А большой двор с высокими сараями и огородом такими-то сиротами печальными и задумчивыми расстилались предо мной, так-то млело над всем, что около меня было, жаркое солнце, что в глазах круги какие-то радужные рябили,

когда случаем посмотришь, как на желтой верхушке длинного подсолнечника лучи солнца горят.

Горят, жарко горят те лучи, на травинках высоких и низких горят и как будто играют. Словно как птица какая огненная, летали они по деревьям зеленым, по соломенным крышам, и на все разлетались от них яркие искры, и все, что видел я, искры те зажигали... Плету я свою сеть, ребячью игрушку, и не знаю, есть ли у меня голова на плечах, потому что вижу я, огненные столбы какие-то с дымом и громом летят по земле и все, что встречается им, беспощадно палят. Полдневная тишь зашумела в ребячьей голове стоном и смятеньем базарным... Забегали, залетали, зароились по широкому двору и огороду люди какие-то неизвестные. Бледные-бледные все были они, головы свои, будто разбил им кто головы, к грудям они клонили и стонали: «Батюшки, жарко! Сгорим мы сейчас!..»

Смотрю я на тех людей, с ужасом и тоскою, смотрю (очень мне жаль их, как они, бедные, в этом жару мучатся) — и думаю, как бы и мне не сгореть вместе с ними; а там уж и не помню, как выпала сетка из рук моих, — упал я горячей головой на холодеющий под сараем навоз, и несчетное будто бы множество голубей и всяких птиц, одна другой краше и цветистее, налетели на меня, всего меня собою завалили и такой холодок отрадный и щекотливый крыльями своими навевали они на меня, что сердце мое ровно в небе плавало, и давал я в бреду тем птицам обещанье с божбой — никогда

не ловить их, а они будто не верили мне и стращали богу сейчас жаловаться на меня лететь...

Замер я так-то в беспамятстве своем и до слез жалею о том, что птицы не верят мне и что накажет меня за них господь бог, ежели я не упрошу их с жалобой своей к нему не лететь...

— Не летайте, не летайте, — умаливаю я безжалостных птиц. — Сказал — никогда не буду ловить вас, — ну и не буду... — А они налетели на меня еще более сплошной тучей, уставились прямо в глаза мне своими светлыми, маленькими глазками и с такой-то угрозой пугающей все в один голос мне говорят: «Нет! Не умолишь ты нас. Молодец был ты сети на нас плесть, теперь вот посмотришь, как тебя за нас в аду самого сетью будут ловить. Небось! К той еще похитрей палочку-то приделают — и будет тебя палочка та в голову колотить»...

Вдруг будто бы подо мною расселась земля. Стремглав лечу я в эту расселину, и обдает меня из нее дымом и пламенем серными. Во всей этой пропасти, где я очутился, горел будто бы, как в печи, неугасимый огонь, а в огне летали крылатые дьяволы, точь-в-точь какими их на картинках пишут, и всего меня насквозь прожег огонь этот, а дьяволы как только увидали меня, все закричали: «Попался ты к нам. Вот мы тебя сейчас проберем. Будешь ты голубей ловить! Давай сюда сковороду, да погорячей, — пусть-ка он попробует, как у нас голубятину жарят»...

Вырваться я стараюсь из пропасти, а тут уж сковороду притащили всю красную, и начал

один чертеныш голову мне к такой сковороде нагибать, чтобы я лизал ее. Вцепился он в меня острыми когтями и гнет, а сковорода мне губы палит, только вырвался я будто и побежал: «Держи, держи, — заорала нечистая сила. — Голуби! Держите его!» — и неоглядной станицей бросились за мной голуби и всего меня запутали они волосяными сетями и потащили назад, а палочки, какие я приделывать к сетям ухитрился, так-то больно по голове меня колотили...

«Ну, не уйдешь теперь!» — и голуби и нечистые в один голос шумят, и от шума того затряслись стены пропасти и заколыхался, словно живой, огонь, который горел в ней...

Застонал я от ужаса и проснулся. Проснулся, трясусь весь и вижу, что жар уже немного поспал. Куры по двору заходили, воробьи под сараями кое-где зачирикали. Видно, что все это хочет проснуться и не проснется никак, потому очень тяжелый сон наводит жар на мир божий и долго после того сна стоит тишина и даже словно бы мука какая-то на лице земли-матери примечается...

И теперь так было: раздумываюсь я о своем сне, а вокруг меня словно вымерло все. Из самого дальнего угла огорода, где росли разноцветные розы, слышно было, как пчелки звенели и как зеленая саранча шуршала крыльями своими стеклянными.

Чутко ухо ребячье! Помню, заслушался я чего-то в это время и задумался о чем-то глубоко, так что и о сне своем страшном думать почти перестал,—только вдруг молчанье наше— и мое, и божье — голос какой-то разрезал, да

такой голос унылый и болеющий, об такой скорби и истоме душевной сказал он, что вдруг меня холод по всему телу прошиб.

Волосы у меня на голове поднялись, и глаза выскочить хотели, как этот голос на весь посад выводил: о-ох-ох, — протянет и вздохнет под конец, так что и вздох-то самый я слышал.

Видно было, что крепкая грудь у кого-нибудь сокрушалась.

Крещусь я так-то и думаю: «Господи! Что же это такое? Кто это вздыхает так больно?» — а сам с места тронуться не могу, — перепугался очень.

Смотрю: в подворотню нашу приятель мой Мишатка Кочеток лезет. Пролез это он в подворотню и на одной ножке ко мне и подпрыгивает. (Молодец он был на одной ножке прыгать, — дальше Мишатки никто из мальчишек не прыгивал.)

— Что ты, — кричит он мне издали, — сидишь тут? Дворник Липат Семенов умирать собрался, побежим смотреть.

— О-о-ох! Смерть моя! — снова прокатилось по двору.

— Вишь вот кричит как, — сказывает Мишатка. — Маменька сейчас говорила мне, что Липатка-то колдун, вот он с душой-то своей и не может проститься...

Побежали мы с Мишуткой на постоялый двор смотреть, как дяденька Липат Семеныч умирает. Приходим — видимо-невидимо народу в избе, и весь этот народ молча стоит, так что слышно было, как мухи жужжали и толстыми туловищами об грязные оконницы бились. Стоит

народ и ужасается лютой смерти грешника. Белый, как полотно, лежит Липат в переднем углу, под образами,—сухое и тощее лицо у него сделалось, а смертные судороги так-то сурово сдвинули ему густые брови; но еще суровее и мрачнее глядели на унылую избу святые иконы, ярко освещенные лампадками и восковыми свечами.

Приютились мы с Мишуткой в уголку и смотрим.

— Умрет? — спрашивал меня шопотом Мишутка.

— Умрет непременно, — говорю я. — Посматривай, Миша, как из него душа вылетать станет. Сказывали: голубем белым вылетает она из человеческого тела.

— У меня, небось, мимо не пролетит, — говорит Мишутка. — Я подкараулю... Только ты это верно сказываешь: дедушка мой когда умирал, так я сам видел, как из него душа голубем улетела... И теперь еще голубь-то этот у нас под крышкой живет. Мы того голубя так дедушкой и зовем.

И не одни наши с Мишуткой толки в это время по избе ходили. Советников и советниц всяких, как это живому еще человеку на вечный покой поудобнее отойти, много тут разных стояло.

— Липат Семеныч! — бабочка одна — и в летах уж эта бабочка довольно-таки престарелых была — умирающему самым слезным образом стонет: — ты бы родненьких-то своих благословил, прощальное бы слово свое родительское сказал им...

— Ох, отойди ты от меня! Без тебя тошно, баба, — через силу отзывается Липат.

— Нечего тут об земном толковать, — с угрозой говорит мещанин Кибитка (на крылосе он всегда первого баса держал): — к небесному ум свой, при последнем конце, направлять следует. Кайся, Липат Семеныч, при всех православных, кого ты когда и чем обижал, вслух; а ежели вслух совесть зазрит, в душе кайся, — это все единственно...

— Ох! Много я народу на своем веку изобидел, дорогие мои! Всего теперича не упомнишь, — болезнь великая душу мою гнетет, — говорит больной.

— Нечего, нечего тут стоять, господа! Не до вас теперь, — вступается брат Липата. (Из Коломны он нарочно приехал, как только про болезнь братнюю ему написали.) — Уходите, православные.

— Истинно, истинно уходить пора, — доканчивает Кибитка. — Во всяком дому своему горю подобает быти. Всякому своя возня и обуза...

Никто, однакож, не уходил, только немного потоптались на месте и остались опять слушать последние стоны и смотреть на последние движения умирающего тела.

— Брат! Позови Ванюшку сюда, — слышим мы, говорит Липат. — Чую: близок конец мой! Надо ему в самом деле мне наставленье дать.

Привели Ванюшку. Все семейство стало около лавки умирающего большака и ожидало, что скажет сиротам своим мудрость его житейская.

— Прощайте, други мои, — начал старик. — Грехов и всяких злых дел много я на своем

веку сделал. Для вашего блага я делал их, все о вашем счастье заботился, так вы помните это и молитесь за мою грешную душу. Может, бог и простит меня по вашим молитвам. Вот я вас сиротами оставляю малолетными, так вы дядю слушайтесь, пока сами неразумны; а ты призри их, братец, Христа ради. Видишь сам, какие они у меня: мал-мала меньше. Призришь? Побожись мне в этом на святые иконы!

— Призрю, — отвечает коломенский брат. — Покарай меня царица небесная, — все равно как за своими родными детьми буду глядеть за ними. Анафема-проклят буду, ежели дам их злым людям в обиду, — завершает он, делая пред образами земные поклоны.

— Смотрите вы у меня, мелюзга, — продолжал больной: — старшего брата, как меня, слушайтесь. Не то счастья вам у бога не вымолю, а ты, Ванюшка, люби их, оберегай, — ты ведь теперь набольшим в доме останешься. Будешь?

— Буду, тятенька, — отвечает сквозь слезы Ванюшка, тот самый Иван Липатыч, о котором я вам в прошлый раз сказывал.

— Побожись, Ваня, что точно меньших братьев своих и сестру обижать ты не станешь?

И Ваня тоже трижды три земных поклона совершил пред ликами божьими и тоже на голову свою молодую кару царицы небесной призвал, ежели обещанья, данного отцу на смертной постели, он не исполнит.

— Вот смотрите, христиане благочестивые, при всех — при вас говорю, — обратился Липат к стоящим соседям. — Детям моим капиталу моего двадцать тысяч на ассигнации оставляю, на

храмы господни три тысячи, тысячу служителям церковным за помин моей души окаянной. Ванюшка! Принеси из-под кровати сундучок мой. Видишь, Ваня, сколько тут денег? Ты и руководствуй ими, без обиды руководствуй, потому ты теперь старшой в доме. Брат! Смотри же: не оставь на поруганье своего рода.

— Сказано!

Все в это время двинулись к сундучку и смотрели, как дядя Липат свертки денежные развертывал. «Для того объявляю, — говорил он, — чтобы сирот моих не ограбил кто... Заступитесь тогда за них, други мои, по-христиански, хлеб-соль мою соседскую поминаючи».

— Заступимся, Липат Семеныч, беспременно будем все за твоих сирот заступаться.

— О духовном-то хлебе пекись, сосед, — советует басом Кибитка. — Его-то побольше забери в свою дальнюю дорогу, а про сирот нечего говорить. У них у всех вообще бог да добрые люди заступники.

Смертное томление, видимо, с каждой минутой овладевало Липатом. Щеки его вытягивались длиннее и длиннее, морщины, ровно глубокие борозды, заходили по широкому лбу, а брови сурово всщетинились в одну шершавую линию, как огородная грядка, обитая сильным градом.

— Ох, тяжела ты, моя постелюшка смертная! — жалобно стонет Липат, и руки свои то над головою высоко поднимет, то вдруг на грудь их плетью опустит. Звонко ж хрустели и щелкали пальцы у него, когда он, тяжкой боли не вытерпев, ломать их принимался.

— Дайте, Христа ради, водицы испить, жгет меня всего, — умолял Липат. — Да пошлите за батюшкой-священником, — свету в глазах моих не стает.

Все с этим словом почуяли, что пришла и невидимо стала около больного страшная смерть. Воцарилось в избе что-то такое тайное и грозное, от чего поневоле содрогалась душа человека. Все лица отуманились в эту минуту такой тоской и печалью, как будто о том, что собственная их жизнь прекращается, тоскливый гул от плача сиротского как-то особенно дико раздавался в избе, и все это завершалось тихим шопотом соседей и последними стонами больного.

Наконец пришел священник. С появлением его все умолкло, и только одна маленькая дочка умирающего, наученная бабенками, безустанно выла около отцовой постели.

— Что, Липат Семеныч, — спрашивает священник, — плохо тебе?

— Плохо, батюшка, страсть как плохо! Свету в очах не стает. Как бы мне царствия небесного, святого причащения не успевши принять, не лишиться, — отзывается Липат.

— Подкрепи тебя господь и помилуй, — утешает его батюшка.

Пелись и читались тут святые молитвы в напутствие души отходящей — так жалобно, так грустно, что Мишутка Кочеток и говорит мне:

— А ведь эдак и над нами жалостно читать будут, когда мы умрем?..

— Будут, — отвечаю я, а дым от кадильного ладона такими-то струйками душистыми носится

по избе, так-то те струйки расцветил луч солнечный, бивший в окошко, что без думы пальцы в святой крест слагались, а уста творили молитву на счастливую дорогу душе, оставляющей землю родную.

— Выходите, православные, из избы, — говорит священник, — Сейчас исповедь начну.

— Выходите, господа, выходите, — повторяет коломенский брат.

— Идите, идите, братцы, — слышится в толпе. — Исповедь начинается.

— Нечего нам чужие грехи слушать, своих у каждого много, — сердито сказывает всем Кибитка, отворяя дверь.

— Как же это? — спрашивает меня тихим шопотом Мишутка Кочеток.—Ведь эдак мы, пожалуй, и не увидим, как из дяденьки душа вылетать будет.

— Не увидим, потому он без нас, пожалуй, умрет.

— Валяй на печь, покуда народу много, оттуда будем глядеть...

— Валяй на печь, покуда народу много, ответная, пугающая тишь. Слышался тихий голос священника, мир и надежду грешной душе возвещавший, а на него отзывался тяжелый, одно и то же все время повторявший стон:

— Грешник я, батюшка, великий грешник!

И, наконец, началась молитва, готовящая человека к примирению с богом. «Верую, господи, и исповедую», — тихо и внятно шепчет священник.

— Верую, господи, и исповедую, — без боли в голосе и радостно повторяет Липат.

Забыли мы с Мишуткой, что в тайне оставаться должны, и тоже на печи промеж себя говорим: «Верую, господи, и исповедую...»

Освещенная лучами солнца и мерцанием лампад и свечей, горевших пред иконами, блеснула святая дароносица, и светлые лики, вычеканенные на ее серебре, передали как будто свой свет и свою радость и принявшему благодать божию, и тому, кто ее передавал...

— Подкрепи тебя и помилуй господь,—снова сказал больному священник и вышел; а мы с Мишуткой все сидим на печи и ждем времени, в какое белым голубем вылетит душа из Липатова тела.

Почти уж стемнело, а мы с Мишуткой все еще сидели на огромной печи постоялого двора, и чем гуще становились сумерки, тем яснее лампадки и свечи, горевшие в переднем углу, освещали нам лицо Липата. Мы могли видеть все судороги, которые пробегали по его лицу, белому как снег, и, как нам никогда еще не приходилось видеть страшных картин смерти, мы, несмотря на весь страх, который вселяли в нас и стоны больного, и изменения в лице его, с твердой надеждой ожидали, когда белый голубь оставит его страдающее тело.

— Мне уж есть захотелось, — шепчет мне Мишутка. — Не слезать ли нам с печи-то? Должно быть, дяденька не умрет нынче...

— Нет, погодим крошечку. Беспременно он ныне умереть должен, — утешаю я Мишутку, никак не покидая заманчивой надежды увидать белого голубя.

— Братец, а братец! — кличет Липат. — Подойди-ка ты поближе ко мне. Я тебе скажу кое-что.

— Что тебе, водицы что ли испить дать?

— Нет, не водицы. Не водица теперь мне нужна. А вот я вам расскажу лучше, как человек грешен и слаб бывает. Я вот вас всех до последнего моего часу обманывал и себя обманывал: думал, что выздоровею. В этой надежде даже до принятия святых даров находился, теперь уж чую, что не встать мне с одра моего, — потому всего меня судороги исковеркали, ровно они мне от сердца что-нибудь оторвали, без чего человеку жить невозможно. В пятьдесят пять лет, кои я, милый братец, на сем свете прожил, хорошо узнал я норов людской. Ванюшка! Выгони-ка из избы мелюзгу-то, а сам с дядей останься да пристальней слушай, что отец тебе в последний раз скажет. Любит норов человека ближнего своего ограбить, вдов притеснить, сирот беззащитных всячески обижать (сам я это на себе испытал). Тот норов качает тебя против воли из стороны в сторону, словно как бурливая река лодку легкую... Знаю его — норов-то этот, сказываю вам, а потому слушай, Ванюша, и ты, братец, слушай: из капиталу своего давича самую малую часть я объявил. Людские глаза, милые мои, на чужие-то капиталы — ох, как завистливы!.. Милый! Братец ты мой единоутробный! Не покорыствуйся ты моим добром, сирот моих не обидь, вспомни, как мы сами после тятеньки сиротами горемычными остались, — ведь у меня в амбаре под овсом сто тысяч на серебро в горшках уложены... Братец! — завопил опять

Липат так же болезненно и страшно, как страшно кричал он в полдень, когда я впервые услыхал его. — Не ограбь детей, ради Христа, не ограбь, — я тебе из того капиталу пять тысяч серебром отказываю...

— Не надо мне твоего, брат! Не обижай меня занапрасно. Ты только скажи, как их найти в амбаре, — как бы не расхитили.

Чуть было мы с Мишуткой не соскочили в это время с печи, потому что, ровно гром, голосом своим больной прокатил по избе и весь скорчился в толстый клубок.

— Гони мух из овса! — кричит он так, как от него никогда не слыхали. — Деньги они у меня все поедят... Обступили всего меня черные псы, обступили с огненными глазами. Отгони, братец, от меня черных псов, — Ванюшка с ними не сладит. Востры у них когти-то очень, грудь они мне всю разорвали и огня туда наложили. Деньги, братец, с сиротами с моими пополам раздели, только не грабь их. Бог взыщет с тебя, ежели их ограбишь... Это я тебе верно говорю... Вон, вон со двора, владимирец, — ты у меня жену отнял, я тебя за это и убил, а не за деньги. У меня своих сто тысяч в амбаре под овсом лежат. Ох! Изъели меня совсем черные псы, внутренности мои все из меня вон они вытащили. Отгоняй, отгоняй их от меня, брат! Мы ведь с тобой единоутробные...

— Ванюшка! — говорит коломенский брат. — Поезжай скорей к становому в стан, — объявить ему об отцовских капиталах следует, а то обокрадут нас.

Обманул неразумного мальчишку дядюшка хитрый да в амбар скорее: — «Я, — говорит, — Ванюшка, караулить деньги буду».

Спугнула нас с Мишуткой эта суматоха с насести. Со всех ног бросились было мы домой бежать, голубя не дождавшись, и, только когда мы по переулку, в какой одна сторона Липатова амбара выходила, на всех рысях скакали, рев, как бы скота какого, услышали.

Много щелей в сельских амбарах, так мы с Мишуткой взяли себе по щелке и смотрим, что такое делается в амбаре.

— Не бойся, — говорит мне шопотом Мишутка, — это, должно быть, д о м о ж и л об хозяйской смерти плачет и убивается.

— Нет, я не боюсь. Только ты не мешай мне смотреть.

И руками и ногами коломенский брат разрывал Липатов овес, а сам урчит даже, как голодный медведь, досадовал, должно быть, что не скоро овес разрывается...

Только дорылся он и до горшков с деньгами, и почал он те деньги и в мешок сыпать, и в карманы класть, и рот даже себе набивал ими, а сам все урчит...

Вдруг остановился он, и видно нам, как глаза у него в темноте, словно дерево гнилое, светятся. Остановился и задумался. Слышим мы, как он сам с собою говорить начал:

«Господи! Что же это такое делаю я? Ведь я сирот граблю, — брата своего единоутробного у малолетних сирот имение ворую. Сгинь, пропади искушение дьявольское!» — и начал он сызнова деньги из мешка вытрясать и в горшки

опять класть... «Ограбят, ограбят сирот — и без меня все у них уворуют. Лучше ж я возьму у них и помогать им буду в их малолетстве».

И он начал опять набивать деньгами свой мешок и карманы и опять заурчал по-медвежьему... «Вырастут, я им выплачу, сколько возьму теперь, а то их и без меня обворуют. Вот он, брат-то, что про норов людской говорил. Ограбить мы любим, сирот и вдов притеснить тоже любим... Во гресех зачат есмь и во гресех роди мя мати моя...»

Вечером я и говорю маме:

— Мама! Слушай-ка, что я у Липата Семеныча — покойника — в амбаре ныне видел.

— Что? — спрашивает она.

— Брат-то его коломенский деньги у него все из-под овса повыкрал.

Придралась мать ко мне в это время, что я грамоте не учусь, а только с мальчишками по улицам бегаю, сломила с лозины жидкий прут и, когда прут тот она об меня обламывала, вот что говорила: «Не в свои дела не суйся, — чего не знаешь, того не болтай, в щели за людьми не подглядывай»...

После с Мишуткой Кочетком долго мы рассуждали, какие дела наши и какие не наши, что мы знаем и чего не знаем, отчего в щели подсматривать за людьми нельзя, а главное зачем и моя и его матери запретили нам строго-настрого никому о том, что в амбаре мы видали, не рассказывать...

Ничего, однакож, мы с ним в этот раз не решили. Я попрежнему стал у него учиться на одной ножке прыгать, он у меня — бумажные

змеи клеить, точно так же как история эта опять потянулась своим чередом (каким именно—расскажу сейчас). Только мы с Мишуткой давно уж на одной ножке прыгать перестали, знаем, какие дела наши и какие чужие, и только одна она и теперь еще попрежнему идет теми же ногами, на каких более нежели за двадцать лет перед этим вышла на свой путь-дорогу. Почти уже кончилась теперь эта история, смотрят на конец ее другие ребятишки, прыгая тоже, как и мы с Мишуткой в старину, на одной ножке, но и они тоже, как и мы, войдут в разум и будут ходить на обеих ногах, а едва ли и к этому времени истопчутся ее старые, грязные ноги...

Нужно, однакож, чести приписать коломенскому брату. Умеючи он распорядился капиталом, какой у сирот-племянников своровал. Приписался он в наш город в купцы и, по подмосковной сметке своей, такую широкую торговлю повел, какой наши степняки-домоседы и во сне не привидывали. Подтрунивали у нас поначалу-то над коломенцем довольно-таки веселенько, как он, ровно угорелый, по губернии метался за всем: то гурт — тысяч в десять голов — соберет и в Москву отгонит, то тысяч пятьдесят четвертей хлеба всякого в Петербург или в Одессу спровадит, и так-то он всех наших торговцев плотно к ногтю прижал, что без него никто ни в какое дело пускаться не смел, потому во всякое время каждого он задавить мог...

Вздумает кто из мещан сад или бахчи снять, его не минет, так как мог он и денег тебе для твоего дела дать и самое дело это разбить, да не сам еще, а руки такие у него были, какие,

может, верст на сто вокруг все захватывали, и мимо тех рук, как в сказке говорится, ни птица ни пролетывала, ни зверь не прорыскивал...

Трунили, опять сказываю, наши степняки весело над коломенцем, как он ухнет, бывало, тысяч сто барыша с хлебной партии, да вдруг со всей губернии лошадей оберет, да еще столько же от них в сундук призаложит.

— Што-то, брат, длиннорук ты больно? — купцы про него меж собою толкуют. — Не угорел как бы ты, любезный! Посмотрим вот, долго ль ты провоюешь на награбленные деньги?..

— Так и так, — коломенцу, бывало, подслуживаются: — на базаре про вас говорят: как бы, дескать, не прогорели вы.

Усмехнется он так-то шутливо на такую речь и рукой махнет. «Ну их, — скажет, — к лешему, идолов пузастых! Знают они, куроеды глупые, как про такие дела рассуждать?»

И точно, никак не могли наши купцы понять и рассудить, какому богу молится коломенец об счастье своем. Пробовали они собираться против него, чтобы хоть сообща силами с ним поравняться, — тоже ничего не вышло, кроме как многих из них за злые умыслы против него без пощады он в трубу пропустил, — как есть нищими сделал.

После таких отпоров приуныли наши торговцы. «Нет, видно, надо покориться ему», придумали они и решили, что, должно быть, великий колдун коломенец, потому не иначе как чорт в уши ему шепчет, когда и сколько чего купить следует и когда что продать...

А он, не более как лет шесть жития его прошло в нашем городе, всю большую улицу каменными домами застроил. Такие-то чертоги повывел, — полков пять бы в них досыта ужилось. Сказывали, если не врали, что через шесть-то лет в десяти миллионах уже обретался.

И такой ли старичина этот коломенский чудодейный был, рассказывать про него начнут, так только со смеху лопнешь, слушая про его затеи, и ни за что им не поверишь. На старости лет-то своих, про него по городу говорили, вздумал он в книги читать учиться (не умел до этого времени грамоте), и не только что одни русские книги разбирать старался, а и в чужие языки полез. Французов и немцев разных из Москвы с собою навез и ими чертоги свои населил. Детей они у него на разных языках учили говорить и самому ему, сказывали, во многом на свой ненашинский лад советовали. Прошла тут молва про шального старика, что будто он в чужие земли хочет ехать, затем аки бы, чтобы перенять, как в тех землях за овцами ходят и фабрики суконные как устраивают, но это он врал. У бога-то не украдешь: всем известно было, что это он затем туда едет, чтобы веру свою крещеную переменить и совсем чорту отдаться, дабы еще богаче быть...

Некогда же было коломенцу эти слухи слушать. Пустыми он их и дурацкими вслух всегда без всяких обиняков обзывал. «Дела настоящего нет у людей, — говаривал он, — так они рады зубы точить. Кто себе дело по своему разуму приискать может, тот не станет, скуки своей ради, всякую ерунду говорить».

И все мы видели, как он по своему великому сурьезу никогда пустяков не толковал, и хоть было ему лет под шестьдесят, однакож на работу и на всякую выдумку разумную такой был завидущий и способный, хоть бы и молодцу какому удалому так в пору бы. Умел он наш город глухой и неудачливый на настоящую ногу поставить, так что начальство, ради просьбы его, ярмарку в нем открыло. (Большая ярмарка теперь разрослась...) Собор на базарной площади, вместо деревянной, маленькой церкви, такой соорудил, что из чужих городов обыватели приезжали планы с него снимать. И не только что он так-то приятно свои дела вел, а и племянников своих не забыл, по обещанью своему. Самых маленьких-то к себе в город взял, и все равно они у него как собственные дети за один счет шли. В одних платьях ходили, у одних учителей учились, и даже, правду-то говорить, и над ними, все равно как над детьми коломенца, по городу смеялись: вот, дескать, купецкие племянники, мужиковы дети. наравне с барчатами хотят быть, — разным языкам учатся. Хорошо теперь из лаптей-то в сапоги обуваться, а как из сапог-то в лапти придется?.. Как бы тогда по-волчьи заголосить не пришлось, даром что не учились по-волчьи-то...

Много так-то толковали, много злобствовали наши горожане на коломенца, глядючи, как счастье его с каждым годом, ровно дерево на хорошей земле, разрастается, и в головы его градские выбрали. И по всей тогда степной стороне разошлась великая слава про коломенца,

какой-де такой мочный он купец есть (губернатор ни к кому, кроме его, обедать не приезжал, когда в городе нашем ему быть надобилось), а там, немного погодя, слышим мы, что первый во всей нашей губернии богач — это Кирилла Семеныч Молошников, первой гильдии купец и потомственный гражданин (все равно, примером, что и дворянин всякий), и что, слышно было, царь его будто к себе на лицо требует — посмотреть на такого разумного мужика...

И не успели мы осмотреться, как Кирилла Семеныч гнездо себе в нашем городе свил. Вот какой прокурат этот подмосковный народ! Там, говорят, все такие хитрые. Только беда наша, ежели их много наедет к нам в степь, потому они у нашей простоты великие молодцы хлеб отбивать, а доброму-то от них чему-нибудь научиться — надвое бабушка сказала. «Пожалуй, говорит, что-нибудь и переймете, ежели сами умны будете...» Вот оно что!..

В то время, как Кирилла Семеныч свои делишки по малости обделывал, и Ванюшка тоже Липатов рос, не дремал и под дядиным крепким надзором великой докой торговою быть навастривался. Такой ему дядя-то в Чернополье у нас постоялый двор сбрякал, с особенными комнатами для господ, какого мы и слухом не слыхивали.

Спрашивали наши дворники: «Для чего это ты, Кирилла Семеныч, таких покоев в доме настроил?»

— А вот, — говорит, — после увидите для чего, — и смеется.

— Посмотрим, известно, посмотрим. Затейник ты, видим, здоровый. Как бы тебе затеи-то эти в карман не плюнули.

— Небось! — шутит коломенец. — Все бог!..

— Увидим, увидим, что будет, — и в скорости же увидали дворники, как они без хлеба остались, потому и извозчики, и господа, и купцы — все на новый двор повалили. Лестно всякому на тот двор было взъехать, — харчевня чистая такая открыта была при нем (у нас, пожалуй, до того времени харчевен по селам и не бывало!)...

Пошли себе наши дворники такие же дворы строить, с харчевнями и с особенными комнатами (переимчив народ у нас!..), только тоже мало барышу и с этого набрали они. Одни слезы и разоренье те постройки им принесли, потому, первое дело: очень уж много таких домов развелось, ходить в них народу недоставало, а другое: пока они раздумывались да строились, проезжий люд к новому месту привык и облюбовал его. Такие-то вот они хитрые, эти коломенцы-то!.. Нашему брату, простому человеку, связываться-то с ними вряд ли приходится...

Таким-то манером обстроились дядя с племянником в нашем уезде. Один в городе всем заправлял, другой над селами властвовал. Истинно: из молодых, да ранний этот Иван Липатов был. Тот хоть на честь все больше свои дела вел, умом своим обдумывал их и умом же к концу благополучному приводил, а Ванюшка-аспид, — точно, неглупый мужик, а куда послабее дяди разумом вышел, — так тот все обманом да силой

норовил наживаться. Видели ведь вы, как он с мужиками за хлеб рассчитывался; а теперь я вам скажу, как господь бог за неправедные дела злых людей рассчитывает, как он дома их, как бы они крепко на сей земле ни стояли, мощной рукой своей рушит и от жилищ нечестивых камня на камне не оставляет.

Маленьким еще был Иван Липатов, а уж душил и взрослых-то даже здорово. Все они с дядей забрали в свои крепкие руки, и так-то туго было тем, кто в руки к ним попадался, что уж на что выносливы и смирны люди у нас на степях, а зло на грабителей своих все большое имели и всякую скаредную штуку, ежели тайно сделать можно было, на вред и на зло им подгонять старались.

Оброс в таких делах наш Ванюшка бородой густою, и женил его дядя. Проживала у нас в Чернополье бедная дворянка одна, так они у ней дочь подцепили, — за одну только красоту лица, без приданого, взяли. А долго ж таки упиралась невеста, не шла за Ивана, потому на поповиче одном, почитай, совсем сговорена была.

О чем бы больше тужить, кажется? Есть жена молодая, по любви и нраву сосватанная, капиталы свои немалые есть, дядя первый по губернии богач, братья и сестры-сироты не забаловались без призору, в своем сиротстве проживаючи, а в добрые люди выросли, помощниками в дому исправными сделались, — живи бы, кажется, поживай да добра наживай, а худо сбывай. Только нет! Не туда повернула воля-то божия. Знает она, куда какого человека повер-

нуть следует. Заслужил ты — на гору она тебя вознесет, проштрафился — под гору, и знай ты, человек, никто и никогда не удержит тебя на той дороге, по какой она тебя повесть возблаговолит...

Было над чем подумать разумному человеку, было чему поучиться, глядя, как семья самая богатая, самая что ни есть крепкая семья, гибла и пропадала, как дрянной червяк капустный, и уж не досадно бы стало, ежели бы они все глупы были, а то ведь один одного, как на подбор, умнее; а видеть и понять того, что сами они от себя пропадают, сами на себя свои же руки накладывают, никак не могли.

«Погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергну», господь-то сказал. Мы вот поглупей, может, самого глупого из той семьи были, а видели же, как господь очи им заслепил, чтобы не видеть им, как они к своей гибели идут, — и от гибели той остеречься им никак невозможно было.

Горько же, думаю, молодой Ивановой жене — столбовой дворянке — в дворничихах пришлось. Пошла она, бедная, на чужом-то дворе, от своих мамушек, нянюшек и сенных девушек, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Везде все молодая хозяйка надобилась. Озлобится, бывало, Иван Липатов на младших братьев (двое еще было их, такие-то ли раскачни-головки!), начнет их колотить, поминаючи им дело их какое-нибудь разухабистое, — молодая и перед братьями и перед мужем виновата, потому, думают братья, что это она на них мужу насплетничала, а у мужа, известно, нет ближе и безответнее,

кроме жены, человека, на каком бы можно и поскорее было и без опаски свое зло сорвать.

Живучи у своей старухи-матери тихо да смирно, воды не замутивши, дивилась только сначала молодая на новое житье, словно зверь лесной, лютое и неспокойное, а потом, когда Иван Липатыч, по братниным словам лживым, раза два, а, может, и три дюжей ладонью ошельмовал ее белое личико барское, глубоко она сердцем своим заскорбела и ужаснулась, потому явственно увидала она тогда, что в высоких хоромах, где ей жизнь свою коротать привелось, живут те же мужики необразованные, какие и в курных избенках век свой валандают, только денег у заправских-то мужиков поменьше да руки, от тяжелых трудов уставшие, полегче жирных купеческих рук будут...

Вот, сказываю, какое нелегкое узнала молодая про мужа и про семью его — и заскорбела, только же не было у ней, горемычной, ничего, чтобы скорбь ее хоть на самую малость умалило. С каждым днем судьба ее несчастная все больше и больше ей горя подваливала. Лиха беда начать только мужу над женой лютовать, а там уж привыкнет он душу свою слезами жены отводить и к легкому и тяжелому заодно он сумеет придраться и злость свою над мученицей-женой утишать.

Так и тут: разозлят Ивана Липатыча мужики на базаре, придет он домой, и все у него в дому не по нем сделалось.

— Что, — скажет, — барыня-сударыня, али у вас белые руки отсохли, что по горницам ровно черти играли? Отчего вы, барыня-суда-

рыня, рук ни к чему не прикладываете? Али работой, по барству своему, брезгаете? Заставлю я тебя, белоручка, как надоть хозяйством займываться, — будешь ты у меня извозчикам в избе вместе с работницей есть давать.

Смотрит на него молодая, а у самой слезы из глаз — и ведь не то чтобы муж, не любивши ее, бранил, а так уж это исстари заведено острастку жене каждый день задавать, а то она любить перестанет... Это верно!..

— Смотри, баба, поморгай ты у меня еще глазищами-то своими совиными, я тебя утешу! — и вчастую, бывало, возьмет да на самом деле ее и утешит...

Знаючи ее в девках, какою она тогда бойкой да веселой была, теперь не увидишь и не узнаешь в ней прежнюю барышню. Никакого обличья старинного, девичьего, в ней в скорости после свадьбы не осталось. Сидит, бывало, без мужа по целым часам, ни с кем слова не вымолвит и только глаза (большие у ней и красивые такие глаза были) на одну какую-нибудь стену без отдыху и таращит...

Стали в это время бабенки наши пошептывать меж собой: с ума, мол, сошла Иванова молодая, — по целым дням ни с кем слова не молвит.

— Ну, этого вы не толкуйте, золотые мои! — мещанка одна, приживалка такая убогая, объяснила однажды подругам. — Не с чего ей с ума-то сходить. А я вам вот что скажу, вот отчего она неразговорчивой сделалась (только смотрите, не выдавайте вы меня, Христа ради): пить она стала. Как муж в лавку уйдет, она и за рюмку.

Вот отчего не говорит она, — язык, значит, к горлу прилип...

Долго бабочки убогой приживалке не верили, только же истинной правдой все это наружу вышло. Молодая точно стала пить горькую чашу, поначалу тайком, а там уж и напрямик дело пошло...

Узнал, наконец, и Иван Липатыч про деяния супружницы и отучить было ее своею мужней расправой от пьянства попытался. Только же налетела в некий день коса на камень. Приходит муж из лавки, а жена зюзя-зюзей нарезалась.

— Ты што? — крикнул Иван Липатыч. — Опять за свое!

— Дда! — отвечает смело жена. — Опять за свое.

— Ш-што?

— Мужик ты необузданный, а я барыня, — вот что!

— А вот я тебе покажу барыню сейчас.

— Ну еще это видно будет, кто кому покажет, — сумрачно и нетвердо бормочет Ивану младший брат.

— Мы тебя точно можем вчетвером до смерти избить, — вступается средний брат: — потому ты своего дела не знаешь, мешаешь нам. А ежели ты жену свою бить будешь, мы на тебя явки становому подадим и в острог упрячем. Вот и сестра под присягой с нами заодно будет...

Остолбенел Иван от таких разговоров, а молодая смотрит на него и, словно шальная, хохочет.

— Што, — спрашивает она у него, — аспид ты эдакой? Ну-ка попробуй теперь, чья возьмет?..

Не вытерпел Иван и бросился на жену, а братья — его самого в кулаки приняли. Большой тут у них бунт произошел. Через великую силу могли работники хозяина от них отбить, а жену и сестру так водой от него отливали: зубами они в него впились и замерли...

И пошли у них войны такие каждый божий день. Так плохо приходилось на тех войнах Ивану Липатову от семейных, что хоть долой со двора беги, потому молодая в великую дружбу с братьями и сестрой вошла, и уж не то чтобы муж когда побил ее, а сама она, когда только захочет, всегда могла их на него напускать.

Пробовал он тут становому на братьев жалобу приносить, чтобы он заставил их старшего брата слушать, так они в один голос такое на большака пред становым показали (и бабы тоже заодно, на допросе, с братьями говорили), что Сибири, по этим показаниям, мало бы Ивану Липатову, ежели бы то-есть становой денег с богатых обывателей не любил обирать...

Обругал идолами Иван Липатыч семейных своих и сам стал изредка хмельным зашибаться... А те уж совсем с кругу спились и девку-сестру в свой омут втащили. Показаться Ивану Липатову в хоромы было нельзя, потому все хоромы заполонила жена с братьями и сестрой. Прихлебатели там у них разные с утра до ночи, как мухи, кипели и под шумок из бо-

гатого дома к себе все растаскивали. Видит Иван, как общее добро жена с братьями по ветру развевает, да ничего в этом разе поделать не может, потому попробовал он однажды запирать все от них, так чуть-чуть дело до ножевщины не дошло.

Принялся он с этого случая чаще пить...

Услыхал про такие порядки племянников дядя-коломенец, рассуживать их из города прискакал.

— Так и так, дяденька, — объясняет Иван Липатыч. — Никак с ними сладить не в силах. Особенно вот Степка (это он на младшего брата показывал), с ножом на меня много раз накидывался.

— Ты што? — кричит дядя на меньшака. — Ты старшего брата не слушаться?

— Ты што орешь-то? — спрашивает Степка дядю. — Ты спроси прежде, боится тебя кто-нибудь здесь, али нет? Вот про што прежде узнай, а тогда уж и дери глотку-то...

Коломенец побагровел даже весь от таких слов, а молодая смотрит на них и хохочет...

— Так ты забыл, собачий ты сын, чему тебя отец на смертной постеле учил, — дядю, как его самого, почитать. Ты дяде, щенок, грубиянить вздумал? — и палкой хотел было его по спине гвоздануть.

— Ты палку свою в угол поставь. Я и без нее отца помню и богу за него, может, денно и нощно молюсь, а тебе, ежели ты драться не отдумаешь, здорового звону задам...

Еще пуще молодая от этих слов в смех ударилась, словно и вправду с ума сошла.

— Жив быть не хочу, — кричит градской голова, — коли я тебя, мошенника, в солдаты не упеку.

— Не стращай! Сами пойдем — твой грех отслуживать, как ты там у мертвого отца деньги воровал из амбара. Это ты в спокойствии можешь быть, потому заодно уж тебе сироту доканывать.

И точно: ухитрился богатый дядя племянника в солдаты отдать. Так и пропал там, горемычный. И теперь об нем ни слуху, ни духу, — должно быть, раздольной-то голове лучше гулять по божьему свету, чем у богатого дяди под страхом быть..

Зато, когда рекрута в город начальству отдавать привезли, уж и срамил же коломенца племянник. Стал он пред палатами его белокаменными да середь-то белого дня и кричит: «Эй ты, голова! Выди-ка, что я скажу тебе. Почему тебя в головы выбрали, можешь ли ты рассудить и понять? Потому это, что крупней тебя вора во всем, может, свете нет... Ты у моего отца, братом он тебе — мошеннику — доводился, сто тысяч из амбара украл, — вот ты и выходишь теперь всем ворам голова...»

То был первый срам, первое несчастье, коломенцем в нашем городе изведанное. Много, однако, позор этот седых волос из головы богача повыдергал.

— Все равно уж после такого горя в мать сыру землю ложиться мне, — плакал коломенец, слушая, как племянник наругался над ним. — Пойду я на улицу, задушу его своими руками. Может, слажу еще...

Хорошо, что приказчики не пустили: «Охота вам, — уговорили они, — Кирилла Семеныч, связываться с пьяницей. Собака налает, ветер по полю разнесет».

Поправился немного Иван Липатов с семейством своим после младшего брата. Один только спорник ему — средний брат — оставался, — сестру и жену он и не считал уж, для них обеих-то вместе одного кулака довольно было.

Только ж и тут плохая ему с ними поправка была, потому хоть и не могли они колотить хозяина так же, как с младшим братом колачивали, все-таки у Ивана Липатова не хватало силы поперечить им трем, когда они гостей к себе назовут и с ними в пьянство и безобразие всякое ударятся.

Живут они так-то немалые годы — и пригляделся Иван Липатов к пьяной семье, к горю своему выносливо притерпелся он, — только верно же и то говорится: у нас радости не часты, а беды — соседы.

Выноси другую беду, Иван Липатыч! Эта потяжелее первой будет.

Не хватило у одного мужика (на самом краю в слободе избушка у него стояла) хлебца. Вот и пошел он на гумно, — старую кладушку хотел разобрать да ржицы намолотить.

Только разобрал он кладушку-то, смотрит на настиле, на каком стояла она, узел какой-то белый лежит. Обрадовался мужик, — беспременно, думает, воры какие-нибудь это подбросили, чтобы не нашли у них. Взял он узелок, развернул — и видит, младенец там, мертвенький уж, завернут...

— Вот какой клад господь мне послал, — запечалился мужик. — Надо теперь по начальству итти объявлять. Слава тебе господи, что девок у меня на возрасте нет...

Объявил мужик про мертвенького младенца. Пошли тут судбища страшные. И село, и посад долго по этому делу к допросам таскали.

И оказалось по этим допросам, что был этот младенец преднамеренно изведен и на гумно спрятан мещанской девкой Татьяной Липатовой, с помощью среднего брата ее, мещанина же Григория Липатова...

Печально и сумрачно смотрят на большую городскую улицу пышные палаты коломенца. Занавески оконные все в них задернуты, ворота, лавки, погреба и лабазы, под палатами настроенные, все наглухо заперты, потому как раз перед лицом у них, на базарной площади, подмостки эти несчастные состроили, на которых виноватых людей секут.

Словно пчелы в улье, около тех подмостков жужжал и толпился народ. Все знали, что головиных племянника с племянницей наказывать будут.

Вывезли наконец брата с сестрой. На грудях у них надписи такие были: «детоубийца», разбирали грамотники.

— Господи! Господи ты боже мой! — многие бабочки убивались и руками всплескивали. — Красная девушка! На какое дело окаянное пустилась ты, грешница?..

— Нечего убиваться по ним, — раздавалось в толпе. — Их господь простит. Это они отцов долг платят. Ему бы, по-настоящему, эту чашу пить следовало...

— Што про отца толковать? Его матушка темная могилка укрыла, а вот того кровопийцу-то безотменно отстегать нужно, — отзывались другие голоса, и руками, при таких речах, на белые палаты почетного гражданина Кириллы Семеныча показывали...

Оголил этот второй позор всю голову коломенца даже до последнего волоска, и печалью, все равно как живого человека, накрыл он палаты его белокаменные.

Остался один Иван Липатов в отцовском дому, потому что жену его считать уж нечего, — совсем она одурела. Кого бы только она ни завидела, сейчас и бежит к нему: дяденька, говорит, налей мне винца!.. Только и речей у ней оставалось.

Опять было пошел в гору после братьев Иван Липатов. Попрежнему он шибко за дело принялся и большую деньгу наживал. Все мы подумали в это время, что, должно быть, смиловался господь над этим родом и казнить его перестал...

И почти все, по долгому времени, забыто было слабою памятью человеческой. Все уж и попрекать Ивана Липатова каторжным братом и сестрой перестали, и жена у него как будто опамятовалась, — меньше не в пример прежнего пьянствовала.

Верно это пословица говорится: знал бы, где упасть, соломки бы подостлал. Пуху бы лебединого под себя наклал Иван Липатов, ежели бы знал, что в такой-то день упадет он. Да нет! Подкрался к нему этот день лиходейный, словно вор, тихо и незаметно.

Сидит он себе однажды в своей лавке, и так-то отчего-то тошно ему сделалось, так-то скучно раздумался он о семействе своем несчастном, о делах разных, что невесело ему стало в лавке сидеть, и собрался было он домой уж итти, только и входит к нему мещанин один, такой старичок древний — на ладан дышал. Купил у него кой-чего старичок, и что-то они с ним слово за слово и поссорились.

Дальше да больше — и ссора эта в крупную брань перешла. Начал Ивана Липатова срамотить старичок, на чем свет стоит. Народ тут в лавке сидел и всю эту историю, как она происходила, видел и слышал.

— Отродье ты проклятое! — шумел задира-старик. — Мало вас бог наказывал, аспидов.

И все ему про отца, про дядю, братьев и про сестру вызвонил — никого не оставил в покое.

Досадно показалось Ивану Липатову, что так его при народе в его же лавке обижают, — вытолкнуть старика попытался. Взял он его так-то за шиворот: иди, иди, говорит, дедушка, не проедайся здесь, а тот как царапнет его по щеке.

— Молод ты, разбойник, — дед говорит — постарше себя за шиворот брать.

Так разлютовался старик, что оторвать-то его от Ивана никак не могли. Больно он его по голове и по плечам костылем колотил.

Только разозлился Иван Липатов и дал старику тумака — отпихнуть его от себя хотел, как он после на суде отговаривался, да не отговорился. В самой лавке растянулся старик и тут же дух выпустил. Под сердце ему Иван угодил.

И опять, на дядину радость, подмостки перед его дворцами построили, и опять, сквозь двойные рамы и толстые оконные занавески, с тех подмостков донеслись-таки до старика стоны ошельмованного племянника, и в другой раз стоны те всю душу ему растерзали.

Осталась от всего рода в Чернополье у нас жена одна Иванова. И теперь еще она дурочкой по селу ходит и просит винца у дяденек и тетенек.

— Дайте, дайте винца, — пристает она ко всем и вприпрыжку, ровно дитя маленькое, каждого догоняет. — Мне винца можно дать, — я барыня.

По всему уезду знают ее — и барыней зовут, — настоящее-то имя, признаться, уж и позабыли...

Много у господа бога всемогущего годов в руке держится, а больше того недель. Разным делам повелевает он твориться в разные времена. Так вот и наше дело, как началось страстной неделей, так ею и кончилось.

Очень поздно к тому времени, как кончиться тому делу, страстная неделя настала. Иные мужики, подосужей какие, отпахались уже; реки прошли, и жары стояли такие, хоть бы петровками.

Дивились мы, отчего бы это так скоро жары пришли — и не видали, как святая неделя нас навестила. И не один только праздник святой послал нам господь в этот год, а послал он нам вместе с ним болезнь лютую, холерой какую зовут. Давно уж она в наших краях не показывалась, а теперь показалась; грехи, должно

быть, наши чересчур велики стали, потому начала она у нас народ валять, как валяет буря деревья в лесу.

Забралась она, лютая, в хоромы к Кирилле Семенычу и на второй день светлого праздника в одну минутку трех деточек его в гроб уложила. Не мог еще с ними проститься отец, — из дома все выпустить их не хотел, как она через два дня остальных двух заела. В избы тоже к рабочим и к приказчикам болезнь та мимоходом, должно быть, зашла, так что в один день из ворот Кириллы Семеныча двенадцать гробов выносили.

Идет за ними одинокий старик, лысой головой трясет, улыбается и христосоваться ко всякому лезет...

Такую-то старость, такую-то дряхлую, слабую старость представил он собой в это время, что жаль было смотреть на него. Многих неразумных и смех на него разбирал, потому согнулся старик в три погибели, видно, что и сам он, пожалуй, сейчас только с своими детьми порешился, а он идет, так-то усмехается всем и, ровно жених, прибадривается, — пьяный словно, на всю улицу, так что пенье заупокойное перервал, шумит: «Я, говорит, градской голова! Богаче меня во всей губернии человека нет!»

Только никогда мы не слыхали от него, чтоб он до этого времени песни какие-нибудь игрывал, а тут услыхали. Такую-то залвонистую песню затянул старичина, за гробом детей идучи, — всех нас ужас объял; а он так-то весело, так-то любовно смотрит на всех и смеется.

— Ну, ну, — кричит, — дальше от нас сторонись! Я ведь купец, гражданин почетный! Я, милые вы мои, градской голова, — и при каждом чествовании голос свой все выше и выше вздымал и руками махал, словно пьяный.

Недолго промаялся горемычный старик. Может, с месяц после смерти детей прожил, — и хоронить-то его, бедного, некому было. Чужие люди уж, любви к ближнему ради, на вечную дорогу его приготовили...

Отошли за неимением прямых наследников белокаменные головины палаты в казну под присутственные места. Только ж недолго и казна нажила в них. Так-то ярко в одну ночь загорелись они — и только одни обгорелые, черные стены остались от них. Так и теперь их никто не поправляет. Ветер, какой в пустоте их завсегда свистит и гуляет, очень пугает наших ребятишек.

Слышно было, что приказный какой-то нарочно присутственные места поджог, дабы можно было ему без опаски документы из дела одного богатого барина выкрасть. В пожаре, мол, утерялись те документы, а потому обвиняемый подлежит подозрению... Вон куда статья-то заехала!..

Часто рассуждаючи об этой истории, мещанин Кибитка — законник наш — говорил: «Надо полагать, оттого так беспощадно господь этот род наказал и память об нем по ветру развеял, что набольший его на светлый, великий день Христов человека зарезал». Хмурил грозно в это время Кибитка свои черные брови и расстановисто толковал: «Всяка тварь в это время

ликует и веселится, а он, ничего того не взявши в расчет, человека жизни лишил»...

— Оно, может, и поменьше наказанье было бы роду тому, ежели бы вина его учинилась в будни, а не в праздник, — задумчиво добавлял законник.

— Этого ты не говори, Кибитка! Всякий человек, — кто-нибудь скажет ему, — за свои грехи сам отвечает.

Покосится, бывало, Кибитка на спорщика и потому только спорщика того за его разговоры не приколотит, что драться ему с тех пор, как он на кулачном бою бойца одного изувечил, указом запрещено было...

— Историю о слепорожденном вспомни и замолчи, — скажет он противнику своему. — В истории той все досконально изложено...

1861

ПОГИБШЕЕ, НО МИЛОЕ СОЗДАНИЕ

I

Америка имеет девственные леса, девственную почву, а Москва имеет девственные улицы. Говорю о таких лесах и таких улицах, где ни разу не бывала нога человека. Я, по-настоящему, должен был бы показать, каковы именно эти леса, для того собственно, чтобы читатель знал, как именно думать ему о девственности московских улиц; но в первом случае я рекомендую ему романы Купера, а во втором — мой собственный рассказ, и результат этой рекомендации будет таков, что из романов Купера он почерпнет настоящее понятие о девственности американских лесов, а из моего рассказа — о девственности московских улиц.

Во время моего первого знакомства с Москвой меня всего более поразило следующее обстоятельство. Идешь, бывало, по широкой, людной улице и видишь, что на каждом пункте ее кипит та деятельная, столичная жизнь, которая, как известно всякому мало-мальски порядочному фланеру-наблюдателю, заставляет провинциалов останавливаться чуть ли не на каждом шагу и смотреть на ее суету с неприличным даже раскрытием рта. Так вот, говорю, идешь по такой улице, и постоянно тебе мечутся в большие глаза эти чудаки, до глупости заинтересо-

ванные разыгрывающеюся на ней ярмаркой столичного тщеславия, до болезни глушит тебе уши грохот экипажей, и так это всего тебя распалит и разозлит эта «людская молвь и конский топот», что, натурально, озлобляешься против этого ничем не смущаемого зеваки.

«Эдакой балбес!.. Чего он тут зевает? — с какою-то злобой думаешь про любопытного. — Так спокойно загородил тротуар, как будто он устроил его исключительно для своего удовольствия».

Но не в этом дело. Главная сила вот в чем: оглушенные страшным шумом одной из главных улиц столицы, вы вдруг совершенно неожиданно, как бы по воле могучего чародея, переноситесь из этого места будто за тридевять земель. Так велика бывает разница в жизни московских местностей, находящихся в самом близком соседстве, что, перешагнувши иной раз из одной улицы в другую, вы только возможностью волшебства объясняете себе эту странную перемену домов, людей и даже самого климата.

Разозленные грохотом экипажей, навязчивостью разносчиков, неотразимыми претензиями на вашу щедрую милостыню тьмы темных личностей, извозчиками, которые, как будто с намерением, злят ваше плебейство титулом сиятельства, наконец, полным счастьем восторгающегося всеми этими прелестями провинциала, вы кисло морщитесь, поворачиваете направо или налево — и декорация в мгновение ока окончательно изменяется.

Пред вами уже не те изумительно-грандиозные четырехэтажные дома в половину квартала,

невольно заставляющие вас, при взгляде на них, раздуматься: обыкновенными ли человеческими силами строили их владельцы, или они прибегали в этом случае к каким-нибудь волхованиям?.. Таких палат, говорю, нет и в помине.

Перед вами робко вытянулся ряд скромных домиков, с этими милыми кисейными или ситцевыми занавесками, дающими вам неотъемлемое право предполагать, что за ними скрывается бедное, но благородное семейство, — с заборами, утыканными гвоздями и увенчанными наследственными деревьями, с туго припертыми воротами, с голодной и слепою собакой, равнодушой ко всему окружающему и глубокомысленно-молчаливой. Ряд этих патриархальных приютов обыкновенно начинается мелочною лавкой, а оканчивается будкой. У лавки стоит краснощекий хозяин в засаленном, как чумацкая рубаха, фартуке, всегда без картуза, с руками знаменательно заложенными за спину. На губах его сияет улыбка. Из окна, противоположного лавке, его высокоблагородие Роман Ефимыч, отставной майор и кавалер из палочной академии, «вежливенько», как бы и своего брата майора или титуляра, приглашает лавочника на чашку чаю. На крыльце будки сидит неразгаданный будочник: я потому употребляю этот эпитет, что обыкновенно решительно невозможно отгадать, дремлет ли будочник, утомленный долгим бодрствованием, или он так же бесцельно, как бесцельно бодрствует, смотрит на широкое картинное всполье, раскидывающееся за такою будкой.

В подобных улицах только и есть эти два пункта, откуда еще проглядывает жизнь. Остальные точки их решительно необитаемы и безжизненны, следовательно, девственны. Дальше слышно и видно только, как наследственные деревья, осеняющие гвоздистые заборы, дремотно качают верхушками и тихо шуршат листьями. Мертвая, ничем не прерываемая тишина и молчание самое усыпляющее завершают картину...

Почва этих, редкому смертному известных стран должна быть очень плодородна, потому что вся весьма тщательно удобрена всеми принадлежностями, негодными в хозяйстве: старыми, дотла изношенными подошвами, золой и разного рода, весьма легко поддающимися гниению, остатками от некогда, по всем вероятиям, пышных одежд. Распаханная неизвестно когда и неизвестно зачем проехавшими тут колесами, почва представляет все возможности прозябать на ней разной травке, достаточно высокой для того даже, чтобы в ней резвились и прятались разношерстные котята.

Приехавши в столицу из глубины степей более или менее откормленным парнем, я некоторое время был объят глубокою тоской по родине. Эта тоска усиливалась до тяжкой болезни, когда, бывало, городской шум прерывал золотую цепь моих представлений о тишине степей наших, о их могущественной красоте, о их, наконец, своеобразной, неприметной для постороннего глаза жизни, которая в неисчислимое количество раз казалась мне тогда и деятельнее, и разумнее жизни, так возмущавшей

своим громом мою степную натуру против столичной деятельности.

И вот, когда я в первый раз, случайно, попал в одну из девственных улиц, когда я увидел за забором одного домика развесистую яблоню, а на улице невыполотую траву, в которой играли котята и чирикали молодые воробьи, когда я почуял в воздухе нечто напоминавшее аромат степи, я почувствовал к этим улицам необыкновенную слабость. В их успокаивающей тиши очень скоро проходила хандра от отношений и обязанностей, которые неумолимо принуждает меня выполнить городская жизнь; поэтому вот уже несколько лет брожу я по этим улицам, ищу их близ застав, в Замоскворечье, ищу в сердце Москвы, и я даже открыл такую местность, которую сами обыватели не могли назвать мне. Недавно только, когда я изучал прилегающие к ней улицы, со мной встретился необыкновенно дряхлый старец, который сказал мне, что место это называется «Марьиной Слободкой», что это очень хорошее место, потому что живут они себе здесь тихо да смирно, ровно у Христа за пазухой.

Теперь я очень хорошо познакомился с этим стариком. Мой новый знакомый, когда я проникнул к нему в гости, представил меня другу своему, зашивальщику, тоже старику, живущему с ним на одной кровати, и потом уже на именинах у старика-зашивальщика я самым тесным образом сблизился с одним удивительно искалеченным ветераном и с соседом-будочником. Будочник, в свою очередь, обязательно пригласил меня к себе на именины.

— Смотрите же, не забудьте, сударь, третьего числа, — говорил он, прощаясь со мною. — Пророчица Анна и Симеон Благоприимец: это и есть мой ангел.

Таким образом, третьим февраля и начинается мой рассказ, характеризующий девственность московских улиц.

II

Только моя необыкновенная страсть смотреть, как поживают на белом свете разные добрые люди, заставила меня ехать «к чорту на кулички» — на именины к будочнику. Мороз был необыкновенный; треск промерзнувших крыш и заборов нарушал в этот раз мертвое молчание, обыкновенное в девственных улицах.

По приметам, сообщенным мне новым знакомым, я узнал дом, в котором квартировало его семейство. Маленькая, отощавшая собачка звонко ответила на скрип калитки, произведенный мною; ей откуда-то из угла отозвались куры сонным, продолжительным воркотаньем. Какой-то человек в мерлушечьем халате, с кокардой на фуражке, вероятно хозяин дома, пользуясь ночною темнотой, нисколько не компрометируя значка, рекомендовавшего его благородную породу, мел двор.

— Кого тебе? — сердито допросил он меня.

— Знакомого одного: будочником в здешнем квартале служит.

— Служит!.. Разве будочники служат?.. Служат только чиновники... Вон, ступай наверх.

Собачонка, тая от злости, подкатывалась мне под ноги. Мерлушечий халат ожесточенно прикрыл ее своей страшной метлой.

Я отворил тяжелую дверь, сколоченную самым медвежьим образом из толстых дубовых досок. За дверью царила непроглядная тьма; где-то вверху раздавались громкие голоса; плач охрипшего ребенка смешивался с гармоникой и с разухабистою песней.

Наконец я отыскал ступень лестницы и, с твердой верой в благость провидения, полез куда-то. По мере моего приближения к небесам, гармоника становилась слышнее, и я уже явственно слышал слова песни. Это был лихой хорей, сложенный, вероятно, поэтом-закройщиком и производивший в гостях гомерический хохот. Мне даже слышно было, как певец, окончив куплет, извинялся перед кем-то:

— Извините-с! — доносилось до меня. — Из песни слова не выкинешь. Ха-ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха-ха! — раздавалось во тьме, охватывавшей меня. — Не выкинешь: это точно. Того складу не будет, ежели выкинуть. Валяй всю!

— Ничего, ничего. Пойте, — отвечал на извинения певца женский голос.

Гармоника снова сделала несколько аккордов, как будто умирал какой-то самый бесшабашный удалец и при последнем конце своем захотел потешить отлетающую душу самою любимой, самою удалой песней. Вот из ослабевшей груди вылетели две-три ухарские ноты, шутившие над смертью, и замерли вместе с веселою жизнью. В тот самый миг, когда следовало окончиться

последнему аккорду, певец вдруг подхватил его своей оригинальной, хореическою поэмой, и снова темноту, в которой блуждал я, прорезал музыкальный поток слов, возбудивший новый хохот со стороны публики и вызвавший новое извинение со стороны певца.

Зная очень много всяких народных хореев и ямбов, я, тем не менее, с большим наслаждением слушал эту песенку. Она представляла для меня всю прелесть новизны как по своим мотивам, так и по содержанию. Первые, будучи необыкновенно однообразны (они состояли из одного вздоха, безустанно продолжавшегося во все четыре строфы каждого куплета, — такого вздоха, который, прерываясь каждую секунду и, следовательно, ослабевая в конце, каждую же секунду с новою силой вылетал из здоровой груди), — удивительно варьировались гармоникой. Последнее же, повествуя о похождениях некоторой вдовы, деревенской барыни, отличалось той крупною русскою солью, которою так забористо просолены наши доморощенные поэмы.

Облокотившись на какую-то стену, я выслушивал неимоверно забавные приключения вдовой барыни, и передо мною уже понемногу начинали рисоваться и одинокая глухая деревня, и ее безответная улица, наивно названная мужиками к р а с н о ю, — весь этот мирный быт далекого захолустья с каждою минутой яснее и яснее вставал в моей голове, и издали чуял уже я, как в конце улицы показалась эта барыня-домоседка. Бойко несет она свою благородную голову, храбро задравши ее к светлому небу,

и крик ее, разносясь по всей красной улице, до самого основания возмущает всегдашнюю тишину последней. Я начинал уже видеть барыню действующею в тех комических событиях, которые рассказывались и песней, и гармоникой, как вдруг стена, о которую я опирался, не выдержав моего напора, с скрипом валится на бок; я лечу вместе с ней и отчаиваюсь в моей драгоценной жизни, но, благодаря богам-хранителям, оказалось, что это была не стена, а просто дверь, отворявшаяся внутрь.

Я ввалился в комнату или, лучше сказать, в какую-то пещеру. Огромная русская печь и кровать занимали пять частей пещеры. На лавке, противоположной кровати, подле крошечного стола сидели две женщины. Человек шесть мужчин необъяснимым образом лепились около кровати, на которой не то сидел, не то лежал певец с гармоникой — молодой солдатик. При всем старании публики потесниться и дать мне пройти, я с трудом освободился от кулька, в котором, зная родные обычаи, привез имениннику штоф Руже и приличную закуску, чем (объясняю это символическое обыкновение) я как бы желал и даже давал ему некоторое право на пользование благами еще смачнейшими.

— Напрасно беспокоились, — говорил именинник, принимая от меня кулек, который в момент снискал мне расположение всех гостей.

— С ангелом! — приветствовал я. — Примите, не побрезгуйте.

С меня насильно стащили шубу, которую было хотел я снять сам, и посадили к дамам. Ко мне подвели маленькую девочку и строго, с подза-

тыльниками, приказывали ей поцеловать у дяденьки ручку. Охрипшею, простуженною грудью, ровно треск маленьких стенных часов, девочка прохрипела:

— Дяденька! Пожалуйте ручку.

Я поцеловал бедное дитя, осужденное родиться в пещере с промерзшими стенами, среди атмосферы, неминуемо влекущей молодую жизнь к раннему гробу, и в колыбели уж обреченное страданиям. В глубине души моей я благословил это дитя всевозможных нужд на добрый труд бедной жизни, на силу бороться с соблазном, который щедро рассыпается в подобных приютах праздностью и бессердечием молодых и старых богачей.

Я осмотрелся. Совершенно обледенелое окно пещеры, разогретое самоваром, как-то особенно грустно слезилось. От него и промерзнувших стен, тоже согретых и именинным истопом печи, и дыханием гостей, шли волнистые седые пары, наполнявшие всю комнату. Единственную сальную свечу, горевшую на столике, особенно густыми клубами накрыли эти пары, отчего она разливала по пещере слепой, ненастный свет, сообщавший всем предметам какой-то седовато-убогий цвет.

Прежние приятели мои — зашивальщик и искалеченный ветеран — грустно уединились в самую темноту к печке, широкое отверстие которой, сияя во мраке, делало из них как бы волшебных стражей заколдованного входа в подземное царство. Нисколько не вмешиваясь в общий разговор, они серьезно и терпеливо ожидали, когда, наконец, дойдет до них очередь

принять из рук хозяина рюмку и, пользуясь этим случаем, пожелать ему от бога всяких благ — душевных и телесных. Они, очевидно, были в загоне, то-есть внимание на них почти не было обращено, потому что очередная рюмка доходила до них после всех. Высокий старик, отставной фельдфебель с бобровыми усами и подковообразными бакенбардами, убедительнейше приставал к каждому гостю, чтоб он одолжил ему заимообразно до завтра гривенник, который он хотел подарить хозяйскому ребенку. Молодецки повертываясь на каблуках от одного гостя к другому, он уверял всякого с какою-то, так сказать, воинскою энергией, что такой милой и умной девочки он сроду еще не видал.

— Христос свидетель! — басисто и размашисто говорил он. — Не доводилось никогда видеть, а в каких-каких губерниях не побывал. Дайте до завтра гривенник, сейчас подарю, потому люблю ребят, и опять же я прост.

Отсутствие в кармане собственного гривенника, который бы на деле мог доказать его любовь и простоту в отношении ребят, вызывало у гостей недоверчивые улыбки. Хозяин просил фельдфебеля не беспокоиться, однакоже очередную рюмку подносил ему только третьему от конца, несмотря на его относительно высокий ранг. Бравый фельдфебель нисколько, впрочем, не претендовал на такое пренебрежение к военным доблестям. Он пил, когда ему подносили, и любо было смотреть на него, как он, приняв от именинника рюмку, говорил ему покровительственным басом начальника:

— А это можно, можно выпить: вино в пользу солдату, а паче фельдфебелю.

При этом он быстро опрокидывал рюмку в рот, настойчиво отвергая всякую закуску.

— Кавардак выйдет, ежели всякую рюмку закусывать будешь, — наставительно поучал он. — По-моему: выпил одну, хватил другую, так много уж. Ну, после того и насядь на закуску. Поешь вплоть и пей сколько хочешь; а как теперича неблагополучно себя почувствуешь, курни трубочки и шабаш.

— А по-моему, как я завсегда рассуждаю, без закуски пить — чревобесие выйдет одно; а чтоб оно, то-ись, в пользу человеку пошло — пустяки, — возразил молодой солдатик.

Бравый фельдфебель завел с ним продолжительный дебат весьма горячего свойства.

Я начал присматриваться к другим личностям.

Самым почетным гостем был, очевидно, молодой полицейский унтер-офицер, урезавший, как говорится, до риз-положения. На всякую внимательность, на всякое потчеванье хозяина он отвечал одним бессмысленным, икающим смехом.

— Не р-разберу, — кричал он, мотая головой. — Обстоятельней говори: я — твой начальник!

— Кушайте, кушайте рюмку-то. Очередь за вами, — отвечал хозяин, видимо робея.

— Ну, выпил. Што ты еще можешь мне говорить?

— Кроме, как угощенья, могу ли с начальником о чем говорить?

— Вер-рно! На чистку снега не ходи завтра. Сиди дома: я тебе позвол-ляю.

— Благодарствую, сударь. Позвольте ручку поцеловать.

— Целуй! Я тебя за твое почтение очення люблю. На вот, твоей девчонке двугривенный.

И ундер, не зная почему, залился своим икающим смехом.

Выпивка с каждою минутой принимала более и более широкие размеры. Бравый фельдфебель пустился в пляс с самыми неистовыми выкрутасами. У него сыпались необыкновенно смелые поговорки, поминутно вынуждавшие его извиняться перед дамами.

— Простите, Христа ради, старику, — умолял он скороговоркой, постепенно делаясь бравее и бравее. — Ради именинника простите. Мне, по-настоящему, уж пора бы и перестать чорта-то потешать, да куда ни шло! Может, за мою службу богу и великому государю мои грехи на том свете и простятся.

Фельдфебельский пляс увлек всех. Разговоры сделались живее, движения порывистее. Молодой солдатик, заливаясь самым лихим манером на гармонике, дружелюбно подмаргивал мне и сидевшей подле меня женщине в шелковом платье на пляшущего старика. До этого времени вся публика слишком заметно сторонилась нас обоих, называя мою соседку не иначе как барышней, а ко мне ежели кто относился, так с почетным титулом вашего благородия.

— Да это что? — говорил фельдфебель, останавливаясь, наконец, предо мною. — То ли в старину было!.. Укатали бурку крутые горки. Имеем, сударь, окромя Егория и всяких медалей, шестьдесят годов на плечах, а по божьему-

то сказать, на баранью морду всех этих штук не накупишь. Выходит, я их заслужил. Заслужил? — Истинно заслужил, потом да кровью во владенье свое приобрел. Оттого теперь и кости болят. Зато, чтоб обидеть меня кто мог — подожди!.. На офицерской линии состою, в сусалы-то ко мне не больно доберешься... Вот что!.. Хозяин! Поднеси нам по рюмке с барином, храбрости ради.

Хозяин поднес нам. Фельдфебель чокнулся со мной и хватил; я тоже.

— Офицером быть бы вам, — сказал он: — знатно вы пьете, потому и ум, надо полагать, не малый имеете. Не люблю я, как барич какой рюмку поднесет ко рту и рожу скорчит да отплевывается, ровно его в лоб ошарашили. У меня сразу: марш! — орал он, в одно мгновение ока уничтожая другую рюмку, которую, не дожидаясь потчеванья хозяина, налил уже сам. — По дружбе говорю: пивал прежде, — продолжал он: — то-ись столько этого добра употреблять мог, что офицеры, бывало, в полку нарочно складываются: четверть купят — как это я пьяный буду? Часика два посидишь за ней — и аминь; только голос покрепче сделается. А нынче вот, кроме как сила не та уж стала, жена завелась. По дружбе сказываю: бьет, коли что насчет водки пронюхает... А насчет жены вот что скажу я тебе, друг ты мой сладкий: чорт да баба хоть кого околпачат. Вот со мной какой случай был. Года три тому будет, приходит ко мне приятель один, тоже унтер-офицер. Дело на масленице было. «Пойдем, говорит, выпьем для праздника. Есть, го-

ворит, у меня знакомая женщина такая, так мы к ней в гости пойдем. Не подумай, говорит, какая-нибудь: в корпусе прачкой числится, вдова, говорит, солдатская, с матерью и с детьми в казенной квартире живет». — «Что ж, говорю, пойдем». — Захватили мы, знаешь, кой-чего по мелочам: водчонки да закусчонки, сколько смогли, и приходим. Приходим и видим: так это чисто каморка у той вдовы прибрана, сама в белом чепце сидит, на пяльцах шьет: лицом, признаться, не так чтобы, даже прямо сказать: страсть страстью! На девчонке на ее платьице новенькое надето, ситцевое, на двух ребятишках рубашонки такие новенькие; канарейка у окна в клетке висит, и цветы стоят. Фу, ты, мол, господи! Вот у нас солдатки-то как поживают! «Очень, говорит, рада вам, господа! Милости просим садиться». Сели. Посидемши, выпили, выпимши, разговор завели, а там опять выпили. Ничего. Детишки это такие ласковые: не боятся, как в других местах, а так прямо на колени и лезут. Мы им с ундером на гостинцы сейчас, а мать это к нам: напрасно беспокоитесь, говорит. Тут мы еще выпили, матери поднесли, — древняя эдакая старуха, — та благодарна осталась. Хорошо-с!.. Нам, сударь, не наказать ли еще хозяина-то по рюмочке? — вдруг предложил мне фельдфебель, задумчиво покручивая усы.

— Не часто ли будет? — пожелал я узнать.

— Не часто, — ответил он.

— Ну, так накажем, — согласился я.

Хозяин весьма обязательно подверг себя тому наказанию.

— Вот я, приятель ты мой дорогой, и разогрелся у этой самой вдовы. Так это мне после выпивки хорошо у ней показалось. Стыдно сказать, а всплакнул я горько у ней за полштофом. Думаю себе: господи, господи! Дожил я до седых волос, чин по своему солдатскому званию не малый заслужил, опять же жалованье, по тогдашней службе по моей в швейцарах, двенадцать с полтиной ежемесячно получал, — и нет у меня ни роду, ни племени, ни друзьев, ни приятелей. Думаю я так-то себе, а сам плачу, словно река разливаюсь, и показалась она мне тогда, эта вдова, бог знает какою красавицею. «А что, говорю, вдова божья, давай-ка, братец ты мой, мы с тобой перевенчаемся...» Бухнул я это ей, а она ничего, что пьяный человек присватался за нее, с лапками ко мне. «Давай», говорит. Мать за попом сейчас побежала, честь честью образом благословили нас, и стали мы жених и невеста. Не мало я радовался в пьяном-то виде... Проснулся поутру, трещит голова. Куда это, думаю, попал я. Уж и забыл про все. Ребятишки ко мне сейчас: тятей почали звать, — она их уж навострила. Невесту тоже увидал, пришла откуда-то. Увидал ее, ужаснулся, да все и вспомнил. Куда, думаю, дену я эту ораву? Чем я ее прокормлю? Трое детей, мать-старуха еще, сам наприбавок, всего шесть человек выходит: по два рубля на душу приходится. Сумленье меня тут проняло: не маловато ли жалованья будет? Опять за вином я послал и говорю невесте: «А что, мол, невестушка моя милая, не простишь ли ты мне шали моей пьяной вчерашней? Я бы, говорю, отходу тебе,

что касается то-ись насчет денег, не пожалел дать». — «Ты, говорит, пустого не болтай. Я давно такого случая выжидала; а ежели ты, может, спятиться хочешь, так в суд пойдем. Я, говорит, тебя осрамлю, а жениться на мне все-таки присудят тебя беспременно». Смолк я тут, потому увидал, что не миновать мне женитьбы. О том только беспокоиться стал, как это с такой чучелой на свет показаться. Женился. Баба ничего, хорошая вышла, только что муштрует она меня очень. Выпить мне чтобы когда по-старому, и не на свои, а в гостях, — ни-ни, ни под каким видом нельзя. Слаба баба, и мог бы я ее, разумеется, пальцем одним придавить, — ну, никак я супротив ее лютости выстоять не могу, когда она меня пьяного по всем суставам. по всем-то суставам, словно собаку, чем ни попало колотить почнет... В других разах ничего — хозяйка как надо быть, и детишками тоже очень утешен, хошь, признаться, по доброте по своей частенько-таки приходится мне хлеб один черствый с водой есть, чтоб они без говядины не сидели, — любят тоже ребятишки говядину-то. Потому мое дело солдатское, привычное: они меня за это и любят... Значит, ничего! Жить можно, потому другие мужья и не с такими зверями живут. Главное, не думал жениться, не люблю я этих баб, а тут шут прорвал: в первый раз увидал — и обабился. Не подбей меня приятель на выпивку, и о сю пору холостой бы ходил, сам бы себе барином был; а теперь — на-ка!.. Не знаю, как сейчас и домой показаться, потому, сам ты видишь: проштрафился я здорово, — жаловался

мне фельдфебель, грустно качая головой и отплевываясь. — Не велико, правду сказать, несчастье, когда пьяного мужа жена бьет, — продолжал он: — только до гроба до самого, должно быть, горевать мне, потому за расторопность свою от всего полкового начальства всегда одни милости получал, а тут, напоследок, сглупил, на старости лет бабе под палку добровольно пошел. Мне это горько — от бабы терпеть, а второе мне горести, что сам я в эту петлю, так сказать, не подумавши, в пьяном образе влез.

Последние слова своей рацеи фельдфебель произносил уже сквозь слезы. И, конечно, это были слезы пьяного человека, но, тем не менее мне было очень жаль его, потому что я видел ясно, как человек умный по-своему, только что освободившись из служебного тридцатилетнего ярма, закончил свою жизненную дорогу, так трудно и так хорошо пройденную, какою-то роковой, непроизвольною глупостью, надевшей на него другое ярмо, которое он должен нести уже до самой могилы...

III

— О чем ты задумался, Сизой? — неожиданно отнеслась ко мне вдребезги разодетая женская особа, доселе ничего не говорившая.

Я выпучил на нее глаза.

«Почему это она знает меня?» — думаю себе.

— Напрасно ты притащился сюда, — продолжала она: — нечем тебе тут поживиться. В этом царстве мрака, как там это у вас литературно

называется, едва ли что увидать твоим слепым глазам. Ты ведь слеп; я давно знаю.

Я остолбенел.

— Однако, Сизой, ты чорт знает как постарел, и лицо у тебя, не взыщи за правду, как-то скверно вытянулось, поглупело, позеленело, измялось. Не очень давно еще ты был такой здоровый мальчишка. Помнишь?

Тут я вспомнил ее. Вспомнил, как несколько лет назад приехал я в столицу с разными детскими восторгами и, увидевши, что грозное слово и тяжелая рука тятеньки за пятьсот верст от меня, весь отдался влиянию некоторых угорелых ребят, и как эти угорелые ребята, воспользовавшись своим влиянием надо мною, осквернили мою шестнадцатилетнюю молодость.

В числе принадлежностей этого времени была и эта разодетая особа, известная тогда под именем разбойницы-Саши.

Это была высокая, стройная брюнетка с размашистыми приемами, громкой и всегда, даже над самыми любимыми предметами, злобно насмехающеюся речью.

— Ребята! — говорила она тогда, пародируя наши же фразы: — пьяницы вы, негодяи и глупцы здоровенные, это правда, но вы всегда найдете во мне добрую мамзель, готовую вам дать самые полезные советы, потому что я всех вас умнее, и доброты у меня у одной тоже больше, нежели у всех у вас вместе. Целуйте у меня ручки за это — и выпьем.

Мы целовали у нее ручки и выпивали. В настоящую же минуту я почти ничего не помнил об этом, но, при виде разбойницы, старинные,

давно прошедшие дни молодых увлечений живо воскресли в моей памяти, обширная программа разнообразных глупостей, наполнявших эти дни, повторилась в голове против воли и окрасила румянцем стыда лицо, давно уже от румянца отвыкшее.

— Это ты, Саша? — промолвил я.

— А то кто же? — ответила она, улыбаясь. — Глупо так долго меня не узнавать. Я не то, что ты: я ничуть не изменилась. Я, кажется, никогда так не подурнею, как ты. Скажу тебе по секрету, одного боюсь: как бы еще больше не поумнеть, тогда я еще злей буду...

— Скажи, пожалуйста, только, ради бога, без острот, как ты попала сюда? Знакома, что ли?

— Напрасная просьба, Сизой; ты знаешь, я без остроты слова не могу сказать. А попала я сюда потому, что сей макарка (ты знаешь, что макарками будочников зовут) — мой единоутробный братец.

— Ты, помнится, говорила, что ты дочь полковника какого-то, потерявшаяся от гибельных обстоятельств.

— Все ты перевираешь, забывчивый! Дочь майора, я тебе говорила, получившая прекрасное воспитание и погибшая вследствие пьянства родителя и собственной невинности. Но ты не должен был верить этому, литератор близорукий, потому что все мы — когда будешь писать обо мне повесть, скажи, чтобы «все мы» кривыми буквами напечатали — все мы так говорим. Поглупей какие скажут, пожалуй, что тятенька был капитан, а маменька майорша; оно, может, это и правда, только отчасти, всегда же

это вздор. Я просто подмосковная крестьянка, Дунька Мизгирева. Могла бы я и княгиней быть, ежели бы была прежде так же умна, как теперь, и немного злее того, как теперь. Верь ты этому, заступник простых русских людей, говорю тебе, и радуйся: я достойно бы украсилась сиятельным титулом.

В былые времена я, действительно, угорал от такого рода фраз. В устах разбойницы они способны были тогда томить мое сердце великой тоскою о том, что такая натура погибает безвозвратно: они волновали ребячью кровь мою до страстного желания посвятить молодые силы на то, чтобы поднять с болезненного одра прекрасную жизнь, изуродованную нравственными болезнями, и исцелить ее, но в настоящую минуту мне противно было слушать эти циничеcкие выходки и вместе с тем хотелось услышать их до конца.

— Что ты нынче поделываешь? — расспрашивала она меня. — Попрежнему ли с своими просвещенными приятелями несешь чепуху?

— Какие приятели, Саша? — отвечал я. — Тех уж нет: я давно с ними разошелся.

— Какой ты благонравный! В этом ты ничего не переменился. И тогда ты был такой же благонравный. Другие хоть пили и скандальничали, как повелевал долг службы, а ты ни в дудочку, ни в сопелочку; руки только всем связывал, — две рюмки тебя сваливали. Теперь-то хоть, по крайней мере, исправился ли?

— Кажется, исправился.

— О, добрый мальчик! Ишплявилься!.. Не видала я, ты думаешь, как с фельдфебелем вы

сейчас наказывали моего брата рюмочками? Впрочем, может, ты поступал так вследствие высших литературных соображений, — так это по-вашему говорится? Показала бы я тебе соображения, — ну, да уж бог с тобой: не хочу я больше быть Сашкой-разбойницей. Хочу опять быть Дунькой Мизгиревой и жить по завету отцов.

— Значит, ты тоже исправилась?

— Как тебе сказать? Право, не знаю. Вы тогда толковали: исправиться — значит вперед двинуться. А мне бы назад отодвинуться, к детству. Много то время лучше было.

— Конечно, то время гораздо лучше было, только легко ли тебе будет возвратиться к нему?

— Я не говорю, что легко. Да шатания-то мои мне опротивели до тошноты, а главное — старости страшно!.. Видишь ты этого солдатика? Вот все икает-то который? Это, милый ты мой, важная птица, завидный для девицы нашего сорта жених. Единоутробный мой и хлопочет теперь об этом из всех сил. И не почувствует, сердечный, как я стану унтер-офицершей и честною женой. Венец, брат, ведь все, не в одном нашем омуте, покрывает. Может, лет эдак через тридцать, прапорщицей буду, в большой свет попаду...

— Да, это хорошо! — сказал я в рассеянности.

— Да ты, я вижу, забавник! — ответила она с громким хохотом. — Поддакиваешь. Исполнение желаний и без твоих слов полное... Давай исправляться, Сизой!

— Давай, — согласился я.

И мы выпили.

— Скверная у меня привычка есть, Jean: выпью одну рюмку, хочется другую. Выпьем по другой!

Мы выпили по другой.

— И другая у меня привычка есть, еще глупее: когда выпью другую, уж не могу никак, — надо третью.

— Это ты шутишь?

— Ни-ни, — говорила она, наливая третью рюмку: — привычка; оттого я могу ишплявитьшя, как ты, а исправиться совершенно нет силы, потому что за третьей рюмкой у меня непременно следует кутеж, на-квит: через реки прыгаю, моря перехожу... Я, Сизой, больше всего люблю такие приятные занятия и уважаю на свете одного тебя да выпивку, а выпивку больше тебя, — имей это в соображении.

Между тем оргия, разгораясь, становилась час от часу безобразнее. Фельдфебель доказывал солдатику-музыканту, что он молокосос и что ежели он не будет оказывать старшему почтения, старший ему может в морду накласть, как и закон будто бы повелевает.

— Ну, это увидим! — отвечал солдатик, задумчиво и уже не так смело, как прежде, перебирая на гармонике.

— И не увидишь, как я тебе поднесу! — горячился фельдфебель.

— Увидим, — отстаивал солдатик.

— Ну, что, Сизой, пьян ты? — спросила меня Саша, раскидываясь на лавке и закуривая папироску.

— Пьян.

— Скажи же мне, ученый ты человек, когда люди лучше бывают: пьяные или трезвые?

— Пьяные.

— Bon! Я с тобой согласна. Значит, мы теперь с тобой ребята славные?

— Славные! — коротко отвечал я, потому что думы, одна другой печальнее, зароились в голове моей и отнимали всякое желание говорить.

— Так будь же ты совсем славный, — говорила она, очевидно пьянея.—Мне что-то ужасно весело. Веселись и ты! От скуки я покажу тебе несколько картин из моей жизненной панорамы, так как я очень часто хохотала над твоею всегдашнею страстью собирать материалы для изображения народных нравов. Вот эти картины! Смотри и слушай: вышла я замуж за икотника-ундера. Вот продала я и заложила благоприобретенные шелки да бархаты, купила что нужно детям, мужу, матери его и пою:

Подвязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

Хорошо? Нам не выпить ли, Jean?

— Пожалуй, я налью тебе.

— Я тебе, пожалуй, сама налью. Только ты не будь бабой, пей со мной. Ведь я, может, в последний раз кучу с барином. Ты барин, что ли?

— Столько же, сколько ты барышня.

— Я нарочно тебя спросила: думала, что врать начнешь. Тогда об тебе врали какую-то чепуху. Однодворцем тебя называли, поповичем

и чорт знает чем. Я всегда тебя за это любила, Сизой! Потому ты не плоше меня утирал носы разным ослятам. Я очень любила в свое время колотить и издеваться, в шутку будто бы, над разными тузами, и чем туз был толще и вельможнее, тем мне было слаще. Вспомнишь только — в восторг придешь... Сизой, брат мой, слепленный из одной глины со мной, предлагаю тебе тост за процветание доброты в той грязи, откуда мы с тобой выползли...

— Молодец ты, Саша, ей-богу! Ура!

— Ура! — ответила она громко.

Я решительно опьянел.

— Веселей держись! — говорила она. — Ты старайся не пьянеть; мы с тобой побольше выпьем и больше поболтаем. Брат, дай сюда холодной воды и лимонов: мы будем пить и освежаться.

Нам подали воды.

— Хорошо в меру выпить, Сизой, а лучше того не в меру, когда ничто не заставляет тебя не говорить того вздора, который лезет в пьяную голову. Я очень это люблю. Запрусь и пью... Ну, так вот, Jean, смотри же мои картины, они тебе будут полезны. Чорт их возьми совсем, они, по-вашему сказать, рисуют общество.

— Говори, сделай милость, я слушаю.

— Помню я, — начала она, — как ты рассказывал про жизнь тех людей, которые родили тебя, воспитали, но ты говорил, что тебя так и тянуло от них. Мне очень нравился тогдашний твой рассказ: пьяна ли я была, ты ли пьяный хорошо говорил, или просто твое детство

напомнило мне мое детство. Помню я себя вот с какого случая. Ребятишки и девчонки катаются на салазках с горы через всю реку. И я тут. Дорога наша лежит на аршин от проруби. На этом катании был ли кто моложе меня? Только я села в салазки, и мигнуть не успела, как очутилась вместе с ними подо льдом, да столкнула туда ж соседку одну: белье она мыла. Меня соседка вытащила, — место было не глубокое, а салазки там и остались. Мне никогда не было так больно, как когда я, мокрая вся, бежала с катания по улице. Резвая я очень была, бежала скоро, а шубенка овчинная с рубашонкой замерзнуть успели. И выдрали же меня, что я чуть не утонула! Сначала высекла мать, потом жена старшего брата потихоньку от матери рвала меня за волосы, а тут отец еще высек. Не диво, что мать высекла, но я не могла понять, за что меня высек отец. Мы его только и видали о праздниках, когда он, бывало, придет из Москвы и пропьет все: пьет в кабаке, пьет дома и всех колотит. Никогда я не видала, чтоб он с кем-нибудь не дрался или бы не бранился самым подлым образом. Никогда не видала я от него ни одной ласки, а говорили все, что он был умный старик и зарабатывал много; одна беда — пил!.. Долго я сидела на печи, обсушивалась, а сама, помню, все думала: за что этот мужик меня высек? Я всегда называла отца: чужой мужик. А он, знаешь, московская штука, сидит себе на лавке и кричит мне на печь: «Иди, Дунька, сюда, у тятеньки прощения проси, ручку целуй»... А у меня грудь надрывается от злости; зады-

халась я тогда от желания быть большим мужиком и прибить его до смерти... Сижу на печи, плачу и шепчу: «За что дерется чужой мужик? Что он силен-то? Эка! Сладил!»... Теперь сам посуди, каким я зверем родилась. Увидала я, наконец, что может чужой мужик бить меня, сколько его душе угодно, а я сделать ему ничего не могу, и надумалась. Слезла с печи, подошла к нему, говорю: «Прости, тятенька! Дай ручку поцеловать». — «Давно бы так, говорит. — На, целуй!» — и подал руку. Взяла я руку у него, смотрю на нее, а не целую, потому что, помню, передернуло меня всю от радости в это время. «Что же ты, спрашивает, не целуешь?» Как вопьюсь я ему зубами в большой палец, как стисну его, так он застонал даже. Чувствую я, полон рот крови у меня, и жалко уж мне стало чужого мужика, а выпустить все не могу: замерла... Насилу он вырвал от меня палец, — все тело было с него сорвано... Как увидала я кровь, плакать было принялась и, в самом деле, хотела прощения просить. Только суждено мне, должно быть, никогда никому не показывать хорошего чувства, потому что сызнова принялись они меня все сообща сечь, и опять пуще разозлилась я на них, не за то, что они меня мучили, а за то, что они сильнее меня и что нет у меня у самой силы истиранить их... Так жила я до десяти лет. Перед рождеством приехал из Москвы отец, как водится, пьяный. Пил он после своего приезда и колотил нас дня три, до того, что мать одна оставалась с ним, а мы все разбежались по соседям. Только раз пошел он

в гости в ближнюю деревню, а оттуда принесли его уже мертвым: замерз на дороге. Остался наш дом без головы. Детей родные к себе разобрали, мать в Москву в кухарки ушла и меня с собой взяла. Тут и начинается моя настоящая история. Года два я шаталась с матерью по чужим домам, и у кого она живала, все на меня любовались, бездетные купцы вместо дочери просили меня, — не дала. Бог знает отчего. Не было ни одной хозяйки у матери, чтобы с кухни не взяла меня к себе в комнаты и платьев не нашила. Умерла мать, — осталась я по двенадцатому году одна на свете. Уж не знаю, какой добрый человек пристроил меня в учение к модистке. Тут я, должно быть, и приобрела свою силу мужскую, когда ведра тяжелые таскала, когда в морозы, кое-как прикрытая, по целым дням белье мыла на реке. Впрочем, я эту модистку не проклинаю за ее обращение и на мастериц не сержусь; бывало, они по ночам при нас, при маленьких, впускают любовников в окна, — такое уж у них заведение было. Терпению я тут выучилась, что лошадь; пожалуй, теперь могу два дня не есть и не пить, и одеревенело, я тебе скажу, тело мое вот как: кажется, выдержу, не крикнув, какую хочешь пытку. Зато не обидел же меня после даром никто: оскорбил меня ежели мужчина, так я тоже непременно своими руками расправлялась с ним... Дотянула я эдаким манером до пятнадцати лет, и молодежи, бывало, не отгонишь от нашего магазина. Тут найдись у меня родня — вдова старшего брата. Стала она меня брать к себе по праздникам в гости. Мастерства никакого,

а живет, погляжу я, в достатке. Квартира хоть куда, комнат много... Сижу я у ней раз, вижу: подкатила к крыльцу коляска, — офицер в ней из уланов. Это князь один был, дурак и мерзавец такой, что я другого и не видывала. За тысячу целковых она ему меня и спустила. Квартиру мне нанял князь, одел как куклу, вещей надарил, и приятели его тоже. С год я так жила, и хоть бы раз пришло в голову, что ведь надо же этому, рано ли, поздно ли, кончиться. Платья, золота, серебра накопилось у меня в то время, так я думаю, тысяч на пять. Только приезжает вдруг князь ночью ко мне с каким-то другим. Поговорили они что-то, пересмотрели вещи, мебель и уехали. Наутро опять приезжает и говорит: «У меня, душа моя, обстоятельства очень плохи. Ты мне позволь на время заложить твои вещи вот этому самому. Я, говорит, скоро выкуплю». Вывезли все из моей квартиры. Осталась я в одном салопе и жду, когда это он вернется. А он день за днем реже да реже ко мне стал ездить и денег почти что давать перестал: сидела я тут и без чаю и без обеда частенько-таки. Хозяин приходит, деньги за квартиру стал требовать. Я пришла к князю в дом. «Ты что же, мол, денег за квартиру не платишь? Отчего у меня не бываешь?» — «Я, говорит, нынче на службе состою и бывать у тебя не могу больше; прощай, говорит. На вот тебе денег. Только ты из них не плати хозяину; пусть он мебелью остальной пользуется». А мебели оставалось на три гроша всего... «Изредка, говорит, пиши ко мне; я к тебе приезжать буду». — «А что же, говорю,

когда ты на мне женишься? — «С ума ты сошла, видно?» Такая я тогда дура была: верила ведь, что может он жениться на мне. Стою я перед ним красная вся, а в голове у меня точно колесо вертится: «Какой же ты подлый! Какой же ты мерзкий обманщик!» Смотрела-смотрела я так-то в лицо ему и все думала, что это он шутит, потому часто, бывало, нарочно принимался дразнить меня, — да пачкой этой с деньгами, что дал он мне, прямо в рожу ему угодила... Ну, веришь ты, что это за человек подлый был? Саблища у него эта в углу стояла, так он с ней на меня и ножнами меня по спине. Может, он и больше бы прибил меня, только вырвала я у него саблю и всю ее об него обломала... И била же я его, негодяя, до тех пор, пока не бросила. Всю руку он мне, которой я его руки держала, искусал, собака скверная, когда вырывался, а людей не позвал. Стыдился показать-то, как его девка бьет. Я тебе вот что скажу, Сизой: все бы я на свете сейчас отдала, только бы его в другой раз еще так же поколотить... Выпьем же мы с тобой за конец моей первой любви. С князем у нас тут дела и кончились.

— Выпьем.

— Прибежала я в ту же ночь к старушке одной знакомой. Квартиры она со столом держала. Рассказала я ей все, — она меня к себе приняла. « Живи, говорит, пока я тебе работу найду». И не могу я даже понять, за каким чортом, когда жила у этой старушки, каждый я вечер шаталась к квартире князевой и в окна к нему смотрела? Ругаю себя, бывало, а иду и

все хочу его встретить, взглянуть на него... Потому удивляюсь, что ежели бы он приехал тогда ко мне и сказал бы, что прямо под венец меня повезет, я бы его все-таки избила: так он мне противен был! Мороз по всему телу пробегает, как только вспомню, бывало, как он меня обнимал... Живу я у этой старушки. Работу она мне изредка доставляла. Нанимал у нее же комнату один гимназистик, хорошенький такой, только курс кончил и на место куда-то в дальнюю губернию сбирался. Прознал он мою историю, познакомился, читать и писать учил, помогал, чем мог. Такой был скромный и добрый, никогда ни одного слова, знаешь, эдакого не сказал мне. «Переходите ко мне в комнату, — говорит раз: — у меня веселей. Вы, говорит, не подумайте чего - нибудь... Я так... Мне одному скучно». А сам краснеет. Я и перешла. Месяца два жила я с ним, хорошо жила. Время это я никогда не забуду. Учил он меня, книги читал, стихи. Многому я от него научилась, и в голове свежей стало; князя совсем позабыла. Только вижу я: полюбил меня мальчишка, делом перестал заниматься, тоскует. Какие же глупые дети мы были тогда! Желается сказать о своей любви, и видим мы это друг в друге, а не говорим. Долго так тянулось. Читает он, бывало, мне что-нибудь, долго читает, забудется и примется смотреть на меня, — я тоже смотрю на него, — и сидим так, пока не опомнимся, а опомнимся, стыдно-стыдно нам станет!.. В жизни у меня только это одно счастье и было. Больше бы хотелось, Сизой, да взять негде? Давай утешимся! Идет?

— Идет! — отвечал я, догадавшись, в чем дело, и мы еще выпили. — Как же ты покончила с гимназистом?

— Как покончила? Просто: новыми слезами покончила, новыми страданиями. Вечером сидим мы с ним, и так-то горячо, с такою-то лаской читает он мне:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...

Прочитал он мне это и стал говорить о снисхождении и о прощении тем, кто пал, и что какая великая заслуга поставить блудного на путь истинный, а сам все ближе ко мне. Я тоже не сторонюсь, потому что как в раю была я от этих стихов:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...

И думаю я себе, что вот он-то и позовет меня в свой дом, и млею, и уже не отвертываюсь от него... Ну и позвал он меня. Обняла я его, прижалась к нему и говорю: «Ведь вы знаете, какая я?» — «Что ж такое? — говорит. — За это я еще больше люблю тебя!..» — Выпьем еще, Сизой, потому что порешили мы тут с гимназистиком пожениться... Зато, как узнал об этом решении его отец, нарочно притащился из глуши из своей в Москву и отнял его от меня; говорит старый плут: «Я вам, говорит, вместо свадьбы-то такие-то поронцы устрою жаркие! Тебя собственными руками, а к ней в квартале солдаты руки приложат»... Было мне муки тут, друг мой!.. Один раз в жизни на человека, надобно думать, такая скорбь посылается... Я и

теперь еще его не забыла: как о чем задумаюсь, сама не чувствую, шепчу:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди...

Познакомилась я после того с различными добрыми душами — и запила... Встретилась я с одним человеком. Он дал мне квартиру. Видела, что он ужасно ко мне привязался. У него-то я и лизнула этого вашего развития да образования, — будь оно проклято!.. Очень он пристально со мной занимался, читать по-французски учил. Только чем же все кончилось? Привязалась и я к нему, и поняла, в чем дело. Это был герой нашего времени: все бы ему делать добро, да силы нет. Раскусила я это, и стало жалко мне его, слабого, и оттого я больше привязалась к нему. Живу я с ним год, другой живу, вдруг он, здорово живешь, пить начинает, как сапожник какой. Убежала я от него. Пойми ты: навострил он меня настолько, что поняла я, отчего он стал пить. Стал скучать со мной, навела я на него хандру, да и обстоятельства его такие были, что я ему карьеру портила. Я и убежала от него... Хуже, думаю, как не трезвый, так пьяный к чорту пошлет меня сам. Чего ж дожидаться-то? Лучше его избавить от пошлости от такой. В благодарность за нравственное добро, которое он сделал мне, я избавила его от тяжелой необходимости... Кажется, мы с ним квиты. Но странно, знаешь, что ни одного из э т и х никогда я не встречала. Выпьем, Jean, за упокой, коли они все умерли, — за здоровье, коли живы!

— Выпьем, Саша! Я, главным образом, люблю тебя за то, что ты умеешь находить резоны, подвигающие на выпивку. Без того бы совестно было так много пить.

— Очень рада, что угодила. Теперь мы будем с тобой больше пить: устала я говорить, да и говорить не об чем... Кого я потом ни встречала и с кем ни сходилась, с тем, ты так и знай, я уж непременно подралась. Оттого и хочу исправиться, — закончила она, наливая рюмку.

Вдруг неизвестная женщина, молодая еще, с криком вламывается в комнату и бросается на икающего ундера. Вместе со стулом повергает она его на пол и без церемонии начинает таскать за волосы.

Хозяин и гости пытаются отбить у нее ундера.

— За что ты его? — спрашивает хозяин. — Что ты это? Что ты делаешь?

— А ты что делаешь? — азартно осведомляется женщина. — Затянул в свою берлогу молокососа да на своей подлой сестре женить его хочешь? Пока жива буду, вот вам что!

И к самому носу будочника подносит она кулак свой.

Саша равнодушно смотрела на эту сцену и улыбалась.

— Чему смеешься-то, паскудница? — заорала на нее незваная гостья. — Ах ты, подлянка! Чужих любовников отбивать вздумала. Не по носу табак: хрящ переест.

— Что ж ты не пьешь, Сизой? — сказала мне Саша. — Пей, пожалуйста. Чорт знает, как скучно!

— Ты не ругайся, матушка! — посоветовал бабе бравый фельдфебель. — Видишь: здесь барин сидит.

И он указал на меня.

— Чорт с вами, с подлыми, и с барином совсем! — еще громче кричала бабенка. — Я сама барыня. Иди, иди домой, пьяница, — тащила она ундера. — Я тебе задам жару. Будешь ты у меня свататься шляться!

— Говор-рри пош-штительней! — бурчал ундер. — Я твой нач-чальник!

— Ух ты, рожа дурацкая! — бесчестила его попечительница. — Вишь, начальник какой нашелся.

И она заехала его по физиономии.

— Вишь, какая проворная! — толковала публика про неизвестную бабу после ее ухода.

— Напрасно я тюти ей вот этой не поднес, — печалился фельдфебель, показывая кулак. — Ей бы ничего: на здоровье пошло бы...

— Истинно, что напрасно, — согласился хозяин.

— Ну, что, Саша? — спрашивал я. — Улетело твое счастье, что ты сейчас мне рисовала. Нужно тебе другого ундера искать, а то ты, пожалуй, так никогда и не исправишься.

— Чорт с ним, с этим счастьем, — с досадой и отрывисто ответила она. — Неужели ты не понял, что братнины хлопоты о моей, как он называет, пристройке забавляют меня? Мое счастье во мне, Jean! Мне бы только крошечку поумнеть, да злиться перестать понапрасну, да на месяц лаять перестать: вот я тогда и счастлива буду... Пока придет это время, мы с тобой выпьем: веселей ждать...

— И я с вами! — ловко подскочил к нам на каблуках фельдфебель.

— Милости просим! — ответила ему Саша.

— Милости прошу ко мне в гости, — заискивающим тоном приглашал нас фельдфебель. — А ежели, может, насчет жены сомневаетесь — вздор!.. Когда она грубость какую скажет, я ей, Христос свидетель, рот передерну... Шуметь я с ней не буду тогда, — добавил он с громким смехом. — У меня ежели ты супруга, так ты меня спокой, потому на меня не налетай... Мы и без супруг на своем веку довольно много всякой коки с соком накушались! Ха-ха-ха!.. А то супр-рут-га!..

Очень поздно я вышел от именинника.

Девственная улица была совершенно пуста, и молчание самое невозмутимое угрюмо в ней царствовало. Вся заваленная страшными снежными сугробами, она представляла до того бездушную картину, что яркий свет молодого месяца нисколько не оживлял ее. Не было ни извозчиков, как в других улицах, ни просто людей. Ворота везде заперты тяжелыми замками, оконные ставни закрыты наглухо и опоясаны толстыми железными болтами.

Я очень хорошо знал, что тишина эта только кажущаяся, что не в одном только доме, откуда я вышел сейчас, кипит в настоящую минуту жизнь, разыгрываются веселые или печальные сцены. Оттого мне и казалось весьма странным, что ни разу не удалось мне подметить ни одного проявления этой жизни ни на улице, ни в нескромных окошках. Думаю я: ведь непременно

же в одном из этих домов, сейчас же, может быть, попечительница икающего ундера бьет и ругает его: отчего же я не слышу этого крика? Отчего не слышу ни одного звука на улице, ни одной живой души в ней не вижу? Мне даже стало досадно от того, что я не мог разрешить себе этих вопросов.

«Кто не имеет тени, тот не должен выходить на солнце», случайно попалось мне на язык.

Иду я и бессознательно пережевываю эту фразу. Передо мной заходили фантастические приключения Петра Шлемиля, о котором сказал ее Шамиссо, как вдруг приметил я, что от низеньких домов девственной улицы падают на снежную дорогу громадные тени. Я остановился и осмотрелся. Моя тень показалась мне в пять раз больше обыкновенной тени, от меня отражающейся. «Вот странность! — подумал я про себя. — Отчего это у меня такая длинная тень?» Показалось мне в это время, что уличный фонарь, прикрепленный к столбу, как-то иронически посматривает на меня. Подошел я к нему близко, осмотрел я его со всех сторон, и, действительно, невинный висельник смотрел на меня необыкновенно насмешливо. Подперся он в бок железным локотком и, каждую секунду подмаргивая мне своим огненным глазом, так и покатывается со смеха.

— Чему ты смеешься? — строго спросил я его. — Можешь ли ты смеяться в такое позднее время?

«Могу, могу», — отвечает он.

— Нет, не можешь! Ты светить должен, а не смеяться.

«Я смеюсь и свечу. Ты посмотри, какая у тебя длинная тень».

— Вижу. Ну, что же?

«А моя, посмотри, длинна ведь?»

Я взглянул и на его тень. Боже! Она невиданным змеем каким-то растянулась вкось улицы, пробежала через соседнюю широкую площадь и скрылась из глаз моих во мраке уж другой части города.

Изумление мое возросло в высшей степени, тем более, что тень фонаря не лежала, как бы следовало, позади столба, а с непостижимым нахальством выпячивалась вперед. Фонарь больше и больше издевался надо мной.

— Отчего это? — допытывался я у фонаря.

«Так!» — отвечал он, продолжая хохотать.

— Не может быть, чтобы так. Ты наверно знаешь, только не хочешь сказать. Ежели бы ты не знал, — усовещевал я его, — ты бы не смеялся.

«Клянусь, не знаю. Меня сюда недавно поставили. В Газетном переулке, где я прежде стоял, тени у всех были обыкновенные, а здесь, видишь, какие? Кто только проходит по этим местам, особенно ночью, все меня спрашивают: отчего это? Я этому и смеюсь».

— Будто уж все? — спросил я.

Обиженный отошел я от него, справедливо воображая, что он знает гораздо больше того, нежели сказал мне.

«Не может быть, — думаю я про себя, — чтоб обитатели девственной улицы все имели такие длинные и более обыкновенного черные тени, как у меня и фонаря».

«У всех до одного такие!» — крикнул мне издали фонарь тонкою фистулой.

— Врешь! — ору я ему басом.

«У всех, у всех!» — снова донеслась ко мне фистула.

— Врр-решь, — изо всех легких трублю я в ответ, и сам остаюсь необыкновенно доволен, что бас мой звонко раскатился по сонной улице.

Согласным хором ответили мне обывательские собаки, пробужденные моим криком.

«Сейчас издохнуть, ежели вру!» — до-нельзя убедительно прозвенел фонарь тонким голоском.

— А ежели ты не врешь, так я знаю теперь, отчего все вы сидите за дверьми дубовыми, за замками железными, — именно оттого, что у всех вас здесь тени очень длинны, — бормочу я. — А кто имеет длинную тень, тому нужно дома сидеть, — пародирую я Шамиссо.

— Обстоятельней докладывай! — прохрипел чей-то знакомый голос.

Я останавливаюсь, нагибаю голову и стараюсь догадаться, кому принадлежит этот голос.

— Говор-ри деликатней: я — твой начальник!

Тут я догадался, что это икающий ундер. Сильный морозный ветер подул мне в лицо, и к первой догадке моей присоединилась другая, что я необыкновенно пьян. Только что пришел я к этому выводу, как, к крайнему моему удивлению, тень моя значительно уменьшилась...

Снова донесся до меня тонкий, насмешливый хохот фонаря; но голова моя была уж настолько свежа, что я теперь не обиделся на этот хохот.



«Вздор! — рассуждал я. — Это только так чудится мне».

Я перешел широкую площадь и повернул в другую, людную улицу. Повстречался со мной какой-то барин в истерзанном пальто. Он спотыкался на каждом шагу, очевидно, направляясь в девственную улицу.

— Ежели они опять спрашивать станут, — бурлил он, — отчего я пью, не буду разговаривать с ними: прямо в зубы заеду...

Длинная тень бежала за истерзанным пальто...

«Вот это действительность!» — подумал я.

Над самым моим ухом сторож затрещал в трещотку; посередине улицы быстро мчалась карета, сверкая фонарями; где-то гудели часы.

«И это действительность»,—продолжал я пробовать свежесть моей головы.

— Ваше сиятельство! Что же на рысачке-то обещались прокатиться! — говорил совершенно незнакомый извозчик. — Полтинничек бы прокатали, ваше сиятельство. Ах! хорошо бы мне ночным-то делом на полтинничек съездить! Пра-а-ва.

Я совсем отрезвел, потому что мне предстояла длинная дорога до квартиры пешком, ибо полтинника, который бы мог, по мнимому обещанию, прокатить на рысачке, ни в кармане, ни дома у меня не оказывалось.

— И это действительность! — сказал я вслух и бодро принялся гранить замерзшую мостовую.

Извозчик, обманутый в своих ожиданиях, загнул мне вслед неласковое слово. Мне почему-то стало веселее от этого слова.

1862

НАСУПРОТИВ

I

...Хотелось поскорее добраться до ночлега, потому что совсем свечерело и в воздухе ощутительно распространялись прохлада и тишина ночи.

Впереди меня, в влажном от вечернего тумана воздухе, неясно рисовались крыши деревенских изб. Может быть, впрочем, то были деревья леса, стоящего в стороне от дороги, а может быть, что облака туманные, закрывши собою верхушки придорожных вешек, обманывали меня.

Нет! Вероятно, это крыши домов, думаю я, и, действительно, вдали послышался лай собак и тот неопределенный гул, который обыкновенно несется из большого села, когда подойдешь к нему не так близко, чтобы можно было видеть его.

Потом я окончательно уверился, что близко село, что только или густые ветлы его огородов, или пригорок какой-нибудь мешают мне ясно видеть его. Навстречу мне попалась какая-то унылая баба. За плечами она несла связку хвороста и при встрече со мной низко мне поклонилась.

— Бог в помочь, тетушка! — сказал я ей.

— Спасибо, кормилец, — ответила она мне самым плачевным голосом.

— Далеко тут деревня-то?

— А вот за горкой-то. Подымешься как на горку-то, там тебе деревня и будет.

— Што ж это ты в лес што ль ходила по дрова? Ай лошаденки-то нет, што сама несешь?

— Какие там лошаденки, голубчик ты мой! Шестнадцатый год вот так-то маячусь без мужа. От одних дров всю спинушку разломило... Летом-то еще ничего; выйдешь на большую дорогу, обломает ветром ветки, — ну и собирай, не ленись только; а зимой, как в лес-то за ними придется итти, и-их страсть какая под снегом-то их откапывать!

— А ты бы к мужу шла, все бы, глядишь, полегче было, — посоветовал я.

— Где его найти, мужа-то? Он мне ни одной весточки об себе ни разу не дал. Ох! Далече, надо быть, загнали его.

Сильно задумался я, так что и не слыхал, как подошел к самому селу.

— Будьте вкладчики на каменное строение Николаю Чудотворцу, — растягивал древнейший старец, сидевший у часовни, выстроенной перед самым селом.

Его дребезжащий голос и звон колокольчика, которым старец сопровождал свое пенис; вывели меня из моего раздумья. Я осмотрелся. Предо мной была одна из тех быстро разросшихся деревень, которые, вследствие местных обстоятельств, в какие-нибудь пять или десять лет из поселка в три-четыре избы вдруг превращаются в длинные села с постоялыми дворами, харчевнями и проч.

Около часовни болталась толпа ребятишек. «Будьте вкладчики на мягкие калачики!..» — голосили они целым хором, очевидно поддразнивая сборщика-старца.

— Вот я вас, мошенники! — грозил им дед своею толстою палкой, не вставая с места.

Мещанин какой-то подъехал к часовне. «Будьте вкладчики...» — заголосил было дед, но мещанин предупредил его. Сняв картуз, он начал молиться, расправляя свои длинные волосы. Мальчишки между тем голосили громче прежнего: «Будьте вкладчики на мягкие калачики».

Мещанин, повидимому, не обращал на них ни малейшего внимания. Наклонившись к старику, чтобы сотворить ему милостыню на построение храма, он потихоньку сказал ему: «Поймать што ли, дедушка?»

— Пымай, пымай, голубчик ты мой! Пымай какого-нибудь. Изняли они меня, разбойники! Страсть, как изняли!

Вдруг мещанин бросился на стаю ребятишек, схватил какого-то мальчугана за всклоченный хохол и подтащил к деду.

— А, падлюка, попался! — шамшит дед и дерет мальчишку за вихры. Мальчишка орет во все горло. Мещанин стоит поодаль и приговаривает: «Вот это прекрасно! Вот это чудесно! Ай да дедушка! Половчей ему голову-то расчеши, — ему скоро жениться понадобится»...

От часовни к селу тянулся огромный сад, молодой еще. За садом начинался длинный деревянный забор с соломенными сараями, которые

особенно помогают отличать, в деревнях и селах, помещичьи дома от купеческих. Дома первых обыкновенно строятся, как говорится, на юру. Одиноко торчат около них беспорядочно разбросанные разные барские пристройки и службы, разрушенные и гниющие, тогда как дома купцов непременно обнесены новым забором, с воротами наподобие крепостных ворот, и видишь, что все это строение принадлежит одному хозяину, что так же крепко оно, как крепок хозяин сам, и что оно ново так же, как нов сад, который обыкновенно разводится за домом на таком страшном количестве десятин, какого достаточно было бы для того, чтобы поселить на нем целый город.

По всей длине садовой огорожи и деревянного домового забора быстро преследовали меня мальчишки, дразнившие старого сборщика.

— Цыцарцы, цыцарцы идут! — восклицали они, видя во мне передового тех несчастнейших шарманщиков, которые шатаются по уездным ярмаркам.

— Мотри, малый, заиграет сичас.

— Где заиграет? Вишь, у него короба-то нет на спине.

— А, может, он глаза нам отвел, вот мы короба-то и не видим.

На крыльце купеческого дома, сад и забор которого только что прошел я, сидели две девицы, полноты и румянца изумительного. При моем приближении они пугливо вскочили и убежали в комнаты. Между тем я поровнялся с домом.

— Вендерец какой-то идет, маменька! — очевидно, про меня рассказывали румяные девицы.

— Пусть идет! Бог с ним! — послышалось мне из растворенного окна.

— У вас все бог с ним! Выдь-ка, Матрена, за ворота поскорей, посмотри, не сдул бы чего; а я с крыльца посмотрю, — говорил мужской голос.

— Эй, цыцарец, сыграй на музыке-то, — с хохотом кричали мальчишки, бежавшие за мной.

На крыльцо купеческого дома вышел толстый мужчина с бородой, в ситцевой рубашке, и подозрительно смотрел на меня. Из-за его плеча пугливо выглядывали румяные девицы, в ворота выбежала маленькая, сухощавая бабенка и тоже устремилась на меня с самым наблюдательным вниманием. Вместе с бабой выбежала огромная собака и азартно залаяла и заметалась около меня. Ни сам купец, ни сухощавая бабенка не удерживали собаки, и только толстая палка моя держала ее в почтительном отдалении...

— Не можете ли вы пустить меня ночевать? — сказал я, обращаясь к купцу.

С какою-то особенной ненавистью посмотрел на меня купец, отвернулся и ушел с крыльца. За ним убежали полные девицы.

— Ах вы, братцы мои! Ночевать просится, — говорила стоявшая у ворот бабенка, помирая со смеха. — Милые мои! — орала она кому-то на дворе в растворенную калитку: — гляньте-ка, милые мои, цыцарец ночевать просится... Ох, чорт ты проклятый! Уморил совсем...

А собака между тем неистово-храбро подкатывалась мне под ноги, заливаясь валдайским

колокольчиком. Я не вытерпел и дал ей палкой туза. Завизжала собака, как обваренная кипятком, и бросилась в подворотню.

— Ах, чорт ты проклятый! — заорала с невыразимым азартом бабенка. — Ах ты, нехристь поганая! Собаку убил, вот я ребят вышлю — они те бока-то намнут...

Я скорыми шагами удалялся от сего прекрасного сельского убежища.

— А, идол ты эдакой, — собак бить стал. Моли бога, что ушел далеко, я бы тебе... — кричал за мной сам домохозяин.

Я очень хорошо знаю толк в степных идиллиях, чтобы нисколько не возмутиться незаслуженною бранью, которою осыпала меня красная рубаха, — и шел искать себе более гостеприимного крова.

Мальчишки, встретившие меня в начале села, между тем уже предупредили меня. Я очень явственно слышал, как они, разбегаясь по сельским улицам и переулкам, орали во все свои звонкие горла:

— Собирайтесь, братцы, цыцарцы в село идут!

— Пусти, хозяин, ночевать, — спрашиваюсь я у мужика, сидевшего на завальне первой избы.

Не ответив мне ни одного слова, мужик торопливо вскакивает с места и скрывается в сени. Я иду за ним, но дверь затворяется, — и я имею наслаждение слышать, как щелкнула перед самым моим носом ее железная запорка.

Вслед за мной раздается хлопанье избяного окошка. Из него любопытно высовываются несколько женщин.

— Этот? — спрашивают они у кого-то внутри избы, показывая на меня пальцами.

— Он и есть! — отзывается им мужской голос. — Откуда только наносит их к нам — коротkохвостых?.. Пойти лошадей посмотреть, целы ли! Не сцарапал бы их цыцарец-то!..

— Пойдемте-ка и мы, бабы, взглянем, не намазал ли он стены либо плетня чем-нибудь. У них составы таки есть: намажет стену с вечера, а утром, только что солнце пригреет, стена-то и загорится.

На другой завальне сидят два мужика и женщина. Они бойко толкуют о чем-то. Женщина громко хохочет, слушая их.

— Пустите ночевать, братцы! — обращаюсь я к ним.

— Што?

— Ночевать пустите.

Мужики смотрят на меня, как на такого человека, который вдруг ни с того, ни с сего дал им по самой ошеломляющей оплеухе. Бабенка, сидевшая с ними, видимо лопается, стараясь удержаться от смеха.

— Чужаки мы сами здесь, милый человек! У приятеля сидим. А ты вон на постоялом дворе поди попросись. Может, и пустят.

— А где же тут постоялый двор?

— А вон насупротив-то!

Я иду насупротив, а благоухающая вечерним запахом трав и дерев сельская улица оглашается басистым хохотом мужиков, пославших меня насупротив, которому дружно вторит тонкий и неистово радостный хохот бабы.

На крыльце насупротив сидит пожилая женщина и кормит довольно взрослого ребенка.

— Бог в помощь, милая! — желаю я ей.

— Спасибо, касатик! Што тебе надоть? У меня ничем-ничего нет. Водицы испить дам, коли хочешь.

— Ночевать пусти, тетка, у тебя постоялый двор. Мне вон те мужики сказывали.

— Што ты им веришь-то, зубоскалам! Они тебя на смех поднимают, — рази не видишь? Вон постоялый двор-то где, насупротив. А я, кормилец, одна с малыми детьми ночую. Мужики в поле, рабочей порою, живут. Так мне, женское дело, как же тебя ночевать пустить? Соседи смеяться станут...

Резонно! Пойду еще насупротив.

— Милый! — говорит резонная женщина своему ребенку, указывая на меня. — Вот они какие цыцарцы-то бывают — гляди! Они умеют глаза отводить. Они и малых ребят крадут. Он вот возьмет тебя и спрячет, — все будут видеть, как он тебя спрячет, а сыскать нельзя..

Ребенок пристально смотрел на меня — и думаю, что он совершенно мог запомнить, какие бывают цыцарцы, и положительно ручаюсь, что взрослый он тоже, как и мать, едва ли пустит к себе ночевать кого-нибудь из короткохвостых.

Из окна следующего насупротив светится приветливый огонек. На крыльце никого нет, кроме злой собаки, пропустившей меня через крыльцо тогда только, когда я ломанул ее вдоль боков своей толстой палкой.

Только что вошел я в избу, ужинавшее семейство несколько секунд смотрит на меня с не-

доумением, а потом, по сигналу будто чьему, вдруг разражается хохотом.

— Цыц! — грозно прикрикивает на семьян седой большак, сидящий под самыми образами в переднем углу.

Все умолкает от этого повелительного, строгого: цыц!

— Што тебе надоть? — спрашивает он у меня.

— Ночевать проситься пришел. Нигде не пускают.

Семейство, очевидно, не смеется потому только, что боится другого: цыц! Впрочем, младшие из его чинов не сдерживаются и потихоньку хихикают и перешептываются, во все глаза осматривая меня.

— Негде у нас ночевать. А коли голоден, — сурово говорит большак, — скажи, я тебе велю щей влить и хлеба дать...

— Спасибо за ласку. Ты ночевать-то пусти, а там я уж за все заплачу.

— Буде разговаривать-то по-пустому. Заплачу!.. Влей ему щей, Агафья! Поешь да ступай с богом! Ныне в поле тепло.

Я вижу, что мне еще предстоит итти в другой н а с у п р о т и в, потому что у большака, при дальнейших моих просьбах, начинают хмуриться сердитые брови...

— Где тут у вас постоялый двор есть? Меня все обманывают. Не хотят отчего-то правды сказать.

— И там не пустят... — уклончиво отвечал старик.

Я отправляюсь на божию волю искать постоялого двора. Наконец, вот он — этот новый сруб

из толстых сосновых бревен, с пучком серебряного ковыля над красным крыльцом, с ставнями, выкрашенными зеленою краской, с растворчатыми окнами, с скрипучими воротами и с огромными сараями, которые в вечернем мраке рисуются такими грозными крепостными валами.

Вхожу в избу, извозчиков никого нет. Из-за перегородки виднеется половина бабы, другая половина которой уткнулась в широкое отверстие русской печи. У стола пред фонарем сидит дремлющий хозяин.

— Здесь постоялый двор? — спрашиваю я дремлющего мужика.

Хозяин торопливо вскакивает с лавки, мечет на меня наказательные взоры и говорит такую речь:

— Ах ты, шут эдакий, кургузый! Што ты тут шатаешься? Я было уже засыпать стал, а тебя тут бес подмывает добрых людей будить. О, господи-и! — растягивал он, крестясь и зевая. — Никогда-то тебе покоя от православного народу нет, а тут еще всякая голь нехрещеная лезет в избу.

— Какой же я некрещеный? Я такой же русский, как и ты. Вот посмотри: и крест есть у меня, и крещусь так же, как и все.

Работница наставительно подмаргивала хозяину с видом такой пройдохи, которая довольно на своем веку насмотрелась на всяких цыцарцев и вендерцев и которой поэтому все их обманы известны, как пять пальцев.

Я между тем в доказательство своих слов показывал, какой у меня крест есть на груди и как я крещусь.

Хозяин, видимо, соглашается, что мой крест и мой способ креститься такой же, как и у всех православных. К моей неописанной радости, я примечаю в нем некоторое колебание.

Работница, доселе только молчаливо подмаргивавшая, вклеивает, наконец, свое слово, окончательно сгубившее меня.

— Што ты ему в зубы-то глядишь?—азартно кричит она. — Ты в сам-деле ночевать его не оставь. Он те таких хрестов наставит в избе-то, вон убежишь. Небось, кабы мы по-христиански-то жили, сразу бы увидали, какой он такой хрест показывает. Нивесть что он, может, кажет нам вместо хреста-то. Она вить, нехристь-то, хитра!.. Отведет глаза-то тебе, а сам что хочет, то и покажет.

— Што ты бабьи глупые слова слушаешь? — усовещеваю я хозяина. — Баба-дура, сам знаешь, что ей соврет в смех кто-нибудь, она и верит тому.

— Перекрестись-ка еще, я погляжу, — задумчимо приказывает мне хозяин.

Я крещусь в другой раз.

— Так! Прочти: «Отче наш»...

Я читаю «Отче наш» от начала до конца.

— «Да воскреснет» знаешь? — продолжает он осведомляться, насколько я силен в богословии.

Видя, что дело идет на лад, я читаю «Да воскреснет».

Мужик самым недоумевающим образом смотрит в грязный пол и слушает даже тогда, когда я уже окончил чтение.

— Язык, братец, у тебя что-то не больно-то тверд! — выражает он свою сентенцию. — Не пущу ночевать, как хочешь. Кто тебя знает: какой ты такой на сем свете человек есть.

Меня, наконец, начинает бесить это.

— Да ведь я же тебе заплачу, — говорю я ему. — И деньги вот у меня — гляди.

— Знаем мы эти деньги-то, — отвечают они с кухаркой в один голос. — Возьмешь их, а они, после тебя, угольем смердящим сделаются.

— Да не сделаются, чудак ты, право, какой. Ведь это колдуны только одни делают, а вот ты послушай, что про меня в моем паспорте написано.

— Ну, вон оно! — пренебрежительно отказывается он от слушания, что именно в моем паспорте написано.

— У исповеди и святых таин ежегодно бываю, — начинаю я.

— Эвося! — лаконически возражает он мне.

— Поведения примерного, характера смирного...

— Господи! Что это за жид привязался ко мне? — вопиет хозяин и направляет меня к дверям.

— Давно бы так! — радуется работница. — Проводи его в три-шеи от двора-то. Кабы он в колодезь яду какого не влил, али бо дворов не поджег. Они ведь, вендерцы-то, удалы на такие дела...

Ночной мрак все больше и больше распространялся по сельским улицам и, следовательно, все больше и больше затемнял надежды мои на ночевку в избе, с живыми людьми.

Все мои просьбы пустить меня ночевать, обращенные к мужикам и бабам, встречавшимся со мною на улицах, остались без малейшего ответа.

Пристально осмотрит меня встречное существо с головы до ног, задумчиво выслушает мои доказательства, что нельзя же ночевать мне в чистом поле, — волки, пожалуй, могут заесть, и или без всякого ответа торопливо скроется в соседний переулок, или начнет выражать нескончаемые сомнения, что он не знает, какие-такие народы расхаживают по белому свету, добрых людей обворовывают и глаза им отводят, а на избы, шутки ради, куролесов-домовых напущают, от которых после самим хозяевам житья в своем доме нет.

Слушая такую дичь, забываешь и про усталость свою и про необходимость ночевать без ужина одному под какими-нибудь копнами сена, когда под рукою такое большое село, потому что глубоко занимает вас в эту минуту мысль, каким путем эти люди, так здраво рассуждающие про множество разных вещей, пришли к твердой, никакими доказательствами необоримой вере в возможность существования таких людей, которые глаза добрым людям отводят, злых домовых, шутки ради, на дома напущают и проч.

II

Ах ты, степь моя, степь, по песне, Моздовская! Не одними только камышами заросла ты дремучими! Не одни они только седыми, хмурыми тучами темнят твой широкий простор, —

темнят его всего больше дикие думы твои, разросшиеся в твоей недосягаемой глуши громаднее и темнее лесов самых темных... Пугают они и тоску на душу свежего человека наводят такую, какой не навести на нее самому мрачному, самому одинокому, безлюдному месту...

Думаю я так-то про себя и делаю последнюю попытку приютиться где-нибудь на темную ночь. Палка моя звонко стучит по готовой развалиться стене какой-то избушки. Соседские собаки отвечают на мой стук яростным лаем, что все вместе самым глубоким образом в тишине ночи задумавшегося человека непременно должно привесть в надлежащие чувства.

— Ты што ль это, Антропка? — слышится, наконец, из непроницаемого мрака какой-то замогильный голос. — Што тебя шуты-то там разбирают, потише бы можно стучать. Избу-то всю разворотил, леший, словно облопался чего-нибудь на мельнице-то.

— Нет, это не Антроп. Это я, странник, — говорю я. — Ночевать, хозяин, пусти пожалуйста.

— Какой там еще полуношник шатается? — ворчит замогильный голос и осторожно шастает к двери.

В окно выставилась широкая, черная борода.

— Сказывай: кто ты таков? — повелительно спрашивает борода.

— Странник, говорю я тебе. С богомолья иду, — приврал я немного.

— С какого богомолья? От Сергия-Троицы, што ли?

— В Старом Иерусалиме бывали, не только что у Сергия-Троицы...

— Што же это, братец ты мой, такой ты великий богомолец, а по ночам ходишь?... — недоумевал хозяин.

— Запоздал, друже! — продолжаю я поддели ваться под тон тех шатунов в плисовых порыжелых скуфейках, за одного из которых я выдавал теперь себя для того, чтобы удобнее выпроситься ночевать. — Опять же: часа с два хожу по селу, не пускает никто, да и только.

— Что же это они не пущают? Грех не пущать к себе странного человека, — резонирует черная борода. — От этого-то, может, и напасти-то на нас всякие со всех сторон, аки лист глухой осенью, сыплются, что мы богомольщикам нашим не токмо чего другого, а тепла избяного жалеем.

— Известно от этого, — поддерживаю я хозяйскую рацею, и сердце мое радуется великою радостью, потому что живо представилось мне в эту минуту, как я сейчас выпрошусь у мужика лечь в сеннице, где в один момент забуду все труды, все неприятности дня.

Борода между тем скрылась из окна. Через минуту дверь отворилась, и мужик вышел на крыльцо, чтобы пустить меня.

— Ну, иди, ночуй ступай, — говорит он, приглашая меня в сени. Счастье мое было полное, но, к моему величайшему сожалению, весьма непродолжительное. Лишь только разглядел гостеприимец мой короткий сюртук, мою белую соломенную шляпу с широчайшими полями, лишь только взглянул я на него сквозь мои

громадные синие очки, как обхождение его со мною вдруг совершенно изменилось.

— Так такой-то ты богомолец, куцый чорт?— спрашивал он, мгновенно скрываясь в сени и плотно запирая за собой дверь. — Я ж тебе покажу сейчас, как добрых людей надувать.

«Довольно с меня!» — подумал я про себя и быстро направился вон из села к непременно гостеприимным дорожным канавам и вешкам.

Ночное безмолвие вдруг прорезывает пронзительный скрип ворот того двора, от которого я отходил. Две гуртовые собаки, с громким лаем и брянчанием тяжелых цепей, летят вслед за мною. Я прислоняюсь спиной к толстому дубу, росшему на улице, и вступаю с ними в ожесточенный бой. Между тем вижу я, черная борода стоит в воротах, из которых выпустил он собак на куцого чорта, и с азартом гогочет:

— Олю-лю! Олё-лёле! Возьми, возьми его, Арапка! Ого, го-го! Попридержи, попридержи его, Змейка!..

Но моя ременная, гнущаяся, как змей, палка с выпускным кинжалом, бывшая в то время последним делом лондонского досужества, скоро уладила дело ко взаимному нашему удовольствию, т. е. моему и собак.

В злости на охватившую меня сельскую чепуху, я колотил собак так, что шерсть летела с них клочьями, и я имел удовольствие видеть, как враги мои с жалобным визгом еще ретивее бежали от меня в ворота, из которых так ретиво выбежали они на меня. Но честь победы над ними я никак не отнесу ни к моей энергии, с какою я бился, ни к моей в первый раз, ве-

роятно, виданной в степи палке, потому что я очень хорошо знаю степных, гуртовых собак. В жарких схватках с своими всегдашними неприятелями — волками, они обыкновенно действуют с тою доблестью, которой только можно ожидать от защитников таких робких, таких бессильных животных, каковы, например, наши курдюцкие овцы. Одна из двух мохнатых борющихся шкур непременно остается на поле битвы, — и если моя собственная шкура уцелела на мне, так это потому только, что степные собаки, как и степные мужики, испугались не столько моей палки, сколько широких полей моей шляпы, куцого сюртука и прочих атрибутов немецкого костюма, которые им так редко приходилось видеть.

Иду я, и со мною вместе идет безотвязная дума о мысленном убожестве этой прекрасной стороны. Южная, темная, как глаза красавицы, ночь примирила меня с необходимостью ночевать в поле. В ее так выразительно молчащей тиши необыкновенно ясно и последовательно развивается эта дума, тихо скорбит и вместе надеется, что, наконец, по всей неоглядной ширине разольется благодетельный свет живых мыслей и знаний, который неминуемо поставит угрюмого, печального человека этой стороны в полное согласие с ее веселой, цветущей природой...

Потом вдруг, против воли моей, я начинаю припоминать неудачные происшествия дня, пересчитываю их по пальцам, и хотя, по собственному моему сознанию, сердиться тут было решительно не на что, я как будто в одно и то же

время и сержусь на них, и люблю их... От этих неудач одного дня нечувствительно перешла моя мысль к неудачам целой жизни. Предо мною безотчетно рисовались местности различных городов, в которых я живал когда-то, — и казалось мне, что я иду уже не по большой дороге, а по улицам, давно известным мне, — в голове совершенно ясно возникают разные воспоминания о происшествиях, разыгравшихся на этих улицах, — возникают представления о людях, с которыми я встречался на них, — и обман чувств делается, наконец, до того велик, что я начинаю вслух говорить сам с собою за себя и за знакомых людей.

Обаятельное величие пустынной ночи и благовонно-острый запах степной растительности побуждают мозг мой к какой-то особенно усиленной, весь мой организм раздражившей умственной деятельности.

С каждым шагом моим шире и шире развертывалась в моем воображении так мало утешающая меня картина моего прошлого времени, — с каждым шагом все яснее и яснее становились предо мною образы людей, с которыми когда-то и где-то сходился я. В одно и то же время мне необыкновенно приятно было повторить в голове события моей прошедшей жизни, смотреть на людей, дорогих по каким-нибудь пережитым случаям, а вместе с тем я болезненно страдал от того, что в этой тишине поля, так царственно обнявшей меня, я не могу перекинуться с кем-нибудь живым словом... Тоска и томление какое-то, от которых мучительно ноет грудь, попеременно заливают сердце волнами, то об-

дающими изнуренное тело холодом зимним, то летним зноем палящим...

Я сильно желал выйти из этого неправильного болезненного состояния и в то же время пристально всматривался в эти рои знакомых лиц, стараясь уловить хоть что-нибудь из тех неопределенных, неуловимых звуков, которые монотонно и нераздельно неслись на меня из их воздушной среды.

Чувствую я, что не прочитать мне тайной азбуки, которую написала моему воображению глухая, полевая ночь, и злюсь над своим бессилием и неуменьем прочитать ее. Надобно быть рассудительнее, думаю я. Надобно отрешиться от той задачи, которую нельзя разрешить. Вот другая задача, проще: попробую я сосчитать, сколько в версте будет моих шагов, — и начинаю:

— Раз, два, три! — считаю я.

«Раз, два, три! — повторяет за мною один призрак, принявший вдруг такие огромные размеры, что из-за него уже не видно было других образов. Я не обращаю на него никакого внимания и продолжаю считать: четыре, пять, шесть...

«Четыре, пять, шесть!» — повторяет он и, безобразно кувыркаясь в воздухе, спрашивает меня: «Что вас давно не видать?»

«Что вас давно не видать?» — в свою очередь задает мне вопрос целая стая мучителей, неожиданно вылетевшая из-за широкой спины моего непрошенного собеседника.

— Семь, восемь, девять... — отвечаю я им и скрежещу зубами...

Наконец считать уже делается невозможным, потому что в то время, как делаешь шаг, трудно уже выговаривать: 261, 262, и, следовательно, рад был бы не считать, а все как-то считается, а знакомое видение все идет перед вами, так резво идет и манит вас за собою и считает: 283, 284...

Пораженный таким бесстыдством, я останавливаюсь и трясусь от злости, как в лихорадке. Призрак, видимо, пугается моей решимости броситься на него и улетает, посылая мне на прощанье отвратительнейшую гримасу.

«Слава богу! — думаю я: — улетел».

— Хх-ва-а-лли-те и-имя господне! — беру я самую верхнюю ноту и зажмуриваю глаза из опасения встретить еще какое-нибудь новое чудовище.

«335, 336!» — никак не ниже меня запевает, в свою очередь, вдруг появившийся призрак.

Окончательно разбешенный, я швырнул в певуна своей палкой, и, на великую радость мою, я увидел, что она хватила его по самым коленкам.

Точно раненая птица, заколебалось видение от удара и тихо опустилось на землю. Боль предсмертных мук видел я в этом падении, — стоны отлетающей жизни громко раздалися в ушах моих...

— Х-ва-а-ли-те господа! — снова оглашаю я степь, чтобы своим голосом заглушить эти стоны.

«Хвалите господа!..» — налетает на меня сзади отголосок моего собственного пенья, далеко разнесшегося в непробудно-спящем пространстве.

Моего призрака уже не было!

— Кто идет? — совершенно по-солдатски будит меня чей-то голос. Я осматриваюсь. Предо мной широко расстилались барские, должно быть, горохи, — на дорожной насыпи, по которой шел я, стоял одинокий соломенный шалаш караульщика тех горохов, а из шалаша виднелся огонек жарко раскуренной трубки, который довольно ясно осветил мне какого-то человека, лежащего в шалаше.

Я остановился. Курильщик приподнялся. Это был громадного роста старик с той бравой осанкой, которая примечается вообще у отставных солдат *доброго, старого времени...*

— Што это, господи,—удивляется сторож:— всех господ в околотке наперечет знаю, а вас, сударь, никогда не видал, — говорит он мне.

— Я не здешний, — сказал я ему. — Я странник.

— Што же это вы такою позднею ночью ходите?

— Что же станешь делать? В целом селе ночевать никто не пустил. Говорят, что я вендерец какой-то либо цыцарец. Поджечь, говорят, я могу, домового на избу напустить, украсть.

— Ах, музланы они эдакие необразованные! Да што у них, леших, украсть-то? Вы бы их, сударь, по сусалам заехали без разговора, небось бы всякий пустил. Истинно!.. У нас лаской мужика не проймешь — и точно, потому наш степной мужик — глуп...

— Ну, я этого не замечал, — сказал я.

— Это оттого вы не замечали, что вы не здешние... А я, как родился в эфтих местах,

знаю, что иначе нельзя-с, потому сторона наша самая черная и образованности в ней, капли даже единыя, нет. Только што же это я делаю, разбойник я эдакой. Раздобары с господином осмелился заводить, а без одежи стою! — И он суетливо бросился в шалаш, рассыпаясь в извинениях.

В момент он зажег в шалаше огарок сальной свечи и вышел ко мне в длиннополом нанковом сюртуке и босой, той грандиозною поступью, какою обыкновенно ходят заслуженные *дядьки*.

— Не взыщите, что босой, — дело летнее. Не угодно ли вам, сударь, ночь со мной в шалаше разделить? Извините, что зову вас к себе.

— Помилуйте! Очень вам благодарен.

— Не подобает мне слышать, как мне барин «вы» говорит. Не стою, сударь. Не говорите мне этого, Христа ради...

Такое самоунижение начинало так же меня коробить, как за час перед тем коробила необходимость ночевать в поле.

— Правду сказать: люблю я, грешный человек, когда меня по имени и отчеству зовут, потому у дедушки еще нашего барина был я, за свою верную службу, в немалом почете, — вся, может, вотчина Максимом Петровичем меня величала и без шапки передо мною ходила; а чтобы это, то-есть насчет *вы:* не люблю я этого слова...

«Спасибо за откровенность, — думаю я про себя. — Теперь, значит, мы будем действовать с точки величания Максимом Петровичем».

— Я не знаю, сударь, как же они, мужвари, ночевать вас осмелились не пустить. Сюртук на

вас, как я вижу, суконный, хороший, и шляпа, как есть, самая господская и очки. Как есть, все на вас, сударь, по моде прилажено, а они говорят: вендерец. Рази такие вендерцы-то бывают? Экие дураки необузданные! Барина с вендерцем не различили. Ах! узнать бы мне, в каких это избах вас не пустили, — беспременно бы управляющему доложил. Так и так, мол, проходящему барину, хотя, может, он и бедный барин, потому пешком вы изволите итти, наши мужики нагрубили.

— Вот что, Максим Петрович! Ты уж управляющему-то ничего не говори. Что его беспокоить? Стоит ли с ними, музланами, связываться? — подделывался я под тон Максима Петровича, уразумев, из какого гнезда эта птица.

— Нет, это вы напрасно изволите говорить! Он у нас, управляющий-то, хошь немец, а человек очень хороший. «Меня, — всем он сказал, — барин послал к вам образовывать, — ну я и образую вас. Я, говорит, вас хоть в человечьи шкуры-то снаряжу, потому воистину в зверский образ вы облеклись и заснули»... Точно: видимо стало теперь, повеселее ходят мужики... Непременно завтрашний день обо всем в точности доложу управляющему. Пусть он их рассудит, как бог ему на сердце положит, потому мое дело сказать: так и так, мол, а его дело — судить...

— Нет уж, пожалуйста, Максим Петрович, не говори, потому сам ты знаешь: мужик — человек темный, образованности никакой не знает. За что же его под ответ подводить? Когда он умышленно сделает что-нибудь нехорошее, ну, тогда дело другое. Ты бы лучше сам внушил

им, чтоб они не опасались прохожих ночевать пускать, потому хорошо, что теперь лето, везде ночевать можно, а зимой ведь, пожалуй, замерзнешь в поле. Они тебя послушают и без управляющего. Помнят они, я думаю, твою службу старому барину и знают, какой ты такой человек есть: худого, небось, не посоветуешь...

— Известно, не посоветую! — говорил Максим Петрович, заботливо снаряжая мне постель из сена с расторопностью человека, не только знающего свое дело, но и душевно ему преданного. — Только я им же добра желаю. За битого, сударь, двух небитых дают. Поучит их управляющий, умнее будут. Им же от этого польза, а не мне... Ведь, ежели бы вы изволили знать, сударь, что это за народ такой дикий — страсть! Ты к нему со всей душой, а он это упрет в землю бельма-то свои оловянные и молчит, только это исподлобья иногда взглядывает на тебя. «Што ты молчишь? — спросишь у него. — Ведь я тебе душевно советую на твою же пользу». — «Знаю, говорит, Максим Петрович, к моей пользе, и человек ты, говорит, хороший... да тово... Ты, говорит, все же тарелки эти барские лижешь... Скусны они очень, эти тарелки-то. Верить-то тебе поэтому и не так чтобы...» А, каково? Значит, как же вы теперича сладите с ним, сударь?..

Я ничего не возражал Максиму Петровичу...

— А точно, надо правду сказать, ежели бы, то-есть, так глуп не был наш степной народ, — продолжал Максим Петрович, — хороший был бы народ, потому добр уж очень. Ведь вот теперича вас ночевать не пустили, а ежели бы

пустил кто и увидал, что все благополучно, ни единой копейки с вас ни за ужин, ни за ночевку не взял бы, потому бога помнит и всякую нужду по себе знает. Это истинно!

— Я знаю об этом, Максим Петрович. Во многих селах с меня за ночлег ничего не брали. Только богу свечку просили поставить. Вон на шоссе очень обдирают, да зато во всякое время там ночевать пустят.

— Не говорите мне, сударь, про это шоссе. Идолы там, а не мужики живут. Разбойник на разбойнике, разбойником погоняет. С нашей простой стороной и равнять-то их грех...

— Вот то-то и есть, Максим Петрович. А ты все своих коришь. Значит, уж лучше быть простым человеком, да не грабителем. Вот, значит, управляющему-то не все нужно рассказывать.

— Так-то так, сударь! А все же я свое опять запою: дик народец у нас. Долго его выколачивать умным людям придется, пока из него все блохи повыскочат...

— Может быть, может быть, Максим Петрович! Только я думаю, что и без выколачиванья блохи-то из него поразлетаются.

— Ох, вряд ли, сударь! Ох, вряд ли они, блохи-то, разлетаются без колоченья, — сомневался Максим Петрович, покрывая приготовленное сенное ложе вместо простыни своим нанковым сюртуком, вместо которого он счел за нужное облачиться в какую-то менее парадную свитку; для этой цели, впрочем, он весьма деликатно выходил из шалаша... Когда я улегся совсем, он вытер пыль с сапогов моих, выколотил и осмотрел все мое платье — и потом уже

этот хозяин своего шалаша, приютивший меня в нем, стал предо мной, опустил руки, что называется, по швам и говорил:

— Можно мне теперь спать, сударь?.. Не нужно вам ничего больше?..

Я *склонился* пред привычками старика, и на его вопрос ответил *не так, как бы хотел я ответить*, а как ему самому, вероятно, отвечали многое множество лет:

— Спи ступай, Максим Петров! Ты мне не нужен больше...

— Слушаю, сударь! Покойной ночи!

— Покойной ночи!

Но, должно быть, сама судьба определила, чтобы не спать мне спокойно эту ночь. Яркое зарево, ударив мне прямо в глаза, разбудило меня, Максим Петрович облекался уже в свою свитку.

— Што, и вы изволили проснуться, сударь? — спрашивал он. — Не извольте беспокоиться. Это пожар в нашей деревне, завтра вы мимо пойдете — увидите; а теперь зорькой-то сосните пока. Здесь вас никто не тронет.

— Да пора уж и мне. Кажется, я довольно соснул. Пойду и я с тобой, Максим Петрович. Пожар, кстати, посмотрю.

— Ну, пойдемте, когда так, — согласился он, помогая мне одеваться так, как некогда он помогал еще дедушке своего настоящего барина.

Заря уже занималась, когда мы вышли. Зарево пожара разбудило не нас одних только, — грачи и вороны, спугнутые им с придорожных вешек, с громким криком сновали взад и вперед по расцвеченному заревом небу. До нас глухо

доносился неясный гул множества смешанных голосов, обыкновенный при каждом смятении, высоко взвиваемые ветром, прямо на нас летели так называемые блестящие галки, т. е. загоревшиеся пучки соломы. Кружась и летая в еще темном небе подвижными звездами, они рассыпали на землю тысячи искр и, окончательно прогорев, спускались на головы наши еще горячим пеплом.

Домов пятьдесят кряду были обхвачены пламенем. Пожар был в полном разгаре, так что горела даже трава, росшая по улицам. Народ, видимо, отступился тушить, и только около домов, еще не загоревшихся, суетились мужики, вытаскивая пожитки и выгоняя скотину.

— Што же вы руки-то сложимши стоите? — прикрикнул Максим Петрович на кучку мужиков, которые, действительно, стояли праздно, сложив руки.

— Гнев божий, Максим Петрович! — отвечали из толпы.—Ничего не поделаешь. В церкву за Неопалимой купиной послали. Хотим кругом всего пожарища обнесть. Может, господь и смилуется...

— Бог-то бог, да сам не будь плох! — кричал Максим Петрович, ухватываясь за длинный багор. — Ломай избу! — командовал он, преграждая огню дальнейшую дорогу. — Разноси весь двор. Бабы! Живо у меня воду носить; коли замечу какую, што ленива, ох, проберу!.. Такого жару задам!..

Работа закипела тем деятельнее, что скоро показался священник с Неопалимой купиной в руках. Причт и громко плачущие бабы пого-

ревших домов сопровождали процессию, обходившую с образом широкое пожарище...

— Вот какой дикий народец! — говорил мне запыхавшийся Максим Петрович, когда пожар значительно утих. — Ни до чего-то этот народец своим умом не дойдет. Не приди я, ей-богу, все село корова бы языком слизнула. Теперь ничего — утихает помаленьку.

— Ну, и слава богу! Теперь прощай, Максим Петрович. Вот тебе за приют твой, за твою ласку.

— Очень благодарен, сударь! Позвольте ручку поцеловать! — и он бросился целовать мою руку, которую я не успел отнять.

— Эх, Максим Петрович, напрасно ты это делаешь, — сказал я ему. — Я этого так же не люблю, как ты не любишь, когда тебе «вы» говорят.

— Это дело другое, сударь... чего нельзя, так нельзя... Вы уж лучше не обижайте меня на прощанье-то; а то я завтра же управляющему доложу, какой-такой необузданный народ наши мужики и какую они вам грубость учинили! — заключил Максим Петрович, весело посмеиваясь.

1862

СТЕПНАЯ ДОРОГА ДНЕМ

По навозному, дрожавшему под ногами, мосту я перешел с луговой, низменной стороны Дона на нагорную. Сырой предутренний холод, обыкновенно веющий от реки, окончательно прогнал от меня дремоту.

С моста по крутому каменистому въезду я взобрался на высокую гору. Передо мной была маленькая господская деревня с десятком развалившихся изб и барским флигелем в три окна, а назади меня и с боков спящая степь. Неоглядная окрестность, вся закрытая предрассветным мраком, как-то грозно смотрела на меня. При виде этой спящей силы я вдруг необыкновенно ясно сознал, что я один посреди ее и что всего меня обняла она своими широкими объятиями...

Испуганный молчаливым величием ночи, я иду по сонной деревне. Утренний холод, так ощутительный в поле, сменился запахом жилья. Потемнело как будто, и хотя на улице решительно не было ни одного живого существа, тем не менее в природе чувствовалась какая-то ободряющая полнота. Ночной мрак уже не пугал воображения.

Но вот деревня пройдена. Чурюканье навозных тараканов уже не слышится; повеяло прежним холодом, — в путевой дали, изрытой глубокими оврагами, которые, как щетиной

поросли мелким кустарником, завиднелась грозная, тайная ночь, и снова воображение запугалось ее, и душа затосковала своим одиночеством.

Дорога, по которой я шел, венчала своей левою стороной, как карнизом, высокую каменную гору над Доном. Над редко расставленными дорожными вешками густо носились седые речные пары. Путешествуя по родной стороне и, следовательно, знакомый со всеми ее мифическими сказаниями, я живо вспомнил их, почти единственных воспитателей моего младенчества: перед изумленными глазами моими возник фантастический образ гиганта, приставленного по ночам сторожить старинный, разбойничий клад. Выходя как будто из волн речных, он высоко стоял над семисаженной горой. Мне виделось даже, как в ночном тумане колебалась его белая, мохнатая шапка. Шаги мои, против воли, сделались медленнее, по телу, как в старину бывало, пробежала холодная дрожь: в одно и то же время я и желал слышать, и боялся услышать, как богатырь гаркнет на спящую степь:

А и мимо меня дикий зверь не прорыскивал,
Ни один богатырь не проезживал,
Быстра птица не пролетывала...

И как в давние детские годы обманывался я в бабке, рассказчице дива, и переставал видеть в ней свою бабушку, потому что в этом месте рассказа она непременно меняла свой тихий старческий голос на возможно толстый бас, и доброе лицо ее в эту минуту старалось изобра-

зить необыкновенно грозный богатырский лик, так и теперь мне нельзя было, хоть даже и бессознательно, не обмануться и не испугаться великана, который так гордо остановился на моей дороге.

Две широкие меловые линии, параллельно идущие от подошвы горы в самый верх ее, изображали собой длинные раздвинутые ноги великана. Высокая раскидистая вешка, росшая на самом обрыве горы, вся задымленная и колеблющимся мраком и речными парами, служила ему шапкой, плотно накрывавшей дремлющую голову. Я на секунду остановился на дороге и только того и ждал, что вот-вот из-под этой шапки раздастся громкий голос, от которого посыплются листья с деревьев и проснутся испуганные птицы.

Но, как и все, что стояло около меня, было недвижно и молчаливо, так был недвижен и молчалив великан, напомнивший мне собой иные, счастливые времена. За минуту грозный и величавый, он, когда по груди моей пробежал сладкий трепет при воспоминании о бабке, рассказывавшей некогда про его непобедимую волшебную мощь, при воспоминании о моей собственной, некогда твердой вере в непременную действительность сказочного мира, вдруг как будто переменил свой пугающий образ. Я приметил в этом образе что-то невыразимо-ласкающее: из дали, затемненной ночью, он смотрел на меня с такою любовью, что я уже не видел в нем прежней заколдованной силы волшебного стража; силу любви другой, не менее мощной, настроились видеть в нем глаза мои.

Это от тебя, бабка-рассказчица, перелетела мысль моя к матери, с которой вы длинными зимними вечерами занимали наши ребячьи досуги. Живо вспомнил я, добрые мои, все рассказы ваши о мире, в который вы сами так же твердо и простодушно веровали, как мы — дети.

И вот закипела пустыня тайными существами, знать и бояться которых вы научили меня. Не пуста теперь дорога моя! Бесчисленными роями кружатся и летают передо мной существа эти, игривые и грациозные, как детство, верящее в них. Каким-то странным, невиданным мною до сих пор светом прорезывают они мрак ночи и реют над высокой, затуманенной вешкой, давшей голове моей любимую работу — думать о прошедших днях, об умерших людях...

Нет нигде жизни! Спит все живое тем последним предутренним сном, с которым так тяжело расставаться. Жаворонки не вставали еще, а перепела, почуя близость зари, тоже прервали на время свою почти неугомонную песню. Ничто не мешает свободно развиваться ленте моих воспоминаний. Широкая и длинная, как эта дорога, она до такой степени занимает меня, что я забываю пространство и усталость и иду. А между тем давно умершие люди, давно забытые жизненные случаи так ясно проносятся в памяти, что я вспоминаю самые незначительные подробности, подмеченные мною в ранней юности на этой дороге, и при всем том, что всю ее ночь ревниво закрывала от глаз моих, я, так сказать, ощупывал эти подробности и указывал их себе.

Иду я и думаю, думаю и иду.

Мир вам! Мир вам, добрые, бедные люди, обставлявшие некогда мою бедную детскую жизнь! Мир тебе и покой, бедная родная сторона моя! Давно я покинул тебя, потому и не знаю, как живут теперь твои дети, но, как они тогда при мне жили, я знаю, и опять говорю: мир вам, добрые, бедные люди! Мир тебе и покой, бедная родная сторона моя! Как люди, некогда жившие на тебе, знаю я, нуждались в покое, хоть бы даже в смертном, как они говорили, так и ты, помню я, нуждалась тогда в нем и, может быть, даже и теперь также ищешь его...

Сквозь редеющий мрак, закрывавший от меня лицо матери-степи, я увидел наконец, что все та же она, какою я оставил ее много лет назад...

Длинный строй рогатых вешек-сирот выстроился по обеим сторонам степной проезжей дороги; сама дорога малоезженная, но избитая кем-то до того, будто только сейчас прошла по ней миллионная армия, лепилась по придонским горам, спускалась в глубокие овраги и, выгибая свою бесцельную дугу, пугливо пряталась от глаз, опечаленных унылым видом.

Все та же ты, степь! Вот довольно ясно показались мне долины и косогоры, испещренные хлебами, единственным богатством твоим; по сторонам дороги забелели церкви, замелькали кресты колоколен, а около них мрачно рисуются слитные, растрепанные массы крыш и почерневшей гнилой соломы, развалившиеся, закоптелые избы без окон, без труб, подпертые со всех

сторон кольями и безобразно заваленные, с укрепляющею, надо полагать, целью, серым навозом.

Да, попрежнему наводят на душу тоску самую гнетущую уродливые и как будто хворые норы степных обитателей. Такими же сирыми кажутся они и так же беспомощно выглядывают из-за навоза их маленькие слепые оконца, как вот эта ватага калек, слепых и хромых, которая сейчас встретилась со мной, усиливаясь холодком доползти и дохромать на сельскую ярмарку за куском насущного хлеба...

Вижу, вижу я теперь, что все та же ты, степь, что все так же ты нуждаешься в покое и мире, как и при мне ты нуждалась в них, потому что заслышал я сейчас жалующуюся, скорбную песню твою. Не прибавилось, должно быть, радостей тяжкой доле степной, не прибавилось веселья и в песне —

Ой, вали валом! Ой, вали валом
Из-под каменя вода;

тоскует, как горлица, эта песня — и по всей ширине степи разносила звонкая утренняя заря жалобный припев: «О-ой, из-под каменя вода!»

По степным сказаньям, так, зачуяв несчастье дома, доможил, его заботник и покровитель, стонет и плачет в глухую одинокую полночь...

Я остановился и слушал эти рыдания по степному, почти общему, горю. По всему полю тяжким стоном стояли они, и, слушая их, мне казалось, что им мало этого поля; я желал, чтобы слезы, вызвавшие их, рекой многоводной зашумели по всему лицу земному, потому что

плакала ими неутешная мать. «Стоит мать, — говорит песня, — у подгорного придонского ключа и ведет с ним такую речь: каким бы шумным валом, ключ, ни валила вода твоя из-под камня, все ей не заглушить моего лютого горя. Моего вдовьего, последнего сына мир отдал в солдаты, а дочь, по барскому приказу, увезли в новые деревни, в Самару. Мне сказали: снаряди свою дочь в дорогу. Ее барин посылает в свои новые деревни, в Самару, а то там, говорят, невест нет, а я говорю и плачу об том, что ей там женихов нет. Давно уж я, вспоминаючи свой последний конец, просватала ее за милого жениха, чтобы навсегда быть ей в родимых местах. Знать, придется мне умереть одинокой, без детушек; знать, некому будет сделать мне вдовий гроб. Обрушится после меня большая изба наша, дедом из толстого леса срубленная, крапивой зарастет огород, и на нашем родимом, насиженном месте ляжет унылая пустошь».

Много таких материнских жалоб и воплей отнесли подгорные придонские ключи к далекому морю Азовскому, к братьям высельщикам степным.

Как и прежде, как и в старину при мне, степной день начинался жалобами и рыданиями, потому что, чем реже становился мрак ночи, чем шумнее стук и скрип немазанных колес оживляли окрестность, тем чаще и повсеместнее слышались родные звуки родимых песен. Издали, с глухих, заросших травою проселков, соединявшихся с проезжею дорогой, доносились они до меня, неумолчно звенели назади

и впереди меня на самой дороге, и в голове безотвязно стояла одинокая мысль: о чем плачут и скорбят эти люди, проснувшиеся вместе с ранними птицами?

Все так же! Все попрежнему! Птицы проснулись, проснулся и люд степной, и вот теперь до самых краев зачерпнулась им большая дорога. Отовсюду идет и едет он залить кормилицу-землю потом своим трудовым.

Благослови вас бог, труженики, на силу и терпение в вашей работе-страде под томящим солнечным зноем, который запалит сейчас всю степь одним общим пожаром...

Много на час оживилась проезжая дорога, спавшая за минуту. Предалась она опять своему обычному, думающему молчанью, потому что люди, разбудившие ее, все разбрелись по полям, и по всему пространству закипела неприметная глазу работа, которая дает пищу миллионам.

Очень хорошо зная, что здесь убирается хлеб, вы идете и никого не видите. Так это все нагнулось, уткнулось в высокую рожь, что, кроме пения да лета беззаботных птиц, ничего не видать по сторонам. Разве только где-нибудь близ самой дороги, на сжатой уже совсем полосе, стоит одинокая телега с вздернутыми кверху оглоблями, на которые в виде шатра накинут старый серый армяк. К телеге привязана лошадь; подле нее лежит огромная степная собака. Заслышав наши шаги, лошадь громко окликает вас своим звонким ржаньем. Собака отзывается своему другу злостным лаем и неотразимо бросается к вам под ноги.

Только из одних собак наших и не успели еще покуда выбить их степную злость, всегда стойко и храбро отстаивающую хозяйское добро.

Наконец красным шаром выплыло солнце. Засвистели, зачирикали и залетали птицы, и как-то особенно медленно, совершенно не так, как в других местностях, потянулась однообразная жизнь проезжей степной дороги.

Стая богомолок торопливо бежит мне навстречу. Высокая, страшно загорелая старуха бодро идет впереди. Закутанная с ног до головы в грязные тряпки, она терпеливо и без видимой усталости тащит на спине огромный холщевый мешок, перетянутый веревкой надвое. Это, очевидно, вожачиха, наторелая в религиозных путешествиях, сломавшая, вероятно, далекий поход к соловецким угодникам, а, может быть, даже и в Старый Иерусалим. Я готов был биться об заклад, что в верхнем отделении ее мешка, говоря без преувеличения, полпуда черных сухарей, запасенных дома, а в нижнем полпуда же песку из родной реки, взятого с богоугодною целью потрудиться и променять его на святой песок святой Почайны и синего Днепра.

За вожачихой чернеют набивные платки вольных сельских черничек. Слышится неясный говор и как будто пение. Стая равняется со мной. Она состоит, примерно, из пятнадцати женщин. Лица их до такой степени изморились и обгорели, что решительно нельзя по виду определить их возрасты; но какие из них в первый раз совершали путешествие, это можно видеть

с первого взгляда. Они едва передвигали ноги, и на молодых, искрасна-бронзовых лицах замечается постоянное желание присесть хоть на минуту на траву, отдохнуть хоть немного. Лицо старухи-вожачихи необыкновенно сосредоточенно, даже мрачно. На нем не видно ни малейшего следа не только страдания, но и простой усталости. Совершенно свежий, хотя и старческий басок ее, как пчела, оглашал пустыню.

«Умереть бы желала я, — пела она, — мои милые братья, во Христе родные сестрицы, в своих родимых местах, чтобы на мою смерть смотрели ясные глаза внучков и детушек, а встать хочу я в светлом граде Иерусалиме... Только, как я грешница великая, Иерусалима божьего недостойна, навсегда молю господа, чтоб он сподобил меня встать хоть в святом Киеве...»

Молодые голоса ее спутниц выражали такое же желание.

— Спаси бог в дороге! — проговорила мне старуха с низким поклоном.

Такими же словами и такими же поклонами приветствовали меня ее усталые подруги.

— Далеко ли до села, родименький? — спросила необыкновенно исхудавшая богомолка. — Душенька истомилась: пить страсть хочется.

— Много ли потрудились-то? Пить-то есть ли за что? — сердито спрашивала вожачиха.

— Три версты, — шепнул я в утешение страдалице так, чтобы не слыхала старуха.

А до ближнего села оставалось им верст десять. Я знал по опыту, что такая ложь в дороге

весьма благодетельна. И про жажду забудешь, как вопьешься глазами в даль и ждешь, когда покажутся деревенские крыши.

Иду и думаю: теперь скоро становой поедет по дороге, или его писарь, или волостной писарь, а там, когда ободняет побольше, молодая купчиха из ближнего города тронется к сельской колдунье лечиться от порчи или узнавать про мужа: изменщик он или нет. Потом проплетется какой-нибудь одинокий старец, странствующий по монастырям лет двадцать к ряду, весь обросший черною бородой, приученный в уединенной пустыне к почти постоянному молчанию, с худым, истомленным лицом, бледный, как мертвец, с глазами, мечущими искры... Босой, длинный мужик в одной рубахе пронесется с работы верхом на кляче, повещенный сейчас из дома, что жена родила; два солдата, отводившие арестантов в город, нагонят меня с трубочками и штыками; барыня в поле проедет; неизвестный человек в истерзанном рубище быстро, как спуганная птица, выскочит изо ржи, пробежит поперек дороги и, пугливо озираясь во все стороны, мышью скроется в соседнем леску.

Иду и ожидаю, когда все это по очереди проделает мне степная дорога.

— Бог помощь! — раздается позади меня. — Не по дороге ли? Охотнее итти будет.

Меня догнал молодой человек, лет не более двадцати, в сером нанковом пальто и фуражке с кокардой. Я счел его за одного из тех выгнанных приказных, которые вечно шатаются по большим дорогам и пугают степных крестьян

своими светлыми пуговицами. Я не любил встречаться с личностями подобного сорта, потому что, встречая их очень много, изучил их, как говорится, до тла. Всегдашняя, безутешная скорбь, постоянное влечение в кабак, притворное раскаяние в этом влечении, нахальное вламывание в деревенские избы и захват с собою съестного и даже одежды — вот отличительные качества сих скорбящих путников.

— Откуда бог несет? — спросил он меня необыкновенно мягким и симпатичным голосом.

— Из Москвы, — отвечал я лаконически, опасаясь поддаться первому хорошему впечатлению, произведенному на меня этим голосом.

— Ах, как это хорошо! Надеюсь, вы не откажетесь рассказать мне, как поживают в Москве; я сам туда же иду, и иду в первый раз.

— Это очень странно. Я покамест могу вам сказать, что вы идете совсем в противоположную сторону от Москвы.

— Извините. Я не так выразился. Видите ли, я не дальний и очень хорошо знаю, что мне нужно итти назад, но я делаю крюк, чтобы проститься с родными.

— В таком случае я очень рад рассказать вам про столицу, что сам про нее знаю. Верно, хотите служить там?

— Да. Хочу попробовать своего счастья.

— Дай бог успеха.

— Ну, не думаю, чтобы бог непременно исполнил ваше желание, хотя и благодарен вам за него.

— Отчего ж?

— Да так. Не стою, кажется; а буду ли стоить — не имею возможности утвердительно сказать.

Меня озадачил необыкновенно откровенный тон, с каким было высказано это сомненье. Это, должно быть, какой-нибудь юноша, принадлежащий к провинциальному молодому поколению, думаю я себе, и не ошибся. Юноша повел со мной разговор весьма эксцентричного свойства.

— Меня зовут Теокритов, — начал он. — Мой пеший образ путешествия и моя фамилия, конечно, сказали вам все об моем звании и состоянии; поэтому можете себе представить, что я не буду расспрашивать вас о том, в какой московской гостинице мне всего удобнее остановиться или каким образом я могу быть принятым в великосветских салонах.

— В свою очередь и я никак не мог бы удовлетворить ваше любопытство в этом отношении.

— Я почему-то предполагал это, — отвечал Теокритов с улыбкой. — Скажите, пожалуйста, вы долго прожили в Москве? Извините за нескромный вопрос, но я, рекомендуюсь вам, такой уж человек. Если сойдусь с кем, не могу не дозволить себе полной откровенности: расспрашиваю про все, рассказываю обо всем.

— Сделайте одолжение, не стесняйтесь. Я сам совершенно такой же. В Москве я прожил более двух лет.

— Довольно. Чем вы там занимались? Я никак не могу ни по лицу вашему, ни по костюму отгадать ваших занятий.

— Право, я сам не знаю, чем я занимался в эти почти три года. Впрочем, вы мне сказали одну очень хорошую вещь. Я так же, как и вы, в одно утро шел по этой дороге в Москву с целью попробовать своего счастья — и пробовал... Это было мое главное занятие.

— И что ж, хорошо там? — спросил с необыкновенною поспешностью молодой человек.

— Да вот, как видите, — отвечал я, показывая ему на свой маленький дорожный чемодан — Omnia mea mecum porto.

— Дда-а! — протянул Теокритов. — А сколько вам лет? — почему-то полюбопытствовал он, пристально всматриваясь в меня.

— А как вы думаете?

— Лет тридцать с небольшим, — польстил он мне.

— Двадцать четвертый пойдет с августа, — огорошил я его.

Теокритов сделал нервическое движение и замолчал.

Минут десять прошли мы молча.

— Но вы, надеюсь, не откажете мне сообщить некоторые подробности насчет того, собственно, как простая проба, хоть бы даже и счастья, могла состарить вас так неестественно?

— Очень просто. Я пошел в Москву, может быть, так же, как и вы, с самыми жалкими, но и с самыми нелепыми надеждами. Мне было девятнадцать лет. Я только что спорхнул со школьной скамейки и воображал, что все науки известны мне, как мои пять пальцев. В этом уверял меня и аттестат с широкою печатью и с размашистыми росчерками разных инспекто-

ров, профессоров и так далее. Сообразительности, впрочем, и тогда уже было у меня достаточно для того, чтобы задать себе такого рода вопрос: а чем будет питаться тело мое, которое, как известно вам, для разницы с бодрым духом называется бренным и немощным? — «Бренное тело-то? — отвечал мой мальчишеский, следовательно, добрый дух: — во-первых, об нем и говорить-то много не стоит, потому что пряников писаных оно у тебя не потребует — не привыкло, а ежели и потребует, так тоже заботиться не о чем. Науки тебе известны: уроки давай. Не найдешь уроков ежели, то-есть в случае ежели заколодит, почерк имеешь хороший: бумаги пока переписывай. Делать-то нечего. Счастье ведь пробовать собираешься!..» Как сами вы видите, резонно до этого места рассуждал и ободрял слабую плоть добрый дух, но потом и сглупил. «А стихи́-то? — шепнул он мне в довершение эффекта.—Разве не знаешь: Кольцов, Никитин, земляки ведь твои, славу себе приобрели». А на великую мою беду я тогда стихами, как и всякий грешный мальчуган, с большим чувством занимался, и образованное начальство поместило у меня в аттестате: «В сложении и скандовании пиитических сочинений весьма быстр и способен». Не спорю, такая отметка даже до изрядности чепушиста, и верить ей я бы не должен, но что же прикажете делать с тою горячею верою, с которою золотая юность верит во всякую чушь? Вот я и поверил всему этому — и пошел. Приду, думаю, настрочу нечто, и Москва заслушается моего козлогласования. Вы понимаете, что я

хочу сказать этим? Я хочу сказать, что, несмотря на мой аттестат с широкой печатью, я был тогда необыкновенно туп, не сам по себе, но потому, что не научили меня понять ту простую вещь, что кто намерен сунуться в воду, должен прежде поискать броду. Бросая аллегорию, я разъясняю это правило таким образом: зная крайнюю несостоятельность моих средств и благословляя меня на дальнейшее развитие моей головы, начальство благословляло как будто тем самым мои, хотя и косвенные, надежды на общественный карман. А другой надежды избежать голодной смерти у меня и быть не могло. Я очень хорошо помню, как пред моим походом в Москву в угорелой головенке моей роились разные казенные вакансии, стипендии, субсидии и тому подобное. Тогда как самый необходимый вопрос: откуда и за что мне все сие — никак не мог влететь в эту головенку. Следовательно, я как будто рассчитывал, что Москва просто-напросто для того, чтобы поощрить мои разнообразные таланты и благородные стремления, должна содержать меня на общественный счет. Претензия эта, признаюсь вам, мне тогда казалась безупречно законной. Талантливый сын отечества, сознавая в себе многообразные способности, говорит ему: «Поощри меня. Я, как даровитый человек, впоследствии принесу тебе сторицею. Без твоей же помощи я пропаду». Но не виновнее будет и отечество, когда спросит у даровитого человека: «Докажи-ка ты мне свою даровитость! Покажи, — скажет, — изобретательность твоего ума и силу твоей воли, хоть, например, в том разе,

чтоб обойтись тебе своими средствами, не пропасть без моей помощи». Такого рода испытанию и подвергла меня Москва и, конечно, пожив теперь в обеих столицах, я имел случай видеть, как один с ы н отечества, по общему мнению, далеко не даровитый, и без этого испытания был поощрен даже не по заслугам; но ведь это доказывает только, что мне, например, мать купила гостинец, а вам вихры надрала, и что ежели вы неудовольствие какое по этому поводу выразите, она вам их еще более может надрать. Отдавая таким образом Москве должную благодарность, что она не допустила мою гениальность разжиреть на ее счет, я желаю выразить тем, что, если она и на грядущее время будет так же исправно выдирать хохлы некоторым ребятам с глупым и бесправным риском, отовсюду налетающим на нее, как она мне их надрала, из этого выйдет одна очень хорошая вещь. Некоторый класс людей, славящийся у нас прирожденною способностью жить на чужой счет, все больше и больше извещаясь об этих, как говорится, всклочках и вздрючках, со временем окончательно утратит эту способность, и будет от этого великое благо как самому сословию, так и всей Руси.

Против воли, я готов был в это время говорить хоть целую неделю, потому что припомнилось мне тогда очень много тех печальных вещей, которыми обыкновенно встречает столица молодых плебеев, таскающихся туда пробовать счастье. Разливаясь в этих фразах, я почти и забыл про Теокритова и отвечал только одним своим воспоминаниям и впечатлениям.

— Вы, кажется, имеете в виду именно тот класс, к которому я принадлежу? — как-то робко спросил мой спутник.

Я вдруг опомнился. Мне было очень жаль моих слов.

— Я разумею мой собственный класс, — отвечал я ему, — и, может быть, он будет наш общий с вами. Вы, пожалуйста, извините меня, что я говорил с вами несколько откровенно. Я потому дозволил себе это, что, по вашим словам, вы сами откровенный человек. Хоть я и показался стариком на первый взгляд ваш, тем не менее я не выучился вести другой разговор, да едва ли когда и выучусь.

— Я очень признателен вашему неуменью, — отвечал Теокритов. — Благодаря ему, я начинаю яснее смотреть на ту дорогу, по которой мне придется итти. Сознаюсь вам, меня, как и вас когда-то, обуревают теперь мечты об уроках, стипендиях, переписке бумаг, в крайнем случае, и тому подобном. В отношении меня мечты эти тем нелепее, что на уроки, например, я уж окончательно не имею права рассчитывать, потому что в недавнее время я узнал, что и мой аттестат, как и ваш, есть один только самый сущий вздор. И хоть мне, по окончании курса в семинарии, очень хотелось поступить в университет, но, скажите же вы мне, что я там буду делать? Как я выдержу экзамен и как, наконец, ежели даже и выдержу его, буду слушать университетские лекции, когда сам я чувствую потребность поучиться просто-напросто грамоте? Следовательно, я должен буду служить в Москве. Переписывая бумаги в каком-нибудь

присутственном месте, я, кажется, очень мало погрешу против моей совести.

— Значит, вы идете в Москву, чтобы переписывать бумаги? Но таким образом пробовать счастье вы могли бы и в родном городе, не ломая дальнего похода и не рискуя умереть с голода.

Теокритов забежал вперед и остановился против меня.

— Видите,—заговорил он с одушевлением,— как хорошо теперь на белом свете?

Я осмотрелся: утро было, действительно, прекрасное.

— Вижу, — отвечал я. — Но каким же образом ваш вопрос продолжает начатый нами разговор?

— А вот я вам сейчас объясню, — отвечал он с большим азартом. — Как ни за что не могу я не чувствовать всю прелесть того, что окружает нас в настоящую минуту, не могу я сделать, чтобы сердце мое было равнодушно к этой огромной картине, хотя я почти каждый день смотрю на нее уже двадцать лет; точно так же не могу я жить, как вы мне советуете, в родном городе. Я должен всем рисковать, чтобы уйти отсюда, потому что, ежели буду жить здесь дольше, я чувствую, что непременно скоро умру. Временами бывает так, что мне кажется, будто для моего дыхания даже нет места в этом воздухе. Вам это, пожалуй, может показаться смешно, а мне, если б только вы знали, как иногда бывает невыразимо тяжело сдерживать в груди это дыхание. Вы, может быть, даже и не поверите в возможность такого случая? Кля-

нусь вам, это правда, и, ради одного этого обстоятельства, я должен уже утекать отсюда; в противном случае я непременно лопну...

Говоря это, молодой человек был необыкновенно взволнован. Щеки его ярко горели, а на лице ясно рисовалась какая-то, как будто с цепи сорвавшаяся злость, готовая истерзать первого встречного. Я видел, что он до бешенства вооружен против своей жизненной обстановки, — и на этом основании простая фраза моя, что бумаги можно переписывать и не выходя из родного города, была принята им за положительное, как будто даже начальническое приказание ему не оставлять ни под каким видом родины. Ускоряя шаги свои, так что я едва успевал за ним, он с каждой минутой раздражался моей фразой больше и больше и старался уязвить меня разными колкостями, в том ожидании, должно быть, чтобы дать мне хоть слабое понятие о той, по всей вероятности, мучительной боли, которая терзала его самого.

— Вы прекрасно посоветовали мне остаться в родном городе, — горячился он. — Очень вам благодарен за совет. Но одно из двух: подавая мне его, вы, извините за бесцеремонность, или соврали (бог уж вас знает для чего), что вы в одном со мною положении, или ваша московская жизнь так передернула вас, что вы забыли всю пахучесть той среды, которую иногда занимает наш класс. Но я не знаю, как можно забыть эту, постепенно одуряющую, жизненную обстановку людей нашего болота, о которой, когда начнешь рассказывать свежему, незнакомому с ней человеку, так он, слушая, непре-

менно думает, что вы сошли с ума и врете ему невозможную никогда и нигде не бывалую дичь. Тысячу, сто тысяч лет нужно прожить мне, например, чтобы забыть какое-то, так сказать, нравственное зловоние, которое окружает меня с самого детства и которое, наконец, выкурило-таки меня из прекрасных здешних мест. Да нет! И через сто тысяч лет я не забуду это зловоние... Понимаете ли, что это решительно невозможно, как невозможно не умереть человеку, — щегольнул он сравнением, задыхаясь от волнения и как-то особенно, точно в истерике, всхлипывая. — С другой стороны, я тоже решительно не понимаю, что вас заставило соврать мне, — спрашивал он самого себя, нисколько, повидимому, не сомневаясь, что я действительно соврал ему. — Встретиться с человеком на дороге и соврать ему без всякой нужды — это чорт знает что такое! Я никак не могу понять, — с азартом размышлял про меня мой спутник, соболезнуя как будто, что порочная наклонность моя врать первому встречному всякую чепуху не подлежит ни малейшему сомнению.

Я молчал, предоставив ему и время, и возможность прошуметься и освежиться утренним воздухом. И, действительно, он скоро прошумелся. Голос его, постепенно понижаясь, перешел, наконец, в тот немного взволнованный тон, которым подобные горячки сыплют на вас свои извинения и раскаяния в невольных обидах.

— Простите меня, — заговорил Теокритов прежним кротким голосом. — Я вот всегда так. Чуть только вспомню и заговорю о своем житье-бытье, сейчас я начну ругаться на кого

ни попало. Кажется мне в это время, что все люди виноваты против меня, потому что суждено им, счастливцам, не знать ту жизненную сладость, которую мое происхождение присудило меня изведать.

— Я вовсе не такой счастливец, и сердиться на меня вам совсем не за что: я нисколько не соврал вам, как вы обо мне подумали, и пахучести своей прошлой жизни далеко еще забыть не успел.

Юноша заметно стыдился своей вспышки и рассыпался в извинениях. Я уверял его, что в дороге тяжело и без них.

— Да нет! Как же это? — недоумевал он. — Вдруг встретиться на дороге с человеком, навязаться к нему в товарищи и потом обругать его.

— Вы меня не ругали. Вам показалось, что я наврал вам, — и вы, как откровенный человек, сказали прямо, что обо мне думаете. Я решительно не вижу, что вас беспокоит. Не будем больше говорить об этом.

— Но все-таки... — протянул Теокритов, стараясь не смотреть на меня и шибче прежнего шагая по дорожной насыпи.

Я заметил в нем сильное желание как-нибудь оправдать в моих глазах свою горячность.

— Я вам не надоем ли, — заговорил он после некоторого молчания, — если расскажу кое-что. Мне хочется, по возможности, доказать вам, что мне почти нельзя не быть таким зверем, каким я вам показался сейчас. Право, мне кажется, вы перестанете сердиться на меня, если выслушаете, что я намерен сказать вам.

— Я на вас и без того не сержусь, — старался я успокоить его. — Сделайте одолжение — говорите. Я буду очень рад.

— Хорошо же, — с живостью подхватил он, — я буду говорить. Вот вы сказали сейчас: «Сделайте одолжение — говорите. Я буду очень рад». Вещь на всякий взгляд обыкновенная, и каждый несколько раз в день скажет такую фразу, нисколько не задумываясь над нею, как не задумывается над нею и тот, кому ее скажут. Но посмотрите теперь на меня, и вы увидите, какой я несчастный, самому себе противный урод. Сам по себе, по натуре, как говорят, я от души расположен верить всему, что мне ни говорят, от души готов исполнить для всякого все, что могу исполнить. А в настоящем случае, то-есть вам, я совершенно верю, что вы не сердитесь на мою вспышку, что вы в самом деле очень будете рады развлечься в дороге моим рассказом; но в то же время те условия, при которых я жил до сих пор, посадили в мою голову какого-то беса, выгоняющего из меня, против моей воли, всякую веру даже в самых близких людей. Поверите ли, вот теперь этот бес повсеместно, так сказать, засел во всем моем теле и старается вытеснить из меня симпатию, которую я почувствовал к вам еще в то время, как только вас завидел. В моей жизни, хоть она и не успела, как видите, посыпать голову мою снегом, не было еще ни одного человека, которого бы я не полюбил при встрече и с которым бы не разошелся единственно по внушению беса, засевшего во мне. Откуда он пришел ко мне? Если бы я, как справедливо кажется мне,

не родился в той сфере, в которой родился, его бы во мне не было. Опять повторяю, что привычки людей, которые родили меня, воспитали, их особенное образование, перенесенное от них и на меня, их убеждения, если только можно назвать убеждениями дикую толпу диких предрассудков, выработанных стариной и сохраненных нашим временем, как лучшее доказательство той истины, что хорошее старинное может напугать времена позднейшие своим чудовищным варварством, — все это одно только, положительно уверяю вас, посадило в меня моего беса. Ну, вот он со мной и расправляется за грехи отцов. Я вам скажу пример, как именно он со мной расправляется. По выходе из семинарии я служил без малого два года. Чин мне, как студенту, дали; столоначальником к концу года посадили. Вы служили где-нибудь?

— Нет, — отвечал я.

— Следовательно, вы не знаете, что в руках столоначальника сосредоточивается нечто такое, что может выжать слезу из глаз просителя-мужика и отереть ее. Вот, каждый почти день это бывало, сидишь ранним утром в квартире, а мужики уж и лезут с своими нуждами, оборванные, истерзанные, грязные, с лицами озабоченными и изнеможенными до такой степени, что все сердце, бывало, перевернется, глядя на какого-нибудь горюна. «Батюшка! — начинают вопить. — К милости вашей пришли. Так и так...», и в ноги. Слушайте же: «Десять рублей, — говоришь ему, — стоит это дело, старик», потому что такса уж известна; зная эту таксу, расчислил кому сколько следует, чтобы без всяких

задержек поскорее отпустить старика, и объявляешь ему. Не дай вам бог видеть, что начинает делаться после этого объявления: стоны, слезы, коленопреклоненья, целованья ног. «Кормилец! Лошадь, говорит, другой день без корму стоит; хлебушко, кой с собою из деревни привез, вчера утром покончил, а теперь ничем-ничего нет»... Вот тут-то и начиналась обыкновенно расправа, какую учинял со мной бес, посаженный в меня, как я сказал вам, за грехи отцов. Я вижу, что десяти рублей старику взять неоткуда и что ежели сделать ему дело без них и кроме того дать еще полтинник на обратный проезд, так из этого выйдут два обстоятельства. С одной стороны, старик, осчастливленный нежданной благодатью, действительно всю жизнь будет поминать меня в своих молитвах, как обещает; с другой, мой стол, а главное — мое начальство подумают, что я хапаю один, и на этом основании рано или поздно съедят меня. А, может быть, как-нибудь уцелею, думаю я про себя, и решаюсь отпустить старика. Поймите: я хочу это сделать искренно, не стесняюсь толками товарищей, притеснением начальства: рискую быть выгнан из службы, следовательно, потерять единственную возможность жить. Вдруг ни с того, ни с сего в мою голову прокрадывается мысль незваная, непрошенная. Причин, могущих ее вызвать, кроме беса, я ни одной не знаю. Мне почему-то начинает казаться, что старичишка-то врет, что у него за голенищем мошонка с сотней рублей, которые он привез с тою целью, чтобы обхлопотать свое дело. Я пристально всматриваюсь в него и начинаю

видеть в нем так известный мне тип деревенского богача-скряги, у которого в пеленах под сараем деньги, в горшках под печью деньги, в холстах у жены деньги. В это время с какою-то особенною ясностью припоминаются мне все деревенские истории, которых, к несчастью моему, я был столько раз свидетелем. В селе сходка, обсуживающая какое-нибудь мирское дело. На этой сходке положили выбрать хлопотуном дядю Федоса, присудили дать ему на хлопоты по рублю с души и отправили на мирской подводе в город. Приезжает из города дядя Федос — и опять сходка. «Ну, что, — спрашивают, — схлопотал?» — «Эвося!» — отвечает с приличною важностью хлопотун. — «Как же ты обделал, братец ты мой? — удивляются мужики. — Деньгов-то у тебя было не бог знает сколько?» — «Вон она! — еще больше важничает дядя Федос. — Мы, малай, и без деньгов бы всяко дело уделали. Нас господа-то, подикась, как примечают, потому видят господа: ума-то у меня коровы покедова не сжевали. Свитенку-то я нарошно старую да изорванную с собой захватил, и лаптишки-то избитые, и шапчонку такую же. Пришел к начальству в таком-то наряде — себя самого не узнал: как есть блаженный какой. Боялся, все как бы мне в горнице-то судьи не загрохотать вслух, одначеж скрепился и взялся я, братцы, мои, у этого самого судьи (молодой такой судья, новый еще!) так-то орать, так-то скорбеть тоскливо я у него принялся, что слезы у него из глаз потекли. Увидал я слезы-то у него — в ноги сейчас к нему, целую ему сапожки-то, светлые такие сапожки; он мне все

дело-то и уделал, у всех самых набольших за меня просил. Только и потратился я на харчи лошади, да себе, да солдатов судейских оделил по семитке. Во-как!» Сходка слушает дядю Федоса и хохочет в поощрение его адвокатских способностей, а дядя Федос, раскуражившись, поучает мир такого рода справедливым изречением: «Тоже, малай, много дураков-то и в городе есть! На наш век хватит их, городских-то!» И вот, говорю вам, при этом воспоминании я начинаю на лице стоящего передо мной просителя примечать улыбку дяди Федоса и думаю: «Что ежели и этот старик есть не кто другой, как дядя Федос? За что тогда вытурят меня из службы?» Но даю вам честное слово, что я не очень скоро поддавался бесу-внушителю. Я усиленно боролся с ним, и всегда эта борьба оканчивалась таким образом: «Не поддамся же я тебе, бес, — говорил я про себя, — ничего не возьму с мужика». — «Не бери, тебя никто и не принуждает, — раздавалось в ушах моих. — Тебе же хуже. Ты вспомни только, кто для тебя сделал что-нибудь даром? Вспомни, что сделали тебе твои самые родные?» Я вспоминал тогда, кто бы сделал для меня что-нибудь даром, вспоминал, что сделали мне самые близкие, — и озлоблялся на мужика. Я радовался, что у меня есть возможность пожать человека в своих лапах, как меня жали и жмут. Такие случаи доставляли мне какое-то одуряющее до сумасшествия наслаждение. Я нарочно, как можно дольше, задерживал мужика и по целым часам выторговывал у него копейку за копейкой, чтобы посмотреть, как он будет плакать и валяться в ногах; но и в этот

момент у меня все-таки оставалось сознание, что так, как я, поступают только одни подлецы, хотя сознание это было до такой степени слабо и неуловимо, что я едва-едва чувствовал, как оно скользит по моему мозгу. Поэтому, я думаю, оно посылалось мне тем же бесом отрицания единственно для того только, чтобы отравить мое наслаждение даже и слезами ближнего... Это, мне кажется, бес делал с тою целью, чтобы служить-то я служил ему, делая такие подлости, и в то же время за эти подлости не получал бы ни одного вознаграждения, какие обыкновенно так щедро рассыпает своим слугам искуситель...

Меня, наконец, очень озадачила последняя сентенция моего спутника и печальный тон, которым она была сказана. Я взглянул на него. Теокритов был необыкновенно бледен, его глаза сделались мутны и совсем потеряли умное и ласковое выражение, которое я приметил в них сначала. Как-то бесцельно выпучил он эти бессмысленные, как у сумасшедшего, глаза, сгорбился по-старчески, сжался, угловато расставив руки и упрямо всматриваясь в дорожную даль.

— А вот Москва вылечит вас от этого беса,— сказал я, стараясь говорить как можно ласковее.

— Как вылечит? — спросил он. — Вы, может, по опыту знаете, что она способна прогонять бесов?

— Знаю по опыту. Там вы очень скоро навыкнете или следовать одним вашим собственным внушениям, или внушениям беса, судя по тому, с какими людьми сойдетесь.

— Давай бог! — пожелал Теокритов, оживившись. — Не устали ль вы? Сядем и будем курить.

Мы сели на траву, еще не обсушенную недавно взошедшим солнцем.

— Сказать вам по правде, я и сам полагаю на Москву большие надежды, особенно, если как-нибудь попаду в университет. Я почему-то, хоть и весьма смутно, сознаю, что там перестроюсь решительно на другой лад. Каким путем произойдет преобразование, я еще не знаю, но верю, преобразование будет. Это я имел случай видеть на моих товарищах, поступивших в университет. Знаю, что моя собственная перестройка, как и всякая другая, доставит мне много хлопот, а может, и страданий; но я ничего не боюсь, потому что теперешнего своего положения я окончательно не могу выносить. Его с ума сводящее, всегда безотрадное однообразие, которому я не вижу конца — да конца и быть не может, — вынуждает меня к самым отчаянным мерам, чтобы добиться хоть какой-нибудь жизненной перемены... Верите ли, самая природа моей родины, по общему и, вероятно, по вашему также мнению, такая цветущая, я не скажу, чтоб опротивела мне, но пригляделась как-то до такой степени, что я уж не нахожу в ней ничего, как прежде, когда, бывало, ребенком, наделенный потасовками и щелчками от всякого, кому только попадался под праздную руку, я уходил на целые дни плакать об чем-то, жаловаться на что-то или в лес, или в дальнее поле... Итак, решено и подписано: иду в Москву и во что бы то ни стало буду добиваться уни-

верситета. Если временами у меня и поднимаются дыбом волосы, когда я подумаю о моем беспомощном положении, которое так осязательно представляет мне полную возможность умереть там без хлеба и без приюта, тем не менее меня ужасает и та нравственная гнилость, которая теперь уже в какие-нибудь двадцать лет успела съесть почти всего меня. И то скажу вам еще: страх физических лишений, даже самых крайних, уж потому не может изменить мое решение, что я не знаю этого страха. Ежели бы мог я в четверть суток заработать только два фунта черного хлеба, так, чтобы остальные три четверти мне нужно было употребить на свои собственные дела, я был бы доволен, потому что в тятенькиных теремах разносолов особых не важивалось. Теперь предлагаю вам на вопрос: итти мне или не итти, — посмотреть вот с какой точки. Рассказывая вам про беса, вынуждавшего у меня злую радость при виде горя дяди Федоса, наперекор моему душевному желанию помочь этому горю, я показал вам весьма слабый, весьма неудовлетворительный образчик того, как лично со мной расправляется этот бес. Вы можете себе представить, что дума об университете, трудовой, полезной жизни — и, признаюсь вам, какая-то хоть и бесправная, но твердая надежда на громкую и добрую славу, сопряженную с такою жизнью, всегда была моей заветной, самой лучшей думой. Если у меня были когда-нибудь минуты, свободные от моих сомнений, в которые я мирился со всем меня окружающим и не возмущался им, так только тогда, когда я в глубине души ласкал эту думу.

Но посмотрите же, пожалуйста, на меня: видали ль вы когда-нибудь таких чудовищных уродов, как я? Вот теперь я решился итти, бросил службу, родину — и иду. Единственная и лучшая мечта моя начинает сбываться. Чего бы еще? Но я не могу поручиться, что, например, завтрашний день, отошедши от этого места пятьдесят верст, я не ворочусь назад, потом, может быть, я переменю свой план и пойду вперед, и, наконец, — кто знает? — может быть, до самого гроба я прохожу по этой дороге, меняя каждый день желание итти в Москву на желание воротиться домой... Делаю я это предположение вот на каком основании. Иду я, хоть бы вот теперь, даже по этой самой дороге, и думаю, что я уж окончил университетский курс, узнал жизнь и людей, насколько это возможно, из книг и из жизни, имею большие средства, которые дают мне полную возможность заниматься чем хочется и сколько хочется; общественное положение мое полезно для меня и для других, честно и прочно; думаю я обо всем этом и изо всех сил шагаю в Москву. Но может же при этом случиться и то, что бес, который теперь сидит во мне, не выйдет из меня и тогда. Следовательно, то зло, которое он заставит меня сделать в будущем, будет уже крупнее того зла, которое теперь я делаю. Эта мысль, конечно, наводит меня на другую мысль, о том, что не лучше ли мне дома остаться навсегда, что, разумеется, ослабит средства мои делать зло другим. И вот поэтому я должен воротиться к только что оставленным пенатам за тем, чтобы сколько возможно мирнее умереть у их мирного подножия...

— Такая мысль, — сказал я, — не может переменить вашу дорогу, потому что свет науки, за которым вы идете, неминуемо прогонит от вас вашего беса. Им не усидеть вместе, и я не могу себе объяснить, как вы не знаете ту всякому известную истину, что ученье — свет, а неученье — тьма.

— Ученье! — отчаянно вскрикнул Теокритов. — Я не беру это слово в том смысле, который палками и кулаками навязывали мне понимать в нем. Если бы даже вы сказали мне, что науки свет, — и тогда бы ответил вам за меня мой бес. «Наука — это меч обоюдоострый, — шпечет мне в настоящую минуту мой непрошенный учитель. — Этим мечом в равной степени, — говорит он, — можно защитить и убить».

— Пора бы вам отличать бесовские фразы от действительной истины, — возразил я.

— Но что вы посоветуете мне делать, когда я ни от кого, кроме этих фраз, не слыхал ничего?

— Итти поискать человека, который бы сказал вам что-нибудь другое, что, впрочем, и без моего совета вы уж начали делать.

— Помилуйте! — нетерпеливо отозвался Теокритов. — Да я так только и делал во все двадцать лет, что искал того человека.

— Это ничего не доказывает. На двадцать первом найдете. В столицах такие люди чаще попадаются, нежели в губернии.

— Посмотрим! — с грустною улыбкой сказал молодой человек. — Только на многих людей, должно быть, успею я насмотреться до тех пор, пока ваши слова сбудутся.

Я заметил, что Теокритов, при всей своей молодости, не для фразы только толковал об отсутствии в себе веры в возможность хороших случайностей и глубоко задумался над безграничным количеством тех нравственных и физических потасовок, которые, выколотив из него эту веру, поставили его с завязанными как будто глазами на далекую, неизвестную дорогу с неминуемыми лишениями, страданиями и с такой тяжелой мучительной борьбой, которую могут вынесть редкие силы... Я шел подле него и мысленно скорбел, представляя себе тот печальный период, почти неизбежно предстоящий всякому Теокритову, когда молодая душа, вместо желаемой любви и участия встречая на каждом шагу одни только оскорбления, должна будет, наконец, сосредоточиться в самой себе и пугливо притаиться, как таится измученная баловниками-мальчишками птица...

Гибельная тема о том, как должны быть демонски крепки и ум и тело плебея, рвущегося из своей среды, развивалась в моей голове с необыкновенною полнотою и ясностью. Весь этот тернистый, до кровавого пота трудный путь, по которому такие люди идут за своими прекрасными целями, — узкий и длинный путь живо представился мне! Как заколдованная дорога наших сказок, растянулся он перед моими глазами, мелькая мне издалека белою надписью на длинном столбе. Пугалом стоит столб этот в одинокой пустыне. Так и хлещет в глаза прохожему его грозная надпись, ярко освещенная палящими полдневными лучами.

«Куда ты теперь пойдешь, странничек божий? — насмехается над усталым странником столб. — Две дороги за мной. Видишь, в надписи у меня значится: «Направо пойдешь — конь пропадет, налево пойдешь — сам пропадешь»...

Задал он страннику такой вопрос и стоит перед ним, безучастный, бездушный, и как будто смеется над долгой и глубокой думой, которою путник силится разрешить себе заданный им вопрос.

Я знал по опыту, как тяжело это время раздумья для всех Теокритовых. Ошеломленные крайним равнодушием людей к их юной вере во всеобщую любовь, обезумленные несчастными столкновениями, которые показали им жизнь во всей ее неприкрытой наготе, прячутся они тогда в какой-нибудь темный угол и оттуда молчаливо смотрят на жизненную драму, проклиная дурных и хороших актеров: дурных за то, что они дурно играют, хороших за то, что самим им не посчастливилось так же хорошо сыграть свои роли.

И виделось мне, как повисло это грозное сокрушающее время над умною головой моего спутника и сокрушило ее... Целый рой знакомых образов встал в моей памяти, тоскливо и громко жалуясь мне, что и их стремления вместе с ними стерты с лица земли этим раздумьем.

Никто в степной тишине не мешал мне слушать стоны погибших братьев моих, потому единственно погибших, что во чреве матери они уже были осуждены на погибель, ибо, говоря славянскою речью, слишком твердо заучило

наше общество, что «не надейтеся на князи и на сыны человеческие».

Много прошло таких странников по этой дороге, много всяких дум их развеялось по ней; но когда думали они, как им тяжело будет разбивать толстые стены, за которыми прятались жизненные цели их, они не думали о том, кто поможет им разбить эти стены. Они только о том думали, что стена должна быть разбита, потому что за нею свет, без которого они жить не могли, и некоторые из них, действительно, разбивали ее, а другие, несчастные, разбивали об ее холодные камни свои благородные, думающие головы — и умирали...

И из этих несчастных были такие, которые, в предсмертных муках, тащились по этой дороге на родную сторону, чтоб умереть там на отцовском погосте. На моей стороне я знаю много могил, приютивших у себя таких мучеников с их кровавыми ранами. Об их жертвенной крови неустанно шепчут и плачут листья развесистых кленов и белых берез, в наших сторонах растущих над могилами, и ежели иногда случается так, что гром разбивает дерево, печалящееся о человеческом горе, и плач прекращается, то не надолго, потому что на нашей тучной, степной почве очень скоро вырастают другие деревья. Их молодой шопот не так резко нарушает суровую тишину наших кладбищ и еще нежнее лелеет уснувшее горе...

... Чувствую я, что голову мою начинает жечь палящий жар степной. Удрученная своей скорб-

ною думой, с каждым шагом развивавшеюся все печальнее и печальнее, она невыразимо страдала: какие-то проклятья слагались в ней, какая-то мука тяготела над ней и не давала ей возможности сообразить, луч ли солнечный бил в нее этою мукой, или какое-то смертное томление, обыкновенно примечаемое в пустыне, когда солнце зальет ее потоками своего палящего света, заставляет ее страдать?

И, действительно, самое равнодушное сердце не могло не биться усиленно при виде этой картины одного общего, всецелого, так сказать, страдания. И, казалось вам, тем тяжелее страдала природа, что не было слышно ни одного звука, обыкновенного в этих случаях; только одни глаза видели во всем какую-то удушающую, гнетущую полноту...

Придорожные вешки, как человек в нежданном несчастье, распустили свои запыленные ветви и молчаливо стояли, будто окаменелые. Десятки птиц унизали их кривые сучья. Идете вы и видите, как какой-нибудь ворон, в другое время чуткий и пугливый, теперь и не думает примечать вас. Вцепился он острыми когтями в древесную кору, раздвинул серые крылья и озадаченно смотрит на вас, удивляясь, повидимому, вашей охоте шататься в такую мучительную пору. Навстречу вам время от времени пробежит тощая, искалеченная, с перебитою ногой, собака, с хвостом, волочащимся по земле. И в глазах животного видна та же мука. Так жалобно посмотрела на вас собака, так выразительно замахала хвостом, что будто просила вас помочь как-нибудь ее перебитой ноге.

А по обеим сторонам степной дороги из золотых волн ржи мелькают белые рубахи на трудящихся спинах людей. Вам не видно красных, изможденных лиц этих людей, покрытых кровавым потом, — и лучше!..

И все это как-то неприязненно молчит молчанием мертвеца, словно по чьему-нибудь строгому запрещению...

Но прихотливы бывают дорожные думы... Идете вы и думаете: что было бы, ежели бы все это, не вынесши своей тяжкой боли, вскрикнуло вдруг?

Я не успел ответить себе на этот вопрос. Теокритов прервал мои думы.

— Если вы не хотите итти в такую жаркую пору, — сказал он, — я приглашаю вас зайти к моему деду. Скоро будет небольшой выселок на дороге: у него тут бахчи и постоялый двор.

— Я не прочь отдохнуть, — согласился я.

Очень скоро завиднелись с горы крыши выселка. За полверсты по обеим сторонам дороги потянулись бахчи, обрытые глубокой канавою. Кроме сплошной зелени свеклы, арбузов и дынь, покрывавшей бахчи, на них возвышался высокий лес ярко-желтых подсолнечников. Стая бахчевых собак встретила нас громким лаем. Седой, сгорбленный старик торопливо выбежал из соломенного куреня усмирять их.

— Арбузиков, што ль, вам? — спрашивал он. — Не поспели еще.

— А ты нам, дедушка, спеленьких откопай, — заговорил Теокритов.

— Родимый ты мой! Как это ты попал сюда? — пытал дед, признав, наконец, внука.

— Проститься пришел, дедушка. В Москву иду.

— Зачем?

— Счастья искать.

— Дай тебе бог! Пошли тебе царица небесная! — взмолился старик, приглашая нас в курень.

С неописанным наслаждением людей, проведших пять часов кряду в пешковой дороге, мы с Теокритовым уселись на только-что скошенном сене, которым роскошно устлана была прохладная куща степного патриарха. Гостеприимство старика-бахчевника тем только и отличалось от гостеприимства древних, что ноги уставших странников не были омыты руками хозяина. Золотые дыни и, как раскаленный уголь, красные арбузы были принесены нам. Вода, зачерпнутая дедом из придонского родника, была так холодна, что, как только поднесли мы ко рту по первому ковшу, наши пылавшие лица освежились мгновенно.

— Эх ты, счастье, счастье наше! — заговорил старик, устав, наконец, для нашего угощения суетиться по куреню и рыскать по длинным бахчам. — В какие-то далекие стороны ты закатилось от нас? — раздумывал он.

— Сказывали мне, дедушка, в губернии: в Москву оно от нас по каменной дороге ушло, — шутливо сказал Теокритов. — Ежели я увижу его там, поклон ему от тебя сказать, что ли?

— Скажи, родимый, скажи, потому туго нам без него приходится на степях. Ох, как туго! Ровно вот скрутит тебя кто по рукам и ногам,

и хотелось бы тебе эдак-то вздохнуть посвободнее, а он говорит: не дыши!.. Говорит — и так-то пуще того крутит тебя и жмет...

— Это тебя, дедушка, старость крутит и жмет, — подсказал внук. — Молодым когда был, тоже, небось, вольно дышал.

— Справедливо ты говоришь. В молодости в самом деле вольготнее будто бы жили, потому дешевисть была во всем, милый ты мой, самая, то-есть, добродетельная, благорастворение воздухов истинно райское. Правду ежели сказать, так и тогда тоже выпадали года, не очень чтобы счастливые, да все не такие, как ноне. Вам в губернии-то не видать, как мы по селам страждаем. На скотинку бессловесную пойдет мор, так во всем селе ни одной лошади и ни одной коровенки не останется. Холера на людей нападет — целые дома пустеют и разваливаются, потому вымирают все до единого человека. Истинно говорю, в старину таких див мы и не видывали: реки у нас пересыхают, леса выгорают до тла, земля ничего не родит... Сказывают поученее да поблагочестивее кто нас: за грехи, говорят, наши все это на ваши головы рушится. И точно, милые вы мои, велики грехи на нонешнем свете лежат!.. Чужому горю мы злорадостны, чужую беду сыскать мы злохитростны, а в старину простота была. Ям-то глубоких ближнему мало мы рыли, ног-то ему не подстанавливали... А теперь взглянешь: и неурожаи-то, и мор-то, и знамения небесные, — все это господь бог показует нам и стращает, дабы мы убоялись и от похотей своих плотеугодливых отреклись. Видно, други мои сердечные, по всему видно, последний

конец земле настает, потому странные люди, в дальних краях какие бывают, то же и про дальние края сказывают. Немилость, говорят, божья вообще на всю землю легла, — ни к чему, сказывают, подступу нет — дорого!.. Что прежде даром давали, за то ноне деньги плати, а денег-то и нет, взять-то их у нас на степях негде... Думают так-то у нас старики-то: с голоду, пожалуй, все помереть можем, и не диво!.. Зимним так-то временем часто случается — все село на одном ржаном хлебце сидит, а у кого и хлебца-то нет; да и он, батюшка, хлебец-то, давно ли в наших сторонах гривенник пуд был, а теперь его, пудик, поедешь в город купить, рубль целковый с собой захватимши, так тебе с целкового-то двугривенный только сдачи дадут. Вот как купцы-то городские припирают, а нам, известно, без хлебушка жить ни под каким видом нельзя. И опять же недавно, не хуже вас тоже, прохожие на бахчи ко мне заходили. Издалека, сказывали, идут. В самом Иерусалиме сподобил их бог раз пяток побывать. Показывали эти прохожие писание такое, — в церковь, говорят, иерусалимскую во время службы с неба упало. «Весь мир, — в писании том говорится, — несчастьем поражу». Многие из нашего околотка списали себе все письмо; слухи пошли тут разные: о представлении света толковать начали, и смута по селам раскатилась великая. Только становой наш сам поехал по селам, сходы стал собирать. «Не верьте,—говорит,—и не смущайтесь, а таких странных людей ловите и ко мне в стан представляйте». А не верить-то нам и нельзя странникам, потому кто по-настоящему

вникнул в писание, тот видит приметы-то, как приближается к нам царство антихристово, потому приметы-то самые верные. Зимние мятели все избы у нас доверха засыпают, морозы хлеба, деревья и травы до тла вымораживают, а что от морозов останется, то летние жары невиданные допекут и досушат.

Глубокая тоска, очевидно, засела в самую душу бахчевника. Оперся он локтями о свои колени и все лицо закрыл мозолистыми ладонями. Долго сидел он таким образом, не отрывая рук от глаз. Боялся как будто старик, взглянувши на божий свет, увидеть в нем какое-нибудь доселе невиданное и неслыханное в старину горе.

— И теперь еще я никак не могу освободиться от той страшной тоски, которую нагоняют на меня эти пророчества о последнем конце мира, о пришествии антихриста и тому подобном, — сказал мне шопотом Теокритов. — Мой дед особенный мастер на эти рассказы. Темными вечерами, бывало, помню я, начнет он расписывать все эти ужасы: волосы дыбом становятся.

Я сам слишком хорошо помнил эти ужасы, чтобы не верить Теокритову. Все вдруг вспомнилось мне, и вспомнилось тем живее, что вне куреня, в котором сидели мы, все изнемогало под мучительною пыткой жгучего летнего солнца.

И так печальна была поза старика, боязливо съежившегося на каком-то отрубке, такое томящее ожидание неотвратимых страданий изображала она, что, смотря на нее, вы невольно ду-

мали: не рисует ли в настоящую минуту воображение деда картин, так поражающих простые сердца, как по мертвой молчащей дороге степной идет теперь адская сила антихриста.

— Что же, внучек, долго ты у нас проживешь? — вдруг спросил Теокритова старик. — Ты у нас долго-то не заживайся, родимый. И мне, и сестре твоей большая беда от этого будет.

— Знаю, знаю, дедушка! Небойсь, не заживусь долго; только одну ночь переночую и уйду, — отвечал он.

— Такой-то враг лютый навязался на нас с ней, хоть в лес от него бежи! — жаловался на кого-то старик. — Бьет он ее, милый ты мой, каждый день; вся иссохла, голубушка, от его кулаков, а мне, кроме как: «старый чорт» да «лежень», от него другого названья и нет совсем.

— Знаю, дедушка, знаю. Ты уж лучше не говори мне про него. Ты шел бы покуда домой да что-нибудь нам поесть приготовил. Ежели он будет там разговаривать, так ты скажи ему, что мы деньги за постой и обед заплатим. Пришли тогда за нами кого, — мы покуда здесь уснем немного.

— Господь с вами, дорогие мои! Сосните со Христом,—пожелал нам старик и отправился в выселок.

— Про какого врага вы говорили с вашим дедом? — спросил я моего спутника.

— Слишком обыкновенная история. Видите: после смерти отца и матери мы вдвоем с сестрою остались сиротами. Я, на худо ли, на

добро ли, в бурсу был принят, а сестру вот этот самый дед к себе взял. Он прежде неподалеку отсюда дьяконом был, только теперь уж от места его отставили, преклонных лет и вдовства его ради. Вот и принялся он за эти самые бахчи; двор постоялый выстроил. Прошел тут о нем слух по околотку, что очень будто бы много денег нажил старик. Можете себе представить, сколько на основании этих слухов налетело к деду сватов за сестру: и мещан, и купцов, и духовных. В числе разных соискателей явился один весьма забулдыжный приказный из ближнего городка. Вам, конечно, известно, что по деревням всякого, кто только марает бумагу в городском суде, барином чествуют. Вот дед и прельстился барином и отдал за него сестру с той надеждой, что внучка его тоже барыней будет и с городскими приказницами подружится. Утешительные надежды однакож не сбылись, потому что барин наш расчел, вероятно, что лучше быть первым в деревне, нежели последним в городе, и бросил службу. Он, изволите видеть, не удовлетворился тем, что дед поил и кормил его в городе, потому что, самому вам должно быть известно, можно ли удовлетворить барина какими-нибудь картошками? Аристократу, зятю моему, оказались необходимы деньги для поддержания чести наследственных гербов, хотя гербы его особенных позолот не требовали, ибо, — с злобой смеялся Теокритов, — гербы эти состояли всего-навсего из зеленого полуштофа да двух даже не крестообразно расположенных рюмок с отбитыми донышками на дубовом, залитом чернилами и

огуречным рассолом столе. Слухи про богатство деда оказались ложны, и когда зять-барин увидел, что, кроме репы и картофеля, от деда ждать нечего, он с своими гербами переселился из города в выселок, справедливо рассуждая, что расходы нобля делаются ограниченнее, когда нобль из шумного города переселяется под густую тень зеленых сельских берез. Надобно, впрочем, сказать, что приказный не скоро решился зарыть свои административные способности в сельском уединении, а променял он городские кабаки и городскую публику на кабаки и публику сельскую тогда только, когда увидел, что те варварские тиранства, которыми он тиранил жену, не могли заставить ее вымолить ему у деда никогда небывалые деньги. Вот теперь и засел этот зверь под сею мирною кровлей и ждет под ней, когда, как он говорит, издохнет старый чорт, в поте лица построивший свой дом, чтобы завладеть его денежками. А в ожидании этой счастливой минуты барин блаженствует, глядя на мужиков, которые простодушно снимают шапки перед медными пуговицами негодяя... Впрочем, хоть и шучу я, рассказывая вам про эту каналью, все-таки, признаюсь вам, чем больше я говорю про него, тем больше усиливается моя злость. Рано или поздно, чувствую я, он будет причиной какого-нибудь страшного несчастья, потому что в жизнь мою я не видал человека, который больше моего зятя был бы способен заставить меня убить себя. И теперь этот городской мерзавец, поселившись здесь, кроме того что, как сказал дед, не дает житья ни ему, ни сестре,

сделался ужасом всех соседних мужиков. Что хочет, то и берет у них, и всякий дает ему все, что он попросит, лишь бы только отвязаться как-нибудь от шаромыги. Да вот вы сами увидите эту язву, сейчас я буду иметь случай показать вам, как эта мерзость, постепенно разливаясь из городков по нашим селам, оскверняет и портит их простые, добрые нравы, — закончил Теокритов и задумался...

Я насмотрелся в разных городах на такие язвы — и потому не ощутил особенного удовольствия при этом обещании. Но необыкновенно устав и лежа в прохладном месте на душистом сене, следовательно, имея под рукой все средства уснуть сном праведных, я все-таки никак не мог уснуть. В голове моей теснилась неотвязная мысль о том, что будет тогда, когда эта городская образованность, вышедшая из-под розог и кулаков дьячков, просвирен и отставных солдат, в самом деле разольется по селам и властительно засядет под гостеприимными елками питейных домов?..

На постоялом дворе, куда нас с Теокритовым очень скоро пригласили обедать, встретили мы обыкновенную обстановку и обыкновенные сцены. Заезжий мужик, после благодарности за хлеб, за соль, назвал при расчете живодером и лупилой работника, который обобрал его за эту хлеб-соль. Маленький тощий солдатик с птичьим лицом занял после его место за столом.

— Барыня-сударыня, женушка-красавица! Кушать пожалуйте-с! — кричит солдатик на двор в растворенное окно.

На его зов вошла в избу молодая женщина в ситцевом платье.

— Что это у меня какая жена умница, братцы мои, — сказать не могу! — рекомендовал публике солдатик вошедшую женщину. — Словно барыня какая, сейчас умереть!

— Будет, будет хвалить-то! Ешь знай, — говорила жена.

— И есть будем, и хвалить будем. Поверите ли, господа, — продолжал он, налегая на щи, — такой бабы, мастерицы такой на всякие городские платья, однова дохнуть, в жисть не видал!

Только что отобедавший мужик слушал солдатскую похвалу с видимым удовольствием, между тем как работник, казалось, весьма сомневался в возможности обладания такой редкой женой, и в то же время, не желая из деликатности высказать свои сомнения, он смотрел на солдата и старался подкашливанием и кивками головы дать ему знать, что он понимает и ценит счастье быть женатым на такой умнице и мастерице на всякие господские платья.

— Веришь ли, друг ты мой сладкий, — обратился солдатик исключительно к мужику: — когда я, то-есть, сватался за нее в Петербурге, оторопь меня великая забрала. Вот, думаю, по роже сейчас царапнет меня. Как ты, скажет, смеешь, солдатик ты эдакой разнесчастный, свататься за меня? Ей-богу!.. Потому (как тебя зовут, дядя? Петр, говоришь?), видишь ты, Петр, люди дорожные мы с нею теперь; одначе, посмотри-ка-сь ты на нее, во что одета она. Встань, покажись дяде Петру, — ему ничего, показаться можно. Ведь это, братец ты мой, зна-

ешь, материя-то какая? Ты такой сроду и не видывал. Вот какая эта материя! Ну, а в то время, приятель ты мой дорогой, когда я сватался за нее, словно барыня какая была она расфуфынимши. Сейчас издохнуть! Шляпка на ней была как кровь красная, — платье, с места мне не сойти, шелковое, самое дорогое! А? Каково?

Восторг солдата в эту минуту дошел до высшей степени. Он бросил ложку на стол, проворно выскочил на середину избы и продолжал:

— Юбка у ней, землячок, так то есть распушилась, обхватов примером в пять либо в шесть, словно сена копна, — ты бы, милый человек, со всей семьей досыта нажился там. Только смотри ты теперь, какой я малый не промах. Другой бы что тут стал делать, а? Удрал бы, а я, бра-е-ц ты мой, учтиво так-то, по политике, вычистил сапоги ваксой (ты, поди, не знаешь и вакса-то что такое?) и говорю ей: так и так, говорю, сударыня! Насчет законного брака переговорить с вами позвольте; а сам ногою-то дрягаю, сапог-то, значит, ей светлый показываю... Вот я какой!

И солдатик, рассказывая это, заливался тем добродушным смехом, каким обыкновенно смеются все счастливые люди.

Мужик, слушая солдата, видно удивлялся его беспримерной храбрости, с которой он сватался за свою барски одетую жену, а суровое лицо работника постоялого двора как-то насмешливо и вместе крайне завистливо уставилось на рассказчика. Кухарка, подавши гостям щи, стала у перегородки, сложила на груди свои так редко

праздные руки и умиленно вздыхала, потому, может быть, что ей было не суждено не только носить, но даже и видеть такое богатое платье, которое украшало солдатскую жену, когда она была невестой.

— Вот оно что значит военная служба-то!— удивлялся солдат после некоторого молчания. — Ко всему она человека приучит. Ты давеча, дядя Петр, обедал, смотреть на тебя тошно мне было. Пыхтел ты над щами-то, ровно в воз тебя запрягли. А я вот, видишь, как живо дело обделал, потому солдату много ли надо? Ложечек триста свистнул да по избе шагов эдак двести отмотал скорым маршем — и аминь. Так-то-сь! Не очень мы, служивые люди, любим раздабарывать-то. За раздабары-то нас не долюбливают! Бывало, эдак и по спине нашего брата за прохладу-то гладят. Что ж такое? — спрашивал солдат у дяди Петра, как будто самому ему дядя Петр жаловался на то, что ему за прохладу спину гладили. — Не доводи себя до этого, — вот и не будут.

— Это точно, — согласился дядя Петр. — Вся сила в эфтом.

Работник подтвердил это положение знаменательным кивком головы, а кухарка, лишь только солдатик упомянул про глажение, тихомолком захлюпала.

— Да, бишь, и забыл я вам давича про жену-то свою досказать, — неутомимо продолжал служивый, закуривая коротенькую трубку.— Вот теперь сам уж ты, Петр, все видел: и в какое она платье одета, и какая она умница. Только и черти же необузданные эти мужи-

чишки степные, посмотрю я на них! И ты, Петр, тоже, надо думать, дуб неотесанный, потому ты тоже мужик и в политике толку не знаешь. Ведь, лошади вы дикие, вы бы хоть то подумали: чем, дескать, мы, мужики, носы-то свои утираем? Ведь вы их ногами утираете-то!.. Сейчас издохнуть, ежели все вы, мужвари, не хуже идолов в тысячу раз! Да что с тобой толковать, с дураком. Ты, статуй эдакой деревянный, поди прежде в Питере да в Москве с мое поживи, тогда и приходи ко мне, — я, может, с тобой и потолкую безделицу...

Дядя Петр, действительно, как деревянный статуй, слушал ругательства солдата, ни слова не отвечая на них. Неожиданный переход от обыкновенного разговора к брани ошеломил его до такой степени, что он мог только пялить на солдата свои большие, смирные глаза и улыбаться ему при каждом чествовании самым жалостным образом.

— Ты сам посуди: ну, не черти ли вы, степнина нераспаханная? — с большим ожесточением спрашивал солдат.

— Будет тебе, служивенький, ругаться-то. Што ты в самом деле пристал, государев ты воин храбрый, — проговорил, наконец, Петр с самой умилостивляющей улыбкой. — Ты вот лучше про жену-то свою еще бы что рассказал.

— Про жену? Про жену я тебе и толкую, шут новой ловли! Разве ты не видишь, к чему я речь подгоняю? Как же ты можешь теперь понять, куда я еду и за чем? В Астрахань я ездил к родным жену показать. У меня в Астраханской губернии, значит, родные есть: мать, братья

женатые, сестры, — такие же серые волки, как ты. Знаешь ли ты, сколько верст будет от Питера до Астрахани? Молчи уж лучше: где тебе знать, дураку! Мы вот с женой и поумнее тебя, да и то верстам-то счет потеряли. Только проехал я эти версты или нет, — сказывай? Проехал, мол. Не должны ли родные мои всячески уважить меня за это, — сказывай? Должны, мол. Так! Ну, слушай теперь. Приехал я к ним, пожил два дня, а на третий старший брат мне и говорит: «Ты, говорит, брат, ежели в долгую побывку приехал, так фатеру себе ищи». — «Как так?» — говорю. «Да так, говорит, милый ты мой, самим нам есть нечего, не токма что тебя с женой кормить». Я его сейчас и спрашиваю: «В солдаты, спрашиваю, не я за тебя, музлана, пошел? Не я разве, говорю, заместо тебя, может, на сражение ходил?» — «Точно, говорит, это ты сказал настоящее дело; только ты прости мне мои слова грубые, потому, дескать, неурожай у нас каждый год почитай, — малые дети наши с голоду мрут. Одного тебя мы бы, говорит, коекак продержали, а уж с женой никак нам это, говорит, невмоготу». Очень я удивился, братец ты мой, как это он такие глупые речи про жену, не подумавши, разговаривает. «Фатеру, говорит, сыщи!» Чудно, право, мне это показалось. «Да ты, спрашиваю, видал ли когда в избе-то своей такую барыню, как моя жена? Как же ты, не рассудимши этого, фатеру мне велишь искать?» — «Ничего, говорит, не поделаешь. Ежели, примером, ты с женой будешь жить с нами, до новой ржи мы ни за что не дотянем». — «Да чорт ты эдакой! — согрешил я тут, изругал его. — Ты,

говорю, рассуди попристальнее-то: ведь она все равно что барыня». И тут не понял, заплакал только. Мать тоже пристала ко мне, и вся семья реветь по-коровьему принялась. «Мы, говорят, душою вам рады, да помереть с голоду боимся!» Плюнул я на них и уехал. Вот все вы, мужики, такие-то шуты несуразные! С вами, с дураками, сговоришь што ли?

— А, может, у них взаправду на мале хлеба-то оставалось? — не без страха возразил дядя Петр.

— На мале? Што ж такое? Ты прежде спроси: кто меня от запоя лечить выучил, да тогда и говори, что на мале. Жена меня выучила, а ей про то ее бабка сказала. Вот она у меня какая! Я тебе про это расскажу сейчас. Соскучилась ты у меня в дороге, барыня-сударыня, — обратился солдатик к своей жене, которая окончила в это время обед. — Сосни-ка ступай в телеге, там тебе прохладнее будет. Только ты погоди маленько, я тебя потешу немножко.

И он стал в бойкую позицию плясуна, подперся руками в бока и принялся выбивать ногами частую дробь.

Ой, я не сам трясусь,
Меня черти трясут...

приговаривал с азартом солдатик. Жене, очевидно, пляс его доставлял большое удовольствие, потому что и она хлопала в такт ладонями и заливалась звонким, веселым смехом.

Суровый работник снисходительно смотрел на эту сцену, дядя Петр добродушно удивлялся ей, а кухарка положительно завидовала.

— Будет, будет тебе, шелапутник ты эдакий! — упрашивала мужа солдатка. — Со смеху ведь уморил меня.

— Не прикажите казнить, прикажите миловать, барыня! — отвечал плясун с видом человека, умоляющего о прощении, и с последним словом еще чаще затопал он ногами по шаткому, скрипучему полу постоялого двора и еще громче заорал свою приговорку:

Я не сам трясусь,
Меня черти трясут!

Жена не отставала от мужа. Звонче и веселее прежнего засмеялась она и усиленно захлопала ладонями.

— Что это ты, братец, безобразничаешь здесь? — величественно спросил у солдата вошедший в эту минуту человек в суконном вытертом сюртуке с медными пуговицами. — Я вашего брата за безобразие в три шеи со двора гоню.

— Вот он! — шепнул мне Теокритов. — Пожалуйста, постарайтесь не ссориться с ним. Очень дерзкое животное.

— Жену, ваше высокоблагородие, молодую тешу, а не безобразничаю, — отвечал солдатик, вытянувшись в струнку. — Она у меня, ваше высокоблагородие, умница, все равно, почитай, что барыня. Не тешить ее мне ни под каким видом нельзя.

— Уж ты лучше, крупа, с балами-то своими дальше проваливай, а то я тебе шею накостыляю, — говорили медные пуговицы.

— Напрасно обижаться изволите, ваше высокоблагородие! — застенчиво говорил солдатик. — Ни в чем перед вашею милостью не причинны.

— Не причинны! Знаю я вас курощапов. Еще с двенадцатого года в казну-то вы задолжали крупой, и теперь не можете заплатить. Ха-ха-ха! За этот долг я тебя и вздую сейчас. А то толкует туда же: не причинны, говорит...

Голос обладателя медных пуговиц был необыкновенно строг и серьезен. Солдатик присмирел и всячески старался удержаться от возражений, потому что движения, которыми приказный пополнял свои фразы, носили не менее строгий, серьезный характер. Публика постоялого двора смиренно стояла на своих местах и со вниманием слушала, как барин распекает солдата. Вдруг барин неожиданно обратился к Теокритову.

— Ты кто такой? — грозно спросил он его.

— Все тот же! — отвечал Теокритов. — Залил глаза-то: родных перестал узнавать.

— А, это ты, брат! За сестру да за деда заступаться пришел. Хорошо! Ты кто такой? — кстати спросил приказный и меня. — Паспорт у тебя есть?

— Есть, — отвечал я. — Вот он.

Я показал ему свою толстую дорожную дубину.

— Ха-ха-ха! — разразился приказный. — Вот так молодец! Откуда ты? Хочешь, я тебе за твою смелость вина сейчас поднесу?

Я молча отодвинулся от него. Моя палка со свистом завертелась между моих пальцев.

— Вишь, спесивый какой!—бурчал он, злобно всматриваясь в меня.

Сестра Теокритова сидела в это время рядом с ним. Они шопотом разговаривали о необходимости разлуки, просили друг друга писать как можно чаще и не печалиться. Обняла брата несчастная женщина и ласкала его тем кротким взглядом, которым обыкновенно смотрят женщины на любимого человека, надолго или, может быть, навсегда прощаясь с ним.

— Как я буду тосковать об тебе! — шептала она. — А муж не велит мне говорить про тебя, он меня скоро в гроб вгонит.

Молодой человек мог сказать только одно слово в утешение сестры:

— Терпи. И тебе и ему бог за все заплатит.

— Я и терплю. Я ко всему привыкла, — говорила бедная женщина с той тихой покорностью тяжелой судьбе, которую некогда проявляли мученики.

— Так ты, брат, за сестру заступаться пришел? — снова начал приказный. — Я за нее заступаться должен: муж, а не брат. Столоначальником в палате был, студентом из семинарии вышел, а этого не понимаешь.

Теокритов молчал.

— Встань-ка, жена, на ноги, покажись мне: я на тебя посмотрю. Видела ты, как солдат сейчас свою жену тешил? Потешь теперь ты меня. Солдат! Какую ты побаску давеча приговаривал?

— «Ой! Я не сам трясусь, меня ч...» — начал было солдатик.

— Молчи! Дальше сам знаю. Пляши, жена! Брат к тебе в гости пришел.

> Ой! Я не сам трясусь,
> Меня черти трясут,
> В буерак тащат,
> Колотить жену велят.

И бедная женщина оставила брата и начала плясать под песню мужа. Лицо Теокритова побледнело и как-то особенно передернулось.

— Вот какие веселые мы с женой! Мы с нею всегда так-то веселимся. Так ведь, жена? Заступаться, друг мой сердечный, нечего за нее. Она сама любому человеку глаза выцарапает. Вот так всякого возьмет да по роже и цапнет. — При этом приказный ударил жену по лицу. — Это я для того ударил ее, чтобы тебе не ходить понапрасну. Пришел заступаться, так заступайся. Подавай теперь, Акулина, обедать. Мы с женой закусим немного, — обратился он к кухарке. — Милости просим обедать с нами, братец родимый.

— Спасибо за ласку! — отвечал Теокритов. — Вижу я, совсем ты зверем сделался, а с зверями обедать я не могу.

— Слышишь, жена, что твой брат говорит? Зверем он ругает меня, чтобы разлучить нас. Какой же я зверь? Зверь законов не знает, а я знаю. Вот тебе для памяти, чтобы и ты законы знала.

И он опять ее ударил.

— Ох, грехи наши тяжкие! — шептал дед, раскачивая свою седую голову.

Бедная женщина старалась удержать слезы; моя палка сама рвалась к бокам негодяя.

— Слышишь, жена, что дедушка говорит? Грехи, говорит, у него тяжкие есть. Ты что же их не замаливаешь? Вот тебе за это еще!

Без малейшего участия к семейной драме, тощий солдатик с жаром рассказывал дяде Петру и суровому работнику о том, как жена научила его лечить от запоя.

— Барин мне давеча помешал, — басисто говорил работник, — а то я тебя просить хочу: полечил бы ты меня, потому пью я, братец мой, здорово запиваю! Я тебе чем хошь отвечаю, только вылечи.

— Кормилец ты мой! — шептал дядя Петр. — И меня полечи. Рубашку с крестом с себя сниму и тебе отдам. Помоги.

— Это можно! Что ж такое? По рублю-целковому с вас за науку кладу. Страсть как дешево!

— Законы-то ежели все подводить, так еще хуже бы женам от мужей пришлось, — поучал приказный на другом конце избы. — Так, Акулина?

— Што и говорить, батюшка! — смиренно отвечала кухарка. — Наша сестра глупа, кормилец ты мой; нашу сестру добру учить надоть.

— Видишь, жена, что Акулина говорит? — обратился приказный к жене.—Умница Акулина. Поди, садись обедать со мной, а ты подавай нам, жена, служи нам, потому ты глупей Акулины. Она законы знает, а ты не знаешь. Ступай.

И он вытолкнул ее из-за стола. Акулина с робостью заняла ее место.

— Сам я, братцы мои, до женитьбы здорово заливал, так-то здорово, — бесился даже, когда,

бывало, запью!.. Придет это мне, бывало, на ум: ах, мол, выпить бы теперь куда хорошо! А денег нет ни копейки. Завертит так-то, бывало, на душе, так-то зло завертит: жизни не рад! И вином это сейчас так ли сладко запахнет, — дело на ум нейдет. Я же, милые мои, сапожное дело в полковой швальне работал; так штрумент, какой под руку попадет, возьмешь да в кабак его и ухнешь. Как же меня за это паривали, бывало, страсть!.. Экой зверь лютый! — шопотом заметил солдатик про приказного: — как это здорово знает он к бабе придраться! Вишь как колотит сердечную!.. Только что же? Уймусь на неделю-другую после бани-то, а там опять за свое. Уж и знал, что шкуру с меня за казенные штрументы до самых ног спустят, а не стерплю, потому по целым дням жжет это нутро-то. Теперь, слава богу, прошло! Только как жена дала мне лекарство это бабкино выпить, что только сделалось со мною — сказать не могу! Обмер я, братцы мои, и упал; упал и ничего-то не помню я, что было со мной. Встал только я, а жена мне и говорит: «Смотри, говорит, кто в твоем сердце сидел и водки спрашивал». Гляжу я, а червяк-то запойный и ползет по полу, такой-то ли скаред страшный, ей-богу, мышь не мышь, червь не червь, так гадина какая-то в шерсти вся и носом водит-водит так-то ли пристально: «Где, мол, это я нахожусь? Есть вино-то здесь, што ли?» Как это прихлопну я того червяка сапогом, а жена...

— Вот же тебе, собака ты бешеная! — вскрикнул вдруг Теокритов.

Я совсем было заслушался солдатского рассказа и не видал дальнейших проделок приказного с своей несчастной женой.

— Уходи поскорей, — торопил меня Теокритов. — В свидетели, пожалуй, зацепят вас, в острог еще засадят...

Лицо сестры его было все в крови. Барин держал в руках столовый ножик и орал:

— Засвидетельствуйте, православные! Острым орудием удар мне нанесен.

Сквозь сюртук его, начинаясь немного пониже правого плеча, просачивалась струя крови, затемняя собой блеск медных пуговиц.

— Вона, малый, разбой тут приключился! — с ужасом закричал солдату дядя Петр. — Што ты теперь будешь делать?

— Бери-ка скорей шапку да запрягать побежим, — суетился солдатик. — Вот что делать тут нужно.

И они выбежали из избы.

— Острым орудием удар мне... Ой, батюшки! Свет в глазах меркнет... — кричал приказный, растянувшись на лавке.



Вместо того, чтоб остаться на месте до конца и быть добросовестным свидетелем дела, я бессознательно тоже выбежал из избы и усиленно зашагал по дороге, потому что живо вспомнился мне в это время маленький бедный домишко сестры моей, к которой я шел теперь, — вспомнилось, что теперь именно то время, когда в уездных городках расходятся по домам из судов пьяные приказные бить своих жен. И таким образом долго бежал я в беспамятстве, стараясь предупредить приход мужа сестры моей, тоже приказного...

Горе пьющее и горе излечивающее, т. е. тощий солдатик и дядя Петр, в одно время со мной вылетели из ворот вскачь на своих поджарых лошаденках и стремглав бросились в разные стороны проезжей степной дороги...

... Шел я — и опять думал о скорбевших некогда и скорбящих теперь на этой дороге. В ее застланной пыльными туманами дали рисовались мне лица, захлестанные зимними вьюгами и проливными летними дождями, иссушенные летним зноем и страшным трудом, — итти по ней бесконечной, заваленной или снежными сугробами, или песками горючими.

Давнишний житель больших городов, я начал уже забывать картины и лица степной дороги. Моя память отказывалась напомнить мне подробности разнообразного горя, которое так давно ходит по этой дороге, измученное, истерзанное, обезумевшее и окаменевшее в своих страданиях до полного равнодушия к ним.

Волнами света залило пустыню яркое солнце. Каждая песчинка блещет в глаза граненым алмазом, но свет ничуть не развеселяет картины. Угрюмо хмурятся густые вешки, а издали, человек словно, машет и зовет вас к себе великан-верста, как будто от тяжелого удара чьего покачнувшаяся на бок. Дощечки, прикрепленные к ее верхушке, с одной стороны сбиты кем-то; самая верхушка, в этом месте раздолбленная плотником-дятлом и прогнившая, кажет вам смертную рану человека, у которого разнесен череп лихим кистенем лихого степного молодца...

Все более и более я начинаю припоминать вас, лица и сцены проезжей степной дороги!

Позади меня раздались чьи-то спешные шаги. Со мной поровнялся человек огромного роста. Серое сукно его свиты изветшало до такой степени, что кажется сотканным из паутины. Из его лаптей выглядывали наружу пальцы, сбитые дорожными камнями, исколотые погоревшей и колючею травой дорожных тротуаров.

Всего меня окинул странник своим острым взглядом, так что, мне кажется, я никогда не забуду этого лица, почерневшего на солнце как сажа, обросшего густой черной бородой, серьезного, каменного, так сказать, лица, которого так боятся крестьянские дети, когда они, оставленные отцами и матерями домоседничать, вдруг завидят, что с того конца деревни идет к ним какой-то незнакомый, пугающий дядя. Смотрят, смотрят издали дети, как подходит к ним дядя своими широкими, мерными шагами, и, когда он подойдет к ним настолько, что они увидят его бесстрастное, угрюмое лицо, вместо ожидаемых ласковых лиц отца и матери, — стремглав бросаются от него в разные стороны и мгновенно запрятываются по молчаливым гумнам, по темным хлевам, по жарким до удушливости подпечьям. А молчаливый дядя равнодушно идет по оставленной деревне, нисколько не интересуясь тайными причинами, которые не дают обрушиться ее старой деревянной церкви, — так заботливо наклонил он вниз свою голову, что ни резные коньки, украшающие верхи деревенских изб, ни длинноногие солдатики, намалеванные зеленой краской на скрипучих воро-

тах, очевидно, вовсе не занимают его, потому что одинокая бродячая жизнь приучила странника к молчанию. Дива разных краев сделали его равнодушным к обыкновенным видам степного села. Смотря на нашу степь, он, может быть, вспоминает теперь пустынность степей прикаспийских или волоков соловецких; солнце, позолотившее теперь старую развалившуюся сельскую церковь, переносит его мысли под солнце Киева или даже Иерусалима, еще более яркою позолотой обливающее там великолепные храмы, а потому и живой человек не оживил проезжей степной дороги. Молчаливо печальный и равнодушный, как самая дорога, спешит он мимо меня смотреть новые страны, новые дива. И опять я остался один...

Я стараюсь определить себе, какой именно из типов проезжей степной дороги промелькнул сейчас мимо меня. Будь это, думаю я, мещанин-одиночка, оплевавший несправедливый приговор мироедов, присуждающий его в солдаты без вины и очереди, у него непременно в руках была бы гармоника, а из длинного голенища выглядывал бы узорчатый чубук самодельной кореньковой трубки. Знаю я: весело он вступил бы со мной в разговор, назвал бы себя главным приказчиком самого богатого в околотке купца, а после выкуренной пополам трубки и лихим манером сыгранной и спетой песни он сперва обиняками, а потом, не утерпевши, прямо рассказал бы мне свое лютое горе, которым, говоря словами его песни, он, «мальчонка разнесчастный, своей родины лишен»... Точно так же нельзя было назвать угрюмого человека и тем

божиим странничком, жизнь которого прошла в непрерывной молитве и в трудных переходах из одного монастыря в другой, потому что такой странник при встрече со мной непременно приветствовал бы меня добрым желанием мира и спасения душе моей. Может, впрочем, это был несчастный смерд, сорвавшийся с барской рогатки. Этот смерд, действительно, мог быть таким же печальным и молчаливым, как и человек, встретившийся со мной, но только не прошел бы он мимо меня, не сорвав с меня моего короткого немецкого сюртука...

— Кто же это, кто же это такой? — усиленно добивался я.

Наконец я вспомнил тебя, диво степное, молодец-непоседа! Редко родишься ты у нас на степях, и недолго дивимся мы на тебя, смотря на твою необыкновенную сметку во всех делах и на твою необыкновенную лень ко всяким делам. Недолго смеемся мы твоему редкому, непонятному нам разгульному веселью, и тоску твою, всегдашнюю почти, редко нам приходится до конца просмеять, потому что еще в молодые годы вдруг скрываешься ты навсегда из родимых мест и уходишь куда-то размыкивать и тоску твою чудную, и веселье твое беспричинное. Долго после твоего ухода дивимся мы на тебя, долго рассуждаем и смеемся жизни твоей, нелюдской до конца от начала, когда раскладываем на весь мир подать, какую твоей душе хитрой платить следовало; а тут нам изредка слухи про тебя от странных людей, от побывочных солдат, от годовых извозчиков какие-то чудные идут:

— Видели мы, — одни сказывают, — Мишку Кочетова в Иркутской губернии. Такой-то ли купчина богатый стал, рукой не достанешь. Поклон всему селу с нами послал, а Николаю угоднику ризу золотую, каменьем драгоценным изукрашенную, да в церковь приходскую на украшение ассигнацией тысячу рублев, да приятелю своему сладкому Ваньке Сизому, с которым одним только во всем селе и водился он, сто рублев да синюю чуйку, по краям оторочка черного плису.

— Иду я так-то, братцы мои, — рассказывает мужикам и мещанам в сельской лавке отставной солдат: — дело под вечер было, и думаю: как бы до ночи добраться, потому степью я шел, самою то-есть безлюдною степью. В другой раз целый день по той степи идешь, ни кола, ни двора не увидишь. А город тот, к которому я подходил, Бендерами прозывается: от турков он нашими взят. Только и слышу я, словно бы колокольчик звенит: едет, значит, кто-нибудь, подумал я и обрадовался, потому редки в тех степях живые люди. И точно, вижу я, тройка мне навстречу катит с барином. «Стой, ямщик! — кричит барин ямщику. — Есть, спрашивает, огонь у тебя, солдат?» — «Извольте, говорю, ваше благородие». Раскурил я ему трубку; трубку, огниво и кремень купил он у меня, потому забыл в городе снаряду-то этого закупить, а сам так-то ли пристально в меня всматривается. «Я тебя, говорит, знаю, солдат. Ты, говорит, из-под Усмани, а зовут тебя Трофим Шаромыга?» — «Точно так, говорю, ваше благородие!». Приказал он тут ямщику в степь

лошадей своротить и распрячь их. Слуге велел самовар ставить, а меня рядом с собой посадил и разговор про наше село повел. Смотрю я на него и думаю про себя: где это я того барина видал? А он-то меня угощает: чаю и вина даже досыта у него напился. Целовал он меня все равно как родного, как прощаться стал, а я все дивлюсь, за что это господин полюбил меня! Да уж, как в телегу стал он садиться, и говорит мне: «Вот, что, говорит, Трофим! Ты теперь к родным в свое село идешь; там и у меня родители есть. Я, говорит, Михайло Кочетов. Знай ты это!». Пошатнуло меня даже от этих слов: испужался очень. «Не пужайся, говорит, Шаромыга! Вот тебе на дорогу десятка, а вот это, говорит, матери моей в гостинец снеси», — и еще сторублевую подал. В первый раз, братцы мои, сторублевую я увидал тут. Вдосталь дорогой я на нее насмотрелся. Иду, иду, бывало, скучно мне сделается, — я выну ее из нагрудника и примусь глядеть.

— Какая же она? — спросил кто-то из слушателей.

— Радугами, братец ты мой, красными вся изукрашена, — отвечает солдат. — Да словами про нее и изобразить тебе невозможно. Ты поди к Кочетихе, она тебе даст посмотреть, слова не скажет. Она ту бумажку до конца света не станет менять.

— Ну, уж, братцы, чуден Кочетов! — продолжается речь про Михайлу. — Полетал-таки по чужим сторонам Кочеток наш!

— А слышали, что про него извозчики прошлой зимой толковали? — следует вопрос.

— Что, что такое?

— Ехали они, сударики мои, из Москвы по тульской дороге. Каменка тут, а по обеим-то по сторонам ее лес. Только и видят они в сторонке от дороги, в буерачке, кучка народу стоит. Слезли взглянуть: что, дескать, такое деется в буерачке? А тут земские из ближнего села с понятыми наехали мертвое тело поднять. Как раз с теми извозчиками крестный Михайлин был, тоже извозчик, богатый мужчина из-под Рязани, с стариком-то с Кочетом самыми то-есть закадычными приятелями считались. Смотрит он на тело и признает знакомое будто чье-то лицо. Принялись тут земские раздевать мертвое тело и одежу записывать, а крестный на мертвеце крест увидал точь-в-точь такой, какой он Михайле на крестины купил. Когда извозчик рассказывал нам про смерть крестника, дюже просил всех, чтобы мы матери Кочетова не разбалтывали, как ее сын помер, потому и теперь все еще поджидает старуха сына и каждую службу церковную свечи про его здоровье становит.

— Вот каков был конец твой, голова удалая, до новых людей и до новых краев жадная! Упокой господь душу твою ходячую! — желают Кочетову лавочные разговоры.

А там, смотришь, в той же лавке через год опять толкуют:

— Ведь ошибся, братцы, извозчик-то, про смерть Кочетова что сказывал нам. Видели его наши богомолки, когда в Соловецкий ходили, под городом Устюгом: «в иеромонахи, говорит, за грехи мои произведен»... Матери своей еще денег с ними прислал.

И много их, таких молодцов, расхаживало некогда по проезжей степной дороге и теперь расхаживает по ней. Много их сложило на ней свои буйные головы, о чем так жалобно говорят наши степные песни...

Едет мужик по дороге, а издали навстречу к нему подходит высокий зеленый курган. Взглянет лишь только мужик на этот курган — и все песни, которым он еще ребенком учился, все рассказы, каких он от слепых стариков наслушался, — все вспоминаются ему в это время. Вспомнятся ему эти песни, и запоет мужик про смертный завет молодца удалого, которым он просит положить его на вечный сон между трех дорог, «меж московской, астраханской, славной киевской»...

Едет мужик и поет, — поет и вспоминает, как ходили по степным дорогам молодцы, курганами теперь зелеными плотно прикрытые...

Иду я и пою, как ходили по степным дорогам молодцы, курганами теперь зелеными плотно прикрытые, пою и вспоминаю, как, по рассказам девяностолетней бабки моей, гибли они на проезжей степной дороге и разными одиночками и дружными гурьбами...

Страшно мне итти по тебе, пустынная, молчаливая степь! Слышу я, как сверху, из-под Москвы, должно быть, звонко скачут за мной лихие конники-запорожцы, а снизу, из Астрахани, словно волжские грозные волны, плывут прямо на меня беспощадные ватаги проклятого Стеньки Разина!..

Но я болезненно забылся в твоей тайной, подавляющей пустынности, родная степь! То ша-

гает куда-то нынешний, стройный батальон, сверкая светлыми дулами, кроваво освещенными последними лучами заходящего солнца...

Эх ты, проезжая степная дорога, широкая, вдоль и поперек потом и кровью залитая! Когда это так же часто будет ходить по тебе светлая радость людская, как часто ходит теперь по тебе людское темное горе?..

1862

РАСПРАВА

I

Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.

Вот по туго-прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо. На живую руку сбитые ворота с громким скрипом отворяются навстречу стада, и вот многоразличными голосами его наполнилось село от верху до самого, так сказать, до низу. Щелканье пастушеских кнутов, звонкие завывания баб, крики и побегушки детей за упрямыми баранами, наконец, — оглушающий свист лихача — помещичьего кучера, мешаясь с переливами серебряного дара Валдая и с громким топотом ухарской тройки, всполошившей все стадо, делают из сельской улицы что-то такое, от чего какая-нибудь древняя старуха, случайно выползшая из избы на божий свет, невольно схватывает себя обеими руками за голову и приседает, как бы от чьей тяжелой тукманки. Обопрется старуха о дверную при-

толку и стоит — не шелохнется; и довольно долго нужно времени, чтобы дождаться, как старый человек, опомнившись, наконец, всем своим кротким и морщинистым лицом окинет уличный содом и, медленно перекрестившись, шопотом вымолвит:

— Знать, уж господь светопреставление наслал на нас!

Слышнее всего раздается по селу громкий бабий бас Федотовой старухи. Высокая и осанистая, стоит она у настежь распахнутых ворот коренастой избы с зелеными ставнями, с высокими скворешнями, крыльцом из точеных балясин, и своим синим набивным сарафаном, своим ситцевым головным платком, больше всех этих принадлежностей украшающих ее избу, говорит проезжему люду, что изба эта построена первым сельским богачом, миру на удивленье, себе и детям на доброе здоровье.

— Эко житье какое у Федотихи чудесное! По будням уж стала ситцевые платки носить, — тихомолком толкуют соседние бабенки.

— Почто же ей, милая ты моя, в ситцевых платках не ходить?.. Сказывают: старик-то ее четвериком деньги-то меряет.

— Кы-ы-ыть! Кыть! Кыть! — зазывает голосистая старуха своих овец, и, послушные ее голосу животные, отделившись от сельского стада, галопцем несутся в ворота хозяйкина дома.

— Раз, два, три, — пересчитывает их старуха. — Ох, чтоб вас совсем! Вишь какие резвые: и перечесть не успеешь. Будет, бабы, тараторить-то вам! Ужинать идите! — зыкнула она

на своих семерых снох, которые толковали у колодца с соседними бабами.

— Погоди-ка-сь маленечко, Федотьевна, ворота-то запирать. Слухай-ка, я те скажу что-то, голубка! — издалека кричала Федотихе маленькая бабочка в сером изорванном зипуне.

— Что надоть? — нехотя спросила старуха, готовясь затворять тяжелые ворота.

— Ох, кормилица ты моя! Кричала, кричала я тебе: погоди, мол, ворота-то запирать, а ты и не слышишь, желанная. Знамо, божья старушка не всякое слово расслышит. Пусти-ка-сь ты меня на двор к себе. Ярочка моя к тебе с твоим табуном забежала. Я у ней, кормилица, ушки выстригла, — сразу узнаю. Пусти, пожалуйста, я взгляну только.

И бабочка хотела было пронырнуть мимо Федотихи на двор к ней.

— Что насилкой-то лезешь? Ай на свой двор пришла? — гневно закричала на нее сварливая старуха. — Одни только наши овцы пришли, — чужих ни одной нет. Сама видела, как пускала.

— Где тебе увидать-то, божьей старушке? — возражала бабенка.—Ведь они резвые, овцы-то! И не увидишь, как прошнырит мимо тебя.

— Не слепей тебя! — рычала старуха.—Проваливай, проваливай от двора-то, покель цела.

— Что же ты, кормилица, затягать ее хочешь, что ли, ярочку-то? — спрашивала серая бабенка, разгораясь в свою очередь.

— Нужно мне у тебя, у нищей, последнюю ярку затягивать?.. Поклонись приди, свою на бедность пожертвую. Вот что!

— Да ишь должно нужно, коли на двор не пускаешь.

— А не пущу — и только. Вот те и вся недолга!

Дальше да больше, слово да другое — и закипела брань. А там за каменья, — насилу мужики розняли. Серая бабочка была прогнана в три шеи сыновьями Федотихи.

— Из ума выжила, старая кочерга! — покрикивал на свою старуху Федот. — Не было за что людям осуждать, так она драться на улице выдумала. Старость свою стыдить не хоч, а плетюганом взбодрить бы надо тебя...

— Ра-а-збойники! — шумела серая бабочка с другого конца села. — Затянули ярку к себе, да еще и хозяйку прибили.

— Что это, в самом деле, Федотовы ребята расходились? — толковали старики, сидя на завалинах. — Словно это они, деньги имеючи, суда на себя знать не хотят. У вдовой последнюю ярку боем отбили! Точно, что следствует завтра за такой ихний разбой в правление всю их семью притянуть.

Вместе с росой, обильно напоившей пожженные летним солнцем травы, пала на село тихая ночь. Вместо людской крикливой жизни по сельским улицам и огородам, по реке, лесу и окрестным полям разлилась могучая, молчаливая жизнь ночи; какими-то живыми, приковывающими к себе глаза молниями засверкали на месячных лучах речные волны; из леса полетел чей-то шопот, как бы мощное дыхание какое; в дальнем поле чуть слышно курлыкали журавли. Ежели вы когда одни смотрели в глухую

полночь на сельскую природу, — не примегили ль вы, как в это время обнимает человека что-то такое, от чего сладкий трепет вливается в сердце и дыбом поднимается волос?

II

Утро. На крыльце волостного правления и расправы кипит огромный, ярко вычищенный самовар. Дымные клубы, вылетающие из него, расстилаются по всей улице и далеко отогнали с крыши воробьев, ласточек и других мелких пташек: расселись они по соседним плетням и деревьям и так-то громко чирикают, словно бы ругают едкий дым, согнавший их с привычной насести, или бы хотят развеселить волостного писаря, который, «расклеимшись маленечко» со вчерашнего похмелья, пьет чай на вольном воздухе, ежеминутно поджидая кого-нибудь из обывателей, с кого бы можно было сдернуть, по крайности, на полуштоф.

— Погляжу, погляжу я на тебя, Василий, мало, братец ты мой, политики в тебе! — говорит писарь своему сторожу, который завтракает огромным ломтем черного хлеба, посыпанным крупною солью. — Натура у тебя самая что ни есть необузданная!

— Што так? — спрашивает Василий.

— Да так! Образованных обычлев ничуть ты не знаешь. Не успел ты, музлан, со сна бельм протереть, а краюху уписал, как следствует. Инда мне тошно смотреть на тебя.

— Эфто, Микита Иваныч, от того вам тошно, что вы вчера очепно много вина эфтого крас-

ного пили. Кабы стали, то-ись, по одной сивухе ходить, никакого бы, истинно, сумнительства не было.

— Пустяки ты это рассказываешь. Я таперича, кроме как красного, в рот ничего не возьму, потому ты рассуди: что благороднее — красное или простое?

— Точно что, Микита Иваныч, красное малость поблагороднее, зато сивуха — занятнее.

— По морде бы тебя хватить — еще бы занятнее было; да вот вставать лень.

— Ах, и чудаки же вы, Микита Иваныч, страсть какие надсмешники! Только хоть бы што, а Федот Иванов беспременно к вам в правление валит на Козлиху жалиться. Старуху его вчера вечером страсть как Козлиха-то избранила.

— А вот мы их рассудим, — сказал писарь. — Здравствуй, дядя Федот, — отнесся он к богачу. — Подсаживайся-ка вот к самовару: погреемся.

— Это нам к руке, — согласился Федот. — Только будь милостив, Микита Иваныч, пошлика-сь ты Василья-то за полосьмухой, потому как нам дело до тебя есть, так угостить, поди тоже потребуется.

— Да уж это как есть. Безотменно потребуется. Были тут у меня вчера барышники из города, в волю красным употчевали; так оно теперь и тово... выпить-то, дружище, самое что ни есть любезное дело будет.

— Вот она, сладость-то! — шутил сторож, вынимая полуштоф и предчувствуя здоровенную выпивку.

— А знаешь ли ты, грамотный человек, — спрашивал у писаря Федот, наливая ему водки, — кто самому этому вину главная причина и отец?

— Ничего мы эфтова не знаем, — отвечал писарь, — кроме как ежели вот дерябнешь с похмелья стаканчика три-четыре, так оно словно повеселее на животе сделается.

— А я тебе про эту причину расскажу. Шел чорт по горе...

— Погоди с разговорами-то: я вот еще приспособлю, — перебил его писарь. — Заодно разоряться-то.

— На доброе здоровье... А под горой мужик землю пашет.

— Не так ты, Федот Иваныч, описывать начал, — вмешался сторож. — Оба они, примером, под горою бымши...

— Сидел бы, музланище, да слушал; перенимал бы, как поумней тебя люди разговаривать станут, — наставительно заметил сторожу писарь.

— А я к тому, Микита Иваныч, разговор подгоняю... — оправдывался Василий.

— А ты вот выпей лучше, — угощал его дядя Федот. — А поправлять меня вряд ли, надо полагать, придется тебе.

— Где нам!.. К слову пришлось, — благодарно согласился Василий, учтиво принимая стакан.

Проходившие мужики, чувствуя в воздухе полугарную струю, лакомо облизывались. Федот Иванов радушно приглашал всех, кто был побогаче и позначительней. Выпивка с каждой минутой принимала все более и более широкие размеры, и скоро правленское крыльцо все, так

сказать, зачерпнулось разными сельскими тузами. Сторож Василий бойкой иноходью раза два бегал в кабак и уже не с полуштофом, а с пузатою четвертною бутылью.

— Запили наши мироеды, должно быть, на много рублев, — с завистью толковали не попавшие в пир мужики.

— Козлихе таперича бедной, надо думать, дюже достанется, потому всех горлопятов-то Федот Иванов на правленское крыльцо пить созвал, — соболезновали бабенки.

И, действительно, с правленского крыльца по всему селу раздавалось пьяное гуденье, обрекавшее на погибель серую бабочку, разбранившуюся вчера с Федотовой старухой. Голос угостителя покрывал собою голоса всех.

— Известно, бабы люты на брань, — толковал он собранию, обнося всех водкой. — Потачки своей старухе я не дал, потому ярка Козлихина в самом деле ко мне на двор забежала. Только рази могла Козлиха сыновей моих ворами и разбойниками, а меня жидом и Иудой ругать? Хорошо она это сделала, или нет?

— Што тут хорошего... — согласно отвечали прихлебатели.

— Приятности тут точно что малость, — поддерживал писарь, заряжаясь под шумок стаканищем.

— Бездельница она выходит, Козлиха-то, вот что! — с тихой, но просящей улыбкой ввернул свое словцо сторож Василий.

— Што же ты, братец ты мой, по очереди ко мне не подходишь? — с удивлением спросил его дядя Федот.

— Да так, Федот Иваныч; не пристойно нам, малым людям, вравне с богатыми компанию держать, — вежливо отвечал Василий, выламывая стакан.

— Поруху она чести моей великую нанесла,— ораторствовал дядя Федот. — Опять же, в бедности такой находимшись, Козлиха богатому человеку должна уважение всякое воздавать, а она вон куда затесалась—в брань! Ежели бы она с старухи моей за лютость ее не взыскала, я к ярке-то ее баранчика своего еще бы придал; а она, про богачество мое позабымши, сама, сказываю, при бедности при своей, пустилась в брань.

— В брань? — раздавалось в толпе. — Ах ты, господи!

— Следствует ее теперича сюда привесть и наказание мирским судом положить, — за то я вас и пою, — закончил дядя Федот.

— Как не наказать? — согласно запел хор.— Бабенка она вдовая, убогая; уму-разуму беспременно научить ее надоть.

— Мы это живо скомандуем! Мы ее, Козлиху безрогую, с одного маху сюда предоставим, — улыбался сторож, накидывая на плечи дырявый армячишко.

— Ббу-у-у! Трры-рр-ры! — заревела пьяная толпа на предоставленную с одного маху Козлиху.

— Ты какими делами занялась? — азартно спрашивал ее писарь.

— Почто ты людей почище себя обижаешь?- - кричали из толпы.

А Козлиха стоит так-то, сама в землю потупилась, красная вся. И конфузно-то ей, и до-

садно, потому зло взяло, что за ее же добро ее же и судят теперь на миру и ругают.

— Православные! — взмолиться она было со слезами попробовала, — вы ведь все хресты носите...

А сама перед крыльцом наземь упала, как бы в ноги всему сходу кланялась.

— Вот, сейчас умереть, пречудная бабенка какая! — с насмешливой улыбкой толковал Козлихе арестовавший ее сторож. — Нечего в ногах-то валяться, а лучше штраф приготовь поскорей, потому без штрафу тебе быть невозможно. Рази не видишь, глупая, какая тут махина вина выпита? Должна ли ты после того нас угостить, аль нет? Сказывай?

— Васильюшка! Кормилец ты мой! Где же я теперича возьму этот самый штраф?

— Ах ты, голова с мозгом! — возражал ей Василий. — Рази мир-то без угощения когда расходился? Ему, уж коли он собрался, вот как надобно выпить — вплоть!

— Веди-ка ты ее, Василий, без разговора в чулан, — скомандовал писарь. — Мы ее там ублаготворим. Перестанет она с богатыми людьми в ругательство вступать.

— Отец родной! Микит Иваныч! — завопила Козлиха. — За какую же провинность в сарай меня весть велишь?

— Разговаривай! — крикнул писарь.

Сторож как бы колебался тащить бабенку.

— Я так полагаю, Микит Иваныч, как мое рассуждение есть, может, она насчет штрафу осилит как-нибудь, — вмешался он.

— Вправду, может, она как-нибудь на четвертушку собьется. Выпить бы теперича, признаться, знатно бы, — вступились мужики.

— Штраф штрафом, — возразил заступникам дядя Федот, — а блох из нее выпужать беспременно следует, потому я вас для самого этого дела и вином поил.

— Ну-ин в сам деле, ребята, прохворостить ее. Што же мы, вправду, задарма што ли вино-то пили? — единодушно согласились на крыльце.

Василий потащил Козлиху в пожарный сарай... а между тем услужливая сходка с шумом и гарканьем распивала третью четверть благодарного дяди Федота.

— Вот те и вся недолга! — радостно вскрикнул сторож, взбегая на крыльцо. — Пробрал я ее, как и быть надоть. До новых веников не забудет.

Козлиха съежилась в своем изорванном зипунишке, так что казалась гораздо меньше, чем на самом деле.

— Милая ты моя, — наставительно сказал ей толстый мужик, сходя с крыльца, — поклонись теперь миру да за штрафом как можно скорее сходи. Акромя того делать тебе здесь нечего. Бежи-ка-сь.

— За что же я буду платить штраф? И где я его возьму? — зарыдала Козлиха.

— Мир тебя на ум наставил, а ты его попоштовать не хочешь? Это, я тебе сказываю, большой ты грех на себя принимаешь, Козлиха, — резонировал толстяк, покачиваясь. — Ты то теперича возьми: чем ты господу богу угодить можешь? Постом и молитвой! Это я тебе истинную правду сказываю. Ты ее и понимай.

— Кормилец ты мой. Да я бы радостью рада, только всего-то на все и денег-то у меня дома два пятака да трынка. Как же вы — эдакая-то ли вас сила сидит на крыльце — пить на них будете?

— Об этом ты не сумлевайся. Об силе у нас другие разговоры будут. А теперича, как всем нам выпить очень потребно, так мы у тебя и избу пропьем, и кур пропьем, и ярку, потому спорить тебе одной со всем миром никак нельзя.

— Это точно, — запел хор на крыльце.

— Как же возможно тебе против всего мира итти, глупая ты эдакая? — суетливо спрашивал у Козлихи сторож Василий. — Думать-то об этом, и то нашему брату не приходится.

— Буде, ребята, по-пустому разговаривать с ней, — повел свою речь дядя Федот. — Много ли она со всей худобой-то своей стоит! Грош ей цена и с худобой-то! А вы вот как, я вам скажу, штраф стешите с нее: только бы согласие ваше вышло, а то упоштовать-то во как можно! По горло!

На лицах присутствующих изобразилось самое почтительное внимание.

— Знаете вы, православные, убогая баба — Козлиха, вдовая, ни роду, ни племени нет у нее. Так я теперича за избу ее даю пять рублев, за двор и за животину, какая у ней есть, тоже пять рублев. Пусть на миру знают, што не притеснитель я какой, не грабитель, а, примером, на убожество ее взираючи, призреть хочу. За ее самое, ежели то-ись присудить вам захочется эдак, даю десять рублев за посмертную кабалу.

. . . .

— Счастье к тебе невидимо привалило, — завидовал Козлихе сторож. — Перекрести рожу-то: в богатом доме жить будешь.

— Это что же такое, Федот Иваныч, — загудели мужики. — Отчего не присудить? Присудить так можно, потому она баба вострая: работать будет исправно.

— Ну, так, значит, бежи за ведром, Василий, — обратился Федот к сторожу.

— Это мы с одного маху.

— Отцы родные! — закричала Козлиха. — Ведь старуха-то Федота Иваныча поедом меня живую съест, коли вы так-то присудите.

— Счастья своего не понимаешь! — сказал ей толстый мужик.

— Истинно, господь-то велик и многомилостив к сирым, — закончил рыжий дьячок, тоже затесавшийся в мирскую ватагу.

III

Опять вечер, только уж поздний вечер. И стадо давно пригнали, и в ночное уехали. Тишь обняла сельскую улицу, млеющую от ласк прохладной росы ночной, задумчивую и печальную улицу, которую, как бы пугливую молодую невесту, жених-месяц обливает своими золотыми и серебряными блестками.

— Вот чудесно мы Козлиху просватали, — говорил соседу урезонивавший ее толстый мужик, возвращаясь с ним с великого пира.

— Просватать-то мы, сусед, точно что ее просватали, только же и миру суд у господа бога, сам знаешь, будет какой! Не будет там отлички-

то богатым от бедных, пойми ты это. Ведь мы ее. Козлиху-то, за ее же добро с корнем вон вырвали.

— А рази она первая? — спрашивал толстяк. — Рази теперича мир без угощенья может прожить? Опять же она не бранись! Знает, что богатый мужик, а на задор лезла. Рази он ее одну за свою обиду искоренил? Ведь видела она, что мир с ним спорить не может.

— Знаем мы эти пословицы-то: с сильным не борись, с богатым не тягайся; все же таки господа бога мы позабыли, правду в кабаке пропили.

— О, господи! господи! — боязливо прошептал толстый мужик, перекрестившись. — Все-то дела вино сочиняет.

— Васька! — громко раздался из глубины правления голос пьяного писаря.

— Чего изволите, Микита Иваныч? — отзывается сторож.

— Поди к Кулаковым: квасу мне у них со льдом возьми. Скажи, мол, писарь велел.

— Ходил я к ним от вас онамедни: через великую силу выпросить мог. Говорят: часто вы к нам посылаете.

— А ты им скажи: «в бараний рог, мол, вас писарь согнет за такую обиду. Рази, мол, не видели, как ныне дядя Федот с Козлихой расправился». Искореню, ежели не дадут. Так и скажи.

Из угловой закутки Федотова двора по всей улице разносится громкое вытье закабаленной Козлихи.

— Поори, поори у меня еще, прынцесса. Я те тогда не так еще уши-то оболтаю! — орет на

том же дворе басистая Федотова старуха. — Теперь наших рук не минешь. Сто на ассигнации мужу-то стоила ты.

— Известно, не мину твоих рук, — плачет Козлиха. — От них теперича и в гроб должна лечь.

Только и было во всем селе человеческих голосов в эту дивную пору ночи. За ее восторгающие красоты хвалили господа одни голоса животных и птиц, а люди все без исключения были глухи и слепы к чарам полночного мира.

Грозный, как эта грозно-царящая ночь, грянет некогда суд на людей и обстоятельства, которые заслепили столько глаз, не видящих чужого несчастья, которые притупили столько душ, не благоговеющих теперь перед светлым лицом природы, перед этим вечным храмом истинного бога живого.

1862

БЛАЖЕННЕНЬКАЯ

I

На дороге серая осень. Ничего не видать сквозь эту туманную пелену, которая так печально окутала все широкое пространство степи, по которой едете вы. Как издали иногда шумит прорвавшаяся речная плотина, так и в это время с хлясканьем колес вашего экипажа, с глухим топотом конских копыт сливается какой-то странный, беспрерывный шум.

«Какой жизни принадлежит это дыхание?» — думаете вы про себя, прислушиваясь к этому шуму. Резкий своеобразный визг ветра прорезал в это время слух ваш. Задержанный на секунду вашим экипажем, полет степной осенней бури, оглушивши вас, умчался дальше, а то все шумит. Мучительно-медленно тянутся для вас дорожные часы. Чтобы как-нибудь сократить их, вы стараетесь задуматься о чем-нибудь; но задуматься решительно нет никакой возможности, потому что назойливее осеннего дождя, заливавшегося за воротник вашей шубы, в вашу голову льется этот необъяснимый шум и мешает ей думать. Тоска.

Наконец вы не выдерживаете и вслух спрашиваете у кого-то:

— Господи! Кто же это шумит так?

Бородастый, лет под сорок ямщик вздрагивает на козлах, испугавшись неожиданного восклицания.

— Где шумит? — спрашивает он у вас.

— А вот разве не слышишь? У меня всю голову разломило.

Ямщик некоторое время внимательно прислушивается и решает ваше недоумение таким образом:

— А это, барин, дорога шумит, степь шумит...

— Степь шумит! — по каким-то необъяснимым причинам с злостью восклицаете вы и жмурите глаза, тщетно намереваясь уснуть.

Наконец на вас пахнуло деревенским дымом, и вы с радостью думаете о двухчасовом отдыхе, о возможности переброситься словцом с живым человеком.

Вот уже вы более или менее вальяжно уселись на самоделковом диване станционной комнаты, и в первые минуты отдыха измученного тела блаженству вашему нет границ. Древняя старуха, едва передвигающая ноги, внесла к вам бушующий самовар. И вот, услаждая ваше одиночество, он повел с вами тайную беседу свою, которую обыкновенно ведет со всеми проезжими.

Нескончаемо тянется длинная повесть самовара про однообразную глушь деревенской жизни.

«Всегда мы здесь так-то! — шипит он, обдавая вас теплым, нежащим паром. — То нас дожди осенние хлещут, то жары пекут, то холод морозит. То же да все то же у нас по деревням Мало новостей».

— Мало! — шопотом произносите и вы, до самозабвения заслушавшись этого рассказа.

«У нас мало новостей! Мы уж давно так-то висим здесь! — говорит вам с почернелой стены длинный размалеванный ряд отечественных героев. — Хоть бы ты новенькое что-нибудь рассказал: мы бы послушали».

«Что рассказать-то вам? — думаете вы.— Не о чем говорить-то, — разве вот: скучно в дороге, домой бы скорее хотелось добраться».

«И ты ничего не хочешь рассказать нам», — азартно кричат герои.

И вдруг вся их пестрая фаланга во всю прыть своих красных и зеленых коней кинулась на вас, крутя длинные усы и махая кривыми саблями. Вот уже они вскакали на стол, на котором вы пьете чай...

— Боже мой! Что же это такое? — вскрикиваете вы, опомнившись.

В ваших глазах сильная резь, но лишь только почувствовали вы эту боль, герои мгновенно скачут назад в свои рамки, стяпанные мальчишкой-ямщиком из березовых лучин.

«Однако и станционная комната не много веселее дороги!» — отчаянно думаете вы, обращая внимание на сельскую улицу, с целью поправить больное зрение ее картинами.

Ряд жалких изб, инде покачнувшихся, большею же частью совсем развалившихся, вытянулся перед вами, серый и мокрый. Утопая по самые ступицы в клейкой черной грязи, уныло плетется по ней убогая мужицкая тележонка. О бок с надорванною клячей месит грязь сам хозяин тележонки в сдвинутой на самый заты-

лок шапке, в истасканном зипуне нараспашку, потому что злой осенний ветер, дующий ему прямо в грудь, никак не может остудить его жаркий пот, который вызвали на его лоб усиленные старания помочь лошаденке тащить тяжелый воз по мучительно грязной дороге. Так горемычно треплется по ветру реденькая борода мужика, печать такого тяжелого труда положена на телегу, лошадь и самого хозяина, что даже сельские собаки, всегда злые до безобразия, пропускают их без обычного лая, и только крикливые гуси, спугнутые возом с придорожной лужи, внимательно вытянули свои длинные шеи и, немного подумав, громко загоготали.

«Что это за бедные, что за несчастные люди на сем свете живут?» — разбираете вы в этом бессмысленном гоготании птиц.

Но это старая песня, и незачем повторять ее, потому что всякому известно, как тяжело она надрывает грудь.

Не на чем было отдохнуть глазам вашим, когда вы смотрели на сельскую улицу. Вы стараетесь скорее кончить ваш чай и заказываете лошадей, потому что и в одинокой станционной комнате тоска еще более смертельная, чем в дороге.

Вдруг дверь отворяется. Испуганные ее скрипом, вы вздрагиваете и делаете невольное движение. Существо, вошедшее в комнату, в свою очередь пугается вашего движения. Вам жаль смотреть на его пугливую позу, с которою стало оно у дверной притолки.

— Что тебе, моя милая? — спрашиваете вы у вошедшей, еще молодой девушки.

Ободренная ласковым тоном вашего вопроса, она поднимает на вас мутные глаза и бессмысленно хохочет. По этим глазам и смеху вы догадываетесь, что это сельская дурочка, неизбежная принадлежность чуть ли не каждой почтовой станции и не каждого постоялого двора.

— На вот тебе сахару. Ты любишь сахар?

На красивом, еще молодом лице девушки вы примечаете в это время решительно животное удовольствие. Тонкие черные брови как-то сладострастно заморгали при виде вашей подачи, углы губ сморщились, и человек перестал походить на человека.

— И сахару дай, и денег дай, — глухим шопотом отвечает девушка.

— На вот и денег.

Согнув спину и вытянув шею, так что все лицо ее выдвинулось вперед, стремительно вырвала она пятак и скороговоркой заговорила:

— Это мне на платок, на платок. В город с матерью поеду, платок куплю, — радуется бедное создание голосом, похожим на хрипение старого больного животного. — Дай винца, барин!

— Ну винца-то и нет у меня, — отвечаете вы.

— Дай винца! — кричит она, мгновенно изменяя и выражение лица и голос.

— Ты опять к господам затесалась, погань ты эдакая! — кричит на девушку взошедшая стряпуха, давая ей подзатыльник.

Вы не успели еще сказать вашей защитнице, чтобы она не трогала юродивую, как юродивая с яростным криком уже бросилась на нее, и

в одно мгновение лицо стряпухи исцарапано до крови, волосы растрепаны, рубаха изорвана.

На крик истерзанной таким образом женщины вбегают двое молодых ямщиков. Они тоже бросаются на безумную. Сильными и грациозными, как у молодого львенка, движениями девушка вырывается из рук ямщиков и с новой силой бросается на своего врага.

— Что это за зверь-девка? — говорят ямщики. — Ни с чем ты не осилишь ее. Правду говорят, что с чортом никто совладать не может.

Между тем, окончательно уничтоживши стряпуху, девушка стала посреди комнаты, злостно посматривая на всех.

— Ну что стала? — спрашивает у ней один ямщик. — Ступай-ка домой отсюда, неравно сдуешь что у барина: на нас скажут.

— Мм! — мычит девушка, замахиваясь кулаком. На ее глазах дрожат слезы, на лице видно неодолимое желание мстить.

— Вишь страшная какая! Обозлилась как! — говорит стряпуха.

Но для меня лично ничто не было так хорошо из всего того, что в эту минуту было около меня, как эта девушка. Стояла она с видом человека, сильно и напрасно обиженного. Молчаливо стоит он, пораженный сделанным ему несправедливым оскорблением, и как будто думает о чем. Чем сильнее обижен, тем больше и тем сумрачнее стоит, — потом крепко-накрепко сожмет свои руки, так что захрустят они у него, и вздохнет, — и в вздохе этом вы непременно заслышите те хриплые, надорванные

звуки, которые слышал я в голосе сельской сумасшедшей.

В это время я понял, что только тот может сойти с ума, у кого был ум.

— От чего это она заболела у вас? — спросил я про девушку у избитой ею стряпухи.

— Да ее-то отец испужал, а то ведь их у нас много. Вот у нее брат есть двоюродный, так того мать, как в горячке была, в колодец закинула. Насилу вытащили.

— Вы бы ее в сумасшедший дом отвезли: вам так-то опасно с ней жить. Помилуй бог, убьет кого.

— Да она, кормилец, прежде-то не дралась и совсем было поправляться стала: только года с два тому проезжал тут приказный один из города. Только она так же вот, как и к тебе, и приди к нему, а он пьян был... Ну... После родов уж драться-то стала; нам и жаль ее в сумасшедший-то дом отправлять.

II

Теперь я расскажу вам, как эти детки божии плодятся по нашим городам и деревням.

Село, на минуту было оживившееся приездом жнецов к обеду, опять погрузилось в свою обычную тишину. Палящий полдневный пожар повсеместно жег и крушил природу; все носило на себе печать какого-то очарованного, наводящего на душу самое тяжелое уныние, сна. Деревья, не шевелились ни одним листом, стояли как заколдованные; ни птичьего крика, ни одного звука не слышит тоскующее ухо. Несется

только откуда-то, как бы из самой дальней глуби степной, какой-то могучий страдающий шопот. Слушая его, вы с страшной тоской в душе предполагаете, что это, должно быть, вздохи природы, изнывающей в пламени жгучего солнца.

По безлюдной сельской улице кое-где бродят праздные дети; на навозных завальнях греются старухи, оставленные домоседничать. Но ни крикливые игры детей, ни разговоры стариков не оживляют эту безжизненную картину, потому что и старый, и малый — все слишком сильно чувствуют на себе тяжесть муки, которою полдневный зной пытает все живущее.

По пыльной улице мертвенно-тихого села бредет маленькая девочка. Влияние крушащего зноя подействовало и на ее живое, игривое тело: головка ее поникла на загоревшую грудь, едва прикрытую толстой сорочкой; маленькие руки, всегда занятые чем-нибудь, повисли теперь, как висят на дереве сломанные сучья, а ноги, не то чтобы резво бежать по-всегдашнему, так как-то, словно их поневоле переставливает кто, вяло передвигаются, цепляясь одна за другую и поднимая пыль, которая густым слоем садится на смуглое личико, на длинные растрепанные волосы и на сероватую рубашонку. Девочка, видимо, истомлена жаром вместе со всем окружающим ее, и только одни ее черные блестящие глаза все еще носят отпечаток игривости. В них ясно видно сильное желание сбросить с себя тяготящую тело истому и развлечься чем-нибудь, но тело не слушается желания. Попробует девочка побежать, резвой

птичкой перелетит она несколько сажен, и опять пойдет тихо, и опять поникнет ее на минуту оживившаяся головка, ровно стыдно ей сделается за свою резвость в минуты повсеместного уныния и тишины. Вдруг, как бы пораженная внезапно пришедшею мыслью, девочка остановилась посередь улицы. Глазки ее оживились, на лице заиграла улыбка, руки как будто рассчитывали что-то. После короткого раздумья она прискакнула на месте и побежала назад скорою детскою рысью.

Девочка добежала до своей избы и кое-как отперла туго припертую дверь. Внутренность избы носила на себе все признаки недавнего обеда уехавшего теперь в поле семейства. На лавках стояли пустые горшки, валялись еще не высохшие ложки и блюда, на столе блестели жирные пятна, — спешная полевая работа не дала хозяйке времени поубраться как следует.

В избе была та же тишина, что и на улице, только миллионы мух, густыми жужжащими роями летая над остатками хозяйского обеда, несколько оживляли ее. Девочка не могла пройти и не смутить беззаботный пир насекомых. Она, как котенок, подкралась к столу и, распустивши свою маленькую руку, махнула ею над столом. В руку попало с десяток мух; она начала выпускать их по одной, и при виде каждой крылатой пленницы, радостно вырывавшейся из своей тесной тюрьмы, на лице ее загоралась улыбка удовольствия. Несколько раз повторяла она этот маневр; наконец он надоел ей. Последнюю горсть она бросила уж целиком.

Мухи чуть-чуть не заставили ее забыть о деле, за которым она пришла в избу.

— Где же я теперича найду говядину? — прошептала девочка. — В какие только места мамка ее запрятывает?

И она начала заботливо пересматривать горшки и блюда, стоявшие на столе и на лавках; но в них ничего не оказывалось. Девочка вышла на средину избы и окинула глазами полки, которые со всех сторон прилеплены были к почернелым, закопченным дымом стенам. С одной полки заманчиво смотрело на нее несколько пропитанных жиром горшков. Девочка вскочила на лавку и потянулась к ним: нет, не доросла — не достает. Снова раздумье взяло ее, и опять она вышла на средину избы, стараясь осмотреть местность, чтобы, выбравши удобный пункт, можно было подделаться к этим так высоко залетевшим горшкам.

— Когда же я это большая выросту? — с досадою и чуть не плача спрашивала себя девочка.

— А тогда, моя милая, и вырастешь ты большая, когда говядину из горшков воровать перестанешь, — ответил бы я ребенку, ежели бы не боялся испугать его.

Но девочка не стала дожидаться этого времени: она бросилась под лавки и под печь, отыскивая что-нибудь такое, что было бы можно подставить под ноги и таким образом добраться до вожделенных горшков, в которых, по ее догадкам, непременно скрывалась с таким нетерпением отыскиваемая говядина. Наконец под печью нашелся толстый обрубок, неизвестно

для чего припасенный ее домовитым отцом. Она притащила к лавке этот обрубок, вскочила на него и, к великому удовольствию, достала до заветных горшков.

Вот один из них уже у нее на коленях. Девочка уютно расположилась с ним у растворенного окна и принялась уписывать говядину, припасенную матерью на ужин семейству, которое работало теперь в поле. Пламенеющее небо, грозно смотревшее на маленькую хищницу, пыльная дорога, длинною лентой стлавшаяся перед раскрытым окном, даже изредка проходящие девочки нисколько не занимали ее, потому что, кроме удовольствия потихоньку ото всех есть тщательно спрятанную говядину, ребенок в то же время наслаждался и тем еще, что делил свое удовольствие с двумя любимыми кошками. Заслышав запах мяса, они тихо прокрались в непритворенную дверь и лукаво посматривали на девочку своими зелеными глазами.

Глубоко задумался сытый ребенок под ласковое мурлыканье своих четвероногих собеседников. Ободренные его молчаливою задумчивостью, кошки растащили по лавке куски мяса и наслаждались неожиданным праздником, а с улицы, между тем, с соседской завальни прямо в то окно, под которым сидело дитя, бил резкий старушечий голос, певший сказку про непослушного брата Аленушки, Ванюшку.

— Братец ты мой миленький, — рассказывает старуха собравшимся около нее внучатам: — не пей ты этой воды, говорит братишке Алена: наворожена эта вода, наколдована. Вместо человека, когда ты попьешь ее, козлом сдела-

ешься. Не послушался Ваня сестры и напился. Напимшись, в ту ж пору козлом сделался. А баба-яга тут же его зарезать велела. Только же убежал кое-как Ваня от бабы-яги и к сестре пришел. Пришел он к ней, стал под окном и запел:

Аленушка!
Сестрица моя!
Кипят котлы
Кипучие,
Ножи точат
Булатные,
Хотят резать твоего братца
Иванушку.

Жаль стало девочке бедной сестры, у которой баба-яга так безжалостно хочет погубить брата. Ее маленькое сердце болезненно сжалось от рассказа старухи; на ее ясных, за минуту шаловливых глазах показались светлые слезки.

Все глубже и глубже проникает в душу ребенка печальный рассказ, все пуще и пуще его скорбный тон затуманивает молодую головку. И вот, уже забывши и про кошек и про говядину, плотно прижалась эта головка к раскаленному зноем стеклу рамы и забыла про все. Неуловимые звуки, обыкновенно несущиеся с поля в жаркую пору, жужжанье мух, сердитое воркотанье голубей под навесом и даже самая тишина избы — все в ушах девочки слилось в одну песню, стоны которой цельно заняли ее сердце и заслепили глаза. Сидит она, вся залепленная мухами, и только одно это раздается в ушах ее, что —

Аленушка!
Сестрица моя!

К воротам подъехала телега. С нее соскочил мужик и пошел в избу. Это был отец девочки, что-то забывший дома. Его приезда не заметила очарованная сказкой шалунья. Только что вошел в избу сердитый хозяин, кошки, безмятежно убиравшие украденную говядину, стремглав бросились под печку, оставив на полу обличающие кости; мухи поднялись черною жужжащей тучей; от громкого прихлопа дверью голуби слетели с избяной пелены; но ничего этого не слыхала девочка. Попрежнему уткнулась она в окно и напряженно слушала сказку, которая с каждым словом становилась все занимательнее, а перед нею стоял опустошенный горшок, валялись объедки ужина уработавшейся семьи. Злость взяла отца.

— Ах ты, каторжная! — крикнул он на дочь и, с этим словом, захваченным с собою кнутом вытянул ее вдоль спины.

— А-а-ах! — дико раздалось в избе.

По телу бедняжки пробежала дрожь; она, как обожженная, вскочила с лавки и бросилась в сторону, противоположную той, с которой последовал удар. В ее прыжке было что-то такое, что более походило на отчаянный прыжок подстреленного зайца, нежели на прыжок ребенка. сознательно увертывающегося от наказания. Она прижалась в угол и без обыкновенных в этом случае слез и воплей смотрела на отца.

— Што это ты наделала, озорница? — спрашивал ее отец, с которого спал первый припадок гнева. — Сказывай, што?

Девочка попрежнему молчала и все так же смутно, так же бессмысленно смотрела на него.

— Ах ты, окаянная, окаянная! — бормотал отец, уже спокойно отыскивая забытую вещь, за которою он возвращался из поля.

Девочка все так же безмолвно стояла и все так же бессмысленно-робко жалась в углу.

— Што, спугалась? Ишь, как кошка блудлива, а как заяц труслива, — шутливо проговорил он, окончательно смягчившись.

Но и на эту отцовскую ласку ни одним звуком, ни одним движением не ответил бедный ребенок. Помертвевшее смуглое личико, посиневшие губы и потухшие глазки ясно сказали отцу, что дочь его отныне уже ничего разумно не услышит, ни на что разумно не отзовется.

Необдуманный взмах отцовского кнута погубил навек девочку.

В это время начал понемногу спадать полдневный жар. На улицу постепенно выбегали дети; ее мертвая тишина мало-по-малу сменялась их бойкими выкриками. Но еще не так скоро выполз бы на улицу сельский люд из своих прохладных убежищ, если бы из избы приехавшего на свое и дочернино несчастье мужика не раздалось странного крика, всполошившего всех соседей.

— Дитятко, дитятко ты мое милое! — кричал несчастный отец. — Ведь я поиграл с тобой, ведь я тебе ничего...

Но девочка как бы не верила отцовым уверениям. Она искоса смотрела на него и на собравшийся народ и будто сердилась.

— Глядите, глядите, ребята! — толковали ребятишки промеж себя, когда несчастная вышла

на улицу, окидывая встречных своими сердитыми взглядами. — Анютка-то с ума сошла. Теперь она божьим дитей стала, блаженненькой. Обижать ее теперича грех, потому сам такой же сделаешься, ежели обидишь ее.

— Какой тут грех? — сомневался один бойкий мальчишка. — Ее ничего бить-то, потому она дура. Я ее намедни вот как вздрючил: ничего со мной не сделалось, — сам видишь.

— О? Ай ничего?

— Ей-богу, ничего! Колоти ее, ребята!

И ребятенки, действительно, накидывались на нее безжалостною стаей. Но божье дитя, как бы ни были ему больны их тиранства, всегда отвечает своим мучителям тем только сердитым, пронзительным взглядом, каким оно в первый раз окинуло отца, после того, как он ударил ее кнутом.

— Ах ты, господи, страшная какая девка! — говорят ребятки, когда взгляд этот упадет, наконец, на них. — Лучше уж отойти от нее, потому, пожалуй, что чуть ли она не ведьма. Они, ведьмы-то, должно, что все такие пучеглазые...

1862

КРЫМ

I

Угрюмый, осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами... И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что что̀ умерло, то не воскреснет. Все эти пошлые и, когда находишься в редком припадке здравомыслия, комические жизненные комбинации, омертвившие меня, как бы при самом светлом сиянии солнца, воочию проходили перед мной в тот вечер и несказанно бесили меня.

Но пусть не смущаются лица ваши! Вы, может быть, предположите, что я сейчас пущусь в подробные россказни о грустных думах моих, или же вам покажется, что я хочу несчастья мои, так сказать, перелить в ваши чувствительные души и тем хоть несколько облегчить их сокрушающую тяжесть. Ничего не бывало! При всем том, что я только Jean de Sizoy. у меня всегда найдется настолько такта, чтобы не становить вас в положение человека, которому насильно навязывают многотомную повесть о сокрушившем рассказчика горе. Такое

положение, при всей его видимой приложимости к нашему заеденному обществу, до крайности исполнено комизма. Я постараюсь нарисовать вам его, насколько перо мое окажется способным к этой рисовке.

Перед вами ваш бедный, несчастный друг. Сначала вы даже обрадовались ему; только, беседуя с вами, ваш друг все больше и больше начинает впадать в меланхолический тон, так что в вашем мозге пробегает, наконец, желание, чтоб он поскорее окончил свою исповедь.

— Так-то вот в жизни моей все располагало меня сделаться таким, каким ты меня видишь теперь! — дрожащим от волнения голосом говорит вам страдалец.

Может быть, он и в самом деле имеет основание говорить таким образом, но вы, не желая дать ему заметить, что такая история вам давно уже известна и давно уже наскучила, дураковато таращите на него глаза, тщетно стараясь выказать в них ожидаемое сочувствие, и думаете: «Боже мой! что это за сантиментальный шут на меня навязался!»

Жалобы и глухота к этим жалобам, по моему мнению, — постоянная и неизлечимая болезнь человеческого рода. От века, верую, никто из людей не находил таких фраз, которыми бы он так удачно мог передать своему другу про свое несчастье, чтобы тот понял его как следует; точно так же верую и в то, что и я не найду их, да, пожалуй, если б и нашел, если бы вы даже поняли их и заплакали над моей горемычною долей, о которой я думал, не зажигая своей лампы, мне собственно невозможно было бы

поверить искренности людских слез, потому что в моей жизни я очень много видел слез по чужим заботам и весьма мало дела, которое бы хоть несколько облегчило эти заботы.

Вам, не спорю, может быть, не стоит ни малейшего труда расказнить во мне такой нечеловеческий скептицизм по отношению к обоюдному сочувствию существ, созданных быть братьями; но поверьте же и вы мне, когда я скажу вам, что прозвище мое «Иван Сизой» я имею намерение в самом скором времени заменить псевдонимом «Иван Сивый», потому что то постоянное самое каменное равнодушие, то самое звериное непонимание, с которыми люди, от каких я имел право ожидать совершенно обратного, встречали и мои для них жертвы, и мои на них надежды, — сделали из меня, по-настоящему, еще бы здорового, свежего малого, какого-то ни к чему не годного сивого мерина, разбитого на все четыре ноги.

Для всех вас вообще, конечно, нет большой беды, если какой-нибудь Иван Сизой, вследствие различных соображений, переменяет свою фамилию; но, могу вас уверить, что, в частности лично для Ивана Сизого, нет больше беды, как тогда, когда он думает о том, куда именно разлетелись его силы, весьма необходимые ему в настоящем случае для того собственно, чтобы не дать себя обуть в лапти тогда, когда на его ногах еще не совсем развалились кожаные сапоги. Не доказываю справедливости моей мысли на том основании, что для этого мне неизбежно пришлось бы удариться в лирический тон, с которым я дал себе слово распроститься навек,

ибо лиризм — враг мой. Выходит всегда как-то так, что он уменьшает цену печатного листа...

По этому случаю идиллия моя да начнется таким образом: от ненастного, осеннего вечера и от безобразных мыслей, которые тискались в голове моей этим вечером, я ощутил какую-то кислоту во рту и до смерти томившую сердце боль. А когда я нахожусь в таком состоянии, мне обыкновенно начинает хотеться чего-нибудь такого острого, чтобы обожгло горло и грудь и, отуманивши голову, вместе с тем, как говорится, отшибло бы память. Аппетит на эти вещи, говоря в скобках, свойствен более плебеям, нежели аристократам, хотя и последние, по части удовлетворения сказанного аппетита, «тоже тово»... Выражаясь определеннее, я откровенно сознаюсь в том, что когда представления о выпавшей мне «красной» доле уже слишком загомозятся в моей голове, я обыкновенно отправляюсь купать мое горе в волнах того моря, которое погубило у нас столько же печалей, сколько и радостей...

Мир вам, погибшие жизни! *Да не в суд и не в осуждение* вам, а в знак моей искренней печали о ваших судьбах бесталанных, скажется слово мое о той широкой дороге, которою по следам вашим зашагал я ко цареву кабаку.

Всепоглощающею пропастью зияли длинные улицы, где шел я. Тускло освещенные ночными фонарями, они казались какими-то неведомыми областями, где безвозвратно должно затеряться и погибнуть всякое живое существо. Так были

мрачны и угрюмы лица этих каменных столичных громад, с такой пугающею силой выглядывали они из ночного мрака, что все существо ваше проникалось каким-то безотчетным томлением при виде этой силы, тем более, что если бы вы глаза ваши, утомленные этой мучительною картиной, захотели развеселить блеском звезд ночного неба, на вас бы глянули оттуда серые, неопределенные массы, которые напугали бы вас более, нежели напугали бездушные здания. Волнуясь, как что-то живое, в необозримом воздушном пространстве, массы эти, казалось, быстрою мыслью летят на вас с дальнего неба — и давят, и давят...

Мне очень трудно теперь, больному, передать мои дальнейшие дорожные ощущения. Я совершенно забыл тот момент, когда сознание покинуло меня. Вот, например эту фразу говорил уже не я, а какая-то дикая машина, ударявшая кулаком по столу, уставленному графинами и рюмками:

— В прощении? Я, вы говорите, нуждаюсь в прощении моего общества, потому что безобразно якобы трачу свои заработанные деньги?

Передо мной сидел в это время юный еще господин, весь, впрочем, заросший бородой и бакенбардами. Мне и в голову не входило постараться определить себе, где и как я с ним встретился. К комнате носился удушливый чад; в чаду роились какие-то лица; где-то, весьма издалека, для моих ушей, по крайней мере, гремела музыка. Десятки тусклых свеч слепили глаза; общий шум разламывал голову.

— Чашу сию обойти весьма можно!—орала моя дикая машина в поучение господина, очутившегося со мной за одним столом.—Мне не нужно прощенья от общества, которое вынашивает в своей среде людей, способных так пошло, как вы и я, например, пьянствовать на заработанные деньги.

— Но ежели вы не будете искать в обществе снисхождения к вашим недостаткам, ежели вы намеренно не будете воздерживать себя от оскорбления общества вашим поведением, оно непременно выгонит вас! — в свою очередь поучал меня мой юный приятель.

— А вы думаете, — гремел я: — человек, понимающий, что он сосредоточил на себе справедливое презрение своего общества, сделается от этого изгнания несчастнее того, чем он есть? Не сделается! Тем более он не сделается несчастнее, когда будет иметь хоть какие-нибудь данные заподозрить справедливость этого презрения. А коль скоро вы имеете хоть маленькое понятие о том, как на наших базарах дешевы эти данные, вы сейчас же неминуемо согласитесь с тем, что вашу фразу об изгнании из общества можно перевернуть таким образом: я сам изгоню от себя общество, которое намеревается изгнать меня, потому что не кто другой, как только одни впечатления, навеянные на меня картинами этого общества, доставили мне честь пьянствовать с вами в этом бездонном омуте. Я очень хорошо понимаю, что лично от себя говорить такие вещи — пошлость; но разве это даст вам возможность не согласиться со мной, что ни одна из разлучающихся сторон не прольет друг по друге слез сожаления?

— Ваше высокоблагородие, соблаговолите до шкальчика доложить отставному служивому, — вмешалась в нашу беседу пьяная, оборванная личность. — Потому как, — продолжала личность, — собственно для-ради ненасытной погоды старые кости желательно разогреть.

— Скажи мне, — спросил я старика: — ты изгнал от себя общество, или оно изгнало тебя?

— Точно что, ваше высокоблагородие, «обчество» выгнало меня — отставного солдата — из села, аки бы за пьянство и кражу; но мы эфтому — глаза лопни! — причинны никогда не бывали.

— Почему же ты сам не выгоняешь его от себя?

Служба ответил на этот вопрос тупым и бессмысленным взглядом.

— Да! — с громким хохотом переспросил его юный господин: — в самом деле, отчего ты сам не выгонишь его от себя?

— Позвольте папиросочкой затянуться, — с поощряющей к дальнейшим шуткам улыбкой разрешил старичина нашу спорную тему. — Стаканчик прикажете вам налить, ваше высокоблагородие? — мгновенно впадая в роль верного слуги и доброго собеседника, осведомился затем старик.

— Однакоже отделаться бы от него как-нибудь! — заговорил по-французски мой юный друг, коверкаясь и даже как будто изнемогая при виде стариковской фамильярности.

— А вы, должно быть. одни хотите изобразить собой презирающее и изгоняющее общество! Вам жаль водки этому солдату!.. В таком

случае я один заплачу за него, чем вы и я фактически докажем друг другу справедливость наших убеждений.

— Помилуйте! — сконфуженно произнес волосатый юноша.

Я посмотрел на него с улыбкой победителя.

II

Теперь мне надо доложить вам, каким образом я дошел до пошлости спорить с первым встречным, бог знает о чем, в грязнейшем трактире. Быть может, вам подумается, что такая материя не займет вас. Уверяю, что займет, и даже очень.

Сказано уже: куда, по какому случаю и за чем именно пошел я. Так вот, иду я, а на дворе осенняя ночь, — знаете, такая ночь, которая делается в несказанное количество раз приятнее и усладительнее, когда ее частый и мелкий, как из сита сеющийся дождь падает не на циммермановскую шляпу и не на бобер рубликов эдак в полтораста с чем-нибудь, а просто на клеенчатую фуражку, оставшуюся, так сказать, от летнего сезона, — когда этот дождь хлещет вас прямо по разгоревшемуся лицу, холодными струйками закатывается за воротник вигоневого мешка, приобретенного за четыре рубля у парикмахера Борисова, который, как энергично свидетельствуют *Полицейские Ведомости* живет на Лубянке в доме духовной консистории.

Не могу не сказать здесь в скобках, как приятно иметь дело с сим чародеем, могущим снабжать смертных пальто за четыре рубля,

потому что купленная у него покрышка главным образом и располагает к надлежащей оценке прелестей осенних ночей. Покрышка эта имеет почему-то способность делаться еще более жалкою в такую пору. Она, говорю из собственного опыта, будит уснувшую злость, располагает к подлым и омерзительным помыслам о том, как бы купить сапоги не на толкучке, а у мосье Пироне, приобресть пальто не из мастерской Борисова в доме духовной консистории, а от Боргеза или Айэ, — и главное: зазывает в голову грызущую мысль о том, почему еще не сделано тобою ничего такого, чтобы стоило дороже того оборванного тряпья, которое в настоящее мгновение почти уже готово сползти с невыносливых плеч...

И в колеблющихся волнах ночного мрака, как бы какие живые картины, освещенные бенгальским огнем, восстают по этому поводу в задумавшейся голове мучительные думы о невыносливых плечах, о погибших жизнях, об обманутых надеждах. К самой груди пригнет голову эта тяжесть, и идешь, не примечая, как резкий ветер, забравшись к тебе в самую душу, дотерзывает там источенное различными червями существование, — идешь, не чувствуя на лице хлестанья крупных дождевых капель и не видя того тусклого, унылого света, которым уличные фонари освещают унылый путь.

Таким-то образом шел я и думал по поводу борисовского изделья, висевшего на мне, до тех пор, пока обильно лившиеся из окон *Крыма* [1]

[1] Один из московских трактиров.

огни не осветили мне широкой площади Цветного бульвара.

Мои собственные думы всегда немеют, лишь только я ступаю на эту площадь. И в настоящий раз онемели они при виде несчастья, которое обыкновенно снует по Цветному бульвару, оглашая его и хриплыми воплями разврата, и пугающим хохотом человека, ставшего в уровень с бессловесными животными...

Опьяневши от одного уже взгляда на *Крым*, я ерундисто начинаю рассуждать о тех благоприятных обстоятельствах, которые бы могли положить конец несчастью Цветной площади, но обстоятельств этих ничуть не виделось мне во мраке осенней ночи...

Кто имеет право любить выпивку, тот вполне поймет, с каким неописанным наслаждением юркнул я, после помянутого похода, в глубокое крымское подземелье, где непременно должна закружиться всякая голова, если она имеет хоть немного желания и причин закружиться.

Пятнадцать, или, может быть, десять ступеней, которые ведут в рекомендуемую мною могилу, не великая беда. Мы пройдем их если не без толчков, за которыми, по пословице, не угоняешься, по крайней мере, без особенных приключений.

— Господ уж стал сюда чорт носить! — бурлит с злостью какая-то толстая колонна с большой черною бородой, выкатываясь снизу навстречу к нам.

Избави вас бог спрашивать у колонны, что ей за дело до вашего визита в *Крым:* на дворе такая темная ночь...

— Извозчик! — кричит молодой парень, видимо мастеровой. — Что возьмешь на Девичье поле? Там ты меня подождешь, примером, пять минут, с Девичьего поля на Покровку, там тоже пять минут, с Покровки к Сухаревой и духом назад.

— Што взять-то? — спрашивает один дядя из целой толпы извозчиков, облепивших *Крым* своими калиберами. — Давай целковый.

— Облопаешься неравно!—с укоризной предполагает молодой парень.

— Сколько же дашь-то?

— Сколько дам-то?..

— Да, сколько от тебя будет?

— Трынку! — с хохотом отвечает парень, быстро сбегая в подземелье.

— О-ой, батюшки! Шлею с лошади в одну минуту сняли!—кричал кто-то за трактирным углом.

— Вот нам и чай! — продолжал хохотать промелькнувший сейчас парень, затворяя за собою визгливую трактирную дверь.

— А-а, чортов сын, попался! Мы тебе дадим таперича, как у своих извозчиков шлеи воровать.

Вслед за этими словами слышатся глухие удары обо что-то, будто кто в пустую бочку для своего удовольствия колотил собственным кулаком. Подумать, впрочем, чтоб это били человека — нельзя было, потому что человек тот, по всем соображениям, непременно должен бы был закричать от этих ударов.

— Што тут такое? — вопрошает басистый начальственный голос, очевидно принадлежащий городовому.

— А вот шлею украл.

— Кто ж это?

— Хто? Известно хто! Все Евланька Фуфлыга бедокурит.

— А!—строго вскрикивает басистый голос.— Так ты опять у своих воруешь?

И замолкшие было удары раздались с новою силой.

— Брось его, сударь! — просят ундера уже сами извозчики. — Отойди уж ты лучше: мы его без тебя-то своим судом прокладней отделаем...

— Глядите вы у меня, чертоломы! Душу штобы не тово...

— Што-о на-ам ду-у-ша? За-а-чем нам ее? — отвечал кто-то, судя по тону голоса, к чему-то напряженно прикладывающий руки.

— Батюшки. отпустите! Голубчики, дух у меня совсем займется!..

— Завопил, небось! Мы те, ворище, не так разбодрим.

Ночью гораздо больнее, нежели днем, действуют на душу такие крики: так зло моргают уличные фонари, слушая их. и к тому же ночное небо такое серое, такое безучастное повисло над ними!

Вы как будто испугались этой маленькой отечественной сценки и уже боязливо ступаете назад! Напрасно. Она в моих глазах заключает в себе тот аромат национальности, который всегда притягивает меня к *Крыму*, как пахучая гречиха притягивает к себе работницу-пчелу.

Повинуясь этому тяготению, я отверзаю трактирную дверь. Крикливое визжание рокового блока достойно приготовляет нервы к безболез-

ненному восприятию сцен, разыгрывающихся в оригинальном подземелье.

Сначала ничего и не разберешь, потому что клубы густого и однообразно пахучего воздуха не вдруг показывают посетителю частности русской оргии. Они повисли над новым человеком плотною тучей, как бы пристально осматривают его, желая прежде узнать, рожден ли он с способностью участвовать в укрываемой ими каше, или нет.

Кто благополучно проминет этот осмотр, тот пусть смело идет дальше: оргия уже не испугает и не оглушит его своим дружным и никогда не прерывающимся ревом. Надо, впрочем, сказать, что и такой счастливой головище покажется на первый раз, что этот тысячезевный шум происходит не от множества людей, крутящихся в подвале, а что самый подвал этот, его толстые серые стены, его маленькие грязные оконца, его закопченные потолки и мебель, газовые рожки, торчащие в стенах, и длинноногие столовые подсвечники — все это, как что-то живое, будто обрадовавшееся новому гостю, двинулось к нему навстречу и заорало этим могучим гулом.

Но, говоря об этом вакхическом вихре, я или должен лить воду для того, чтобы не услышать упреков в излишнем лиризме, или, рассказывая о том, как под мрачными сводами харчевни экстатически бесновалась песня солдатского хора, как сияли лица, певшие и слушавшие ее, какими сердечными воплями радости и наслаждения отзывалась русская природа своим родным мотивам, — я сгорю в пламенном ливне жгучих фраз, который неизбежно польется с губ

моих, когда я отдамся изображению этих, исполненных неудержимой страсти и невыразимого своеобразия, сцен.

Но что мне за дело до людских попреков, от которых ушел я сюда! Разве они не помогут мне забыть все на свете — эти скорбно-могучие мотивы родной песни!

Вот они всего заливают меня. Ого! Как здорово выносит их крепкая солдатская грудь! Бубен — так и тот ничуть не заглушает ни однообразную басовую ноту, которая невообразимо-терпеливо тянет:

Сво-во празд-нич-ка дож-ду-ся,
Во гроз-на му-жа вцеп-лю-ся!

ни горячих переливов занозистого тенора, с злостью подхватывающего:

Во грозна му-жа вцеп-лю-ся,
На смерть раздеруся!

И фистула тут же — этот кудрявый, белокурый, маленький кантонист... Господи! какими грустными, какими раздирающими тонами покрывает весь хор его серебряный голос:

О-о-о-ох! На смерть раздеруся!

А опять: этот черный кузнец-плясун, в пестром халате, в сапожных обрезках на босую ногу, в истасканной фуражке на бедовой голове, — как это он бойко и выразительно блеснул в толпу своими черными глазами, как незаученно ловко тукнул о пол толстою подошвой, когда хор дружно грянул изо всех грудей заключительную строфу:

На смерть раздеруся!

Оглушительный вскрик тенора, слившись с трелями колокольчиков бубна, закончил песню. Весь *Крым* бесновался до неистовства. Один молодчина упал на четвереньки и ревел от наслаждения, как дикий зверь.

— А-а-атлична! — кричал он. — Подать солдатам водки на пять целковых!..

III

Только что спетая песня еще пуще разожгла оргию. Новые толпы ввалились в подземелье. Вскоре между прибывшими гостями и гостями старыми завязались драки из-за столов. Четвертаки за одну только очистку сиденья, давались бесспорно даже такими людьми, которые, судя по их жалким отрепьям, четвертака во сне никогда не видали. Как собаки по стаду, метались половые в публике, усмиряя ее порывы; городовые, строго покручивая рыжие усы, тоже маршировали по залам, как бы высматривая что-то; но ничего не усмиряло публику. Она отдалась влиянию полночного кутежа и, нисколько не стесняясь рыжими усами, могуче бурлила.

— Што, дяденька, ходишь? Ай тятеньку с маменькой высматриваешь? — спрашивает у ундера молодой мастеровой с красною, как огонь, физиономией, с игриво горящими глазами. — Не бывали еще ваши, сударь, тятенька с маменькой. Вот мы таперича без них и погуливаем. Хорошо погуливаем, а?

Ундер бросает на парня взгляд, исполненный самого магнетического сурьеза, и приказывает

ему посократить безделицу горло-то, на том основании, что он еще сосунок, которого из трактира следует по затылку турить.

— Ты-то стар ли? — спрашивает мастеровой ундера.

— Я-то стар! — с сознанием собственного достоинства отвечает полицейский.

— Постарее тебя у нас на селе кобели важивались, одначеже мы им хвосты знатно гладили.

— Это точно! — подхватывают с хохотом на других столах. — Гляди, как бы и тебе не погладили хвоста-то, а то он у тебя сер что-то, хвост-от.

Ундер в немалом конфузе ретируется в другую залу, стараясь, однакоже, так устроить свое отступление, чтоб оно вслух говорило, что мы, дескать, грубостев таких не расслышали, а то бы беда была...

— Напрасно вы к этому ундеру, господа, своих рук не приложите, — говорят некоторые кринолины: — мужчина самый что ни есть необразованный и гордый.

— Что ушло, то не уплыло! — отвечают господа кринолинам. — Попадется в руки, натерпится муки.

Между тем великосветские манеры моего случайного знакомого неимоверно бесили меня, потому что тем дольше сидели мы с ним в зловонном трактире, чем больше он пропитывал харчевенную атмосферу своими тончайшими духами, так что самые нахальные крымские глаза без какого-то смущения и даже как будто бы страха не могли выносить блеска опала в его золотой булавке, и в то время, когда, казалось,

самые стены подземелья хотели лопнуть от шумного скопища, тискавшегося в нем, около нашего стола непонятным образом был некоторый простор.

«Чорт его побери совсем! — злобно думал я про моего элегантного друга: — угораздит же человека, одетого в такую изящную жакетку, в галстухе которого блестит, наконец, такое сверкающее произведение Фульды, затесаться в *Крым!* Кажется, мне придется хорошенько раскровянить его».

И, клянусь вам, раскровянить этого молодца непременно бы следовало, потому что его барство до крайности напугало присевшего к нашему столу старого солдата. По его задумавшемуся лицу я очень хорошо видел, что солдат так же, как и я, с большим удовольствием съездил бы в физиономию к баричу. Несмотря на мои поздравления с *поднесеньевым днем*, которыми я хотел расположить воина к усердной выпивке, он весьма нерешительно и с большим сомнением опоражнивал рюмки, видимо стараясь улизнуть от нас, и если что-нибудь удерживало его от исполнения этого желания, так опять-таки опасение, чтобы франтовитый барич не учинил с него за это бегство какого-нибудь строгого взыска. Видя такое фальшивое положение, в которое компаньон мой, хотя, может быть, и неумышленно, ставил солдата, я с каждою минутой все больше уподоблялся бульдогу: в моей груди довольно громко послышалось, обыкновенное у меня в подобных случаях, хриплое ворчанье, потому что на людей, имеющих возможность устраивать другим

положение в роде такого, в каком был отставной солдат, я не могу смотреть без бешеной злобы. Это мой недостаток, и говорить мне про него решительно не следовало бы, но надобно же, наконец, карать общественные пороки. Я и караю их в моем собственном лице.

Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизм, ежели вам это понравится; но ведь я зачем пришел в *Крым?* Я пришел в *Крым* с тою целью, чтобы смотреть целую ночь многоразличные виды нашего русского горя, чтобы, смотря на эти виды, провесть всю ночь в болезненном нытье сердца, не могущего не сочувствовать сценам людского падения, — чтобы скоротать эту ночь, молчаливо беснуясь больною душой, которая видит, что и она так же гибнет, как гибнет здесь столько народа.

И вот когда уже настолько всмотришься, в эти сцены, что по лицу каждого актера, участвующего в них, сразу будешь узнавать его жизнь, столь трагически заканчивающуюся теперь в кабаке, когда весь этот шумный рой лиц будет казаться тебе чем-то целым, самым тесным образом родственным с тобой, когда, наконец, в этом непонятном, как шум волн морских, гуле толпы я приучился слышать стоны заблудшего брата, — в это время между этой беснующеюся толпой и мною вдруг стала посторонняя, безучастная фигура, приличная сама по себе и, вдобавок, как бы на зло, старающаяся казаться еще приличнее.

«Разве он не мешает тебе?» — нашептывало мне что-то, до-нельзя ощутительно засевшее в моей груди под самою ложечкой.

«Я отойду от него: он мне, действительно, мешает», — отвечаю я шопоту.

«Отойдешь? — презрительно вскрикнуло что-то в груди у меня. — Вот так воитель! Ха-ха-ха-ха!» — раскатывается оно звонким хохотом, покрывшим собою все крымские голоса.

Мне казалось, что все слышат этот хохот и смотрят на меня. С какою-то стыдливою боязнью я поникнул на стол головою, чтобы не видеть ожидаемого взгляда.

«Вот так воитель! — повторяло выскочившее из моей груди какое-то маленькое существо, в роде козлика, быстро прыгая по стаканам и рюмкам, наставленным на столе. — Тут не отходить нужно, а сцепиться нужно с ним насмерть. Либо тебе, либо ему! Вот как сцепиться, чтобы другие к вашей драке и подступиться боялись!..»

«Да за что же я драться с ним буду?» — спрашивал я козлика, как бы умоляя его, чтоб он не наказывал меня в случае, если б я не стал драться.

«Как за что? — азартно кричал на меня бесенок. — Не видишь разве, как этот франт издевается над крымскою грязью? А ты сам разве не та же крымская грязь? Ну-ка, размахнись во всю руку да царапни его хорошенько. Видишь, как он булавкой своею заслепил всех, как все сторонятся от нашего стола? Ты, впрочем, может, думаешь, что он лучше *Крыма?*»

«А ежели крымскую грязь отстраняет от этого господина не один блеск его булавки, — возражаю я моему искусителю, все еще лежа на столе: — но и...»

Бесенок не дал докончить мне мою речь.

«Ах ты, шут гороховый! — заорал он на меня своим пронзительным голоском. — Ну, договаривай: «но и нечто магнетическое, пожаром горящее в черных, бездонных глазах величественного незнакомца, потрясало до самого основания дикую толпу невежественной черни»... Пьяный паяс! — в крайнем гневе ругало меня маленькое существо: — когда перестанешь ты так пошло лиризировать?»

Разозлившись, в свою очередь, на чертенка, я бросился ловить его, но он, как молния, летал по залитой вином салфетке и с насмешливыми гримасами орал мне:

«Какой же ты Иван Сизой, когда не можешь дать трепки этому барину! Ты после этого просто-напросто негодная дрянь, а не Сизой».

— Ну, господа, — звучал в мои уши чей-то толстый бас: — барин-то, надо полагать, до чертиков тюкнул. Вишь, пальцами-то как перебирает. Представляются теперь ему черти-то: вот он их и ловит.

В моей голове чувствовал я, будто бы птица в клетке, билось и трепетало что-то. Я старался уверить себя, что это пройдет, и продолжал гоняться за ругавшим меня чертенком.

— Было нас трое братьев у батюшки, — слышался мне чей-то голос: — а батюшка у нас по старой вере был, и все мы тоже по старой вере. Годов тридцать тому уже прошло. Выучил нас, братьев, читать один старец. Ну, и пошли братья по своей торговле, а я к книжкам очень припал. Такая, то-есть, охота учиться у меня была, — ночи, бывало, не сплю, думаю, как бы

это мне книжку получше достать. Только познакомься я в это время с студентом одним, — все он у нас в лавке чай и свечи покупал, — видит он такую мою охоту к ученью и говорит: «Беспременно вам надо в университет поступить, потому способности имеете чудесные». — «Тятенька, — говорю я отцу после таких речей, — наймите мне учителя, потому я в университет поступить имею желание». Как же со мной поступил тятенька?.. Взял меня, обратил лицом к двери и швырком на крыльцо бросил. «Вон! — говорит, — чтобы нога твоя на мой порог не ступала!» Только все же я от швырка того горбы теперь и на спине и на груди имею... Не сробел я однако. На своей воле, думаю, еще свободнее мне будет свое удовольствие сделать. Торговать стал, и на пятый год в двадцати тысячах был. Узнал про это отец, напустил на меня людей, которые со мной тяжбу затеяли и в какой-нибудь год, таскаючи по судам, совсем меня разорили. Пришло дело к концу, я опять принялся и опять разбогател. Только и тут отец мне не дал покою, опять разорил, потому капиталы у него и знакомство везде, — не всякий с ним сладит. Да так-то он меня, судари мои, три раза с корнем вон вырывал! В четвертый я уж и пробовать не стал. Заодно, мол, погибать-то!..

«Совсем позабыл, кто написал эту песню?» — думаю я про себя, потому что во время этого рассказа расстроенная шарманка наяривала какие-то мотивы, каких я отроду не слыхал.

Я, донской казак,
В тяжкий плен попал...

уныло напевал кто-то, должно быть, подле самого нашего стола.

«Да! так это донской казак написал эти стихи», — припоминаю я и чувствую, что мне очень хочется спать.

«Слышал?» — спрашивает меня чертенок, балансируя на носике чайника.

«Слышал», — отвечаю я.

«Что же не бьешь?»

«Не могу».

— Да выпейте стаканчик водицы, пожалуйста! — упрашивал меня отставной солдат. — Ей-богу, сразу бы вас отпустило!

— И воды не могу.

— Да вы поневольтесь.

«Не можешь? Так-таки и не ударишь?» — настойчиво пристает ко мне миниатюрный козлик.

«Не могу».

«Пьяный шут!» — кричит он мне и, уклоняясь от моего порывистого за ним движения, быстро перелетает с носа чайника на газовую трубку над моей головой. Я бросаюсь за ним к газовой трубке, но он уже, видимо, для меня, обратился в синий летучий дым, который насмешливо колебался в своем полете к мрачному трактирному потолку на высоте, недоступной для моего роста.

Бурный трепак бушевал между тем в зале. В одно и то же время мне страшно хотелось и смотреть на этот трепак, и поймать чертенка; но, почувствовав, наконец, что ни одно из этих желаний исполнено быть не может, я горько заплакал...

— Не мог-гу! — враз отвечаю я и солдату, усиленно потчевающему меня холодною водой, и самому себе, когда лихая дробь низалась мне в уши и сманивала вскочить со стула, крикнуть изо всех легких: браво! и вырезать с плясуном по злейшему стаканищу.

— Как же мы, как мы жить с тобой будем? — спрашивал тоскливый женский голос. — Ведь он меня, барин-то, сам сюда подвез. «Вот, — говорит, — теперь твое место, а мне ты не нужна больше».

— Это нам единственно все равно, — смело отвечал кто-то на этот голос. — Потому как с самого того дня, как тебя к барину на сени взяли, а меня по оброку угнали, ни разу ты у меня из ума не выходила.

— Ведь дела-то делать, — продолжала женщина, — я ни одного не умею, кроме как чай по целым дням пить да платья дорогие носить. Я тебе, голубчик ты мой, большой тягостью буду, пока к работе не привыкну ко всякой.

— Об эфтом ты не крушись! Помаленьку привыкнешь.

Маленький чертенок вытянул в это время ногу свою так длинно, что с потолка достал ею до моей головы. Поталкивая меня ногой и в голову и в спину, он с какою-то презрительною злостью спрашивал меня:

«Пьяное животное! И тут не ударишь?»

«Не видишь разве, что не могу? Отстань!» — мысленно только мог отвечать я ему, потому что язык мой не ворочался, отчего я зарыдал сильнее прежнего. Впрочем, не от одного только отсутствия надлежащей силы в языке моем ры-

дал я. Все, что только мог я расслушать изо всего этого гула, издаваемого крымскою ватагой, непременно были только одни рвавшие душу жалобы на горькую участь.

Вот перед нами маленькая безобразная старуха, давным-давно обрусевшая полька. В ней решительно нет следов человеческого образа: так передернули и изморщинили лицо ее зверские нужды.

— Будет, бабушка, показывать тебе виды Берлина и Лондона, Баден-Бадена и Ниццы, — ты лучше расскажи нам, как ты сама очутилась у нас.

Дрожит и трясется старуха, принимая угостительную рюмку. Обрадовалась она доброму случаю, дающему ей возможность хоть несколько времени покипеть старым, охладелым телом.

— Вот здесь родилась я, — начинает она свой рассказ и подводит к своей панораме, где, освещенная тусклою сальною свечой, показывается гордая Варшава. — Пустите-ка, пустите-ка, я сама посмотрю: давно не видала, — и старуха впивается глазами в родную картину. — Мати божия! — вскрикивает она: — как хорошо здесь было! Я забыла, сколько времени прошло тому, — прибавляет бедная в тяжелом недоумении, как будто до настоящего мгновения она верно помнила длинный срок того времени, а теперь вдруг забыла. — Наехали в эти места жолниржи ваши, а я тогда красавицей была: всех огнем палила. Маленькая такая, черная, — старуха становится в бойкую позицию и показывает, какая она была маленькая, черная и как

она всех огнем палила.—Увез жолнирж—и бросил!.. — грустно повторяет она таким тихим, молодым голосом, который всякому воображению непременно представил бы, как ее, грациозную и полную страсти, увозили тогда паны-жолниржи на свою потеху и ее страданье.

Обыкновенная история; но не понимающие эффектных драм люди отовсюду говорят старухе:

— На-ка-сь тебе, бабушка, семитку.

— Поди, я тебе покажу нашу Варшаву, — благодарит старуха.

— Рюмочку, старушка, поди пропусти!

— И тебе покажу. Погоди только немного. Что, лучше, небось, Москвы-то?

— Москва, бабушка, прямо тебе сказать, не в пример лучше Аршавы.

— Папиросочки не хочешь ли? — спрашивает у польки кринолин, внимательно следивший за ее рассказом.

— Не курю я их, милая. Тогда девушки не курили, а у вас не привыкла.

Кринолин конфузится.

— На вот, бабушка-голубчик, продай кому-нибудь, — и при этом кринолин, в сильном замешательстве, сует старухе потертый бумажник. — Я вот только папироски выну.

— Самое, надо полагать, кто-нибудь так же обманул, вот и разжалобилась, — говорит закутившая чуйка. — Сейчас умереть, я теперь эту самую девку всем сердцем моим возлюбил!.. Эй, милая, сядь-ка к нам, воротись!

Кринолин послушно возвращается к столу кутилы и садится.

— Можешь ли ты понимать честь? — спрашивает чуйка девушку.

— Могу, — отвечает она без запинки.

— Так ты ее и понимай! Я с нонешнего дня даю тебе содержания десять рублей кажинный месяц. Донскова!

— Чудесно! — лютуют припевалы. — Андрей Ильич, уважь, милый человек, попляши!

— Умеешь плясать? — спрашивает у девушки раззадоренный Андрей Ильич.

Еще бы не умела плясать крымская старостиха, эта Волга-девка, увенчанная стразовой диадемой!

— Ярославка, што ли? — спрашивает Андрей Ильич, ухарски драпируясь для предстоящей пляски своею синею чуйкой.

— Оттуда были! — отвечает старостиха, воодушевляясь лихими манерами Андрея Ильича.

— Ну, мы с Дона!

Густая толпа окружает их.

— Валяй Спирю почаще! — кричит Андрей Ильич музыкантам, и при первых коленах его в воздухе повисли и дружный хохот, и загвоздистая похвала.

— Дашка! Не выдай московских-то! — умоляет старостиху оборванный кузнец, первый крымский плясун, в сапожных обрезках. — На свою сторону приедет, хвастать будет: никто-то-де его не переплясал у нас, — поощрял он Дашу, дрожа и замирая в лихорадочном волнении.

Гикает и гогочет, как казак в бою, Андрей Ильич, и за ним все гикают и гогочут, потому что ровно огненный змей жжет и палит он всех

своею жаркою пляской степною. Вприсядку сел он, так-то и кружит, — кружит и соловьем голосистым свистит. Полштоф целый по самым маленьким рюмкам одному можно было бы разобрать в то время, как он козловыми каблуками крымский пол бороздил. А она, старостиха эта, все голубкой, голубицей такой ласковой вьется около него, словно с крыльями.

— Где такая девка родилась? — кричат.

— Э-эх, кабы не бедность!

А она все вьется около Андрея Ильича. Вилась, вилась так-то она, да платьем своим голову казачью вдруг всю и закрыла — и посмеивается.

Тут и вспомнил *Крым*, что это за мужик такой Спиря, смешливый Спиря мужик: всякому он норовит ногою нос утереть.

Близким громом загремел *Крым*, когда вспомнил про Спирю.

— Вот он какой, Спиря-то, — орут двадцать голосов.

— Тут, брат, огнем не возьмешь!

— А возьмешь тут смешками.

— Верр-но! Молодец Даша!

— Истинно лучше! — шумно соглашается с толпою казак. — Только же не может женщина ничего лучше нашего брата сделать... Валяй степную, братцы! — кричит он музыкантам. — На барыню переворачивай!

Замерли все. Тишь как в могиле стояла, когда первая скрипка на квинте потянула свое протяжное вводное и-и-я-ах!..

Молнией сверкнул на струне первый слог огненной песни. Дружно подхватили его другие скрипки, контрбас и звонкие флейты; но всех

их заглушил своим ахом запылавший Андрей Ильич — и пошел...

Сыплется частая дробь, будто осенний дождик в стекло, воет Андрей Ильич неудержным ветром степным и прет в толпу черными глазами, так что дыхание у всех захватило, страх обуял.

— Ступнуть не дам, девка! — злобно и страстно кричит он уничтоженной Даше. — С белого света как былинку сдую!

— Братцы! — умоляет кузнец-плясун: — кричите скорее: ура! Где ж нам, московской гольтяпе — по-евонному...

— Ур-рра-а! — берут враз сто грудей.

— У-р-рр-а! — подхватывают сидящие за столами.

И летит это ура, как какая грозная буря, в другую залу, увлекая за собою все дышащее в трактире, оттуда стремится на крыльцо, на вольный воздух и, здесь схваченное извозчиками, пронизывает собою густой мрак осенней ночи и, наконец, тихо улегается на липовых вершинах соседних бульваров, распугивая усевшихся на ней грачей и ворон...

— Тише, господа, пожалуйста, потише, — уговаривает публику седой приказчик: — полиция, пожалуй, придет, что толку?

— Поди ты, старый чорт! — азартно отвечают ему.

— Ласточка ты моя! — нежно говорил старостихе Андрей Ильич. — Уж где тебе тягаться со мной! Потому вряд ли кто на сем свете и может со мной потягаться...

Старостиха, слушая его, была такая смирная, такая ласковая.

IV

Все дело, следовательно, в моих глазах по крайней мере, остановилось на следующем: Крым бесновался и неистовствовал, мой приятель свысока смотрел на этот спектакль, а я, облокотясь на стол, рыдал болезненно о всем Крыме и злился на приятеля.

Но это громовое ура, сейчас только огласившее своды харчевни, разбудило меня, и я со стыдом приметил, что ни к рыданию, ни к злости повода у меня самого даже коротенького не имелось, ибо все шло своим чередом, и ежели из всей этой сумасшедшей толпы, включая в нее и моего приятеля, был кто-нибудь ненормален, так один только я, ловивший своего чортика.

Мой случайный знакомый, на мой вопрос: кто он, когда и где я с ним встретился, благодушно уверял меня, что он будто бы один из шести московских корреспондентов *Санктпетербургских Ведомостей*, а также имеет основание думать, что будет вызван сотрудничать в *Голос*, что, наконец, он приехал в *Крым* с целью запастись в нем мотивами для передовых статей в эти газеты.

— Вы, может быть, Ботиков? — спрашиваю я его, желая короче познакомиться с человеком такой блистательной деятельности.

— Нет! — отвечал он, мотая головой и, видимо, пьянея.

— Дивово, может быть?

— И не Дивово! — отвергает он, радостно всхлипывая. — Я — Восходящее Солнце! Вот

мой псевдоним. Настоящее же мое имя не должно быть известно никому, потому что я намерен затрагивать такие вопросы... о таких общественных ранах я буду заявлять на столбцах наших уважаемых газет, о которых до сих пор не плакал ни Николай Филиппович Павлов, ни наш тамбовский гегелиянец — *фон-Чичерен*, — с азартом уже совершенно пьяного человека орал он так громко, что я не мог не сказать себе:

«Однакоже этот шут любопытен! Посмотрим-ка на него попристальнее, и если он составляет рану на нашем общественном теле, постараемся заявить о нем на столбцах наших, хоть не уважаемых, газет».

Увы! К крайнему моему огорчению, франт оказался не раной, а просто прыщом. Навязавшись на знакомство с ухарским Андреем Ильичем, Восходящее Солнце ломалось самым пошлым манером, стараясь показать себя русским человеком.

— Какая здоровая натура! — в пьяном экстазе говорило мне Солнце про Андрея Ильича.— И старостиха — тоже здоровая натура. Ее надо поднять, непременно нужно возвысить, так сказать... Это наша прямая обязанность, — и, воодушевившись, он подарил старостихе свою изящную золотую булавку.

— А ты мне, как хочешь, Андрей Ильич, а на платье на хорошее подари, — говорила старостиха Андрею Ильичу: — потому как только имей я шелковое платье, — коси малина! Минуты бы одной в *Крыме* не пробыла...

— Пре-е-красно! — мямлило Восходящее Солнце. — Возвратись, старостиха, непременно возвратись к прежним мирным занятиям, на путь добра и чести...

— Ах ты, кобылятник! — ласково выругала советника старостиха, предполагая, что он своими шутками хочет ее привести в конфуз.

— Какая, Федичка, вчера история случилась, так ты издивиться должен! — рассказывала совершенно изнемогшему мастеровому толстая женщина в фантастической повязке. — Часа в два ночи спим мы так-то; вдруг в окна забубенили. «Есть?» — спрашивают. «Есть!» — говорим. «Поедем, да живей у меня собираться, а то, — говорит, — раму вон выколочу». Приезжаем в одну гостиницу, — пьяные все, лыка не вяжут. Только как я теперича всю политику произошла, знаю уж, что попросту, без затей обходиться с ними лучше будет, и говорю им: «Что же, мол, вы, подлецы эдакие, привезть привезли, а водкой не потчуете?» Как тут бросится один на меня с столовым ножищем. «Я тебе, — говорит, — тварь ты эдакая, дам ругаться!» А другой, с такой ли бородищей большою, на него заорал: «Не смей, — шумит, — трогать ее, — она женщина!» Кричали-кричали они так-то, кулаки-то друг на друга насучивали-насучивали, только заступник-то наш схватил пистолет со стенки да и бацнул в приятеля. Слава богу, что не попал! «Моли бога, — говорит, — что не попал я в тебя, а мои убеждения честны». Долго я над ними смеялась. Вот, думаю, дураки-то необузданные! Только вслух я этого не сказала им, потому очень уж азартны.

— А хочешь, я тебя изобью? — спрашивал рассказчицу мастеровой, приходя почему-то в бешенство.

— Ну, уж это не хочешь ли вот чего? — в свою очередь спросила рассказчица, показывая кукиш.

— Уйди, барин! — шумел на Восходящее Солнце Андрей Ильич. — Не твое здесь место.

— Как ты смеешь так говорить со мной?

— Так! Не мешай — вот и все тут.

— А как я тепеиця с гусалем по нацалю зиля, — раздавался картавый, охрипший голос из другого угла: — холясо тогда биля! Ми с гусалем в обцество еззивали, а в обцестве, биваля, цай-то с сейебъяними лезецками подавайся.

— Што же ты, братец ты мой, смотрел на него! — толкуют между собою два подозрительных персонажа. — Ты бы часы-то у него и чирикнул.

— Чего-чего не делал. Уж и пил-то я с ним вместе, и обнимался-то. Ничего не поделал, потому из наших никого не было, — кому передашь?

— Эх ты! Кому передать — спрашивает. В любой уголок положи, — не скоро найдут.

— Не сдогадался.

— А я, однава дихнуть! — выкрикивал картавый голос: — сказю, биваля, гусаеву деньсику: сьюзи мне, Семен! Не посьюсяться он меня не смей тогда, потому от баина пъиказание такое быя ему, стобы он меня все явно как баиню съюсяйся.

— Ах ты, шкура! — кричит слушатель. — Што ж. Семен всегда тебя слушался?

— Всегда, ей-богу, всегда! Тойко тогда усь, как гусай уехай, и как у него за фатею впеиод

за два месяца запъяцено быя, я на той фатее и остаясь зить. Думаю, зачем даем деньгам пъяпадать? Тут Семен без баина-то и вздумай меня пьягонять. Ах ты, гаваю, халюй язнесцястний! Как ты смеесь меня пъягонять? А он меня взяй да по сее. Я и усья.

И картавый голос в этом месте своего рассказа перешел в слезные тоны.

— Што же ты плачешь-то, глупая? Ты вот выпей лучше.

— Нет! Не хоцю я пить. Я тебе пъямо сказю: я без гусая зить не могу...

— Ах ты, чудище морское. Нализалась, и жить не могу, кричит...

— Не бей ее! Слышишь ты, Андрей Ильич, не тронь ее! — умоляло Восходящее Солнце заезжего донца, который колотил старостиху.

— Не твоего ума это дело! — кричал рассвирепевший Андрей Ильич. — Я к ней всей душой, а она с моим товарищем, на моих глазах, заигрывать принялась.

— Это ничего! — твердил оригинальный псевдоним. — Она исправится, ее только возвысить нужно.

— А вот я ее возвышу.

Восходящее Солнце попробовало было помешать Андрею Ильичу, но получило такой толчок, от которого завертелось кубарем.

— Я тебе говорю: пей! — приставал к картавому голосу какой-то мужчина.

— Я не буду пить! Я без гусая зить не могу! — слезно объяснял картавый голос грозному приказчику.

— Я с тебя дурь-то эфту собью! — с злостью рычит мужчина, и вслед за этими словами раздается звонкая пощечина.

— Бей, а не могу зить без гусая... Там в обцестве-то сейебъяние лезецки подавались.

— За што ее бьешь? Што же, коли она, в самом деле, без своего полюбовника жить не согласна? — вмешивается какой-то угрюмый сапожник в засаленном фартуке.

— А тебе што за дело?

— А то, не дерись понапрасну.

— Ты што за учитель?

— Я учитель!

— Учитель?

— Учитель!

И заварилась каша.

— Черти! За что вы полощетесь? — кричит седовласый приказчик.

— А вот мы тебе покажем, как ругать нас! — отвечают молодцы, сообща накидываясь на приказчика.

За приказчика налетают половые, и вообще в этот трагический момент *Крым* сделался каким-то еще не записанным в истории царством, густо населенным, вместо обыкновенных живых существ, неслыханною руготнею, многообразными потасовками и зуботычинами.

— Бежите за полицией! — командует приказчик половым, очевидно, проигрывавшим битву.

— Убегем, братцы! Полица сейчас налетит! — кричит толпа, быстро направляясь к двери.

Восходящее Солнце и я отправляемся по ее следам.

Освеживший меня уличный воздух окончательно погасил Восходящее Солнце.

— Кто идет? — спрашивал нас соседний будочник.

— Табак! — почему-то отвечал будочнику сей многоуважаемый литератор, с заметным наслаждением расквашивая себе нос о тротуарную тумбу...

1862

СОСЕДИ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОДНОМУ НЕСЧАСТНОМУ ДЕТСТВУ

I

На дальнем западе, усеянном прозрачными, летучими тучками, стоял темный лес. В его неровных верхушках, как птица в гнезде, засела половина шара огненного, закатывающегося солнца. Оно в последний раз в этот день обстреливало широкую сельскую улицу своими низкими, прямыми лучами.

Убогая бобылья избенка стоит на самом краю села, над крутым бело-песчаным речным обрывом. Мягкий свет заходящего солнца, падая на нее, прежде всех других изб, нисколько не подкрашивал ни ее треснувших глиняных стен, ни черной растрепанной крыши. Нет около той избы ни кола, ни двора. Пугливо моргая подслепым оконцем, она, как сирота без рода и племени, сидит на своей голой земле без малейших признаков огорожи. Ее забулдыжный хозяин прочаевывает теперь в городских харчевнях вольные заработки, оставив при доме забитую жену с малыми ребятами и круглое, из жерпового камня, точило на изъеденном гнилью деревянном станке. Вот и все богатство, каким только могла наградить жену и детей голова удалая.

— Пожалуйста, братцы, билетик мне закажите писарю изготовить, потому как совсем я по

городе встосковался, — говорил на сходке черный, сутулый Демьян, сердитыми глазами осматривая мужиков. А мужики, с год уж прошло, вытянули его из города за великое пьянство, чтобы вытрезвить мужицкой тяжелой работой.

— Послушай-ка ты, Аника ты воин храбрый, — толковала Демьяну сходка: — кто за тебя подушное платить станет? Ведь мы тебя не один год знаем: ведь всю ты свою добычу прожрешь на этом проклятом винище.

— А это, — говорит Демьян, — как господу богу угодно будет, так и станется. Только ваша воля, братцы, надо мною, а ежели вы держать меня еще станете на селе, я — сейчас умереть мне — в великой тоске моей беспременно руки на себя наложу.

Мужики после таких беспутных слов сейчас же дали Демьяну билет; а Демьян, получивши билет, тут же вслед за буйными ветрами отправился. Когда в путь-дорогу собирался, жене вот что наказывал:

— Смотри, — говорит, — Авдотья! Береги точило, как бы кто не украл. Ишь, — смеется, — добрища я тебе махину какую оставляю, — разживайся, знай, про свое про доброе здоровье.

— Варвар ты эдакий! — сказала ему Авдотья. — Христианской душе с тобой, с иродом, и слов-то тратить не приходится понапрасну. Чорт тебе в попутчики, бесу непоседному!

Засмеялся Демьян, разговор такой слушаючи:

— Ну. — покончил, — так и быть! Колотить тебя за это не стану. Свидимся ли мы с тобой, али нет, — знает про то создатель один. Прощавай пока!

Ребятенки крик подняли, когда отец уходил, и тоже за ним вслед побежали.

— Тятька, — орут, — возьми нас с собой в город-то. Там, — говорят, — гостинцев нам купишь!

— А гостинцы, — сказал отец, — и в селе есть. Вот я сейчас, как следует, сластями-то награжу вас...

С этими словами отломил ветку от молодой березы и в последний раз здорово детишек своих веткой той отстегал, чтобы они не кричали.

Ушел Демьян, а избушка его в селе осталась, — горемычная такая избушка, убогая, словно бы день и ночь крушила ее дума о хозяйской душе разудалой.

«Ах, — каждую минуту как будто стонала избенка, — где-то теперь мой хозяин погуливает? Без его-то призору я и развалюсь, пожалуй. Долго ли с меня — одинокой — буре осенней голову снять и гнилушки мои сбросить под гору в быструю реку?»

Такая-то слезливая была эта избенка!

II

Страннее всего то, что по вечерам, и зимой и летом, около этой горькой избенки преимущественно скапливалось людское веселье. Разговоры и песни близ нее очень часто продолжались до тех самых пор, пока ночное темное небо не загоралось нежноалыми полосками утренних зорь. А сборищам этим положило начало точило на изгнившем

станке. Только что, бывало, закатится солнце, как со всех концов и середок народ и валит к Авдотьиной избе — поточить свободным часом иззубренный топор или приточить отломленный кончик к хлебному ножу и навесть на него ясное жало. За последним делом всегда больше бабы прихаживали. Визжит, бывало, железо на твердом камне, река из-под горы на все село вечернею прохладою дышит, — в подлесных озерах, до которых уже добрались как бы откуда-то издалека налетевшие сумерки, слышны громкие, как военная труба, и заунывные, как надгробный плач, крики бучней; с тихого неба чуть слышно упадает на землю бесприютное курлыканье журавлей; а бабы, дожидаясь своих очередей, рассядутся тесными кружками по взгорью, на котором стояла изба, и толкуют — и толкуют, долго и неустанно говорят меж собой, так что многие так и уходили ужинать, не успевши ножей отточить.

Охотно говорилось на этом месте. Мужики также станут около станка: один топор точит, а все разговор ведут. Тут к ним подставали свободные мужики — охотники постоять на миру, чужой речи послушать, да и свое словцо, одно-другое, в общую беседу ввернуть. Раз вечером какая-то живая душа затянула в таком сборище песню, — живой душе подтянули — и стала сиротская изба с этого времени местом сельских игрищ.

Всякого народа, сказываю, много собиралось к избе — старого и молодого. А за взрослыми, известно, и ребятишки маленькие неотвязно бегают. И комедии такие веселые проделывают

на улице эти малыши, что, смотря на них, улица-то так и раскатывается со смеха.

Девочке одной башмачник-отец принес из города башмаки, — остаточек из зеленого сафьяна прилучилось ему подцапать, он и сделал из этого остатка башмаки своей баловнице. Бегала, бегала баловница по одинокой избе в своей обновке, серую кошку в нос ею тыкаючи, а потом на улицу вышла.

«Вот люди-то теперь издивятся!» — думает ребенок, не сводя глаз с своих зеленых ножек.

И точно: долго дивились и звонко смеялись люди, когда девочка рубашонку свою совсем на голову вздернула, чтобы мир как можно лучше ее обновку увидел.

— Ах! — толковал народ: — вот у нас на селе щеголиха какая завелась! Как есть барские башмаки.

А детеныш глупый, слушая эти похвалы, так-то важно глазки свои светлые хмурил, так-то по-взрослому головкой своей льняной кивал...

— Да, таки ничего! — толковал малыш ребячьим кучкам, любовавшимся его зелеными башмаками: — башмаки как есть зеленые; а тут на передках-то, вишь, какие разводы тятька повывел? Тятьку, сказывают, за его мастерство скоро к царю во дворец возьмут. Там, толкуют, он уже одной только царице будет башмаки-то шить.

Не вытерпела такой лжи босоногая Авдотьина дочь. Задрожало вдовье дитя от великой злости на чужое счастье. Так-то скоро расправило оно свои черные, кудлатые волосы, перебросило их на затылок и всем личиком, прогневленным

своею тяжелою, сиротскою долей, стало пред счастливою лгуньей и говорит:

— Что ты, бахвалка, разбахвалилась-то? Кто это тебе рассказывал, что отца твоего к царю хотят взять?.. Сорока придорожная соврала, а ты, дура, ей и поверила.

— Нет, не сорока, а бабушка сказывала. А мать-то у тебя — побирушка, по миру она куски-то собирает.

— Ан не побирушка!

— Нет, побирушка! И отец у тебя — пьяница, беглый.

— Ишь не беглый! Он на работу пошел. Твоему отцу рази так сработать?

— А то не сработать? Видишь башмачки-то? Тут, вон видишь, какой развод хитрый? А вот красным сафьяном краюшки-то оторочены, — рази ты не заприметила? Ах, ты!..

И счастливая, показывая несчастной отцовскую работу, забыла про ссору и ядовито смеялась. Мальчишки и девочки, какие тут случились, также смеялись.

Заплакала чумазая сиротинка от этого смеха, и чем она горче всхлипывала, чем в груди у нее теснее и тяжелее делалось, тем злее малыши над нею насмеивались.

Думала, думала она так-то, роняла, роняла горючие слезы, да как вскочит вдруг разозлившимся зверенком, да согнутыми пальцами с твердыми ногтями в волоса хвальбишке и врезалась.

— Я тебя, — зашипела, — похвалюсь теперь!..

Тут-то свалились малыши в драчливую, кричащую кучу. Кто за сироту, а кто за отцовскую

дочь, — насилу жгучею крапивой старшие их разогнали.

— Что это вы, идолята? — разговаривали матери. — За что сцепились? Рубахи-то на себе переполосовали. Не наготовишься никаких рубах-то на них!

А щеголихина мать сейчас же накинулась на сиротку с своим сердитым словом:

— За что это, чертенок ты эдакой злющий, на мою дочку набросилась? Экие у тебя, Авдотья, ребята растут озорные: никому от них проходу нет.

— Рази я их учу этому? — плакала Авдотья. — Я им всячески... Я их тоже за вихры-то трясу не хуже добрых людей.

— Мало трясешь, надо полагать. Я вот ее своим судом поучу сейчас.

Тут баба ухватила сиротку за черные косы и так-то грозно начала ее трясть и приговаривать:

— Покоряйся, покоряйся народу, идоленок! Нету у тебя отца-то, некому за тебя заступиться, так ты смиренством заслуживай!

Девочка плакала и старалась вывернуться.

— Ну, ты не очень сироту-то тряси! — все игрище заступилось за ребенка. — Их и так бог убил.

— Как же ее не трясть, — спрашивала баба, — когда она, как волчонок какой бешеный, бросается на всех?

— А то и бросается, что голодна!.. — отвечал мир. — Это надо понимать...

Отбили сироту. Пуще всех заступался за нее Аким Слабый. Низенький такой мужик; рыжими

волосами и такой же бородой вся голова и все лицо у него заросли так, что от него словно бы сияние какое всегда исходило. Веселый такой и ласковый был этот мужик; постоянно он и сам смеялся, и других смешил.

— Ах ты, бабонька, бабонька! — говорил он щеголихиной матери, с укором поматывая своей огненною бородой: — экое ты дело с своего великого разума удумала: на сироту руки накладывать! Да она еще пуще сироты-то, не в пример несчастливее. Сирота-то знает, по крайности, в какой могилке ее тятька лежит, а знаючи родительскую могилку, ежели ее когда и обидят вот такие же добрые да разумные люди, как ты, — так она пойдет на ту могилку, припадет на нее и горе свое выплачет потихонечку. А эта, отгадай-ка ты: куда пойдет жаловаться на твою обиду? К самому господу прямо пойдет, ко Христу цареви-богу нашему припадет! Вот куда!.. Так ты рукам своим воли-то и не очень давай!

Баба застыдилась таких слов, потому что все игрище подтвердило их.

— Известно, что к богу прямо пойдет! — послышалось мирское согласие. Тонкие и толстые голоса дружно заропотали:

— Нужно их, сирот-то, всем миром соблюдать; а то они плакаться будут на мир, если он их в случае не соблюдет...

Старуха тут одна тоже стояла, старая-престарая, с длинной и толстою клюкой, — так она вон какое заговорила:

— Ведомо, плакаться будут. Спросит их господь-то: а что, мол, сиротки, соблюдал вас мир? Нет, скажут сиротки, не соблюдал. А царь-то

небесный и возгремит тогда: А! — прогневится он: — так вы так-то? Сирот не соблюдать?..

Говоря это, старуха сердито стучала в землю клюкой и лицом своим сморщенным гневно на мир глядела, так что мир не мало в то время ужаснулся.

Визжит жерновое точило под топором Акима Слабого, а все этот визг не может заглушить его ласкового, веселого голоса.

— Смотри ты у меня, пичуга! — говорит Аким Авдотьиной сиротке. — Ежели ты у меня станешь так-то с подругами драться, сейчас я тебе этим самым топором голову напрочь... Да! Подойди-ка сюда ко мне поближе: я тебе покажу, как я у тебя голову-то отмахну, — сразу так и перехвачу.

Говоря это, Аким взял девочку за руку и смотрит на нее, хмурится так-то, словно бы очень прогневался; а борода его рыжая так-то ласково светится, так-то добро лицо у него в это время смеялось, что сиротка, глядючи на него исподлобья, утерла слезы и сама засмеялась. Засмеялась и проговорила:

— Это ты все нарочно говоришь, что голову мне отрубишь; я тебе не поверю.

Аким при этом и топор точить перестал. Насупился он так-то, нахохлился, ногами затопал и загудел толстым голосом.

— Как, — закричал, — сопливая ты эдакая, мне не поверишь? Сейчас же я тебе голову напрочь.

Тут даже зарычал Аким, как есть молодой медведь; а девочка и тут его не испугалась.

Убежала от него в темные сени, запряталась в угол, и с звонким уже смехом кричала оттуда:

— Небось, не отрубишь. Всегда ты этим ребят стращаешь.

— Ой, девка, отрублю! Пойду сейчас — вытащу тебя на свет и отрублю. Ты теперь со мной потише будь: вострый теперича у меня топор, страсть какой вострый!

— Слабый! — чуть слышно протянул ему на это ребенок из своего угла.

Громким смехом все игрище встретило эту выходку сиротки.

— Что, дядя Аким? Она тебе скорее голову-то срубила.

— А, разбойник девка! — завопил Слабый. — Ты еще при всем народе позорить меня вздумала? Приходи-ка ко мне завтра вечером, я тебе за мою обиду лапотки такие из суконных покромочек к этому времени изготовлю...

Сказал это Аким и всей своей огненною бородой засиял. Засиял, принялся опять топор свой дотачивать и говорит:

— Ах! И чудны эти ребятишки! Как они теперича ласку любят, не приведи господи!

— Это верно! — подтвердили мужики, стоявшие около точила.

Другая речь завелась.

— Надо бы, братцы, Дему, этого беглеца, за пьянство его опять из города вытянуть. Пробрать бы его маленько на мирском суде, чтобы подать платил.

— Хоша бы поначалу ребятишкам своим на прокорм доставал, — толковали другие. — Обголодают у него ребята-то, загинут совсем без

призору. Бабе одной где их как следует оборудовать?

— Так, так! Одной негде. Вот и надо вызвать его из города, палок об него побольше обломать следует, чтоб он закон понимал.

— Точно: закону его поучить следует.

— Ах вы, законники, законники! — отозвался Аким. — От закону-то от вашего, от мужицкого, Демьян, может, и шатанье-то свое возлюбил!

— Как так? — спрашивают.

— Да так! Рази он у вас же самих в сборщиках да в заседателях не бывал, в плисовых шароварах да в касандрицкой рубахе не хаживал?

— Ходил, Акимушка, ходил, — вступилась Авдотья. — Такие-то ли штаны и рубахи важивались у нас — любо.

— Слышите, старуха-то что говорит? — спрашивал Аким. — А вы заседателя-то, начальника-то своего, — сгорел у него дом, не уродился у него хлеб, поворовали когда у него лошадей, подохла когда у него скотина, — вы его на коленях по пол-дню морили на сходках, — молить его заставляли вас, чтобы подать ему отсрочить. В волоса ему любой из вас рази не вцеплялся на сходках-то этих, где вы его теперь закону-то своему учить сбираетесь? Где вам его закону учить! Сколько тут нас ни на есть, он один во сто крат, может быть, всех мудренее. Так ли я говорю?

— Пожалуй, что так! Только, как теперича мир... Одно слово — сила.

— Известно, сила! Только он, Демьян-то, на силу эту давным-давно наплевал. Он говорит:

к козе на пчельник силу-то эту, — вон куда! Так-то, други мои! Уж он теперь силы этой не боится: он видел, как сила-то эта больше хорошее, чем худое ломает...

— Черти вы! — заголосил Аким уже не попрежнему, не по-ласковому, как с сироткой говорил, когда голову ей отрубить обещался. — Вы зачем ему билет давали? Он пообещался руки на себя наложить, — вы ему и дали. Значит, один человек только силу вашу мирскую сломил... Вот она какая — ваша сила-то!..

— Чудачок этот Аким Слабый, бог с ним! — шептали мужики и смеялись; а Аким, хоть и не слыхал этих речей и смеху этого не видал, только скоро после этого опять развеселился он; борода у него опять развеялась и засияла, и тут же заговорил он совсем про другое:

— Тоже и я, братцы, в лес теперича поеду — дрова воровать. Вот и топор для этого наточил. Махать буду вот как, держись только!

Говорит он эти слова, сам на топор смотрит, дует на него: ходят ли, дескать, по нем от человеческого духа такие тени, какие по вострым топорам ходят — и смеется.

— Отчего нам дрова-то не воровать? Дрова-то, — говорит, — божьи.

Все этому отчего-то смеяться принялись.

— Чему смеетесь? — спросил Аким. — Рази не божьи?

— Божьи-то божьи! — сказала Авдотья. — И все-то мы божьи, не токма что дрова. А ты бы мне лошадкой своей поделился, Аким Степаныч. Я бы около вас веточек набрала да на ней бы

и привезла возик-другой. Мерзла, мерзла я с ребятишками прошлую зиму — страсть!

— Ишь, ребята! Авдотья-то куда заезжает! К лошадке заезжает. Дай, говорит, ей, Аким Степаныч, лошадки. А знаешь ли ты, вдова божья, сколько Аким-то Степаныч заплатил за лошадку? Тебе этого знать никак не возможно. Невозможно ведь? — спрашивает Аким и смеется.

— Где мне знать? — с печалью ответила вдова.

— То-то и есть! А уж я лучше же сам тебе возочек-другой веточек-то сухоньких завезу, и они вот тоже привезут, — указал Аким на мужиков.

— Известно, завезем, когда мимо поедем, — согласно ответили мужики. — Что же ей, в самом деле, замерзать, что ли?

Месяц взошел. Ясным таким и большим кругом поплыл он по синему небу; а жерновое точило все еще не унимается, все еще визжит на нем сельское железо рабочее, словно бы зовет этот визг народ христианский к вдовьей избе — гнать из нее голодное, нудное горе.

— Ужинали, что ль, ныне? — спрашивает Авдотью одна бабочка с красными, как огонь, щеками, придерживая что-то под передником.

— Ели ребятишки-то, — говорит Авдотья. — Хлебца-таки закусили.

— А ты вот на-ка им творожку со сметанкой дай. У свекрови из погреба творожку-то я по малости сподобила. Люта у меня свекровь-то. Ты, говорит, у меня смотри: ни-ни. Из-под моей руки не выходи, а нищих подальше от избы-то

гоняй. Она, свекровь-то, господь с ней, с норовом-таки у меня!

— Так, так. Знаю я ее, свекровь-то твою! Только ты заодно бы уж, молодая, и хлебца бы кстати захватила, — весь хлебец-то у меня, а у вас он, знаю я, мягкий; кваску бы тоже, желанная, влила мне — эконький кувшинчик крохотный. Сохнет без квасу душка-то, право слово!

— Сейчас я тебе принесу, — торопливо говорит молодая, поспешно и таинственно пробегая по залитой месячным золотом сельской улице.

Таких-то изб горьких по нашим деревням и селам столь много, сколько гнезд воробьиных по сараям и по огородным ветлам. И чаще, нежели молодые, неоперенные воробьята валятся из гнезд на зеленую траву и умирают на ней, валились бы из тех изб в темные могилы сиротинки несчастные, ежели бы соседские милосердные руки сиротства их убогого не поддерживали.

Просты людские души у нас на степях и милостивы; а самые степи глухи! Заступили к ним все дороги — крутые горы да темные леса. Всю сторону нашу окружила стена какая-то из степного песку, что неудержные бури степные вскрутили до самого синего неба.

Глушь!.. Никто и ничто не пройдет, не проедет, не проползет и не пролетит в нее, потому что ежели иногда что и осилит буйный ветер и пройдет в степь за песчаную стену, не разбившись об ее искристые, каменные брызги, так

то по верхам крутых гор пропадает, в непроходных лесах заблудившись, навсегда замирает...

Эх ты, вдовье точило жерновое! Оттачивай ты, точило, поскорее хозяйские топоры да заступы, чтобы порубить теми топорами дремучие леса, — сравнять теми заступами высокие горы, — песок, из которого ветер высокую стену около степи вздымает и крутит, — развеять, чтобы под светлым глазом божьего солнца шло к нам всякое добро по прямым и по гладким дорогам...

1863

МОЯ ФАМИЛИЯ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВРЕМЕННО-ОБЯЗАННОГО

Яблочко из-под яблоньки
далеко не катится.
Сельская пословица

I

Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлою радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство, как про время *золотое, незабвенное.* Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица. Слушаю и смотрю, как при воспоминании об этих родственных образах добрая радость рассказчиков сменяется какою-то тихой, исполненной невыразимой любви печалью и как они, наконец, забывши в эти моменты свой солидный возраст, с совершенно детской наивностью начинают страстно желать возврата и своего детства, и тех дорогих людей, которые некогда лелеяли их, но которые, тем не менее, в данную минуту беспо-

воротно жительствуют в тайном и никогда не выдающем своих обитателей царстве смерти.

Зная этот роковой закон темного царства — никогда не давать глазам своих обитателей любоваться на светлое солнце, — душа моя, с злою, молчаливою радостью, таким образом отвечает желаниям счастливцев — посмотреть такого-то, обняться и поплакать с таким-то:

«Не-е-т! Погоди! Не так-то скоро, как ты хочешь, он к тебе явится *оттуда*. Разве уж сам к нему *туда* потрудиться спешешествовать...»

Грудь моя наполняется при этой безмолвной думе злым смехом, колыхающим ее до того сильно, что из глубины ее слышатся какие-то ужасающе-грозные урчанья...

Без малейшего смущения сознаюсь, что эти звериные урчанья производят в моей груди зависть к чужому счастью, и так как заведено завистливого человека всегда осуждать и чураться, и так как заведено еще и то, что и осужденные, в свою очередь, обыкновенно стараются оправдать себя, то я, в силу этих двух вековых обычаев, говорю: я не желаю повторения моего детства, если бы даже это было возможно, — никогда не назову его ни золотым, ни даже железным, потому что и железо все-таки капитал, — не хочу пожелать, даже стоя на краю гибели, чтобы из царства вечного покоя и мира, куда отец небесный призывает *всех труждающихся и обремененных*, пришли ко мне для моего спасения от этой гибели люди, некогда любившие меня точно так же, как были любимы счастливцы, которым я теперь так завидую.

Да! я не хочу ни того, ни другого, ни третьего, потому что, начиная оправдания моей злости и зависти людскому счастью, я говорю: вот какое было мое детство и вот каковы люди были, *обязанные природой приготовить* его к верному хождению по широким и шумным дорогам жизни.

В конце двадцатых годов по широким степям великороссийских губерний летала такая злая зима, какой никто из старожилов ни разу не видал в своей жизни. Голодом и холодом покрывала она печальные деревни и села, хоронила в снежных сугробах длинные обозы, обрывала соломенные крыши с убогих мужицких изб, заваливала дороги и реки, валила с могучих ног дремучие леса...

В заметенных снежными сугробами избах, при свете длинной лучины, заговорили:

— Должно, народился антихрист?

— Надо полагать, что так. У меня в эту метель-то двух лошадей с двора согнали, — теперь совсем обезножил. Боже, царь мой небесный, что я теперь буду делать?..

— Нет, я что слышал: говорят, уж он народился давно, и отроду ему теперича семь годов. Руки у него уж и теперь по семи аршин каждая, и когти на них железные по семи четвертей. Большое терзание людям от тех когтей выйдет, а? Как полагаешь?

— Известно! Одно слово — антихрист...

В нашей дворовой избе говорили в эту зиму почти то же, только антихрист, в фантазии дворовых грамотеев, рисовался еще страшнее.

«И придет он аки тать в нощи, — распевали по вечерам седые грамотеи: — в предшествии мрака и бури, коей ни единое существо не воспротивится, придет с злым смехом и паскудным глумлением над христианскими душами, и возмнит он обратить те христианские души в свою антихристову веру, и примется острые иглы втыкать в ногти человеческие для того, чтобы совратить...»

— Ох, дедушка!—толковали наши бабочки.— Что это ты к ночи-то распечалился, — смерть! Перестань, Христа ради!

Поистине, всякий человек мог бы ополоуметь от тоски, слушая эти рассказы, если бы их не разнообразили разговоры молодежи про разные зимние деревенские удовольствия.

— Ах, жаль! — скучает, бывало, какой-нибудь дворовый удалец, в дубленом полушубке и с блестящей серьгой в одном ухе. — Ах, право, очень я жалею, как метели эти мешают на кулачки срезаться. Почитай, вся зима прошла, а у нас ни одного еще бою, как следует, не было...

— Так, так! — соглашается другой, точно такой же молодец. — Хорошего в этих метелях ничего нет. Ах! Прошлой-то зимой колотились чудесно!..

И тут начинались нескончаемые воспоминания про чудесные бои прошлой зимы. Вся дворня мотивировала их на разные лады, восторженно хвастаясь друг перед другом разного рода счастливыми случайностями, дававшими некогда всем этим милым друзьям полную возможность кровянить друг друга, как нельзя быть лучше.

Сидел я на задней лавке, около громадной и мрачной печки, и с несказанным наслажде-

нием прислушивался к этим воинственным эпопеям, к которым от века питает такую дружбу широкий русский молодец, за незнанием другого, более мирного и полезного дела. Я прислушивался к ним тем с большею жадностью, что главный герой всех этих дворовых сказаний был отец мой.

Это был красивый молодец, высокий, стройный и смуглый. Когда он кидался, бывало, в самую огневую схватку кулачного боя, так закорузлые полушубки попадавших на его *первый кулак* мужиков рвались, как паутина, а медные пуговицы, которыми обыкновенно застегиваются эти полушубки, словно пуля врезывались в тело, производя раны, увечья и всех возможных родов бесчувствия, дававшие всем этим грустным деревенским избам поводы к различным веселым разговорам, которые, за неимением лучшего, все-таки сокращали долгую, угрюмую и до злости холодную сельскую ночь...

До страсти я любил слушать рассказы про отцовскую силу.

— Ферапонту-то запрещено ведь, ха? — слышится мне радостный голос какого-нибудь Петрухи, лихого бойца, но с которым, тем не менее, отец мой бьется одной рукой и обивает. — Ей-богу, ему запретили на бой выходить, — с полным счастьем смеется Петруха и, в свидетельство достоверности своего показания, усердно крестится.

— Как так запретили? — спрашивают.

— А так! От самого, может, царя, из самого Питенбурха! Ха-ха-ха-ха!

— От самого? Ей-богу? Да как же это?

— А вот так-то: услышали в Питере, что вот-де так и так: есть силач, по имени Ферапонт Иванов, приказчик — и крушит он на кулачках народ. Услышамши, сейчас приказ — пиши, говорит: «запрещаю я тебе, Ферапоша, на кулачный бой выходить и народ мой увечить. А ежели, говорит, ты удержу себе дать не можешь и биться попрежнему станешь, так ты отпиши об этом в синат, я тебя тогда прикажу лютой смерти придать». Вот он какой указ-то царский! — в радости добавлял рассказчик, выбивая на грязный пол табачную золу из короткой деревянной трубки.

— А это, братец ты мой, чудесно, ежели он биться не станет. Поколотимся мы без него за первый сорт.

— Дело ведомое.

«Сам я беспременно такой же лютый буду! — по секрету думал я сам с собою, валяясь на соломе дворовой избы. — Тоже я им тогда, как большой выросту, в зубы-то пристально загляну».

Слушая такие разговоры, я, чем больше вырастал, тем с большею любовью всматривался в смуглое и худощавое лицо отца, на котором всегда отражалась какая-то кроткая, но вместе с тем несокрушимая сила.

Все эти герои деревенских зимних вечеров, разбивавшие бесчисленные рати, опрокидывавшие сильных, могучих богатырей, представлялись моему тогдашнему пониманию маленечко пожиже моего отца.

«Где ему?» — мысленно говорил я себе, всматриваясь в моего отца и представляя себе, как

бы он громыхнул о мать сыру землю самого Еруслана Лазаревича, могучий лик которого, сочиненный грудастым суздальцем, и теперь еще шевелит длинными усами в моей памяти. В младенческих и, следовательно, необъяснимо-чутких ушах моих раздавался звон чешуйчатых богатырских лат, вдребезги разбитых кулаком моего отца, слышалось, как стонала сильная грудь Еруслана, смятая и раздробленная родной мне рукою...

Это очарование в непобедимых отеческих доблестях разрушил во мне наш помещик.

Часто мне приводилось видеть на барском дворе и просто на улице какое-то маленькое, белокурое существо, совершенно не похожее ни на одного из тех людей, которые уже успели промелькнуть в моих так еще мало видевших глазах. При первом взгляде на это существо я дерзко засмеялся над ним.

— Чей это мальчишка? — спросило существо, сердито наморщивая свои белые тонкие брови.

— А это сынишка приказчика Ферапонта, — отрекомендовали меня белобрысому существу.

— Скажи-ка Ферапонту, чтобы он его выпорол хорошенько.

— Было бы за что! — ответил я. — Мой отец-то, думаешь, такая же кошка пареная, как ты?

За такую не по летам острую выходку меня, тем не менее, в самом деле выпороли. Процесс этот сопровождался со стороны отца приговариваниями, что разве можно барину грубости говорить, что с барином, когда в другой раз встретишься, так сними шапчонку-то да к ручке подойди.

— Пожалуйте, мол, барин, ручку поцеловать. Вот как!

В первый раз в это время мое младенчество покорилось жизненной необходимости точно так же, как в то же именно время меня посетило чувство ненависти и отвращения к людям. Рука, управляющая людьми, сочла, вероятно, этот момент моего возраста решительно удобным для того, чтобы перековать мою младенческую душу в душу человека, и перековала.

— За что ты меня сечешь? — корчась от стыда и боли, спрашивал я моего отца. — Я тебя люблю, а его не люблю, а ты меня за него сечешь?

Но тут впервые было отвергнуто, обругано и обесчещено мое настоящее, ничем не подкупное, человеческое чувство. Отец все продолжал сечь меня и читать свои наставления на тему, как надобно дворовому мальчишке обходиться с господами.

Под самой розгой как-то я успел задуматься о слове — *дворовый мальчишка*. Скорой молнией мелькнули тут в возбужденной голове моей какие-то новые, ни разу еще не посещавшие меня мысли. Какие-то странные, никогда не виданные мною предметы сверкнули в залитых слезами глазах моих, — что-то уродливое, в высшей степени изможденное и страдающее стало тогда предо мною, освещенное вывеской — дворовый, и плакало вместе со мною. Собака — дворовая, Агафью зовут дворовой, — думалось мне, и тут я вспомнил, как мы с матерью были в гостях у попа, и поп спрашивал про меня у матери:

— Он у вас к дворне приписан?

— К дворне, — смирно отвечала моя всегда тихая, покорная мать.

— Значит, и я дворовый? — спрашивал я себя, не чувствуя острых и резких уколов жидких березовых прутьев.

«Дворовый!» — ответила мне горячая волна слез, вдруг с новою силой хлынувшая из глаз моих, — и я стал с этого времени человеком, потому что вся грудь моя закипела тогда той непримиримой, никогда не прекращавшейся злобой, которая сделала хрипучим и шипящим мой некогда звонкий голос и от которой избавит меня только темная, навсегда мирящая людей друг с другом могила...

II

Молча и низко нагнувши голову, стаскивал я шапчонку с моей головы при встрече с белобрысым существом. Как теперь помню, что-то в высшей степени тяжелое и горячее подкатывалось мне в такие времена под грудь; хотелось почему-то тогда удариться этой грудью о землю, валяться по ней, биться о нее, громко стонать и плакать.

— Эй, ты, мальчишка, поди-ка сюда, — властительно повелевал мне барин, и я подходил к нему теми медленными, неровными шагами, какими подходят обыкновенно молодые щенки к людям, которые их дрессируют.

— Ну, что, выучил тебя отец шапку снимать перед барином, а? Ха, ха, ха! А? Выучил?

— Выучил-с...

— Да ты что буркалы-то свои все в землю прешь? Ты прямо на меня смотри. Ты, верно, стыдишься чего-нибудь? Должно быть, украл что-нибудь?

Эти вопросы, так сказать, постоянно дрессировали меня, как щенка. В той избе, где я родился, ни разу ни одна мать и ни один отец не спрашивали у своих ребятишек:

— Петрушка! Зачем ты, как бык, все в землю бельмы-то пулишь? Стыдишься, должно быть, оттого, что украл что-нибудь?

Там, в этих избах, где по зимам народ мерзнет от холода или околевает от угара, как запечный таракан, где голодные дети, действительно, по-собачьи грызутся между собой за кусок столетнего калача, украденного матерью на прошлом базаре, — в тех избах так не говорили, и потому молодой ум мой сообразил, что барин, должно быть, неимоверный дурак. Я пристально всматривался в его блестящие сапоги с высокими каблуками, в его сельскую, из смурого полотна, коротенькую жакетку, в длинные белые ногти, — и решительно перестал считать его человеком. До того все, что я видел в нем, было противоположно моим пониманиям. Вследствие всех этих безмолвных и крайне занимавших меня дум — каким именем назвать мне это, в первый раз подведшее меня под отцовскую розгу, существо, — я назвал его «полтора платья», к чему мне, главным образом, подала повод барская шинель с длиннейшим, по тогдашним модам, капюшоном.

Быстро разнеслось по дворне это название. Могу сказать, что многообразные вариации

этого слова доставили дворовым много поводов к различным, до бесконечности характерным рассказам о господах вообще и о нашем барине в частности. Унылые стены избы начинали смотреть как будто веселее, когда по ним прокатывался могучий хохот сорока человек, подлейший ужин которых приправлялся этими рассказами.

— Так как же, как же, Петруша? — спрашивала меня молодежь, выщипывая мох из стен избы для того, чтобы набить им свои трубки, за невозможностью где-нибудь раздобыться на табак. — Полторы одежи, говоришь, один носит?

— Один! — радостно отвечал я, справедливо сознавая себя героем вечера.

— Сам-то он — ни два, ни полтора, а полторы одежи носит, — вклеивает в общий разговор свое серьезное слово общий всем дедушка Трифон — Нестор дворни, все лицо которого поросло седыми колючками.

Общий хохот единодушно и искренно провожает дедушку Трифона в его медленном и задумчивом походе на теплую печь; а за барином окончательно остался титул: ни два, ни полтора.

Тонким дискантом затянул было кто-то песню:

Ой, ни два, ни полтора?
В три бы шеи со двора...

И, конечно, эта песня заслужила бы и дружный хохот, и одобрение, если бы молодые женщины, бывшие тут, единогласно не восстали против нее, потому что дворовый поэт приделал к ней такой соленый припев, которого не могли даже вынести твердые и потому ни-

сколько не взыскательные уши наших дворовых бабочек.

Посыпались анекдоты, из которых самый замечательный был тот, который рассказывал, как будто бы один барин вдвоем с немцем-управляющим старались однажды счесть полтора — и не сочли, а кучер, который их вез, счел без всякого разговора.

Боже мой! Какие наивные улыбки светились в это время на лицах слушателей, и каким благоговением преисполнялась моя собственная младенческая душа к кучеру, который счел полтора, в вечную срамоту и неизгладимый позор барину с его немцем.

Ночь, наконец, усыпляет юмор.

В намерзшие, хитрыми морозными узорами разрисованные окна как-то особенно серо било зимнее утро. Дворовая изба копошилась всеми своими сорока взрослыми душами и бесчисленным множеством малолетков. Едкий дым тютюна тонкими, летучими волнами ходил по избе и приучал молодые чумазые носы дворовых мальчишек и девчонок не отворачиваться ни от чего в мире. В громадной печи ярко пылала ржаная солома, только что отслужившая свою предпоследнюю службу в роли подстилки для людей, рассуждавших описанным вечером о барской несостоятельности по счетной части. Курчавые головки ребятишек любопытно заглядывали в печь, упорно стараясь узнать, что именно готовит им на завтрак неистощимая в этом случае изобретательность их матерей. Разговоры, главным образом, происходили на ту тему, как бы хоть несколько улучшить и поразнообразить,

так сказать, официальный обед дворни, который она стряпала из так называемой месячины.

В одно такое утро вся наша изба была взволнована необыкновенным обстоятельством следующего наказательного свойства. Однажды как-то особенно вальяжно отворилась скрипучая дверь избы, какие-то особенно толстые и седые волны морозных струй влились в нее, и вслед за этими струями вошел к нам наш белокурый барин, предшествуемый некоторым огненнобородым Архипом, начинавшим входить к нему в любовь и расположение. Архип прямо подвел барина к моему отцу.

— Вот он! — сказал новый бараний тулуп, — признак возникающего нового дворового могущества, — в который был облечен в это утро Архип.

— Так это ты, приказчик-то? — азартно спрашивал маленький барин моего отца, наморщивая по своему обыкновению тонкие брови.

— Я-с? — отвечал отец. — Что вашей милости приказать угодно?

— А вот я тебе прикажу сейчас! — высокою, тонкою фистулой заговорил барин, обрушивая вслед за этим целый поток ругательств на своего верного раба.

Всю избу залил собою этот поток. Заглушил он ее разнообразные гулкие речи и уничтожил, как говорится, до самого конца.

— Я тебе прикажу сейчас, — продолжал барин с злобным дрожанием в голосе. — Я тебе прикажу!

— Рады стараться! — тихо ответил отец, предчувствуя беду.

— Я тебе дам — рады стараться! — злобствовал барин. — Я постараюсь тебе показать, как надо за барским добром смотреть.

Обе щеки отца моего после этих слов в один момент окрасились ярким румянцем.

Лишь только увидел я, как покорно и смирно стоит перед маленьким барином этот мощный, как бы слитый из железа великан, с яркими слезами в больших черных глазах, — лишь только я увидел, как тяжелые, отцовские руки как-то страдательно сложились на широкой груди, я, в первый раз, в эту секунду заскрежетал едва только вырезавшимися зубами и разлюбил отца, потому что разочаровался в его непобедимой силе...

— Сударь-барин! За что карать изволите?

— Я тебя, я тебя, каналья ты скверная! Ты еще разговаривать вздумал? — кричал барин, бессильно потопывая своими маленькими светлыми сапожками.

Показалось мне в это несчастное время, что отец мой, в самом деле, есть не что иное, как, по барским словам, скверная каналья, потому что он казался таким слабым, таким беспомощным пред этим азартным, но, тем не менее, беспомощным топаньем, что мне почему-то захотелось также ударить его и так же грозно топать перед ним, как топал перед ним слабосильный барин...

III

В настоящее время, когда меня уже нисколько не удивляют ни длинные белые ногти, ни жакетки, ни высокие сапожные каблуки,

когда шинель с длинным капюшоном я называю и не могу уже иначе назвать, как шинелью, а не полтора платья, — и теперь, говорю, отец мой вспоминается мне не иначе, как с лицом, на котором обыкновенно светились ум и энергия, как-то особенно изможденным и обессиленным, со слезами до того светлыми, что ни один человек ничего лучше их в целом мире не мог найти для жертвы, которая бы перед лицом божиим искупила его печальную жизненную долю!

— Петрушка! — стонет в мои уши это лицо, когда я, горемычный плебей, прохлаждаю теперь мою безысходную злобу в кабачном омуте: — что же это за жизнь наша с тобой разнесчастная!

— Ш-што? — грозно вскрикиваю я при этом вопросе, безмолвно сидя до того времени за зеленым полуштофом.

Самым неистовым образом разгулявшееся в кабачных стенах — горе вздрагивает в это время от моего крика, потому что промерзшая дворовая изба вырастила меня каким-то Бовой-королевичем, голос которого в известные моменты бывает слышен на целые тридесять царств...

— Господин! Не буяньте-с! Место здесь не такое-с, — казенное место, — усовещивает меня красная рубаха из александрийского кумача, надетая на шир•кие плечи целовальника, с широкой окладистой бородою.

— Што? — еще раз спрашиваю я целым тоном выше, поднимаясь в то же время во весь мой рост, и все то, что вместе с целовальником

было шокировано моим первым, лично ни к кому не относившимся вопросом, немедленно уничтожается предо мной после моего второго вопроса — и замирает...

Вслед за этим происшествием я также в первый раз на отце моем имел случай видеть все те пошлости, какие обыкновенно проделывают люди над сокрушенным могуществом, если только этим словом позволится мне обозначить обстоятельство удаления отца моего от приказчицкой должности.

Не знаю доподлинно, чем именно согрешил он против барина, но только все наше семейство вскоре после барской кары, обрушившейся на отца, было переведено из общей дворовой избы в какую-то соломенную, смазанную желтой глиной пристройку, назначенную для житья скотников и скотниц. Тьма народа, служившего до нашего переселения при этом дворе, была властительно заменена одним нашим семейством.

Во всю мою жизнь, как бы она, сверх ожидания, длинно ни растянулась, какие бы благоухающие розы ни усыпали путь ее, до сих пор исключительно тернистый, я никогда не забуду омерзительной, грязной, глиняно-соломенной пристройки, в которой мать моя вместо того чтобы выхаживать своих собственных детей, отогревала и отпаивала тонкорунных господских ягнят. Эти многоценные животные были гораздо слабее нас, ребятишек, и потому, целыми десятками умирая от избяной вони и от недостатка прислуги за ними, наводили на свою единственную попечительницу целые тучи вся-

ких бед и несчастий. То и дело разные начальственные лица имения надсаживали свои широкие горла в нашей закуте, мерзко облаивая мою мать за ее будто бы нестарательное обхождение с деликатными животными.

Гадость моих воспоминаний о моем детстве доходит даже вот до каких пределов: какое-нибудь жирное, отъевшееся лицо стоит в нашей избе в своей бараньей шапке, не уважая даже святости икон разжалованного приказчика, и наглым тоном хама, случайно и относительно попавшего в паны, ревет на мать:

— Отчего, отчего они у тебя — ягнятки-то — то и дело колеют? Шкур ведь не успевают снимать. А?

— А ничего не поделаешь с ними — с ягнятками-то, — робко отвечает мать, бессмысленно и пугливо перебирая мозолистыми пальцами. — Колеют они, надо правду сказать, и-их как! Упадет так-то животинка на ножки, дрягает ими, а сама все на тебя глазками смотрит таково-то печально!

— А идолята твои, небось, не колеют? — злобствует хам-начальник. — Небось, они у тебя ногами-то не дрягают?

— Ах ты, касатик, касатик! — не вытерпливала, наконец, всему покорная голова. — Какое ты пустое слово сказал, — ни чуточки в нем правды нет. Вздумал ты ангельские душки к животным немысленным применять.

— Гляди ты у меня, отставная приказчица, — продолжал орать как бы застыдившийся последних слов распекаемой наглый приказчик: — уж я же тебя когда-нибудь так-то хворостом за

ягнят проберу,— любо два! Не погляжу, что ты приказчицей была!— добавляет он с довольным смехом и уходит начальствовать в другие места.

— Власть ваша!— задумчиво соглашалась мать с начальником, выразившим надежду когда-нибудь отжарить ее хворостом.

Эти дни, так сказать, скотничествования моего отца, были для меня самыми несчастными днями как по своему влиянию на мою дальнейшую жизнь, так и по тогдашним мучительным выходкам, которыми тиранили нас с сестрой дворовые мальчишки, до сих пор обходившиеся с нами, как с приказчицкими детьми, по-дворовому, почтительно и деликатно.

В этот период, заступаясь за сестру, за отца и за самого себя, я слишком много разбил носов у моих крепостных сверстников и сверстниц, перекусал у них рук, плеч и щек,— слишком полными горстями рвал с их голов жидкие волосенки, чтобы во всю остальную жизнь мог удержаться от того, чтобы не бросать вокруг себя косых, злобно-серьезных взглядов бульдога, от которых сторонятся самые храбрые.

Глупый, как видите, и даже, можно сказать, собачий результат производят во мне мои детские воспоминания, но, тем не менее, я рад, что эти воспоминания произвели во мне именно то, что произвели, а не что-либо другое. В одинокой пустоте моей бедной теперешней клетки я с улыбкой и страшно разымчивым наслаждением скрежещу зубами, когда безмолвно рассуждаю о том, что моя злость отогнала от меня человека, которого или я полюбил, или который был бы для меня так или иначе полезен.

«Ну да, ну да! — тихо шепчу я себе. — Иди себе, откуда пришел, с своими нежностями, — проваливай, брат! Мне все равно. Я жил и без тебя. Я ко всему привык, потому что все вынес... Любопытно было бы хоть на минутку взглянуть, как бы ты заежился в моей шкуре... Ха, ха, ха!..»

Новая и еще более жгучая волна наслаждения вливается тогда в грудь мою, потому что в глазах моих ясно рисуется в это время безграничная пошлость людей, почему-либо близких мне, которые в сношениях со мной ничуть не подозревают, что во мне все происходит наоборот, чем у них; часто случается, что они утешают меня во время такого беспощадного и язвительного внутреннего смеха, который если бы они услышали, так в момент бы умерли, как от укушения ядовитой змеи...

Переходя к делу от бесплодных, хотя далеко еще не полных размышлений, я так расскажу вам про смерть моего отца — отставного приказчика.

Раз как-то, этой памятной мне зимой, чуть ли не целых полмесяца кряду, беспрерывно крутилась самая дикая и необузданная метель. То и дело, бывало, вместе с ее неудержными крикливыми налетами прилетали в село измученные тройки с временным отделением, свидетельствовавшим замороженных. Из нашей собственно усадьбы целые ватаги на пяти и более подводах снаряжались для того единственно, чтобы привезть одну бочку воды с реки. На знакомых сельских улицах буря закружила и засыпала народ.

— Ферапонт Иваныч, — вскрикнула однажды мать, вбегая в избу: — ведь у меня корова с водопоя убежала, самая что ни на есть лучшая.

— Что ты! — в свою очередь ужаснулся отец, торопливо накидывая полушубок. — Как я теперича доложу об этом? — и с этим словом он стремглав бросился из избы, не успевая даже спросить, в какую сторону убежала корова.

— Стояла-стояла она у водопойного корыта, — разговаривала мать про беглянку сама с собой: — смотрела-смотрела, как вьюга крутится, да как заревет вдруг, да как бросится, хвост кверху задравши. Такая-то непутевая коровенка!

Разговаривала мать про это происшествие до самого вечера, а отец все еще не возвращался с своих поисков. На третий день доложили барину, что вот, мол, сударь, грех какой прилучился: побежал в метель Ферапонт Иванов за коровой — и теперь его нет. Как, дескать, прикажете с этим самым грехом быть?

Покрутил барин белые усы, слушая этот доклад, задумался как будто немного и проговорил:

— Пусть в конторе суду напишут, что, мол, Ферапонт Иванов убег.

— Убег и есть, надо полагать! — согласились в селе до того единогласно, что и в степь, затуманенную снежною пылью, не пошли посмотреть: не лежит ли где-нибудь Ферапонт Иванов в каком-нибудь снежном кургане, не стонет ли он в какой-нибудь трущобе, свой последний страшный конец проклинаючи.

— Беспременно он теперича в Одест убег! — предполагали все заинтересованные участью Ферапонта Иванова.

Родные даже гостинцев принялись от него ждать.

— Страсть как в этом краю беглые богатеют, — толковали в усадьбе: — потому, одно слово: в сторонах тех не житья, а малина.

А между тем отец и не думал бежать в Одест. Его могучую силу просто-напросто злая метель-непогода уложила навек в нашу же землю родную, на которой одинаково часто зарождаются и могучие силы человеческие, и злые метели зимние, одни только могущие подкосить их...

Весной уже, когда стаял снег и ярко-зеленые травные побеги разукрасили широкую степь, случайно нашел кто-то Ферапонта на ближнем поле.

Мать водила меня и сестру проститься с отцом. И теперь еще помню я, как он лежал, плотно прикрывая руками победную голову.

Не брезгая мертвым, сгнившим телом, ласково целовал отца в мученические уста благовонный ветер весенний, а шумные рои звонкоголосых и блестящих мушек тихо и нежно жужжали ему вечную память...

IV

Об матери моей говорить много нечего. Кротость ее была до того голубиная, что крайне трудно было добиться от нее единственного признака недовольства — легкого и ничуть не страшного сморщивания густых, черных бровей. Может быть, только один раз в год доводилось ей хмуриться таким образом, при чем по лицу ее, всегда смирному и освещенному необыкно-

венно ясным выражением любви и нежности, пробегали какие-то тени, приметные, по всей вероятности, только для моего близкого, часто и пристально всматривавшегося в нее глаза.

В этих редких случаях она укоризненно покачивала головой на человека, рассердившего ее, и говорила:

— Ах! Как это ты все пустое одно говоришь. Ни чуточки в твоих словах правды-то нет. Забыли мы, грешные, правду-то всю.

Но такого свойства молнии, говорю, исходили от нее очень редко. Чаще же всего она употребляла такую манеру выражения: склонит, бывало, вниз свою сносливую голову, сложит руки на вдавленной груди и шепчет:

— Ах, ты, господи, господи! Что я с этим делом поделаю? Чего только я ребятишкам своим поужинать дам? Обголодали у меня совсем ребятишки-то. Ничего-таки мне, сироте горемычной, с горем моим поделать нельзя, — решала она в конце речи, грустно складывая на коленях беспомощные вдовьи руки.

И долго она, бывало, так-то спрашивает и отвечает себе каким-нибудь длинным зимним вечером, когда стены нашей избы частыми ружейными выстрелами громко лопались на лютом морозе, когда всю эту маленькую, убогую лачугу заваливала до крыши зимняя визгливая метель, — и так-таки ничего не решала эта бессильная женщина. Ни к одному делу не могло придумать должного конца ее робкое ночное раздумье, потому что, несмотря на детскую тоску мою, с которой я смотрел на озабоченную мать и злобствовал, что нет человека,

который бы помог ей, злая зимняя вьюга попрежнему бесновалась и визжала на улице, засыпая снежными брызгами нашу кудлатую крышу, и попрежнему лопались и трещали беспомощные стены нашей избы, наводя тяжелый страх и молчаливое уныние на осиротевшую семью.

Так и изныла в своих бессильных думах над обделкою разных житейских дел эта состарившаяся, но всегда младенческая душа моей матери. Умерла она без стонов, без слез и страданий. Однажды вечером говорит мне:

— Петрушка! Сбегай-ка ты за попом да из соседей кого-нибудь позови.

Я сбегал за попом и привел соседей; а у нас в переднем углу под образами зажжены уже восковые свечи и на столе постлана белая скатерть. Сама мать все это своими руками сделала.

— Батюшка! — сказала она попу с передней лавки, на которой уже томилась смертным томлением. — Последний конец мой пришел, — проводи меня, как христианской душе подобает.

И поп, и соседи подумали, что она сошла с ума.

— Вот, — толковали все, — сама свечи святым образам зажгла, сама скатерть на стол постлала, а говорит, что последний конец пришел.

Тогда только поверили люди, что мать не пьяна и не сумасшедшая была в то время, как их к своей смертной постели звала, когда уже очи ее навек от ее несчастной доли закрылись.

После этого в народе заговорили, что, должно быть, Авдотья святая была, потому что смерть себе, здоровая совсем, сама напророчила...

— V —

После смерти матери вышел от барина указ — взять малолетних сирот Ферапонта Иванова на барский двор для жития, как говорилось, с их бабкой. А бабка эта такая старуха была, что уж и не помнила, когда родилась, сколько ей лет — не знала, а жила она в барском доме на сенях, потому собственно, что у бабки нынешнего барина, совсем уже бесчувственной старухи, которая, так сказать, неслезаемо сидела в креслах да шептала что-то, ежесекундно подрягивая седой головою, горничной когда-то была. Все ее настоящие обязанности состояли в том только, чтобы сидеть в креслах против старой барыни, смотреть, как она головою дрягает, слушать, как шепчет, и отгадывать, когда ей захочется пить или есть. Ровесница своей барыни, она в то же время была в тысячу раз и моложавее ее на вид, и крепче. Высокая, грудастая старуха с серьезным, красным лицом, она постоянно сердилась и бранила всех, попадавшихся ей на глаза, не исключая и самого барина. В резвой побежке дворового мальчишки, приноравливаемого к лакейству, в звонком хохоте барина, в тихом шушуканье сенных девиц старый посинелый нос ее чуял непременно смертные грехи, за которые, по ее мнению, сейчас же разразится над головами прыгающих, хохочущих и шушукающих гром небесный и разобьет их в мелкие дребезги.

— После этого, — басила бабка, — грешные души пойдут прямо в ад, а в аду — огнь, жупел...

— Э! ну тебя к свиньям, Елена Павловна! — восклицал досадливо барин в ответ на бабкины рацеи, боявшийся ее, впрочем, настолько, что иначе как Еленой Павловной называть ее ему и во сне ни разу не виделось.

— Постыдился б, молокосос, старого человека лаять, — конфузила бабка своего белобрысого властелина. — Ты б еще бабеньку выругал заодно б уж. Ты, может, полагаешь, что как ты барин, так дурость твоя на том свете тебе и простится?..

— Э! ну тебя к свиньям! — повторял барин, оставляя обеих старух наедине, чтоб их слепые глаза удобнее и пристальнее могли рассматривать друг на друге сокрушительные следы, положенные на них сокрушающим временем.

Чем больше кого любила эта древняя старуха, тем более страшающие потоки разных ужасов про ад и его жупел обрушивала она на своего любимца, следя неотвязно за каждым его шагом, за морганием глаз и даже, кажется, за душевными его помыслами. Тип человека, имевшего некогда населить светлые райские кущи, рисовался в ее представлении такими красками: он должен был по целым дням недвижимо сидеть на своем седалище, иметь губы сложенными в виде сердечка, а глаза — сладко моргающие, слегка увлаженные слезами благодарности за ее, Елены Павловны, благодеяния и попечения. На вопрос Елены Павловны такому человеку следовало отвечать, вставши, со смирением и тихостию, по ее словам, всякому православному христианину подобающими.

В период последних жизненных проявлений старой барыни, заключавшихся главным образом в ядении одних только киевских просфор, в знакомстве с различными странниками, блаженными, юродивыми, провидцами и предсказателями, которые снабжали старух этими просфорами, — бабка научилась громадному количеству славянских слов, вырванных из текста священного писания, — и потому в то время, как я с сестрой попал в ее руки, ее собственная, проповеднически-наставительная речь об аде, о грехах обильно пересыпалась различными: аще, коемуждо, такожде, якоже, можаху и проч.

Лично для меня слова эти имели тогда какое-то особое значение, которое заставляло меня неуклонно, по целым часам, с страшно выпученными белками слушать бабкины штуки.

— Ты что заегозил? — обыкновенно спрашивала меня бабка, когда я из-за церковной азбуки украдкой смотрел в окно на цветущее весеннее утро. — Упекут тебя на том свете за леность! Лицеприятия там ни для кого не будет.

Тоска какая-то, до слез сосавшая сердце, и в то же время страх нападали на меня при раздумывании о том — кто или что такое именно кийждо и лицеприятие? Они представлялись мне тогда какими-то грозными великанами, поселенными в аду для муки тех грешников, которые вместо того, чтобы изучать титла и апострофы церковной азбуки, глазеют в окна на подернутую нежным сиянием утреннего солнца улицу и глубоко завидуют никем не стесняемой свободе певчих птичек, так радостно летающих и поющих на этой улице.

Мою ребячью резвость, крайне развившуюся в скотнической избе в играх с грациозными ягнятами, сразу осадили бабкины истории. Для нас с сестрой в особенности она выложила всю сокровищницу старинных сельских преданий про неисчислимые беды того света, имеющие некогда непрерывным дождем, во все продолжение бесконечной вечности, литься на бедные головы грешников.

— И не будет тем мукам никакого конца... — разговаривала бабка, усадив нас с сестрою около себя. — Будут в ваши уши всякие идолы реветь звериными голосами, подложат они под вас огонь с серою, а сами вы станете кипеть в этаких ли большущих котлах с черной смолою; а насупротив вас праведники в райских садах возликуют, — и еще пуще вам мучение прибавится от того, что сами в рай не попали. Вот что баловникам-то выйдет от господа бога! — торжественно заключала она, одаривая нас за наши перепуганные ее рассказом и, следовательно, смирные лица изюмом, прихваченным ею из барской кладовой.

Молоденькие сельские цветки, ласкаемые до этого времени только вольным ветром да солнечным светом, — мы с сестрой склонили пред бабкиными страстями наши до сих пор беззаботные головы и задумались. Баловства уже не было и в помине. Целые дни мы, как ошалелые мухи, уныло сидели в этой унылой и, так сказать, бархатно-обветшалой комнате в сообществе двух угрюмых, старых развалин.

— Пойдем, выбежим на улицу! — шептала мне сестра, чуть только бабка выходила из ком-

наты. — Хоть бы чуточку на траве поиграть!.. Может, и не увидит.

— Увидит! Она все видит, даром что стара,— мрачно отвечал я розовым губкам девочки, которые с каждым днем делались все бледнее.

— Пойдем, пойдем! — увлекала меня женская страсть. — Не увидит.

— *А тот свет-то?* — возражал я. — Ведь конца никакого тем мукам нет, — все только нас жечь станут да в уши будут реветь по-звериному. Забыла разве, какой там кийждо-то посажен?..

Так и оставалась бедная девочка с открытыми, умоляющими глазками, когда я произносил страшное слово — кийждо; словно столбняк находил на нее и на меня, когда нам приходилось увещевать друг друга не грешить, под опасением того мучительного штрафа, который бесконечно имели взыскивать с нас многочисленные кийждо и лицеприятие.

Часто зимними вечерами, при тайном свете месяца, лившегося в нашу неосвещенную тюрьму (старая барыня обыкновенно жалобно визжала, когда вносили свечи), при грозном вое степной метели, мы с сестрой решали — кто именно такие наши мучители, постоянно упоминаемые бабкой, — и однажды, в минуту слетевшего на нас вдохновения, единогласно решили, что *кийждо* должен быть в этой страшной семье мужем-людоедом, *лицеприятие* — женой, а *стень* — их любящим и любимым сыном.

Долго бы таким образом пришлось нам набивать наши головы уродливыми фантазиями бабки, если бы, в скорости одна после другой, не перемерли обе старухи, и, следовательно, на

счастье или несчастье, мы не были бы выпущены из нашей клетки на полную жизненную волю, такую горькую и сокрушительную для всех людей вообще, а для малолетних дворовых сирот в особенности.

Дело это произошло следующим образом.

Однажды старая барыня как-то особенно энергично задрыгала своей дряхлой головою, точь-в-точь молодой цыпленок, когда меткий камень баловника-мальчишки опрокинет его вверх брюшком.

Бабка встрепенулась. При самом тщательном взглядывании в лицо своей повелительницы она никак не могла отгадать: вследствие каких именно потребностей барыня дрягает головой и даже стонет.

— Питиньки, что ли, вам али естиньки? — спрашивала бабка у немощной, но немощная вместо обыкновенного подтвердительного кивка еще сильнее и недовольнее затряслась уже не одной только головой, а всем телом.

Бабка усилила свои наблюдательные средства, состоявшие в многолетней привычке и подслепых глазах; но все-таки, кроме болезненных стонов, ничего не слыхала и, кроме трясения головы, ничего не видела. Барыня сама уже разрешила ее сомнения. Она вытянулась в креслах во весь свой высокий, стройный рост, пленявший, говоря слогом Карамзина, некогда напудренных петиметров блистательного екатерининского двора, и, в качестве супруги бригадира, отправилась в Ростов на свидание с супругом.

Ну, и мир бы ей — этой жизни, которая во весь свой длинный век ничего не придумала

лучше, как во время оно заставить Дюка де-Белиль, маркиза де-Грильон обожать себя, да в нынешнем столетии — умереть, мир бы ей — этой, в период беспрерывного трясения и дрожания, доброй, потому что неподвижной и онемевшей, старухе, но нашлись же души, которые не попомнили неисчислимого количества того далекого зла, которое сделала эта барыня, когда, блистая яркими французскими румянами и дикой энергией Темниковской медведицы, не удостоенной аттестата Сморгонской медвежьей академии, звонко смеялась, наивно и вместе с тем кровожадно потешаясь над людскими жизнями.

В числе этих сочувствовавших душ была и моя бабка. Сначала смерть барыни как-то странно поразила ее. Она с особым вниманием всматривалась в покойницу, ожидая как бы, что вот-вот попрежнему заживет эта длинная, столетняя жизнь. Бабке, видимо, не желалось верить, чтобы могло умереть что-нибудь из екатерининских времен. Ее до того заняло это смертное событие, что недели две, по крайней мере, она не говорила не только про кийждо, но даже не сделала ни одного обыкновенного житейского вопроса или ответа. Не обращая ни малейшего внимания даже на меня с сестрой, она, как вылитый истукан, мрачная и грозно опечаленная, просидела безвыходно эти две недели в своей наполовину опустелой комнате.

После двухнедельной безмолвной печали бабка, до того времени высокая и здоровая старуха, очевидно сгорбилась и ослабела. Такими беспомощными шагами и так низко нагнувшись стала она выходить из барского дома, что

мужики и бабы, редко видевшие ее в церкви, крестясь, сторонились при встрече с ней.

Подкараулить барин послал: куда и зачем ходит Елена Павловна? Донесли караульные, что Елена Павловна изволит ходить к старой барыне на могилку, где громким голосом воют и об землю даже грудкою бьются.

Билась-билась так-то старуха о землю опечаленной, по лакейским словам, грудкою—и умерла, полгода не проживши после смерти барыни.

Другой указ тогда насчет меня и моей сестры от барина вышел: отдать Ферапонтовых сирот в город — в ученье какому-нибудь мастерству.

Но, и находясь в ученьи, я долго держал губы сердечком и не баловался, трясясь при мысли о том, как меня, по бабкиным словам, в аду будет мучить за баловство беспощадное лицеприятие или стень.

Благодаря наплыву разных обстоятельств, я, впрочем, скоро понял всю бескапитальность оставленного мне бабкой наследства, но недавно, случайно свидевшись с сестрою, я, признаться, на радостях выпил немножко более того, что, так сказать, законами света дозволено всякому джентльмену, так сестра-то, глядя на это, совсем как бабка заговорила:

— Ах, Петруша! Что же это ты так напиваешься? Знаешь, как пьяниц на том свете будут за это? Железным крюком за ребро...

Тут и конец моей фамильной истории; а вместе с тем и конец обещанному оправданию моей зверской радости чужому несчастию. Конечно,

тема моя далеко не исчерпана; но зачем же мне продолжать ее, когда я знаю, что если честно и правдиво рассказать людям о тех кривых и неимоверно длинных путях, по которым иные несчастные сироты нашего общества ходят за светлой правдой, так люди-то отвернутся от этой правды, как отвертываются черти от ладана... Следовательно, это был бы напрасный труд... ну, значит, — и finita la comedia.

1833

САПОЖНИК ШКУРЛАН

I

Был у нас на посаде мужичонка один — сапожник. Мы его взяли и прозвали Шкурланом, потому он того заслуживал. И утром рано, и ночью поздно все, бывало, пьяный шатается он по посадским улицам и орет — и все это он одну и ту же поговорку орал:

— Кто еси, — говорит, — из всех вас, посадских, умный человек есть? Выходи, — кричит: — я с ним потолкую...

Только выходить к нему никто никогда не выходил, — осрамит.

Он к нам из-под Усмани приехал. Сам он был маленький такой, плюгавый, с черными усами, усищи точно очень длинные и густые были, в синем сюртуке, и жена, как он же, маленькая и плюгавая — вся в морщинах, только платье на ней, словно бы и на купчихе, ситцевое и красная шаль на плечах. И прямо это он, только что взъехал в посад, чем бы на постоялый двор пристать, он, благослови господи, с бацу-то в кабак и привернул. Пошел он с женою в кабак, а при телеге шесть молодцов таких-то ли бравых осталось, все тоже в вытяжных сапогах, в картузах и в сюртуках синей нанки. Стоят около телеги. Народ тут к ним подходить стал, кое-кто спрашивать их начали:

— Что, мол, вы за люди будете, честные господа? Откуда и куда путь держите?

— Отходите, — это они-то нам говорят, — подальше, покелича тятенька из кабака не вышел. Беда будет!..

Посмеялись мы тут, что они, эдакие-то ли балбесы, тятенькой своим нас стращают.

Смотрим: выходит это он сам из кабака с крендельком, картуз заломил на самый затылок, у жены штоф вина в руках, сыновей тем вином обносить она принялась.

— Ну, — говорит, —пейте, ребята, да фатеру скорее искать, потому я спать захотел.

А как раз подле кабака старуха одна сумасшедшая в избушке жила. Синей Каретой мы дразнили ее. Не было у ней ни роду, ни племени, мирским подаянием пропитывалась. Так урлапы-то его, он в кабаке прохлаждался, уж пронюхали, что некому защитить старуху, сейчас ему и докладывают:

— Есть тут, мол, тятенька, старушка одна убогонькая, Синей Каретой зовут, так к ней можно пристать.

Поселились и скоро старуху совсем из ее жилья вон выкурили. Посылал становой сотских сначала выгнать Шкурлана, так он здорово приколотил сотских и сказал им, что дом его и чтобы становой в чужие дела не совался.

Только удивился же становой этому мужичонке и сам к нему с понятыми нагрянул. Весь посад сошел смотреть — что, дескать, будет?

Шкурлан стал так-то пред становым, подперся руками в бока, расчистил усы и говорит ему:

— Пошто, — говорит, — барин, пришел ко мне, когда я тебя в гости не звал? Приходи, — говорит, — когда позову.

— Ах ты, такой-сякой! — начал было становой; а у Шкурлана всякий сын свое имя имел: одного он князем Кутузовым звал, другого Паскевичем, третьего Дибичем: «все, — говорит, — они у меня главнокомандующие».

Как только принялся его ругать становой, он сейчас и говорит Дибичу:

— Дибич! Выведи его вон!

Дибич без разговора взял станового за плечи и вывел. Сотские и кое-кто из посадских попробовали было заступиться, — знатно же, однако, те заступники от Шкурлана с сыновьями по шеям получили.

— Я, — кричал Шкурлан, — один с моими молодцами могу таких два посада, куда хочешь, загнать. Я, — говорит, — всякого человека, какой меня притеснять станет, беспременно искореню, потому никого не боюсь, и дети мои, кроме меня, никого не боятся.

И жена тоже, бывало, поддакивает ему:

— Точно, — говорит: — мы никого не боимся!

Вот семейка какая собралась!

«Угодит теперь Шкурланище в Сибирь за обиду барину!» — подумали мы, посадские, после такого случая»; ан не туда глядишь! Написал про него становой окружному, что, дескать, так и так: ничего не могу поделать с Шкурланом, потому, говорит, ребята у него здоровы очень, — весь посад они разгонят.

А Шкурлан только что заслышал про это письмо, сейчас мешок с краюшкой хлеба на

спину навалил, закурил трубку, — маленькая у него трубка такая была, с расписным коротеньким чубуком, — и прямо в губернию. Там господа разные наехали к губернатору, и он с ними вместе затесался к нему и ждет, когда выйдет начальник, а сам так-то ли сердито усы покручивает.

Дошла очередь до него.

— Кто ты? — спрашивает его начальник: — и что тебе нужно?

— А есмь я, — отвечает Шкурлан, — государственный крестьянин и сапожник; а нужда моя в том вся, чтобы ты прогнал из посада станового такого-то, потому он казны государевой расхититель, а миру всему великое зло. Вот, — говорит, — что мне нужно!..

Господа-то даже, какие тут были, сказывают, остолбенели все, глядя, как он так вольно говорит с генералом. Нахмурился и губернатор тоже и долго смотрел на Шкурлана сердитыми глазами, а потом проговорил:

— А что ты, — говорит, — Шкурланище ты этакой, в острог что ль захотел, когда мне такие грубости говоришь?

И Шкурлан тоже оборонился смешком на свои усы и сказал генералу: «Так я же, говорит, еще скажу тебе, что я в острог не пойду, а пойду от тебя прямо в Питер к самому императору жаловаться, и запретить этого ты мне не в силах, потому я, говорит, кроме как одного господа небесного, никого не боюсь», и сейчас же мешок свой навалил на спину и пошел.

Все господа не утерпели и засмеялись — и сам засмеялся.

— Вот, — говорит, — какой озорной мужичонка! Сроду таких не видал. Воротить его, — говорит, — ко мне в кабинет. Мы после с ним потолкуем.

— Отчего не потолковать? — с усмешкой сказал Шкурлан. — Потолковать с начальником я всегда могу.

Неизвестно, что они с губернатором говорили, только еще не дошел до посада Шкурлан, а становой наш уже получил из губернии приказ, что, дескать, быть тебе, становой такой-то, без службы.

II

С тех пор вона какой почет стали мы все Шкурлану отдавать. И как он завсегда в кабаке с своею женою пребывает, так чуть только кто ввернется туда, беспременно и им от своих трудов праведных либо шкалик, либо косушку жертвовал. А Шкурлан это одну руку запустит в карман, а другой все усы старается за уши заложить и говорит:

— Понимаете теперича, почему я завсегда пьянствую. Потому — все вы дураки, и мне с вами поделать ничего невозможно.

— Это точно! — непременно подтвердит жена.

И, коли правду говорить, ежели бы он не пил так безобразно, многих бы он, по своему разуму, за пояс мог заткнуть. Одно его мастерство чего стоило! Какие хочешь сапоги, барские или теперича купецкие — вытяжные или просто мужицкие, такие-то ли всегда удирал он — смотреть любо! Только редко же этот Шкурланище

проклятый работу свою до конца доводил. Всегда почти пропивал он товар, какой ему давальцы приношивали.

— Зачем ты, Шкурланище, мой товар пропил? — начнут его спрашивать.

— А затем, — скажет, — что мне так захотелось...

Жаловаться на него никто уж и не жаловался, потому не помогали жалобы. Всех начальников он умел своими разговорами рассмешить и милости себе всякие от них приобресть. Пробовали тоже своим судом расправляться с ним, — одна драка всем селом выходила, потому заступалась за него жена с сыновьями и еще пономарь один забулдыжный тоже заступался, — Катеринычем его прозвали, — так они весь посад одни одолевали. Ну, однако, изловчились и мы, и под Шкурланову душу подделались, не скоро только. Теперича, ежели он у тебя один товар пропил, сейчас же другой ему пинеси и как можно усерднее попроси, чтобы он этого товару не пропивал.

— Ты уж, мол, тово, Григорий Кузьмич, хошь из этого сшей, а за прежний сочтемся.

— Вот это, — скажет Шкурлан, — я люблю. Я доверие очень люблю, — закричит, — и сам всем готов доверять, только нечем.

И тут же отдаст приказ сыновьям получше сшить сапоги.

— Слушаем, тятенька! — ответят сыновья и примутся за работу так, что стружки летят. Славные они у него ребята были — так отца с матерью слушались, что всем нам завидно было.

— Поди же вот, — толковал посад: — отец с матерью пьяницы, а дети исправные. — Все они у него, кроме как грамоте, и сапожному мастерству обучены были, всякий от себя самоучкой еще — кто на гармонике, кто на гитаре или на рожке выучились. Выйдут, бывало, летним вечером, как работа кончится, на улицу, сядут все около избы и примутся они так-то сладко песни играть. Ни одного безголосого во всей семье не было! Мать это у них такая-то старуха мозглявая, взглянуть не на что; а как почнет, бывало, «незабудочка цветочек» тонким голоском оторачивать — заслушаешься. И Шкурлан сам всем этим затеям первым запевалой считался. Поначалу-то тенорой пустит-пустит, а там всю песню на басе держит. Откуда только такой толстый голос у него брался?

Со всего посада и из слобод даже приходил народ слушать их.

Года три или четыре таким-то манером жил Шкурлан у нас на посаде. И к пьянству его, и к оранию по ночам, и к руготне все мы привыкли и сердиться на него перестали, потому как первое дело: совсем он пропащий мужичонка был, другое: много тоже и добра всякого по посаду и по окрестным селам он делал. Теперича ежели богатый купец какой очень грабить народ принимался, или становой, или писарь нажимать чересчур почнут, Шкурлан сейчас с приятелем своим пономарем придут к нему под окна и такие-то рацеи прочитают ему, — свету божьему не обрадуется.

— Отойдите только от окон, ребята, да срамить перестаньте, — умаливает их такой чело-

век. — Я, — говорит, — вас водкой, как угодно, ублаготворю.

Особенно так-то они благочинного посадского донимали. Дочерям его не то что на улицу, а из дверей даже нельзя было показаться, потому пономаря очень обижал благочинный, так он даже охальничал перед ними.

— Ну, Катериныч! — грозил пономарю благочинный: — уж похлопочу же я, чтобы тебе лоб забрили.

— А я, — говорит пономарь, — на всякую минуту готов, потому лучше мне у чорта в аду жить, чем у тебя под рукою.

Плюнет благочинный, слушая такие пономаревы речи, и уйдет прочь; а Шкурлан с приятелем со смеху покатываются и про все его тайности крещеному миру во все горло орут:

— Мы тебя, — кричат, — пропечем! Сунься-ка ты на нас.

Устанут кричать, стоявши под окнами, возьмут лягут насупротив дома и, лежа, ругаются. Так до тех пор и не отходят, покуда им либо водки, либо денег не вышлют. А вышлют, так они насмеются.

— А, — скажут, — черти поганые! Вином хотят неправды-то свои смыть. Небось, ничем их не смоешь, — насмеются и отойдут, а пономарь всегда в таком разе кант запевал.

А особенно умели они отхлопатывать от рекрутчины ребят, каких мир, либо по их бедности, либо по сиротству, без очереди заедал. Придет к ним такой горемыка, купит вина четверть, бумаги, перо, сейчас пономарь за письмо. Так это все чудесно высшему начальству он подведет,

что многих из службы назад ворачивали, и миру большой нагоняй выходил. А бывало когда, что и высшее начальство с миром заодно на тех горемык выходило, так писаки-то наши на конце письма подписывали, что, дескать, ежели вы, ваше благородие, парня Ивана Лучину, занапрасно забритого, не ослободите, мы в ту же пору к самому батюшке царю в Питер жаловаться на вас пойдем. И сейчас же оба подпишутся к письму.

— К сему, — говорят, — прошению посадский пономарь Кузьма Лукич Забубенный и государственный крестьянин и сапожник Григорий Кузьмич, по прозванию Шкурлан, руки приложили.

После таких писем многих парней освобождали. Разве уж такого только не отхлопатывали они, кому на роду написано быть в солдатах, и за такие свои хлопоты, кроме как одного вина, подарков никаких не принимали.

Поэтому-то, всего больше, видючи в нем такую добрую душу, мы и не очень чтобы мешали Шкурлану пить у нас на посаде. Только и прослышали мы в это время про набор.

— Большой набор будет! — стращали нас городские приказные. — Три земли на нас поднялись. С эдакой махиной надобно поправляться.

— Ну, — думаем, — большой, так большой. Знать, такой следует, — а сами, кого надобно было, снаряжаем заранее, чтобы были готовы на всякое время и на всякий час, потому не на шуточное дело молодцы наши шли и не на день, не на два...

Были же те слухи как раз перед Севастополем.

Повестили, наконец, к жеребьям, а там уже и сдавать повезли, а у Шкурлана, года с три прошло ли еще, как племянник в солдаты ушел, и очереди за его семейством покуда не значилось.

— Счастлив, — толкуем промежду себя, — этот Шкурлан. Шесть орлов каких вырастил, а вот, поди ты, все дома сидят.

Смотрим так, однажды поутру Шкурлан со всеми сыновьями куда-то в дорогу собрался. Идет он спереди ребят и трубку курит, а сам такой скучный, повесил усы и не пьян. Старуха их провожает, рекой разливается.

— Куда, мол, собрался, Григорий Кузьмич? Ай место где облюбовал, — выселиться хочешь?

— Прощайте, — говорит, — братцы! Иду, — говорит, — я ребят в солдаты отдать всех до одного человека, потому враг на нас идет многочисленный, — говорит, — аки звезды небесные.

И пономарь Кузьма с ними же шел.

— И меня, — говорит, — православные, не поминайте лихом, а я вас совсем поминать не буду, потому надоела, — смеется, — мне дурь ваша. Посмотрю, не лучше ли там будет?

«Шутят они! — подумали мы. — Должно быть, собрались куда-нибудь на охоту либо на рыбную ловлю».

Какая же, однако, шутка вышла? Ведь в самом деле всех ребят и с пономарем Шкурлан в солдаты сдал! И так он через такое свое дело всему губернскому начальству понравился, что много то начальство и ему, и ребятам денег

надавало. И выпросил он кроме того позволение быть его детям и пономарю всем в одном полку и в одной роте.

Хотели было в гвардию таких молодцов представить; упросил Шкурлан, чтобы их прямо в сражение пустили.

— На врагов, — говорит, — я их привел.

Вышла ему от начальства письменная бумага — благодарность; а он пришел домой, повесил этот лист в избушке Синей Кареты и запил.

Долго не верила Шкурланиха, чтоб он всех до одного детей отдал в солдаты. Все думала, что вот-вот хоть один вернется назад, хоть младшенький; а как увидала, что нет оттуда возврату, тоже запила вместе с мужем.

Бывало, и смех тебя берет, и печаль, как она, словно канка, у которой каныши заблудились, по посаду пьяная ходит. Нагнется она, сугорбится, истерзанная вся, и плывет, а сама бурчит что-то и руками разводит; а шаль ее красная спустится с одного плеча на землю и волочится за ней.

Недолго только проходила Шкурланиха таким манером. В скорости умерла; а умираючи, на чем свет стоит мужа ругала за то, что он ее с милыми детушками разлучил.

Пришли как-то кое-кто взглянуть на умершую, а Шкурлан с ней все равно как с живой разговаривает, потому очень уж пьян он был в это время.

— Глупая! — бормотал он. — Своего счастья не знаешь. Тебе там веселее будет!.. Я бы и сам давно хотел помереть, да смерть нейдет...

И все это тихо он бормотал не то чтобы, как прежде, горлопятил; жалость большая брала, глядя, как он одиноким остался. А в избушке такая-то жуть, такая-то бедность! Печка совсем развалилась. Синяя Карета, отрепанная вся, в лохмотьях, в морщинах, забралась на нее и, словно зверь неразумный, смотрит на всех и зубами сердито щелкает...

III

Тише воды, ниже травы Шкурлан сделался, когда своей семьи лишился. По целым дням, бывало, сидят они с Синей Каретой в ее избушке и друг на друга смотрят. Мальчишки посадские найдут к ним в избу, смеются-смеются над стариками и не добьются от них ни единого слова. И только тогда, когда темная полночь весь посад спать укладывала, соседи слышали, как выл Шкурлан:

— Чады мои, чады, что я с вами сделал?..

Подсматривали за ним соседи потихоньку, так видели, как он в это время по земле катался и волосы на себе рвал. А днем опять засядет в свою берлогу и сидит там, не сходя с места печальный такой, седой, облыселый. Видят посадские, что не только старики не могут себя прокормить своими руками, а даже и по миру не в силах ходить, стали им хлебца носить, водицы, кваску...

— Что же ты, Григорий Кузьмич, сидишь здесь? — старики его спрашивали, когда он мало-мальски очувствуется.

— Смерти, — говорит, — жду, милые мои! Авось она унесет с собой мое горе великое,

какое я всю жизнь мою в кабаках пропивал, да не пропил!..

А сам так-то ли горько плачет, словно река разливается.

Дивились мы на него не мало и думали: про какое горе он говорит? Человек, можно сказать, весь век в кабаках проздравствовал на чужие деньги, а теперь горюет. Разве по сыновьям плачет, так ведь сам он их отдал в солдаты.

А горе у него, должно быть, в самом деле велико было, потому истинно, что всеми своими кровями кричал про него Шкурлан по ночам и будил нас... Будил нас теми своими криками страшными, как голос доможила, когда он «к худу» вещает; а мы, слушаючи их, очень ужасались сердцами и господу богу, вставши с постелей, усердные молитвы творили.

1863

ГОРБУН

ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

I

Двадцать два года Анна Степановна прожила под родительским кровом.

Степан Казаков, отец ее, был человек высокий, сухощавый и смуглый. Глаза у него из-под густых черных бровей, как у волка ночью, светились. Всю жизнь свою он только два дела и делал: или по полгоду пьянствовал без просыпа, или, злой без меры, из всех сил хлопотал, поправляя разные несчастья, которые происходили от его пьянства в его купеческом деле.

В том и другом случае, как говорится, народ обходил его за десять верст. В пьяном виде он всякого встречного сначала опаивал, а потом, когда гостю пить уже некуда было, бил; а в трезвом на всех, кто за чем-нибудь подходил к нему, рычал диким зверем, и не всякий выдержать мог, как он в это время, кроме ругани, еще глазами своими волчьими насквозь его прожигал. Взглянет исподлобья-то, — словно только что купленный нож сверкает. Глаз купцовых пуще его самого боялись и не любили.

От такой жизни Казаков раз двадцать на своем веку попеременно то прогорал, то вновь богател. После женитьбы года через три удалось ему ухватить где-то здоровый куш — вот он и занес громадные каменные палаты и на

целые полгода закурил. Опомнился, а куш уже растащили приказчики и проглотили убытки, поэтому много лет стоят в селе и дивят околодок те палаты, только до половины построенные. Потрескался и почернел красный кирпич, а стены зеленою травой поросли. Старушечьи толки насажали в те стены много всяких чертей. Слышали многие из баб, как осеннею дождливою ночью выл кто-то в начатом доме, точно как человек, когда убивается и стонет по какому-нибудь тяжкому горю. Видели, как там огни будто светились, какие-то лохмачи с хвостами и рогами по стенам шастали, и глаза у тех лохмачей были точь-в-точь такие же яркие, как у самого Казакова.

Про жену его нечего много говорить. Так старушонка тихонькая, повязанная черным платком, с ситцевым мешочком на поясе и ключом от сундука с ее светлым, уже не употребляемым, по старости лет, платьем. Топчется-топчется она, бывало, по своим купеческим горницам, будто бы индейка, у которой детенышей-пискунов коршуны растаскали, а все без толку. Когда была молода, муж бил ее часто и больно за то, что она постоянно как будто печалилась о чем-то, жалобилась на что-то. Теперь давно уже бить перестал.

— Вот как она руки мне вяжет, старая шельма, — жаловался иногда хозяин: — страсть как вяжет! Боюсь теперь и прибить ее, потому чуть у ней, у дуры, душа еле в теле держится.

Главное занятие старушки состояло в том, чтобы служить благодарственные молебны то-

гда, когда муж богател, и молебны простые и всенощные, когда он беднял.

До десяти лет так-то просидела Анна Степановна в коленях у матери, в ее всегда тихой спальне, больная с виду и молчаливая, как самая спальня. По целым неделям домашние не слыхали слова от этого ребенка. Все, бывало, Аннушка или подле матери, теплые руки к ней на голову положившей, стоит, или в тайном углу каком-нибудь прижмется, и оттуда, не сморгнув, смотрит своими большими блестящими глазами на выбеленные мелом стены и на золотые ризы домашних икон. Отец терпеть не мог ее большой клинообразной и выстриженной матерью головы. Увидит лишь, как она стоит так-то где-нибудь, сейчас же зарычит на нее.

— Эй ты, головастая дура, чего бельмы-то пучишь? Ты бы ее хоть чулки поучила вязать,— обращался он к матери. И обе они в это время, и мать и дочь, до того пугались этого выкрика, что девочка как-то совсем безжизненно потупляла свою уродливую черную голову и тихонько, словно бы в задумчивости, начинала вертеть тонкими красноватыми пальчиками; а старуха конфузливо бросала какое-нибудь дело и торопливо осматривалась во все стороны, как бы отыскивая, где бы это ей найти необходимые инструменты, при помощи которых обыкновенно учат маленьких девочек чулки вязать.

— Что ты, что ты бельмы-то таращишь, старая шельма? Топчешься-то что на одном месте, как норовистая лошадь? Ух ты, идол злой! — шипел Казаков на жену, при чем мазал ее по

лицу половиной ладони и уходил, предварительно обколотив дочерние пальцы.

— Верти, верти палками-то своими уродскими! — прощался отец с дрожавшею от страха дочерью. — Я у тебя скоро их вон выверчу, дай только срок мне!

После ухода отца девочка снова становилась к матери, а мать снова клала свои руки на ее головку, и, прерванная криком старшего, беседа между старой и малой шла попрежнему, как будто никто и не бранил их и душ их тихих не обеспокоивал.

Тихою, как летний сельский день, беседой этой мать передавала своей дочке те своеобразные порядки простой жизни, которым, в свою очередь, сама она научилась от своей матери. Слушала тут девочка — и какие люди были у ней дедушка с бабушкой, как они, по ее словам, пышно будто бы жили и как народ почитал их пуще всех окрестных богачей. Убитой настоящим горем душою своей переносилась старуха в ту далекую, счастливую старину, когда она молодым цветком цвела под крылом матери, как выходила замуж, какие наряды в это время были надеты на ней и какие тогда невестам песни певались. Снимала тогда старуха с своего пояса винтовой ключ, отпирала свою зеленую, окованную железными полосами, приданую укладку с светлым платьем, — и одно за другим вынимались эти платья и шубки, янтари и жемчуги, — и так много веселого и хорошего припоминали эти наряды теперь седой голове, что голова эта начинала держаться как-то не по-всегдашнему — прямо, а со сморщенных губ не-

чувствительно слетали давно забытые околотком старинные песни.

Унылая спальня делалась веселее от этих песен, хотя их пел разбитый старушечий голос. Походила в такие разы залитая солнцем спальня на тайно запрятанное в лесной чаще птичье гнездо. Там вместе с непонятным говором лиственных туч, под зелеными куполами непроглядных кустов, часто слышится какая-то особенная, не похожая на обыкновенное пение, птичья речь, которою, конечно, мать учит своих малышей, как надобно рассекать воздух легкими крыльями, на каком дереве безопаснее вить теплые гнезда и чем именно разнятся колосья пшеницы от негодных на корм птицам трав. Так и в спальне робкая речь старухи учила ребенка, так же тихо и смирно, протянуть до гроба начинающуюся жизнь, как дотягивает ее сама учительница. И, слушая материне рассказы, девочка очень скоро научилась, как и мать, широко и бессмысленно раскрывать глаза и бессильно дрожать беззащитною головой, когда какое-нибудь детское горе разражалось над нею, — без блеска в глазах и без обыкновенных радостных криков встречать неожиданно нахлынувшее счастье и даже пугаться этого счастья, потому что все, что только могли услышать молодые уши в так редко оживающей спальне, — все это говорило молодому сердцу о том только, что хотя и много растет в степной стороне всяких красивых цветов и трав благовонных, зато неминуемо гибнет в этой стороне всякая сколько-нибудь живая душа девичья, которой никогда еще не давала и, вероятно, долго

не даст как следует расцвесть степная старинная дурь...

Так, сама того не ведая, старуха передавала Анюте свой жизненный мученический венец, и долго Анюта ходила в этом венце, безмолвная и несмысленная, как и мать, которая надела его на покорную дочернюю голову.

Сразу как-то, в один год успела расцвесть Анна Степановна. Чем больше росла она, тем как-то чаще стала она попадаться под гневную отцовскую руку. Одним утром дочь особенно рассердила отца своею пугливою безответностью.

— Чего ты боишься-то меня, как чорт ладану? — спрашивал у нее отец. — Чего трясешься-то, словно тебя лихорадка бьет, урод ты эдакой головастый? Одевайся скорее, я тебя к мастеру грамоте учиться отведу, чтобы глаза мои рожи твоей не видали, — там тебя разбодрят, проворнее будешь!.. — И с этими словами Казаков взял связку кренделей, полуштоф кизлярской водки и все это, вместе с пугливою дочерью, стащил к приходскому дьячку, который на тридцать верст кругом был известен за мастера отшибать рост и ум у малых ребят, обучая их грамотной науке.

У этого мастера-дьячка был сын; лет четырнадцать ему в это время уж минуло, только, ради крайнего уродства мальчика, отец не возил его в семинарию, а держал при себе. Уродство же это ребенку приключилось таким образом: склеил ему как-то отец большой бумажный змей. Только что успел Петруша запустить тот змей, как нитки не выдержали его полета, змей

оборвался и засел где-то на чуть видных из села вершинах заречного леса.

Сейчас же дьячок, только что услышал из избы, как на улице плакал его мальчуган, принялся его расспрашивать:

— Куда ты змей девал, чертеныш?.. Отец-то его клеил-клеил тебе, а ты его в один момент прогусарил. Сказывай: кому продал?

— Он у меня, тятенька, с нитки сорвался. Нитки бабушка гнилые дала, — он и сорвался; а я его, сейчас издохнуть, никому не продавал,— объяснял мальчик свое горе, обливаясь горючими слезами.

Дьячку такая речь показалась, должно быть, очень обидной, или уж в это время прежде кто-нибудь его на сердце навел, только схватил он сына за эти самые слова в охапку, да об дорогу его, как камень, тяжелыми телегами убитую, и бросил.

Оказался мальчик после этого случая хром и горбат, и как он прежде того еще немножко раскос был, так глаза-то у него пуще, после отцовского наказания, раскосились.

— Господи! Вот грех-то! — задумчиво говорил дьячок, когда мальчик, отуманенный падением, без вздохов и стонов, ворочался в дорожной пыли.

Вечно всклокоченный и как будто постоянно улыбающийся чему-то, бегал Петруша по селу всегда один-одинешенек. Ни одного товарища не находилось ему во всех этих звонкоголосых ребячьих стаях, которые, одна пред другой, старались окрестить мальчика как-нибудь замысловатым прозвищем.

Затащат они, бывало, Петрушу в свою беснующуюся средину и начнут его угощать коньком-горбунком и целым хором пропоют ему про косого зайца, который будто бы очень дивился, когда он, как какая-нибудь курица, вдруг нанес яиц и из них —

Вывел детей,
Косых чертей.

А Петруша, словно молодой волчок в западне, терпеливо слушает насмешливую песню, с видимою ненавистью измеряя певцов своими косыми глазами.

— Эки черти-разбойники! — злобно шептал несчастный мальчик в ответ своим мучителям, а мучители даже не били его за этот ответ. Они просто бросали его, когда он уже не в состоянии был более забавлять их, и только разве какой-нибудь особенно бойкий паренек на прощанье собственно закатывал ему в загорбок легонького туза.

— На вот тебе, дескать, на прощанье, горбач! Не говори, чтобы за мной что-нибудь твое пропадало...

В три года своей науки у дьячка Анюта самым тесным образом сдружилась с горбатым учительским сыном. Они сразу как-то засели в один угол дьячковской избы, где происходило ученье, и, благодаря случаю, усадившему их рядом, Анюта счастливо миновала те всклочки и пощечины, при помощи которых дьячок обыкновенно вбивал в головы начинающих питомцев таинственные, как сельская дубрава, азы. Петруша, давно уже постигший всю эту премуд-

рость, всякий раз ревниво отстранял от Анюты отца, когда он спьяна или со скуки лез к ней водить по ее азбуке своими позеленелыми от табачных понюшек пальцами.

— Нет уж, тятенька, ты пусти лучше. Я сам ее поучу, — настойчиво спорил с отцом горбун, к великому удовольствию Анюты, с ужасом смотревшей на те пытки, которыми дьячок тиранил ее сверстников и сверстниц.

Таким образом какая-то ничем, повидимому, не вызванная связь установилась между молчаливыми медвежатами. В продолжение всей жизни приучаемые к безмолвию, они, наконец, до того полюбили наслаждение одиноко сидеть с нахмуренными и как бы печально-недовольными лицами, что и тут не сразу заговорили друг с другом. Много понадобилось Петруше и времени, и самого ласкового внимания, с каким он обыкновенно учил свою подругу азам, чтобы наконец-то эта подруга перестала бояться его, как она боялась всякого встречного. Чуть ли не в то самое время, когда Анюта, окончательно посвященная в тайны азбуки, принималась уже за часовник, она убедилась, наконец, в том, что на белом свете если и нет пока взрослых людей, которых бы можно было спросить о чем-нибудь, не получая от них оплеух или, по малости, косых звериных взглядов, — зато, по крайней мере, не перевелись еще на нем горбатые мальчики, с которыми можно водить дружбу, не боясь быть прибитой, а главное — до слез задразненной. На этом основании Анюта вынула однажды из кармана своего фартука большое красное яблоко и потихоньку,

чтобы не видали другие ребятки, подарила его горбунку. Оба они при этом сильно застыдились чего-то. Одна делала подарок с потупленною головой и с сильным румянцем, неудержимо разлившимся по смуглым щекам; другой же, без словесной благодарности, принял и съел этот подарок—и тоже долгое время не мог смотреть на девочку иначе как исподлобья и притом крайне вытаращенными глазами.

«Ну-ка, дескать, посмотрю я, — явственно говорили раскосые глаза горбунка, — какие бывают люди-то эти, которые не бьют и не дразнятся, а яблоками дарят...»

После полудня, когда отобедавшие ребятишки-ученики крикливо бесновались на дьячковском дворе, собираясь таким образом с силами для послеобеденных ученых трудов, Анюта и горбун сидели однажды вдвоем в опустелой избе-школе.

Тридцатиградусный жар ослепительно бил в маленькие окна избы. Мухи носились тучами и на разные лады жужжали свои жалобы, должно быть, на жар дневной, а пауки, обеспокоенные, вероятно, теми жалобами, цепко хватали мух своими лапками и яростно душили их, отчего мухи звенели еще громче и жалобнее. По засиженным мухами стеклам бились блестящие бабочки своими нарядными крыльями.

— Теперь мы сами будем играть, — сказал горбун Анюте. — Не им одним... — прибавил он, завистливо взглянув по направлению к двору, откуда громко неслись крики заигравшихся учеников.

— Как же мы будем играть? — недоверчиво осведомлялась ни разу не игравшая девочка.

— Я тебе сейчас скажу, — секретно заговорил мальчик. — Ты только никому не сказывай. Им так не сыграть, как мы с тобой. Только ты молчи, а то они, пожалуй, смеяться станут...— При этом горбун вытащил из-под сундука маленькую самодельную балалайку, сел напротив Анюты, запрокинул голову кверху и бойко перебрал тонкие струны. Анюта встрепенулась, может быть, оттого, что она никак не думала, что горбун умеет играть, а может быть, и оттого, что в первый раз еще так близко она слышала музыку.

— Кто же это тебя выучил, Петруша?

— Сам, девка, сам выучился. Молчи, девка, слушай только меня, — скороговоркой отвечал горбун, сверкая глазами, как бы рассердившись за то, что Анюта перебила его игру.

Девочка испугалась его всклокоченной, запрокинутой головы. По глазам музыканта увидала она, что он сердится на нее.

— Я, Петруша, забоялась тебя, — шептала она. — Глаза-то у тебя как у Ефимушки-дурачка стали теперь.

— Молчи, девка! — сердито закричал горбун. — Слушай, как я выучился играть. Я тебя люблю, зато тебе это и показываю...

Пальцы его заносились по инструменту проворным туманным облаком, в один и тот же момент успевая и щипать струны, и ухарски, в такт игры, выколачивать на деке барабанную дробь. Частый музыкальный ливень полился

с балалаечных струн и наполнил собою всю мрачную пустоту избы...

— Вона, вона, смотри, как расходится, девка! — громко кричал горбун девочке, с каждой минутой все больше и больше заливая ее волнами звуков.

Пристальнее и пристальнее всматривалась Анюта в музыканта; а музыкант сверкал на нее своими косыми глазами, топал ногами и кричал ей:

— Смотри, смотри на меня, девка! Слушай меня; а то я до тебя все один игрывал... Одному-то не так весело было... Я тебе за это покажу сейчас на струнах, как мухи жужжат...

И вот под его волшебными пальцами, словно бы действительная муха в лапах у паука, так жалобно запели послушные струны.

— Ха! ха! ха! — смеялся горбун по окончании игры, тяжело отдуваясь. — Так-то мы с тобой всегда будем играть. Хорошо ведь эдак-то будет?

— Хорошо! — согласилась Анюта.

— Ты никому только не сказывай. А то я тебе все покажу: и как овцы блеют, вороны каркают... Я это все могу... Ты ведь, Аннушка, будешь меня любить?

Аннушка вместо ответа подала ему яблоко, которым она должна была полдничать. Отдохнувший после трапезы дьячок пригнал в это время в избу свое стадо на новое мученье, и горбун торопливо спрятал опять под сундук свою балалайку.

— Как думаешь: слышали они, как я играл? — ревнивым шопотом спрашивал Анюту ее новый друг.

— Нет, не слыхали! — радостно уверяла его девочка.

— А балалайку, как я прятал, беспременно они увидали, черти?

— И этого не видали! — настойчиво уверяла его Анюта. — Где им увидать?..

И друзья заботливо уткнулись в книги, предварительно улыбнувшись друг другу самым значительным образом:

«Ну, дескать, не очень-то мы боимся теперь! Меня есть кому слушать; а мне — есть с кем играть...»

И тайно от враждебных, посторонних глаз повели дети свою, от всех сокрытую, дружбу, и выучила их эта дружба без малейшего страха сидеть глубокими ночами в дальних углах Казаковского сада, бегать из него в полдень и в полночь к соседке его — широкой реке, густо поросшей дремучим лесом и косматыми камышами, и купаться в ней.

Как рыба, нырял горбун в ее тихих волнах; а Анюта, плескаясь у самого края, сначала никак не могла удержаться от крика, когда пловец на самом глубоком месте реки вдруг опускался ко дну и долго пропадал там.

— Что ты кричишь, девка? — спрашивал Анюту ее товарищ, вдруг вынырнувший у того берега. — Чего испужалась?

— Боюсь я, Петруша, как бы тебя русалки на дне-то не защекотали, или разбойники вот выбегут из лесу и зарежут тебя, а то ведьма утащит к себе...

— Нет никого на дне, ни чертей, ни русалок, ползал я там долго. Один песочек там, девка,

да еще холоднее там, — вот тебе и все. И разбойников не бойся, и ведьм не бойся, — никого нет в лесу. Я ночевывал в нем — и теперь, гляди, тоже туда побегу, — и мальчик быстро бежал в лесные глуби, откуда чуть слышно долетал до Анюты его звонкий голос:

— Ан-нююшка-а! Плы-ы-ви сюда! Никого тут нет. — И, послушная этому голосу, девочка в первый раз с замиранием сердца, а потом с каждым разом все храбрее и храбрее переплывала реку, золотимую или палящим солнцем, или ласковыми лучами светлого месяца.

Пробегала и она, в свою очередь, по грозным дебрям лесным и по тихим полянам. И тут и там стояла тишина, изредка прерываемая сонным шопотом листьев да сонным же посвистом испугавшейся чего-то в своем гнезде маленькой птички. Наравне с кудрявыми головами высоких сосен, сверх ожидания, не ходили по лесу рогатые лешие, на толстых ветвях широко разросшихся дубов не качались старые ведьмы, а на полянах только что скошенное сено смирно лежало, нисколько не помятое резвою и крикливою вознею русалок, которые, как слышала Анюта от матери в ее спальне, обыкновенно по полночам выскакивают из речной глубины на лесные поляны, где и убирают себя драгоценным золотом месячных лучей.

Пробегала Анюта все эти страхи, не столкнувшись ни разу с лицами их нечеловеческими, и тем веселее делалось у нее на сердце, что вдруг под каким-нибудь густым кустом она набродила на притаившегося горбуна. Бесстрашный при виде этой лесной пустыни, он или с ве-

селым хохотом катался по высокой траве, или задумчиво сидел под деревом и как будто слушал что-то...

— Ну что, девка, ничего не видала? — спрашивал он ее. — То-то! Ведь я тебе говорил. Еще ночью-то лучше в лесу. И людей-то ночью в нем не бывает.

«Господи! Что ежели он и есть тот колдун, о каком маменька сказывала. Заманит он в лес мальчика или девочку и там ест их...» — приходила вдруг в голову Анюте такая мысль при виде этого горбатого, уродливого тела. Но и эта последняя пугающая мысль так же скоро оставляла изуродованную голову, как скоро влетала в нее, потому что, как только показывалась Анюта на глаза горбуну после сколько-нибудь продолжительного отсутствия, он с такой лаской подбегал к ней, так заботливо обнимал он ее и, припавши лицом своим к ее мокрой щеке, говорил:

— Девка, девка, девушка! Ты устала, небось, как без меня реку плыла. Теперь мы вместе с тобой поплывем, я тебя держать буду одной рукой.

И еще быстрее бежали они назад к оставленным на другом берегу рубашонкам. Горбун, уже нарочно желая застращать свою подругу, кричал, что за ними гонится ведьма в деревянной ступе —

Толкачем погоняет,
Помелом след заметает;

но Анюту нельзя было испугать этим, видимо, шутливым голосом. Одним только веселым и не

менее звонким смехом вторила она этому голосу, с разбега прямо бросаясь в тихо стоявшую реку.

А на другом берегу ребятишек уже дожидалась спрятанная в ползучих нитях колючей ежевики балалайка.

— Портится она, балалайка-то, особенно когда за нее мокрыми пальцами ухватишься, — скороговоркой объяснялся горбун, всегда дрожавший, как в лихорадке, при виде своего инструмента. — Я ныне тебе, девушка, покажу во какую штуку! Только ты смотри на меня и слушай... — И с каждой встречей горбун показывал Анюте какую-нибудь новую штуку, выделывая на струнах свист какой-нибудь птицы или крик маленького лесного зверька.

— Милая ты моя девушка! — говорил Анюте музыкант: — все я теперь на струнах испробовал представлять: как теперича березинский старый дьячок поет, барский козел как кричит, когда на ригу взберется да слезть оттуда не может, — все это, как следует, сейчас я сыграть могу; одного не могу представить: как ты говоришь, и от этого я очень тоскую...

— На что тебе, Петруша, учиться-то этому? — спрашивала Анюта.

— А узнали они, девка, старики-то мои, что мы играем с тобой у вас в саду, — ну и не пускают меня к вам: «велик ты, — говорят, — стал, и она-то не маленькая». Потихоньку я ведь к тебе убегаю; а тогда бы я на дворе у себя засел и все бы играл, все бы играл...

Так и не удалось горбунку выучиться представлять на струнах, как говорит его подруга; а подруга между тем уже не раз читала своей

матери четьи-минею и псалтирь, отцу писала письма и счеты, так что Казаков не счел за нужное платить больше денег дьячку и взял от него дочь.

С год после этого все еще горбун ходил к купеческой дочери, и все еще они даже и в то время, когда ей было четырнадцать лет, а ему восемнадцать, вместе переплывали через реку, и долго ночью сиживали они одни в окаймлявшем речные берега лесу.

— Ну, девушка, черти-то, разбойники-то и били же меня, когда я пришел от тебя намедни, — жаловался Анюте горбун. — «Маленький ты, шут», — говорят; и отец мне лицо в это время все в кровь избил и спину тоже до крови всю веревкой изрезал. «Нас, — толкуют, — Казаков со света сживет, когда узнает, что ты к его дочери шастаешь».

— А меня тоже, Петруша, тятенька очень избил. Сказал ему кто-то, что мы вместе играем с тобой.

— Умру я теперь без тебя, девушка, — плакал горбун: — потому никак я не выучусь на балалайке тебя представлять... Пойду-ка-сь я разобью об кирпичи балалайку-то свою. Только слушай ты меня, Аннушка! Никого из народу-то не люби после меня. Сама видела, как народ-то все врет... Ты вспомни-ка, как нас с тобой били все и дразнили напрасно... Черти они, мальчишки-то, и большие-то тоже черти, — задразнят они тебя без меня или изобьют...

Скоро после этого заболел Петруша и умер. А умираючи ко всем приставал, чтоб Аннушку проститься к нему привели. Совсем было уже

дьячиха собралась итти к Казакову просить его, чтоб он отпустил дочь свою проститься с ее бедным сыном, но дьячок чуть-чуть не прибил ее.

— Что ты, — закричал он на жену: — хочешь разве, чтобы купец косы мне за это отмотал, а потом благочинному нажаловался?

Так и умер горбун, не простившись с своим единственным другом, и неизвестно, какими безмолвными благожеланиями его отлетавшая душа приветствовала в последний раз этого друга, но зато все принимавшие последний вздох уродца явственно слышали, как он напоследях сказал им всем свое любимое слово:

— О, черти-разбойники!..

II

Умер горбун. После него одинокою, горемычною сиротою осталась Анюта. Однакоже несчастные людские обычаи ни роста, ни ума ее девичьего заесть не успели. В один год выросла она так, как другие не поднимаются в пять лет.

И семейные, и чужие смотрят на Анну Степановну и дивятся: вот-де вчера была девчонка, ни ума, ни разума, ни в дудочку, ни в сопелочку, как есть та девка-чернавка, о которой в сказке рассказывается; а теперь вишь ты стала какая!

А у Анны Степановны, хоть бедовый людской глаз, говорят, и сушит румяные лица молодых ребят и девиц, черная коса раза в четыре обвила красивую задумчивую голову, а яркий румянец не сходил с пухлых щек, прежде худых и смуглых.

Дивись: после своего расцвета Анна Степановна так хворать стала, как никогда не хворала, когда была девкой-чернавкой. Нытье какое-то сердечное одолело ее.

Запылало ее горячее сердце желанием смерти. Выйдет, бывало, она в сад прохладиться, и еще пуще зажжет у ней душу, когда она увидит, как все цветет в том саду, как пышно ягоды и яблоки зреют, как звонко соловьи и мелкие пташки поют.

В траву, бывало, прохладную бросится Анна Степановна от той боли, как огонь, жгучей; а трава не только не охлаждала ее, а сама вся на том месте, где девица лежала, желтою делалась, как будто бездождица ее засушила и жары опалили...

— Аль мне так-таки одной-одинешенькой господом богом суждено век скорбеть?.. — стонет, бывало, Анна Степановна в непроглядной вишневой чаще.

Тяжелы были в такие времена для степной красоты душные летние ночи. Ежели к подушке Анна Степановна прислоняла лицо, — от подушки, все равно как из жарко растопленной печи, пылало; ежели горячий лоб завяжет полотенцем, обмоченным в ледяную воду, в один миг то полотенце высушивалось и желанной прохлады ничуть не давало.

Ежели забудется красавица и уснет, опять не на радость. Снится ей тогда: будто вольною птицей летает она по широкому поднебесью, — высоко, высоко взлетела она, так что завиднелись уже ей бесконечные зеленые сады рая, и вдруг будто бы небо задышало на нее пламенем сокрушающим, — и вот, быстрее брошен-

ного с колокольни камня, летит Анна Степановна с высоты, так что душа замирает у ней... Юноши какие-то с светлыми лицами подлетели к ней в то время и не допустили ее разбиться об землю в мелкие дребезги. Ей так сладко лежать у них на мягких и теплых руках!.. «Умерла», — печально говорят друг другу юноши, с невыразимою лаской засматривая ей в лицо.

«Господи! Вот когда умерла-то я? — думает во сне Анна Степановна. — Куда-то я пойду теперь: в рай или в ад?» — задает она себе тревожный вопрос.

«Известно, в рай пойдешь, девушка, — вдруг вскрикивает горбатый Петруша, вылезая будто бы из своего белого гроба. — Слушай, девушка: я тебе на струнах представлю сейчас, как райские птицы поют», — и горбун начинал играть на своей балалайке что-то до того приятное, до того нежное, чего Анюта еще ни разу не слыхивала...

На лицах юношей, вместе с ней слушающих Петрушину балалайку, цветут такие улыбки, какими улыбаются розы в то время, когда они только что распускаются.

На всю будто землю гремит инструмент горбуна. Миллионы людских голов с самым напряженным любопытством слушают музыку, — и все эти головы в один раз встосковались о том, что прежде они никогда такой игры не слыхали, и заплакали.

Как от самой тяжкой боли вдруг застонали эти люди громкими голосами. Услажденная неслыханными прежде звуками и вместе с тем объятая ужасом при виде такого множества страдающих людей, Анна Степановна мечется по своей горячей постели и кричит:

«Петруша! Аль ты один только и был во всем посаде?»

«Один, девка, один! — громко отвечает горбун. — Слушай: я тебе сыграю про людей-то таких одиноких. Слышишь ли ты, девка, разбираешь ли, как их, этих-то людей, как цветки беззащитные, на всяком шагу подкашивают? Разбираешь, что ль, девушка, что я тебе такое играю?» — грозно и отрывисто покрикивает Петруша, распевая на струнах.

«Слышу, слышу, Петруша, все разбираю. Про смерть мою молодую ты мне говоришь».

«И есть, девка, про смерть! — соглашается горбун с доброй улыбкой. — Я же тебе, девушка, говорю, что не так горько тебе умирать будет, как я умирал. Я тебе-то вот что на твой последний конец запою», — и все слаще и слаще играл музыкант, так что напоследок не стерпливала Анна Степановна и кричала:

«Лучше же я так, Петруша, умру, без песни. Ох! не томи ты меня, перестань играть...»

Над девичьим изголовьем, ревниво укрытым темною ночью, обыкновенно проносится в это трудное время молитвенный шопот матери, неустанно бодрствующей над дочерниной болью.

— Спаси тебя и помилуй пресвятая богородица, дитятко мое милое! — шепчет старуха, медленно раскачивая страдающей дочерниными недугами головой своей.

Но в тебе, степная темная ночь, слепая ты и немая красавица, одинаково безответно замирали как громкие болезненные стоны дочери, так и тихий молитвенный шопот матери...

1863

ВОЙНА

I

Войны эти по селам у нас каждую весну аккуратно бывают. Только что стают снега, покажутся травки, выбегут на эти травки ребятишки, выползут гусенята с цыплятами и всякая мелочь, сейчас же и солдатики к нам на постой приваливают.

Иные роты на эти стоянки как к себе домой идут, потому что привыкли. Лет десять кряду иной раз приходится им становиться в одно и то же село, а пожалуй, в одну и ту же избу. Хорошие солдаты знакомство заводят с хозяевами, кумятся, и их тоже, как родных, ждут. Только мало таких! Больше всего забулдыги. Первое дело: все они у тебя норовят приесть, приворовать, а другое: как они придут, девок и баб хоть на дно речное прячь от них, так они и оттуда их достанут... Ежели говорить ему станешь:

— Что ты, мол, служивенький кавалер, али, шатаючись по чужим землям, в господа бога веровать перестал?

Лаской ему скажешь об этом, потому сидит он в переднем углу, фуражку на бок согнувши, трубчищей своей чадит по избе и ногами болтает.

А солдатик вздернет голову кверху так, что серьга у него золотая в левом ухе затрясется и засияет, погладит усы и скажет:

— Мы, — говорит, — в господа бога оченно веруем, потому нам, на офицерской линии состоямши, без эвтого никак невозможно...

А сам на девок да на баб, какие в избе прядут либо какую другую работу справляют, вскинет глазами-то, а усы у него так-то ли важно черным суставом намаслены и в разные стороны, словно у кота, торчат.

— Что, — говорит, — молодицы, желательно вам про чорта послушать, какой в черкасской земле народился? Весь, — говорит, — пестрый, словно конь, а во лбу у него самоцветный камень. Я,—скажет,—с места мне не сойти! — сам чудище это в прошлом году штыком приколол.

Слушают его бабы и на усы его пристально смотрят, словно бы усов они три года не видали. Дуры!

Все эти фокусы видишь, однако скрепишь сердце и молчишь, потому гостек дорогой наденет на себя ситцевый кафтанчик, ремнем с медными бляхами туго-натуго стянется, гармонику в руки, и целый день основу снует по избе и разные песни, одну другой забористее, играет.

Знай в это время, что солдатик отыскал себе зазнобу в семье и песнями теми, и походкой перед ней отличается.

С этакими-то кавалерами и идут у нас лютые баталии все лето летское, до тех самых пор, как их опять на сражение погонят.

II

С вечера еще пришла малая команда с ундером расчищать квартиры для роты. Пришли

это солдатики, обдернули полы у шинелей и говорят:

— Здравия желаем, хозяева! Вот они—мы-то... Глядите!

Сейчас же развесили по стенам свою сбрую, закурили трубки — и на улицу.

— Ах! — сказывают, — давно мы, с врагом воюючи, с девками не играли. Хоть бы улица собралась. Нам, — говорят, — в нашем сиротстве — девка первая вещь, потому она тебе и ласковое слово скажет, и рубашку сляпает.

Что ты им на это ответишь? Ничего! Сказано, что христолюбивый воин, — ну, и делишься с ним, да не одним хлебом-солью, а всем, что только в доме у тебя есть...

Тем же самым вечером стала эта малая команда похваляться, что вот-де, миряне, привели мы с собой нового солдата, из татар. Он, сказывали, всякую всячину может у тебя из-под носу выкрасть и бабу или девку, какую хочешь, к кому угодно присушить может. Все равно, как корова на веревке, будет неотвязно ходить молодая за парнем.

— Вы, — говорят солдатики, — нам теперь покоряйтесь, а то вам худо будет. Избы-то ваши — так и то мы можем с собой в ранцах унесть, и баб ваших заполоним.

В скорости и татарин на улицу вышел. Такой-то скуластый, узколобый солдат, а глазенки у него узкие, так и светятся.

Стали мы все приставать к нему, как это он может баб присушать и всякую всячину из-под носу красть.

— Запрет, — говорит, — на меня великий положен, чтобы я об этом никому не говорил. Действовать, — говорит, — перестану, коли скажу кому.

Однако, как только выставили мы ему полуштоф сладкой водки: «простой, — объяснил он нам, — рта марать никогда не захочу», — сейчас же он сел на винную бочку и пошел толковать:

— Это, — говорит, — дело не простое, господа, баб-то к себе привораживать. Я, может, несколько раз жизни порешиться готов был, как доставал это самое средство.

А солдаты-товарищи кружком около татарина стали и поддакивают ему, и божатся.

— Это, — толкуют они, — что он говорит, все истинная правда! Оттого, — говорят, — мы его из своей роты и не пускаем, потому, ежели начальство на кого прогневится, он отведет начальству глаза — и конец. Опять же, сколько раз наша рота в сражение хаживала, никого из нас не убивали: пули он у неприятелей, ах, как чудесно заговаривает!

— И это могу, — похваляется татарин. — И саблю, и пулю, и бердыш всякий я заговариваю. Вот это, — говорит, — узнайте, что такое? — Вынул он из кармана какую-то косточку и показывает нам. — Это, — говорит, — бедро из морского паука. Как я теперича этим самым бедром бабу или девку трону, сейчас она за мной, куда я захочу, пойдет. Вот вам и история вся! Становите-ка еще полуштоф.

— Это верно! — в один голос божатся солдаты. — Мы дела эти сами видывали.

Видим мы: плохо дело, говорим целовальнику:

— Давай еще полуштоф.

А целовальник нам:

— Берите-ка, миряне, полведра. Товарищей его попотчуйте. Может, — говорит, — лаской своей этого колдуна вы как-нибудь и проймете.

Взяли полведра, и пошла у нас питва здоровая! Натащили бабы огурцов, хлеба, потому что они этому случаю рады, когда мужья с солдатами пьют...

— Опять теперича, — заговорил татарин, — ежели я захочу кого-нибудь обокрасть, тоже костью орудую. Только кость эта совсем другого сорта. Найди ты кошку, чтобы совсем черная была, и вывари ты эту кошку в самую полночь под прощеный день в котле так, чтоб одни только кости от ней остались, и действуй. Только нужно уметь, какую кость выбрать. Хотите ли, сейчас перед вами невидим сделаюсь — а? Ежели хотите, так сказывайте...

А солдаты стоят около него и дакают:

— И это он может! Одно слово — голова! Колдунища такого свет не рожал.

Мы говорим татарину:

— Ну-ка, сделайся невидимым, мы посмотрим.

Ответил он нам с горестью:

— Жаль мне вас, ребята! Утробы у вас как бы в это время не лопнули.

— Да, точно! — сказали солдатики. — У мужичка одного, неподалеку отсюда, совсем лопнула утроба, как товарищ ему глаза отводить стал.

Однакоже мы как только напились, сейчас же принялись тех солдат колотить, потому мы уж знали, что, ежели б они целой ротой пришли, непременно нас бы исколотили... Опять же сколько их ни пой вином, все уж они ни от воровства, ни от девок отстать не могут.

— Мы, — говорят, — люди казенные! С нас не взыщи.

И точно: как ты с них взыскивать станешь, когда они этой же ночью у попа всю ветчину из амбара повыкрали и говорят:

— Что вы к нам пристаете, ребята? Может, это чорт повыкрал ее, ветчину-то? Вам, — говорят, — это должно быть оченно стыдно.

III

Поутру в селе такие дела приключались: в соседней деревне ночевал мещанин один городской... Кошатниками мы их зовем. Развозят они по селам подсолнечные зерна, соль, оловянные кольца, такие же серьги, всякую дрянь, а у нас берут кур, яйца, старые тряпки и все, что под руку попадет.

Только ночевал этот самый мещанин у знакомой кумы и с вечера знатно заложил за белую шею. Встал он, еще черти на кулачки не бились, и говорит:

— Ах, как бы мне не опоздать! Как можно поскорее надо мне запрягать и ехать по селам.

Так-то и привалил он к нам ни свет, ни заря, пастухи еще — так и те не вставали. Вились только под божиим небом легкокрылые жаворонки и звонкие песни свои оттуда на землю

спускали. Перепела опять звенели в росистых овсах, журавли курлыкали; а там все тишь тайная, разве изредка тишь эту разрежет гогот молодого жеребенка да звон почтового колокольчика с ближней большой дороги.

Только в ту самую минуту, как окатило скалдырника зорькой холодной, он и увидал, что спать бы ему да спать надо в эту пору с кумой. Разжалелся он об такой дури своей и не знает, что к нам уже солдатская команда пришла.

Приворотил он лошадь к знакомой избе, растянулся в телеге и уснул. Уснул он, и снится ему, что будто его в солдаты отдали.

«Ну, — думает мещанин во сне: — отдали, так отдали!..»

Стал он тут будто богу молиться, чтобы господь его на сражениях миловал и от начальничьего гнева спасал, и как он знал, что солдат вор, принялся он во сне-то товар воровать из своей собственной телеги. Чудесно, сказывал, обворовал! Долго ли, коротко спал мещанинишка, батюшка поп приметил, что из амбара всю ветчину у него повыкрали.

— Ах, — сказал он, — какие эти солдаты канальи! Всю ветчину у меня повыкрали. Пойду-ка, — говорит он попадье, — отыщу я воров.

И пошел. Идет он и видит: солдатик один сидит на завалине, около него косушка стоит, а в руках у него складной нож, и режет тем ножом солдатик поповскую ветчину и ест. Спрашивает у него поп.

— Что ты, кавалер, ешь?

— А я, — говорит солдат, — ветчину ем, ваше высокоблагословение! — и с этим словом встал с завальни, фуражку снял и под благословение подошел.

— А это, — говорит поп, — ветчина моя. Пойдем к ротному. Он с тебя шкуру спустит, потому ротный у меня сына крестил в прошлом году.

— Ротный наш, — говорит, — еще не приехал, потому он в соседнем городе в трактире с цыганками закутил. И господа офицеры закутили. А что вы, ваше высокоблагословение, про ветчину говорите, что аки бы она ваша — этого нет. Ее нам вчерашнего числа из Питера от самого царя прислали за храбрость.

Слыша такой хитрый ответ, батюшка священник с учтивостью сказал солдату:

— Это ты напрасно, храбрый воин, ухищряешься так на добро ближнего.

Солдат сказал ему:

— Ничего, батюшка! Нас на это взять, — и выругал батюшку, и пошел тут промеж них большой гвалт, так что священник караул закричал.

Караул этот разбудил скалдырника-мещанина. Проснулся он и видит, что в телеге его ничем-таки ничего нет и с самого с него красная шапочка уже сапоги стаскивает.

— Что ты, злодей, делаешь? — закричал мещанин на красную шапку.

— Молчи-ка ты, горожанин! Я тебе за это калач на базаре куплю, — засмеялся солдат на бегу со снятыми сапогами.

— Разве я вольна в себе! — кричала одна бабенка с другого конца улицы. — За что ты меня

бьешь? Все видели, как вчера вечером татарин меня лягушечьим бедром тронул. Я теперь от него разве смогу отстать?

— Я тебе дам лягушечье бедро! — кричал на нее покинутый ночью муж. — Ты законто, видно, на лягушечье бедро променять хочешь?

— Ты что же это делаешь, солдат ты эдакий разнесчастный? Разве можешь ты духовному лицу грубить?

— Ой, батюшки! караул! убил меня поп. Все черевы он из меня палкой повымотал!

Все эти голоса покрыл собой громкий голос старого дьячка, женатого на второй жене. Навстречу к нему шла его свояченица, секретная торговка вином, с ребенком в руках.

— Свояченица, шкура! — ревел на нее дьячок. — Сказывай, где жена? А то я сейчас из тебя дух выпущу.

— Что ты кричишь, полоумный? Поди возьми ее, вон она у меня сидит.

— А, встряхнулся, старый чорт? — вдруг закричала сама дьячиха, внезапно выскочившая из сестриных сеней. Она, видимо, была достаточно выпивши. — У солдат я была! Ну, что ты мне сделаешь?

Я вечор млада
Во пиру была...

— запела она на еще не совсем проснувшейся, но уже очень взбулгаченной улице.

— У солдат? — азартно наступал на нее муж.

— У солдат! — храбро отвечала жена, подставляя ему кукиш.

— Я же тебя ублаготворю, шлюха ты эдакая! — И с этим словом дьячок кинулся на жену и смял ее. Свояченица положила своего ребенка к сторонке на траву и бросилась выручать сестру.

В это время, задравши голову кверху, по направлению к кабаку мчался солдат с закинутыми на спину мещанскими сапогами.

— Слышь ты, крупа! — кричал босой мещанин, догоняя вора. — Отдай хоть сапоги-то, не то жаловаться пойду: тогда тебе хуже будет!

— Ничего мне хуже не будет!.. Я, брат, сапоги-то твои в кабак прямо...

И вдруг со всего маху солдат натыкается на борющуюся кучку и летит; на него падает мещанин; десять рук уже вместо шести начинают ожесточенную потасовку.

В эту пору проснулись и крикливые сельские ребятишки. Всю ночь грезилась им во сне парадно идущая рота, встречать которую так рано проснулись они; раз двадцать в короткую летнюю ночь будила их удалая солдатская песня, грохот барабана и блеск штыков.

Ходит у нас по селу и теперь еще рассказ про колдунью одну, давно уж умершую, что будто бы в то время, как притти солдатам, приходит и она с того света на родимые улицы, большею частью в виде свиньи, и смотрит, нет ли между солдат и ее сердечного друга.

Вот ребятенки наши только что выбежали на улицу, сейчас же и пошли гонять первую попавшуюся свинью дружной и звонко орущей гурьбою.

— Вот она, Карасиха-то! — кричат сопляки, осыпая мнимую колдунью градом камней. — Лови ее, ребята! Как поймаем, сейчас же ухо у ней напрочь отхватим.

Но Карасиха, словно понимая предстоящую ей печальную участь, пугливо встопорщила уши и летит по улице с пронзительным визгом, быстрее и крикливее вихря степного. За ней неотступно бегут ребятенки. Преследование ослепило Карасиху. Со всего разбегу всею острой мордой своей врезалась она в живой ком свалившихся на улице тел и, одуревши от этой неожиданности, тихо растянулась, в самом низу кучи, прочным ее основанием. Один за другим налетали на нее баловливые ребятки и тут же ложились трупами, во все свои звонкие горла извещая светлые утренние облака, что:

— Мала куча! мала куча!

Над всем этим безалаберно кишевшим мясом, над этими далеко разлетевшимися криками злости взрослых и веселья несмыслей малолетних грозно стоял батюшка-поп, своим толстым посохом отыскивая в этой куче солдата, который только что завтракал сейчас его ветчиной.

— А, волк ты эдакой хищный! — кричал батюшка, обмолачивая костылем живые снопы. — Теперь я, может, по невинным за тебя должен палкой-то попадать...

IV

Осененная густыми облаками пыли, парадным строем надвигала на наше село ожидаемая рота. Впереди шли песенники под предводительством

глазастого запевалы, с рыжими, залихватски закрученными усами. С мерным топотом солдатских шагов и с раскатистой барабанною дробью сливалась зазвонистая:

Молодка, молодка!
Молоденькая!

Красиво избоченясь и сверкая парадными эполетами, сбоку роты ехал ротный командир на огромной рыжей лошади.

— Что, началась уже война? — спросил он при виде м а л а к у ч а стоявшего в толпе солдатика.

— С утра еще, ваш-сбродие, началась! Потому без этого никак невозможно...

— То-то началась! Вы смотрите у меня, как можно тише. Жалоб чтоб ни под каким видом не было.

— Как - можно, ваш-сбродие, жалобиться? Дело все идет по любви...

1863

ДВОРЯНКА

I

Ах, какие у этих столиц и вообще у больших губернских городов длинные и цепкие руки! Неустанно шарят они по нашим глухим степным захолустьям, и все, что мы бережем про свои редкие радости, все, что скрашивает нашу жизнь горемычную, — безжалостно хватают эти руки и волокут к себе на недолгую потеху городских душ разжирелых...

Я к тому подвожу мою сиротскую речь, что скоро некому будет по селам, особенно по пригородным селам, ребят рожать. Всех девок тащат от нас большие города к себе на работу — и господь с ними, с бедными! Но только возвращаются они, голубки, к старикам своим — сиротинками такими, что ни отец, ни мать, ни даже какой-нибудь родственник ближний не могут на них без горьких и кипучую злость поднимающих слез глаз вскинуть... И стыдно тебе их, и жаль!..

Отпускали девку в город: ей десятый годок доходил только; а коса у ней уж и в это время была, как в песнях поется, до пояса, — глазки, что у божьей птички, светлые да ласковые, — на щеках яркий румянец играл, а душа, что у ангела, добрая и приветливая.

Десять лет отец с матерью денно и нощно болели об дочке. Всегдашние слезы об ней все им глаза, еще не старые, совсем заслепили. Наконец дождались старики радости, может быть, первой на своем долгом веку: приехала дочь из Москвы, в немецком платье, с зонтиком, все равно как господская управительница или бы попадья.

— Милая ты моя! Золотая моя! — вопит над ней мать-старуха, не умея прибрать других слов, потому что всю голову у ней отуманила неожиданная радость; а городская дочь тут-то по черной избе своим длинным платьем метет, тут-то метет, как бы в досаде какой, — тут-то жидкие, но все еще черные брови наморщивает...

— Ступай, — говорит, — маменька, к дьякону — самовар у него попроси. Я, — толкует, — по своей политике, без чаю жить не могу, — тоже, ежели у тебя деньги есть, купи мне папирос у Степки Щелкуна — крепких спроси; а ежели у тебя нет денег, так в долг у него возьми. Скажи, я после с ним расквитаюсь...

— Да, поди, у Степки и товару-то нет такого, желанная! — сомневается старуха.

Еще пуще заходила по избе дочь после таких старухиных слов, гневнее наморщила брови и с великою досадой сказала:

— Принесли меня сюда черти на заботу да горе.

И пошла она с того времени в дымной избе родительской жить и мутить ее тишину своими сердитыми криками. Никто во всей семье не мог ничем угодить приезжей гостье. Плач

невесткина ребенка и неуклюжая озабоченность старшего брата, чуть слышное ворчание отца и говорливая нежность матери — все в одинаковой степени бесило ее, все это неминуемо накликало на себя ее столичную брань, которой по селам, любви ради к святому имени Христову, только в крайней запальчивости или в нетрезвом виде ругаются.

— Черрти! — хриплым шопотом постоянно шипит гостья на людей, которые от всей души старались угодить ее душе, городом избалованной.

Дальше живет гостья в честной отцовской избе и кроет ее бедные стены стыдом на весь мир. Забубенные ребята сельские, мещане-торгаши ночным временем на эту избу толпами, словно на войну, стали ходить и никогда спать не давали.

Разбойничьим свистом и гамом наполняли они тихую сельскую полночь, когда пьяною ватагой прихаживали отмещать городской мастерице ее всякие обманы и любовные неправды, которыми она потешалась над своими сельскими полюбовниками.

Ухарский скрип их гармоник, звон и стук самоделковых балалаек, трепак, густо отбиваемый грузными сапогами, подколоченными железным гвоздем, прерывали сон семейских, — и в то время, когда горемычная мать крестилась, слушая это нашествие пьяных бесов, и обливалась горючими слезами, скорбя о позоре кровного своего детища, — отец и братья в это же время ведут громкую брань с ухачами, обвоевавшими их христианский двор.

— Разговаривай, старый чорт, по субботам! — гогочут лихие в ответ старику. — Умеет твоя дочь подарки брать ото всех, пусть же она и любить всех умеет... Беспременно сейчас ее к нам высылай, не то по бревнам всю твою хату убогую разнесем.

— Господи! Хоть бы в мать сыру землю мне поскорее от этого сраму улечься! — молится мать при этих разговорах.

Долго таким образом идет дело, и долго старик-отец, по своей великой любви к дочери, молчаливо несет тяжкий крест, не обрушивая на беспутную своего тяжелого родительского гнева, и только тогда уже, когда людские язвительные насмешки и ему, и его семейским заградили широкую сельскую улицу, пришел он однажды вечером в избу и сказал:

— Слушай, дочь! Может, ты там в городе, с господами знамшись, сама барыней стала; только все же я тебя, по своей власти отцовской, наказать беспременно должон, чтобы господь бог с самого с меня не стал взыскивать за твою душу.

— А я так, тятенька, рассуждаю, — говорит мужицкая барышня, — что всяк сам за свои грехи ответит. А если вам в тягость, что я живу у вас в доме, так я завтра же опять в город на место отправлюсь.

— На какое бы такое место? — спрашивает отец. — Избави господи всякого лихого татарина от таких местов, по каким ты, по сказкам людским, живала.

— Какие бы они ни были, все же лучше, чем в вашей лачуге жить да неприятности от вас

всякие безвинно переносить. По крайности в городе я, всю политику произошедши, за чиновника могу замуж со временем выйти.

— Ну, это дай тебе бог за чиновника-то замуж выйти, только все же ты теперича сократись...

— Я еще таких ваших слов понять не могу. Нечего мне сокращаться, потому как по благородству моему всякий меня знает и всякий меня любит...

Хмыкнул только старик, слушая такие речи, а хмыкнувши, долго и сердито молчал, потому что трудно ему было сговорить с дочерью в немецком платье. С ним вместе вся семья боязливо молчала, видючи, что большак пребывает в тяжелом раздумьи.

В тишине этой дочь и забыла даже, что с отцом разговор ведет, и тут же задумалась о своих городских делах и о том, какой она отпор, по своему великому уму, старику дала.

«Теперь, небойсь, перестанет разговоры-то разговаривать! — думает она, усмехаясь в душе, как она подрезала отца. — Надоело старому на печи лежать, вот он и пристает: сократись, говорит; а в чем сократиться — и сам не знает».

Только в это самое время подошел к ней старик и изо всей силы ударил ее по прежде времени отцветшему лицу тяжелою ладонью.

— Хошь, — говорит, — ты и городская, а все же я твой родитель, и ты меня должна почитать.

Тут в избе сделалось такое дело, глядючи на какое, все домашние тряслись и от ужаса слова

сказать не могли. Дочь сама изругала отца непотребным словом, все равно не к отцу она речь держала, а к врагу рода человеческого — дьяволу...

Всю косу тогда вырвал распаленный отец у дочери за такой неслыханный в деревнях и селах грех и кроме того избил. Недолго прожила она в деревне. Снесли красоту, городом загубленную, на сельское кладбище, которое все красное лето неустанно молилось за напрасно погибшую жизнь тихим шопотом листьев кленов и березок, росших на нем густыми и стройными купами...

Старуха-мать так после рассказывала про последние смертные минуты своей милой дитятки:

— Ни разу не дождалась я от ней ласкового слова. Пуще всех кричала на меня; а когда совсем умирать собиралась, к повару меня барскому послала, чтоб он ей еду какую ни на есть по-трактирному изготовил. Изготовил он ей цыпленка: принесла я его, поставила перед ней и говорю: «ешь, — говорю, — повар сказывал, что и в трактире не во всяком так сделают». Только взяла она его, отведала немного, да как заплачет. «Вот, — говорит, — господи, и умереть-то мне в городе не привелось! Должна я теперича, от таких утех, жисть мою в селе с мужиками покончить». А чего она так об городе тосковала, — заканчивала старуха: — бог ее знает! Ведь он ее, город-то проклятый, пуще щепки высушил, над красой ее девичьей зло наругался и разума совсем лишил. На-ка! С а м о г о как выругала — вымолвить страшно!..

II

Я хочу рассказать теперь про одну, точно так же несчастно окончившуюся жизнь.

Жила у нас в селе сумасшедшая женщина. Звали ее Забаихой. Я начал знать Забаиху, когда она уже была древнею старухой, но и в это время она была красивее всех посадских старух. У ней были какие-то необыкновенно кроткие, словно у голубки, глаза. Самые крикливые и капризные ребятенки, с которыми матери не могли сладить ни лаской, ни таской, мгновенно делались смирными и послушными, когда, бывало, Забаиха нагнется к лицу ребенка и посмотрит ему в глаза.

— Солнышко, солнышко ты мое светлое! О чем же это ты плачешь? — спрашивает она ребенка и мягкой, теплой рукою гладит его по головке, а сама в это время тоже малым ребенком будто бы делалась. Смотришь на нее, как согнулась она, и, не зная ее, ни за что не поверишь, чтобы взрослый человек мог таким маленьким сделаться.

Притихнет ребенок и смотрит на нее во все свои светлые глазки, удивляется будто: о чем это он в самом деле расплакался?

Насколько я помню, в то время, когда Забаиха делала мне самому такие вопросы, так ничто столько не возбуждало моего детского любопытства, как лицо ее. Спросит она, бывало, меня: «О чем плачешь, светик ты мой?» — а ты стоишь и не думаешь отвечать ей. Непременно только, помнится мне, всегда после такого вопроса принимался я гладить своею рукой ее

бледное до прозрачности лицо, пристально всматривался в ее голубиные глаза и мысленно спрашивал себя: «Из чего это, господи, глаза у Забаихи сделаны?»

— Ну, вот и перестал, милый ты мой! Вот умник теперь! Пойдем, я тебя за это кваском попою, — мне ноне серая лисица молодой квасто сварила, — говорила Забаиха и уводила меня в свою глиняную келью, откуда только темная ночь выгоняла соседних детей.

А между тем по всей истории моей протянется одно общее горе: сумасшедшая стала Забаиха тоже от города. Оттуда налетело на ее добрую голову тяжелое несчастье, от которого обезумела сельская старуха, до этого времени ко всякому странному человеку приветливая, ко всякому своему соседу справедливая и на христианскую послугу каждому доброму человеку всегда готовая!..

Сказывали добрые люди про Забаихину жизнь так: умерли у ней отец с матерью, и осталась она после них круглой сиротой с меньшей сестренкой, которая тогда чуть только еще от земли начинала виднеться. Много было девке забот в это время. Пришлось ей продавать родительский дом — хозяйство, какое старики во весь свой долгий век сколачивали; распустила она тогда по белу свету милое за немилое, дорогое за дешевое, потому молодой девке возиться со всем этим скарбом нельзя.

Было у ней еще при покойных родителях одно постоянное желание: выстроить себе в каком-нибудь огороде под густыми ветлами, в сто-

роне от шумного людского жилья, маленькую келью, поселиться в ней и отдать свою молодую жизнь уединению и молитвам к господу, возлюбленному ею с самого юного детства. Так она и сделала. Тихо текла ее молодость в несмущаемой тишине дальнего огорода, с каждым днем все больше и больше смирялось ее девичье сердце, и каждый день все больше и больше находило к ней простого народа послушать девицу, умудренную богом за жизнь ее праведную.

Как от божьего солнца ясные лучи одинаково щедро рассыпаются по бедной земле, так и от ней лилось всякое добро по целой окрестности. Редкая ночь проходила у Забаихи без того, чтоб она над каким-нибудь покойником псалтыря не читала; а дня такого, в который она, благодаря своей неустанной работе, какого-нибудь соседа из беды бы ни выручила, во всем году ни одного не было.

И с годами сделалась девица так же тиха и незлобива, как тихо и незлобиво было лицо природы, царившей над ее домиком, светлые окна которого чуть-чуть только белелись на дороге из-за толстых стволов ветел, берез и дубов. Соломенная крыша вся заросла ползучим хмелем, и каждый солнечный день можно было видеть, как над этой кучей зелени винтами вились белые, как снег, турманы и простые дикие голуби, сверкая в лучевых столбах своими золотисто-радужными крыльями.

Таким образом простые сельские люди, смотря на Забаихину келью, всегда снаружи обросшую деревьями и цветами, а внутри засыпанную

только что скошенною травой, привыкали видеть и в самой келье и в голубях, тучами летавших около нее, в этих птицах, приученных Забаихой к ежедневному корму, и в самой Забаихе — всегда с гостинцами ребятенкам и с добрыми, из божьих книг прочитанными, речами взрослым — какое-то целое, живое существо, благодетельнее, ласковее и умнее которого они ничего не знали, потому что ежели по селам и много всяких разных девиц, ушедших по своей воле в чернички, зато настоящих христовых невест, какими им быть следует, очень мало.

От этого каждая мать знала, где найти ей заигравшегося до темной ночи ребенка, точно так же, как и всякий муж, приехавший с поля или с какой-нибудь другой работы обедать, непременно искал у Забаихи свою жену.

Так все любили сходиться в ее келью, наполненную всякими травными запахами и благовонным дымом ладана, с постоянно горящими восковыми свечами перед образами, одетыми в светлые фольговые ризы, с хозяйкой, у которой был такой приятный голос, какого, бывало, никак не наслушаешься досыта.

Бежит, бывало, сельское горе по мягкой траве огорода, на котором стояла Забаихина келья, растрепанное, растерзанное, горькими слезами облитое, с громкими криками, с сердцем, сокрушенным яростию на врага своего.

— Милая ты моя, Анна Ликсевна! — кричит черничке молодая баба, вбегая к ней в теплую ароматную горницу. — Прибил меня варвар-то мой и теперь сюда к тебе по моим следам гонится. Грозится убить меня, ежели я ему хол-

стов пропивать не дам. Всю скотину со двора в кабак, проклятый, согнал...

Как частый дождь сыплются горькие жалобы бедной женщины при первом входе ее в горницу, а Забаиха так-то тихо поднимется, бывало, из-за божественной книжки или из-за какого-нибудь рукоделья, так-то ласково станет перед живым страданьем, так-то терпеливо слушает его стоны больные, что женщина с каждою минутой становилась все тише и тише, — слова начинала выговаривать протяжнее и протяжнее и наконец совсем успокаивалась, глядя на спокойное лицо чернички, на свечки, так светло горевшие перед иконами, на этих смирных птиц, так по-домашнему расположившихся в Забаихином жилье.

— Ты вот что, голубушка ты моя скорбная! — заговорит, бывало, Забаиха бабе, когда стихнет в ней ее первая лютая печаль. — Ты сядь здесь. Господь с тобой! Я тебя, болезную, чайком сейчас попою, — пускай муж твой приходит сюда — мы его встретим, как надоть. Только ты не бойся.

Тут опять по огороду раздавался громкий мужичий бег и за ним дикий крик.

— Машка, стерва! — кричит пьяный муж, не смея вбежать в дом праведного человека. — К Забаихе, подлая, спряталась! У меня ты, расподлая твоя душа, нигде не укроешься. Я тебя и от Забаихи вытащу!

— Слушай-ка, слушай-ка ты. Петр Иваныч! — отвечала ему сама хозяйка. — Рази добрые люди в гости-то к добрым-то людям с лютованьем да с криком ходят? Опомнись, живая душа божья!

Кого это я у тебя спрятала? Я жену-то твою, любви к ней ради моей, целый год не могла к себе в гости дозваться. В кои-то веки я ее затащила к себе; а ты уж и разлютовался, Аника ты воин этакий храбрый!..

— Буде, буде разговаривать-то, Забаиха! — гневается все еще Петр Иваныч. — Знаем мы давно твои разговоры. Подавай жену, а то, сейчас умереть, жалиться я на тебя в правленье пойду, что жен с мужьями сомущаешь.

— Полно тебе, Иваныч, полно шутки-то расшучивать. Входи-ка в горницу-то, благо пришел. Давно я до тебя дорывалась к себе в гости зазвать, спесив только ты очень. Теперь, как хочешь, не пущу, пока хлеба-соли моей не отведаешь.

— Нечего делать мне у тебя, — говорит мужик уже гораздо мягче, потому что зачуял выпивку, и всякое угощенье. — Жену подавай.

— С тобой, я вижу, разговором-то одним ничего не возьмешь. Дай же я тебя, коли так, моей бабьей силой возьму, — тебе же стыднее будет, — и с этими словами черничка брала за руки чванливого мужика и неволей втаскивала в горницу.

— Видишь вот, — прибавляла она: — у меня уж и самовар греется. Приляг, сосни немного, а мы с твоей супружницей за винцом сбегаем. Сами с тобой для компании выпьем. Одним вам, мужикам, что ли, водку-то пить, в самом деле?

— Видно, с тобой не сговоришь? — покорялся мужик приятной необходимости попить чайку и винца на счет доброжелательной чернички. Потом уже начиналась миролюбивая беседа

втроем, в которой муж забывал про надобность пропить женины холсты, а жена — про тумаки, которыми муж прогнал ее к девичьему дому.

— Ты вот что, золотой! — говорила Ивану Забаиха после чаю. — Ты вот выпей теперь рюмочку да поди сосни у меня под деревьями, а ты ему, Марья, голову холодною водой облей, чтобы вышибло из него хмель-то. Проспишься, гостек дорогой, я тебе еще две рюмочки поднесу и чайком еще попою, а холсты ты, гляди у меня, не требуй у ней. Ой, сказываю тебе, тяжело бабе длинными зимними ночами длинные холсты выпрядать!

Только обещанием чаю и двух рюмок можно было удержать Иваныча спать под ветлами, а то он непременно ушел бы домой от чернички. Такой ему стыд в лицо бросился после ее угощения и после слов справедливых.

— Где это такая разумная девка уродилась? Какими молитвами у господа бога мы ее себе выпросили? — во сне растолковывал мужик про Забаиху. — А я еще обругал ее, бездельник я эдакой, — обругал, как паскуду какую! — сокрушался сонный человек, болезненно разметывая руки. — Вот как бы жена моя такая была! В жисть бы рюмки в рот не взял. А то ведь, змеища, все брешет, все с добрыми людьми меня мутит. Убил бы тебя, подлая твоя душа! Моли только бога, что Забаиха тебя от меня схоронила...

А Забаиха уже знала, каким Иваныч проснется. Проснется он больным и смущенным, долго будет он стонать и кряхтеть от боли в голове и во всем теле, а потом, вспомнивши, как он над

своей женой измывался, как божьего человека — черничку, за все широкое село постоянно молящуюся, — как собака какая бешеная, обругал безвинно, — вскочит с пожелтевшей под ним травы и убежит домой от того великого стыда, в который приведет его память-карательница.

Знает, говорю, Забаиха про все это и для того, чтобы человек не смущался и не скорбел и без того убитой душой своей, пристально караулит пробуждение Иваныча. Чуть только заворочается он, стараясь укрыться чем-нибудь от травяной прохлады, выгоняющей из него хмель, как Ликсевна уж и подходит к нему, уж и одевает его чем-нибудь легким.

— Спи, спи, Иваныч! Проспись хорошенько, христова душа, а то болен будешь. Я вот тебя прикрою маленько, — потеплее будет тебе.

А как проснется совсем мужик, встанет на ноги, как начнет выглядывать, как бы ему улизнуть поскорее, чтобы не встречаться с Забаихой, она сразу выскочит к нему и заговорит:

— Что это, Христос с тобой! Никак ты от меня уж и бечь хочешь. Поди-ка, поди в хату ко мне, раб бога вышнего. Поди, попей чайку для компании. Там у меня от прошлого праздника безделица водчонки осталась. Допей, коли хошь...

— Да я уж, — конфузливо тянет мужик, — тово бы... Ко дворам бы мне, кажись, пора... Ты уж, то-есть ежели к примеру толковать, ослобонила бы... Не взыскала бы... Очень я дурашлив в энтом образе-то...

— Что ты, что ты понес, касатик? На чем взыскивать-то? Траву-то что ли у меня в ого-

роде помял? Поди ты беду какую он ко мне на двор притащил...

Начинает тогда думать Иваныч, что он хоть и дурашлив бывает в энтом образе, но, может быть, и приснилось ему во сне, что он обидел Забаиху, — может, это только враг его з похмельи смущает, что она теперь серчает на него, потому на лице ее сердцов совсем не видать.

И действительно, ни на лице, ни в душе чернички не было сердцов ни на одного человека. Желала бы она, напротив, чтобы все гневающиеся друг на друга люди пришли к ней в ее обитель тихую, — поставила бы она тогда перед ними свой самовар и всех бы их она, на этом месте перемиривши, на дорогу наделила бы своим незлобивым, голубиным сердцем, чтобы не было между ними никаких криков и ссор.

Так она настраивала и Иваныча.

— Что это ты в самом деле, — говорила она ему: — как жену бьешь? Всех добрых людей, глядя на тебя в этих разах, ужасть берет, потому долго ли до греха? Опять же она у тебя хилая такая...

— Ох, Ликсевнушка! — жаловался Иваныч: — что мне только с ней делать? Пилит она меня очень ни за что, ни про что, брешет завсегда...

— Вона, вона, как он про живого человека, да еще про жену заговорил: брешет? Рази она у тебя собака, что ли?

— Не совладать никак с сердцем-то, как об ней вспомнишь...

— А ты совладай! Станешь богу чаще молиться, он, батюшка, беспременно тебе поможет. Друг ты мой милый! Ты вспомни-ка: как разум-

ный человек со своею женою обходиться должон? Любить он ее должон и спокоить. Слабы женщины-то, больны. Иной раз от своей боли великой она на мужа закричит, а тот ее бить принимается. Хорошо ли это? Вспомни-ка: ведь ты с ней малых детей себе нажил, дом, хозяйство вместе с нею оборудовал. Так помощницу-то свою, скорбила какая вместе с тобою об твоем горе, радовалась твоим радостям, бить-то, пожалуй, и не следует. А, пожалуй, лаской-то с ней лучше поступать, потому, ежели ты жене ласковое слово какое скажешь, она тебе их в десять раз больше наговорит. Так-то!

— Спаси тебя бог, родная! — говорил Иваныч. — Я тебе за твою ласку, за твои речи разумные весь век готов отслуживать. Пойду-ка я в самом деле к хозяйке. Небойсь, теперь забилась куда, горемычная, в темный угол какой, не отыщешь скоро. Просим прощенья, Ликсевна! На угощеньи на твоем благодарствуем, — в праздник когда понаведайся к нам, ради бога. Все оно лучше в дому будет, как святость такая у нас побывает...

И таким образом этой, всех мирившей и всем без конца и оглядки служившей, жизни века бы не было. Многие годы прогорела бы она пред лицом господним светлою свечкой на свою и на людскую радость и счастье, ежели бы неразгаданная божия мудрость не послала ей горя, от которого на общую печаль сошла с ума эта черничка — заговорительница всякого чужого несчастья, не отговорившая только от молодой головы своей в это время выросшей уже сестры того великого срама, который, незванный, непро-

шенный, пришел к Забаихе из города вместе с молодой сестрой, куда старшуха отправляла ее учиться золотошвейному мастерству.

Истомленная стыдом и болезнью, приволоклась к сестре молодая золотошвейка с ребенком. Криком и слезами встретила загубленную до сих пор тихая сестрина келья:

— Что ты, что ты, мошенница, с нашими честными головами наделала? Родителей-покойников в их гробах ты теперь ниц положила.

— Сестрица, милая ты моя! — шептала золотошвейка. — Ведь он на мне жениться хотел; ведь он барин был, богатый такой, ласковый...

Заломила Забаиха над головой своей синие жилистые руки, стала рвать она ими свои длинные волосы и громко кричать к отцу небесному:

— Господи! Громом-то своим разрази ты этого барина ласкового...

И с этого времени она ни о чем больше не молила бога, как только о громе.

Даже погибшую душу своей, скоро после этого случая умершей, сестры не оплакивала и батюшку-попа поминать не просила. Только что ходит, бывало, по улице и все на ясное небо смотрит: не собираются ли на нем черные тучи...

— Вон оно! — радуется на всю улицу, когда увидит на небе тучи. — Гром, гром сейчас вдарит, молнии заблестят. Он его! Вот он его!

И громче того, чем на самом деле был, раздавался по селу ее звонкий голос в этой тишине, за которою обыкновенно следуют летние грозы.

А соседи, смотря на нее, говорили:

— Тоже вот и святого человека беда постигла. А все за то, что свою меньшую сестру Забаиха, может, пуще души своей любила.

— Громушко, громушко-батюшка! — продолжала кричать сумасшедшая. — Дуй, дуй их, наповал колоти! Я им от всей души служила, а они мне — нака-сь! Одна у меня радость была, — одна голубица, так они и ту наполы разорвали, душу у ней погубили!.. Бей их, батюшка, бей!

III

Сошла с ума Забаиха, а все же племянницу свою — дитя, в людских богомерзких делах неповинное — не покинула. В раздор разорила черничку ее долгая и тяжелая боль, по ветру пошло хозяйство ее, так и ребенка ей не во что было как следует обрядить. Вырастила она его в грязных отрепьях, в какие иногда чужие жалостливые матери завертывали девочку, глядючи, как тетка таскала ее по неделям немытою.

Однакоже, должно быть, не в одних только чистых барских пеленках красота вырастает! Посылает ее господь бог поровну и господским и мужицким ребятам...

Удивлялось все село, глядя, какой цветок выхаживала сумасшедшая Забаиха на своих беспомощных руках, и, в удивлении том согласившись, прозвало черничкину племянницу дворянкой и барышней, так что редко можно было услышать, чтобы кто-нибудь назвал ее настоящим именем.

Сама Забаиха даже как будто опомнилась, когда на ее глазах стала вырастать ее барышня, с длинными, черными волосами, смуглая, как степное, созревшее яблоко, с бойкими глазами. Ее веселый говор и всегдашняя беготня за голубями и птицами, густо населившими жилье чернички во время ее безумства, оживили задумчивую тишину огорода, в котором стояло это запущенное жилье. Поняла как будто безумная, что надобно же где-нибудь расцвесть ее родному цветку, и, состарившись уже, снова неустанно принялась за свои хозяйские хлопоты.

Вскоре опять заблагоухала черничкина келья ароматом трав и цветов, почерневшие ризы икон заменились новыми, горевшими как раскаленный уголь, — неугасимо зажглись пред поновленными образами стеклянные лампадки и восковые свечи, и только хозяйка одна вместе с этой переменой не сделалась прежней Забаихой. Все попрежнему, сидя в тени своего крыльца за прялкой или за каким-нибудь шитьем, она часто, забывши про племянницу, которая обыкновенно игрывала возле нее, начинала смотреть на светлое небо, залитое ослепляющим полдневным пожаром, и вслух принималась горевать о том, что давно уже господь бог не посылает на землю грозного грома.

— Пожалуй, они — люди-то — совсем без грозы про добрые дела позабудут! — шептала она. — Пожалуй, они эдак-то и креститься совсем перестанут.

Так и на всю жизнь осталась Забаиха с нелюбовью к взрослым людям. Всему людскому наперекор пошла она до самого гроба и ни разу

уже ни за чем нужным по хозяйству не ходила она ни в чью соседнюю избу и никого из больших к себе не пускала.

— Сокровище одно от людской неправды не сберегла я, старая дура, — говорила она с попом: — вот он мне, батюшка, по милости по своей, другое послал. Так мне теперича надо его сугубо беречь, чтобы бог не взыскал с меня моего нераденья.

Говоря так, все великие заботы свои, которыми черничка до сестриной смерти заботилась о нуждающихся ближних, перенесла она на сиротку, а с нею уже и на всех сельских ребяток и девочек, которых она отовсюду стала зазывать к себе в горницу в гости к племяннице, чтобы не скучала в одиночке ее резвая душа.

И стало таким образом в Забаихином огороде как бы какое ребячье царство. Окруженная молоденьким народом, сидела сморщенная старуха за своим рукодельем молчаливо и важно, как бы судья какой или царь в этом веселом царстве, по целым дням не сходя с места, пристально всматриваясь, нет ли где ссоры, не занозил ли кто-нибудь босой ноги, не выколол ли глаза, не раскроил ли слабой головенки о толстый пень огородного дуба. Года три так-то просидела она, творя в своих владениях суд и расправу, а потом и сама как есть дитей сделалась. Начала она своих несмыслей учить тем играм, в какие играли в то давно прошедшее время, когда сама она бегала по улицам маленькой девочкой, — сердилась и даже бивала их, когда они или не хотели играть в эти игры, или не понимали их, так что ребятки перестали

слушаться ее и видеть в ней старую бабку, которая давала гостинец умнику и трепала вихры забулдыге. Постоянный гвалт ежедневно царил в прежде тихом огороде, и только что чья-нибудь, случайно зашедшая в это место, мать прекратит его на минуту, как крики, в отсутствие усмирившей руки, делались гораздо слышнее, походы на чужие овощные грядки опустошительнее, а Забаиха, смотря на все это, не только не останавливала свою шайку, а обыкновенно сама даже ею коноводила и заправляла.

— Ну, — говорили про нее мужики, — совсем старуха из ума выжила. Поймала она вчера с ребятенками, — рассказывал кто-нибудь, — моего теленка на выгоне, сейчас же на него сбрую, как на лошадь, из веревок связала и надела и свою племянницу на нем весь вечер катала.

— А у меня онамедни в погреб затесалась и все молоко из него повытаскала и приела с ребятами! Такая-то забубенная стала! Нам ее не отослать ли в город в больницу! Надо об этом беспременно миру доложить.

— Ну, уж у тебя про все миру надо докладывать, — вступилась какая-нибудь баба. — Забыл, как она тебя самого из беды не раз выручала, с ребятишками теперь со всеми нянчится, — ты того не знаешь, должно быть. Велика беда: молоко она у него с малыми детями приела! Нам на ее долю господь невидимо пошлет.

Таким образом, благодаря женскому заступничеству, Забаиха беспрепятственно доживала свой век в непрерывной возне с детьми. Затеет, бывало, старая, в набор играть, сейчас же пойдет по всем окнам и кричит:

— Собирайтесь, детушки, на сходку. Враг на нашу Россию войной идет. Надо нам некрутов снарядить на царскую службу...

— Набор! набор! — загорланят ребята после этой повестки, со всех сельских концов сбегаясь в Забаихин огород: — Забаиха на сходку зовет, — собирайтесь!

И тут она, бывало, весь набор по порядку, как он в самом деле своею старою дорогою шел, с малышами проделывала. Примутся сначала дело обсуждать: кому итти в солдаты, кому дома оставаться, потом, как выберут годных, выть по ним примутся. Каждому выбранному назначались из девочек мать и сестра, чтобы они ему рубахи шили и плакали по нем, как на самом деле бывает.

Из-под знакомых ветел огорода провожали потом рекрутов матери и сестры в прохладные сени черничкина дома, которые, по общему согласию, изображали далекую губернию. Там встречали их исправники, становые и всякие городские генералы, громко возглашавшие роковое: «лоб!».

Самого старого и главного генерала всегда представляла сама Забаиха. Подведут к ней, бывало, какого-нибудь бесштанного семилетнего молодца, босого, с растрепанными вихрами, в холстинной замасленной рубашонке, — она на него так-то сердито глазами вскинет, так-то грозно седые брови наморщит, что редкий малыш в самом деле не считал ее в это время за генерала и не пугался.

— Я, ваше благородие, — закартавит он, дрожа от страха, — один сын у отца с матерью.

Меня мир по ненависти в солдаты сдает, вина ему отец мало купил.

— Молчать! — закричит на него сердитый генерал. — Не люблю разговоров. Лоб.

Выступала тут к начальнику рекрутская маленькая-маленькая мать — с крошечными дочерями — и совсем птичьими голосами начинала молить его, чтобы он «ослобонил» от солдатчины парня. До тех пор валялась девочка в ногах у безжалостной старухи, пока племянница ее, меньшая из всего ребячьего стада, разжалобившись их слезными просьбами, начинала сама горько плакать и просить, чтоб она не брила какого-нибудь Мишутку.

— Ну, хорошо, — скажет, бывало, умилостивленная Забаиха. И вслед за тем приказывала забракованному выбрить затылок.

А между тем племянница все подрастала, с каждым днем волосы ее все чернее и чернее делались, а глаза светлее и открытее. Ребята и девочки переставали слушаться Забаихиной команды, потому что команда эта с каждой игрой все больше и больше переходила в племянницыны руки.

— Становитесь, ребятушки, по два в ряд, — приказывает, бывало, Забаиха: — пойдем на сраженье. Я буду инаралом, а племянница полковником. Мы с нею вперед пойдем.

— Я буду инаралом-то! — тихим шопотом ответит дитя на теткину речь, завистливо выпучив на нее свои светлые глазки. — Ты и то всегда инаралом бываешь.

— Ах ты. мелюзга! — презрительно говорила старуха. — Туда же в инаралы лезет. Ты спа-

сибо скажи, что я тебя хоть в полковники-то произвела. Ежели ты так-то со мной разговаривать станешь, упеку тебя в солдаты, — вот ты тогда и заплачешь.

— Как же, заплачу! Я не пойду в солдаты-то.

— Ну, будет, будет, ребятушки, слушать ее. Стро-о-ойся!

— Не слушайте ее, ребята! — кричала племянница со слезами. — Я сама вами командовать стану. Я инарал, а она-то старуха сумасшедшая.

И всегда делалось так, что ребячьи шеренги выходили на улицу, предводительствуемые племянницей. Старуха в этом случае смешивалась с простыми рядовыми, потому что ежели она иногда и могла не покориться сердитым племянницыным глазам, зато всегда покорялась слезам девочки.

— Ну, ну, господь с тобой! — утешала Забаиха плачущую: — командуй, а я буду полковником, на твое место стану.

— Солдатом будь! — настаивала упрямая. — Я и полковником сама буду. Я хочу одна всяким начальником быть.

Таким образом, она взяла большую власть и над ребятами, и над самою теткой, с которой она решительно сняла все первостатейные должности и возложила их на себя.

— Я весь век так-то! Все добрым людям уступаю, — говорила Забаиха, когда люди в насмешку жалели об ней, что родная племянница, маленькая такая, разжаловала ее из инаралов в солдаты. — Все так люди делают, — жалобно добавляла она. — А она ведь родная мне... Мне для ней ничего не жаль.

И все это маленькое дело шло от начала до конца при моих тогда еще молодых глазах. Вместе с племянницей снимали мы с Забаихи ее великие чины. Я был единственным помощником девочки в этом трудном деле, потому что мне одному только из всех детей поверяла она, как ей в одно и то же время во всех играх хотелось быть и генералом, и волостным головой, и домовой хозяйкой. Рассказывала она мне об этом желании всегда где-нибудь наедине, чтобы не подслушал ее кто-нибудь и не стал бы смеяться. Людские насмешки с самых ранних лет всегда старалась отклонять от себя девочка, — они так сильно уязвляли ее молодую душу, что как бы ни был велик и бородат насмешник, она сперва, слушая его, долго и злобно смотрела на него своими широкими глазами, а потом разозленным котенком бросалась на большака и царапала его руки, неосторожно сложенные на груди.

— Я вот ему только буду уступать, — говорила девочка, указывая на меня. — Сделаю его инаралом, а сама отойду к стороне и буду глядеть, как он вами командовать станет... Я так-то на него очень люблю глядеть...

И в то время, когда вся эта молодая команда и сама Забаиха усердно занимались истреблением накраденных из соседних гнезд и погребов молока и яиц, племянница без отрыва смотрела на меня своими лукаво-умными глазами, и временем, когда внимание компании было окончательно занято каким-нибудь обеденным происшествием, она стремительно целовала меня и говорила тихим шопотом:

— Я тебя, Ваня, пуще всех люблю, пуще тетки. Когда вырасту большая, я за тебя, заправду, замуж пойду. Только ты, пожалуй, не возьмешь меня, потому ты дворовый, отец у тебя в синем платье ходит и грамоту знает.

Точно таким же тихим шопотом принимался я тогда уверять ее, что это ничего, что я дворовый, и это ничего, что отец мой в синем платье ходит.

— Беспременно я на тебе женюсь, — говорил я ей, целуя ее маленькие загорелые руки, которые она обыкновенно во время таких разговоров клала на мои плечи. — Вырасти бы только поскорее нам.

— Я скоро вырасту, — обещалась девочка. — Я, когда захочу чего, я сейчас сделаю. Ты только расти поскорее.

Отец принялся между тем учить меня грамоте, которая особенно потому мне не нравилась, что на целые дни разлучала меня с девочкой. Я бесполезно проводил мучительно длинные и жаркие летние дни, сидя над азбукой и тоскуя о знакомом огороде. Его ветлы, его трава и плетень, раскаленное солнцем небо, накрывавшее его, представлялись мне гораздо виднее, чем все эти азбучные азы и титла; а черномазая девочка с своими длинными волосами, с ясными, всегда так нежно смотревшими на меня глазками, бегавшая по этому огороду, окончательно затемняла глаза мои, так что они очень плохо знакомились с раскрашенными яркою краской картинами в священной истории, которыми отец хотел заохотить меня к грамоте.

Представлялось мне, бывало, что девочка сидит теперь где-нибудь в уголке и тоскует по мне, — я воочию видел ее горькие слезы и, забывши про строгий отцовский приказ смирно сидеть без него в избе и учить урок, стремительно бежал утешать мою маленькую подругу.

— Али тебя отец не устал учить ноне? — радостно спрашивала меня девочка, когда я отыскивал ее.

— Я убег, я по тебе очень скучился, — печально отвечал я, потому что знал, что дома отцовская розга здорово выхлещет меня за мое ослушание.

— А ну-ка он тебя сечь будет? — тревожилась за меня девочка. — Ну-ка он тебя до крови исхлещет?..

— Исхлещет и есть! — угрюмо соглашался я, представляя себе тяжелую необходимость быть исхлестанным.

— Милый ты мой! Беги же скорее назад. Может, он еще про тебя не встрянулся.

Но ожидания ее, что отец мой не встрянется про меня, почти всегда были напрасны. Рассерженный моими всегдашними отлучками, он дожидался меня в избе и, при входе моем, сурово спрашивал:

— Ты что же это? Так-то ты отцовой воли слушаешься? Сказывай: куда бегал, где был?

— А я так... — мямлил я. — По улице пробежал, в огород к Забаихе забегал. Скучно стало в избе одному сидеть.

— Зачем же ты в огород к Забаихе бегал, когда я тебе велел урок учить?

— Племянница там... в огороде-то... Мне без ней скучно...

А племянница во все время этих переговоров так, бывало, и юлит под окнами нашей избы. Юлит, как птичья мать над гнездом, когда завидит, что разбойники-мальчишки, разоривши это гнездо, вытаскивают из него ее малых птенцов.

Всего чаще отец принимался меня хлестать, несмотря на мои рассказы, что мне без девочки скучно, и в это время я обыкновенно видел, как в окно нашей избы пристально уставлялось маленькое личико дворянки, встревоженное, облитое слезами.

— Не бей, не секи его, дядюшка! — наконец вскрикивала она с улицы, с завальни. — Он только на минуточку ко мне приходил. Нам друг без друга скучно...

Увидал отец, что без девочки я вряд ли скоро выучусь грамоте, и потому однажды, когда мы в праздничный день гуляли вместе с ней подле нашего дома, он, подозвавши ее, с веселым смехом вот что заговорил:

— Так как же ты, дворянка, насчет Ванюшки-то говоришь? Скучно вам друг без друга? А?

— Скучно, дядюшка! — ответила барышня, закрывая рот широким рукавом своей праздничной рубахи. — Я за него замуж пойду, когда большая выросту.

— Ой ли? — спросил отец с еще более веселым смехом.

— Право слово, пойду.

— Вряд ли он тебя возьмет, девушка! — сомневался отец. — Я ему настоящую барышню высватаю.

Горько заплакала девочка, слушая эти слова, и не только рот, а даже все лицо закрыла своим рукавом и ничего сердитого в ответ на эту отцову насмешку, как с другими она людьми всегда делала, не сказала.

— Будет, будет тебе, дурушка, плакать-то, — ласково сказал ей отец и взял ее при этом на колени к себе посадил. — Я пошутил. Поди-ка, Ваня, невесте-то своей яблочко принеси покраснее да послаще.

Отец у меня добрый был на все село. Когда я, по его приказу, принес девочке яблоко, он все еще держал ее на коленях и разговаривал с ней:

— Что же ты, милая, согласна будешь грамоте с ним вместе учиться? А? Тогда уж вы друг по дружке скучать не будете, — вместе сидеть будете.

— Согласна! — шептала она. — Я только у тетки спрошусь.

— Нечего тебе у тетки спрашиваться! Я сам с ней об этом деле потолкую, — закончил отец, и на другой же день в нашей избе, из которой по утрам обыкновенно все уходили на барщину, я сидел с барышней и рассказывал про картинки, напечатанные разными красками в «Сто четыре священных истории».

Очень скоро мы с ней стали, по собственному сознанию отца, и читать и писать не в пример лучше его, так что он счел за нужное попросить для нас у священника каких-нибудь новых книг. Священник дал нам четьи-минею, и целый год, кажется, у нас не было другого разговора, как только о приобретении мученического венца. Различные примеры мучеников и мучениц запа-

лили наши головы страстным, истомлявшим желанием итти куда-нибудь и прославлять святое имя Христово по всем широким концам земным. Сонные видения наши были не что иное, как отрывки из святых поэм четьи-минеи.

— Господи! Как я кричала ныне во сне, — рассказывала мне девочка, когда приходила от тетки к нам учиться. — Будто бы какой-то ненашинский царь так тебя мучил: жег он тебя на огне, щипал разожженными железными щипцами, дикими зверями травил и, наконец, велел отрубить голову.

Мне тоже в ту самую ночь снился почти такой же сон. Снилась мне широкая площадь в огромном городе. В средине этой площади возвышался высокий намост, около него сидели и стояли неоглядные толпы язычников, не знавших живого бога; а на самом намосте, преданная в руки зверских мучителей, стояла моя девочка, с круглым венцом на голове из блестящих солнечных лучей и с виноградною лозой в правой руке. Все здесь бывшие громко будто бы дивились ее красоте и терпению, с которым она переносила лютые муки, громко и сладко прославляя в них истинного бога.

— Голубушка моя! — говорил я ей про свой сон. — Я то же самое, что и ты, ныне во сне видел. Много людей твоей красоте дивились, как ты на намосте без одежды стояла. Только совсем было я задохся от злости на этих людей, — я не люблю, когда на тебя глядит кто-нибудь.

Но четьи-минея была скоро прочитана. Еще нам откуда-то достал отец божественных книг.

Однажды услышал наши разговоры дьяконский сын — семинарист, который ходил к моему отцу учиться живописи. Как теперь помню, первая книга, которую он нам дал читать, была «Граф Монте-Кристо». После Монте-Кристо мы перечитали все исторические сказки Дюма, а потом семинарист, приехав через год уже на летние вакации, начал читать вместе с нами Галахова «Христоматию». Он терпеливо и охотно все лето вкладывал в наши мозги настоящее дело.

Горько плакали мы в это время над «Басурманом», весело смеялись с Киршей, а потом, когда пришла пора, семинарист объяснил нам мучительную прелесть Пушкина и мрачно-величавое уныние Лермонтова. Наконец, после глубокого потрясения, которое испытывали мы, выслушивая от нашего учителя великие тайны горького гоголевского смеха, я однажды, выбравши хороший день, в который моя барышня была особенно весела, отвел ее в сторонку и сказал ей:

— Ну, прощай, Наташа! Мы с дьяконовским сыном в Москву идем. Там, он говорит, мы учиться будем...

— Бог с тобой, друг мой милый! — ответила мне уже пятнадцатилетняя барышня. — Не замешкайся там, голубчик мой! Не оставь меня сироту, не забудь... А потом...

IV

Целых десять лет прошло, прежде нежели я увидел дворянку.

Раз шел я по петербургским улицам, весь изможденный теми дарами цивилизации, кото-

рыми обыкновенно осыпает она плебея, старающегося, как говорится, с суконным рылом пробиться в калачный ряд...

Шел я, говорю, и, вследствие многоразличных обстоятельств, группировал в голове моей небольшие остатки некогда приобретенных мною географических познаний, которые бы помогли мне припомнить широкие дороги в мою родную степь, к родимой сохе, к которой в этот день я окончательно положил себе возвратиться.

Моя дума делала меня до того невнимательным к столичному шуму, что я решительно не приметил, как мои дырявые сапожонки в один момент истерзали одно необыкновенно шикарное шелковое платье.

Я быстро приподнял голову, придумывая извинение. Предо мной, с яростным гневом на невежу и с грозно поднятым зонтиком, стояла барышня.

— Барышня! Это ты? — вскрикнул я.

— Ну, моли бога, Иван, что я тебя узнала прежде, чем ты меня. А то я бы тебя так зонтиком обравняла, — долго бы помнил.

— Давно ли ты здесь? Как попала сюда?

— А вот пойдем ко мне на квартиру. Я тебе расскажу, как я попала сюда.

Рассказ ее был не длинный, обыкновенный рассказ. Но только после него я, как некогда Забаиха, заломил над головой свои руки, вцепился ими в жидкие волосы и, терзая себя, с давно позабытыми слезами кричал:

— Сестра моя! Сестра моя! Что же это ты сделала над собой? Зачем ты нашу честную родину опозорила?

Говоря про родину, я и не думал, что с нею вместе барышня опорочила и любовь мою, потому что в это время я так был убежден в погибели моей горемычной головы, что было бы с моей стороны крайне преступно припоминать девушке наше прошлое; но, однакоже, мы его припомнили...

Припомнили, да, боже мой! Как же пили, как же только зверски пили мы с дворянкой, припоминая это прошлое, — единственное наше добро, к которому, на великую нашу беду, чувствовали даже во время пьянства, что нет нам возврата, нет, и никогда не будет!..

1863

ОДИН ДОКТОР

БОЛЬНИЧНЫЙ ЭСКИЗ

I

Я не люблю больниц. Всевозможные микстуры, тинктуры и унгвенты я считаю не чем иным, как одиннадцатою египетскою казнью, а доктора все, без исключения, представляются мне не иначе, как в виде мертвой головы, изображаемой на суздальских картинках, пред которой на нарочно придуманном пюпитре обыкновенно стоит большая чашка кофе и лежит или листок газеты, или литографированный ученый немец.

Поэтому ни с чем медицинским или фармацевтическим до полного обморока я сталкиваться не могу. Но человеческая слабость, скажу парадокс, сильнее человеческих убеждений.

Однажды, забытый всеми, голодный и холодный, я шатался по моей тесной каморке и покашливал тем отрадным кашлем, который человеку, не сумевшему устроить себе безмятежную жизнь з д е с ь, предвещает полный мир и ничем не смущаемую тишину т а м. Желчные сокрушительные волны всего меня залили собой в это время.

Людская попечительность в виде одного моего приятеля, поставленного счастливой судьбой совершенно не у дел, заставши меня в таком

положении, сейчас же, без малейшего разговора, пролила об этом положении несколько чувствительных слез сострадания и сожаления и насильно потащили в больницу.

Зная мои убеждения насчет докторов и всего докторского, я, как вы легко себе можете представить, отпирался от больницы и руками и ногами; но приятель мой, имея любящую душу и здоровые ручищи, без особенного труда доволок меня до могильного преддверия, где навсегда отлетело от меня мое уродливое представление докторов в виде мертвой головы с газетой или ученым немцем перед выколотыми грозной смертью глазами.

Вот какого отца и благодетеля увидал я в могильном преддверии, который, как некий волшебник, сразу усмирил мою взволнованную желчь, чрез что, конечно, заставил меня выкинуть из головы несчастную мертвую голову и даже засмеяться ей во все мое сморщенное желтое лицо, по крайней мере с год перед этим ни разу не смеявшееся.

II

Еще прежде в мою одинокую обитель не раз залетала громкая слава о великих подвигах отца и благодетеля. Вдовые бабешки, сожительницы мои по темным углам необъятных Грузин и Камер-Коллежского вала, усвоивши себе похвальное обыкновение разрешаться от бремени не иначе как при неусыпном присмотре отца и благодетеля, читали ему, по миновании своих болей, такие похвалы:

— Истинно: по заслугам его господь награждает! Придешь так-то к нему, а уж он тебя знает, помнит тебя с прошлого года. «Что, спросит: кого-то нам с тобой нынешний год бог пошлет?» Говорит и смеется. Все он у тебя шуточкой до тонкости выведает. «Ты, говорит, пришли ко мне портного-то своего — починка у меня кой-какая есть». — «Да у меня, ваше высокоблагородие, не портной нынешним годом, а плотник». — «Плотник, так плотник — это, говорит, все едино, и его присылай, потому у меня каретный сарай не в порядке. Я, говорит, тебе помогу, а он мне поможет. Рука руку моет, слыхала, небойсь, пословицу-то?»—спрашивает так-то.

— Богатых купчих и дворянок всех до одной он лечит, — слышался другой голос. — Нас бедных даром он исцеляет, зато богатые не оставляют его. Сказывают, купец ему один пять тысяч в раз отвалил за сынка. Без него бы и мать, и младенец беспременно погибли.

Дальнейшая история о благодетеле шла уже тихим шопотом, часто прерываемым сдержанным хихиканьем и отрывистыми восклицаниями.

— Попалась ему одна—натерпелась!—смешливо восклицает кто-то. — Говорит: в жизнь никогда не забуду.

Нельзя было не завидовать этой славе, сумевшей проникнуть в темные углы, обитаемые мною и вдовыми бабешками. Разговоры о ней прекращались очень редко и с большою неохотой. Нужно было кому-нибудь сделать только самый незначительный намек на какое-нибудь благодеяние, сделанное хотя бы на французской земле, шопот и хихиканье начинались снова.

Доктор, лекарь, отец, а не начальник не сходили с бабьих языков, добровольно отпариваемых кронштадтским чаем.

III

Несмотря на необыкновенно-дремучие черные бакенбарды, красивою рамкой окаймлявшие широкое и белое лицо доктора Степановского, несмотря на элегантность, с какою он ласкал свои бакены и вообще какою он хотел, так сказать, запечатлеть все свои самомалейшие движения и поступки, я, к великой досаде моей, должен сказать, что доктор на мой первый взгляд показался мне весьма похожим на какого-то громадного, но неуклюжего великана. В этом тончайшем и чернейшем паче крыла ворона мундире, в этом белейшем паче снега белье, очевидно, заключена была каким-то злорадствующим колдуном душа певчего из помещичьего черноземского села. Мнилось, что вот-вот уважаемый доктор прекратит сейчас свою официальную прогулку по приемной палате больницы, станет в известную позу, откашляется и специальным басом человека, обязанного петь так, чтобы его можно было слышать и многим, и дальним, загремит сейчас какую ни на есть кантату.

Исполнение этого ожидания было тем возможнее, что в то время, когда мы, т. е. больные, сидели на длинных скамьях примыкавшего к приемной коридора, доктор в самой приемной мурлыкал один из известных ему мотивов самою густою и как бы озлобленною октавой.

Старый солдат-сторож, напоминавший своим унылым видом престарелую летучую мышь в изгнании, храбро стоял у притолки приемной, отстаивая ее таким образом от преждевременного в нее вторжения нетерпеливых больных.

Наконец началось:

— Впускай! — скомандовал благодетель летучей мыши, посмотрев предварительно на свой докторский, следовательно, неизмеримо дорогой хронометр, висевший на такой толстой золотой цепочке, которая, без малейшего сомнения, удержала бы антихриста, стремящегося, как утверждают справедливо рогожские начетницы, сокрушить нынешние порочные времена.

Длинная шеренга больных тотчас выстроилась, имея в голове оборванную испитую бабенку с нестерпимо оравшим ребенком на руках.

IV

В то самое время, когда бабенка равнялась пред доктором и вывертывала ребенка из бесчисленных отрепьев, лицо благодетеля приняло доброе выражение радостного счастия.

Стоит бабенка пред доктором, ребенок кричит и порывисто корчится, а черные бакенбарды благодетеля так и сияют. И широкое, толстое лицо сияет, и острые воротнички голландской сорочки, и ворсистый мундир. Наклонился он весь светлый и ласковый к ребенку и тонким таким, но вместе мужественным, в роде второго гитарного баска, голосом заговорил с ним.

— Что ты, что ты, милый, плачешь? Не плачь, я тебе сейчас гостинчика дам. — При этом док-

тор вынул из кармана леденчик и подал мальчугану. Мальчуган в ту же минуту умолк и во все глаза всматривался в это сладкое лицо, стоявшее пред ним, в волнистые бакенбарды и в блестящую золотую цепь от часов. Он даже сделал поползновение, достаточно осмотревши все это, пощупать и погладить. Доктор однакоже тихо отклонил такое любопытство со стороны малолетнего санкюлота.

— Нельзя, матушка, за лицо людей трогать, нельзя! — поучительно заметил он малютке, осужденному бедностью своих тятеньки и маменьки получать даровые и потому никуда не годные уроки.

— Что он у тебя все плох, попрежнему? Все грыжка еще у него, — ласково отнесся доктор к матери. — Ты, верно, не приглядываешь за ним, — верно, не так с ним обращаешься, моя милая, как я тебе прошлый раз толковал.

— Как, мой отец, не ухаживать? — плаксиво возражала бабочка.—Все я с ним, по твоим приказам, проделала, ничего не берет. Без сна одурела; все ночи напролет благим матом кричит.

— Так ты вот что с ним попробуй сделать: дам я тебе сейчас мазь такую, никакая болезнь против нее не выстоит — возьми ты этой самой мазью хорошенько малютку натри, так чтобы тело-то всю эту мазь без остатка в себя всосало, а потом затопи печь и пред огнем его и повертывай, и повертывай.

При этом доктор самым наглядным образом показал, как надобно повертывать пред огнем намазанного ребенка.

— Не обожги только, смотри, а то пуще будет орать, — присовокупил он в виде необходимого наставления.

— Спаси бог, обжечь!—взмолилась бабенка.— Тогда он меня совсем своим криком в могилу вгонит.

Получивши банку с побеждающей всякую болезнь мазью и отдавши поклон со слезами и смиренным подергиванием личных мускулов, имевшим выразить душевную признательность за благодеяния доктора, баба неторопливо отправилась восвояси, а по лицу доктора скользнула какая-то странная улыбка, снова переделавшая его из отца и благодетеля в неуклюжего великана. Смеялся как будто этот великан и говорил:

— Чудаки эти люди!

Вслед за этим воспоследовало явление второе: в приемную вошла бледная, изможденная женщина, в черном рубище, с клеенчатой котомкой за плечами. Долго и серьезно молилась она святым иконам, прежде чем повела рассказ о своей болезни. Доктор, умиленный этой набожностию, терпеливо ожидал конца молитвы, сериозно гладя свои бакенбарды. Все было тихо в это время, отчего общая картина воспринимала все более и более торжественный тон.

— Будет тебе, тетенька, молиться-то! — попробовал было искусить женщину наш солдат; но женщина не обратила ни малейшего внимания на этот совет и безмолвно, но выразительно оттолкнула от себя тощего воина.

— Не мешай ей, Ферапонтов! — печальным голосом сказал доктор. — Пусть странница за наши грехи бога помолит.

— Истинно ты сказал: за грехи! — начала странница гневным, почти мужским тенором. — Каков нонича свет? — подступая к самым бакенбардам доктора, допрашивала она его, — словно река в половодье волнуется, — вот каков нонича свет! Нет никакого спасения! Куда в теперешние времена от людской неправды укроешься, на каких крыльях от человеческих ругательных слов улетишь? Нигде не скроешься, никуда не улетишь! Везде тебя враг находит и побеждает! Так ли?

Доктор покорно наклонил свою голову в знак полного согласия. В ожидающей шеренге больных послышались вздохи и даже чье-то сдерживаемое всхлипывание.

— Вон оно! — шептался кто-то с кем-то в шеренге. — С одного слова набожного человека узнаешь. Вишь, как поговаривает: не то что мы, грешные!

— Вот ты теперь меня и лечи! — все больше и больше возвышала странница свой гневный тенор. — Как ты меня будешь лечить, когда я от роду моего больна никогда не бывала? Я вот пятнадцатый год ради имени Христова странствую — и никогда не уставала, никогда не болела.

По лицу доктора пробежали в это время те быстрые судороги, по которым наблюдательный глаз видит, что человек, коверкаемый ими, сильно злится на что-то и вместе с тем старается не показать этой злости.

— Как же ты меня будешь лечить? — переспросила странница. — Я ведь знаю, что я ничем не больна. Значит, это от врага. Теперича

иду ли я по темному лесу али по широкой дороге, вдруг зашуршит, зашуршит что-то у меня в голове, словно птица туда залетела, в ушах этакий ли звон пойдет унылый, пред глазами искры летают, круги огненные разноцветные кружатся, а он тут-то и начнет мне приставы-то разные приставлять: змеищев на дорогу-то наползет двуглавых и шестиглавых; ворочаются, проклятые, на дороге, смеются надо мной и, словно бы люди крещеные, говорят: «А мы теперь, раба, тебя беспременно искусим! И пойдешь ты в ад». И сейчас же ад в поле-то я увижу: пышет, пышет из него огонь, а он сидит себе в огне; на коленях у него Иуда с мешком денег, а в руках крючья железные; тыкает он теми крючьями в котлы кипучие, зацепит там грешника какого-нибудь за ребро и держит и смеется, а грешник-то кричит, так-то кричит, и все они там вой поднимают, словно бы звери голодные!..

Все крестятся при этом рассказе, вздохи делаются слышнее, всхлипыванье жалобнее.

— Тише! — чуть слышно командует солдатик.

— А ведь я знаю, что в поле нет ада. Уготован он нам господом неведомо где, — продолжает странница. — Значит, враг меня совсем победил. Чем ты, скажи-ко мне, лечить меня будешь в этакой болезни! — приставала она.

— А буду я, — с ироническим одушевлением ответил доктор, — лечить тебя вот чем: богу больше молись. Точно это враг над тобой издевается.

Странница была сильно поражена этими словами. Она, очевидно, не ожидала их.

— Пойду я теперь по городам и селам, — громко заговорила она, — по деревням разным и всякому про веру твою расскажу: вот, мол, где настоящий лекарь живет, к нему ступайте. Многим из вашего брата я про недуг свой рассказывала, только никто мне про такое лекарство ничего не сказал. Голову, говорят, мой холодной водой! А зачем ее буду мыть?

— Истинно! — ответил доктор на вопрос странницы, которая сыпала на него всевозможные благожелания и благословения.

— Не забывайте меня, матушка, вашими святыми молитвами! — заканчивал лекарь.

В это время мимо длинной шеренги, не в очередь, провалила в приемную красивая, молодая дама, так сказать, в заманительно шумевшем шелковом платье. При виде ее доктор необыкновенно грациозно изогнул свой античный торс и взволновал широкую грудь, что сразу придало ему вид развязного светского человека.

— Qu'est ce qu'il y a pour votre service, madame? — спрашивает он, придвигая пациентке стул.

— Je viens, monsieur, pour vous demander un conseil! — томным голосом отвечает пациентка, закатывая глаза, и в приятном, вырывающем из всякого человека крайнее сочувствие, изнеможении опирается на спинку стула.

— Veuillez prendre la peine de vous asseoir, madame!

После чего дама жеманно садится, а доктор с склоненною на бок головою и с облитыми маслом глазами, в чувствительном почтении, ожидает приказаний. Произошла не длинная, но

весьма выразительная пауза, которую обыкновенно выделывают люди, вдруг понявшие, что они необыкновенно симпатизируют друг другу.

— Ah! monsieur,— решается наконец произнесть пациентка голосом, выражающим непомерное страдание: — je suis extrêmement-malade!

Такой приступ произвел в докторе некоторое недолгое, но приятное колебание, разрешившееся, впрочем, цветущей улыбкой, которая только лишь мелькнула по алым губам великого человека, как тотчас же перешла в словесный ответ такого содержания:

— Pardon madame, vous n'en avez pas l'air!

Счастье ценителя выразилось в эту минуту таким добрым оскаливанием белых зубов, таким сладостным облизыванием губ, что барыня, как бы испугавшись этого беспредельного моря восторгов, болезненно простонала:

— Oh! monsieur!

— Oh! madame!— поспешил повторить ей доктор, без сомнения, поощряя ее безбоязненно продолжать ту наивную и вместе с тем необыкновенно пошлую дурь, которая часто отличает у нас разговор людей, имеющих претензию считать себя благовоспитанными.

В отрепанной шеренге пролетариев слышались вздохи и шопот:

— Вряд ли ныне успеет он осмотреть нас!

— Где осмотреть! Начнут эти барыни про болезни свои толковать — во сто лет обо всех рассказать не успеют.

Солдатик безмолвно и тоскливо смотрел в туманную даль приемной, если только у приемных может быть туманная даль, и осторожно пере-

станавливал свои тонкие, обутые однакоже в громадные сапожищи, ножки.

Между тем милые французско-нижегородские любезности лились тихим услаждающим взоры потоком, и всего вероятнее, что запах пармской фиалки, пересиливший в это время больничные запахи приемной, разлился от этих любезностей, а вовсе не от батистового, обшитого тонкими кружевами платка, которым барыня конфузливо прикрывала свое лицо при некоторых докторских расспросах.

— Si fait, madame, si fait! — ободрял доктор пациентку, когда она заикалась ответом. — Я понимаю вас. Je vous écrirais une petite récette. Это очень скоро пройдет, я вам это обещаю.

Спророчествовав таким образом, доктор выбрал из лежавшей перед ним бумажной кипы самый тонкий и белый лист, искусно отделил от него продолговатый кусок и, глубокомысленно потирая ладонью насупленный лоб, красиво-кудреватым почерком начал писать всегдашний дамский рецепт: apu. laur. coerset caet.

— Vous prendrez, madame, deux cuillerées par jour.

Ловкость, с которой он подавал рецепт, была поистине изумительна, ибо она принадлежала к числу тех грациозностей, которые, по Гоголю, составляют исключительную принадлежность только одних военных гг. офицеров.

— Je vous remercie bien, monsieur, — отвечает дама, производя легкий книксен, и уже протягивает за рецептом тонкие, розовые пальцы; но доктор, как бы внезапно озаренный

каким-то вдохновением, поспешно отдергивает рецепт и говорит:

— Bah! il me vient une idée, madame! Вам пришлось бы посылать в аптеку. Мне приятно будет избавить вас от этого труда. Désirez vous avoir votre remède à l'instant même?

— Ah! c'est trop de bonté, monsieur! — сладостно удивляясь, отвечает дама.

— Oh, madame, c'est mon devoir! Куропаткин! — скомандовал начальник подслеповатому фельдшеру: — сейчас же приготовить по этому рецепту. Впрочем... если бы... я бы тогда... — рассчитывает доктор, пристально всматриваясь в пациентку: — Voulez-vous bien me laisser votr adresse... Я бы завез вам на дом...

— Vraiment, monsieur! Vous ètes trop aimable! — изумленно, но с некоторой сладкой надеждой воскликнула дама и села писать адрес. По изображении своего местожительства она благодарила любезно ценителя крепким пожатием руки и что дескать: je vous remercie infiniment, monsieur! — на что доктор с большим чувством говорил:

— Pas de quoi, madame... Votre connaissance, madame... — Это, право... мне очень... очень приятно...

— Je vous salue, monsieur! — разлучается наконец барыня, усиливаясь отворить тугую большую дверь.

Доктор стремглав бросается к ней на помощь, трагически вскрикивая:

— Madame, je suis votre serviteur!.. N'oubliez pas, madame: deux cuillerées par jour! Deux cuillerées!

Наконец пациентка исчезает за дверьми, доктор, возвратившись на свое место, опять изображает неуклюжего великана. На губах его летают такие слова:

— Вот этакая больная!.. Ничего... с приятностью лечить!

Подумавши таким образом некоторое недолгое время, он вдруг бросился к дверям и в последний раз, но с отличным азартом крикнул:

— Deux cuillerées! Deux cuillerées!

— Merci bien, monsieur! — звонко принеслось в приемную из звонкой больничной швейцарской.

— Ну, ребятушки, подходите, подходите скорее, — родительски-ласково сказал наконец доктор ожидавшей шеренге. — Признаться, устал я с вами, да и некогда. Очень у меня много вашего брата-бедняков: всех объездить, так целого дня недостанет.

Передовой торопливо двинулся на этот зов. Это был большой черноватый мужик с распухшим глазом и с большой синевато-кровавой шишкой на лбу.

— Ну? — спрашивает доктор.

— А как у нас вчера праздник был... — заговорил мужик, но почему-то вдруг оборвался и смолк.

— Что же?

— Он меня — хозяин-то — и цопнул по этим местам. Вон как очи-то разнесло!

— А шишка?

— Шишка ничего! Чешется только самый вершочек-то, страсть как свербит!

— Заживает, значит!

— Слушаю-с, — поклонившись, сказал мужик и направился к двери.

— Куропаткин! Обмой ему кровь да дай чего-нибудь...

— Эка, барин-то у вас — клад, — толковал мужик с шишкой Куропаткину, который уводил его для надлежащих омовений праздничных ран.

— А я, батюшка, к вашей милости с просьбой. Будь отец! — умоляет худощавая, но еще молодая кухарка.

— Что такое?

— Есть тут один молодец, у одного хозяина мы с ним вместе живем вот уж годов, надо полагать, с шесть. Только все это он пристает ко мне, чтобы я за него замуж шла, а я за него замуж итти не хочу, потому парень он драчливый и вор. Только он и говорит мне: «Ну, так, говорит, я же тебя присушу; тогда поневоле пойдешь». Взял да и присушил, а теперь я ночи не сплю, а днем всякое дело из рук у меня валится — все о нем тоскую и думаю.

— Так что же?

— То-то, кормилец, травки бы ты мне какой дал: я на крест бы ее привязала себе. Может, она меня от этого парня и отворотила бы.

— Что же такое? Такой травки я тебе дам. Супротив этой травы вряд ли присуха выстоит. А если не поможет — приходи опять; я тебя тогда заговору одному научу...

— Спаси тебя бог, ваше благородие! — молится бабенка и уходит, бережно завертывая траву, отгоняющую присуху.

— Ну, ребятушки, на нынешний день довольно! — обратился доктор к шеренге. —

Совсем времени нет. Ступайте с богом, а завтра опять приходите — всех вылечу, без сомнения; останетесь довольны. — С этим словом благодетель взял шляпу, и скоро в швейцарской раздалась его густая и приятная октава, напевавшая для нескучного препровождения времени какой-то церковный стих.

— Что это за лекарь такой чудесный? — удивлялась расходившаяся по домам шеренга. — То-есть всякую болезнь он с одного маха берет...

— Нет, ты вот что заприметь, — толковал другой голос. — Другие лекаря, когда домой идут, сейчас это они: тра-ла-ла да фю-фю, а он всегда божественное поет, все что-нибудь из церковного норовит.

— Все это, батенька, богом делается! — ни к селу ни к городу отозвалась какая-то сгорбленная в три погибели старушонка.

«Истинно: все это, батенька, богом у нас ведется!» — сказал я про себя в эту минуту, бесцельно посматривая на громадные корпуса больницы, по выходе из которой, я, как и доктор, ощутил неодолимое желание петь, каковому желанию неуклонно и повиновался во всю мою длинную дорогу до моего убогого логовища.

ЛИРИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА СИЗОВА

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕПОК, ПОЛУЧАЕМЫХ НАШИМИ МОЛОДЫМИ РЕБЯТАМИ ПРИ ИХ ВСТУПЛЕНИИ В ЖИЗНЬ.

I

Мое настоящее дело главным образом заключается в том, чтобы поварьировать на тему некрасовского школьника. Впрочем, я имею сообщить вам не одну только умиляющую душу историю, как школьники поднимаются с места в свою многотрудную дорогу и как они, руководимые участием чувствительных ближних, делаются, под конец своей трудолюбивой и многополезной жизни, яркими звездами различных горизонтов, в чинах статских, а иногда и действительных статских советников. Я постараюсь быть гораздо честнее: я по возможности покажу, как ребята держат себя в дороге и даже как самая дорога, своими буйными ветрами и палящими жарами, прогоняет с молодых щек ребячий румянец.

История эта, признаваясь по чести, хотя и принадлежит к числу тех, которые весьма справедливо для нашего общества называются обыкновенными; но тем не менее мне всегда грустно слышать, когда тупость известного сердца дошла до того, что называет их скучными.

Я решительно отказываюсь когда-либо помириться с справедливостью того имени, которым

людская очерствелость, с высоты житейского величия, снисходительно характеризует необузданно-страстные жалобы молодого горя, и потому с особенною смелостию рекомендую вам конец моей истории, когда уже, так сказать, суровая осень бурно налетит на розовые надежды вольного странника и нещадно обломает их легкие крылья; когда потухнут и нальются кровавыми слезами светлые глаза отрока при виде этого невозвратного отлета молодых дум и видений, отвиснут пухлые щеки и вообще когда раздастся первый ропот человека на первое и сериозное его столкновение с действительной жизнью.

Что касается меня, то я нахожу этот процесс весьма любопытным. Переваривши его, — сочиню новый эпитет, — собственно желудочно, я не нашел в нем даже самых малейших признаков скуки, которую находят в нем люди, искушенные опытом жизни.

Меня, может быть, и удивила бы эта разница взглядов на одну и ту же вещь, если бы я не знал, что люди вообще, не исключая даже и искушенных опытом жизни, как и все бессловесные твари, только тогда чавкают, когда сами едят, т. е. собственным ртом...

II

Я вырастал в то самое время, когда провинции дорывали последние листы книг в толстых кожаных переплетах, книг, напечатанных на грубой синей бумаге, шрифтом, испортившим столько ясных глаз, содержание которых, слад-

чайшее паче всех медов видимого мира, навсегда отуманило столько здоровых светлых голов.

Г-жу Жанлис стащили тогда в темные чердаки помещичьих домов, где крыс было в миллион раз больше, нежели привидений и всяких ужасов в ее замках. Не довольствуясь жирной тамбовской ветчиной, крысы пожрали все чудеса м-м Жанлис до того без остатка, что она едва ли когда может возвратиться из поистине тайных областей загробного мира. Фанфана и Лолотту, чувствительных детей чувствительного Дюкре-дю-Мениля, беспощадно прирезал жестокий Ринальдо-Ринальдини, когда их оставили наедине в темном подвале дома, занимаемого директором гимназии. Знаменитый «отступник» виконта д'Арленкура, столько лет бывший грозой Франции и заботою Карла Мартеля, погиб под тяжестью русских кулебяк, рассказывая их поджаристым коркам про свои необыкновенно геройские подвиги.

И многое другое погибло тогда от необоримо сильного и бурного дыхания другого времени!

Дьячкам, всеобщим тогдашним педагогам, нечем стало тогда дарить своих воспитанников в дни их ангелов, потому что издания типографий Иверсена и Семена сделались тогда как-то менее часты.

Так мощно дрыхнувшая степная глушь тревожно загрезила в это время. С болезненным стоном она долго отмахивалась от чего-то, а между тем Петербург и Москва открыли в это время частый ружейный огонь, чтобы им окончательно разбудить глушь. Выстрелы, как говорится, попадали за дальностию редко, но метко.

Юрий Мстиславский и Бусурман, Наблюдатели и Телескопы, барон Брамбеус и армия альманахов и сборников — все это истратило не менее миллиона миллионов зарядов; но божье время, увидавши, что и цель далека, что и стрелки плохи, и оружие у них не дальнобитко, пододвинуло тогда иные батареи. Послышались голоса, созданные богом не быть гласами вопиющих в пустыне. Они заглушили собою щебетанье ружейной пальбы. От грома уст Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Белинского сразу, без необходимых потяжек и зевоты, глушь встала на ноги и пошла.

Я и много молодого, кроме меня, сидели тогда в таких толстых, таких мрачных стенах, что до нас чуть-чуть только доносился гром даже и этих четырех артиллеристов. Свет от их выстрелов проникал к нам каким-то бледным, крайне болезненно действовавшим на наши глаза, которые так пригляделись к темноте нашего заключения...

Многие из нас даже навсегда оглохли от этого грома и ослепли от этого блеска. Многие мучительно умерли, сожженные и разбитые молниями какой-то другой, ни разу ими не слыханной и невиданной правды.

Со мной лично ничего подобного не случилось; я даже, по физической природе своей несокрушимый плебей, ощутил тогда в сердце моем какую-то мучительно-восторгавшую радость; в мою голову ударил откуда-то летучий, но светлый луч убеждения, что мне неминуемо нужно быть *там*... потому что *там* битва... и я пошел...

Никакие, даже самые толстые палки не выбили из меня этого решения, подсказанного мне всеубеждающим временем.

III

Мне было шестнадцать лет в то время, когда я, так сказать, взял одр свой и пошел. История началась таким образом.

Предпоследняя августовская ночь, ночь Ивана Купалы, царила над степным широким селом. В окна нашего с сестрой сиротского домишка назойливо лезли ароматы созревших плодов; ночная теплынь почти видимыми волнами вливалась в комнату. Облетевши перед этим все яблони и груши, кусты смородины и кусты диких роз, которыми зачерпнулся наш маленький палисадник, она налетала на наши головы какою-то странною тяжестью, которая обыкновенно заставляет человека так долго думать со склоненной на грудь головою.

Впрочем, я отказываюсь поэтизировать прелести ивановской ночи, хотя те многообразные волшебные ужасы, которыми, по народному говору, исполнена она, справедливо требуют хорошей поэмы. Интересы, более насущные, потому что личные, глубоко занимали меня этою ночью.

— Вот говорили, что Ванька Сизой хорошо учится в семинарии, — толковало наше село пред моим уходом, — а он, поди-ка! В Питер еще идет доучиваться-то. Значит, не все произошел. Понимать надо: из губернии-то его по шеям турят, потому не годится, должно быть.

— Надо думать, что так, — разрешил общие сомнения первый сельский богач мещанин Миколай Миколаич: — Гляди на поповых ребят: хуже они его в церкви поют и читают?

— Где хуже! — обыкновенно отвечали Миколаю Миколаичу: — И голосистее, и грамотнее Ваньки они не в пример будут.

— Так — это правда! А ведь они, вы только подумайте, поповы дети, почитай обер-офицеры, а как поступают? Встретишься так-то где-нибудь с ними, а они сейчас долой картузы! Наше вам почтение, говорят, Миколай Миколаич! Всегда я их за такую покорность всячески ласкаю и деньжат тоже на дорогу безотменно даю по милости. Теперь рассуждайте вы про Ивана: кто он? Сирота! Из какого звания? Вольноотпущенный! В семинарию по милости господина помещика принят сверхштатным. Поймите это: сверхштатным! Все равно выходит, что пятое колесо у телеги. Верно?

— Верно!

— А он куда нос дерет? Ты, спрашиваю я у него однажды, что же это, Иван Иваныч, никогда мне не кланяешься? Ай, говорю, в семинарии-то вас учат на одни только звезды глаза пялить? Добрые-то люди, когда с тобой встречаются, ты и не разбираешь их, на звезды-то на свои глядючи! Говорю это я ему и думаю про себя: дай-ко, мол, парня-то уму-разуму поучу. Некому, мол, сиротства его на истинный путь наставить, а сам подхожу к нему и хочу его рукой-то за чуб ухватить, костылем приловчаюсь так-то вдарить его полегче... Только что же он? Выпучил на меня бельмы

и смеется; смеется и говорит: «Проходи, проходи, говорит, покуда цел, Миколай Миколаич!»

— Вот озорной парень, сейчас умереть! — удивлялась публика.

— Рази можно старику так грубить? — все больше и больше горячился Миколай Миколаич: — Ну, теперь он, положим, уйдет в Питер али там в другое место, только ведь сестра его и братишка здесь же останутся. Как же я с ними по своему великому богатству должен буду тогда поступать? Должен я их тогда всячески притеснять и казнить, дабы и они такими же злобными, как их брат, не сделались... Теперь думай: ведь он меня через эсто — этот Ванька треклятый — в большой грех вводит?

— Точно: ответ тебе за него придется немалый держать!.. — с тяжелыми вздохами и с печально понуренными головами говорили Миколаю Миколаичу его слушатели.

— Нет! По-моему вот как, — заканчивал Миколай Миколаич: — теперь вот он в Питер идет, свою фанаберию соблюдаючи, а у нас на селе нашлись дураки, какие толкуют, что он каи бы там за свою науку дворянство себе в скором времени выслужит, а на мои глаза — он просто в ахтера идет, потому вид у него, когда ты, в сердцах находимшись, ругаешь его всячески, самый ядовитый бывает, как у козюли лесной. Смотрит он на тебя, глазом не сморгнувши, а губы у него так и играют... Вот бы теперь, пока он дослужится до дворянства-то, взять бы его нам на прощанье, общим суседским судом, пригнуть к матери сырой земле да хорошенько за волосья пробрать, опять же и

пинками тоже али бы хворостом: помни, мол, свое сиротство! Наукой-то своей не очень гордись — много у нас ученых-то по сельским кабакам шляется да народ православный своей дурасливостью потешают...

— Заедят они меня без тебя! — пугалась сестра моя этою ночью. — И теперь уже, так и то прохода мне не дают: вот, говорят, вы с братом господами скоро будете, так нас бы к себе в крепость купили. Служить, говорят, верно вам станем, — а сами смеются.

— Пусть их смеются, — отвечал я, весь поглощенный печальною мыслью о скорой разлуке с сестрой, которую оставлял на всякую казнь и притеснение со стороны Миколая Миколаича и ему подобных. Помню только, поучала ее моя юность, думавшая в то время, что нет в мире вещи серьезнее и умнее ее: «Все эти насмешки и несправедливы, и продолжаться много времени не могут. Как только я маломальски устроюсь там, сейчас тебя к себе возьму».

Выполнить эту мысль мне казалось тогда так легко, потому что в это невозвратное время я представлял себе Петербург такого рода живою душою: я думал, что весь этот сок русского человечества, населивший собою, как значилось в некоторых описаниях столицы, хладные и болотистые пустыни приневские, лишь только я поцелую гранит, устилающий мою обетованную землю, сейчас же миллионом своих голосов обрадуется мне и скажет:

«Ну, — скажет, — здравствуй, брат! Каково доплелся? Каковы там у вас, в степях, нынешним годом хлеба зародились?»

«А ничего, — предполагал я отвечать Питеру: — хлеба у нас ныне слава богу; мука, мол, пятиалтынный пуд, овес два без четверти, и т. д.».

«Это хорошо! Слава богу, что дешевы хлеба, — мнилось мне, скажут петербургцы, причем осенят себя крестным знамением. — Ну, теперь, — присовокупят они, — работай! Нам работники, друг ты наш сладкий, до зареза нужны».

После этого мне оставалось только осведомиться о месте жительства «alma mater», этой первой страстной мечты моей юности, со страхом и благоговением преклониться пред ее материнской, следовательно, никогда не увядающей красотою, а там уже сама она крепко имела прижать мою одинокую голову к своей любящей груди.

Этими именно соображениями руководствовался я, когда поучал сестру равнодушно смотреть на насмешки соседей и Миколай Миколаича и не плакать по разлуке со мной.

— Теперь потерпишь, зато тогда хорошо будет, — утешал я ее. — Вместе будем жить на свои труды: ты шить будешь, я уроки буду давать.

— Ты только в господа не ходи, — неожиданно сказала мне моя сирота: — Знаешь, какие они, господа-то?

Остаток последней ночи я употребил на то, чтобы по возможности уяснить деревенской наивности главные цели моего похода. В молчаливых стенах нашей убогой избушки разливалась тогда моя юношеская и, следовательно, ничем не сдерживаемая речь о том, что иду

я вовсе не за тем. Уничтожая сомнения, возникшие на мой счет в голове любимого человека, душа моя силилась для этого выразить девочке тот задушавший восторг, которым наполнялась она при мысли о научном труде и о результатах этого труда. Почерпая из этого источника силы, дававшие ей самой возможность не бояться ни дальней дороги, ни тех нищенских средств, с которыми нужно было проходить эту дорогу, душа моя думала, что и для бедной девочки источник этот будет, как и мне, одинаково освежающ.

Слабо освещенная пугливо моргавшей сальной свечкой избушка наша пугливо слушала мои обещания учиться для того, чтобы после отдать кровь мою и высушить мозг мой над постоянной и неуклонной думой о пользе этого бедного края.

— Всегда только одно и буду я делать, что везде и всегда говорить о наших развалившихся избах, о горе, которое безысходно живет в них, о наших головах темных, об умах обездоленных... — толковал я. задумавшейся сестре моей.

А в избушке была такая тишь в это время, что мой звонкий тогда голос казался каким-то необыкновенно глухим, как будто бы в нее втеснилось народа со многих деревень и что этот народ, слушая какие-то новые неожиданные речи, замер, как замирают в гробу, ожидая, что еще скажется. По ее черным стенам от моргающей свечки суетливо набегали какие-то скользившие тени, которые иногда собирались в большую дружную кучку, как будто со-

вещаясь о чем-то до бесконечности важном, как будто спрашивая друг у друга:

«О чем это он, что это такое он говорит?» — шопотом, почти слышным, но столько же непонятным, как эта ночь, чары которой всецело охватили нас, сирот разлучавшихся, говорили эти тени, стаей перебегали с одного места на другое и потом, как бы окончательно разрешив, о чем именно говорил я с покидаемой мною сестрой, вдруг разбегались, как разбегается испуганное крутящимся вихрем и темною грозой несмысленное овечье стадо...

Из полутьмы переднего угла, против обыкновения, как-то строго и неподвижно смотрел на меня лик всемилостивого Спаса, отцовской живописи. Говорю: против обыкновения, строго и неподвижно, потому что до этого времени я не знал лица ласковее и приветливее изображенного на иконе. Блистая в мои ребячьи глаза яркою зеленью тернов, из которых сплетен был венец, надетый на голове страдающего бога, голове, с длинными каштановыми волосами, сиявшей какою-то необыкновенно цветущей и вместе с тем невыразимо глубоко скорбящею красотой, отеческая икона по целым часам, бывало, приковывала к себе мою несмысленную душу, что-то, но невыразимо ласкавшее, нисходило тогда ко мне с высоты домашнего иконостаса и срывало с детских губ моих тот святой, полный беспредельной любви, лепет, который, говорят, ангелы носят прямо к подножию божьего престола.

Во всем селе не было красивее и умнее моей сестры; но когда я, задохнувшись от бесчислен-

ных вопросов, которые шел выучиться разрешать, посмотрел ей в лицо, я приметил на этом лбе одни только светлые капли холодного пота, обыкновенные у тех людей, которые стараются что-нибудь понять, знают, что для них необходимо понять это, и при всем том ничего не понимают...

Ясно увидел я, что многоразличные барские типы, наводняющие собой наши широкие степи, нисколько не испугались моих речей и попрежнему продолжали жить в напуганной ими сестриной голове. Занятая мыслью о том, что как бы я не ушел в господа, бедная девушка, видимо, хотела наслушаться и наглядеться на меня в последний раз, а между тем в ушах ее вместо моих слов раздавался громкий звон серебряных колокольчиков и бубенчиков, которым обыкновенно бывают увешаны лютые тройки помещиков и городских чиновников, ухарский свист их лихачей-кучеров, заглушающий даже топот всей тройки, и оглушительное щелканье саженного кнута, змеем вьющегося за щегольским тарантасом, а в глазах неотступно мелькал сам барин, сериозный и важный, из-под длинных и нафабренных усов которого виднелись разнообразные грозные наставления и длинный ременный чубук, обыкновенно окуривающий сельскую вонь дымом дорогого вакштафа.

В первый раз в это время, оглядывая нашу избу, я не приметил в ней тех признаков совершенно человеческого понимания, с какими доселе ее черные стены встречали в моих глазах мои и горе и радости, точно так же, как

и сестра в первый же раз ни одним словом не отозвалась мне.

Затосковал я тогда сильнее, нежели сестра моя тосковала по мне, потому что показалось мне в эту минуту, что даже и в родных стенах вырастившей меня избушки я совершенно один и что мне нечего больше делать в них...

Поклонился я в последний раз иконе Спасителя, впервые этою ночью сурово взглянувшего на меня, и пошел, и если бы не прохладная утренняя заря, расстилавшаяся уже тогда по сонному селу, я бы так и умер на родимой земле, потому что тот жар, который жег мою голову и который прогнал освежающий холод этой зари, неминуемо спалил бы меня, потому что я задохнулся бы от тех горячих слез, которые вдруг закипели тогда в душе моей, сразу в эту минуту понявшей, что кроме рыданий моей сестры, раздававшихся вслед за мной, много еще иных слез бесследно упадет на высокие травы степные, при всем том, что я пошел учиться предупреждать эти слезы...

IV

Последняя красота, которой в последний раз восторженно поклонилась моя юность, было утро, проводившее меня из родительского дома в далекую дорогу. Дальше потянулась уже нескончаемая лента молчаливой дороги под изнурявшим до пытки солнечным зноем, и пошли чересчур уже говорливые дорожные сцены с отечественным букетом, имевшим все средства своею пахучестью до тошноты одурманить даже

и не такую неопытную и молодую душу, какая сидела тогда в моем теле.

Красная хозяйская рубаха сидит, бывало, на тесовом изукрашенном узорчатыми балясинами крыльце постоялого двора. Полдневная жара томит смертной скукой беззаботную и потому необыкновенно жирную плоть, облеченную в красную рубаху. Сидит, говорю, она и тоскует, а рук поднять для того, чтобы согнать неотвязчивую муху, досадно жужжащую над засаленной бородой, лень. Отматывается хозяин бородою от мухи, позевывает и пасть крестит.

— Пусти, хозяин, в сенях в холодке посидеть, — попросишься у такой личности с поклоном, как следует страннику. — Поем тоже чего-нибудь: щец, молочка либо другого чего, что у стряпухи найдется.

Видит ведь хозяин, что православный стоит перед ним; слышит, что по-русски с ним говорят, а все же не вдруг, бывало, ответную речь поведет. Встрепенется как будто, когда слушает тебя, глаза выпучит, пристально осмотрит и потом уже спросит:

— Да ты из каких?

— Из цуцких — рази не видишь? — подсказывает за вас некоторый заезжий молодец, меланхолически похлестывая кнутиком свои вытяжные сапоги.

— А вот я тебе обо всем этом расскажу сейчас, ты впусти только в сени-то да дай хлеба-соли отведать.

— Ну, что с тобой делать! — снисходительно отвечает хозяин. — Полезай на крыльцо. —

И в то время показывает вид, что благодеяние, которое он вам делает, сказавши: «полезай на крыльцо», — нетленно и что вы должны сохранить о нем благодарное воспоминание во всю вашу бедственную жизнь.

— Погляжу я на этих барских, — заговаривает проезжий молодец, выбивая золу из деревянной трубчонки: — все-то они в сертуках, все-то в синих кафтанах. Ноги тонки, бока звонки, брюхо голодно.

— Ну, бог с ним! — с тихим раскатистым смехом вступается хозяин. — Заведено так, братец ты мой, у них исстари: дворовый нарядлив, до чужих горшков повадлив.

— Чудно! — задумчиво восклицает проезжий молодец, а хозяйская белобрысая девчонка, в полосатом ситцевом платье, конфузливо гигикает отцовской пословице.

— Куды поднялся и из коих мест будешь? — после некоторого недолгого молчания осведомляется красная рубаха.

— Издалека, хозяин, поднялся, а волокусь в Петербург.

— По каким таким надобностям? В слуги, што ли, к господам найматься идешь?

— А так, и идет он по тому делу, должно быть, — вмешивается в разговор проезжий молодец, — ваканция там одна очистилась: мазурья много там переловили да в острог пересажали, так он убылые места идет замещать.

— Ну, бог с ним! — протяжно снисходительствует хозяин, блаженно посмеиваясь. — Что это ты на него, за какую вину ешься?

— Ох, уж мне эти синие сертуки! — озлобленно, но без малейшего, обыкновенного при подобных восклицаниях, азарта говорит молодец. — От роду моего я их терпеть не люблю.

— Что это ты, братец, ненавистник какой? — спрашивает хозяин, продолжая попрежнему посмеиваться.

— Частенько они нашего брата, мужика, пуще господ едят! — закончил проезжий молодец и отправился в избу. — Пойду-ко я там у хозяйки стаканчиком разживусь разозлился я очень.

— Поди, поди, — посылал его хозяин, — знатную я вчера из города настойку на перце привез, так тебя с нее и жжет, так и палит. Ты не хочешь ли попробовать? Гривенник, братец, такой стаканище стоит, взгляни да ахни!

После моего отказа опробовать стаканище, возбуждающий, при взгляде на него, как сказал дворник, ахи, между нами воцарилось молчание, прерываемое только сладкой хозяйской зевотой и шарканьем босоногой стряпухи, приносившей мне еду.

— Так зачем же ты, милый человек, в эдакую даль волочишься-то? — спросил хозяин, наскучивший молчанием.

— Учиться иду. Школы там такие есть.

— Стало, неграмотный?

— Нет, грамотный.

— Коему же шуту ты еще учиться хочешь? Ежели грамотный, нанимался бы в правленские писаря. Штука, я тебе сказываю, за первый

сорт. Пожалуй, поскладнее еще нашей дворницкой части, потому писарю во всяком селе, небойсь сам знаешь, и первый поклон, и первый грош.

Имел же я глупость в это время разъяснять дворникам различие грамоты, усвоенной себе сельскими писарями, от той, за которою я шел в дальний Питер. И зевать переставали они, бывало, слушая меня; но конец концов моих объяснительных рацей был всегда такого свойства:

— Некому, вижу я, любезный, кнута об тебя как следует растрепать. Вот что! — обыкновенно толковали мне мои временные хозяева. — Попался бы ты мне на зубы... Ничего... я бы, пожалуй, дурь-то из тебя всю, без сумления, скоро повыпугал. — И вслед за тем прибавлялось следующее: — Ну-ка давай за обед разочтемся, некогда мне разговоров твоих слушать, — и при расчете за какую-нибудь гречневую кашу со щами хозяин клал с меня двугривенный, на том основании, что парень я совсем дура и что следовало бы меня поплотнее прижать как-нибудь, т. е. насчет станового, что ли, или бы в сельскую управу стащить; ну, да уж бог с ним! Всех собак не перевешаешь, всех бродяг, какие по большим дорогам шастают, не переловишь.

И потом все дальше и дальше шла эта широкая, но пустынная дорога, сожженная палящим летним зноем, развертывая пред моим ребяческим сердцем свои сурово-печальные картины и до страшной скорби пугая его неопытность непрерывным горем жизни, терпеливо

и постоянно страдавшей на ее ужасающих пространствах.

Идешь, бывало, а в голову налетели бесчисленные стаи каких-то в первый раз еще подвернувшихся мыслей. Знакомясь с ними, меряешь нескончаемый дорожный тротуар, забывая про то страшное физическое изнеможение, которое может быть забыто только в пешеходной дорожной беседе с самим собою, а тут опять встреча, опять действительность, накидывающая новую, хотя на первый раз и не глубокую, морщину на ясный лоб молодости.

— Помогай бог! — раздается назади какой-то разбитый бас, и вот с тобой ровняется человек в отрепанном балахоне, в плисовой, порыжелой шапочке, с каким-то, так сказать, просветленным от дорожных нужд лицом.

Слово за слово, и не приметишь, бывало, как расскажешь случайному товарищу свою короткую жизнь с ее настоящими целями, и каким тяжелым, долго не спихиваемым гнетом заляжет в душу каждое слово ответной истории странника.

— Сам я тоже из духовных, из семинарии, — резко и отчетливо раздавалось каждое слово спутника в этой ничем не смущаемой тишине одинокого поля, где слышно, как неожиданная в жаркий полдень струя тихого ветра слетела откуда-то на вершину придорожной вешки и заговорила с ней, где ощутителен шелест лучей солнечных, осматривающих, как зреют колосья хлебов. — Певчим я был в семинарском хоре, — звучит своим разбитым басом дорожное горе: — на музыке, по грехам моим, очень играть лю-

бил, и так меня, сказываю я тебе, дружок, враг искушал успешно этой музыкой, что какой только, бывало, инструмент мне ни подвернется под руку, фортепианы ли, или скрипка, или гитара, сейчас я на нем сам с одного взгляда, без всякого чужого показа, играть выучивался. Ну, и прослышал я, вот тоже как и ты, что есть в Питере школы такие, где учат музыке-то. Пойду, мол, выучусь и такую, мол, господу моему великому песню сыграю, какой соловью-певцу во весь век не сыграть. Сильно понапер на меня в это время искуситель — потому неотступно гудел он мне в уши такими чудесами насчет этой песни, что только и дела я тогда делал, что зайдешь куда-нибудь в потаенное место, слушаешь, навождение его и до тех пор, пока не найдут и не окликнут тебя люди, в злой лихорадке трясешься, то тебя холодом окатит, то запалит жаром невыносимым. Пошли, господи, царство небесное родителям моим покойникам. Не попустили они врагу надо мной издеваться: в скорости они, видя мое уныние такое, взяли, женили меня и к месту в соседнее село во диакона с превеликим трудом определили. По ветрености же моей тогдашней и по слабоумию, такая их родительская обо мне, недостойном, попечительность пришлась мне за великую досаду и горе. И стал я тогда пить. Жена моя бедная в ранний гроб сошла от такого моего окаянства. Опомнился я, ужаснулся и сейчас же постригся в чин монашеский, по малом служении в котором обрек себя на вечное по святым местам странствие. И хорошо так-то для имени господня трудиться! Видишь:

травы тут... птицы голосистые... облака ходят... божие солнце смотрит... Всегда тут господь пребывает с тобой и беседует!

Слушал я рассказ странника и думал:

«О! как эта жизнь, так мучительно сокрушенная, столь достойна того, чтобы в мощном величии пустыни постоянно созерцать господа и беседовать с ним...»

И, может быть, за то, что я выслушал этот рассказ не с невежественным или злым, безучастным смехом, как, по всем вероятиям, многие слушали его, в этой зелени трав, которыми волновалась пустынная даль, в этих бесчисленных блестках, которыми на ясном солнце горела дорожная пыль, в полетах лазуревых облаков и в неподвижной жизни полей я осязательно ясно увидал тогда светлый лик живого бога, который звал к себе всех труждающихся и обремененных и успокаивал их...

— Вижу я здесь бога моего, — как бы про себя говорил странник, — благословляю его на всякое время и на всякий час... И тебе бы так-то сделать по-моему! Хорошо!..

Жаль, что не было у моего заброшенного сиротства, как и теперь еще нет, людей, которые бы когда-нибудь хоть сколько-нибудь серьезно обсуждали, что мне именно нужно и чего не нужно. Может быть, такие люди, как и странник, сказали бы мне, что мне и делать больше нечего, как, по его словам, это, т. е. то же, что и он делал...

С версту осталось нам пройти до большого помещичьего дома, красная крыша которого

уже показалась нам из-за густой березовой рощи, придвинувшей к самой дороге стройный белый фронт своих прямых деревьев.

— Эй вы, туристы! — гремит из глубины этой рощи чей-то сильный голос. — Идите сюда чай пить. Ты, небойсь, постник, любишь чайку-то попить.

В недальнем расстоянии от нас, в чаще дерев, виделась одна из тех сельско-помещичьих групп, которые летом так часто формируются с целию предаться какой-нибудь такой прогулке, могущей возбудить аппетит и хоть несколько разбодрить барские телеса. Прогулки эти называются, как известно всему свету, на образованном языке partie de plaisir.

— Что же вы, шуты, не идете? — снова загремела нам березовая роща: — вам делают честь, а они знай себе прут.

И на вытканном сенными барышнями ковре счастливо и весело возлежали бары, барыни и барышни. На этом же ковре стояли неизбежные чашки и стаканы, бутылки и графины. В отдалении дымился самовар, суетились лакеи, бегали красивые собачки и собачищи.

Позиции, занимаемые дамами и кавалерами, пред которыми предстал я с моим товарищем, были столько же разнообразны, сколько и свободны, потому что достаточно было только мельком взглянуть на эти пустые бутылки, валявшиеся в траве, на кости, из-за которых дрались собаки, чтобы убедиться в том, что прогулка по роще приходила уже к концу. Звонкий женский смех раскатывался по роще гремучими серебряными волнами, а молодежь

врассыпную мурлыкала про себя те пронзительные романсы, которые в помещичьих домах и в неотходно-соседних с ними дворовых избах воспламенили столько, так сказать, любвей к несчастным, грустно скорбящим о затемнении некоей черной тучей их, до узнания ее, светлых горизонтов, и которые, в вящее несчастие, вызвали из стольких светлых глазок горькие слезы по вышеозначенным скорбителям.

— Полно вам мурлыкать-то про себя, — отнесся к нывшей молодежи некоторый плотный господин в широком парусинном пальто. — Словно кошку тянут за хвост. Хором бы лучше сваляли «Не белы снежки» али «Посею ль я». Барыни бы помогли, да вот бы и отец-то подтянул. Подтянешь ведь, отче? — допытывалось брюхо, тихонько подрагивая от того блаженного смеха, которым в невинности своей услаждают себя жиряки-помещики, когда хотят почтить своей лаской какого-нибудь маленького человека.

Отец на такие запросы конфузливо улыбался и переминался с ноги на ногу, очевидно, не ведая способов, как приличнее ему держать себя в столь благовоспитанном обществе.

— Чему улыбаешься? Радоваться-то еще покуда нечему, женить тебя и нынешним даже годом мы не намерены, а ты вот лучше затягивай, какую знаешь, а мы пристанем.

Еще беспомощнее закачался после таких слов отец, улыбки, еще более стыдливые, забродили по его губам, так что внимание всего общества исключительно в эту минуту было обращено на него. Обещание оставить его и на

нынешний год неженатым сделало из странника отличную цель, в которую отовсюду налетали и разноголосный смех мужчин, и протяжное сострадание дам.

— Ах, оставьте его, Андрей Петрович! — умоляли остряка сельские голубицы, и остряк, умилостивившись над этими мольбами, перенес исключительно свои остроты наконец на одного меня.

— Ну, а ты, стрекулист, — удостоил меня разговором Андрей Петрович,—небойсь, только и дела делал, что песни играл? Небойсь, плясать молодец?

Я был либеральнее моего товарища и потому давно уже лежал на траве, как лежал бы всякий приглашенный гость, и пил чай с тем наслаждением, с которым обыкновенно пьют его путешествующие люди и вдобавок не имеющие средств в своей дороге пить его, когда им вздумается.

— Петь я, пожалуй, буду, когда все будут петь, потому что люблю петь, но плясать не молодец, а стрекулистом прошу меня больше не звать, потому что зовут меня Иван Иванович Сизой, а не стрекулист.

Нисколько не отвергаю, что я тоже, как и отец, непременно сконфузился бы в дворянском обществе, которое, по понятиям людей моей среды, всегда неминуемо элегантно; но в настоящем случае мне очень удобно было в разговоре с жантилиомом избегать местоимений, потому что, стыдливый и скоро теряющийся по природе, я тем не менее всегда как-то становлюсь до дикости дерзким, когда мне первому начинают делать незаслуженные дерзости.

— Ого! — воскликнул барин, продирая в несказанном удивлении свои сонные глаза. — Так ты вот какой! Так ты разговаривать умеешь?

— Умею, — без надлежащей скромности, молодому плебею столь свойственной, ответил я: — Если меня пригласили сюда оскорблять — прощайте; плакать о такой скорой разлуке не буду.

— Ты у меня, пожалуйста, без острот... — вмешалась в мой разговор какая-то юная, но удивительно горделивая жакетка. — Помни, с кем говоришь, дорожная шваль, и не забывайся!

— А ты слышал, как я сказал сейчас мое имя? — в свою очередь спросил я горделивую жакетку. — Ты не мог не слышать, как я говорил об этом... — нарочно и злобно напирал я на слово «ты», — и все еще зовешь меня дорожною швалью. Сам ты после этого пошлый дурак и невежа.

— Ш-што?

Отвечая теме, которую в наши времена с такою любовью разрабатывает русская беллетристика, я должен был бы в этом месте моего рассказа нежными штрихами очертить то высоко поэтическое существо, т. е. возникающую русскую женщину, которое своим благодетельным ахом и вмешательством предупредило бы плачевные результаты, которые могли произойти вследствие разгара страстей между мной и хотя горделивой, но, надобно сознаться, до того слабосильной жакеткой.

Одной задумчивой между наслаждавшимися красотами природы сельскими дамами, к сожа-

лению, не оказалось. Не только не удерживаемая, но даже поощряемая милыми голосами, жакетка с остервенением бросилась на меня с толстой сучковатой палкой и с возгласом:

— Я же тебе, негодяй, покажу, как грубости делать...

— Хорошенько, хорошенько его, Александр Петрович! Ах, дрянь какая! Вот ужасы! — стыдливо и даже с некоторым испугом щебетали Марфы Григорьевны; но Александр Петрович, что называется, налетел с ковшом на брагу. Его сучковатая палка через секунду уже засвистала в моих руках над головами молодежи и лакеев, бросившихся на меня отмстить за то поражение, которое я, можно сказать, в один миг нанес горделивой жакетке.

— Ах, дьявол! Ах, мерзавец! — кричала смущенная кучка барынь. — Бросьте его, господа! Ведь он убьет, пожалуй.

— Отойдите, господа! — ревел я, в свою очередь разозлившись. — Схвачу кого-нибудь из вас одного, изломаю.

Гвалт сочинился необыкновенный; но во время моего отступления я больше всего пострадал от собак, потому что все эти трезоры и бьюти, сбогары и амишечки с яростным лаем преследовали меня вместе с своими господами до села, где, по пословице, солома сломила-таки силу. Набежавшие громады мужиков, так сказать, облелеяли меня, как половодье береговой лес, и, схвативши, без разговора, потащили на расправу к становому.

Схваченный и притащенный к становому, хотя и не без права, потому что пропасть сбо-

гаров и амишечек было искалечено мною, я однакоже не буду предавать хотя бы художественной гласности ни моего жития в стане, ни того хитрого способа, посредством которого я покончил это житие.

Правда, однажды в полдень несказанно палило солнце, ни малейшее дуновение ветра не смягчало его жгучести. Подаренный мне сестрою

Четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила (ей) на чаек,

состоявший, по чести признаться, из платинки, так редко обретаемой ныне, дня два уже как разменялся и разлетелся по большой дороге. Следовательно, после двухдневного голода и последовавшего затем истомления я полз по мосту, переброшенному через неглубокий овраг, и в то время, когда полз, услышал из глубины этого оврага голос, звавший меня таким образом:

— Эй, убогенький! Будет тебе ползть-то. Поди, я тебе хлебца дам.

Этот голос позвал меня очень кстати, потому что, не позови он меня, я неминуемо умер бы в подмостной тени этого оврага. Старуха-богомолка, с маленьким желтым личиком, уродливо завернутым в громадный платок, изукрашенный неуклюжими цветными разводами, долго мотала своей головенкой, сожалея о моей победной головушке, и в конце нашего дорожного знакомства отломила мне хлебушка и отсыпала сухарей, с которыми я и доплелся до Питера...

А про Питер я едва ли в состоянии написать как следует. Про него и про людей, при-

шедших в него по моему образу, давно уже начали писать, и теперь пишут, так, как я и не хочу и не умею писать.

Обыкновенно так пишут:

«Дмитрий, примерно, Богоблагодатов или Николай Сомов, голодая где-нибудь в темнейшем углу Петербургской или Выборгской стороны, изучает свою специальность и кроме того часы отдыха посвящает на усвоение себе новых языков, которые, как известно, русским гимназистам знакомы весьма плохо, а семинаристам ничуть не знакомы».

Подвал, в котором поселился Богоблагодатов или Сомов, — обыкновенно рассказывается, — тускло освещен слабым мерцанием сальной свечки. Осенний дождь или зимняя вьюга тоскливо стучатся в уныло дребезжащее от их стука окно. У Богоблагодатова или Сомова нет ни копеечки, они иззябли, вследствие чего им припадает мучительная охота попить чаю; но чая нет и в помине, лавочник не верит в долг даже хлеба. Но Богоблагодатов-Сомов не унывает, он плотнее закутывается в свою шинелишку и принимается за Гейне по-немецки или за штоф унд крафт.

Долго и терпеливо сидит он за штоф унд крафт, и так как, по азбуке, всякое доброе терпение наконец вознаграждается, то часам к двенадцати в подвал врывается другой Богоблаго датов-Сомов, радостный и игриво-сильный, как летняя буря. В его руке приятно желтеются десять рублевых ассигнаций, которые он получил или за уроки, или за переписку бумаг у одного добродетельного квартального надзи-

рателя. Пришедший приятель звонко хохочет и становит самовар, хозяин бежит за колбасой и полуштофом. Наконец молодые люди принимаются пить чай, развеселять свои молодые сердца весьма однако умеренным приемом водки, танцовать и петь: «Gaudeamus igitur!» и

Вот придет сюда она,
Это дивное созданье,
Черноокая моя!

Последние стихи поются уже собственно для какой-нибудь Маши, которая хоть и здорово развилась, но все еще продолжает обожать различные занимательного свойства стишки и списывать их в красивую тетрадку

Так, по современным рассказам, безмятежно и счастливо протекает жизнь молодых пролетариев Петербургской и Выборгской стороны. В последнее время к этим рассказам приделан конец еще более аркадского свойства.

Но пусть буду я проклят, если в таких живописях есть хоть тень жизненной правды! У меня было пропасть телесной и нравственной силы до моего скитальчества по темным конурам, прилегающим к Сампсониевскому мосту и к Александровскому парку, но вся эта сила замерла и развеялась по этим углам, и не с одной сотней подобных мне молодых людей случилось то же самое. В два года такой жизни я не слыхал хотя чего-нибудь, сколько-нибудь похожего на женский голос, кроме голосов моих многочисленных хозяек — старых солдаток, с длинными эспаньолками на нижней губе, туривших меня вон из своих апартаментов.

Ни один из моих пятидесяти знакомых студентов в эти несчастные два года не мог найти урока, потому что мы, как дикие звери, безысходно сидели по своим конурам.

Не только что изучать различные науки и распевать Gaudeamus, но и говорить даже разучишься, когда молодую душу безостановочно и тяжело целые два года гнетут разные горькие думы, а тело — голод и холод, не забудьте — двадцатилетнее тело, которое желало бы видеть солнечные лучи более светлыми, нежели какими они изредка упадают в обращенные окнами на грязные и вонючие дворы комнаты с мебелью.

Таким образом два года из моей молодости ушли на то, что я колотился своим лбом об ту каменную стену, которая становится у нас между молодым бедняком и его жизненными целями.

1863

ИМЕНИНЫ СЕЛЬСКОГО ДЬЯЧКА

I

Еще накануне Петрова дня дьячиха принялась мыть пол в избе и скоблить косырем ее задымленные стены. Выскоблила она их не только что внутри, а даже и понаруже кое-где прошлась косырем, так что изба, словно бы лошадь, совсем пегая стала. Осмотрелась после такого дела дьячиха, сейчас же ребятишек своих всех протурила в ригу, на гумно.

— Вы, — говорит, — у меня в избу теперь до завтрашнего вечера ни ногой! Пусть-ка она у меня хоть на тятькины именины в чистоте поживет.

— Мы бы, маменька, — заговорили было ребятишки, — повалялись немножко на полу-то, на белом. Перед Святой, когда ты его вымыла, мы на нем чудесно валялись.

— А вот разговаривать у меня кто будет, так я ему скулы-то скоро поправлю! — ответила дьячиха своим птенцам. С устали с великой она рассердилась немного.

Птенцы после таких речей сейчас же побежали на жительство в ригу, крикливо предполагая дорогой, что в риге-то на соломе, пожалуй, еще лучше будет валяться-то, чем в избе.

К вечеру с а м с поля приехал. Взглянул он как-то на избу, а труба у ней, словно голубь

белый, домашний, сидит на старой соломенной крыше, на которую уже понемногу в это время налегали вечерние сумерки. Так светло эту трубу заботливая хозяйка набелила известкой. Стены тоже оказались не как всегда, покосившимися и слезливыми, в роде бы старика какого-нибудь, одиночки скорбного, а даже будто выпрямились эти стены, будто бы чувствовали они, что вот сейчас хозяйская рука вымыла их для завтрашнего праздника.

«Ну-ка, мол, — пестрели на вечере такими словами желто-белые стенные полосы, — порадуемся вместе с хозяином его ангелу; не все же нам скорбеть, не все хмуриться».

— Приехал? — протяжно спросила дьячиха у самого, высовываясь из окна.

— Приехал, — благодушно уведомил ее сам, отворяя крикливые ворота.

— Н-ну, с преддверием! — поздравила хлопотливая жена. — Распрягай скорей, ужинать пора.

«С преддверием, хозяин! — заговорила в свою очередь пегая, обновленная изба. — В радости тебе, Петр Алексеевич, праздничек препровесть!.. А мы тебе и нынешние именины верно отслужим: может, ныне еще устоим мы как-нибудь и не развалимся в случае, ежели ты с приятелями завтра в пляс пустишься».

— Чудесная у меня изба! — похвалился в это время Петр Алексеевич тихим шопотом. — Здоровая какая и словно бы развеселилась для праздника. Ах, праздники, праздники! Всякая вещь живая и неживая вам радуется; а только все же я для своих аменин шесть руб-

лев уже истратил, да завтра еще рубля с два беспременно исхарчишь, потому здоровы мы, бедные люди, в гостях гостить; на чужой счет пить, есть мы всегда неустанно готовы... Грехи...

II

На самый Петров день батюшка-священник положил быть ранней обедне.

— Ну, — сказал Петр Алексеевич своему товарищу, пономарю из молодых: — дружнее подхватывай. Знаешь, какой праздник ныне! Так выводи, чтобы сердцу весело было, а то на аменины не позову.

И затем из церкви, по освещенной ранним солнцем сельской улице, полился в соседнюю к ней дьячкову избу тропарь апостолам Петру и Павлу. Бас Петра Алексеевича и тенор молодого пономаря гулко раздавались в избе, так что масляный портрет одного сумрачного архимандрита, дальнего хозяйского родственника, как-то особенно благосклонно раскачивался на стене от этого пения.

— Хорошо, хорошо, дети! — как бы говорил архимандрит не по-всегдашнему — ласково. — И на будущее время благословляю вас петь так же чинно, усердно и доброхвально».

Ярко вычищенный самовар тоже по временам вздрагивал от могучих «фортиссимо» Петра Алексеевича. Всегда тусклый, загаженный мухами, покрытый зеленою ярью, теперь он тихо звенел своими фигурными ручками о светлые бока и толковал тихой, одинокой избе:

«Вот ведь, говорю я тебе, изба! Живет, живет человек в горе да в нужде — и никто на него не глядит. Курицы на него зачастую спать садятся; а чуть только радостью дохнет на него — и пошел человек, и все горе забудет. Так-то вот и я: перед Святой вычистила меня хозяйка тертым кирпичом, попила из меня чайку на первый день, да так и поставила. На Троицу собиралась тоже почистить, — некогда было. Загоревался совсем я тогда от такой хозяйской неласки, потому снаружи совсем потускнел, а внутри пауки гнезда повили, разная дрянь натолкалась: мухи, комары и всякие козявки несчастные. Теперь опять, слава богу, самоваром как следует стал!» И при этом самовар даже с некоторым нахальством пятил свое толстое брюхо на светлое солнце, как бы говоря: «Вот, дескать, свети, свети на меня, солнышко божье! Ныне день такой веселый!»

Ременная двухвостная плетка, которую Петр Алексеевич употреблял для ради вящего усвоения сельским юношеством правил образованности, раскачивалась на своем гвоздике. Всегда строго карательная и извлекающая из очей своих пациентов одни только потоки горчайших слез, она однакоже, как и все остальное в избе, нашла в себе кое-что такое, чем ей тоже можно было похвалиться и порадоваться в настоящую солнечную минуту.

«По праздникам и я тоже редко кого стегаю, — шептали ее ременные кончики. — В праздники-то господом богом указано миловать, а не сечь».

А с навозной завальни упорно вглядывались в пустую избу маленькие ребятишки, ученики

Петра Алексеевича, дожидавшиеся теперь, когда он придет от обедни. Привыкшие видеть избу битком набитую многоразличными молодыми головенками, на различные громогласные лады вытверживающими науку, заключенную в церковно-славянской азбуке, — ребятишки очень были заняты невиданной ими прежде пустотою дьячковской избы и ее несмущаемым молчанием.

— Что это, ребятушки, — сказал один малыш: — оторопь на тебя какая нападает, когда в пустую избу глядишь. Говорят, по избам-то в такие времена домовик невидимо ходит, убирает все, чтобы хозяева им оставались довольны.

— И то что-то как будто и на меня тоска напала. Ишь жуть в ней какая, словно в лесу! — подхватил другой.

— Меня тятенька когда посылал к учителю с проздравлением, наказывал прежде обедню отстоять; а я, братцы, не пошел, — устаю я очень. Всегда я так-то отлыниваю от обедни, когда тятенька дома остается. Так как бы нам домовик-то за такой мой грех въявь не явился. Дай-ка, скажет, я ребятишек-то попугаю, чтобы они в церковь ходить не ленились.

Каким-то особенно толстым голосом повторила избяная пустота последние слова ребенка, так что даже серо-дымчатый кот, мирно баюкавший себя на лавке, пригретый солнечными лучами, пробудился при этих словах, вздрогнул и медленно перешел с лавки на загнетку, откуда несся щекотливый запах пирогов, щей и жареного поросенка.

«Бу-у! — раскатилось в избе. — Дай-ка я ребятишек-то попугаю, чтобы они, бу-у-у, в церковь ходить не ленились».

Побледнели беззаботные, краснолицые ребятишки и бросились прочь от окна.

— Вот о н заговорил! — вскрикнули тогда ребятишки, ополоумевшие от ужаса; но в двадцать раз громче их дружного крика старым басом Петра Алексеевича и заливным тенором молодого пономаря грянула тогда белая церковь: «Свят, свят, свят господь Саваоф!» — и мальчишки ободрились.

Не смущаясь более пугающим безлюдьем избы, некоторые из них храбро пролезли чрез окно внутрь ее, откуда благополучно украли ременную двухвостку, которая и была зарыта в самую глубь завальни, опушавшей и поддерживавшей убогое дьячковское жилище.

— Ну-ка, выдь оттуда, из-под завальни-то, — предлагали насмешливые ребятенки казнительнице своей — двухвостке. — Пока, братцы мои, дьячок успеет другую состроить, вали во все лопатки... Только смотрите: не выдавать. Шпиону такому сообща все волосы вырвем.

III

Во время *достойно* дьячиха вышла из церкви, нарядная такая. Мужики и бабы, стоявшие на паперти, до самого дома провожали ее завистливыми глазами.

— Как это, господи, духовные хорошо наряжаться умеют! — толковал народ. — Недаром все они, почитай, грамоту знают.

Но дьячихе некогда было слушать этих разговоров. Пошумливая своим наследственным, еще от бабушки доставшимся ей гарнитуровым сарафаном, плавно прошла она мимо соседок, крестясь и нашептывая про хозяйские заботы-грехи, которые никогда не дают ей отстоять всей обедни.

— Очень эти заботы, — шопотом бормотала она, — помогают врагу искушать меня. Имеючи такую кучу ребятишек, чужому добру не в пример чаще завидуешь; работаючи одна во всей семье, еще чаще того на богатых людей злобишься. Работницы у тех людей, так и те и устанут-то меньше тебя, и поедят слаще тебя; а ты глядишь на это весь век и горишься, как тебе и помолиться-то даже до конца не дадут...

— С аменинником! — врезался в дьячихину думу церковный староста, закадычный приятель ее мужа. — На-ка вот, прими подарочек, — прибавил он, вынимая из-за пазухи жареную курицу и полштоф сладкой водки. — Не взыщи: чем богаты, тем и рады.

— На чем взыскивать! Благодарим покорно и на этом. Отошла што ль обедня-то?

— Отошла. Твой-то в церкви остался: батюшку в гости зовет, да попадья ломается.

— Ох, уж мне эти молодые попадьи. Говорила мужу: «эй, не зови попа», потому как от попадьи, кроме убытков да чванства, ничего толку не будет. Повадилась она там в губернии по большим господам гостить, — на нас и смотреть не хочет; ровно мы не люди. Садись-ко: я тебе чайку волью, али, может, прямо винцом почнешь?

— Признаться, винцо-то бы перво-наперво желательнее: получше бы, может, закрепило, — говорил староста, конфузливо поглаживая седую, окладистую бороду. — Теперь ведь у вас пир, надо полагать, немалый будет, так оно поправиться не мешает, чтобы опосля от добрых людей не отстать.

А между тем к этому времени подошел от обедни и сам Петр Алексеевич. Парнишки-ученики встретили именинника гулом картавых поздравлений и различными сельскими подарками.

— Дяденька, с ангелом! Тетинька, с аменинником! — развязно поздравляли дети сельских мещан-торгашей, представляя дяденьке большею частью хлопчатобумажные свертки с фунтом окаменелых жамок, ценностью в три ассигнационных пятака. Ребятенки мужицкие, напротив, молчаливо совали мастеру своих тяжелых гусей и петухов, стараясь поскорее обделать это дело, завещанное им непреложною родительскою волей, и улепетнуть от этих суконных сюртуков и кафтанов, от этих блестевших всеми радужными цветами женских платьев, натолкавшихся на именины к дьячку.

— Беда эти господа! — толковали мужицкие ребятки, в простоте сердец своих считавшие за барыню жену писаря лесничего и за барина — изворовавшегося и поэтому прогнанного помещиком лакея Фарафошку, который, впрочем, почему-то искал себе места регента у окрестных бар.

— Сейчас я, братец ты мой, — говорила одна белокурая, всклокоченная голова из ребячьей толпы, — как только увижу немецкий кафтан,

так-то здорово пужаться стану... Тут же я убегаю куда-нибудь, прячусь...

— Тоже, паренек, и мне анамедни, барин какой-то с ружьем шел по саду, так в виски вцепился — страсть. Ты, говорит, што тут бегаешь по улице-то? Вон они какие.

— Ну, други, — начал Петр Алексеевич: — с божьим благословением приступим. После теперича трудов праведных хорошо одну, другую пропустить.

— После трудов точно что... оно как будто... повеселее сделается, — согласился млевший от ожидания выпивки Фарафошка.

Скверная водка по сельским кабакам продается. Не скоро с ней разговоришься как следует; а ежели разговоришься, так после такого разговора непременно с кем нибудь подерешься. Испокон веку водка ничего другого по селам не делала. Так было и у дьячка на именинной беседе.

IV

Забыла домовитая дьячиха даже детей покормить в возне с гостями.

— Маменька, дай поесть нам чего-нибудь! — жалобно приставали к ней малышки, когда она выходила за чем-нибудь на погребицу, куда она безжалостно заточила ребятишек, чтоб они не мешали гостям.

— Цыц! — покрикивала на детей мать и снова возвращалась к прерванному разговору, который кипел в подгулявшей избе буйным ключом.

— Правду ты великую сказала, — говорила дьячиха подруге своей, жене лесничего пи-

саря: — чем она брезгает, эта попадья? Небось, ежели бы хоша она сюда пришла, рази бы замаралась? Что же такое, что мой муж в нижних чинах состоит? Зато, кабы кто про его добродетели знал...

Клюнувшая здорово писариха молчала. Она только согласно улыбалась и тихонько раскачивала своим маленьким, покрасневшим носиком.

— Что же, что она в губернии родилась? Образованности особенной не вижу я в ней что-то, даром что она губернская.

— Насчет образованности, — неожиданно залепетала писариха, — ей супротив меня не выстоять... У меня два салопа есть, третий к зиме муж обещался оборудовать. Как придут выправлять свидетельства на плоты, так и оборудует.

— Да про тебя уж и речи нет! Твой муж кто? Твой муж совсем барин. А она против меня, так и то вряд ли устоит.

— Будет, голубка, будет! Прекрати злобу, — умолял жену Петр Алексеевич. — Несть власть... А поп с попадьей наша власть, начальники наши, отцы. Над нами с тобой начальников много, потому мы с тобой последние спицы в колеснице.

— Фарафошка, слушай, что я тебе скажу, — кричал молодой пономарь проворовавшемуся лакею: — ты как про этот гриб понимаешь? Я понимаю его а-приори.

— Ежели ты мне такие слова еще говорить станешь, — отвечал Фарафошка с азартом, — я тебя, издохнуть мне на сем месте, в морду резну сейчас.

— Ну, хорошо! — согласился молодой пономарь.—Я не буду; давай, друг любезный, лучше песни играть.

— Вот это прекрасно! Давай играть. Я, братец, регентом буду; я, братец ты мой, эту часть понимаю отлично. Слушай: я тебе тону задам: дри, дри, дро! Три, ри, ри, тра!

— Братцы! Господа! — взывал хозяин. — Что же это будет такое? Что об нас православный народ подумает? Ах, подумает об нас православный народ: в духовных домах уж стали ныне песни играть.

Расстановисто и басовито толковал в то же время и седой церковный староста:

— Всех вас, сколько тут ни на есть, я куплю и продам, опять куплю и опять продам, потому денег у меня сам чорт не знает сколько...

— Ну, это ты напрасно так-то поговариваешь, Лука Иванович! — вступился за общую амбицию мещанин Свайка. — Право, напрасно. Эдак-то мы будем разговаривать, как бы нам с тобой господа бога не обидеть. Так-то!

— Нет, не напрасно! Нет! И господа бога мы не обидим! — настаивал упрямый старик. — Он, батюшка наш, все видит, все знает! А я вас всех до единого человека куплю и продам, опять куплю и опять продам...

— Будет, будет тебе, дедушка... Ты вот лучше слушай, как мы псальму запоем.

Хвали мой дух святую Варвару,
И подивись в ней божию дару, —

зачал Петр Алексеевич.

— Ну, бабенки, что же вы не музыканите?

Звонкими дишкантами отвечали бабенки на это хозяйское предложение:

Как она, еще младая,
На прекрасную тварь взирая,
Познала всех бога!

— С богом! — восторженно воскликнул Фарафошка, когда полным-наполно зачерпнулась изба дружно загудевшим хором.

— Вот как духовные-то пируют, — говорили соседние мужики, — не то что мы: все по-божественному поют, по-святому.

Церковный староста с горькими слезами слушал псальму и, отчаянно мотая седой головой, с великим сокрушением восклицал.

— Грешник я, отцы и братия, великий! Простите меня, Христа ради; я, на старости лет, аки пес смердящий сделался.

— А ты вот что, дедушка! — тоже со слезами советовал ему мещанин Свайка. — Ты не сокрушайся, ты лучше выпей да закуси. Глядел я на тебя, дедушка, совсем ты не ел ничего.

— Вправду, парень! Налей-ка ты мне, я выпью да закушу. Ох, старый я шут, прости ты меня, господи! В гости пришел, а не жру ничего.

— Ах! Расскажу я вам сейчас, господа, как я прошлой зимой регентом в соседнем городе был, — покрыл всех своим голосом Фарафошка. — Прихожу в собор к поздней обедне; одет чисто, в шинели, голову прежде того расчесал и помадой мусатовской напомадил. Видевши, что певчие меня считают за приезжего

барина, я и говорю им: «Слушайте меня, господа, я вами командовать буду. Я регент». Они говорят: «Хорошо, командуйте, только от вашей милости после обедни на водчонку да на чаишко желательно бы получить за команду-то».— «А это ничего, говорю: и на водчонку и на чаишко получите», сказал я и стал им тону задавать, как следует, по портецам. Только что же? Певчие мне и говорят: «Вы, говорят, хотя и барин, только тону вы совсем не умеете задавать». Тут я понял, что я и вправду не умею тону задавать, и здорово испужался, как бы они меня с крылоса с конфузом не вывели...

— Меня, братец, — заговорил молодой пономарь, — немец-сахаровар страсть как исколотил однажды. Тоже вот я, как и ты, пришел на завод, и показалось мне все это так просто, — я и давай рабочими командовать. Живо я тогда, братец мой, две машины испортил. Дули же меня за это чудесно!..

— Знать, наша с тобой участь такая! — с громким хохотом проговорили приятели.

— Стой, стой, писариха, помолчи! — уговаривал свою соседку церковный староста. — Как только твой муж умрет, сейчас я тебя замуж за себя возьму. Ты не гляди на меня, что я старик... Я страсть какой здоровый старик! Денег у меня словно у чорта! Ха! ха! ха!

— Хи! хи! хи! — отозвалась ему писариха. — Ах ты, старый! Туда же с бабами норовит...

— Старый, да удалый! — лютовал раскутившийся седырь. — Дай-ка я тебя поцелую, голубка! Вот что: ты меня ныне поцелуешь, а я

тебе завтра меду принесу. Мы тоже нос-то не левой ногой утираем.

«Ужасом многих содрогашеся!» — разварганивал высшим гласом сам Петр Алексеевич, уже уставший усмирять пьяные порывы своих гостей.

— Погоди ты, Христа ради, реветь, Петр Алексеевич! — умолял его плачущий Свайка. — Я вот только про жисть свою горемычную расскажу, тогда Христос с вами. Делайте без меня, как знаете.

— Нам твоя жисть и так давно известна, — нечего тебе рассказывать про нее, — ответил Петр Алексеевич, продолжая содрогаться ужасом многих.

— Как нечего рассказывать? — спрашивал удивленный Свайка. — Рази я погибаю не от вашей неправды? У меня онамедни Фарафошка из лавки ременный хомут украл, однако я ему ничего не сказал. Думаю: бог с ним! Может, ему есть нечего. Трезвый я про неправду соседскую не скажу; а уж у пьяного у меня держись только, все вызвезжу!.. Вот что, Фарафошка! Подавай сейчас хомут: он у меня в продаже за тринадцать рублев итти должон.

— Ну, ты у меня не очень ерепенься, — посоветовал ему Фарафошка. — Ты рази видал, как я у тебя хомут воровал?

— Видал.

— А видал, почто не ловил?

— А для того не ловил, что думаю: бог, мол, с ним! Может, ему пить-есть нечего!

— Так, значит, и не разговаривай. А то ведь, сам знаешь, как я тебя всегда бью за такие слова...

— Ну уж теперь не прибьешь. Теперь придумал я: что, мол, в зубы-то людям смотреть? Стану-ка я с ними сам по-божьему поступать.

— Брось ты это дело, Свайка! — посоветовал ему церковный староста. — Не к руке об этом деле в гостях толковать.

— Про твой разбой да разврат везде к руке говорить!—заорал на старосту Свайка.—Окроме того, что ты молодицам отдыху не даешь, ты вот еще на эту самую писариху разоряешься, старый ты шут! Тебе умирать пора, грехи свои тяжкие с великими слезами замаливать, а ты народ грабишь, в рост деньги даешь; а я вот ничего такого не делаю, а все нет мне ни от кого почтенья.

— Кто тебя будет почитать-то, собака ты брехучая! Ты бы лучше брехать-то перестал, сердце-то свое лютое сократил!

— Черти вы! — неистово кричал Свайка: — когда я кому-нибудь из вас, кроме одной истинной правды, что-нибудь обидное говорил? А ведь ты, Петр Алексеевич, отцу благочинному на своих братьев наушничаешь, — думаешь, он тебе за это дьяконство выхлопочет? Не выхлопочет. А этот вон молокосос — пономаришко — ночи не спит, — по девкам все шляется. Ну, да это куда ни шло: все мы молоды были. А вот что тебе сказываю, молодой пономарь: ты вот теперь дружбу с Фарафошкой повел,—прекрати эту дружбу-то, а то таким же borищем сделаешься — и будут тебе честные люди в глаза плевать. Вот тебе, подлец Фарафошка, за хомут. Не сиди ты подле меня, пустой, подлый человек! — И при этом Свайка плюнул, ударил Фарафошку

в лицо и прибавил, вылезая из-за стола: — Пустите меня, не хочу я в вашей компании быть!

Но людская неправда не выпустила Свайку из своей подлой компании. Благодаря только храбрости своей жены, справедливый мещанин был выхвачен с поля битвы в самом бесчувственном состоянии.

— Так-то ты, Петр Алексеевич, гостей своих угощаешь? — кричала жена Свайки дьячку с другого конца улицы.

— А то как же? — отвечал ей совершенно опьяневший Петр Алексеевич с какою-то конфузливой улыбкой. — Не буянь, не ругайся!

— Мы за буянство-то знатно своим судом расправляемся, — бурлит церковный староста.

— Что-то вы завтра толковать станете, — спрашивала Свайкина жена, — когда вас становой, по нашей жалобе, на свой суд-то притянет?

— А то же и скажем, что своим судом скорее с приятелем расправиться, — безбоязненно закончил староста. — А впрочем, что мне с тобой, с глупой бабой, разговаривать-то? Рази ты не знаешь, что я всех вас тут до единого человека, и с становым, и с потрохами его, куплю и продам, опять куплю и опять продам.

— Вот тебе и суд весь! — смешливо поддакнул именинник.

— Хошь и тяжело, а куплю! — кричала седая борода, трясясь от злости и грозно стуча о каменный пол дьячковских сеней грузными сапожищами. — Вон ступай из села, кошатница! Это наша земля, мужицкая! Добром не пойдешь, я тебя опять-таки своим судом ногой раздавлю — и ничего ты мне не поделаешь!..

— Слава тебе, господи! Повеселились как следует,—взмолился отставной фельдфебель:— за угощенье, Петр Алексеевич!

— Не взы-ы-щи-и-те, рради Христа! — бормотал хозяин, уткнувшись головой в сенной ворох, сложенный в сенях.

— Дедушка, не срамничай! Перестань: гляди, на тебя добрые люди смотрят, — усовещевал буянившего старосту молодой внук, волокший его домой.

— Я здесь, на этой земле, восемьдесят годов живу, а она меня обижает, становым мне острастку дает!—кричал на всю улицу неуступчивый дед.—Какой я ни на есть, а она меня не смей судом стращать! Я сам себе суд! Знаешь, Миколка, сколько у меня денег? Я эти деньги кровью своей приобрел, и могу на них все купить...

— Ах, жаль старика! — говорил народ, вышедший после обеда на празднично сиявшие улицы. — Избили они Свайку у дьячка до полусмерти, а жалобиться Свайчиха на него одного пойдет, потому с тех нечего взять. Оберут они его знатно!..

1863

МОСКОВСКИЕ «КОМНАТЫ СНЕБИЛЬЮ»

I

ВСТУПЛЕНИЕ

Растрепанно и сумрачно как-то высматривают на божий свет дома, в которых есть эти так называемые *комнаты снебилью*. Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты мною в этих тайных вертепах, где приючается, как может, пугливая бедность.

Бесконечно-длинною вереницей возникают в голове моей воспоминания о разных решительно-неестественных столкновениях с совершенно невероятными характерами, когда я случайно увижу на воротах какого-нибудь высокого дома билет с уродливой надписью: *здесь здаюца комнаты снебилью*.

Каким-то странно-болезненным чувством прохватывается все существо мое, когда я увижу, как бьется и трепещет на ветре лоскут серой, грязной бумаги, нелепо примазанной к воротному столбу мякишем черного хлеба, потому что перед глазами моими вытягивается тогда несчастная шеренга бездомных людей, которые самою судьбою, кажется, осуждены на вечное скитание по этим *комнатам снебилью*, рекомендуемым серым лоскутом.

И при виде бедных людей этих — сотоварищей печального пути моего по бурному, если не

смешно так выразиться, морю житейскому, живее чувствуется мне мое прошлое горе, глубже западают в душу настоящие невзгоды и нужды, потому что грустно размышляю я в это время о бесконечном ряде справедливых жизненных драм, обыкновенно разыгрывающихся в этих комнатах на страшную тему о погибели молодой энергичной жизни, разбитой нуждою железною.

— Брат мой! — слышится мне легкий голос редко когда уже вспоминаемого юноши, с которым, в пылу молодых мечтаний о великом и добром труде жизненном, побратались мы на жизнь и на смерть: — и в этой радости, чтобы был ты при смерти моей, мне отказал бог!

Страшной, томительною мукой наполняют душу мою слова эти, потому что, на великое несчастье мое, так ясно, так осязательно представляется мне в это время прекрасная жизнь в тяжкой борьбе с мучительной смертью, — и не могу я тогда дать себе отчета в том, для чего существовала эта жизнь, зачем она, жаждавшая счастья и деятельности, так долго и так тяжело страдала и, наконец, зачем она, не выдержавши этих страданий, так видимо-незаконно умирает теперь в глазах моих, не примиренная с грубостью жизни ни одним словом утешения, ни малейшим признаком участия людского?..

И другой образ, грациозный и светлый, восстает предо мной. Как и в прежнее счастливое время, беспечальный и наивный, шутливо лепечет он мне о вечной разлуке с дорогим человеком, ...

. . . .

— Ах, сосед, — говорит мне милый голос. — Как он умирал страшно, сказать не могу. Ведь, знаете вы, какой он всегда смирный был да веселый; а тут... ах! вспомнить ужасно: зеленый-зеленый весь сделался, ровно трава вешняя, и как же бранился он страшно, зубами как скрежетал!.. Одна я только усмирять его немного могла. Положу, бывало, руку к нему на лоб и смотрю на него, — он как будто и покойнее станет. Вижу я так-то, что уж немного ему жить остается, и говорю: «Ты бы, говорю, родным что-нибудь написал». — «Да, точно! говорит: написать нужно. Напиши, говорит, ты повестку такую общую и родным, и знакомым моим, что, дескать, родственник ваш или приятель такой-то (знаешь, говорит, как на бал приглашают), умирая, изъявляет свое крайнее сожаление, что не может он вам на прощаньи всем в глаза плюнуть!.. Покорнейше проси их извинить меня на этот раз: сил, скажи, не было»... Долго он тут смеялся, отвернувшись и от меня к стене; с тем и умер. А за ним и меня отнесли. Не могла я жить без него, — тоска страшная очень мне грудь надсадила. Вот и платье, в котором меня схоронили. Прелесть, что за платье такое! Белое-белое, как «кипень», — с улыбкой лепечет девушка, употребляя слово своей далекой родины. — Жаль, не было вас: голову мне в это время убрали цветами, и подушку, и гроб — все завалили цветами (не дороги цветы были тогда, — весной я умирала), и несли меня все наши девушки. Вы их всех знаете: те, с которыми я на одно место работала, — они все при вас бывали у меня. Ах, помните вы, как нам весело

было! Хозяйка-то нас распугивала как, помните? «Деньги, — говорит, — подавайте: первое число подошло». Не могу без смеха вспомнить этой хозяйки: совсем у ней «мужчинская» борода была и голос толстый такой. Я всегда думала, что она меня съест, когда, бывало, не достанешь ей денег к первому числу. Ну, прощай, сосед! Я улечу сейчас: я летаю ныне — вот посмотрите! —

И действительно, словно белый голубь, то взвивалась она в далекое поднебесье, то снова спускалась ко мне, порхая перед глазами моими какою-то невиданною птицей и чаруя меня своей милой улыбкой, с которою она показывала мне недавно приобретенное уменье летать.

— Што те, комлу што ль надыть? — рычит недавно приехавший из самого степного села дворник, злой от вчерашнего похмелья, суровый и всклокоченный по природе. — В четверто крыльцо на третий этаж по колидору ступай, там те комла и будет.

Испугался милый призрак сурового толоса и улетел на небо, а мрачный дом попрежнему мрачно и неустанно смотрит на улицу своими бесчисленными окнами, сторожит, должно быть, чтобы не вылетели несчастные птицы, заживо погребенные в его душных клетках; и грязный билет тоже попрежнему бьется и трепещет на ветре своими двумя отклеившимися углами, останавливая на себе внимание проходящих.

— Ты там Татьяну-съемщицу спроси, — продолжает дворник: — так, то-есть, Татьяну и спрашивай: где, мол, тутотка Татьяна живет? А как, примером, Татьяна тебе скажется, ты и

скажи ей: где, мол, у тебя комла тут порожняя есть? Дворник, мол, к тебе спосылал меня.

Обыкновенно я не пользуюсь в это время указаниями дворника. Я иду дальше от него и от дома, потому что оба они тогда кажутся мне в одинаковой степени деревянными.

— Ишь ты, попер как! — рычит дворник. — Беспременно сдуть что-нибудь норовил. Што это за шельма народ в Москве, братцы мои! Так, то-есть, и норовит к тебе с сапогами совсем в рот залезть!..

II

СЪЕМЩИЦЫ

Самый рельефный и красивый орнамент *комнат снебилью* — это Татьяны, съемщицы комнат, главные жизненные цели которых по преимуществу заключаются в том, чтобы вынудить себе от своих жильцов и от приходящих к ним гостей почетный титул мадамы, — и Лукерьи — лица, неизбежно кухарствующие в комнатах. Эти два божка обладают почти одинаковою силой, дающей им все возможности или разбивать наказательным громом и сожигающею молнией те несчастные существа, которые отдались их команде, или обливать их горемычные головы до бесконечной пошлости надоедающим дождем своих безобразных благодеяний, судя по тому, насколько несчастные существа, командуемые ими, наделены благодетельной природой способностями приобретать себе благорасположение или обратное чувство со стороны Татьяны и Лукерии.

Оба эти, в высокой степени интересные, субъекты одинаково подарены Москве и вообще всем большим городам тульскими, коломенскими и большею частью ярославскими подгородными слободами. Так, молодой ли солдатке придется невтерпеж от нападков мужниной семьи, или когда так называемая ухарь-баба наскучит носить красные платки от своих деревенских ребят, — сейчас же они ранним утром соберут свои пожитки в один большой холстинный мешок, взвалив его на крепкие плечи, и, много не разговаривая, отправляются в столицу искать между новыми людьми новых работ и счастья.

При начале своей карьеры, начинающейся обыкновенно с кухарки у какого-нибудь купца третьей руки, баба неизбежно дуреет при виде этой всегдашней суетни столичной жизни, которая, даже и в самых тихих своих омутах, всегда слишком резко бросается в глаза, дотоле исключительно смотревшие на одни зеленые деревья и травы, так густо опушающие тихие деревенские улицы. Долгое время, с крайне бесцельно, но вместе с тем напряженно выпученными глазами, всматривается баба в непривычные жизненные явления той области, в которую занесла ее ее лошадиная судьба, и не мало, по ее словам, «издивляется» этим явлениям. Долго она, как дубок, пересаженный с одной почвы на другую, гнется во все стороны, поставленная в необходимость болеть от той так жирно намасленной каши, которою купеческие дома имеют необузданность начинять свою прислугу. Напустившись с азартом голодного сельского человека на эту национальную власть, поджаристость которой так ясно

налощена обильными поливаниями хозяйского масла, баба тем «скуснее» слизывает с ложки горы лакомого снадобья, что за обедом, вместо угрюмых, изработавшихся лиц своих семейских мужиков, она видит разухабистых Захаров в красных рубахах, с блестящими серьгами в левых ушах, — веселых Захаров, непременно довольных и собою, и хозяйской кашей, с глазами, лукаво прищуренными на новую стряпуху, с бойкой, вырывающей из компании волны хохота, поговоркой:

Лей, кубышка, поливай, кубышка!
Не жалей хозяйского добришка! —

выкрикивает удалой Захар, любезно знакомясь с новой соседкой посредством ошарашивания ее в бок локтем.

— Что, — спрашивает он ее при этом знаменательном поталкивании: — приуныла? Аль бы нас, молодцов, не взблюбила? Аль хозяйское добро в рот нейдет? Свыкнется, слюбится стерпится, — на веселье печаль наша сменится. Будем мы с тобой жить-поживать, добра наживать да в кабаке его на сладком винце пропивать. А ты молодецкую речь слушать-то слушай, а сама не зевай: видишь, каша-то вся уж!

— Будет тебе, чорт, шутки-то шутить! — говорят Захару соседи. — Напугаешь ты бабу-то ими. Видишь, не привыкла еще к нашим порядкам.

Осмотревшись, Татьяна, действительно, видит, что каша уже вся в самом деле, но ее нисколько не печалит это обстоятельство. Ее до того оше-

ломили жирные щи и жирнейшая солонина, с слабым подобием которой она во все продолжение своей сельской жизни знакомилась только по Рождествам да по Святым, что Татьяна едва настолько может работать своей победною головой, чтобы хоть немного удивиться складным разговорам шутливого соседа. Неудержно клонит ее к сладкому сну в первый раз попробованная купецкая трапеза, — лупит баба свои большие серые глаза, стараясь не показаться соней, лупит и ничего не видит, прислушивается ко всему самым внимательным манером и ничего не слышит.

— Что ты, словно идол какой, из стороны в сторону мечешься, а настоящего дела не делаешь, дура ты эдакая деревенская, неповитая! — кричит на нее грозный хозяйский голос. — Ну, куда тебя черти несут? Я тебе велел самовар ставить, а тебя шуты-то на погребицу поволокли.

— О, господи! — потихоньку творит молитву сельская дура в своем сонном бодрствовании. — Ничего-то я, грешная, не слышу. Вот они враги-то где сильные! Не то, что по селам...

Наконец оставшийся от хозяев чай прогоняет сон кухарки вместе с ее тревожными мыслями. Только в окне неустанно жужжащие мухи чуть-чуть заметно нарушают ту несмущаемую тишину, которая обыкновенно царствует по купеческим кухням в послеобеденное время. Захары все до одного человека разошлись, как они говорят, по своим обязанностям, и хозяйское семейство непробудно спит в прохладных хоромах.

«Ничего в городе жизнь-то!» — думает про себя Татьяна, свободно припоминая в этой тишине, что если первый день ее службы принес ей некоторое огорчение, зато он принес ей и наслаждения, которых она никогда не испытывала в своей убогой сельской жизни.

Вертит баба перед жадными глазами кусок сахару и, любуясь им, с великим удовольствием прощает городскому дню искушения и нападки, которыми на первый раз он так смутил простую сельскую душу.

«Запужалась я давича некстати с непривычки-то! — развивает Татьяна свою безмолвную думу. — В этом раю не жить, так где же и жить?» И после этого вопроса живо вспоминается ей и завтрак из пшенной каши, вареной на молоке, в котором плавало коровье масло за первый сорт, и жирный обед с ухарскими приговорками Захара, и настоящий чай. «Бывало, поглядишь только на сахар-то, — как он, ровно ранний снег, белелся в руках у поповен да у дворовых, когда они чай пьют; а теперича нака-сь! Воочию у меня сахар-то. Захочу — сейчас весь кусок сгрызу, а захочу — понемножечку сосать буду. Что это за сласть такую придумал народ! Толкуют по деревням: из немецкой земли его возят; там его, говорят, из собачьих костей делают. Ну, да ничего. Пущай себе из собачьих, — окромя, как одной сласти, никаких в нем костей я не вижу. Полагать надо, врут все это, потому народ по деревням знамо какой — глупый народ!..»

Блаженствуя и посмеиваясь тихомолком, делала Татьяна этот первый шаг на поприще заб-

вения своей прежней, горемычной жизни, который обыкновенно так же не задумываясь делает всякий сельский человек, когда хоть чуть-чуть смекнет, что и на его до известного случая тощее тело напластываются наслоения жира, и когда почувствует, что и в далеком будущем ему предстоит полная возможность справлять праздники неуклонным зажариванием жирных кулебяк и задиранием вверх носа, одуренно занюхивающегося в такие времена аромата, который бьет от нового китайчатого кафтана на плечах счастливца и от его скрипучих, смазанных чистым смоленским дегтем, сапог...

И дальше идет Татьянина дума, в первый раз, может быть, не сдерживаемая ни семейским, ни своим убожеством...

«Коего шута, прости господи мою душу грешную, давно оттелева я не бежала? — спрашивала баба с сильным ожесточением на свою недогадливость. — Есть тут кому побранить тебя, зато, по крайности, ты знаешь: не мужик тебя серый лает, а хозяин-купец уму-разуму учит. Душа, по крайности, за хлебом-солью у добрых людей отдохнет».

Таким образом, кусок сахару изгоняет из памяти неблагодарной Татьяны ее голодную сельскую родину. С неутомимым азартом в первый раз обласканного, хотя и без намерения, русского человека во весь остальной вечер отворачивает она тяжелую хозяйскую службу, стараясь отблагодарить за эту ласку.

После ужина хозяин спросил свою благоверную:

— Што, баба-то какова? Есть за что хлебом кормить?

— Баба, сказываю тебе, — золото! Воротит все до страсти; пыль столбом валит, как она тут девствовала, — ответила благоверная.

— Ну, этто чудесно! — благодушно говорит хозяин, засыпая.

Татьяна между тем за кухонною перегородкой свое толковала:

— Наработалась я очинно, — говорит: — опять же и пища такая, словно в заговенье, так и валит! Господу богу-то завтра уж, видно, и за спанье, и за вставанье поутру враз помолюсь...

III

Тот недолгий период времени, в который Татьяна переделывается из купеческой кухарки в съемщицу *комнат снебилью*, самый блаженный период во всей ее жизни, ибо в это время она простодушно и благодарно пользуется благами, предоставляемыми ей купеческим домом, по всегдашней пословице, полным, как чаша. Не видав никогда ничего изящнее сооруженного на медвежий лад хозяйского дивана под красное дерево и гостиной, обитой красно-лапчатыми обоями, расписанной пузастыми амурами, рогами изобилия, лирами и тому подобными штуками, — Татьяна почитает живущих в этом доме не иначе, как за мощных своих повелителей, могущих с одного маха срубить ей голову и с одного маха же опять приставить ее к плечам... Слишком кислую и вяжущую оско-

мину набила Татьяне сельская редька с серым квасом, чтобы ей можно было без полного благоговения садиться за воскресный пшеничный пирог, от которого так приятно-щекотливо ударяло в нос затомленною в жаркой печи говядиной с яйцами, с рисом, с маслом, с луком — этим приобретающим, вследствие печения, какую-то неимоверно вкусную сладость лучком, который, в компании с мелко-намелко растолченным перцем, составляет окончательное украшение всякой кулебяки, назначаемой для праздничного лакомства верным купецким личардам.

Девичья свежесть хозяйской дочери, неизобразимо-неуклюжая толщина водовозного мерина, молчаливая угрюмость *самого* и крикливо-безалаберная доброта *самой* — все это, так сказать, с самого дна Татьяниной души выволакивает искренние дани всякого сорта признательностей благодетельной судьбе за свое счастливое положение.

Веками и психологией освященная поговорка, что человек в сей жизни, даже находясь на самом верху славы и величия, не может быть доволен своим положением, сделалась бы крайне несостоятельною в глазах философа, который бы хоть мельком взглянул на Татьяну в этот цветущий период ее жизни.

— Што это, Татьянушка, работищи у тебя какая пропасть! — удивлялась какая-нибудь ее деревенская знакомая, сидя у ней в гостях. — Эдак ты через силу будешь чугуны-то ворочать, — животы, пожалуй, сразу надорвешь.

— Не работала рази я дома-то? — с сердцем спрашивала Татьяна. — Работала, кормилица,

по целым дням, окромя завалящей корки, во рту не бывало, а все работала, ровно лошадь двужильная, неустанная. Здесь мне не в тягость жить, потому корм хороший, компания веселая. Все к тебе с добрым словом, не то чтобы за косы да в поволочку.

Таким образом несмущаемо-довольная своей жирною судьбой, Татьяна с каждым днем толстеет все больше и больше, на удивление и похвальбу честному купецкому миру. Красноватое, вечно сморщенное лицо, которое носила Татьяна до поступления в кухарки, сделалось теперь мужественно-смуглым и довольным, слезливые глаза широко раскрылись, черные зрачки их заблистали каким-то лукавством, сметкой какой-то, говорящей как будто: «Ну, брат, объегорить меня вряд ли удастся тебе. За этим делом, друг ты мой сладкий, приходи к нам в четверг после дождичка!»...

— Как скоро отъелась эта Татьяна, братцы мои! — толкуют про кухарку ее сожители по кухне, Захары. — Выровнялась баба на удивленье, — глядеть на нее, почитай, нельзя!..

А Татьяна слушает эти речи и посмеивается себе втихомолку. Посмеивается всем этим соседним кучерам и проходящим солдатам — *Ликсей Лексеичам*, вечно показывающим с господского крыльца свои немецкие сюртуки, и простым рабочим, гармониками и балалайками оживляющим праздничное свободное время, хлещет в глаза своим ситцевым, разводистым сарафаном. Смотрит на нее праздничный народ, как она на лавочке у калитки сидит, в пестром шерстяном платке, в белой

кисейной рубахе, от которой на белые руки пышные рукава речною волной упадают, — смотрит и сквозь зубы с тяжким вздохом цедит:

— Н-ну! Эдакая баба хоть кого из нашего брата на чужой стороне сбережет!..

А Татьяна на все шутки бровью даже черною не ведет.

— Будет тебе, шарамыжник, разговоры-то разговаривать! — обыкновенно отвечала она какому-нибудь зарубившему праздничную муху лихачу, когда он растолковывал ей о прелестях, совершающихся по праздникам в полпивной его будто бы закадычного друга и односельца. — Знаем мы, какой он тебе друг-то! Кабы он тебе друг был, не пустил бы тебя без сапог намедни.

— Дура! — презрительно отзывался лихач о Татьяне, когда она напоминала ему о несчастном, хотя и действительном случае, когда односелец-полпивщик стянул с него сапоги за некоторые бутылки, превышающие праздничный бюджет лихача.

Татьяна не оставалась в долгу у лихача.

— Сволочь! — отвечала она ему с насмешливым презрением и тут же тонким, заунывным голосом затягивала какую-нибудь песню своей, с каждым днем все больше забываемой, родины.

Много мужских и женских ретивых сердец, тоже, как и Татьяна, отдыхавших на улице святым праздничным временем, слушая ее мастерскую песню, вспоминают тогда о том, какими теперь разноцветными лентами развеваются

по родимым, оставленным улицам знакомые хороводы; на чужой сторонушке въявь слышатся их родные голоса, пред глазами медленно хлещут усмиренные предвечернею тишиной волны речные, за ними зеленеется лес, а там расстилаются кормилицы-поля, — и вот из соседних домов один за одним подходит народ к Татьяне, как первой песеннице квартала.

— Не полегче ли душе будет, как песню-другую сыграешь; а то, признаться, так сердце для праздника защемило — страсть! Три года вот уже домой не соберуся никак, — толкуют Татьяне подходящие соседи.

Слово за слово, песня за песней, и невидимо, как приблизился темный вечер, в который еще грустнее делается от этих скорбных ахов и охов нашей народной песни. Слушал-слушал ее с балкона, вплоть закрытого плющом и маркизами, молодой сосед, богатый купец, и не вытерпел, чтобы не вскрикнуть:

— Будет вам, ребята, душу тянуть из меня! Валяйте-ка лучше плясовую какую-нибудь я вам сейчас водки и пять целковых пришлю.

На долю Татьяны досталось из этих денег три двугривенных. И часто такие случаи выпадали. Деньга валила к Татьяне невидимо; нашила она себе цветных сарафанов, тонких кисейных рубах, накупила позолоченных перстней с светлыми каменными глазками — и непрерывно блаженствует, потому что, хотя и по немалом приставании, один из самых заухабистых, самым неотвязным образом ухаживавших за ней Захаров наконец-таки покорил ее долго

нечувствительное сердце и с большим парадом водил ее, что называется, вдребезги расфуфыренную, в полпивную по воскресным и праздничным дням.

— Где ты ворожбе такой научился, что бабу эту лютую к себе присушил? — спрашивали у счастливца его приятели-лихачи, истратившие некогда много пятиалтынных на бесплодное угощенье Татьяны пряниками и орехами.

— А всей моей ворожбы и было тут только, что красота да удаль наша молодецкая! — хвастливо отвечал Захар. — Теперь с этой самой бабой в жисть мою не расстанусь. Сказывают, отец там женить меня на какой-то сельской дуре собирается. Только он это, надо полагать, затевает напрасно, потому я теперь всякого горя ему за это наделать могу...

— Был такой слух и у нас на фабрике, — коварно передают Захару завистливые приятели про небывалый слух.

— И у вас уж знают? — азартно спрашивает Захар. — Значит, старый-то там не шутки шутит. Только вот праздник теперь у нас, братцы, не даст мне тот праздник соврать; а я вам, молодцы, говорю: ничего со мной старик в этот раз не поделает, потому я в солдаты — и она за мной... Так ли говорю, Татьяна?

— Милый ты мой, золотой ты мой! Известно, што горе теперича мы сообча мыкать должны. На то и в знакомство вошли... — тихонько говорит Татьяна, стараясь усмирить ласками порывы своего любезного, который неоднократно уже порывался разорвать на себе красную ру-

баху для того, чтобы видели и верили люди, что он теперь против отцова желанья неудержно пойдет...

И на этом пути, как видно, Татьяне везло. Сын за свою любушку восстал против своего сердитого отца, завет родителей, учивших его при отпуске из дома — против женской красоты воевать неуклонно — забыл, на ее красоту глядючи; а теперь при одном слухе только, что отец подыскивает ему разлучницу, по целым дням кипит и горюет своей молодою душой.

Но недаром играется в песне, что

Сладки яства приедаются,
Красны платья скоро носятся.

Раздобрела Татьяна до такой степени, что кто бы только ни посмотрел на нее, непременно говорил:

— Ну, уж с этим телом больше ничего не поделаешь. Раскормить его, чтоб оно было более и толще, никакой пищею невозможно.

Лишь только увидала себя Татьяна в таком положении, сейчас же тоска на нее напала великая, и принялась она в этой тоске ныть и с хозяевами, как говорится, храпеть, то-есть зуб за зуб. Ей кто-нибудь слово скажет, а она на это слово десять своих в ответ, да таких, что каждое из этих слов всякого человека по лбу словно обухом ошарашивало.

— Что это какая у нас Татьяна брехучая сделалась? — удивляются промеж себя хозяева. — Прежде, бывало, водой не замутит, а теперь слово сказать нельзя. К работе рук

не прикладывает. «Я, — говорит, — в крепость вам еще не продавалась». Уж не прогнать ли ее?

— Посгоди маленько прогонять-то, — вступился *сам*. — Рази не видишь, баба с жиру сбесилась... Это со многими на моих глазах бывало. Это у нас в Рассее — словно болесть какая по рабочему народу ходит. Ты вот погоди, я ей маленько жиру-то поспущу: поутюжу ее безделицу, чтобы не заедалась. Ежели с этого не пройдет, тогда гони, потому самый она тогда пропащий человек выйдет...

А Татьяна между тем свое разговаривает:

— Что это, — говорит, — господи, долю ты мне какую послал горемычную? Весь век свой все я из-за чужих рук выглядываю. Ни тебе куска в рот по своей воле нельзя положить, ни спокою никогда, как у добрых людей, не бывает!..

А тут эти разные странницы и салопницы, ожидающие в кухне хозяйского подаяния, еще пуще разжигают горюющую бабу.

— А ты, — жалостливо толкуют они Татьяне, — смирись. Хошь и трудно тебе с сердцем своим совладеть, а все же смирись, потому господь бог все видит.

— Милая ты моя! — вскрикивает кухарка, ободренная этою поблажкой: — стараюсь ведь я всячески для них, — ничего не поделаешь! Все пуще меня злость разбирает, глядючи на их безурядье; а ведь они тоже носы-то вон куда задирают, словно господа какие! «Мы, — говорят, — купцы. Грубить будешь, фартальному подарок пошлем, он тебя в полиции отдерет»... Ведь вон они черти какие!

— Ох, жалость меня на тебя разбирает, Татьянушка! Сделай-ка ты по моему совету: на-ка тебе вот эту самую травку, и положи ты ее, мать моя, под изголовье к *самой*, — авось, может, перестанет она на тебя лютовать. Сам-от — ничего, все молчит; а она — ох, какая подхалимая бабенка, опять же и злющая! Третьево-дня сижу у ней, а она мне и говорит: «Что мне только с этой змеищей-Танькой делать, ума не приложу!»...

Но всех больше поджигала Татьяну одна московская солдатка, давнишняя содержательница *комнат снебилью.* Прошедшая огонь и воду, и, кроме того, все тридцать четыре мытарства, бабенка эта познакомилась с Татьяною следующим курьезным образом. Раз как-то несчастная коммерсантка, проюрдонивши деньжонки, полученные вперед от жильцов, шаталась по рынку с кульком и с хлебными крошками в кармане вместо денег. Притыкалась она то к одному, то к другому мяснику, пробовала то одного, то другого лавочника веселою шуткою взять, только время подходило уже к обеду, а коммерсантка, кроме как, по ее словам, одного невежества, ничего к обеду приобресть от торговых людей не могла.

Тяжелая мысль — быть пробранной за неприготовление обеда голодными жильцами, а паче того отставным поручиком Бжебжицким — сорви-головой, поселившимся с бою в лучшей комнате, засела в мозг бабы и мучительно сверлит его.

«Рази не убечь ли мне нынешний день куда-нибудь? — думает пугливая баба. — Завтра, мо-

жет, достану где-нибудь деньжонок, так пирогов им напеку, а барину-то, окромя еще, полуштоф поставлю, — вот они и смилуются».

А Татьяна между тем пылала в это время желанием знакомства с какой-нибудь благородною женщиной, приказницей что ли какою, которая бы ходила в чепце и в немецком платье. Коммерсантка в этом случае как раз удовлетворяла своей особой аристократическим Татьяниным стремлениям. Плюгавая и сморщенная по физической природе своей она, тем не менее, всегда с особою бойкостью юлила около людей, которых судьба посылала ей в кормильцы и поильцы. Шик, с которым она донашивала старые платья и чепцы, какими снабжали ее различные ветреные, но великодушные Лизетты, постоянно, во время какой-нибудь невзгоды, наполнявшие ее *комнаты снебилью*, был неподражаем. Этот шик свойствен только тем немногим бедным созданиям обоего пола, которых судьба взяла, как об этом говорится, от сохи на время и поселила в столице. Поселила она их в столице и щедро рассыпала пред их деревенскими и, следовательно, простоватыми глазами всю изящную роскошь цивилизованного города, — и вот смотрит-смотрит на эту роскошь какой-нибудь красивый русский парень, толкнутый барскою рукой в слесаря, и вдруг ни с того, ни с сего пропивает свою праздничную поддевку, сшитую дома, и покупает на толкучке какое-нибудь жалкое подобие сюртука и говорит про себя, любовно оглядываясь в тусклое зеркало вонючей харчевни:

— Вот когда мы зафрантили-то!.. Сейчас умереть, на деревне меня бы теперь ни единая душа не узнала, потому, как есть, немцем стал!..

Трудно вообразить себе что-нибудь жалче такого молодца, когда он в какой-нибудь праздник идет в своем новокупленном наряде с талией, большею частью болтающейся по пяткам, в русских сапогах с длинными голенищами, за которые заткнуты оборваннейшие штанишки. Суконный замасленный жилет с пуговицами в два ряда, с бортами, лежащими на груди в виде каких-то собачьих ушей, и красный ситцевый галстук, обверченный на шее раза три, окончательно довершают сходство новорожденного немца с коровой в седле. А если немец к этому прибавит еще извалявшуюся шляпенку, а по жилету развесит толстую бронзовую цепочку от томпаковой луковицы, тогда, поистине, чудеса всего мира не представят вам ничего комичнее этого зрелища.

Почти одинаковые комедии разыгрываются и бабами, кухарствующими в столицах. Их коленкоровые чепцы с густыми фалбарами, их собственноручно устроенные кринолины приводят в несказанный ужас даже те сердца, которые самым кавалерским образом относятся к человеческому роду.

— Господи! — восклицает даже и такое сердце при взгляде на сельскую бабу в праздничном немецком платье. — Зришь же ты, боже, неуклюжесть эту слоновую и не метешь ее с прекрасного лица земли!..

Ощущая в себе неодолимое желание уважать такие чепцы и такие кринолины, Татьяна дол-

гое время искала себе женщину, которая бы могла ей перестроить ее сарафаны на платья, помогла соорудить кринолин и сшить чепец. В этих видах она, встречаясь с коммерсанткой на рынке, всегда приветствовала ее низким поклоном и пожеланием доброго утра. Но коммерсантка долгое время не отдавала должного внимания этим поклонам и пожеланиям, ибо связываться со всякою деревенскою швалью было решительно вне ее цивилизованно-плутоватых нравов.

Но в описываемое утро, когда коммерсантка приставала с своими просьбами о говядине к невежественным торгашам, когда в ее неоднократно напуганном воображении проносился грозный образ отставного поручика Бжебжицкого, с длинным чубуком в красных руках, требовавший от нее обед или жизнь, — в те, говорю, горестные моменты появление на рынке Татьяны, как и всегда смиренно и непрошенно раскланивавшейся, сразу усмирило тревожную душу недоступной до сих пор коммерсантки. Маленькая и, так сказать, чепцеватая бабенка, подшпориваемая Бжебжицким, подбежала к Татьяне дружелюбно иноходью и завязала с ней разговор следующего великосветского свойства:

— Здравствуй, здравствуй, Татьянушка! Что твои идолы-то?

— Да, что, сударыня, — ответила Татьяна с досадой: — про моих идолов и разговора нечего заводить. Поедом они меня съели.

Концом этого разговора был заем в рубль серебром, который коммерсантка мимоходом

как бы перехватила у Татьяны на самое короткое время. Конечно, рублевый заем не такая великая вещь, чтоб о нем нужно было очень много распространяться; но с него начинается эпоха стремлений Татьяны к кофе *в накладку*, начинаются ее знакомства с различными барышнями, жилицами коммерсантки, рекомендовавшими себя гувернантками без мест, сиротами полковника или даже генерала и, в крайнем только случае, вдовами разорившихся, но некогда первогильдейских купцов.

— Как мы с тятенькой в Орле жили, так это даже страсти! — говорит генеральская сирота, перекраивая Татьянин сарафан на платье. — Был тятенька мой, Татьянушка, первым лицом в городе. Все господа в гости к нам ездили, и мы ко всем ездили.

— Торговали мы, милая Татьяна Лексеевна,— в другое время растолковывает ей вдова разорившегося миллионера, — красным товаром. Было, может, его, красного-то товару, в наших лавках на несколько миллионов... вот как! А теперя, сама видишь, какое горе терплю, и все мне господь помогает за мою, должно быть, простоту прежнюю.

Одним словом, все эти чужеядные растения наперебой кинулись перешивать сарафаны Татьяны, поить ее чаем, *кофием* и занимать у ней часика на два, на три по рублю.

Слушает Татьяна барские, по ее мнению, рассказы с благоговейно-выпученными глазами, искренними и тяжелыми вздохами сочувствует несчастиям некогда столь вельможных барышень, терпеливо жжется их горячим кофе, не

задумываясь оделяет их рублями, зажитыми в долгой и трудной службе идолам-купцам, и, наконец, дошла до того, что однажды сама рассказала захожей богомолке, когда никого не было в хозяйской кухне, что она — офицерская жена, что ей, по-настоящему, барыней быть следует — и была барыней, долгое время была, и именно до тех самых пор, пока не запил ее муж-офицер и не пропал без вести.

— Толкуют, — закончила Татьяна удивленной и соболезновавшей о ее горе богомолке,— в больших теперь чинах муж. Сам, говорят, главный начальник за его усердную службу (в недавнем времени слухи были об эфтом) тремя рублями из своих енаральских рук наградил.

Что именно заставило Татьяну соврать таким образом, до сих пор неизвестно. Известно только то, что вольная жизнь *комнат снебилью*, которой Татьяна насмотрелась у коммерсантки, до того показалась ей привлекательной, что жизнь купецкой кухни ей опротивела, как говорится, вдосталь.

Не стерпевши, наконец, постоянно нахмуренного мурла своей кухарки, *сам* однажды сказал Татьяне:

— Ты што же это, Татьяна Лексеевна, рыло-то воротишь, словно медведь? Али много жира с хозяйских хлебов завела?

— С твоих-то хлебов и заведешь жира! — басовито пробормотала Татьяна, предусмотрительно пробираясь в кухню.

— Стой-ка, стой, мать! — не совсем еще прогневавшись, останавливал ее *сам*. — Што

ты в самом деле не свое на себя берешь! Уж не поутюжить ли мне тебя, барыня? Не поумнеешь ли, авось, хошь с моей-то легкой руки?

Говорит это *сам,* благодушно и тихо посмеиваясь и бороду разглаживая, потому знал Татьяну за хорошую бабу и серьезно обижать ее не хотел. Думал, что от одних добрых слов очувствуется.

— Ученого учить — что портит! — возговорила Татьяна на ласковые речи хозяйские. — Своих дураков полны горницы, — их бы перванаперва поучил.

Тут хозяин не стерпел и дал Татьяне тумака, сначала в затылок, а потом в бок. Татьяна во все свое звонкое горло закричала караул и стремглав бросилась в фартал.

Особенно уголовного дела по случаю Татьяниной жалобы не затеялось. На утро только квартальный пришел к *самому* с визитом, потолковал с ним немного, получил от купца про свои домашние обиходишки десять рублишков и посоветовал прогнать со двора кляузницу-кухарку.

На всю улицу орала Татьяна, когда *сам* прогнал ее; гвалт, с которым Захары толкали ее, по хозяйскому приказу, в три шеи, собрал к купеческому дому много народа; а вскоре после этого на воротах одного разваливающегося и мрачного деревянного дома на Сивцевом Вражке запестрелся билет, гласивший следующее:

«Сдес адаюца комнаты састылом и снебилью вхот, налева фперваю лесницу».

Эти *комнаты с небилью* оборудовала Татьяне опытная в делах подобного рода коммерсантка. Спасайтесь от них, бедные люди!

IV

ОБЫКНОВЕННЫЕ СЛУЧАИ, ОБСТАВЛЯЮЩИЕ ТАТЬЯНИНЫ КОММЕРЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ

Этот дом, в котором расположилась Татьяна, битком набитый чумазыми сапожниками, кривоногими портными, обсыпанными с ног до головы сажей гигантами-кузнецами, синими, зелеными и даже иногда желтоватыми и ярко-красными красильщиками, — этот дом, говорю, загудел и заорал еще громче и безалабернее, чем гудел и орал он до водворения в нем съемщицы *комнат снебилью*. Маленькие мастеровые ребятенки, прежде мелькавшие в кабак и в мелочную лавочку, примерно, по десяти раз в день, теперь бегали в означенные места непременно раз по пятнадцати; ибо прапорщик Бжебжицкий, день и ночь лупившийся в штосс с своими закадыками, в то время, когда тихая и тайная полночь укладывала на убогий одр Лукерью (Татьянину кухарку), часто выкидывал следующие фокусы. Отворивши окно своей квартиры, он зычно обращался к ребятенкам-ученикам, которые, как известно, осень и лето спят по разным дыркам, в дровах, в холодных чуланах, на сеновалах с хозяйским кучером и проч. и проч.

— Эй вы, чертенята! — орал Бжебжицкий. — Куда вы застряли там, бесовы детки? Ежели

кто из вас достанет мне сию минуту штоф водки, пять селедок и луку, тот получит от меня пятачок. Жива-а!

В тот же момент бездушная, но громадная масса дров, сложенная под окнами прапорщика, обнаруживала некоторую жизнь. В этой полночной тишине, которая даже подчиняет себе немолчный шум столиц и больших городов вообще, глухо затренькало что-то, зашуршало, — и вот пред усастым лицом отставного военного предстал всех и всегда слушающийся дух в виде некоторого маловозрастного халатника, с белокурыми шаршавыми волосами, с молодым личиком, отчетливо изрисованным приобретенною в городе плутоватостью и неудержимой охотой приобретать от тароватого столичного населения пятачки и гривеннички, которые так обильно вознаграждают скупердяйство и даже, в некотором смысле, суету хозяйских обедов и ужинов.

Предстал этот дух и, канальски улыбаясь и рабски переминаясь на месте босыми ногами, доложил прапорщику:

— Я эфто дело-с, ваше в-дие, вам в точности оборудую, потому как я служу-с вашим благородьям верно-с... Лавочник Митрий-с сказал мне-с: «в полночь ко мне стучись, — обижен не будешь».

Смеется мальчишка и, говоря эти слова, как-то знаменательно топчется.

— Молодец-парнек, — похвалили его из-за карт юнкера и прапорщики и вообще все те московские полночные совы, которые проявляют свою деятельность по разным закоул-

кам преимущественно в ночное время, потому что днем она слишком ярко и ослепительно бросалась бы в глаза остальному обществу.

— Я вам, ваше в-дие, все могу-с... Теперича у нас в мастерской хоша и есть большие ребята, но они того не могут сделать, что я могу, потому я все равно как взрослый какой! Водку я тоже могу...

— Неужели и водку можешь? — осведомилась у ребенка пьяная компания.

— Сейчас издохнуть, могу! Что ж такое? Мне это все нипочем. У нас, ваше в-дие, весь род такой: три брата здесь на мастерстве пропали, отец пропал, двое дядей, материн племянник, так все тут до единого лоском и легли. Наши сельские говорят: это они от большого ума запились...

После такой семейной характеристики прапорщик еще усиленнее принялся хвалить доблестного парнишку; но, тем не менее, когда парнишка раздобыл штоф, селедок и лука, заслуга его была награждена вовсе не пятачком, а просто-напросто шутливою трепкой, потому что как сам Бжебжицкий, так и его компания давно уже метали и понтировали на счет его сиятельства графа Шереметева, то-есть: «Я вот, любезный друг, сотру тебе два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи, а ты посылай за свечкой — и тогда опять залупливай во всю ночь!» А любезный друг отвечает: «Нет, уж посылай за свечкой сам, а запись я тебе в непродолжительном времени сполна уплачу».

На другую ночь прапорщик тщетно оглашал предутреннюю тишину спавщего дома, призы-

вая какого-нибудь субъекта, годного к приобретению водки в незаконные часы. Ночь отвечала ему одним только лаем пугливой и крайне, впрочем, задорной оболонки, принадлежавшей одной из бесчисленных полковничьих дочерей, которая поселилась у Татьяны вдвоем с некоторой несчастною девицей, отошедшей, как она говорила, от отличного места собственно как за свою честь и за халуйское обхождение с нею хозяйского сына, восемнадцатилетнего гимназиста. Так один только лай оболонки отвечал на возгласы Бжебжицкого, да изредка перешептывались между собою конурки, образовавшиеся в дровах, конурки подлестничные, закоулки в извилинах галлереи, опоясавшей весь дом и верхушки конюшен.

— Это вчерашний барин-то покрикивает? — слышался шопот с чердака одноэтажной красильни.

— Спи, молчи, покуда он тебя не поднял. Бедовый! — говорит другой шепчущий голос с сеновала, но говорит так тихо, что можно было подумать, что это зашуршало сено под легкими ногами испуганной полночною силой кошки.

— А, бесы! — гремит проигравшийся на несколько миллионов воин с третьего этажа. — Да дозовусь ли я какую-нибудь шельму? — спрашивает он, наконец, грузно сходя с деревянной скрипящей лестницы. — Где вы тут, ракальи? — и при этом он быстро запускает руку в подлестничную конурку и вытаскивает оттуда некоторого заспанного и малолетнего артиста по сапожной части.

— Ты что же это, канальчонок, так крепко дрыхнешь? Не слыхал разве, как я тебя звал, шельменыш ты эдакой?

— Я думал, барин, что вы это не меня кличете...

— Цыц! Тебя или другого — все равно. Сейчас должен бежать, как только заслышишь мой голос. Марш в кабак! Штоф очищенной и дюжину баварского! Да не забудь смотри, фрицовской фабрикации спрашивай.

— Это, сударь, Ванюшка на эфти дела ходок, а не я. У него вся родня такая!.. Вся она у него на эфтих делах без остатку сгасла, — говорил испуганный мальчик. — Вон, вон он убежать хочет от вас из дров. Заслышал, что про него вам сказываю, и убежал.

— Веди меня к нему, куда он убежал! Я ему покажу. Ах, шельмы! Ах, канальи! Проливай после этого за них свою кровь! — шутил Бжебжицкий, и компания, смотревшая из окон на его экспедицию, вторила его шуткам громким смехом, пронзительно скандализировавшим ночную тишину.

И тут же, в довершение эффекта, раздается звонкий крик вчерашнего шаршавого мальчишки, которого феодальный прапорщик насильно протискивает в кабак.

— Не пойду, не пойду! — кричит ребенок. — Что я вам буду ходить-то? Колотить-то меня и без вас раз сто в день колотят.

— А вот тебе, ракалия, сто первый! Вот тебе сто первый! Пойдешь?

— Не пойду. Бейте: я ведь терпелив. Меня эфтим, небось, не изнимете.

— Врешь, пойдешь! Врре-ешь, пойдешь! Ну, говори, пойдешь теперь?

— Пойду, пойду, барин! Сейчас летом полечу, пустите только...

— Что? Не стерпел? А туда же толкует, что его ничем не изнимешь. Ну, бежи же, да смотри: у меня не зевать!

В это время, словно из какого подземелья, послышалось сначала визжание дверного блока, а потом голос дворника:

— У нас, ваше благородие, не такой дом, чтобы в нем буянить! Буянство в нем тоже не дозволяют...

— Ш-што? — спросил прапорщик. — Выплыви, каналья, на свежую воду, я на тебя погляжу...

Дворник моментально скрылся после такого столь законного желания, выраженного непобедимым воином; а шаршавый паренек, род которого без остатка угас в московском мастерстве, благополучно прошмыгнул в калитку.

— Я тебе в первый и в последний раз говорю, — протяжно толковал на дворе Бжебжицкий оставившему поле битвы дворнику: — у меня, брат, руки по швам. Я, брат, не люблю. Я, любезный друг, прямо тебе скажу: никакие мордасы мне сопротивляться не в силах. Вот что!

И все, что было живого в доме, навсегда запамятовало эти заключительные слова бравого солдата, как сам себя называл прапорщик, так что после этого изречения не находилось ему ни спорника, ни поборника в целом квартале и даже в близлежащих окрестностях. Пошло, сле-

довательно, дело таким образом, что не только приказания самого прапорщика беспрекословно исполнялись мастеровым населением дома, но даже приказания протежируемых им полковничьих дочерей, безместных гувернанток, несчастных девиц и разорившихся миллионерок-купчих, которые неудержимыми волнами влились в Татьянины *комнаты снебилью*.

В окнах швейной и цветочных мастерских, помещавшихся на том же дворе, показались толстые коленкоровые шторы; но когда эти шторы оказались бессильными сдерживать натиски Бжебжицкого и компании, квартировавшей у Татьяны, окна были закрыты почти наглухо частыми проволочными решетками. Но изобретательность Татьяниных жильцов проникла и сквозь эти решетки, так что в прежде веселые воскресные вечера, когда шумными играми этих красильщиков и портных, кузнецов и цветочниц, швей и сапожников до краев зачерпывался тесный двор многотрудящегося дома, — в эти вечера, сделавшиеся после Татьяниных комнат какими-то грустно-тихими, очень нередко разыгрывались те едва приметные в оглушительно шумящем кипятке столичной жизни драмы, которые ложно направленные общества с плутовато-снисходительными улыбками называют обыкновенными, но от которых, тем не менее, мучительно скорбит всякое новое сердце.

— Лукерья! — говорил кухарке один бородатый юноша: — подай свечи, да ежели Дуняша из цветочной прибежит, скажи ей, что меня дома нет. Тетенька, мол, к нему с машины

неожиданно приехала. Ни под каким видом не пускай. Понимаешь?

— Проказник вы, Петр Лукич! — улыбается Лукерья, медленно покачивая головой.

— Что? — в свою очередь осведомляется Бжебжицкий, промывая горячим чаем длинный черешневый чубук. — Верно: цвели, цвели цветики, да поблекли?

— Комиссия! — отвечает борода. — Не знаю, как отвязаться. Плачет, как река льется. По чем? — сего никто понять не в состоянии.

— А вы ее за слезы-то взяли бы за белы руки да за длинный хвост — да на лестницу. А то не знает, как отвязаться, — поучительно наставляет Бжебжицкий юную бороду. — А позвольте узнать чин, имя, фамилию и состояние особы, находящейся у вас в настоящее мгновение.

— Тише, — шепчет юный. — Это такая история, такая странная история! Вот смотрите: дала сейчас двадцать пять серебром и приказала за ужином посылать.

— Отцы мои! — ужаснулся Бжебжицкий. — Ну-ка, покажите деньги-то. Так, так: депозитка наяву. Так я, друг мой, в момент распоряжусь ужином. Только вот одежонку накину.

— Смотрите только, — трепещет юноша: — не просадите в биллиардной. Осрамите меня.

— Полно, пожалуйста. Что я за дурак такой?! Этими странными, как вы их называете, историями нужно пользоваться да пользоваться. Тут протекция может быть. Тут, — чем чорт не шутит! — городничество чудесное можно с одного выстрела зацепить. Таких чудес-то

иные люди во всю жизнь стараются достичь, да не достигают. Вот что! Так я живо сооружу трапезу. У меня тоже, как у онамеднишнего мальчишки, весь род на этом мастерстве угас.

— Лукерьюшка, дома Петр Лукич? — спрашивает цветочница Дуняша про бородатого счастливца. — Насилу-то я к вам урвалась от хозяйки. Дай, мол, пойду вечерок скоротаю.

— Ох, девушка, девушка! — грустно сказала Лукерья: — чуть ли не пришел конец вечерки-то тебе у нас коротать. Не велел ведь твой дома сказываться. «Скажи, — говорит, — ей, что ко мне тетка приехала». А какая она, чорт, тетка? Расфуфырена точно до страсти, аки барыня какая большая! В третий раз уж гостит у него.

— Что же, она и теперича у него сидит? — торопливо выпытывает Дуняша, побелевши всем своим румяным шестнадцатилетним личиком.

— И теперь сидит. Барина-то того прощалыжного за ужином в ресторацию услали. Он тоже, барин-то этот, любит на чужбинку-то. У него губа-то, я тебе скажу, ровно бы у заправского господина на барские-то кушанья оттопырена.

Но Дуняшу уже не занимал кухаркин рассказ про прапорщичью, оттопыренную на майорский манер, губу. Не сморгнув, смотрит она на кухарку и как бы ждет от нее чего-нибудь более интересного; но кухарка, закончивши губой свои разговоры, принялась загадывать на засаленных картах про некоего разбойничка-сол-

датика, который ушел куда-то в далекий поход, занявши у ней предварительно на самый короткий срок красную бумагу в десять рублев ценностью.

— Чорт его, прости господи мою душу грешную, знает! — шептала Лукерья, пристально рассматривая карты. — Вот ведь и дорога ему лежит в бубновый дом; вот ведь, кубысть, и антерес для бубновой крали вышел, а все не несет его нечистая сила! Черти эти люди-то, грабители! Так-то-сь! — закончила она и благодушно перекрестила сладко зевнувший рот.

— Так что же, Лукерьюшка? Как он тебе сказал-то? — снова начала Дуняша. — Так и приказал: что, дескать, не пускай ее, — меня, мол, дома нет?

— Так и сказал, друг сердечный! Только ты не убивайся. Что убиваться-то по этим мужикам? Обманщики они, ироды! У меня вот тоже Максим, ундер из депа, брал красную-то бумагу, дюже божился, все говорил: «Глаза лопни, через неделю сполна принесу!». Теперь вот третий год уж пошел, как он носит деньги-то. Только, ты думаешь, не лопнут у него за это бельмы-то его собачьи? Лопнут. Утроба-то ненасытная и та, может, лопнет. О, чтоб их всех порастрескало, проклятых этих мужиков! Умеют они нашу сестру объегоривать.

— А она, это ты правду говоришь, все еще у него сидит? — еще раз переспросила Дуняша.

— Что ж я тебе, дура, врать что ли стану? — с досадой ответила Лукерья. — Что я его, кобеля борзого, укрывать-то нанялась, что ли?

— Ах, я разнесчастная, разнесчастная! — вдруг вскрикнула Дуняша, вцепившись руками в свои волосы. — Дай-ка же я брошусь на нее, на разлучницу мою лютую! Дай же я ей ясные ее глаза своими когтями выковырну!.. — и с этими словами она бросилась к запертой двери и ударила в нее и обоими кулаками, и головой, и крепкою грудью.

— Что ты, что ты, беспутница, делаешь? — закричала Лукерья, бросившись вслед за обезумевшею девушкой.

— Куды те, полоумную, шуты несут? — кричала на Дуняшу Татьяна, тоже бросаясь на нее из своей каморки.

— Что тут такое? Что тут такое? — пугливо осведомлялась красивая, полная барыня из-за чуть растворенной комнаты своего любезного бородача, сверкая золотою часовой цепочкой, развешенною на груди в виде адъютантских эксельбантов.

— Это ничего, сударыня! Это у нас больная есть, — говорила Татьяна, понявшая уже, что жильцам надобно делать всякое удовольствие и послугу.

— Же лонер, мадам! Милль пардон, мадам! — расшаркивался воротившийся из трактира Бжебжицкий и достаточно уже хвативший для смелости. — Это моя сестра! Маляд, бедное дитя! Она в горячке! — плакал услужливый воин и могуче оттаскивал девушку от двери. — Друг мой! Бедный друг мой! — говорил он. — Поди, ляг в постель, голубенок! Успокойся.

— Поди к чорту! — простилась Дуняша с компанией, быстро сбегая с лестницы.

— Комедчики! Право, комедчики! — разрешила всю эту историю хладнокровно Татьяна. — Только и дура же эта Авдотья! Подика, что выдумала — к господам драться полезла! Молода еще больно, фарталы-то, должно быть, и во сне еще ей не снились...

— Что, Авдотья Елисеевна, али с господами-то — не с нашим братом? — встретил Дуняшу на дворе молодой мастеровой, некогда отвергнутый ею. — Хорошо, верно, господа привечают, да хорошо и вон провожают... — с насмешливою тоской говорил он девушке, дрожавшей всем телом от злости на человека, так нахально обругавшего ее первую молодую любовь.

— Милый ты мой! Митя голубчик! Расшиби ты сейчас окно у них, у разбойников! Я тебя за это, умереть мне на месте, полюблю с этого самого часа. Только ты возьми камень и расшиби.

— Беги за ворота, а оттуда в пивную к Прокофью, там меня и жди; сиди смирно, не пугайся, ежели полицыя придет. Скажешь тогда, ежели спросят: «я, мол, тут с Митрием близко часу сижу», — советовал Дмитрий, и скоро после этого в *комнатах снебилью* целая оконная рама была вдребезги разбита десятифунтовым булыжником.

— Держи, держи! — орал Бжебжицкий, размахивая своим ужасным чубучищем.

— Держи, держи! — голосил дворник на улице будочникам; но халатник сидел уже у дяди Прокофья и любовно говорил своему новому другу:

— Милая моя! Ты вот осмеяла меня тогда: мастеровщиной немытой ругала, — а все же я тебя в твоем грехе от всего моего сердца прощаю. По молодости по своей девичьей проштрафилась ты, не знала, что господа-то вашу сестру для утехи своей обманывают... Пей пиво, голубь, не плачь, потому настоящего-то горя так и то не выплачешь, а твое горе — не горе, а плевое дело...

— Я, Митя, и не плачу, — шептала Дуня. — Я вот только с сердцем никак не могу совладать; дрожит оно у меня очень, сердце-то! Всех бы я их, до одного человека, теперича зубами изгрызла.

— Мы теперича, — растягивал Дмитрий, пьянея и, следовательно, уже начиная муштровать свою бабу. — Мы теперича никогда не должны этого говорить. Потому перед богом такие слова — грех, по писанию не так... Опять же, ежели ты возверзишь... и воззовешь... Н-ну, од-дно сл-лово... у меня слушаться! Со мм-мной тебе, девка, хор-рошо буд-дет! Я не вор-р, не пьяница, чтобы большой уж очень, — грамотен тоже... Слушайся меня, девка, пей пиво, а я твоего греха не помню. Цалуй!..

Немало также новой жизни в прежнюю патриархальность воскресно-мастеровых вечеров дома внесли и праздничные возгласы Захара, бывшего подручника Татьяны у купца. Затешется он, бывало, на дворик *комнат снебилью*, станет пред их окнами растрепанный, разбитый весь, с пьяным, чахоточным румянцем на лице, и заорет:

— Эй, Татьяна Ликсевна! Отворяй ворота, принимай за повода, — гости приехали!.. — И ежели Татьяна, распивая кофей с приятельницами в каком-нибудь дальнем углу своей квартиры, не услышит молодецкого вызова, то кто-нибудь из жильцов, а чаще всего прапорщик Бжебжицкий, неустанно посылающий из своего окна поцелуйчики проходящим дамам, непременно бежал к ней и докладывал:

— Татьяна! Опять Захар пришел, пьянее прошлого. Что же ты не сразишься с ним? Бежи скорее; ругает он тебя на чем свет стоит.

— Ах, губитель! Ах, злодей мой великий! — восклицала Татьяна. — Осрамит он меня теперь до конца. Что я с ним, с варваром, буду делать?

— Сразись поди, пролей свою кровь! — советовал жилец, алкая потешить свое бездельное одиночество медвежьей травлей. — Может быть, вид твоей жертвенной крови, — продолжал шутливый барин, — и приведет его снова в норму.

— Какая ему теперича норма! — возражала Татьяна барскому слову, с коварною целью показать, что она нынче понимает тоже по-французскому. — Он теперича, ежели я дворнику четвертака не дам, брехать будет до самой зари утренней.

— Так ты прибегай поскорее хоть к сему спасительному средству, не то ведь скандал выйдет.

— Будет уж вам! — пугалась Татьяна. — Мне и без ваших присказок тошно.

— Тошно? А зачем изменяла? Помни, что злодеяние всегда наказывается, а порок торжествует.

— Что же, Татьяна Ликсевна? — кричал со двора неугомонный Захар. — Али, барыней стамши, компанией старинной брезгаете? Эдак-то, кажись бы, добрые люди не делают.

— Будет тебе, молодец! — усовещевал Захара дворник. — На чужом дворе буянить тоже не очень-то нашему брату дозволяют.

— Валяй, валяй ее, друг сладкий, половчей! — советовали молодые мастеровые. — Ежели ты ее, то-есть, как следствует пропечешь, сейчас умереть, мы тебе пару пива на складчину тотчас же выставим, потому чтобы про нашего брата знали и ведали.

— Мы, друзья, свои дела и без пива в тонкости знаем, — хвалился Захар. — И как я вам заранѣше объявляю, как перед господом богом, вряд ли этой самой Таньке голову свою от меня уберечь, потому она жисть мою молодую заела; от ласки моей сердечной отвернулась, стерва проклятая, и оплевала ее, эту самую ласку. Эхма!

Большая душевная потеря слышалась в голосе пьяного молодца. Стоит он посреди двора, готовый на все, и с каждой минутой возжигается все больше и больше.

— Други, — кричал он: — ведь что она со мною сделала! У места в сновальщиках был — прогнали ради ее, стариком своим за любовь с нею проклят, родными брошен! И на все это я не посмотрел, все одну ее в душе моей содер-

жал... Ах! держите меня, братцы, пожалуйста, а то как бы греха какого не случилось, как бы она от моей крепкой руки не подохла.

— Будет, будет, дружок!— уговаривал снисходительно дворник, разжалобленный этим сокрушительным горем.—Видишь, народу сколько собралось; ундер, пожалуй, придет, в сибирку заберет. Что хорошего в сибирке...

— Ах, ничего нет в сибирке хорошего! Только блаже бы мне в самой Сибири быть, чем с этой паскудой водиться. Ах, надо мне с нею порешить, братцы! Заодно уж мне погибать-то! Расступись, народ!..

И при этом Захар вбегает на лестницу *комнат снебилью,* и скоро ожесточенная битва, начатая им с Татьяной в ее квартире, переходит на двор, поглотивший собой праздничное внимание целого дома.

— Краул! краул! — звонким дискантом кричала Татьяна в сильных Захаровых лапах.

— Как он ее любит! Как он ее любит! — басовито шутил Бжебжицкий, покуривая Жуков из длинного черешневого чубука.

— Это точно, ваше в-дие, что он ее очинно любит! — подвернулся какой-то пестрый халат. — Он без нее жизни готов решиться, ваша в-дие! Каждый праздник так-то ходит сюда этот молодец, и каждый раз их обоих в полицыю забирают. Потеха!

— Ну, разговорился! — крикнул Бжебжицкий на халат, справедливо вознегодовав на такую фамильярность. — Все вы таковы, канальи!..

— Батюшки, заступитесь! Родимые, отбивайте!.. Убьет! — умоляла Татьяна, въевшись,

однакоже, всеми зубами в плечо своему беспощадному противнику.

— Вот как у нас, Татьяна Ликсевна, старинных любушек привечают! Вот как мы им русые косы расчесываем, белые лица разглаживаем, — во-о-т ка-а-к! — злобился Захар, волоча Татьяну по грязному двору.

Волны народа, облелеявшие борцов, бурлили и переливались около них, словно бы крутил их вихорь летучий; но тем не менее никто не решался расхолодить этих разозлобившихся зверей, которые, с пеной у ртов, грызли друг друга и ворчали, ежели кому из них удавалось как-нибудь покрепче тиснуть так недавно дружеское тело.

— У них теперь надолго пойдет, — толковали в толпе. — Ежели их теперича водой не разлить, до самой до темной ночи продерутся.

— До полночи не продерутся, — слышались возражения: — устанут, опять же и кровь... Уж тут долго не надерешься, коли кровь пошла. Сейчас же тебе в голову вдарит...

— Это точно, что вдарит: особенно ежели нос тебе рассадят...

— Что, что тут такое? — возговорил наконец старик-ундер, пришедший на шум. — Ты опять тут? — обратился он к Захару с грозным вопросом. — Я тебе в прошлое воскресенье что сказал, а? Чтобы нога твоя здесь не была? А ты опять затесался; опять ты тут, разбойник, буйство стал учинять? Я же теперь тебя побаюкаю за такие дела!.. — И при этом карательный старик свалил Захара с ног, хва-

тивши его, что называется, в едало или в самую суть.

— Бей, бей его, сударь, разбойника! — со слезами просила Татьяна. — А как сменишься, приходи ко мне чай пить... Я тебе господских щей налью и водки куплю.

— Много благодарны, Татьяна Ликсеевна! Свое дело знаем: мы его сейчас, как следствует, по начальству, — объяснялся старик мимоходом в квартал, куда он потащил Захара, который, в свою очередь, на всю улицу орал:

— Мне теперича все нипочем! Я свою душу утешил! С меня будет...

— Молодец! — поощряли его мастеровые. — Ничего они тебе в фартале не поделают. В другой праздник придешь, там мы ворота-то припрем, городового-то не пустим, — расправляйся, как знаешь...

— Молодец, — вторил им Бжебжицкий. — Свое взял, а там — хоть трава не расти. Что, Татьяна Алексеевна, побаловаться изволили маленько? Верно, это не то, что кофе распивать да за деньгами приставать каждую минуту? Говорил ведь я тебе, дура ты эдакая, ежели будешь за деньгами часто ходить, так либо я тебя отдую, либо Захар. Вот так и вышло по-моему!.. И на картах тебе гадать нечего было...

И под громкий и вместе с тем непрестанный гул такого рода сцен, с каждым днем все больше и больше разрасталась по широкой Москве, между ее известным людом, слава Татьянина заведения. Посторонняя жизнь, так или иначе интересуясь жизнью *комнат снебилью*, отовсюду

налетая на дом, в котором помещались они, в соединении с случаями, подобными только что описанному пассажу, образовали, наконец, у ворот дома, на дворе его и в самом доме как бы какой вечно крутящийся, вечно шумящий омут, непрестанно горланящая пасть которого ежесекундно пытала самыми страшными и разнообразными пытками все, что, по несчастью, жило по соседству с комнатами.

— Любезненький! Где тут Татьяна Ликсеевна — съемщица живет? — пугливо всунувшись в калитку, спрашивает у дворника румяный приказчик с громадным кульком под мышкой.

— Ступай ты лучше отсюда, купец, ступай, покедова я тебе шеи не нагрел! — отвечает дворник, измученный многочисленными расспросами разнообразнейших субъектов о местожительстве Татьяны Ликсеевны. — Сейчас умереть, ежели не уйдешь сию минуту, побегу к хозяину, — я ведь знаю, у кого ты живешь, — и скажу ему: вон, мол, где твой соколик погуливает!

— Напрасно вы, любезный человек, сердиться изволите-с, — ласковым и крайне пугливым голосом шепчет приказчик. — Пожалуйста, не шумите-с: мы с вами сначала по политике будем рассуждать, денег вы от меня много можете завсегда иметь, потому как мне не Татьяна нужна, а Прасковья Петровна: девица такая живет у ней. Нужно нам ее в Останкино пригласить на прогулку-с.

— Знаем Прасковью Петровну. Ступай вон в энто крыльцо; только у ней, братец, вашего

брата, купца, много теперь засиделось. С вечера еще в экой ли пристани тихой кантуют. Слышишь вон, как на итарах наяривают?.. Это у ей.

— Это ничего! Пущай их наяривают; она нам всякое снисхождение завсегда оказывает, потому доброту нашу ценит, опять же и деньги наши... — торопливо закончил купец и, выхвативши из кармана горсть мелочи, бросил ее дворнику и мышкой юркнул на крыльцо оценивающей должным образом его доброту Прасковьи Петровны.

— Экой народ взбалмошный — эти купцы! Ума у них не так чтобы много, а деньжищев гибель! — со вздохом заключил дворник, пересчитывая новенькое серебро. — Все это надобно мне в клад положить, потому нескоро таким образом разживешься. Где только черти эти берут такую деньгу, — смотреть хорошо!

— Эй, землячок, родимый! — перебил дворника тоже испуганный, но басовитый голос приезжего мужика, тоже, как и недавний купец, пугливо просунувшего в калитку косматую голову.

— О, чтоб вас совсем! — гневался дворник.— Словно омут какой, так тебя и прет! Что тебе?

— Да то-то, кормилец! Кое место приехал, черти в кулачки не бились, — все девку свою ищу. Ушла из деревни на заработок. а теперь, говорят, вольного поведения стала. Сказывали, в ваших местах скрывается, у какой-то офицерши Татьяны.

— Офицерши? — презрительно воскликнул дворник. — Много их таких офицершев-то...

Как девку-то зовут? Сказывай у меня живее, а то уйду сейчас, тогда, хоть ты околей тут на сем месте, ничего не узнаешь!

— Прасковья была, кормилец! Мы ее в деревне-то все Праскуткой звали.

— То-то Праскуткой! Пускаете вы их сюда на свой срам, а на их погибель. Вот что! А тебя-то как зовут?

— Меня-то?

— Да, тебя-то!

— Дворник! Ты дворник? — перебил мужиков ответ некоторый юркий барин с горделиво-халуйским выражением в лице. — Куда тут переехала недавно благородная девица одна, Адельфиной Лукьяновной зовут?

— Был Петр Иванов, — продолжал мужик прежний разговор.

— Так и есть! Дочь твоя, Петр Иванович, у нас в этом самом доме живет; только жаль мне тебя, а помочь нечем. Такой она теперь барыней сделалась — на все руки! — жалел дворник бывшего некогда Петра Ивановича, не обращая внимания на юркую личность. — Придется тебе ее, дружок, знатно за волосы отхватать.

— Что же ты, скотина, не отвечаешь? — вскрикнул барин. — С ним благородный человек разговаривает, а он все к своему серому волку морду гнет. Успеете еще рожи-то друг другу в харчевне расколотить.

— Виноват, ваше в-дие, — спохватился дворник, в момент выхваченный этим окриком из-под занятного впечатления, навеянного на него разговором о пропащей Петровой дочери. —

Вон по тому крыльцу извольте итти в седьмой номер. Там вы эту барыню сразу отыщете.

— Ведь кричит тоже! — бурлил привратник вслед уходящему сердитому господину. — Подумаешь, что заправский барин к заправской барыне пришел в гости, и, подумавши, испужаешься. А как знаешь эти порядки, ничего-то ты не боишься, потому ежели тебе самое мудреное немецкое имя скажут, ты уж и знаешь, что врут... Твоя дочь-то тоже по-немецкому назвалась — и не выговоришь. Прокурат здесь народ, Петр Иваныч! Все это он нога в ногу с господами норовит, отчего и гибнет, особенно женский пол; потому стрекулятников этих в столицыи пропасть. Всякую они деревенскую девку, самую степенную, беспременно с пути собьют. Хитры на эти дела бездомовники проклятые!

— Били бы подюжее их! — исхитрился посоветовать дядя Петр. — У нас по деревням таких-то чем не попадя колотят. Застанут у какой, оглобля под руку попадется — оглоблей бьют, топор — топором... Злы мужики насчет эфтого...

— Н-ну, здесь так-то нельзя; здесь порядки не те. В полицыю, говорят, представляй. Там, говорят, на всякое дело закон прописан. А все же я тебе советую с дочерью своим судом лучше расправиться; по судам-то не ходи, потому, вижу я, простоват ты — обчешут. Возьми, говорю, за косы-то ее да по зубам хорошенько, чтоб она отца с матерью не срамила.

— За этим не постоим, золотой! Известно, родители. Вдаришь, как не вдарить... Так и

батюшка с матушкой (пошли им, господи, царство небесное!) с детками расправляться учили...

И перекрестившись при воспоминании о покойниках батюшке с матушкой, дядя Петр отправился к дочери.

Но и крест, разгоняющий адские полчища, не разогнал бесов большого города, которые в беспрестанной и крикливой тревоге возились в доме, занимаемом *комнатами снебилью*, и вне его. Человеческие радости и горе отовсюду или тихим, усталым шагом пешехода ползли в эти комнаты, или въезжали под их крыльцо на лихачовских рысаках, от бойкого скока которых колебался весь дом и жалобно дребезжали стекла в рассохшихся рамах. И в то время, когда дядя Петр расправлялся с своей непутевой дочерью, в подвалы и в нижние этажи к мастеровым забирались многоразличные личности и торопливыми голосами людей, безотлагательно куда-то поспешающих, громко спрашивали:

— Послушайте, скажите пожалуйста, где живет студент Клокачов?

Немец-слесарь, которому был предложен этот вопрос и который с утра выслушал уже таких вопросов бесчисленное количество, на минуту прекратил визжание железа, опиливаемого английским терпугом, с досадой бросил его на верстак и, злобно выпучивши на гостя слезливые глаза, крикнул:

— Я разве вам дворник? Чтобы чорт побрал все! — И при этом он быстро заменил сюртуком фланелевый халат и ушел в биргалль.

— Где здесь отдаются комнаты?—переспросили несчастливца ужс на дворе, и натурально, что несчастливец ускорил шаги и ответил следующее:

— Здесь ни одной нет комнаты! У чорта в аду много бывает комнат, — д-да!..

— Эй! мейн гер! — кричит из окна утекающему немцу прапорщик Бжебжицкий. — Подите сюда, пожалуйста. Дело есть.

Немец с видимою неохотой возвращается.

— Почтенный бюргер! — говорит ему Бжебжицкий: — вы непременно идете пить пиво; захватите и меня с собой. Больше сего я вам ничего сообщить не имею.

Несколько приятельских лиц с хохотом показываются в окнах прапорщичьей квартиры и крайне любопытствуют проследить ту злость, с которой немец смотрел некоторое время на их шутливого товарища.

Благообразный мужчина с дамой, одетой в щегольский бурнус, останавливается против офицерских окон и спрашивает:

— Позвольте узнать, милостивый государь, где здесь отдаются меблированные комнаты?

— А вот извольте итти в это крыльцо, во второй этаж. Позвоните и спросите съемщика Ивана Медвежатникова, — грациозным жестом указал Бжебжицкий на крыльцо одного вечно занятого учителя гимназии, служившего всегдашнею потехой для целого дома.

Скоро компания, собравшаяся у Бжебжицкого, имела наслаждение видеть, как мученик-учитель выбежал на двор в туфлях и шлафоре,

таща за руку благообразного мужчину, дама которого стремительно утекала за ворота.

— Вы разве не видали этого? — горячился учитель, показывая своей жертве на билет, приклеенный на двери в его ученую берлогу. На билете значилось:

«Здесь *не* отдаются комнаты с мебелью, а отдаются у Татьяны. Вход к ней из ворот направо, по второй лестнице, в третий этаж». Изречение это было переведено на французский и немецкий языки.

— Я не понимаю, милостивый государь, где у вас были глаза, — кричит учитель, — когда вы шли ко мне!..

— Извините, ради бога! Меня послали сюда, сказали, что у господина Медвежатникова...

— Какой там чорт Медвежатников? Это вон все те шелопаи потешаются...

— Профессор! Профессор, — кричал с хохотом Бжебжицкий: — не сердитесь. Муки эти на том свете за ваши ученые грехи вам зачтутся.

— Шаромыга! — отвечал в свою очередь профессор, грозя кулаком своему врагу.

— Ругаются! — доложил учителю подошедший к нему в это время лакей. — Ужасти, как ругаются! Сказали, чтоб я в другой раз и приходить не отважился. И тебя, говорят, из окна вон вышвырнем.

— Как же они ругаются?

— Сказать не смею-с! Только просто ругаются ругательски! Говорят, ежели он еще раз пришлет, спустимся мы к нему в квартиру и изобьем его.

— Ступай в квартал! Там так все и объяви, от моего имени.

А из открытого окна каморки, занимаемой благородною девицей Адельфиной, на весь квартал разливалась разухабистая «барыня» на двух скрипках и на гитаре, сопровождаемая молодецкими выкриками и как есть демонским трепаком.

— Вали гуще! — кто-то пьяный орал во всю грудь. — Что на них, на чертей, глядеть-то! За то деньги платим. Мы тебе покажем, как к нам лакея присылать с наставлениями, — крикнула какая-то рожа, высунувшись из окна.

— Караул! Караул! — кричала мансарда совершенно по-женски. И вслед за тем та же мансарда, переменивши тон, приговаривала по-мужски: — Я тебе, шельма, дам, как кофе ходить распивать к господам в номера.

— Батюшки! Что же это такое? — обливаясь горькими слезами, спрашивал дядя Петр Иваныч, выходя из *комнат снебилью*. — Родная дочь на отца руку накладывает, а?

— Ишь, музлан, туда же учить лезет! — щебетала вслед ему Прасковья Петровна, прощалыжничеством большого города нареченная Амалией Густавовной. — Не учил тогда, когда поперек лавки укладывалась, — теперь уж не выучишь: теперь уж мы вдоль лавки-то в пору только укладываемся... Так-то! Увидишь своих, поклонись нашим; а то, видите, кварталом вздумал стращать, ежели не остепенюсь!..

— Вот она, Русь-то, разгулялась! — хохотал Бжебжицкий. — Катайте, катайте его, Амалия Густавовна, а то он, пожалуй, хвастаться будет, что он тут нам, городским, страху задал.

— Я ему задам страху! Не на тех напал страху-то задавать.

— Вот уж это, девушка, напрасно ты так-то поговариваешь! — вступилась за дядю Петра старушонка одна, с чулком в руках. — Он тебе родитель...

— Молчи, старая дура, — прикрикнула на нее русская немка. — Почем ты знаешь, может, я ему родитель-то?..

Уселась старуха после этого окрика на дрова, на самую солнечную припеку и, под визг мастерового железа, под гвалт *комнат снебилью*, под грохот экипажей и вообще под этот несмолкаемый стон столичной суеты, зашептала нескончаемую рацею о прошлых временах и о прошлых людях.

— Была сама такою-то! — говорила старуха, покачивая головой и побрякивая вязальными спицами. — Много соблазну здесь для нашей сестры: устоять никак невозможно; а все же, бывало, когда отец али мать наедет, примешься, бывало, плакать; примешься на долю свою стыдную жаловаться и скорбеть... А ведь в нынешних стыда-то нет никакого. Ох, нет никакого стыда в нынешних людях!.. Срам!.. Все равно как дикие звери стали! Ни в бога веры, ни любови к людям!..

— Ваше благородие! Повестка к вам от господина квартального поручика, — пробасил Бжебжицкому усастый полицейский вестовой. — Извольте завтрашний день к десяти часам в контору пожаловать.

— Это зачем?

— А вот тут в повестке все аккуратно прописано.

— Дай сюда! — И Бжебжицкий стал читать: «Сим приглашаю... по делу якобы о скандале, произведенном вами в квартире учителя и проч. Также по жалобе солдатской дочери Афимьи»... — Чорт знает, что такое! За все, про все ныне в квартал зовут. Любезный! Скажи поручику, что, мол, прапорщик лежит на одре. Слышишь? Так и скажи.

— Слушаю-с! Счастливо оставаться, ваше благородие!

— Погоди-ка. Не знаешь ли жида какого-нибудь, денег бы мне у него занять под сохранную расписку.

— Не могу знать-с, ваше благородие! А ежели теперича серебро, золото али бы что из платья из хорошего, так мы сами иногда верным людям даем.

— Дурак! Я тебе сам дам под золото да под серебро, даром что ты неверный человек...

— Что это за проказник такой этот барин,— смеялась Татьяна из кухни. — На всякое слово у него завсегда ответ есть. Ежели бы он деньги платил как следует да не дрался, — цены не было бы этому барину!..

V

ГЛАВА, ИМЕВШАЯ БЫЛО НАЧЕРТИТЬ ЛЕГКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ЛИЦ, СОГНИВАЮЩИХ В КОМНАТАХ СНЕБИЛЬЮ

Я тебя постараюсь как можно тише окрикнуть, бедный народ! Я спою про тебя, вечно ноющая, вечно голодающая птица *комнат сне-*

билью, настолько незлобивую песню, насколько незлобивых жизненных тем набралась в этих клетках моя собственная озлобленная голова.

О, мир вам, люди покоробленные, а чаще, как дуга, согнутые всесильною нуждой! Мир вашим снам, озлобленно-тревожным, ногам вашим, вечно снующим и ничего не выхаживающим, всегдашней злобе вашей желаю я скорого угомона!..

Ибо злоба ваша — смерть ваша. А как тяжело умирать одному в меблированных вертепах, — одному, с одною только злостью своей даже и на этот день, который так светло пробивается в комнату сквозь грязно-желтую коленкоровую штору, на этот бойкий гул столичной жизни, неумолчно гудящий за стенами!

Предсмертному крику гаснущей, медленно истомленной жизни в кухонном углу где-то безучастно и отвратительно-крикливо вторит одна только Лукерья бессмысленно-фабричною песней про какого-то всадника, который будто бы

Кор-ми-и-т ко-о-ня сы-ы-та-а,
Сам ест сухари.

Песня закончилась, наконец, к общей потехе населения комнат, зазвонистою кучерскою трелью, а с нею вместе закончилась и жизнь, желавшая сейчас одного счастья — взглянуть на человеческое лицо, — закончилась скрежетом зубов, хрипом надсаженной груди и желтою пеной на посиневших губах. Исковерканная тою безобразно-ужасающей печатью, которую смерть, в довершение эффекта, кладет на изможденные тела бедняков, жизнь эта сейчас же, вместо последней молитвы, накликает на себя —

тем только, что умерла она, что понесла отдать свое несносное бремя к зовущему всех труждающихся и обремененных успокоиться в нем — целый поток бессмысленных ругательств и проклятий.

Пришла Татьяна, неумытая, заспанная, растрепанная; взяла она эту повисшую, весь свой короткий, но трудный век старавшуюся быть честною, руку и сказала:

— А околел ведь... Лукерья! Беги скорее в фартал. Ах ты, голь перекатная! — добавила съемщица, помотывая головой: — кто теперича тебя, голь, в сырую землю схоронит?

Такие картины не настолько редки у нас, чтоб я не мог сказать про них правдивого слова, и сказал бы, если бы не боялся упреков в лиризме, без которого я решительно не могу ни поклоняться светлому лицу природы — единственному совершенству на всей земле, ни скорбеть о людской погибели, а потому пусть пойдет другая глава.

VI

НАРУЖНЫЙ ВИД ДОМА С МЕБЛИРОВАННЫМИ КОМНАТАМИ

Трудно чему-нибудь быть своеобразно грязнее столичных домов, заваленных разными русскими мастерскими. Выстроенные спекуляцией на манер всех вообще столичных громад, то-есть на манер большого квадратного сундука, они до жильцов некоторое, весьма недолгое, время ничем не отличаются от своих соседей, составляющих вместе с ними длинную улицу. Но вот вниз переехало *экипажное заведение Трифона Ры-*

кова, рядом с ним в двухкомнатной квартире поселился сапожный мастер Самсон Соловьев, в бельэтаже какая-то толстая баба с страшным рубцом на лбу, словно бы от сабельного удара, и с шестью молоденькими горничными; в подвальной квартире, через двор — извозчичий содержатель и какие-то старые отставные солдаты, вечно дерущиеся на дворе и кричащие караул; третий, самый верхний, московский этаж гостеприимно принял в свои невыразимо воняющие приюты орду *комнат снебилью*. И вот через какие-нибудь полгода ярко набеленные стены нового дома покрываются копотью; штукатурка, хотя умышленно ее никто и никогда не ломал, обваливается и кажет по местам красные кирпичные раны; окна же, особенно в квартирах у извозчиков и отставных солдат, вместо стекол залепливаются синей сахарною бумагой; в *комнатах снебилью* и у толстой бабы с многочисленными горничными заставляются подушками в пестрых ситцевых наволочках, — и вообще весь дом, видимо новый и крепкий, сразу как будто проживает пятьдесят лет, и кажется, что какая-то враждебная сила беспрестанно раскачивает его, ломит и валит. Печальными такими и расслабленными замарашками смотрят эти дома, как-то особенно скоро врастают в землю их фундаменты и скособочиваются, точно бы какой человек слабый, голова которого скривилась набок от первой жизненной тукманки. Глядя на бессмысленную грусть и тупую озадаченность, постоянно рисующиеся на лице такого человека, непременно подумаешь, что вот сейчас подкосятся его дрожащие ноги,

что из широко выпученных, но тусклых глаз польются обильные слезы, а отвислые губы безотвязно запросят пощады...

Вот довольно схожий портрет дома, в котором поселилась Татьяна с своими жильцами. При первом взгляде на его каменное, неподвижное лицо всякий легко убеждался, что здесь поселилась бедность, в большей части случаев поневоле неразборчивая на те средства, при помощи которых она с жалобами и слезами доволакивается до темной могилы, где навсегда укроются ее грязные отрепья и успокоится необходимо-грязная и темная жизнь.

Но не веселее наружности описанных домов и внутренность их, с теми обыкновенными историями про жизнь своих жильцов, которые будут, пожалуй, гораздо печальнее унылого лица дома, приютившего в стенах своих всякого рода несчастье. Слушайте же эти истории — и тогда для вас, может быть, очень сбыточною покажется та мысль, что оттого печален столичный дом, заселенный бездомным народом, что даже бездушному камню нельзя не скорбеть при виде разнообразных мук этих людей, которые, вследствие безалаберно сложившейся жизни, отовсюду, проливным дождем сыплются на их бездольные головы.

VII

КОРИДОР КОМНАТ И ЕГО ЖИЛЬЦЫ

И рад бы сказать, что по этой залитой помоями, расшатанной и без церемонии завешанной разным бельем лестнице, которая вела

в Татьянины *комнаты снебилью*, можно ходить людям, — но для этого нужно быть самым наглым лжецом. Хозяин знал, для кого он строил свой дом, и потому предоставил владимирским плотникам полную волю гондобить его, как господь бог положит им на сердце. И в то время, когда плотники орудовали, капитальная борода, изредка наезжая к ним с своим хозяйским глазом, говорила:

— Ничего, не взыщут! Место здесь такое, для всякой швали удобное. Лет через пяток, господь ежели благословит, окупится домишка, а тогда его можно будет подрумянить маненько, подпереть, пообмазать — и по-боку. Дураков тоже много; а не найдется охотников, застраховать можно... История тоже известная...

Про длинный коридор комнат тоже не могу сказать ничего особенно приятного. Темен он был, как ад, а кобель Бжебжицкого и соседство кухни, пропитанной своеобразным запахом щей и Лукерьиной постели, покрытой ее шубой из кислой овчины, сделали его до того вонючим, что свежий человек ни под каким видом не выносил его духоты более пяти минут. Однакоже были люди, которые сжились с этою темнотой и вонью до полного равнодушия к ним, и мое собственное мнение в этом случае таково, что всякий человек, конечно, не без некоторых усилий, может скоро привыкнуть к этим вещам, если у него хватит денег на покупку какого-нибудь кофеишка с хлебом и не хватит на бутылку ждановской жидкости, могущей очистить его апартаменты от заразительных миазмов, так вредно действующих на человеческие нервы вообще.

Привыкли, говорю, люди к удобствам своего коридора так, что и слезы у них есть, когда износятся башмачонки, поистратятся в безработье припасенные про черный день деньжишки, и смех тоже довольно легко вылетает из их грудей, когда каким-нибудь свободным праздничным днем, после рюмочки и пшеничного пирога, придется вспомнить с какою-нибудь давнишней подругой про былые годы, когда жили при местах, у хороших хозяев, когда были молоды лица и беззаботны души...

Все в этом коридоре одни только женщины жили. Сосчитать, сколько их там именно, узнать, что они платят за квартиру, чем живут — не было никакой возможности. Видели только более или менее состоятельные жильцы, жившие в комнатах, что кишит что-то в коридоре безразличное и живое, — раскатываются в нем какие-то переменные волны, а какие именно — не знали и, конечно, не хотели знать, потому что не нужно было. Волны эти обыкновенно вливались в Татьянин коридор таким образом: живет-живет, бывало, какая-нибудь горемычная в почетных экономках у богатого холостяка, так долго, что оба они в этом сожительстве половину зубов потеряют, разнообразя свою жизнь редким, а может быть и частым погрызыванием друг друга, и поседеть тоже оба успеют. Привыкнет экономка к достатку, к хорошей комнате, к сладкой пище — и вдруг старичина нежданно-негаданно протягивает, как говорится, резвые ноги. Дальние родные великодушно подарили экономке старый салоп на беличьих

лапках, да сама она успела фунтик-другой серебреца столового ухватить — и переехала к Татьяне в самую дешевую комнату.

— По одежке протягивай ножки! — говорила вдова, размещаясь в своем новом жилье. Надеяться теперь не на кого, а между тем привыкшая к куску губа нет-нет да и спросит либо супца с хорошей, настоящею, как в старину бывало, говядинкой, либо чайку в накладочку, либо винца красненького, которого до тошноты захотелось бабенке, с утра до вечера молчаливо размышляющей о привольной жизни при покойнике, — и вот серебро, ложка за ложкой, безвозвратно улетает в укладистые сундуки соседки-еврейки, а в конце концов случается обыкновенно то, что Татьяна, разнюхавши, что жилица прогорела, благоразумно выпроваживает ее на жительство в коридор.

Часто также приходили к Татьяне молодые знакомые девицы с такими разговорами:

— Что теперь делать мне, милая Татьяна Лексеевна? Ума не приложу.

— Что такое, что такое у тебя случилось? — спрашивает Татьяна Лексеевна встревоженную девицу.

— Да что? Обобрал меня до нитки варвар-то мой. Уж он меня бил-бил, обобрамши-то, и говорит: теперь извольте итти, мамзель, куда вам угодно. Смеется разбойник! Косу-то мне, злодей, всю повыдергал. Хочу в фартал итти; знакомые у меня там есть: защитят, может...

— Да за что же это он тебя? — осведомляется любопытная Татьяна. — Ведь вы допрежь дружно живали.

— Да за что? — откровенничает девица. — Ни сном, ни духом не знаю за что... Точно что по лету я как-то раза с три езжала в лагери к брату двоюродному (писарем при самом генерале вот уж сколько лет служит). Ему и помстилось; а я разве таковская? Сама, небось, знаешь, как я на своем слове завсегда стою. И довольно даже того, что я с ним который год живу, а он ревновать вздумал!..

— Что говорить! Что говорить! Экой безобразник какой! А я все говорю про него: вот, мол, смиренник-то полюбовник Грунин, — а он поди-ка какой! Как же ты теперь? Где жить-то покелича станешь?

— Да то-то не знаю. Ты мне, пожалуйста, каморочку отведи какую-нибудь, покуда с делами не справлюсь.

— Каморки-то у меня, девушка, нет теперь. Вчерась последнюю студент занял какой-то. Как бы знала, ни за что бы не отдала. Так уж и пустила, чтобы только не пустовала. Ты вот в коридорчике покелича на моем сундуке поместись. Чудесно тут нам будет с тобой. Без переводу тут у нас чай с кофеями пойдут.

Вследствие такого дружеского предложения молодая девица поселяется в коридоре, и долго ее рассказы про вырванную варваром косу и про двоюродного брата, генеральского писаря, развлекают однообразную жизнь темного жилья. Живет девица в коридоре и высматривает из его непроглядной темноты другого варвара, который бы вырвал ей вновь выращенную косу; точно так же и сожительницы ее, кухарки и

горничные, как они про себя говорят — «без местов», живут так и высматривают себе местечки, с которых, по недолгом житии, снова погонят их с их унылым скарбом в Татьянины комнаты, где по случаю таких событий раздадутся, конечно, новые речи про новых хозяев, про новых людей, посещавших их, которые, по рассказам этого белорабочего люда, все будто бы без исключения мошенники, жидоморы, идолы, черти, подхалимы и т. д.

Отчего это принято называть такие кухарочные определения глупыми сплетнями, не стоящими внимания порядочного человека, а не истиной? Этот вопрос случайно зародился в моей голове, и, конечно, когда-нибудь, так же случайно, я разрешу его; а теперь скажу, что из всей этой безразличной коридорной толпы рельефнее даже самой Татьяны выступал некоторый субъект, известный в *комнатах снебилью* под именем Александрушки. Еще в то время, когда Татьяна только что осматривала квартиру, занимаемую ею в настоящую минуту, Александрушка сидела уже в коридоре у двери и вязала длинный шерстяной чулок, сморщенная и серьезная до полной неподвижности, в ситцевом линючем платье, с медными очками на большом носу, изображая собой как бы какого заколдованного сторожа, приставленного сторожить пустую квартиру.

От квартиры, в то время только что отделанной, несло сырым лесом, клеем и масляными красками. Нога человека не была еще в ней после печника, который, закончивши свою ра-

боту порядочною выпиванцией с одной соседней кухаркой, ушел и не возвращался даже и тогда, когда хозяин искал его для поправки печей, дымивших как жерло ада, и потому дворник, рекомендовавший Татьяне прелести фатеры, по его словам, «за первый сорт», был справедливо удивлен этою старухой, безмолвно позвякивавшей спицами и неразборчиво шептавшей что-то своими тонкими, высохшими губами.

— Бабушка! Кто это тебя сюда пустил? — спросил дворник старуху; но старуха уперла на него своими светлыми очами, помахала головой, как будто удивляясь тому, что дворник не знает человека, устроившего ее в коридоре, и только. — Что же ты не говоришь? Ай немая? Говори! Хозяин, што ли, пустил? — расталкивал уже дворник молчаливое существо.

— Ты вот что, дворник, — прошептала наконец таинственная незнакомка: — ты не толкайся. Я губернская секретарша!

— Полно балы-то точить! — сердился дворник. — Сказывай: по чьему ты приказу здесь поселилась?

— И *ты* не смей мне говорить, мужлан! Я сказала тебе, кто я такая. — И барыня при этих словах энергично оттолкнула от себя заскорузлую дворницкую руку.

— А, так ты такая-то! Ты толкаться еще в чужой фатере вздумала! Сказывай: кто тебе приказал жить здесь?

— Бог! — удовлетворила наконец любопытного дворника губернская секретарша.

— Что ты с ней будешь делать? — спросил дворник уже у Татьяны с какою-то снисходительною полуулыбкой. — Надо, верно, в фартал итти объявить.

Губернская секретарша не обратила ни малейшего внимания на роковое слово «фартал» и попрежнему продолжала звякать спицами, мотать головой и шептать что-то — должно быть, про свои одному богу только известные дела.

Квартальный пришел — и добился столько же, сколько и дворник.

— Как вы сюда попали? — спрашивал у старухи надзиратель.

— А так и попала... — отвечала она с видимым неудовольствием. — Как попадают-то, разве не знаешь?

— Говорите, кто вы такие? Давайте ваши документы.

— Молод еще документы-то спрашивать! Начальник какой выискался! Молоко-то на губах обсохло ли?

Доложили об этом происшествии хозяину. Тот пришел и долго стоял перед старухой, поглаживая бороду в великой задумчивости и, по временам, осклабляясь. Самовольная постоялка тоже ничего не говорила и даже ни разу не взглянула на него, сосредоточенно уткнувшись в свой чулок. Наконец хозяин сказал дворнику:

— Бог с *ей*, Трофим, не трожь ее. Человек, видно, не простой, потому большим сурьезом и молчальностью от бога награжон...

— А как же, хозяин, — вступилась было Татьяна, — мне-то с ней быть? Ведь уж пла-

тежа от нее не добьешься, а я бы на ее место всегда нашла жилицу с капиталом...

Тут хозяин почти так же серьезно, как и Александрушка, сморщил свои черные брови и внушительно заговорил:

— Мне, — говорит, — милая ты женщина, пребывание в моем доме прозорливого человека не в пример твоей платы дороже. Может, она нечестия твоего ради наслана вон откуда... — и при этом хозяин торжественно указал на потолок. — Так-то. Потому так, милая женщина, рассуждаю я про тебя, что допрежь тебя ни в одном моем доме таких историев никогда не было, хотя точно, что благочестивые люди помногу и подолгу у меня пребывают... Опять же и солдатка ты: всякому греху, значит, ты больше нашего брата причастна. Следовательно, для одной тебя энто устроено, и ты должна все э ф т о понимать и ценить...

— Так вы, ваше степенство, скинули бы мне за нее хоть полтинничек в месяц за фатеру. Вы люди богатые.

— Это так, достаток имеем; только с фатеры единой даже копейки скостить не могу, потому так уже положено ходить ей по тридцати серебром; щепочек вон, коли хочешь, что от построек осталось, возьми охапочку-другую. Просим прощенья, милая женщина! Жить вам да поживать, да добра наживать! — закончила борода, отправляясь восвояси.

— Жидомор, чорт!.. — шептала вслед ему Татьяна; после чего губернская секретарша безвозбранно поселилась в *комнатах снебилью*, оплачивая свое завоеванное помещение и ку-

сок хлеба своим неутомимым рвением служить даже слуге всех — Лукерье — и готовностью, во всякое время дня и ночи, сердито побранить какого-нибудь подкутившего жильца, утешить Татьяну в каком-нибудь несчастье, истолковать ей мудреный сон, виденный прошлую ночь, и проч.

Терпеливо и ни на минуту не меняя своего сердитого лица, исполняет заштатная чиновница свои многочисленные роли, так что в непродолжительном времени ее полоумная манера неизменно и во всем угождать всякому человеку, но угождать как бы из-под палки, что называется «срыву», сделала ее, тем не менее, любимицей и темного коридора, и светлых комнат, так что стала барыня совершенно необходимою вещью в обоих местах, в одно слово нареченною и благородными комнатными жильцами, и коридорными плебейками ласкающим именем «чиновницы Александрушки».

Без таких Александрушек в Москве обходится редкий дом. Это чрезвычайно своеобразное русское горе, гнездящееся в различных Тулах, Нижних и прочих жирных городах, которые приучают его с целью потешиться им на досуге тою потехой, которую доставляют им бодливые, но не имеющие рог коровы... Характеризуется это горе своими земляками и, так сказать, пристанодержателями знаменательным словом: тронумшись маненько: а я лично думаю, что оно — обозлимшись, и обозлимшись не маненечко, а очинно. По последним штрихам, которыми я имею закончить Але-

ксандрушку, весьма легко рассудить, каким именем лучше назвать коренную жилицу *комнат снебилью*.

Во весь голос, без всякой помехи, задувает, бывало, Лукерья на кухне, примерно, хоть про то, как некто «вечер был на почтовыем дворе» и как этот некто на том дворе на почтовом «получил от девицы письмо». Раздолье полное звонкому бабьему голосу, потому что день выгнал всех комнатных жильцов на добычу; коридорный люд тоже разбрелся кое-куда по своим мизерным делишкам, — и во всем этом пустынном сарае осталась только домоседничать Лукерьина песня да Александрушка.

В виде какой-то толстой, пегой змеи ворочается в коленях у убогой чиновницы ее всегдашний, непокидаемый друг — шерстяной чулок, тихо звякают и шелестят ее вязальные спицы, а сама она, не развлекаемая многоразличными комиссиями, которыми со всех сторон засыпали ее жильцы комнатные и коридорные, когда бывали дома, долгое время, по своему обыкновению, молчаливо и неподвижно сидит около самой двери и как будто старается подслушать, о чем именно шепчутся с этим неповоротливым чулком ее тонкие, проворные спицы. Сидит, говорю, и ни слова; только головою, поистине обутою в какой-то чепец с уродливыми фалбарами, из стороны в сторону раскачивает. А между тем по лицу ее проходят в эти минуты глубокие морщины, налегают какие-то мрачные, выражающие крайнее страдание тени, так что Лукерья, случайно прошедши мимо Александрушки, непременно произносит:

— Ну, начинается комедь. Подступило!

И, действительно, комедь начинается.

— Что такое? — сердито и громко спрашивает Александрушка у своих спиц... — Мало ли по белу свету всяких злых дел делается, мало ли разной неправды по земле ходит? Что же мне за дело? Батюшка с матушкой учили: не осуждай. Ну и не буду, да! Молчишь — не грешишь, и спишь — не грешишь.

Эти растолковывания всегда перекрикивали горластую Лукерьину песню. Полная тишина воцарялась тогда в *комнатах снебилью:* только один кот тихо мурлыкал, ластясь к ногам Александрушки, да сама Лукерья, оперщись о косяк кухонной двери, пристально смотрела на человека с загогулиной в голове и по временам, с видимым, впрочем, ужасом, спрашивала:

— А ну-ка, Александрушка, про мою судьбу что-нибудь расскажи!

— Что же такое, что у нее каменный дом? — отвечала больная на вопрос Лукерьи о ее судьбе. — Кабы тогда я глупа не была, он бы и теперь, дом-то, мой был. Да! Я ей тогда сказала: «Сестрица! Ты замуж хочешь, за богатого хочешь? Выходи — вот тебе мой дом. Тебя с ним богатый возьмет, только ты меня не покинь, когда мне что понадобится». Вот она и не покинула... Ха-ха-ха-ха! А, сестра! Ах, черти! Грех, грех ругаться-то, Александра Семеновна! Перекрестись, милая.

— Ишь ведь, как чешет она правду-то матку! — ужасалась Лукерья, относя все эти слова к своей особе. — Как она самое нутро мое

до тонкости разбирает — страсть! Брех-баба я, грешница, каюсь! И за дело, и без дела со всяким грызться готова... Теперь сокращусь, попристальней стану богу молиться. Только к чему же она это про каменный дом заводила?..

— А был бы, был бы дом и теперь мой! — все с большим и большим неудовольствием толковала Александрушка. — А может бы его пожаром спалило, сквозь землю бы провалился, или бы как-нибудь меня, дуру, им чужие добрые люди надули. Все может. Много, я говорю, по белу свету всякого несчастья расхаживает, — ох, как много! И несчастья, и неправды... Я вот теперь испокон веку всем помогала да угождала, а меня все вон выгнали, лицо-то мне все заплевали. А за что? Ну-ка, скажи, за что? — усиленно спрашивает больная, воззрясь в свой чулок и спицы.

— А уж это так, Александра Семеновна! — жалобно ответила ей Лукерья, опять-таки воображая, что это угодный господу человек про ее *жисть* обиняком разговаривает. — Это уж, Александра Семеновна, моя должность такая разнесчастная. Жалованья-то мало, а наругательств всяких вволю на этих местах напринимаешься...

— Где, бишь, у меня сын? — вдруг спросила старуха и при этом вопросе даже отняла глаза от чулка и подняла их кверху. — Какой это у меня сын был, никак я не вспомню? Что это у меня словно бы офицер был, или бы девицей он был? Нет, это дочь-девица у меня была; а он офицер был, точно! Добрый был, краси-

вый, верхом на коне, я помню, езжал он, денег давал мне...

Тут окончательно уже пришла в себя Александрушка, при воспоминании о сыне, и хриплым голосом на всю комнату заплакала.

— Ви-и-кторушка! Го-о-лубчик мой! Все-то меня без тебя бьют, все обижают!..

— Ну, уж теперь про себя пошла, — проговорила Лукерья, уходя в кухню.—Жаль, раньше ты не пришел: такие тут сейчас Александрушка истории городила — забава! Теперь опомнилась, об сыне голосить принялась, — рекомендовала кухарка Александрушкину печаль одному знакомому солдатику, который пришел потолковать с ней безделицу до тех пор, пока хозяйка с рынка не приволокется (чорт ее облупи совсем, толстую шельму! Всегда, как увидит, орет: зачем, говорит, крупа, к моей кухарке шатаешься? У меня, говорит, благородные господа живут).

— Черти вы, идолы! — орала Татьяна, до красноты упаренная полупудовою порцией говядины, которую она притащила с рынка. — Кричала-кричала, чтоб двери отворили, — хоть бы собака какая бешеная отозвалась. Ну, эта сумасшедшая заговорится с собой, не слышит; а ты-то здесь каких чертей собирала? — спрашивала сердитая съемщица у Лукерьи.

— Здравия желаю, Татьяна Ликсеевна! — ласково раскланивался солдат, пряча за обшлаг шинели только что закуренную трубчонку.

— Надымил уж тут табачищем-то своим! — взъелась на него Татьяна. — Ведь с него собаки чихают, а ты господские хоромы им

скверннишь. И зачем только ты, крупа, к моей кухарке шатаешься? — повторила она свою обыкновенную фразу, на которую солдат никогда не мог отвечать сколько-нибудь удовлетворительно. — Ох, делать-то вам нечего!.. Ужо тебя барин какой-нибудь протолкает отсюда.

Не выдержал наконец солдатик нападков съемщицы и заговорил:

— Хоть я теперича, Татьяна Ликсеевна, и солдат, только никому обижать себя не позволю, потому не та наша линия... Так-то! А что теперь касательно, что я к Лукерье пришел, она мне в сродстве, и вы ей сродников своих запретить впускать не имеете права, потому не к вам я пришел.

Энергичнее этой оппозиции, выставленной солдатиком Татьяниной руготне, никогда еще не видывал темный коридор, хотя, надо правду сказать, точно так же он никогда и не слыхал более зычного окрика, который задала в это время Татьяна солдату за эту оппозицию. Остальной коридорный народ был до того бесцветен и снослив, что хозяйке на него и покричать-то как следует не удавалось, потому что все ее самые татарские желания, без малейшего даже помысла о противоречии, в ту же минуту исполнялись этим народом.

— Смолчи уж лучше,—советовали друг другу коридорные, когда кто-нибудь из них осмеливался возражать лютующей бабе. — Разозлится, на мороз выкинет, тебе же тогда хуже будет.

Немножко не таковы были жильцы комнатные.

VIII

ЖИЛЬЦЫ КОМНАТНЫЕ, ИЛИ ГОСПОДА

Описанный коридор разделял *комнаты спебилью* на две половины, в каждой по четыре каморки, величаемых Татьяною громким именем номеров. Одна половина своими окнами была обращена на улицу, другая во двор. В одной из лучших комнат, смотревшей на улицу, в качестве человека, происходившего от старинных польских магнатов, жил прапорщик Бжебжицкий.

— Да! Я-таки привык к некоторому комфорту, — говаривал сей обрусевший сармат, закладывая зимой пальто для того, примерно, чтобы купить ничтожный коврик, по двугривенному за аршин, к изодранному дивану, на котором он спал.

— В чем же вы теперь ходить будете? — спросит кто-нибудь у прапорщика в то время, когда он производит свою спекуляцию.

— Есть мне время рассчитывать, как и в чем ходить я буду, — обыкновенно отвечал он. — Подите, спросите у Александрушки, в чем она будет ходить. В том же самом и я ходить буду. Рекомендую ее вам, как самый лучший образец для всевозможных подражаний, — прибавлял Бжебжицкий, когда у него заходил с кем-нибудь из сожителей спор о каком-нибудь трудном вопросе жизни.

— А все это меня Москва к таким роскошам приучила, — откровенничал Бжебжицкий с жидом, принимавшим у него пальто, в надежде расположить своим добрым обхождением изра-

ильтянина к тому, чтоб он взял с него в месяц пять процентов, а не десять, как обыкновенно взимают израильтяне. — То-есть, ты не поверишь, Барадка, — убаюкивал воин наишельмейшего жида: — такими она меня суммами заваливала, теперь даже и подумать о них грешно. А сама какая была! Ежели я тебе ее портрет покажу, так ты в полное неистовство придешь...

Но жид своими черными, бесстрастными глазами в одно и то же время осматривал и прапорщичье пальто, и самого прапорщика до того насмешливо и вместе с тем почтительно, что даже самая окрыленная надежда заставить его что-нибудь вскрикнуть при взгляде на портрет московской купчихи становилась втупик; однакоже Бжебжицкий, как нельзя больше знакомый с этим взглядом, все-таки продолжал:

— Ишааком, Иаковом и Ижраилем клянусь, что ты, Барадка, непременно вскрикнешь: «Пане мой великий! Пане мой, ух какой ясновельмозный! Дайте мне эту купчиху миррой и вином напоить». Так-то, скверная ты тварь, жид ты христопродавец, анафема! Вот я из-за чего мое пальто закладываю: из-за купчихи собственно, потому что нынешний день предстоит мне случай возобновить с ней прерванное знакомство. Так ты обстоятельство это и чувствуй всем своим носом жидовским.

Затем шла уже Барадкина речь.

— Ах, пане мой! — говорит Барадка. — Как зе вы хоросо так по-насему науцились. Долго, долзно быть в Полсе вы зыли, много долзно

быть, вы насему брату своих барских весцей прозакладывали...

И все-таки вместо того, чтобы дать прапорщику под его пальто шесть рублей, жид давал ему почему-то десять, а процентов брал только восемь. Таким образом вел прапорщик свои делишки.

Все они у него состояли из закладов и перезакладов и постоянных стремлений ухватить где-нибудь в магазине или лавке, распродающейся вследствие некоторых коммерческих обстоятельств, по неимоверно дешевым ценам, — хватить, говорю, товару какого-нибудь, под заемное письмо, сотняги эдак, канальство, на две, на три и потом бакнуть этот товарец, по крайности, за бумажку со столбиками. В последнее время стремления эти осуществлялись как-то с каждым днем все реже и реже.

— Чем ближе к гробу, — говаривал Бжебжицкий, — тем как-то несмысленнее делаешься. Ныне нет уж той прозорливости, которая постоянно отличала столь эффектно бунтовавшую юность мою. Или уже народ, то-есть, что называется массой-то, измошенничался, испрогрессировался, то-есть, ходишь-ходишь около него с целями добыть от него свои благородные средства — и ничем-то ты его не объедешь. Сама эта масса в нынешние голодные времена каждую минуту диким зверем рычит, потому что запрос на хлеб изо всякого рта здоровый идет, и тишины этой безмятежной, которою добрая старина отличалась, даже и в провинции не найдешь. Д-да-с!

Никогда, даже и в те моменты, когда Бжебжицкий находился на взводе и, следовательно, судя по-общечеловечески, в большем или меньшем расположении к откровенности, нельзя было добиться от него, кто он, откуда появился в столице и чем именно занимается в ней. Рекомендую же я его за прапорщика на том единственном основании, что это было последнее его показание, которому почти никто не верил, потому что за несколько лет назад Бжебжицкого нередко видали в Москве и под голубым околышем, и в эксельбантах ученого офицера, в костюме штатского фешионебля, с заливающей всю улицу своим ароматом сигарой во рту, и в жалких отрепьях столичного пролетария — не с папироской даже, а простонапросто с бумажным крючком, набитым тютюном где-нибудь на Цветном бульваре, или у будки дружелюбно вспоминающим с часовым про красоту родимой саратовской степи, где в одной деревушке у часового, как слышно было из разговоров, проживала старая мать, а у Бжебжицкого в другой, соседней деревушке находилось будто бы имение, отнятое во время его сиротства некоторым старым дядей, отъявленным мерзавцем и шельмой.

Видали, повторяю, люди, как прапорщик заговаривал, как говорится, зубы бутырям с целью, воскресивши в их памяти родные и весело-зеленые поля и родные же, но черные и печальные избы, получить некоторым образом приглашение войти в теплую будку, обогреться и покалякать; а дальше Бжебжицкий

умел уже, как он сам про себя говорил, держать фортуну за хвост, — дальше в будку приходила какая-нибудь Матрена из соседнего дома, вынимала эта Матрена из своих карманов полфунтика сахарку, полтора золотника чаю и становила самовар. Под его приятное шипенье Бжебжицкий заводил нескончаемый рассказ про свою сиротскую, бедственную жизнь, за что, конечно, получал, хотя и косвенное, награждение в виде этого угостительного чая и мягкого полубелого хлеба, которые так приятно ложатся на начинающий уже мертветь желудок. А ночь между тем — эта темная, с холодным, постоянно моросящим дождем, осенняя ночь — все идет да идет вместе с этим печальным рассказом про непрестанный голод и холод, про необходимость не унывать в такие времена, про разные веселые шутки, которыми, в свою очередь, молодцеватый бедняк отражал нашествие на него грозной нищеты; а простой народ с каждою минутой все внимательнее и внимательнее слушает этот рассказ и все любовнее и любовнее потчует занимательного гостя.

— Вы вот что, ваше благородие, — говорит наконец будочник, окончательно завоеванный барским рассказом: — вы подождите на минуту говорить. Я вот по соседству в кабачок сбегаю, полштофика да селедочки захвачу. Заодно уж. Кстати взгляну, дежурный не идет ли.

— Ах, барин, барин! — задумчиво и печально произносит Матрена, смотря на гостя. — То-то, погляжу я на тебя, горя-то на своем веку много ты нахлебался!

— Вволю хлебнул всего: и горя, и радости, мать ты моя! Ведь вот теперь, признаться сказать, не по моей бы губе ваш чай, не привык я пить такого: однакоже пью, и сроду, кажется, сласти такой не видал. Вот до чего голоден!

— О, о-хо-хо, — простонала Матрена. — А мы, грешные, все-то завидуем господам, все-то мы думаем, что у них горя-то и в помине нет.

— Как же! Больше вашего еще. Ты не гляди, что они сладко едят да одеваются чисто. Ты вот, например, сошла с места, нет у тебя квартиры, нет денег, так ты в любом месте у своего брата ночевать за Христа ради выпросишься, а барину-то стыдно христарадничать. Вот я которую ночь на улице сплю...

— Барин хороший, да ты ноне-то хошь у моего в будке переночуй; все же теплее. Отдохнешь по крайности...

Умел Бжебжицкий толковать со всякого рода бедностью, и она его, и он ее до слова понимали.

— Я теперь ничего не боюсь, — говаривал прапорщик: — ко всему привык и у самого даже бедного человека, что бы только ни захотел, все могу выпросить. Опять же и устроился я чудесно: всякое место для меня хорошо, и скверных случайностей не существует.

Говорит это прапорщик, а сам (беззаботный такой!) сидит на своем изорванном диване и болтает ногами. Его апартамент смотрел тогда тоже как-то особенно беззаботно, словно бы это был не человеческий апартамент, а птичье гнездо, оставленное своими первоначальными

хозяевами и служащее теперь местом отдыха и ночлега для разных перелетных птиц. Его пустота не страшила собой даже непривычных, посторонних глаз. Три легкие соломенные стула, ломберный стол, за отсутствием надлежащего количества ног прислоненный к стене, этажерка с пылью и гравированное изображение какой-то красноватой и пухлой женщины с надписью: «L'innocence» бог весть кем и когда повешенное на стену, оклеенную разводистыми обоями, — все это вместе с прапорщиком как будто сейчас же готово было вскочить на никогда не устающие ноги и бежать за благородными жизненными средствами в первую лавку, где, по слухам, удобно было прихватить кое-что по мелочи á bon crédit. Готово все это было, сказываю, без устали бегать по лавкам, по жидкам и по русским ростовщикам и ростовщицам — остепенившимся бабешкам, с целью отыскания у этого люда кредита, — прыгать и весело хохотать, ежели находился таковой кредит, и, не задумываясь, не печалясь, равнодушно расстановиться по прежним местам, ежели борода, так сказать, выметала из лавки прапорщика, а жидки и остепенившиеся бабешки просили у него какого-нибудь ценного залога.

Говоря вообще, из всего того, что обставляло темную жизнь Бжебжицкого, только один черный кобель его был невозмутимо солиден и серьезен, каковое, впрочем, кобелиное качество нисколько не делало прапорщика заботливее, а, напротив, подавало ему нескончаемые поводы к разным штукам, которые обыкновенно

смешили большею частью нахмуренных жильцов *комнат снебилью*.

— Господа! — часто крикивал Бжебжицкий через стену своим соседям. — Идите ко мне, кто, как говорят хохлы, хочет позакусить трохи. Цампа будет за нас философствовать, а мы, как говорят русские мужики, клюнем безделицу.

Штука эта, когда униженные и оскорбленные соседи Бжебжицкого, вняв его предложению клюнуть, предоставивши философию исключительно на долю Цампы, — по крайней мере в моих глазах, — исполнена глубочайшего интереса. О том, с каким бешеным остервенением предается выпивке физически и нравственно исстрадавшаяся бедность, можно судить по следующему, совершенно справедливому анекдоту. У меня был один приятель, тоже из мира *комнат снебилью*, теперь старик уже, — башка, бывшая некогда при самом Денисе штаб-ротмистром, угорелый пафос которой простерся в былые годы до того, что, раззадоренная однажды лихою песней бессмертного в летописях московских кутил цыгана Илюшки, она бросила ему семьдесят тысяч, по тогдашнему счету на ассигнации, а сама осталась в одном раззолоченном мундире, при *светлой сабли* полосе и с пол-аршинными усами...

— Старичина! — спросил я однажды у этой башки, когда мы были с ней в гостях у двух братьев, степных помещиков, приехавших в Москву просадить четыре тысячки рублишек, по нынешним уже счетам — на серебро. — Старичина! — сказал я: — какие бесы помогают тебе вырезывать такие страшные стаканищи?

— А это, — ответил старичище, улыбаясь и покручивая свою сивую растительность: — это, говорит, братец ты мой, мне не бесы помогают, а сугубое представление, что завтрашний день на моем столе не только этой благодати не будет, а даже и рюмочки простой кокоревщины...

Вот что мне сказал проерыжничавшийся старичина, и, следовательно, бог с ней, с этой бедностью, когда она обжирается за чужим столом, и даже бог с ней и тогда, когда она опивается на чужие деньги, ибо и бедность, по моим теориям, есть не что иное, как живой человек, который, по пословице, хочет калачика, как и всякая живая душа.

Готовее всех и, следовательно, прежде всех являлся на закуску к прапорщику некто Сафон Фомич Милушкин — личность, принадлежавшая в дни своего младенчества к какому-то мудреному старообрядческому согласию. Это был маленький, с красноватым лицом, человек, вечно думающий о чем-то, робкий и как будто однажды навсегда испуганный какою-то страстью. В *комнатах снебилью* он прославился своею, так сказать, пламенной любовью к выпивке, отличным уменьем петь в подпитии разные старинные псалмы и поистине поэтическими рассказами о своей прошлой жизни, о пугающей среде, в которой она началась, и о тех совершенно невероятных причинах, вследствие которых Сафон Фомич разорвал всякую связь с этой средой.

Когда Милушкин находился в трезвом виде, самый искусный дипломат не мог бы добиться от него ни одного слова. Бывало, какой-нибудь

франт, наскучивши свистать и маршировать по своей трехаршинной келье, придет к Сафону Фомичу, сядет около него и начнет:

— Ну, что, Сафон, как дела? Что ты намерен теперь делать?

Сафон молчаливо переходил от франта на другой стул и принимался молчать, если можно так выразиться, еще усиленнее и как бы озлобленнее.

— Что же ты ничего не говоришь? Я пришел к тебе, братец, по душе потолковать. Слышал я вчера, что лекции по винокурению будут читать. Вот бы тебе чудесно послушать курс и на место устроиться в акциз, а? Откупа-то теперь по-боку скоро. Слышал, небось?

— Н-ну д-да! — сквозь зубы процеживал Милушкин.

— Право, попробовал бы, — продолжал приятель. — Взял бы ты, братец ты мой, билет на эти лекции...

Сафон Фомич в сильном негодовании обыкновенно тряс в это время своими длинными волосами, как бы сбрасывая с своей головы ненавистный билет на винокуренные лекции.

— Да что ты головой трясешь, шут ты этакой? Тебе же добра желаю: места, говорят, отличные, оклады большие.

— Да отвяжись ты от меня, Христа ради! — как-то болезненно и вместе с тем азартно вскрикивал Милушкин, и ежели приятель не унимался и после этого крика, он уходил со двора и пропадал нередко на целые сутки.

Но выпивал Сафон Фомич — и совершенно менялся. При одном только взгляде на полу-

штоф лицо его принимало какое-то плачущее выражение; какая-то мука ложилась на него, вследствие которой Милушкин принимался тяжело вздыхать и крутить головою, и, наконец, уже выпивал, после чего неукоснительно громко стучал по столу и скорбно морщился. И достоверно известно, что в Сафоне Фомиче эти приемы были вовсе не заранее придуманным манером с целью посмешить и амфитриона, и компанию, а просто какою-то необходимой мистерией, без которой выпивка не имела бы для него никакой цены.

— Для чего ты морщишься, Сафон? — спрашивали у него собеседники, зная, что Сафон на взводе и что, следовательно, как все шутили на его счет, находится в полнейшей возможности разъяснить причину всех причин.

— Сгу-у-била она меня, чор-рт ее побери? — отвечал Сафон, указывая на водку. — Гибель она моя! Вот отчего я морщусь, потому мука... Хочу совладать с ней и не могу; я от немощи этой страдаю.

Предстоявшие разражались громким хохотом, а Сафон с скрежетом зубов наливал еще рюмку, с злостью выпивал и приговаривал: «О, чтоб тебя чорт взял, проклятое зелье! Не было бы тебя, так и горя у меня не было бы никакого!»

После двух рюмок Сафон Фомич обыкновенно начинал, по выражению Татьяны, комедь про свою злосчастную жизнь. И хозяйка комнат, и кухарка даже лезли тогда к Милушкину с своими шутками, упрашивая его рассказать им что-нибудь поинтереснее, и Милушкин бес-

прекословно разговаривал с ними, примерно, в таком роде:

— И вам рассказать что-нибудь? — спрашивал он их, по своему обыкновению вихляясь и как-то отчаянно покручивая победною головой. — Извольте, Татьяна Алексеевна! Извольте, Лукерья Онисимовна! Удовлетворю я вас. Примерно, какая теперь разница, спрошу я вас, между мною и вами? Вы обе — дубовые отрубки, и я, по-настоящему, должен бы быть дубовым отрубком. Идол! — гремел старовер на Татьяну: — ты так и осталась дубом на всю жизнь, а я, на мое всегдашнее горе, в животное превратился, — в живое животное, которое во все места каждая рука бьет, и оно это чувствует, а ты, ежели тебе даже и в рожу съездить, ты этого не почувствуешь, потому корой ты обросла столетней.

— Чорт знает что! Как же это не почувствую, когда меня бить будут? — отшучивалась Татьяна, видимо, однако, робея начинавшего уже восторгаться Сафона Фомича.

— Да уж я тебе врать не стану. Ты слушай меня, дурь безмерная! Понимаешь ли ты, что соврать, как ты, например, ежесекундно врешь, я не могу, как не могу не умереть когда-нибудь. И потому я тебе говорю: ты дубовый отрубок, которому легко жить, а мне тяжело.

— Ну, — говорил кто-нибудь из жильцов: — наслушается теперь Татьяна староверческих отвлеченностей!

Между тем сама Татьяна, слушая эти отвлеченности, пугливо хихикала над ними, как говорится, в сторону.

— Так-то, Татьяна Алексеевна! Ты вот как думаешь, что я здесь делаю, живучи у тебя? Ты ведь, знаю я, полагаешь, что я ничего не делаю, а так вот себе, баклуши бью!

— Как можно, Сафон Фомич, ничего не делать? — говорила Татьяна с стыдливой и старающеюся быть почтительной улыбкой: — все что-нибудь по своим делам орудуете, а только, признаться сказать, не знаю что.

— Вот я тебе сейчас скажу, чем именно я у тебя орудую здесь, — вызывался Милушкин. — Я, милая ты моя, наблюдаю, есть ли в Москве человек, которому бы жить на этом свете хуже меня было. Вот что я делаю! Наблюдаю — и не нахожу, и скорблю душой от зависти, что все люди — как люди, а я — ни богу свеча, ни чорту кочерга. Ты и то лучше меня. Изобью я тебя сейчас за это, бабнища дурацкая. Всякому злу ты причина, всякому доброму начинанию гибель.

— Эй, Сафон! Опомнись, любезный! — уговаривали его соседи, выбежавшие на крик Татьяны, которую несчастный начинал уже поталкивать. — Поди лучше выпей, мы за водкой послали.

— Любезное дело! — соглашался Сафон. — Дурак я, вздумал с бабой раздабарывать. Плевать нужно на баб всегда, а не раздабарывать. Пьем?

К-кому повем печ-"а-аль мою?
К-ко-о-го призову к рыданию?

обыкновенно запевал Сафон Фомич, когда начинал, как говорится, заговариваться. Всякий,

кто только не ленился, мог сделать из него в это время своего шута.

— Ну, Сафон, — приставали к нему тогда со всех сторон: — расскажи, пожалуйста, как ты попал сюда, зачем и почему.

— Можно! — кричал Сафон. — Знаю, что вы смеетесь надо мной, бестии, а я расскажу, — в поученье ваше общее расскажу. Слушайте. «Родился я там, где-то у чорта на куличках, верстам отсюдова до тех мест счету нет, только все эти версты я собственными моими ногами измерил, и все они — эти, то-есть, ноги мои — и теперь еще от той меры долгой кровью сочатся... Ноют и визжат они у меня в тысячу больнее, чем вы ноете и визжите, когда вам Татьяна жрать не дает по неделе... Так-то!.. Что же я еще хотел сказать вам, ребятки? Да! Дедушка у меня был... Только лучше я про дедушку моего ни слова вам не скажу, потому что вы таких людей и во сне ни разу не видывали. Век ваш не такой и племя — иное. И про отца тоже ничего не скажу, потому что и меня одного станет про вашу потеху дурацкую. Всего лучше будет, — продолжал Милушкин, сердито наморщивая брови и как бы опамятовавшись, — ежели я про весь дом наш не буду говорить с вами: испугаетесь вы, пожалуй, до того этого дома, что и смеяться надо мной перестанете.

«Не по носу вам этот дом, ребята! — словоохотливо добавлял Сафон Фомич, расцвечая насильственной улыбкой свое лицо, всегда помраченное воспоминанием о родимом доме: — букет его, братцы, сразу перехватит вам носовые хрящи, даром что вы ребята обстре-

ленные, ко всяким, следственно, ароматам привыкли.

«У нас, бывало, в дому по целым ночам мать, как Рахиль в Раме, стонала и убивалась, а седой дед, с морщинистым таким лицом, неподвижным и сильным, как гора каменная, тоже по целым ночам за толстою книгой в кожаном переплете сидел и дочь, от слез обезумевшую, ни одним взглядом, бывало, не пробовал утешать. Сидит, говорю, бывало, в переднем углу, как темная туча, и бубнит свою книжку; а в окна большой избы, освещенной тонким сальным огарком, такой-то крикливый ветер просился, — тоска!..

«Но и матери плакать, и деду благочестивым книжным чтением заниматься ничуть не мешали ужасы страшной лесной, северной ночи, потому что горе нашего дома было в тысячу раз страшнее этой ночи... Почему страшнее? Потому что про это разговаривать не велено было!.. Ха-ха-ха-ха! — истерически хохотал Сафон Фомич. — Не пикни! — кричали, — а то, говорят, других испугаешь... Ха-ха-ха-ха!

«Только я вам и об этом горе не буду больше толковать; лучше я вам расскажу про отцовы и про дедовы книжки, по которым я читать выучился. Это были толстые, почерневшие книги, которые угрюмо высматривали из темного переднего угла, где они обыкновенно лежали, — словно бы говорили ребятишкам эти книги, что вот-де, мальчуганы, какие мы сердитые! Много об вас хворосту исстегают, много волосенок повыдергают, когда будут вас учить вникать в нас! Только, бывало, картинками, на-

рисованными в них, и можно было подманить ребятенок к этим книгам. Подойдешь, начнешь перелистывать, а от листов пахнет воском и ладаном, божьим деревцом и кипарисом, и все они переложены узорчатым кружевом, разноцветными лентами и широкими прорезными древесными листьями. Не наглядишься, бывало, на книги, когда, осиливши первый страх, станешь рассматривать их. Особенно, я помню, занимали меня две картинки. Одна из них была в псалтире и изображала пророка и царя Давида с золотым венцом на голове, поднятой к небу, где видны были зеленые верхи райских деревьев, с стволами густо позолоченными, царь был в светлых, широких одеждах и с гуслями в руках. До того, бывало, досмотришься, глядя на эту картинку, что наяву шевелились пред тобой листья небесных садов, порхали в них и пели какие-то невиданные птицы, и царские гусли тоже пели вместе с ними до того сладко, что все сердце в тебе изноет, слушая эти песни. Опомнишься, возьмешь другую книгу, с другой, особенно памятного мне, картинкой: там, с молниями в карательно распростертых руках, был изображен господь Саваоф, в виде старца, парившего над землей на многокрылых ангелах...

«При взгляде на лицо разгневанного бога, на эти змеистые, слегка подернутые золотом молнии, летающие из его могучей руки, непременно, бывало, перекрестишься и зашепчешь: «свят, свят, свят!» — потому что кажется тебе, как рассказывал дед про страшный суд, что вот-вот сейчас колыхнется земля на своих основаниях

и запылает всеобщим пожаром и что волны того пожара достигнут до самого неба...»

Тут старовер приходил в окончательный экстаз. Его маленькое, опушенное, впрочем, рыжею бородой, лицо гневно морщилось и светлело, на лбу ложились совершенно старческие, глубокие морщины, придававшие этому лицу выражение несокрушимой силы, и, злобно стуча кулаком по столу, Милушкин продолжал свой рассказ с таким горячим одушевлением, как бы нашел он сейчас противника, который на-смерть оспаривает правду его рассказа:

«Воспитали меня эти книги для славы бога моего, которого я неустанно хочу проповедывать. Что вы думаете, шуты, вы, гробы повапленные? Может быть, проповедь моя загремела бы в уши ваши, как гром Саваофа, который в старой книге на картинке душа моя видела и слышала; может, она образумила бы вас; перекрестились бы вы от нее, может быть. Али нет, не перекрестились бы?.. То-то, и я сам думаю, вряд ли, потому что душ у вас нет и сердец у вас нет, а есть только одни утробы...»

— Ну, будет, ребята! Пошалили — и баста! Ну-ка, кто мне нальет водочки? Ибо руки мои уже не двигаются, — заканчивал Милушкин, грустно поникнув головой на залитый водкою стол.

А между тем все, что называется, храбрые выпивохи уже стеклись к Бжебжицкому на его закуску, которая, с каждою минутой свирепея все больше и больше, превратилась, наконец, в бурно шумящую оргию. Сначала выпивку раз-

жигали воспоминания старовера, а потом уже настоящий ход и значение придали ей два неразлучные друга: один — отставной учитель гимназии, кривой и обезображенный оспой, по прозванию Степан Гроб, главная жизненная сладость которого заключалась в постановке, как он говорил, разных глубоких вопросов; а другой — некто уволенный студент Бенедиктов, прозванный за свою касту Никитою Пустосвятом, а за гигантский рост Высокосным Годом или отставным драбантом его шведского королевского величества. Этот муж считался звездою первой величины на горизонте *комнат снебилью* за свое необыкновенно оригинальное уменье играть на гитаре.

Высокосный Год уже разошелся до такой степени, что его вариации начинали временами обращать на себя внимание самых пьяных; Бжебжицкий под эти звуки сладострастно разлегся на своем диване, задумчиво раскачивая в руке черешневый чубук; Амалии Густавовны и Адельфины Петровны, обманутые некоторыми мотивами, пробовали подпевать под гитару, но драбант не любил, чтобы кто-нибудь, а тем более какая-нибудь Адельфина или Степанида вмешивалась в его фантазии, и потому он время от времени во все свое громовое горло без церемонии кричал: «Цыц, бабы! Не то гитарой головы разобью!»

— Где, где молодое поколение? — кричал Степан Гроб, напирая на некоторого молодца, прозванного одними — мистером Скимполем из Холодного Дома, другими же — Пляшущим Маколеем. — Где оно, это новое поколение? —

азартно переспрашивал Гроб, яростно вращая единственным глазом. — Уж не это ли? — доискивался он, тыкая пальцем в одного шестиклассника-гимназиста, тоже жильца комнат. — Это вовсе не молодое поколение, а это просто-напросто молодой пьяница!

— Браво! — заорал таким образом рекомендованный гимназист, конфузливо приседая от неестественного хохота. — Браво, Степан (прибавить слово «Гроб» к имени своего бывшего учителя гимназистик все еще по старой памяти опасался). Я с тобой совершенно одинаких убеждений насчет молодого поколения.

— Поди к свиньям, губошлеп! — оттолкнул единомышленника грубый Гроб. — Коего чорта ты смыслишь в этих делах? Ступай-ка лучше, паси овцы отца твоего.

Гимназистик вломился было в амбицию, но старовер не допустил разгореться порывам мальчика.

— Полно тебе связываться с этой заразой, юноша! — сказал Милушкин гимназисту. — Ты разве не видишь, что это пьяный циник? А пьяного циника, милый мой, от свиньи отличить невозможно. Хуже и гаже этого народа ни одной гадости во всей подсолнечной нет, ей-богу. Верь ты моему слову. У тебя отец-то кто был? Помещик? Ты, значит, за текущий месяц за мою квартиру сполна заплати: мне, знаешь, дружочек, взять негде, ей-богу! Стой, я тебя поцелую. Так-то, милый ты мой, береги свою юность, не пей, — скверно. Я лучше тебе про себя расскажу, потому ты сосунок еще, да все

вы, рабочие-то даже какие, как погляжу я на вас, сплошь сосуны. Ни кипучих кровей в ваших сердцах нет, ни размашистой силы в теле. Верно, — целуй! У меня теперь дома братишка такой же молоденький. Эх-ма!.. Так вот, дружок, и выучил меня отец грамоте, и принялся я те толстые книги читать. Читаешь-читаешь, бывало, и уснешь, а во сне представится тебе, как на ладони, Киев святой с пещерами, храмами, монастырями и широким Днепром. Ходил я, братец ты мой, в Киев взрослый уже, — недавно ходил: только, божусь тебе, точь-в-точь и во сне такой же Киев видел, какой он в самом деле есть... Не веришь? Так я тебе вот что скажу: я видел во сне Рим, и его форум, и его императоров, мучивших некогда христиан, Голгофу с тремя крестами, и поля окрестные Иерусалиму, по которым ходил Христос; видел, как процессия попа Никиты на спор по Москве шла; а теперь, когда я уже не отцовы, а другие книги читаю, — другое уже совсем вижу... И вот, милый мой мальчик, скоро, скоро развяжусь я с вами — с Татьянами: брошу скверну мою и пойду и пойду... Да! ты верь мне... Боли мои, как отцы мои делали, растопчу я ногами своими в пути том...

А перед Степаном Гробом вместо сраженного им Пляшущего Маколея стоял уже другой юноша, высокий и стройный, бледный такой и серьезный. Не горячась и не рисуясь, тихо говорил он своему мрачному оппоненту:

— Опыт, — кто говорит против этого, — очень хорошая вещь, но жаль, что дальше своего носа он ничего не видит...

— Браво, Ваня! — хохотал Милушкин, вслушавшись в последние слова молодого человека. — Катай их с этой точки зрения. Спроси у них, куда они денут жизнь сердца, куда они денут мои вещие сны? Ха-ха-ха-ха! Куда они денут их?

— Валяй, бабы! Их не переслушаешь! — могуче крикнул отставной драбант его королевского шведского величества. — Теперь ваша очередь...

И он ударил на гитаре что-то такое, в одно и то же время и ноющее, и веселое, от чего никакая русская бабья душа не может усидеть на месте. Одна из Адельфин сразу угадала, какую именно сельскую песню поет гитара артиста, голодающего несколько лет в городе, с целью подробнее изучить характер своего певучего друга.

Ах, где ты была,
Моя нечужая?
Ай в степи ты брала лен,
Ай ты с кем гуляла?—

вскрикнула Адельфина вместе с звучно-трепетавшими струнами, в одно мгновение переставши быть Адельфиной и делаясь, как в старину, послушною дочерью только что отколоченного дяди Петра, чернобровой утехой и работницей родимого дома. Родимая песня распрямила ее стан, сгорбленный развратом города; от зеленых полей, на которых растет пахучий лен, засветились потухшие глаза и закраснелись прежде времени поблекшие щеки...

— Охма! — гремел Высокосный Год, заливая волнами, как стая легких полевых пташек, щебетавших трелей комнату Бжебжицкого.

Холи изба, холи печь,
Хозяину негде лечь! –

орал он в поощрение девушки, и живо пальцы его уничтожали в гитаре тот разгул, с которым она спрашивала у *нечужой, где она была*, потому что нечужая на повторенный вопрос:

Ох! Где же ты была,
Завалилася?

отвечала:

На дырявом я мосту
Провалилася!

И так-то скорбно и вместе с тем порывисто после этого заплакали струны, словно бы больная истерикой женщина, а Адельфина так-то плясала под этот плач, так-то она отчаянно отбивала дробь двухвершковым каблуком своего городского башмака, что все жильцы темного коридора, все эти Татьяны и Лукерьи наперерыв лезли к дверям и оттуда смотрели на нее, подставив почему-то под бороды свои руки, что обыкновенно делают Татьяны и Лукерьи тогда, когда их обуревает какое-нибудь сильное горе...

— Действуй! — закричал вдруг Сафон Фомич, бросившись в пляс с быстротой совершенно трезвого человека.

И пошло!

Я лично, тоже жилец самой крайней *комнаты снебилью*, обращенной одним окном на двор,

а другим упиравшейся в какую-то высокую кирпичную стену, пришел в это время к Бжебжицкому, лишь только заслышал топот знакомого трепака.

— Знаток я, брат, своего дела! — обратился ко мне Сафон, выделывая неимоверную присядку. — Что давно не пришел? Я, любезный, такую тут без тебя фигуру отмочил, совсем новую! Жаль, что ты не видал. Ну, благо, теперь пришел. Выпьем с тобой — и качнем старинную. Готовься, ребята!

Все откашлялись, а я зажмурил свои глаза, потому что не мог петь *старинной* не зажмурившись...

Выпил Сафон Фомич, крякнул и, нюхнувши маленький кусочек хлебца, съел его, а потом уже начал:

О-о-ох! Ты взойди, ты взойди, солнце ясное!
О-о-ох! Над горою да над высокою,
Над дубравой да над темною!
Обогрей нас, добрых молодцев,
Добрых молодцев, сирот бедныих,
Сирот бедныих, беспаспортныих!

Я пронзающею фистулой, могущей делать неописанные вариации, и громовой бас Високосного Года вместе с его девятиструнною гитарой, дружно принявшие от запевалы вторую строчку песни, сделали то, что с первого же нашего оха все, что в поте лиц трудилось в печальных подвалах дома *комнат снебилью*,— все это разлилось перед нашими окнами и слушало старинную песню, от которой тяжкий стон шел по целому дому.

— Важно поют! — толковала публика.

— Играют бесподобно! И все это «скуденты» отличаются.

— Скудентам одним так не сыграть: беспременно есть и господа.

О-о-ох! Сиро-от бедныих, беспаспортныих! —

тянули колокольчиками дишканты Адельфин, Татьян и Лукерий, по временам заливаемые волнистой октавой драбанта и, так сказать, горюющим тенором Сафона Фомича, который, впрочем, по правде-то ежели сказать, никогда не выстаивал в самых верхних нотах против моей фистулы.

— Вон она, сиротская-то наша матушка раскатывается! — восхищался народ, все больше и больше наводнявший наш двор. — Вишь, господа-то ее как вздымают: поди, чай, под самым небушком слышно.

— Тебе же говорят, что это не господа! — поучительно заметил восторгавшемуся парню какой-то, по всем приметам, мастер. — Не господа, а так, скуденты простые, — народ больше, не хуже нашего брата, бедняк.

— Пшоль, негодный человек, негодная твоя тварь! — загонял своих рабочих в покинутые ими мастерские немец-красильщик. — Какой теперь шас? — гневно шумел он. — Где ты должен быть? В мастерской, а он тут на всякое глюпство уши раздвинул. Никогда этого не поймет шортова голова, что в мастерской надобно быть в один шас, а в другой глюпством заниматься... Пшоль! Пшоль!

Веселая нас, господа, компания собралась в *комнатах снебилью!* До того веселая и хоро-

шая, что шестиклассник-гимназист всю следующую за выпивкой неделю старался, по примеру Степана Гроба, становить разные глубокие вопросы и так же, как он, кавалерски, или, как говорили в комнатах, с кривого глаза, решать их; надувался он, бедный, изо всех сил быть таким же народным, как Сафон Фомич; у Высокосного Года учился на гитаре, а ко мне (о, горе мне, развратившему своим примером единого от малых сих!) — ко мне, говорю, всю неделю приставал поисправить немножечко какой-то рассказ и похлопотать в какой-нибудь знакомой редакции о скорейшей выдаче ему за этот рассказ гонорария, который, я уверен, этот парень, в качестве сына своего века, употребил бы на выпивку, шикарнейшую выпивки прапорщика Бжебжицкого.

1863

КОММЕНТАРИИ

ТИПЫ И СЦЕНЫ СЕЛЬСКОЙ ЯРМАРКИ

Печатается по изданию: «Степные очерки. Т. III. А. И. Левитов». М. 1867 (Изд. В. П. Племянникова), стр. 148 — 240. Впервые напечатано под заглавием: «Ярмарочные сцены (Очерки из простонародного быта)» в ж-ле «Время» 1861, № 6, стр. 315—355. Написано в 1856 — 1860 гг. и является первым произведением А. И. Левитова.

Становой пристав — в дореволюционной России начальник полиции в *стане*, составлявшем часть уезда.

Духовные училища — в дореволюционной России начальные школы для детей духовенства. Следующей ступенью были духовные семинарии. *Цензор* в духовном училище — надзирающий за поведением в классе, назначенный из учеников, обычно из второгодников.

Исправник — начальник полиции в уезде.

Трынка — трешник, одна копейка серебром или около 3 коп. ассигнациями. Об ассигнациях см. ниже.

Годунов Борис Федорович (1551—1605) — при слабоумном царе Федоре, сыне Ивана Грозного, был фактическим правителем, а с 1589 г. — царем Московской Руси.

Кика — женский головной убор, кокошник.

Рожон — заостренный шест, кол.

Окружный — начальник полиции округа.

Меломан — любитель пения.

Лянчик — карточная игра.

Тальица — т. е. талия — в карточной игре в банк один промет всей колоды до конца или до срыва банка.

Жукетец — популярный в то время табак фирмы Жукова.

Нептун — у древних римлян бог моря; изображался с трезубцем в руке.

Негоциант — купец, ведущий крупную торговлю; по отношению к мещанину, конечно, ирония.

Гривна — медная монета в 10 коп., чеканилась при Екатерине II.

Пассаж (фр.) — неожиданное происшествие, приключение.

Рацея (от лат. oratio — речь) — длинное поучение, наставление. «Рацея» ундера типична для раешника: мифология, вымыслы, исторические имена и события перемешаны в ней, как в калейдоскопе.

Город Китай — в «рацее» раешника является отзвуком действительного названия центральной части Москвы, примыкающей к Кремлю и окруженной белой стеной — «Китай-город».

Винерка — Венера, у древних римлян богиня любви.

Спасские ворота действительно существуют в московском кремле. В «рацее» ундера осталось только название.

Брюс Яков Вильямович (1670 — 1735) — генерал при Петре I; в 1709—1715 гг. издал так называемый «Брюсов календарь» с рисунками и с предсказаниями событий до 1821 г., из-за чего и прослыл в народе за колдуна. В дореволюционное время многие издатели печатали в массовых изданиях календарей всякий вздор под заглавием: «Предсказания по Брюсу»

Наполеонт — французский император Наполеон (1769—1821), который после неудачных для него войн с Россией (1812 г.) и затем с коалицией европейских государств действительно был англичанами поселен на острове св. Елены («Еленцию» на языке ундера) в Атлантическом океане.

Ремонтер — офицер, командировавшийся из полка для закупки лошадей для кавалерии.

«*Квод-либет*» — лат. quod libet — что угодно, всякая всячина.

Майор — один из офицерских чинов в прежней армии, средний между капитаном и подполковником.

Винные откупа — предоставление государством частным лицам (откупщикам) за известное вознаграждение права монопольной продажи водки. В России откупная система существовала до 1851 г.

Приказный — в дореволюционное время чиновник, служивший в приказе, в суде, в палате.

In moribus naturalibus (лат.) — в природном виде, голыми.

«Битва русских с кабардинцами, или прекрасная Селима, умирающая на гробе своего мужа» — популярная в дореволюционное время лубочная повесть, выходившая в многочисленных изданиях.

Аркадия — область в южной Греции, в центре полуострова. Пелопоннеса, население которой долго сохраняло характер патриархального пастушеского быта. В идиллистической поэзии Аркадия — страна счастливых пастушков и пастушек.

Бадик — палка, падог.

Кантатрисса — певица.

Жорж-зандизм — от Жорж Занд, вернее Жорж Санд — псевдонима знаменитой французской писательницы Авроры Дюпен, по мужу Дюдеван (1804—1876), выразительницы «кающегося», «опрощающегося», уходящего «в народ» дворянства. В первых своих романах («Индиана», «Валентина», «Лелия», «Жак» и др.) Ж. Санд выступает против мещанско-церковных устоев брака и семьи, ратует за свободный брак по любви.

В 40-х годах она переходит к романам на темы по социальному вопросу («Орас», «Французский подмастерье», «Мельник из Анжибо», «Грех г-на Антуана» и др.). В этих произведениях отразились в своеобразном сочетании христианский социализм Ламенне, идеи социального равенства Сен-Симона, Фурье, Леру и мечты об аристократическом прошлом. В них отчетливо выступают основные черты дворянского народничества: идеализация дворян, отказывающихся от своего привилегированного положения, сочувственное изображение «народа» (рабочие, ремесленники, крестьяне), отрицательное отношение к капитализму, прославление крестьянского и ремесленного труда, социализм в виде нового варианта христианства, противопоставляемый буржуазно-индустриальному обществу. После поражения революции 1848 г. Ж. Санд, разочаровавшись окончательно в городской культуре, переселяется в деревню, где пишет рассказы и повести, в которых изображает в сочувственных тонах деревенскую бедноту и трудовую жизнь крестьянина-середняка.

Произведения Ж. Санд, отражавшие идеи утопического социализма и знаменовавшие вместе с тем протест буржуазной женщины, закабаленной буржуазными условиями семьи и брака, нашли широкий отклик в России, в буржуазно-демократических кругах, особенно в 60-е годы. Враждебные жорж-сандизму дворянские реакционные слои приписывали ему несвойственные идеям Ж. Санд черты — огрубение нравов и распущенность в поведении женщины. Н. А. Некрасов отметил эту тенденцию реакционеров:

В Шекспире признавал талант
За личность Дездемоны
И строго осуждал Жорж-Занд,
Что носит панталоны [1].

Очерк Левитова показывает, как преломлялся «жорж-зандизм» в мещанской провинциальной среде. Само собой разумеется, что бегство уездной барышни с юнкером никакого «жорж-зандизма» в настоящем смысле слова не представляет.

Фефер (от нем. Pfeffer — перец. «Угостить фефером» — то же, что «задать перцу», т. е. досадить, наказать.

Ревизия — так назывались переписи сельского и городского населения в России в XVIII и в первой половине XIX в., имевшие целью исчисление и учет подушной подати. Всех ревизий было 10; последняя в 1856 г.

Штосс — азартная игра в карты.

Абазы — серебряные монеты (абаз — персидская монета в 20 коп.).

Ассигнации — бумажные деньги, введенные в России Екатериной II в 1769 г. Выпущенные в огромном количестве, с прекращением обмена на металл они сильно падают в цене. Наконец в 1843 г. их начинают извлекать из обращения путем обмена на кредитные билеты, разменные на серебро, по курсу 33⅓ коп. кред. билетами за 1 руб. ассигнациями. Таким образом, «тысячка ассигнациями» — 333 р. 33⅓ к.

[1] В стихотворении «Прекрасная партия» (1852).

«*Печальная история про березу*» — имеется в виду следующее стихотворение А. К. Толстого:

Острою секирой ранена береза,
По коре сребристой покатились слезы.
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй,
Рана не смертельна, вылечишься к лету,
Будешь красоваться, листьями убрана —
Лишь больное сердце не залечит раны.

СЛАДКОЕ ЖИТЬЕ (Из рассказов уездного старожила)

Печатается по изданию: «Степные очерки А. И. Левитова», изд. 2-е, испр. и доп., кн. 2-я. Изд. А. И. Мамонтова. М. 1874, стр. 219—273 [1]. Впервые напечатано: три первые главы в «Московском вестнике» 1861, № 2, стр. 27—32, и затем полностью в ж-ле «Время» 1861, № 8, стр. 477—513. Против первоначальной редакции рассказа произведены значительные изменения. Особенно переделан конец.

Архирей — т. е. архиерей (греч.), глава духовенства или епископ определенного церковного района (епархии).

Полуштоф — $^1/_{20}$ часть ведра, бутылка.

Одест — т. е. город Одесса.

Трынка — в данном случае картежная игра в три листа.

Бардадымчик или *бардадым* — в картежной игре король черной масти.

Милитриса Кирбитьевна — один из персонажей лубочной повести о Бове Королевиче.

Ледащий — дрянной, негодный.

Анафема (греч.) — отлучение, проклятие.

Капитан — в царской армии старший обер-офицерский чин.

Архалук — короткий полукафтан, поддевка.

«*Битва русских с кабардинцами*» — см. выше в примечаниях к очерку 1-му.

Стряпчий — чиновник в дореволюционном царском суде, помощник прокурора, выступавший по делам

[1] В дальнейших ссылках это издание приводится в сокращенном обозначении: «Степные очерки, изд. 2-е».

казны или по уголовным делам. Были уездные и губернские стряпчие. Стряпчими также назывались в дореволюционное время (до 60-х гг.) поверенные или ходатаи по делам.

Альцест — герой комедии Мольера «Мизантроп», тип буржуазного интеллигента в эпоху, когда еще господствует дворянство и буржуазия в борьбе с ним пока еще не перешла в наступление. Альцест поднимает свой голос против пустоты, пошлости и лицемерия придворно-светского общества, с которым он сталкивается, и покидает его, чтобы искать на земле «уединенный уголок», где можно быть «свободно честным человеком». Конечно, дочь стряпчего, читавшая комедию или слышавшая о ней, воспринимает ее героя по-своему, соответственно уровню чиновничье-мещанской среды, к которой она принадлежит.

Приказный — см. выше в примечаниях к очерку 1-му.

Портос — один из трех главных героев романа французского писателя А. Дюма (отца) «Три мушкетера». Тип недалекого рубаки, преданного королю, верного исполнителя предписаний начальства, обладателя большой физической силы.

Рацея — см. выше, в примечаниях к первому очерку.

Сикурсы — искаженное французское слово secours, означающее вспомоществование.

Андроны — жерди, шесты. Андроны едут, приехали и т. п. — поговорка; говорится, когда кто некстати важничает, дуется.

ЦЕЛОВАЛЬНИЧИХА (Из дорожных воспоминаний)

Печатается по изданию: «Степные очерки. Т. III. А. И. Левитов», М. 1867. (Изд. В. П. Племянникова), стр. 48—113. Впервые было напечатано в «Русской речи» 1861, №№ 26 и 27, с подзаголовком: «Очерки из народной жизни».

Очерк написан еще в 1860 г., что видно из письма Левитова к сестре от 30 авг. 1860 г., где он пишет:

«На дороге встретил я в селе Зарайского уезда девушку-целовальницу, которая мне послужила поводом

написать повесть: «Целовальница», которая скоро будет печататься» [1].

«Дорога», о которой говорит Левитов, это пешеходный путь его в Москву из Лебедяни, сделанный им летом 1860 г.

Верста полосатая — верстовой столб, выкрашенный полосами.

Сергий-Троица — быв. Троице-Сергиевский монастырь в Сергиевском посаде (ныне гор. Загорск), под Москвой.

Целовальник — приказчик-сиделец в кабаке, в питейном заведении. В XVI—XVII веках так назывались разные должностные лица, выполнявшие свои обязанности по присяге (целовали крест), в том числе были между прочим и сборщики питейных доходов, а также сидельцы в царевых кабаках. Отсюда название целовальника перешло и на кабацких приказчиков вообще, которые хотя и не присягали хозяину, но были на отчете.

Косушка — полбутылки.

Эдем — по библейской мифологии земной рай, местопребывание первых людей Адама и Евы. Отсюда употребление этого слова в значении райского места; для приживалки житье в доме своей «благодетельницы» представляется «раем».

Городничий — в дореволюционной России правитель уездного города с полицейскими функциями (с XVII в. до 1862 г.).

Прасолы — гуртовщики, торговцы скотом.

Каданс (фр.) — такт, ритм.

Чливый — щедрый.

Мятелица — бурная пляска попарно в кругу.

СТЕПНАЯ ДОРОГА НОЧЬЮ

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1-я, стр. 52—79. Впервые напечатано в «Русской речи», 1861, № 65, стр. 198—201, и № 66, стр. 214—216, под заглавием: «Проезжая степная дорога. (Ночь) (Очерк)».

[1] *Ф. Нефедов*, Александр Иванович Левитов. Собр. соч. Левитова. Изд. К. Т. Солдатенкова. М. 1884, т. I, стр. XVIII.

Вешки — ветлы.

«Война прошлая» — речь идет о Крымской кампании так наз. Восточной войны (1853—1856) между Россией, с одной стороны, и коалицией Англии, Турции, Франции и Сардинии — с другой.

Мурины эфиопстии (церк.-слав.) — арапы, негры, чернокожие.

Пенник — крепкое хлебное вино.

Тазать — журить, бранить, а также бить.

Пополоветь — побледнеть.

Сучинять — улаживать, уговаривать, убеждать.

Лемонтер — т. е. ремонтер, офицер, командировавшийся из полка для закупки лошадей для кавалерии.

«На Покровской» — т. е. на Покровской конской ярмарке, бывавшей ежегодно в слободе Покровской, бывш. Купянского у., Харьковской губ.

НАКАНУНЕ ХРИСТОВА ДНЯ. Повесть.

Печатается по изданию «Горе сел, дорог и городов. Повести, рассказы, очерки и картины А. И. Левитова», М. 1874, стр. 5—70. Первоначально было напечатано в «Русской речи» 1861, №№ 95—98, 102—104, под заглавием: «Накануне Христова дня (Рассказ из народной жизни)».

Стенька Разин — Степан Тимофеевич Разин (казнен в 1671 г.), вождь крестьянской революции XVII в., известной под названием *разинщины* и направленной против крепостного строя и самодержавия. О нем сложилось в народе много песен и легенд, носящих враждебный ему или сочувственный характер, смотря по тому, из среды какой классовой прослойки они произошли: для помещиков, царских воевод, зажиточных посадских мещан он рисовался «злодеем-атаманищем», для крестьянской же бедноты это был настоящий герой и вождь.

Фортеция — укрепление, крепостца.

Стрельцы — постоянное войско в Московском государстве XVI — начала XVIII веков.

Дворник — в данном случае содержатель постоялого двора.

Куншты — т. е. кунштюки (нем.), ловкие проделки.

Тать — вор, хищник.

Ассигнации — см. в примечаниях к очерку 1-му. 20.000 руб. на ассигнации — около 6.666 р. 67 к. на серебро.

Доможил — то же, что домовой, по народному поверью — дух-покровитель дома, живущий в нем невидимо.

Градской голова — в дореволюционной России председатель городской управы, а в небольших городах заменявший единолично управу, выбиравшуюся обычно из среды домовладельцев, купцов и чиновников и представлявшую их интересы.

ПОГИБШЕЕ, НО МИЛОЕ СОЗДАНИЕ

Печатается по изданию: «Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы А. И. Левитова», изд. 3-е, испр. и доп., М. 1875, стр. 222—263. Впервые напечатано в ж-ле «Зритель» 1862, №№ 16 и 17, стр. 502—508 и 534—542, под заглавием: «Из московских нравов. Совершенно погибшее, но весьма милое созданье» и под псевдонимом: «Иван Сизой».

Купер Фенимор (1789—1851) — сев.-американский писатель, выразитель американской либеральной буржуазии в эпоху ее подъема после революции. Наиболее популярны его романы: «Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой» и др., в которых он на фоне девственной природы Америки изображал приключения идеализированных им первых европейских поселенцев — охотников и фермеров («пионеров») — и вытесняемых ими индейцев-могикан.

«Людская молвь и конский топ» — стих из «Евгения Онегина» Пушкина, гл. 5-я, строфа XVII.

Майор — см. примечания к очерку 1-му.

Хорей — в тоническом стихосложении ритмическая часть стиха (стопа), состоящая из первого ударного и второго неударного слогов.

Хореическая поэма — поэма в стихах, написанных хореем.

Ямб — стопа в стихе, состоящая из первого неударного и второго ударного слогов.

Фельдфебель — в дореволюционной армии старший в чине унтер-офицер роты.

Сизой — Левитов подписывал некоторые свои произведения псевдонимом: *Иван Сизой*.

Jean (фр.) — Жан (Иван).

Bon (фр.) — хорошо.

«Подвязавши под мышки передник» и т. д. — из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу») (1846).

«И в дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди» — цитата из следующего стихотворения Н. А. Некрасова (1845):

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок;

Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня;

И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена, —

Верь, я внимал не без участья,
Я жадно каждый звук ловил...
Я понял все, дитя несчастья!
Я все простил и все забыл.

Зачем же тайному сомненью
Ты ежечасно предана?
Толпы бессмысленному мненью
Ужель и ты покорена?

Не верь толпе — пустой и лживой,
Забудь сомнения свои,
В душе болезненно-пугливой
Гнетущей мысли не таи!

Грустя напрасно и бесплодно,
Не пригревай змеи в груди,
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

(Печ. по изданию: Полное собрание стихотворений Н. А. Некрасова, Гос. изд-во, М.—Л. 1927, стр. 3).

Петр Шлемиль — герой сказки «Чудесная история о Петре Шлемиле» немецкого писателя *Адальберта Шамиссо* (1781—1838), в которой изображаются приключения человека, продавшего свою тень.

НАСУПРОТИВ

Печатается по изданию: «Степные очерки», 2-е изд., кн. 2-я, стр. 151 — 179. Первоначально напечатано в ж-ле «Развлечение» 1862, №№ 23 и 24, стр. 280—284 и 290—294, под заглавием: «Дорожный очерк» (Степные нравы).

СТЕПНАЯ ДОРОГА ДНЕМ

Печатается по изданию: «Степные очерки», 2-е изд., кн. 1-я, стр. 80—147. Впервые было напечатано в ж-ле «Зритель» 1862, №№ 24 — 27, стр. 767—775, 802—807, 835—842, 861—868, под заглавием: «Степная дорога».

Курдюцкие овцы — породы овец с жировыми мешками на хвосте или по его бокам, называемыми курдюками.

«К соловецким угодникам» — т. е. в Соловецкий монастырь, основанный на Соловецких островах в Белом море Германом и Савватием в 1429 г.

Почайна — т. е. Почаевская лавра, православный мужской монастырь близ селения Новый Почаев, на Волыни (теперь в Польше).

Приказный — см. примечания к очерку 1-му.

Omnia mea mecum porto — латинская поговорка: все мое ношу с собою.

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — знаменитый русский поэт-самородок, сын зажиточного воронежского прасола (торговца скотом). В его «песнях» ярко отразились стремления и настроения городской и дере-

венской мелкой и средней буржуазии первой трети XIX в., с ее жаждой личного счастья и удачи.

Никитин Иван Саввич (1824—1861) — русский поэт, род. в Воронеже, в семье владельца свечного завода и лавки. В поэзии Никитина содержатся по преимуществу мотивы нужды и горя городской и деревенской бедноты и умиротворяющего общения с природой.

«*Неопалимая Купина*» — у православных название иконы богоматери.

Скандование — т. е. скандирование, чтение стихов с соблюдением ударений каждой стопы, соответственно метрической схеме стиха (напр.: «тихà укрàинскáя нòчь»)

Пиитический — поэтический.

Аллегория (греч.) — иносказание, выражение отвлеченной мысли в конкретном образе.

Нобль (фр.) — знатный, «благородный». В данном случае — ирония.

Волок (от волочить — тащить) — в данном случае низменные болотистые или луговые участки. Соловецкий остров покрыт озерами, болотами и лугами.

Смерд — название свободных крестьян-земледельцев в древней Руси. Это слово означало также простолюдина, в противоположность дворянину, знати. Позднее и крепостных крестьян называли смердами.

Ассигнации — см. примечания к очерку 1-му.

Стенька Разин — см. примечания к очерку 5-му.

РАСПРАВА

Печатается по изданию: «Степные очерки», 2-е изд., кн. 1-я, стр. 38—52. Впервые было напечатано в ж-ле «Зритель» 1862, № 44, стр. 535—541, под заглавием: «Мирской суд».

«*Дар Валдая*» — слова из стихотворения Ф. Н. Глинки «Тройка»: «И колокольчик, дар Валдая, гудит уныло под дугой». Валдай — город на Валдайском озере, ранее был уездным городом Новгородской губ., ныне районный центр Ленинградской области. До революции в Валдае был известный колокольный завод.

Трынка — в данном случае трещник, 3 копейки на ассигнации, 1 копейка серебром. Об ассигнациях см. примечания к очерку 1-му.

БЛАЖЕННЕНЬКАЯ

Печатается по изданию: «Степные очерки», 2-е изд., кн. 1-я, стр. 314—329. Впервые было опубликовано в ж-ле «Зритель», 1862, № 45, стр. 566—571, под заглавием «Дурочка».

КРЫМ

Печатается по изданию: «Жизнь московских закоулков», изд. 3-е, стр. 110—145. Впервые напечатано в «Зрителе» 1862, №№ 47 и 48, стр. 618—623 и 650—657, под псевдонимом: *Иван Сизой*.

Jean de Sizoy — т. е. Иван Сизой, псевдоним Левитова.

Консистория — в дореволюционной России коллегиальный орган при епархиальных архиереях, подчиненный архиерею, для церковного управления и суда.

Калибер — простые рессорные дрожки.

Вакхический — от «Вакх» — имени бога вина и экстаза в греческой и римской мифологии, в честь которого устраивались *вакханалии* — шумные и разгульные празднества. В переносном смысле — разгульный.

Кантонист — так назывались в крепостной России солдатские сыновья, с самого рождения принадлежавшие военному ведомству на основании крепостного права (название происходит от прусского наименования полкового округа — «кантон»). Их готовили к военной службе в особых школах, где применялась жестокая палочная дисциплина. Эти школы поставляли для армии музыкантов, топографов, кондукторов, чертежников, писарей, мастеровых, унтер-офицеров и т. п. Широко вербовались кантонисты из евреев, которых насильственно крестили. В 1856 г. упразднены.

Кринолины — широкие юбки на стальных обручах, бывшие в моде в середине XIX в.

Жолниржи (польск.) — ратники, солдаты (жолнеры).

Чуйка — армяк, кафтан.

Стразовая диадема — головное украшение (в роде короны) с поддельными драгоценными камнями (стразами).

«Санктпетербургские Ведомости» — русская газета, выходившая с 1702 по 1917 г.; официальный правительственный орган.

«Голос» — буржуазно-либеральная ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге в 1863—1864 гг. Краевским.

Павлов Николай Филиппович (1805—1864) — русский писатель (повести: «Именины», «Ятаган» и др.; «Четыре письма к Н. В. Гоголю»).

Фон Чичерен — имеется в виду Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), юрист, историк права и общественный деятель, крупный помещик, идеолог дворянской монархии, сторонник и идеолог крупного дворянского землевладения, развивающегося по прусскому аграрно-капиталистическому пути; ярый противник социализма. «Гегельянство» Чичерина выразилось в том, что он реакционную сторону идеалистической философии Гегеля поставил в основу своей апологии дворянской монархии.

Запорожцы—украинские казаки Запорожской Сечи,— организации, возникшей в XVI в. на лесистых островах Днепра «за порогами». Под влиянием буржуазных историков и особенно украинских историков-националистов, а также Гоголя, давшего в «Тарасе Бульбе» художественное, но не соответствующее действительности, идеализированное изображение быта запорожцев, создалось представление о «вольной» жизни Сечи, о равноправии ее членов, об их удалых военных походах и подвигах и т. д. Левитов, говоря о «лихих конниках запорожцах», не отходит от этой традиции. В действительности же запорожцы были мелкими собственниками, занимавшимися в «мирное» время охотой, скотоводством, ботничеством, земледелием и торговлей. У власти стояло зажиточное меньшинство — «старшина», с которой происходили многочисленные столкновения большинства — казацкой бедноты. Классово-расслоенная казацко-крестьянская масса запорожцев нередко объединялась для борьбы с общим врагом — с крепостнической помещичьей Польшей (неоднократные восстания против нее в XVII в.). Кроме того, запорожцы делали частые походы на юг — в причерноморские степи, в Крым — возвращаясь оттуда с богатой добычей. Запорожская Сечь прекратила свое существование под напором самодержавно-помещичьей России: за участие в восстаниях украинского кре-

стьянства против польских и русских помещиков царские войска разгромили ее и в 1775 г. запорожское казачье войско было объявлено уничтоженным.

СОСЕДИ

(Посвящается одному несчастному детству)

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1-я, стр. 1—15. Впервые было напечатано в ж-ле «Якорь» 1863, № 1, стр. 6—9, под заглавием: «Соседи (Степные нравы»).

Бучень — птица выпь, иначе — бугай, бухало и др. названия.

Касандрицкая рубаха — из красной бумажной материи в полоску.

МОЯ ФАМИЛИЯ (Из воспоминаний временно-обязанного)

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов», стр. 71—97. Впервые было напечатано в ж-ле «Якорь» 1863, под заглавием: «Лирические воспоминания Ивана Сизого. I. Мои старики», под псевдонимом: *Иван Сизой*. В измененном и дополненном виде перепечатано затем в «Неделе» 1868, №№ 7 и 8, стр. 193—198 и 225—234, под заглавием: «Моя фамилия (Старый рассказ»).

Еруслан Лазаревич — герой старинной повести, впоследствии превратившейся в популярную лубочную сказку, выходившую в дореволюционное время в многочисленных лубочных изданиях. Изображался на лубочных картинках. «Грудастый суздалец» — иронический намек на плохих иконописцев-богомазов, писавших иконы и лубочные картинки в Суздальском и соседних уездах бывш. Владимирской губ. Отсюда ироническое название «суздальская живопись» для плохой живописи.

Капюшон — нечто в роде башлыка, прикрепленного к воротнику пальто, шинели или плаща.

Нестор дворни — Нестор — имя одного из героев-воителей древнегреческой поэмы «Илиада», который был самым старым и почитаемым из греческих вождей. Это имя стало нарицательным именем глубоких старцев, ко-

торые слывут в известной среде за мудрецов. Левитов употребляет его иронически по отношению к дворне.

Бова-королевич — герой старинной русской повести, превратившейся впоследствии в лубочную сказку.

Целовальник — см. примечания к рассказу 3-му.

Одест — т. е. город Одесса.

Жупел — церковно-славянское слово, означающее горящую серу.

Аще — если, *коемуждо* — каждому, *такожде* — также, *якоже* — как, *можаху* — могли, *кийждо* — каждый — церковно-славянские слова.

Лицеприятие — человекоугодничество, пристрастие, предпочтение одного лица другому не по достоинству, а по личным отношениям.

Титло — в церковно-славянской грамоте надстрочный значок, означающий пропуск букв; сокращение слова.

Апостроф — в церковно-славянской грамоте значок в виде запятой над словом для различения падежей множественного числа от единственного.

Стень — на самом деле обозначает тень.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — русский писатель и историк из дворян. В области русской литературы является вождем так называемого сентиментального (чувствительного) направления, возникшего из мелкопоместной дворянской среды и в слащаво-чувствительном роде отражавшего ее интимно-бытовые черты в противовес придворно-аристократической ложно-классической литературе, которая изображала аристократию в образах античных героев.

Петиметр — щеголь, фат.

Бригадир — в царской России военный чин, средний между полковником и генералом; был упразднен Павлом I.

Дюк де Белиль, маркиз де Грильон — представитель французской знати XVIII в.

Сморгонская медвежья академия — школа для обучения медведей, основанная кн. Радзивиллом и долгое время существовавшая в местечке Сморгони в бывш. Виленской губ. (ныне территория Виленщина, захваченная Польшей у Литвы).

Finita la comedia — по-итальянски «комедия кончена».

САПОЖНИК ШКУРЛАН

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1-я, стр. 343—355. Впервые напечатано в ж-ле «Развлечение» 1863, № 5, стр. 66—69, под заглавием: «Сапожник Шкурлан (Степной очерк)».

Нанка — хлопчатобумажная ткань, иначе называлась китайкой.

Урлапы — горланы, горлопаны, крикуны и т. п.

Кутузов — Голенищев-Кутузов М. И., князь Смоленский (1745—1813), полководец, был главнокомандующим русскими войсками в 1812 г. в войне с Наполеоном.

Паскевич И. Ф. (1782—1856) — русский фельдмаршал, участник многих войн, закончил подавление польского восстания 1831 г., командовал войсками, посланными для подавления венгерской революции (1849 г.).

Дибич-Забалканский И. И. (1785—1831) — русский фельдмаршал, один из доносчиков Николаю I о заговоре декабристов, главнокомандующий в русско-турецкой войне 1828—1829 гг., один из усмирителей польского восстания 1831 г.

Становой — см. примечания к очерку 1-му.

Кант — духовное песнопение.

Три земли поднялись — имеется в виду так называемая Крымская кампания (1855—1856). См. примечания к очерку 4-му.

Канка — индейка.

ГОРБУН (Отрывок из повести)

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1-я, стр. 16—37. Впервые было напечатано под тем же заглавием в газете «Очерки» 1863, №№ 61 и 62.

Часовник или *часослов* — церковная богослужебная книга, содержащая различные молитвы, чтения и песнопения во время так называемых «часов», полунощницы, утрени и вечерни.

Четьи-минеи — сборник житий святых православной церкви.

Псалтырь — церковная книга, содержащая сборник так называемых *псалмов*, древнееврейских религиозных песен, приписываемых легендарному царю Давиду.

ВОЙНА

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 1-я, стр. 330—342. Впервые напечатано под заглавием «Война. (Степные нравы)» в газете «Народное богатство» 1863, №№ 83 и 84.

ДВОРЯНКА

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е кн. 1-я, стр. 148—180. Первоначально было напечатано под заглавием «Барышня» в ж-ле «Якорь» 1863, №№ 17 и 18, стр. 321—325 и 345—348. Подпись: *Иван Сизой*.

Ухач — ухарь, удалец.

Барщина — даровой принудительный труд крепостных крестьян в хозяйстве помещика.

Четьи-минеи — см. примечания к очерку 15-му.

«*Граф Монте-Кристо*» — роман французского писателя А. Дюма-отца (1803—1870). «*Исторические сказки*» — это его же исторические авантюрные романы: «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Еще десять лет спустя, или виконт де Бражелон», «Королева Марго» и мн. др. Поставляя материал для «занимательного» чтения, Дюма выполнял «заказ» мелкой и средней буржуазии, выразителем которой он был.

Галахов А. Д. (1807—1892) — буржуазно-либеральный историк литературы, автор популярной в свое время школьной «Русской хрестоматии» (1842), содержавшей произведения новых писателей.

«*Басурман*» — исторический роман И. И. Лажечникова (1792—1869) (см. ниже, примечания к очерку 19-му).

Кирша Данилов — предполагаемый составитель сборника былин и песен, дошедшего до нас в рукописи восьмидесятых годов XVIII в. и неоднократно издававшегося, начиная с 1804 г. (лучшее издание под ред. П. Н. Шеффера, Спб. 1901).

ОДИН ДОКТОР. Больничный эскиз

Первоначально напечатано в газете «Северная пчела» 1863, № 127. Подпись: *Иван Сизой.* Ни в одно из отдельных как прижизненных, так и посмертных изданий сочинений А. И. Левитова не вошел и ни в одной библиографии его сочинений не значится, являясь забытым и затерянным рассказом. Печатается в собрании сочинений впервые.

Микстуры (лат.) — жидкие лекарства для питья, смеси разных медикаментов.

Тинктуры (лат.) — настойки какого-либо лекарственного вещества в спирте или в эфире (напр., иод).

Унгвенты (лат.) — мази.

Суздальские картинки—см. примечания к очерку 13-му.

Парадокс (греч.) — утверждение, идущее в разрез с общепринятыми взглядами.

Рогожские начетницы — начетчицы по церковным старообрядческим книгам, с Рогожского кладбища в Москве, бывшего центром старообрядческой церковной жизни.

Санкюлот — так назывались в эпоху Великой французской революции представители революционной мелкобуржуазной и полупролетарской массы. Это прозвище обозначает: человек без коротких штанов (от франц. слов: sans — без и culottes — короткие штаны, и произошло потому, что в низах носили длинные штаны до пят, тогда как в среде высших классов носили короткие штаны до колен и длинные чулки. Отсюда санкюлот — представитель народных низов, бедноты.

Qu'est ce qu'il y a pour votre service, madame? — чем могу вам служить, мадам?

Je viens, monsieur, pour vous demander un conseil! — я пришла просить у вас совета, месье!

Veuillez prendre la peine de vous asseoir, madame! — будьте любезны, потрудитесь сесть, мадам!

Ah! monsieur! — ах, месье!

Je suis extrêmement malade — я очень больна.

Pardon, madame, vous n'en avez pas l'air! — простите, мадам, у вас не такой вид!

Oh! monsieur! — о месье!

Oh! madame! — о, мадам!

Si fait, madame, si fait! — конечно, мадам, конечно!

Je vous écrirais une petite récette — я вам напишу маленький рецепт.

apu. laur. coer. et caet — здесь, повидимому, опечатка: надо: *aqua lauro cerasi et caet.*, т. е. лавровишневые капли и проч.

Vous prendrez, madame, deux cuillerées par jour — вы будете принимать по две ложки в день.

Je vous remercie bien, monsieur — я вам очень благодарна, месье.

Bah! il me vient une idée, madame — да! мне пришла мысль, мадам.

Désirez vous avoir votre remède à l'instant même? — не хотите ли вы получить ваше лекарство сейчас же?

Ah! c'est trop de bonté, monsieur! — ах, вы слишком добры, месье!

Oh, madame, c'est mon devoir — о, мадам, это мой долг.

Voulez vous bien me laisser votre adresse? — не оставите ли вы мне ваш адрес?

Vraiment, monsieur! Vous êtes trop aimable — правда, месье, вы слишком любезны.

Je vous remercie infiniment, monsieur — я бесконечно вам благодарна, месье.

Pas de quoi, madame! Votre connaissance, madame — не за что, мадам. Знакомство с вами, мадам.

Je vous salue, monsieur! — до свидания, месье.

Madame, je suis votre serviteur! N'oubliez pas, madame: deux cuillerées par jour! Deux cuillerées! — мадам, ваш покорный слуга! Не забудьте, мадам: по две ложки в день! по две ложки!

Deux cuillerées! Deux cuillerées! — Две ложки! Две ложки!

Merci bien, monsieur! — Благодарю вас!

ЛИРИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ИВАНА СИЗОВА

Характеристика трепок, получаемых нашими молодыми ребятами при их вступлении в жизнь

Напечатано в газете «Северная пчела» 1863, №№ 152 и 153, от 10 и 11 июня. Тоже один из затерянных очер-

ков Левитова. Печатается в отдельном издании здесь впервые.

«Некрасовский школьник» — имеется в виду известное стихотворение Н. А. Некрасова «Школьник» (1856), в котором в оптимистических тонах охарактеризован путь разночинца в столицу на ученье.

Жанлис (1746—1830) — французская писательница, автор множества нравоучительных сочинений для детей и юношества, особенно для девиц, сентиментальных романов, а также книг по педагогике. Сочинения Жанлис пользовались большою популярностью в помещичьей среде первой трети XIX в. Пушкин сопричислял ее к ряду «бездарных писак, грибов, выросших у корней дубов» и «завладевших русской словесностью».

К этим же «писакам» принадлежит и *Дюкре-Дюмениль* (1761—1819), французский писатель, многочисленные романы которого были распространенным чтением в помещичьей России. Героев одного из его романов («Фанфан и Лалотта») приводит Левитов.

Ринальдо-Ринальдини — герой романа немецкого писателя Вульпиуса (1762—1827) «Ринальдо-Ринальдини, атаман разбойников», в свое время очень популярного, переведенного на многие языки, в том числе и на русский, и создавшего целую «разбойничью» литературу.

Partie de plaisir — прогулка.

Виконт д'Арленкур (1789—1856) — французский писатель, придворный Наполеона I и Бурбонов, автор реакционно-аристократических произведений, в том числе псевдоисторического романа «Отступник», из эпохи борьбы франкской монархии с арабами (VIII век нашей эры). В напыщенно-слащавом стиле и в реакционно-церковном духе описываются в романе приключения вождя «сарацин» (так христиане именовали арабов и мусульман вообще), некоего Агобара, называемого «отступником», так как он родился христианином, но затем стал мусульманином, — его войны с правителем франкской монархии *Карлом Мартелом*, любовь его к некой принцессе Эзильде и, наконец, его гибель вследствие того, что во главе сарацин стал другой вождь-мусульманин, его соперник.

Иверсен М. — владелец типографии в С.-Петербурге в первой половине XIX в.

Семен Август — владелец известной в первой половине XIX в. типографии и словолитни в Москве.

«*Юрий Милославский*» — исторический роман М. Н. Загоскина (1789—1852) из эпохи так наз. Смутного времени (начало XVII в.). В своих романах Загоскин, писатель из богатой дворянской семьи, идеализирует русскую старину и дворянские патриархальные нравы, проводя национально-патриотические тенденции.

«*Басурман*» — исторический роман И. И. Лажечникова (1792—1869), идеолога нарождавшейся тогда промышленной буржуазии. Национализм, борьба с иноземными влияниями, антидворянские настроения, ненависть к крепостному труду, идеализация отношений между рабочими и фабрикантами — вот основные черты этой идеологии, отразившиеся в романах Лажечникова.

«*Наблюдатель*» — здесь имеется в виду «*Московский наблюдатель*», журнал, издававшийся в Москве в 1835—1839 гг. В первые годы журнал был бесцветно-консервативным органом. С 1838 г. во главе журнала становится В. Г. Белинский, благодаря которому он превращается в один из лучших журналов того времени, являясь выразителем правого русского гегельянства и группируя вокруг себя молодежь из кружка Станкевича.

«*Телескоп*» — имеется в виду «Телескоп, журнал современного просвещения», издававшийся в Москве Н. И. Надеждиным в 1831—1836 гг. Журнал сначала выходил два раза в месяц, а с 1834 г. еженедельно. В виде добавления к «Телескопу» выпускалась «Молва», «журнал мод и новостей». С 1834 г. началось в «Молве» сотрудничество В. Г. Белинского статьею «Литературные мечтания. Элегия в прозе». В журнале участвовали Пушкин, Кольцов, К. Аксаков, Хомяков, Погодин, Шевырев, Станкевич, Герцен, Чаадаев и др. «Телескоп» проводил идеи немецкой идеалистической философии, в области литературы ревизовал романтизм и подготовлял почву для художественного реализма. В 1836 г. за напечатание в 15-й книге известного «Философического письма» Чаадаева журнал был правительством закрыт, Надеждин выслан, а Чаадаев по «высочайшему повелению» был объявлен сумасшедшим.

Барон Брамбеус — псевдоним журналиста, критика, писателя и востоковеда О. И. Сенковского (1800—1858), который получил известность главным образом как редактор и главный сотрудник журнала «Библиотека для чтения», издававшегося книгопродавцом А. Смирдиным с 1834 г. Под этим псевдонимом Сенковский писал в отделе публицистики и литературы бойкие фельетоны, имевшие большой успех. Сенковский вел борьбу с передовыми разночинцами, особенно с Белинским, являясь выразителем средней буржуазии и чиновничества.

«Армия альманахов и сборников». — Альманахи в России появились в конце XVIII в. и к началу 30-х годов прошлого века размножились настолько, что еще Пушкин отметил тип жадного и назойливого издателя-«альманашника», падкого на даровой писательский труд, так как авторы в альманахах печатались большею частью бесплатно. Ежегодно выходило десятка по два альманахов. Такое обилие их объясняется недостаточным выходом в то время периодических изданий. Альманахи и сборники 20-х и 30-х годов прошлого века служили главным образом для развлечения более культурных слоев господствовавшего дворянского сословия и выпускались с изысканными заглавиями: «Венок граций», «Сириус», «Европейский музеум» и т. п. Однако некоторые альманахи отличались серьезностью и богатством содержания и объединяли в себе крупнейшие литературные силы того времени. Таковы: «Полярная звезда», издававшаяся в 1823—1825 гг. декабристами А. Бестужевым и К. Рылеевым, «Мнемозина» (1824—1825) кн. В. Ф. Одоевского и В. К. Кюхельбекера, «Северные цветы» (1825—1832) бар. А. Дельвига и О. Сомова и др. В 40-х годах появляются «сборники» (название «альманах» становится менее распространенным) разночинцев: «Физиология Петербурга» (1845) Н. А. Некрасова и им же изданный «Петербургский сборник» (1846) в обоих сборниках участвует Белинский. Славянофилы выпускают «Московские сборники» (1846, 1847 и 1852). Во второй половине XIX в. альманахи и сборники отходят на второй план, так как усиленно растет периодическая печать.

Ночь Ивана Купалы — ночь с 23 на 24 июня старого стиля, накануне дня праздника рождества Иоанна

Крестителя. В тексте, очевидно, описка или опечатка, так как ночь эта не августовская, а июньская. Да и по смыслу дальнейшего изложения рассказа дело происходит не в конце августа, когда уже не может быть палящего зноя, а в середине лета. Купало — собственно древнеязыческое божество, бог созревших плодов и злаков, урожая и вообще плодородия. В честь его в период летнего солнцеворота, когда на юге созревали травы и хлеба и наступало время уборки урожая, устраивался праздник, воспринятый затем церковью и приуроченный ко дню рождения Иоанна Крестителя, которому и дано прозвище Ивана Купалы. В ночь на иванов день молодежь совершала обряды и увеселения, оставшиеся еще от языческих времен: прыганье через костры, сжигание чучела Купалы, собирание цветов, плетение венков, пение особых песен и т. п. В эту ночь, по народным поверьям, цветет папоротник, ведьмы слетаются на Лысую гору, нападают бесы, цветы, особенно цветы папоротника, обладают особой магической силой и т. п.

Alma mater (лат., буквально — мать-кормилица) — название, обычно применяемое к университету и вообще к учебному заведению.

Вакштаф — сорт табака.

Дворник — в данном случае содержатель постоялого двора.

Рацея — см. примечания к очерку 1-му.

Жантилиом (франц.) — дворянин.

Трезор, бьюти, амишечка, сбогар — собачьи клички, принятые в дворянской среде того времени.

Гейне Генрих (1797—1856) — знаменитый немецкий поэт, критик и публицист.

Штоф унд крафт — имеется в виду популярное в то время сочинение «Сила и материя» («Kraft und Stoff») Людвига Бюхнера (1824—1899), немецкого физиолога и философа, развивавшего учение вульгарного естественно-научного (механического) материализма.

Десять рублевых ассигнаций — 3 р. 33 к. серебром. Об ассигнациях см. примечания к очерку 1-му.

Квартальный надзиратель — начальник полицейского участка — квартала, которые существовали до 1862 г.

Полуштоф — бутылка, одна двадцатая ведра.

Gaudeamus igitur (лат. — будем веселиться) — начало студенческой застольной песни на латинском языке, известной со времен средних веков.

Аркадский — пастушеско-идиллический от Аркадии, см. примечания к очерку 1-му.

ИМЕНИНЫ СЕЛЬСКОГО ДЬЯЧКА

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 2-я, стр. 201—218. Впервые было напечатано под тем же заглавием, но с подзаголовком «Степные нравы» в сборнике «Северное сияние. Русский художественный альбом, издаваемый Васильем Генкелем» (Спб. 1863), т. II, стр. 309—320.

Фортиссимо — очень сильно (музыкальный термин).

Гарнитуровое платье — из плотной шелковой материи (искаженное франц. слово «гродетур»).

Жамки — пряники.

Три ассигнационных пятака — 5 коп. серебром (см. выше, примечания к очерку 1-му).

А-приори — латинское слово a priori, означающее *до опыта, прежде опыта;* в устах пономаря выражает его слабость к иностранным словам.

По портецам — в уста персонажа вкладывается слово, являющееся искажением французского слова portée, означающего пять линеек, на которых пишутся ноты. Конечно, слово это имеет только тот смысл, что служит для характеристики самого персонажа.

МОСКОВСКИЕ «КОМНАТЫ СНЕБИЛЬЮ»

Печатается по изданию: «Жизнь московских закоулков», изд. 3-е, стр. 12—109. Впервые печаталось в ж-ле «Библиотека для чтения» 1863, № 7, стр. 1—19, № 8, стр. 1—21, и № 9, стр. 1—32.

Комла — комната.

Полпивная — пивная для продажи легкого пива.

Проюрдонить — промотать, распродать.

Фалбары — мелкие боры, складки.

Кринолин — см. примечания к очерку 11-му.

Мистерии (греч. — таинства) — собственно (в древности) тайные религиозные обряды, священнодействия.

В данном случае употреблено, конечно, в ироническом и комическом смысле.

Прапорщик — офицерский чин дореволюционной армии, ниже подпоручика.

Штосс — азартная карточная игра.

Юнкера — в дореволюционной России так назывались обучавшиеся в военных училищах, а также в юнкерских школах, подготовлявших нижних чинов к офицерскому званию.

Понтировать — играть в банк против банкомета, ставить на карту ставку, куш. «Метали и понтировали на счет его сиятельства графа Шереметева» — т. е. попросту играли без денег («Шереметев» фигурирует здесь потому, что это фамилия одного из богатейших дворянских родов).

Оболонка — болонка, порода комнатных маленьких мягкошерстых собачек.

Майорский — см. примечания к очерку 1-му.

Адъютантские эксельбанты (или аксельбанты) — плетеные шнуры с металлическими наконечниками, которые носят на правом плече адъютанты (в дореволюционной царской и в буржуазных армиях — офицеры, заведующие делопроизводством в войсковых частях, штабах и управлениях, а также состоящие при высших военных начальниках для поручений и передачи приказаний).

Же лонер, милль пардон (фр.) — честь имею, тысяча извинений.

Маляд (фр.) — больной.

Сибирка — арестантская при полицейском участке.

Жуков — табак фирмы Жукова.

В-дие — ваше благородие.

Биргалль (нем. Bierhalle) — пивная.

Мейн гер (нем. mein Herr) — господин.

Бурнус (араб.) — накидка.

Шлафор (от нем. Schlafrock) — спальный халат.

Мансарда (фр.) — жилое помещение под крышей. «Кричала мансарда» — метонимия: собственно, кричали обитатели ее.

Сармат — здесь употреблено вместо: поляк. Сарматы — общее древнее наименование, под которым разные писатели и в разное время подразумевали различные кочевые племена, населявшие в древности южно-

русские степи. В настоящее время под сарматами разумеют группу иранских племен, сменивших скифов в конце III и начале II вв. до нашей эры в степях Причерноморья. По карте Сарматии, составленной греческим астрономом Птоломеем (II век нашей эры), в ее состав входили между прочим и части нынешней Польши. Отсюда и название поляков сарматами, хотя поляки от сарматов не происходят. Потомками сарматов считают нынешних осетин.

Фешионебль (англ.) — великосветский человек, аристократ.

L'innocence (фр.) — невинность.

à bon credit (фр.) — в долг.

Денис — имеется в виду Денис Васильевич Давыдов (1784—1830), прославленный начальник партизанских отрядов в войну 1812 г., поэт, отразивший переживания дворянско-аристократических и военных кругов.

Штаб-ротмистр — офицерский чин в кавалерии дореволюционного времени.

70 тысяч на ассигнации — около 23.000 руб. на серебро. Об ассигнациях см. примечания к очерку 1-му.

«Кокоревщина» — водка, поставлявшаяся в то время известным винным откупщиком В. А. Кокоревым (1817—1889).

Откупа—винные откупа, см. примечания к очерку 1-му.

Акциз — налог на товары, который уплачивается товаропроизводителем или продавцом, но обычно перелагается на потребителя, так как уплаченная сумма налога накладывается на цену товара. «Устроиться в акциз» — поступить в акцизное ведомство.

Амфитрион — по греческому мифу муж Алкмены, родившей сына Геракла от бога Зевса, явившегося к ней в образе мужа. В комедиях Плавта и Мольера, использовавших этот миф, Амфитрион — обманутый муж, гостеприимный хозяин. Его имя стало нарицательным для последнего.

Рахиль — библейское имя, образ неутешной матери. В книге пророка Иеремии говорится: «Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (гл. 31, ст. 15). Этот образ повторяется в евангельской легенде об избиении младенцев в Вифлееме.

Феодальный прапорщик — пародия: прапорщик распоряжается мальчишками словно «вассалами», как средневековый феодал.

Псалтирь — см. выше, примечания к очерку 15-му.

Драбант — в средние века телохранитель высших начальников; в России — денщик в казачьих частях.

Скимполь — персонаж из романа Диккенса «Холодный дом», тип человека, разыгрывающего роль невинного ребенка, ничего не понимающего в практических в денежных делах, но тем не менее ловко при случае обирающего доверчивых людей, беспринципного, не брезгающего никакими способами для получения денег и живущего в свое удовольствие на чужой счет.

Маколей — английский буржуазный историк (1800—1859).

Форум — в древнем Риме городская рыночная площадь, окруженная великолепными зданиями храмов, дворцов и т. п. Был центром политической жизни.

Магнат — богатый помещик-аристократ.

Поп Никита — Никита Пустосвят, суздальский священник (с середины XVII в.), один из видных деятелей раскола, ярый противник патриарха Никона. После диспута с никонианами в Грановитой палате (в Московском кремле) был схвачен и казнен по приказу царевны Софьи.

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор И. С. Ежов. Техн. редактор Г. Л. Гилес. Сдана в набор 15 II 1932 г. Подписана к печати 17/X 1932 г. Уполномоч. Главлита № Б 16330. Индекс А-0. Изд. № 33. Тираж 8300. Печатных л. 27¾. Бумага 71 × 105 см. 1/32. Типографских знаков в 1 п. л. 60000. Гос. тип. „Ленинград. Правда“, Ленинград, Социалистическая ул., д. 14.

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ XIX ВЕКА

В. И. СЛЕПЦОВ
СОЧИНЕНИЯ
тт. I, II

Н. И. НАУМОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

А. И. ЭРТЕЛЬ
ГАРДЕНИНЫ, ИХ ДВОРНЯ,
ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ВРАГИ

Ф. Н. ЮРКОВСКИЙ
БУЛГАКОВ, РОМАН

Ф. И. ТЮТЧЕВ
СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
тт. I, II


№054.63


2018813285